

**В.В.РОЗАНОВ: pro et contra**

**ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ:**



**PRO ET CONTRA**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
РУССКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

---



*Издание подготовлено в рамках региональной программы  
Северо-Западного отделения  
Российской академии образования*



Серия  
«РУССКИЙ ПУТЬ»

---

**В. В. РОЗАНОВ:  
PRO ET CONTRA**

*Личность и творчество Василия Розанова  
в оценке русских мыслителей и исследователей*

Антология  
Книга II

Издательство  
Русского Христианского гуманитарного института  
Санкт-Петербург  
1995



# Серия «РУССКИЙ ПУТЬ»

---

Серия основана в 1993 г.

Редакционная коллегия серии:

*Д. К. Бурлака* (председатель), *А. А. Грякалов*, *А. А. Ермичев*, *К. Г. Исупов* (ученый секретарь), *А. А. Корольков*, *Г. М. Прохоров*, *В. Ф. Федоров*

Ответственный редактор тома

*Д. К. Бурлака*

Издание подготовил

*В. А. Фатеев*

УДК 1/14  
ББК 87.3(2)6  
Р64

**Р64** **В. В. Розанов: pro et contra. Кн. II. / Сост., вступ. ст. и прим. В. А. Фатеева. — СПб.: РХГИ, 1995. — 576 с. — (Русский путь).**

Учебное пособие «В. В. Розанов: pro et contra» представляет собой собрание текстов известных деятелей русской культуры, дающих оценку творчеству и личности выдающегося русского философа. В издании также богато представлена мемуарная литература о Розанове. Ряд материалов публикуется впервые.

Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей.

ISBN 5-88812-002-2  
ISBN 5-88812-004-9 (т. 2)

- © В. А. Фатеев — составление, вступительная статья, примечания, библиография, 1995
- © Русский Христианский гуманитарный институт, 1995
- © С. В. Степанов, макет, 1995



## Д. В. ФИЛОСОФОВ

Рец.: В. В. Розанов, «Около церковных стен»,  
тт. I и II, СПб., 1905–1906

### I

Розанов еще далеко не оценен по достоинству. У него много врагов, особенно политических.

«Левые» не могут простить ему его реакционное происхождение: свою публицистическую карьеру он начал в рядах самых злостных и злобных эпигонов славянофильства. «Правые» ненавидят его как анархиста, который расшатывает священные основы государственности: церковь, брак и семью.

Идейно Розанов, конечно, гораздо опаснее для правых, чем для левых. В то время как русская революция правильно осаждает крепость пресловутой уваровской триады *извне*, Розанов, с присущим ему невинным лукавством или, вернее, лукавой невинностью, вносит яд разрушения и дух мятежа изнутри, в ряды самих осажденных.

Правда, разобраться в обильных сочинениях Розанова нелегко. Слишком многогранны, даже хаотичны его писания. Вот уж поистине *не* классический писатель! Гениальность его сплошь да рядом переходит в тривиальность, мудрость — в первобытную наивность, высокая художественность — в почти непереносимую грубость. И к этой внутренней сложности и романтической несоразмерности мыслей присоединяется еще необыкновенный, присущий одному Розанову стиль.

Как бы ни относиться к идеям Розанова, нельзя не поддаться обаянию его стиля. Тут Розанов истинный творец новых ценностей. Трисотэны<sup>1</sup> всех толков, конечно, найдут много «ошибок» и неловкостей в стиле Розанова. Читатель, привыкший к чтению наших интеллигентско-газетных статей, зрится, читая Ро-

занова. Так цветист, ярко индивидуален его стиль. При нашей тенденции к «обобществлению» не только орудий производства, но и орудий мысли — слова — резкая индивидуальность языка запугивает и мешает оценить значение Розанова в истории русской речи. После Пушкина, Тургенева, Достоевского, когда, казалось, русский язык достиг предела своей яркости и богатства, Розанов нашел новые его красоты, сделал его совсем иным, — и притом без всякого усилия, без всякой заботы о «стиле». Флобер иногда целыми днями бился над одной фразой. Так же упорно работали над языком Тургенев, Мопассан. Розанов его творит бессознательно, по вдохновению, как по наитию он творит и свои самые драгоценные идеи. Иногда он с поразительной непринужденностью выступает в публику «не причесавшись», не смущаясь теми условными законами «приличия», которыми связаны даже самые радикальные представители русского общества. За это он не раз — и довольно заслуженно — встречал упреки в цинизме, в «юродстве», в «неграмотности». Но Розанова не переделаешь. Заставить его переделать свою статью нельзя никакими силами. Он написал ее как написалось, и никакие ее исправления, даже технические, невозможны.

Но всякий, кто сумеет преодолеть внешнюю причудливость Розанова, — его стиль, так тесно слитый с внутренним его содержанием, — тот непременно вместе с Розановым подойдет к страшным загадкам человеческого духа и заглянет в самую глубину мирового бытия. Розанов с отвагой человека, не видящего близких опасностей, возможных срывов, даже собственной гибели, взбирается на самые недоступные вершины. Его громадный опыт должен послужить всем идущим по пути искания вечных ценностей. Среди срывов его мистики и подлинных религиозных подъемов люди нового религиозного сознания должны увидеть верную, но тяжелую тропу восхождения...

## II

В последней книге Розанова собраны самые лукавые, недосказанные статьи.

Читатель, незнакомый с сочинениями Розанова, подумал бы, что автор просто стремится к некоторым реформам духовного образования, православной церковной жизни, — и больше ничего. Таковы, например, статьи «О священническом совете при епископе», «О неудобстве частых перемещений в духовном ведомстве», «О пенсиях духовенству» и т. п. (т. I).

Надо думать, что это внешнее простодушие не что иное, как та овечья шкура, которою автор надеется прикрыть свою природную хищность. Прием в смысле тактическом, может быть, и достигающий известной, ближайшей цели.

Возьмите, например, большую двухтомную книгу Розанова «Семейный вопрос в России». Чего только в ней нет! Добрая половина книги в 800 страниц занята интимнейшими излияниями добровольных сотрудников и сотрудниц на тему о браке. Одна правдивая женщина написала даже целый трактат в защиту... ялтинских проводников, всех этих Ахметок и Сулейманов, каждый из которых останется «светлым воспоминанием до конца ее жизни» (т. II, с. 254).

Окружив религиозную и метафизическую проблему пола чисто социальными атрибутами, поставив ради тактических соображений знак равенства между браком и полом, Розанов думал хоть несколько притупить остроту вопроса, сделать его более приемлемым и менее трагичным.

Социальная жизнь может быть реформирована, брак можно обставить более рационально, облегчить развод, озаботиться судьбой незаконнорожденных и т. д., и т. д., словом, феноменальные изъяны брачной жизни могут быть замазаны при помощи разных, чисто внешних, мероприятий. Простые люди, страдающие именно от этих внешних, феноменальных неустойчивости жизни, девушки с незаконными детьми, женщины, заразившиеся дурной болезнью от собственных мужей, мужа, имеющие рано состарившихся жен, и т. д., как неизлечимо больные, узнавшие о новых чудесных способах лечения, накинулись на Розанова, понесли ему все свои болести с пламенной надеждой на помощь. И Розанов во многом помог им. Новые законы о незаконнорожденных, некоторые облегчения развода достигнуты отчасти благодаря его энергии и благодаря тому, что вопрос о разводе он поднял с якобы «православной» точки зрения, нашел в пользу него аргументы, убедительные для синодальных и консисторских чиновников.

Но надо сказать, что все эти жаждущие исцеления пациенты донельзя запутали вопрос. Заслуга Розанова, конечно, не в том, что он возбудил вопрос о преобразовании социальной стороны пола. Тут он в сущности нового ничего не сказал, и его робкие попытки реформ кажутся весьма жалкими в сравнении с теми, к которым стремятся, например, социалисты. Не касаясь метафизической сущности пола, все социальные реформаторы позитивистического толка лишь высвобождают эту сущность от связывающих и извращающих ее путь социальных противоречий,

условностей и предрассудков. Работа Розанова начинается только там, где кончается работа социалистов, потому что он ставит вопрос пола вовсе не социально, а мистически, как проблему вечную, лежащую вне исторических и бытовых ее воплощений. И когда он, сознательно или бессознательно, суживает свою задачу до уровня вопроса социального, он не только вредит себе, затемняя свою писательскую сущность, но и сбивает с толку читателей. Такие статьи, как «Из загадок человеческой природы», «Звезды», «В мире неясного и нерешенного», «Дети солнца», наконец, многие страницы из большого его исследования о «юдаизме», где вопрос о поле трактуется в плоскости мистической и религиозной, имеют гораздо больше значения для мятущегося человечества, нежели облегчение развода и улучшение быта незаконнорожденных, эти реформочки, которые могут провести в жизнь даже синодальные чиновники. Подобные социальные предрассудки для людей мало-мальски внутренне свободных просто не существуют, а если и существуют, то как чисто эмпирическое зло, которое устранился само собою, с коренным обновлением социального строя.

Да простит мне автор, но его возня с разводом и незаконнорожденными напоминает мне возню благотворительных дам с проституцией. Это все гомеопатия, домашнее лечение, психологическое несколько успокаивающее больного, но отнюдь его не излечивающее. «Левые», эти истые аллопаты, энергичные хирурги, или добродушно посмеиваются над филантропией Розанова, или подозревают его в... эротоманстве. «Правые» же инстинктивно чувствуют, что тут где-то неладно: не для того ли Розанов так щедро раздает свои гомеопатические крупинки, чтобы приобрести армию преданных клиентов и при помощи их в конце концов подкопаться под незыблемые основы «православной семьи», основы, столь дорогие нашим охранителям?

### III

Если там, где Розанов говорит о проблеме *пола*, он подменяет, из лжетактических соображений, пол — браком, то в своих статьях, посвященных вопросам *церкви*, он подменяет христианологию — православием, личность Христа — историческим христианством.

Розанов потратил много сил на борьбу с христианским аскетизмом и, в частности, с его историческим воплощением — монашеством. Аскетизму приписывает он ту печаль и уныние, в



которые окунулся наш мир. Аскеты-монахи, брезгливо отвернувшись от мятежного мира, унесли с собой в пустыню всю святость жизни, презрительно оставив мирян без религиозной помощи; уничтожили красоту жизни и отравили ее источники. Прежде люди жили, любя жизнь, ее красоту. Мир представлялся им светлым и безгрешным.

Христианство, поставив аскетический идеал, убило счастье и радость. Жизнь осталась старая; только без радости, без искренней простоты. В мир вошел грех, земля потемнела.

И вот Розанов начинает свою войну против аскетизма. Он защищает книгу свящ. Григория Петрова, где христианство проповедуется как свет и радость, он доказывает, что тот последний логический вывод, который сделали сектанты из 19-й главы Матфея — продукт плохого понимания и неверного перевода текста. Он ретиво сражается с черным духовенством и берет под свою высокую руку духовенство белое. В сущности, его последняя книга вся посвящена борьбе с аскетическим началом в исторической церкви. Получается такое впечатление, что *во имя Христа* Розанов уничтожает аскетизм как результат ложного толкования учения Христова, как коренное извращение евангельских основ.

Многие простодушные читатели поддаются этой иллюзии. Угнетенные «черными» архиереями, сельские священники протягивают подобно несчастным в супружеской жизни корреспондентам Розанова свои длани за помощью и утешением. Благочестивые миряне, не могущие вместить аскетического ригоризма, зачитываются его произведениями. И Розанов поддерживает в них эту иллюзию. Новая его книга — ясное тому доказательство.

Все статьи в ней подобраны так, чтобы из-за борьбы со следствиями — неурядицами русской церковной жизни — не проглядывала борьба с основной причиной, с первоисточником этих следствий. Все опасные, более существенные, христологические статьи автор обещает издать впоследствии в более или менее отдаленном будущем. «Ибо все статьи, здесь собранные, возвращаются в понятных, сравнительно легчайших темах христианства, — говорит автор в предисловии к своей книге, — как бы в темах арифметических», тогда как трудные и темные (монашеские) статьи в самом деле представляют собою что-то «после арифметики», «ну, там, непрерывные дроби, что ли, христианства, его логарифмы». Он говорит так, но математическое сравнение только уловка. Можно подумать, что то самое, что доказывается в последней книге Розанова на простых «арифметических» примерах, доказывается в его будущей книге более отвлеченно, алгеб-

раически, но зато и с большей точностью. Каково же будет удивление читателя, когда, прочитав такие статьи из «будущего» сборника, как, например, «Христос как Судия мира» или «Об Иисусе Сладчайшем»<sup>2</sup>, он увидит, что эти «логарифмы» вовсе не подтверждают «арифметических» истин, а прямо и бесповоротно их отвергают<sup>3</sup>. Уж если оставаться на почве аналогий, то правильнее сравнить последнюю книгу с геометрией на плоскости, а будущую — с геометрией в пространстве, пангеометрией Лобачевского, где параллельные линии могут встретиться. Плоскость здесь совершенно иная, и напрасно Розанов с ненужным лукавством вводит читателя в заблуждение.

Опять и опять, читая статьи Розанова о реформах духовного образования и о неудобствах частых перемещений в Духовном ведомстве, можно подумать, что Розанов — самый невинный реформатор вроде тех «32-х» священников, которые во имя чистоты православия хотят преобразовать приход, позволить вдовым священникам жениться во второй раз, словом, совершенно не касаясь самой сущности не только *христианства*, но и *православия*, произвести ряд невинных реформочек, сделать церковь более чистенькой и современной<sup>4</sup>. Эти симпатичные реформаторы могут найти много доводов в новой книге Розанова. Одна характеристика К. П. Победоносцева («скептический ум») чего стоит!

Но Розанов — союзник неверный.

Он прежде всего не реформатор. Реформатор тот, кто признает «предмет», подлежащий реформе, самую основу ее, истинным и благим. Тот же, кто отвергает самую сущность подлежащего реформированию, кто считает силу, проявление которой в жизни должно быть упорядочено и преобразовано, не доброй, а злой, тот все что угодно, только не реформатор.

#### IV

Главный и основной вопрос для Розанова отнюдь не церковная реформа, а вопрос о том, добрая или злая сила христианство само по себе, *христианство Христа* и Евангелия, а не его историческое церковное воплощение. Аскетизм, «монашеское» христианство, — вот то извращение Евангелия, которое губит церковь и христианство. Уничтожьте борьбу с плотью, поймите христианство как свет и радость, введите природу, безгрешную природу, где нет добра и зла, в церковь — и вы станете истинными последователями Христа.

«И всегда я думал, — говорит Розанов — как хорошо, если церковь в цветах — не только в саду, но и в окружении именно цветников. Я удлинил бы эти грядочки цветов и узкой полосой ввел бы их в церковь...»

Таково благополучное, «арифметическое» решение задачи, «*ad usum delphini*» \*.

Но когда мы обратимся к розановским «логарифмам», то увидим, что аскетизм, монашество, грех, проклятие мира есть результат вовсе не извращенного, а *совершенно правильного* понимания Евангелия.

Сам основатель христианства, а вовсе не его последователи главный источник отрицания мира, главный виновник того, что мир покрывался черной пеленой греха...

И если Розанов так льнет к белому духовенству, к бытовой стороне православной церкви, то именно потому, что здесь он видит бессознательное, жизненное противодействие самой подлинной основе христианства.

Потому-то он и отстаивает с такой любовью и батюшек, и цветочки, и плодовитую семью, что в них заключено вечное, дохристианское, языческое начало безгрешной земли. Отсюда и тяготение Розанова к миру дохристианскому, его бесконечная возня с евреями, с миквой, обрезанием и т. д. Религии семитические, утверждающие главным образом жизнь *здесь*, на земле, заменяющие бессмертие личности бессмертием рода, ему особенно дороги. Пол — вот подлинное и вечное начало борьбы со смертью. Поэтому еврейское «обрезание», как освящение пола, для Розанова центральный пункт семитизма, альфа и омега его, откуда он и выводит свою пресловутую *теитизацию* пола.

«Семитизм, — говорит он, — весь уже дан в обрезании... В обрезании заключен уже целый быт, заключен уже целый мир... Вообще, тайна истинного полового сближения известна только евреям и может стать известна только на почве “Господу обрезания”: у всех остальных народов от нее остался только смрад».

Освятив пол, евреи разрешили тайну рождения, а следовательно, и тайну существования, бытия зменого. Христиане же, втолкнув пол в область греха, пришли к небытию. Мука, гроб и смерть — таково начало и конец христианства как религии. «В кресте мы посвятились в смерть; мы почувствовали религиозно смерть. Мы священно умираем, священствуем в болезнях “исхода” (отсюда), а евреи священствуют в радостях входа (сюда) — суть племя священнорождающееся и священнорождающее».

---

\* для официального пользования (лат.).

Для христианина же, пока он здесь, на земле, нет «религиозной концепции». «Христианин — совершенный автомат: религиозна только лоза (розга), гонящая его отсюда. Религиозная концепция начинается там, за гробом». Цитируя эсхатологическое предсказание Матфея (гл. 24) о том, что к концу мира по причине умножения беззакония «охладеет любовь», что когда евангелие будет проповедано по всей вселенной, «тогда придет конец», Розанов прибавляет: «Итак, некое обледенение сердца распространится параллельно распространению проповеди некоей стеклянной любви, без родника ее, без источника, вне “обрезания”. И когда земля застынет в этом холодном стекле, в этом стеклянном море... “Сын человеческий” сойдет тогда на землю судить живых и мертвых» (Юдаизм, гл. XX, «Новый путь», 1903, кн. 12).

Эта стеклянная христианская любовь, по мнению Розанова, куда губительнее ненависти: «Ап. Павел, убеждая евреев, сказал субъективно: я хотел бы быть отлученным от Иисуса ради братьев моих по крови, евреев. Так он любил их. Плачем. Лобзаем золотое слово. Какая любовь! Да и везде в евангелии эта любовь аналогичная. Но золото-то этой любви все осталось на любящем, во славу Павла; а на любимом, странным образом, остался какой-то чужеродный остаток: гибель и беславие Израиля, да еще... ненависть наша к любимому... Поистине никакой гнев не совершил бы того, что эта разрушительная любовь. Да, от “любви” евангельской горы повалились и сравнялись с долами... мягко постлано, да жестко спать, так бы русский ум формулировал дело... Христианину обычно “варить козленка в молоке его матери”, перед чем остановился Моисей и жестоковыйный народ» (Христос — Судия мира, «Новый путь», 1903, кн. IV, с. 147–149).

Таковы «логарифмы» розановского христианства. Цитаты можно было бы умножить, а из самой «логарифмической» и страшной статьи его об «Иисусе сладчайшем» \* можно было бы привести еще более характерные, еще более сильные, неоспоримые доказательства тому, что нападками на православие Розанов лишь прикрывает свою жестокую борьбу с Христом. Православие поняло сущность христианства, ее метафизику и мистику, совершенно так же, как и Розанов, т. е. как отрицание мира, лежащего во зле, преданного греху, проклятию и смерти, от чего основатель христианства спас людей лишь перенесением центра

---

\* В предисловии к своей книге Розанов указывает, что статья эта была напечатана в «Вопросах жизни». Это недоразумение. Статья эта напечатана только в 1908 г. в журнале «Русская мысль».

жизни с земли, с этой юдоли плачевной — в мир потусторонний, загробный.

Борьба Розанова с христианством особенно значительна потому, что он отнюдь не отрицает в нем сверхчеловеческой мистической силы.

Позитивисты, отрицающие божественный промысел, отрицают христианство, так сказать, «попутно». Христианство есть один из видов религии, и ясно, что для отвергающих родовое понятие религии этим самым отвергается и один из видов ее. Задача решается просто и даже довольно благополучно. Спорщики находятся в разных плоскостях и говорят на разных языках. *Штраус* старается сделать христианство приемлемым для рационалистов, *Фейербах* берет его как материал или символ обожествления человечества, *Ренан* с благодушием культурного скептика рисует интересную биографию «de se cher docteur» \*, *Ницше* громит христианство как учение, из которого жрецы сделали средство для унижения человека; *социалисты* видят здесь лишь жалкую идеологию «L'empire-Proletariat'a». Словом, вся эта борьба с христианством велась на почве чисто позитивной или, в лучшем случае, рационалистической. Для людей, мистически настроенных, эти умствования малоубедительны. Не может быть решающего состязания, когда противники вооружены разным оружием.

Совсем другое дело Розанов.

Из всех антихристианских писателей он самый серьезный и самый глубокий. Он сражается с христианством одинаковым оружием и в одной плоскости.

Это — битва, происходящая за землю, на горных вершинах, покрытых облаками.

## V

Логически Розанов стоит перед следующей дилеммой: или мир есть абсолютное зло, и тогда отрицающее мир христианство есть абсолютное добро, или мир — добро, а христианство — зло.

В порядке богословской терминологии эту дилемму можно формулировать так: две первые ипостаси взаимно отрицают друг друга. Признав одну ипостась божественной, другую по необходимости надо признать демонической. Tertium non datur \*\*.

---

\* этого дорогого доктора (франц.).

\*\* третьего не дано (лат.).



Это — антитеза, синтеза которой, *по убеждению Розанова*, быть не может.

В метафизике эта антитеза получает характер дуализма, который чистыми позитивистами попросту устраняется как находящийся за пределами познания, а метафизиками более или менее удачно замазывается, в порядке отвлеченного мышления.

Для Розанова эта антитеза — факт самый реальный, жизненный. Как человек, обладающий богатым мистическим опытом, он сознает, что отношение к Богу самым реальным образом определяет жизнь, а не наоборот. В христианстве он видит не только социальное, историческое явление, которое так или иначе может быть толкуемо и объясняемо, а проявление высшей мистической силы, которую надо или признать, или же решительным утверждением противоположного совершенно упразднить. Христианство есть несомненно служение божеству, вопрос только светлому или темному, Ормузду или Ариману. *Розанов склоняется к тому, что это есть служение божеству темному.* Он вполне признает, что люди могут ему поклоняться как богу светлому, но тогда уже он требует, чтобы они были последовательны и отреклись от мира, предали его проклятию, признали первую ипостась, творческую по преимуществу, — началом демоническим.

Или — или.

Другого выхода нет.

Дуализм несовместим с высотой современного религиозного сознания, и Розанов настойчиво требует его разрешения путем отсечения одного из положений антитезы. В том, что Розанов именно *так* поставил вопрос, и сила его, и слабость.

Действительно, для христианства, *только христианства*, другого пути к преодолению антитезы и быть не может. Или отречение от Христа, или отречение от мира.

Аскетизм, черное, «монашеское» христианство есть подлинная непререкаемая сущность только христианской религии, замкнувшейся во второй ипостаси и остановившейся в своем совершенно естественном противоположении языческо-еврейскому утверждению Бога-Творца, источника мировой, *безличной* жизни. Православие, членом которого Розанов был долгое время, как и всякая историческая, *только* христианская, религия, не могло дать Розанову ответа на мучивший его вопрос. Пора, наконец, признать, что христианство, только христианство не есть религия соборная, церковная, общественная, а только личная, индивидуальная. Все выходы исторического христианства в мир и общественность ведут к неминуемому провалу. Папизм и абсо-

лютизм, эти общественные выражения исторического христианства, так же в корне своем ложны, как и христианский социализм. Здесь есть *contradictio in adjecto* \*. И как бы наши неохристиане (я имею в виду Булгакова, Эрнэ, Свенцицкого и их кружок) ни старались, не преодолев исторического христианства, никакой общественности они не создадут. Вся сущность их чисто «монашеская», «аскетическая». Розанову они возразить ничего не могут. Называя «мистическим блудом» искания современной религиозной мысли, они проявляют много *личной*, но отнюдь *не общественной* добродетели. Для Розанова религия вовсе не «мистический блуд», а дело самой реальной жизненной необходимости. Но вместо того, чтобы принять хотя и неполную, но несомненную *истину*, которая заключена в историческом христианстве, и, преодолев ее, обратиться лицом к грядущему синтезу, он обратился вспять, к религиям до-христианским, к религии если и безгрешной, то безличной. Освобождение от греха он купил ценою слишком легкого отречения от вечной, бессмертной, человеческой личности. Заслуга его в том, что он не побоялся дойти до последних выводов и, оставаясь в плоскости мистической и религиозной, показал, что христианство, «только христианство» не может больше удовлетворить всех запросов пробудившегося религиозного сознания.

Сам Розанов не нашел ответа на поставленный им вопрос, но он расчистил путь для этого ответа, и дело будущей религиозной мысли — выйти из противоречия между миром и Христом.

1906 г.



---

\* противоречие в определении (*лат.*).



## И. Ф. РОМАНОВ-РЦЫ

### Заметки на полях

В. В. Розанов, «Около церковных стен»,  
т. 1, с. XV + 416, СПб., 1906

Передо мною книга, которая, я уверен, найдет своего читателя, несмотря на то, что переживаемое время не очень благоприятствует философии, искусству, литературе наконец, понимая это слово в его постоянном значении...

Книга, которая носит заглавие «Около церковных стен» и подписана «В. Розанов», прочтется не потому, что ее *необходимо* прочитать, что содержание ее *должно* остановить на себе внимание читателя, что имя автора, его известность, его талант *не позволяют* равнодушию коснуться его последнего по времени произведения — нет! На все это надеяться по рассеянности переживаемой эпохи, по недостатку внимания к высшим запросам духа мы не считаем себя вправе...

Но мы верим, мы знаем, что у нашего автора есть *свой* непременный и неизменяющийся читатель, который, несмотря на полное отсутствие соприкосновения в личной жизни, несмотря иной раз на громадное географическое отдаление, так *близок* к автору, как если бы он принадлежал к кругу его личных знакомых, его родных, его ближайших ближних. Этот не изменит автору. Этот, во всяком случае, прочтет новую книгу Розанова. Любопытная черточка, на которой стоит несколько остановиться.

С год, как я переехал в Петербург, а ранее того — целых восемь лет прожил в преддверии Петербурга в Гатчине. Славный городок, хотя и числится как *безуездный*, т. е. это значит такая малость, что почти и говорить о нем не стоит. А в нем есть все, чему полагается быть в маленьком, но благоустроенном городке: и собор, и церковная при нем школа, и женская гимназия, и реальное училище, и городовые, которые «по форме отдают честь», и пожарная команда, и электрическое освещение, и даже — да

простится мне вечное, неисправимое обжорство! — бакалейные лавки с превосходным швейцарским сыром, много лучше того, что я ел в подлинной Швейцарии, в Берне, Цюрихе, Женеве и проч. И сколько славных людей я там узнал! Милые, добрые, ласковые... К сожалению, «одних уж нет»... Вечная им память! И в числе последних — другу нашей семьи Э. Г. Павликовскому. Я помянул уже в печати светлую личность этого прекрасного врача, но так отрадно и еще что-нибудь рассказать о безвременно угасшем Эмилии Гекторовиче... Ну вот, по поводу Розанова. Почему покойный так ценил его, так, можно сказать, заочно привязался к *своему* автору? Где почва? Поляк, католик... о, далеко не «заядлый», но и нимало не затушевывавший в добром, ласковом соприкосновении с иноверцем своего католицизма; человек страшно занятой, едва-едва успевавший «на сон грядущий» пробежать № «Нов<ого> времени» — он всегда со вниманием прочитывал Розанова, запоминал прочитанное, любил при случае вернуться в беседе к тому или иному из его фельетонов...

А как он обрадовался, когда по моей просьбе Василий Васильевич прислал ему все вышедшие свои в отдельном издании сочинения! Удивительное дело!.. Впрочем, не стоило бы останавливаться на этом крохотном фактике, если бы он не служил для меня исходной точкой для некоторых обобщений...

«*И будешь ловцом человеков*»... Великое обетование, данное великому апостолу!.. Смеем ли выразить догадку, что великий этот дар апостольства какими-то брызгами во славу Всещедрого ниспадает иногда и на писательскую среду? О, не на всех! Даже непременно на самых значительных между ними, но «одному дано, другому — нет». Если угодно, даже интереснее исследовать факт в отношении тех, которые по своей скромности и не захотели бы, я думаю, причислить себя к сонму «великих»... Одному дано, — другому нет. Кому дано? Кому нет? Вдумайтесь. Есть превосходные писатели, которых мы очень уважаем, чрезвычайно ценим, но между ними и нами до такой степени отсутствует связующая черта *интимности*, что просто диким, почти оскорбительным показалось бы, если бы кто из читателей поинтересовался узнать, каков такой-то писатель *в жизни*? Женат он или холост? Стар или молод? Где проводит лето: на даче или уезжает за границу? Я привык видеть перед собою благообразного господина, во фраке, в белом галстуке. Он на моих глазах всходит на кафедру, прочитывает мне свою красивую, поучительную, талантливую лекцию. Я благодарю его хлопком и затем мы расстаемся, совершенно забывая друг о друге. Не только никакого интереса *вне кафедры* мой профессор во мне не возбуждает, но просто мне скучно, но я поло-

жительно *не хочу* ничего о нем знать. Обедает ли он в ресторане и в каком именно, собственные или фальшивые у него зубы — какое мне дело! Есть, наоборот, этакие, выражусь, «халатники», этакие подчас даже совсем незнаменитые писатели, которые ужасно вас заинтересовывают именно в точках интимности, быта житейского, личного... Ну, Бальзак, например, или еще поразительнее: Дюма-отец и Дюма-сын. Первого как-то все любили, мужчины и женщины, а второго никто. Бальзак и женился по переписке с читательницей, иностранкой вдобавок, полькою... Удивительно! «И будешь ловцом человеков»... А другому этого не дано. И дело тут не в степени известности, не в размере таланта, а в его каком-то особом *свойстве*. В каком?

Мне кажется, что апостол Павел, говоря *об эллинах и иудеях*, вольно или невольно указал на *два коренные свойства человеческого духа*. «Эллины ищут мудрости» — это одна половина человеческого мозга. «Иудеи просят знамения» — то другая половина того же мозга. Есть *дневная* душа. И есть *ночная* душа. Помните у Тютчева, величайшего тайновидца ночи?

О, страшных песен сих не пой  
 Про древний хаос, про родимый!  
 Как жадно мир души ночной  
 Внимает повести любимой!  
 Из смертной рвется он груди  
 И с беспредельным жаждет слиться...  
 О, бурь уснувших не буди:  
 Под ними хаос шевелится!<sup>1</sup>

Это удивительный шедевр поэта, в котором наглядно выражено преобладание *ночной* души над *дневной*...

Песок сыпучий по колени...  
 Мы едем... поздно... меркнет день,  
 И сосен по дороге тени  
 Уже в одну слилися тень...  
 Черней и чаще бор глубокий...  
 Какие грустные места!..  
 Ночь хмурая, как зверь стокий,  
 Глядит из каждого куста<sup>2</sup>.

Есть зрячесть «многоочитого серафима», и есть зрячесть «стоокого зверя»... Есть солнце разума, и есть какое-то *внутреннее озарение* таинственными икс-лучами... Нужно ли точнее называть: где *эллины*? Где *иудеи*? Весь наш Пушкин, это, конечно, эллин, с его дивным озарением солнца-разума. Весь почти Лермонтов — мир *ночной* души, и отсюда основание и право зачислить его в число *иудеев*.



Те же черты не откроем ли мы и среди литературных звезд второй, третьей, четвертой величины? Может быть, даже среди простых смертных, не имеющих никакого литературного помазания? Мне кажется, что это так, и по этой именно причине я не затрудняюсь понять, почему В. В. Розанову до некоторой степени дано быть «ловцом человеков»... В мире *ночной души* есть что-то интимное, к интимности располагающее, на интимность вызывающее, и тот, в ком, как у нашего друга Павлюковского, было некоторое умонаклонение к вечной черте *иудаизма* — тот, думаю, случайно встретив Розанова, делается его усердным и постоянным читателем. Но возможны и обратные случаи. Ну, возьмем, например, В. П. Буренина. Мне кажется, что для этого типичного *эллина*, с его ясным суждением и неистоцимым юмором, Розанов есть прямо-таки *невыносимость*, наказание за какие-то грехи. Конечно, как добрый товарищ, он не захочет сделать подобного признания о своем собрате по газете, но в глубине души, я думаю, он недалек от очень сурового и... несправедливого приговора. Все дело именно: как, кому, под каким углом зрения, на какой темперамент. Вы *эллин*? Бросьте Розанова. *Иудей*? Читайте. Не оторветесь.

Итак, перед нами писатель с ярко выраженным миром *ночной души*. Его гений — «зверь стокий». Его сила — *внутреннее* озарение какими-то таинственными икс-лучами. Силой мистической интуиции он узнает то, чего никто не знает. Но он зачастую не знает того, что известно школьнику, пригостишке. Вообще он как-то слеп при *свете дня*. В этом его слабость. Отсюда, на взгляд *эллина*, его «невыносимость»...

Книга «Около церковных стен» не столь ярко, как мне кажется, выражает коренную особенность таланта В. В. Розанова. Повидимому, это чувствовал и сам уважаемый автор. Так, в предисловии он говорит: «Все статьи эти были уже ранее напечатаны в разных повременных изданиях... В статьях есть колебания тона, — в зависимости от частного возбуждения, которое дала им жизнь... Настоящая книга вращается исключительно в *белых* лучах и имеет *белые* тона...» Мы знаем уже, что «*белое*» не в средствах нашего автора. Насколько мы уясняем себе, В. В. Розанов чужд музыкальности; поэтическое его мало трогает; чувство прекрасного вряд ли когда в нем разгоралось до степени истинно-художественного восторга... И мы уже заметили о некоторой слепоте автора «Около церковных стен» к свету *эллинского дня*... Со всем тем, книга, в которой, по сознанию самого автора, собраны не наиболее для его таланта характерные вещи, прочтется с большим интересом. В особенности теми, чей «*мозговой фасон*» приближает их к *иудеям*.

Вот, например, превосходная статья под заглавием «Желтый человек в переделке»<sup>3</sup>.

В этой статье Розанов предлагает читателю разрешить такую задачу: определить неизвестный *икс* по двум известным величинам *A* и *B*. При чем под *A* должно разуметь покойного Рачинского, известного ученого и филантропа, русского барина и опростившегося христианина, который в имении своем Татево завел народную школу, из чего, впрочем, ничего не вышло. Под *B* — хорошего русского «среднего» человека, который, окончив курс в духовной академии, поступил «прямым трактом» в государственный контроль; утешал покойного Тertia Ивановича Филиппова игрой на балалайке и пением «стихиров», и, в конце концов, тоже ничего не вышло, если не считать чина «статского советника» за выслугу лет... Это «ничего не вышло» до такой степени знакомо нам, до такой степени оно срослось с историей русской, из которой доселе тоже, кажется, «ничего не вышло», что мы невольно начинаем догадываться, что все данное нам уравнение сводится к нулю, что и в искомом *Иксе* прячется предательское «ничего не вышло». И действительно, *Икс* — это *Сережа Саотзы*<sup>4</sup>, японец с острова Сио-Киу или Киу-Сио, мальчиком попавший к Рачинскому, обращенный им в православие, потом помещенный в Петербургскую духовную академию, а затем... «ничего не вышло»! Один академик ушел в контроль, а японец в лейб-гусары... А как же православие? Да это и есть тот нуль, в котором, по-видимому, должны растворяться все многообразные русские «ничего не вышло»! Мне кажется, что такова мысль В. В. Розанова, такова господствующая тенденция его книги. «Христианство не удалось», — обмолвился как-то Достоевский. «Да, — как бы вторит ему Розанов, — по крайней мере, из православия решительно ничего не выходит...» Но дадим слово автору:

«Лет должно быть десять назад я был в гостях у знаменитого педагога нашего времени Серг<ея> Алекс<андровича> Рачинского в его Татево. Среди отдыха и ничегонеделания он показывал мне разные фотографии то местностей, то людей, и над одной группой фотографий я не мог не остановиться. Я знал раньше о каком-то японце, посещающем Татево. Но ничего не знал о нем определенного и осмысленного. Остановившая мое внимание группа фотографий и была японского и полу-японского, европейского и полу-европейского содержания. Тут он мне сказал, что это Сережа Саотзы, его любимый или один из любимых учеников, ставший христианином, — «а вот и его семейство»... Саотзы был юношей, почти мальчиком, а его семейство, отец с матерью, братья и сестры — уже старые или взрослые японцы. «Вот это Сережа, когда он еще ходил в японском костюме, а вот — как он теперь»... Я рассматривал. Я не художник. Но ведь всякий о березе скажет, что она — нарядна, а о сосне, о

хвойном дереве — что угрюмо. Дробь художника есть в каждом из нас, и этой дробью в себе художника я невольно смутился.

Тут все дело в том, что на некоторых фотографиях, вывезенных из Японии, был и ландшафт, т. е. мебель и обстановка их чрезвычайно открытых, воздушных жилищ, и кое-что из деревьев, их листвы и распределения сучков. Что у человека и разных пород человека — стан фигуры, выражение лица, то у дерева и разных пород деревьев — особое расположение сучьев, которое определяет характер дерева и характерное в дереве. Дуб, пальма, береза, сосна, тополь — все это говорит на своих языках и говорит именно характерным видом расположения своих сучьев. Так было и на японском пейзаже. Не зная местной природы, я не могу объяснить источников своего впечатления: но скажу только, что все в пейзаже было прелестно, гибко, как-то переломлено в сучьях, мало тенисто и от этого бесконечно воздушно. Ничего сырого и ничего тяжелого.

Поэтому, увидав Сережу Саотзы в рединготе и застегнутого на все пуговицы, я был поражен сыростью и тяжестью его фигуры на фоне ландшафта существенно легкого. Вот бегемот пробует сесть за завтрак и подвязывает себе салфетку. В данном случае “бегемотом” был редингот. Замечу следующее. Все японцы, как и все, кажется, китайцы, немного сутуловаты. Европейец по фигуре всегда гвардеец; на гвардейце редингот сидит великолепно, — прямая спина, выпяченная грудь, открытое, большое лицо и этак как-нибудь усики. Соответственная стрижка волос, полукороткая, с пробором. Все дает впечатление целого, все — картина. Но все картина — у нас... Теперь возьмите японца: на сутуловатой, непременно и исторически сутуловатой его фигуре редингот сидит мешком; в сутуловатом — что-то скромное, и ведь скромность может быть прелестна; но соединение скромного в позе с гордым костюмом — есть смешное, есть претензия, есть хвастовство. Все имеет вид украденного костюма, который второпях переодел на себя воришка и идет по улице. Скверно. И вместе с тем человек прекрасен. “Это не я украл, это меня украли у моей цивилизации, с моего ландшафта, у моих родных и из моего дома: украли, положили в карман, как вещь, и показывают, как бонбоньерку”.

Так тоскливо я думал, смотря на фотографии. Обращу еще внимание на японское лицо. Оно — без углов, какое-то округлое, мешочком, похожее на недозрелые маленькие арбузы, какие продают в конце июля непонятным. Без всякой растительности снизу. Это яблочко с узенькими глазками над рединготом — опять смешно, опять обезьяна, опять является бесконечное к нему неуважение. Около большого европейца, его фигуры, усов, цилиндра, галстука переодетый в европейца “Сережа Саотзы” есть просто “малый”, которому хочется сказать: “Принеси, братец мой, лимонаду”. Да! Переодетый есть всегда немножечко лакей того, в чей костюм он переоделся».

Прошу извинить за слишком, может быть, пространную выписку. Мне хотелось поспорить немного с уважаемым автором и хотелось сделать это «с документами в руках»... В состоянии ли я, однако, спорить? Я испытываю чувство очарования... Я завороч-

жен сладким гипнозом, не позволяющим мне рассуждать... О, эти теплые, мягкие, летние лунные ночи! Сколько в них истомы и волшебства — и как все неверно! И как, прочитавши такую страницу, понятным делается возглас, раздающийся не *около* церковных стен, а *внутри* стен, в самой церкви: «Слава Тебе, показавшему нам свет!» Это *эллинское* озарение, это блеск *дневной* души, это солнце разума, это свет Христов!.. Боялись, боялись святые отцы ночи, и не потому, думается, что все в ней темно, что все в ней ложь, что все в ней зло... Но ее освещение верно. Неправильно ложатся тени на предметы... Обманчив серебристый свет луны... Опасен путь, указуемый загадочным мерцанием светлячков... Не ложь страшна, страшна *смягченная предельность* суши и воды, фантазий и реальности, безобразия и красоты!..

Украли бедного Сережу Саотзы! Украли у его японской цивилизации, похитили с его поэтического ландшафта, отторгли от семьи, вырвали из объятий матери, братьев, сестер!..

Кто украл? Кто совершил такое злое дело? Этот добрый старичок, который завел школу для сельских ребят в Татеве? Духовная академия? Или наше старенькое православие? Так косное, так неумелое, из которого «решительно ничего не выходит»? Кажется, именно оно. В. В. Розанов пытается и причину показать, почему «ничего не выходит». Обратившийся в православие японец Сергей Саотзы написал книжку «Как я стал христианином»<sup>5</sup>. Книжку эту прочитал В. В. Розанов.

«Она прекрасна в духе, — говорит он, — в тоне, в описаниях, в рассуждениях, хотя этот дух слишком общий дух, этот тон слишком общий тон, и эти рассуждения и описания — все чрезвычайно общее и не имеет в себе ни одной черты личной. Как будто книжка написана на тему, как вообще и почему вообще делаются христианами, напр<имер>, вот я, Сергей Саотзы. Гораздо позднее, уже приехав в Петербург, я познакомился на службе с одним бывшим воспитанником С.-Петербургской духовной академии, с которым учился вместе, т. е. начинал становиться православным богословом, и этот Сергей или Сережа Саотзы. — «Отличный был малый, отличный товарищ, веселый и живой, очень неглупый». Еще позднее, совсем недавно, мне привелось узнать от одного соседа Рачинского по имени дальнейшую судьбу японца: он сделался офицером и служит в котором-то полку. — «А что же богословие? Духовная академия? Свежее зерно на свежей почве, и привитое такой могущественной рукой (Рачинский), как в смысле просветительном, так и в смысле благочестия?» — «Не знаю; только он пошел в офицеры». Т. е. ничего не вышло ожидаемого. Он пал в русский океан, как желтая капля своей желтой родины, смешавшись и утонув в волнах бесцвет-

ной, во всяком случае, не колоритной в смысле христианства и богословия, русской интеллигенции, и утонул в ней. Ничего не вышло, если вдуматься... Именно Божия-то дела тут и не выходит... “Был японцем, поступил в духовную академию, а потом поступил в офицеры”. Типичный образчик типичного русского существования... И настоящее заглавие книжки, какую написал Саотзы и издал С. А. Рачинский, не “Как я стал христианином”, а “Как Саотзы из Кио-Сиу поступил в С.-Петербургскую духовную академию”. Устраним иллюзию общего, поставим на ее место конкретное, определенное — и пыл остынет. Рачинский — художник, и ему нравится: “Как я стал христианином”. Но я реалист, и мне более нравится: “Как я стал семинаристом”. Уверен, что в этом все дело, и бедный “порченный японец”, если бы ему случилось прочесть эти строки, прямо упал бы мне в объятия и сказал бы: “Да! да! в этом все дело, я только не умел объяснить! Они говорили всем, что делают из меня христианина, и этого я сам хотел, прочтя евангелие, но на самом деле они стали делать из меня бурсака, и вот этого я не хочу; этого я не понимаю, и от этого я убежал в офицеры, потому что это все-таки правда и понятное мне, и более похожее на мое родное Кио-Сиу, чем ужасный подрясничек и стихарчик”».

Так.

У меня была первоначально мысль поспорить немного с уважаемым В. В. Розановым. В столкновении мнений, говорят, брызжет истина... Заинтересована ли, однако, книга, которая перед нами, в изыскании, обнаружении *истины*, той истины, которая не сдается перед чарами обольстительной, но ложной мудрости, которая не уступит своего царственного места ради призрачного первенства общедоступных полу-истин?... Вот вопрос.

Нет, я не буду спорить. Ограничусь ролью скромного хроникера. Доскажу читателю последнее слово в судьбе «Сережи Саотзы». «Порченный японец» вернул свою невинность. Ему ничего не повредили ни Рачинский, ни духовная академия, ни православие, ни ужасный стихарчик...

Он сделался *шпионом*.

Он содержал мелочную лавочку в бывшем русском городе Дальнем и... работал.

«В настоящее время, — писал один корреспондент с театра последней, так несчастной для нас войны, — Сергей Николаевич Саотзы находится в японской действующей армии и состоит при штабе генерала Куроки...»

Я не имею ничего больше сказать.

Зверь остается зверем, в какой бы шкуре он ни увидел свет. И гнуснейший между зверями — самый опасный, самый мститель-



ный, самый злобный, самый предательский и вероломный, — это, может быть, человек.

Есть, однако, какая-то сила, которая сдерживает, умягчает, облагораживает, окончательно упраздняет зверя в человеке.

Сила, которая возводит человека-зверя до небес...

Какая это сила и где ее искать: *около* стен церковных или в самой церкви?

Каждый решает вопрос по-своему. У каждого своя совесть. Лично моя совесть подсказывает мне вот что: нет! я не отрекнусь от своего старенького православия... Ветхо оно очень, косно, немело ужасно, соглашась... Смешно, как этот «ужасный стихарчик», но... не оно ли создало мою бедную, убогую, может быть, не очень даровитую, но добрую, ласковую, «хлебосольную» родину? Ну, этот старичок Рачинский... Смешон, смешон, что и говорить! Конечно, ничего не вышло из его педагогических и апостольских попыток, и однако же, как посравнишь эту жизнь, во всяком случае, исполненную человечности и благородства, с предательскими извивами экзотической змеи, — не приходится краснеть ни за свою родину, ни за то одухотворяющее начало, которое дает ей смысл и место в истории... Так нам кажется. Таково наше убеждение... А затем, что еще сказать о книге, которая дала нам повод для столь продолжительной беседы с читателем? Она чрезвычайно интересна на протяжении всех своих четырехсот страниц, и мы думаем, что в этом сборнике можно найти все то поучительное, интересное, наводящее на размышление, что могло прийти на ум и сердце талантливому наблюдателю жизни, ставшему *около* стен церковных, но не сумевшему или не пожелавшему пройти *далее*, сколько-нибудь приблизить себя к «святая святых» русской истории и русского народа...





**Н. А. БЕРДЯЕВ**

## **Христос и мир**

Ответ В. В. Розанову

(В. Розанов один из величайших русских прозаических писателей, настоящий маг слова). [В. В. Розанов] пугает христиан, как старых, так и новых. Затрудняются отразить его удары, считают самым опасным противником Христа, как будто у Христа могут быть опасные противники, как будто делу Христову могут быть нанесены неотразимые удары. А Розанов враг не христианства только, не «исторического» христианства, а прежде всего самого Христа. Христианство не так для него отвратительно, все же христианство было компромиссом с «миром», в христианство проникло начало домостроительства, в стихии христианства образовался семейственный быт, христианство создало крепко-чувственный быт белого духовенства, христианство разрешило «варенье» кушать, детей плодить, восприняло в себя почти весь «мир». Христос для Розанова хуже христианства: Христос беспощаден к миру, Христос страшен своим мироотрицанием. Христианство все же человечески податливо, снисходительно к слабостям, христианство в истории не поставило так остро дилеммы: «Христос» или «мир»; оно приняло немного Христа и немного мир. И Розанов совсем не так уж враждебен христианскому быту. Ко многому в этом быте он привержен, елейная его любовь к семье из этого быта вышла. Розанов враг Христа, и только отсутствие настоящего мужества заставляет его маскировать эту вражду и вводить в заблуждение добрых людей, которые продолжают думать, что Розанов требует лишь поправок к христианству, что цели его реформаторские, что он готов принять христианство, но с разводом, театрами и вареньем, с сладостями мира. Пора разрушить как то, что Розанов является реформатором христианства, так и то, что он страшный и непобедимый враг веры Христовой, более страшный, чем Ницше. Блестящий, ча-

рующий литературный талант, смелость и чувственная конкретность в постановке вопросов, сильное мистическое чувство — все это поражает в Розанове, почти гипнотизирует при чтении его статей. Но не так страшен черт, как его малюют. Ясное философское и религиозное сознание без особенного труда может вскрыть путаницу в самой постановке розановской темы, и путаницу не случайную, не от умственной слабости Розанова проистекающую, а путаницу роковую, высшим смыслом посланную для целей, подобных розановским.

Тема Розанова, а в значительной степени и «Нового пути»<sup>1</sup>, и прежних и новых «религиозно-философских собраний» \* — Христос и мир, отношение между Христом и миром. Тема эта с необычайным талантом и блеском развита Розановым в статье «Об Иисусе Сладчайшем и о горьких плодах мира», и статью эту я главным образом буду иметь в виду в настоящей (статье) [ответе]. У Бога есть дитя — Христос и дитя — мир. Розанов видит непримиримую вражду этих двух детей Божьих. Для кого сладок Иисус, для того мир делается горек. В Христе мир прогорк. Те, что полюбили Иисуса, потеряли вкус к миру, все плоды мира стали горькими от сладости Иисуса. Все это написано удивительно красиво, ярко, смело и по первому впечатлению опасно. Нужно выбирать между Иисусом и миром, между двумя детьми Божьими. Нельзя соединить Иисуса с миром, нельзя разом их любить, нельзя чувствовать сладость Иисуса и сладость мира. Семья, наука, искусство, радость земной жизни — все это горько или безвкусно для того, кто вкусил небесной сладости Иисуса. По чудесному выражению Розанова, Христос — моно-цветок, и что значат все цветы мира по сравнению с Ним. В «Подражании Христу»<sup>2</sup> воспевается эта сладость Иисуса и горечь всех плодов мира. Да и «Исповедь» бл. Августина<sup>3</sup> полна влюбленности в Христа и нелюбви к миру. Сам Розанов не любит ставить точек над *i*, он двусмыслен, никогда не делает решительных выводов, предоставляя это догадливости читателя. Но дилемма такова: если Иисус божествен, то мир демоничен, если мир божествен, то демоничен Иисус. Розанов прилепился к миру всем своим существом, влюбился в мир и во все мирское, чувствует божественность мира и сладость плодов его. Иисус Сладчайший стал для него демоничен, лик Христа — темен.

Розановская постановка вопроса производит очень сильное впечатление, все возражения со стороны апологетов христианст-

\* Петербургские религиозно-философские собрания 1903–1904 г.<sup>4</sup> были встречей русских писателей, религиозно ищущих, с иерархами Церкви.

ва представляются жалкими и слабыми. Розанов говорит конкретно и на первый взгляд ясно дает почувствовать всю остроту вопроса, он ошеломляет и гипнотизирует. Он грубоват, когда тащит монаха в «театр», но монах действительно представляется беспомощным. Лепет официальных защитников Церкви не убедителен, у всех остается впечатление, что Розанов показал, наглядно показал абсолютную противоположность между Христом и миром, абсолютную несоединимость сладости Христа со сладостью мира. Для Розанова Христос есть дух небытия, дух умаления всего в мире, а христианство — религия смерти, апология сладости смерти. Религия рождения и жизни должна объявить непримиримую войну Иисусу Сладчайшему, отравителю жизни, духу небытия, основателю религии смерти. Христос за-гипнотизировал человечество, внушил нелюбовь к бытию, любовь к небытию. Религия его одно лишь признала прекрасным — умирание и смерть, печаль и страдание. Очень талантливо пишет Розанов, очень красиво говорит, много верного говорит, но сама исходная его точка — ложна, сама его постановка вопроса — призрачна и путана. *Розанов — гениальный обыватель*, и вопрос его в конце концов есть обывательский, мещанский, обыденный вопрос, но сформулированный с блестящим талантом. Тем и поражает Розанов, что он говорит нечто близкое обывательскому сердцу, что это вопрос о сладких и горьких плодах мира задевает мещанина этого мира, смущает официальное христианство, давно уже превратившееся в мещанство. Розановская семья, варенье, театры, сладости и радости благополучной жизни понятны и близки всему обывательскому царству, которое в этом и видит сущность «мира» и «мир» этот хотело бы спасти от гипноза Иисуса Сладчайшего. Для Розанова бытие есть быт, «мир» есть сладость бытовой жизни. Это очень глубоко, это — сила.

Розанов предполагает, что всякий обыватель знает, что такое «мир», ощущает его как приносящий радости быт, семью, варенье, украшение жизни и пр. Обыватель знает, а философ не знает. Вопрос о *мире* очень неясен и неопределен, и в этом выдавании неясного и неопределенного за ясное и определенное, выдавании искомого за найденное — вся хитрость Розанова и весь секрет его кажушейся силы. Что такое мир, о каком мире идет речь? Какое содержание вкладывает Розанов в слово мир, есть ли мир совокупность эмпирических явлений или положительная полнота бытия? Есть ли мир все данное, смесь подлинного с призрачным, доброго со злым, или только подлинное, доброе? Если подымается вопрос о мире как совокупности всего эмпирически данного, в котором сладость варенья занимает та-

кое же место, как и сладость величайшего художественного произведения, то этот вопрос для нас почти неинтересен. Вечное в мире и тленное в мире нельзя брать за одну скобку, и самая постановка вопроса о мире без всяких разъясняющих оценок недопустима. Такой мир есть «мир» в кавычках. Фактический, данный и испытываемый нами мир есть смесь бытия с небытием, действительности с призрачностью, вечности с тлением. Какой мир возлюбил Розанов, какой из миров хочет утверждать, в каком хочет жить? Боюсь, что Розанов требует от религии фактического смешения подлинного и ценного с лживым и ничтожным. Но религиозен не вопрос о мире, а вопрос о подлинном, реальном мире, о полноте бытия, о ценностях мира, о вневременном, нетлеющем содержании мира. Просто утверждать этот «мир» — значит утверждать закон тления, рабскую необходимость, нужду и болезнь, уродство и фальсификацию. Мир во зле лежит, а положительная полнота бытия есть высшая цель и благо, а ценное и радостное в мире есть действительное бытие. Розанов может только беспомощно остановиться перед злом этого мира, отрицать это зло он не может, понять происхождение этого зла он не в силах. Откуда смерть, одинаково ненавистная и Розанову и всем нам, откуда смерть вошла в мир и почему овладела им? Согласится ли Розанов признать смерть существенной особенностью того мира, который он так любит и который защищает против Христа. Не от Христа пошла смерть в мире: Христос пришел спасти от смерти, а не мир умертвить.

Христос пришел отделить подлинное и ценное в мире от лживого и ничтожного, божественное от дьявольского. Христос — Спаситель настоящего мира, подлинного и полного бытия, божественного космоса, поврежденного грехом, а не подлинного мира, не хаоса, не царства князя этого мира, не небытия. Христос осудил мир тленный, призрачный, хаотический: царство Христово не от этого мира, Христос учил не любить этого мира, ни того, что в этом мире. Но мировая фактичность не есть ни этот мир, ни тот мир, а смесь, смешение того мира с этим, повреждение, заболевание творения, и бытие и небытие, и ценность, и ничтожество. Христос должен был прийти, потому что ветхий мир, мир грешный, отпавший от Бога, умирал, гнил, тление подкосило все основы мира, и тоска охватила мир. Старое имманентное ощущение жизни, так пленяющее Розанова в язычестве и юдаизме, сменялось ощущением трансцендентным. Так всегда бывало в результате трагического опыта и на пороге всякого религиозного переворота. Ветхий мир, предоставленный самому себе, не мог спастись от гибели, внутри этого мира не

было силы, спасающей от всеобщей смерти. Самообожествление есть гибель, обожение мира Сыном Божиим есть спасение. Розанов хочет имманентного спасения мира и отвергает трансцендентное спасение как небытие и смерть, он ощущает божественное в творении, но глух и слеп к трагедии, связанной с разрывом между творением и Творцом.

Розановское мироощущение можно назвать *имманентным пантеизмом*, в нем заложено могущественное первоощущение божественности мировой жизни, непосредственной радости жизни, и очень слабо в нем чувство *трансцендентного*, чужда ему трансцендентная тоска и ожидание трансцендентного исхода. Розановщина есть своеобразный мистический натурализм, обожествление натуральных таинств жизни. В XX веке, на закате человеческой истории переживает Розанов натуралистический фазис религиозного откровения, жаждет всемирно-исторической детскости и наивности и не замечает ветхости и старчества этой реставрации первых дней человечества. Розановский натуралистический пантеизм есть впавшая в детство старость человечества. Только в глубокой старости можно вспоминать дни детства и юности, смакуя былые наслаждения. И Розанов, мистик Розанов, в котором были гениальные прозрения, обожествляет блага и радости этой жизни, поклоняется семейному благополучию, с детским вождением смотрит на сладость варенья и незаметно скатывается к апологии обыденности и мещанства. Благополучную жизнь натурального рода он отождествил с миром. Он хотел бы окончательно обожествить жизнь натурального рода. Но мы видели уже, что этот дорогой Розанову «мир» весь подчинен закону тления, а Розанов не в силах умереть так, как умирали Авраам, Исаак и Иаков, благославляя потомство свое, в нем нет такой силы безличности, хорошей лишь для той мировой эпохи; даже он не согласится жить лишь в потомстве своем, и он глубоко задет последующими фазисами мирового религиозного откровения, и его кровь отравлена Иисусом Сладчайшим. Реставрация никогда ведь не бывает тем, что она реставрирует.

И как бы ни была хороша религия Вавилона в свое время (а она и для своего времени была плоха, так как тогда были высшие формы религии), после Христа и всего опыта новой истории реставрация вавилонской религии есть безумие или ребячество. Историческая наука достаточно нас разочаровала в существовании золотого века, а религиозное сознание может видеть в сладком воспоминании о золотом веке не какую-нибудь земную эпоху в прошлой истории человечества, а чувство своей довременной и домировой близости к Божеству, нарушенной грехом. Мы по-

теряли рай, но рай этот был не Вавилон, не юдаизм, не язычество, вообще не земное прошлое человечества, как принужден думать Розанов, а небесное происхождение человека. Но, как увидим, Розанов обращен не только назад, но смотрит и вперед и соединяется с чаяниями земного рая в будущем. Он неожиданно для себя готов дать мистическую окраску построению Вавилонской башни, оправдывает обоготворение ветхого, натурального мира социальными строителями будущего. Он незаметно приближается к пафосу позитивизма и наивного зеленого радикализма, быстрыми шагами идет почти к писаревщине, но остается художником, не делается ремесленником.

Розанов — бытовой человек, у него есть напряженное чувство быта и очень слабое чувство личности. Личного самосознания у Розанова почти нет, настолько нет, насколько может не быть у современного человека. Поэтому Розанов и не сознает трагизма смерти, трагизма личной судьбы, ужаса индивидуальной гибели. У Розанова есть что-то общее с Л. Толстым в жизнеощущении, есть у них точка, в которой одинаково ветхозаветно они чувствуют мировую жизнь. Подобно Толстому, Розанов разворачивает перед миром «детскую пеленку с зеленым и желтым» и пеленкой этой хочет победить смерть и личную трагедию. «Крейцера соната» была только обратной стороной этой пеленки. И Л. Толстой, и Розанов приходят к закреплению обыденности, к мечанству, не соответствующим их религиозным исканиям. Проблему смерти Розанов решает так: было два человека, а родилось у них восемь детей, двое умирают, а в восьми торжествует и умножается жизнь. Спасение от смерти — в рождении, в дроблении каждого существа на множественность частей, в плохой бесконечности, утешение для личности — в распадении личности. Розанов противопоставляет смерти не вечную жизнь, не воскресение, а рождение, возникновение новых, иных жизней, и так без конца, без исхода. Но этот способ спасения от трагедии смерти возможен лишь для существа, которое ощущает реальность рода и не ощущает реальность личности. Утешение это стоит на грани человеководства со скотоводством.

В ветхозаветном и в первобытно-языческом роде личность была затеряна, едва просыпалась от сна, в который поверг ее грех. Вся мировая история была постепенным пробуждением личности, и в нашу многотрудную и многосложную эпоху личность проснулась с криком ужаса и беспомощности, оторвалась от рода и может теперь прилепиться лишь к чему-то новому. Розанов тянет личность обратно в стихию рода и хочет уверить мир, что возврат возможен, что нужно только отказаться от Христа, за-



быть Христа, что Христос виновник этой гипертрофии личного ощущения, что не будь Христа, не было бы трагедии смерти, она не ощущалась бы так болезненно и ужас смерти и гибели проходил бы от взгляда на пеленку, запачканную в зеленое и желтое. Мир для Розанова есть род и родовой быт, личности он не видит в мире, личность где-то по ту сторону мира, с Христом. Ощущение личности и сознание ее трагической судьбы — трансцендентно, переходит за грани того, что Розанов называет «миром», и потому так трагична и мучительна ее судьба в мире сем.

И все что было ценного, настоящего в истории мира, было *трансцендентно*, было жаждой перейти через грани этого мира, разбить замкнутый круг имманентности, было выходом в иной мир, проникновением иного мира в наш мир. Трансцендентное становится имманентно миру — вот в чем смысл мировой культуры. Все творчество человеческое было томлением по трансцендентному, по иному миру, и никогда творчество не было закреплением радостей естественной родовой жизни, не было выражением довольства этим миром. Творчество было всегда выражением недовольства, отражением муки неудовлетворенности этой жизнью. Не только искусство, философия, культ и все творчество культуры являли собой трансцендентное томление человечества, но и любовь, половая любовь, столь для Розанова дорогая и близкая, стоящая в центре всего, была жаждой трансцендентного исхода, томительным желанием разбить грани этого мира. Половая любовь есть уже более, чем этот «мир», есть уже неудовлетворенность этим «миром». Розанов сам признает трансцендентный характер пола.

Оправдать любовь, искусство, философию, все творческие порывы — и значит открыть их трансцендентный характер, увидеть в них потенции выхода из этого мира. Семья есть еще этот мир, есть замыкание горизонтов, а любовь есть уже другой мир, есть расширение горизонтов до бесконечности. Позитивизм есть этот мир, навеки замкнутый горизонт, а метафизика есть иной мир, есть даль. Имманентный пантеизм, к которому тяготеет Розанов, и есть опозитивизированный позитивизм, особый вид мистического позитивизма. Общественное устройство человеческого царства есть этот мир, все тот же замкнутый горизонт, а мечта о соединении людей в царстве Божию на земле есть уже другой мир, преодоление всякой замкнутости. Любят говорить о греческой культуре и утверждение в ней мира противопоставлять отрицанию мира в христианстве. Но величайшее в греческой культуре — философия Платона и греческая трагедия — было выходом из этого мира, сознанием недостаточности имманентно

взятого мира, было уже путем к христианству. Вся средневековая культура, богатая творчеством, полная красоты, была построена на трансцендентном чувстве. В культуре этой была и любовь с культом Прекрасной Дамы, и искусство, и философия, и рыцарство, и всенародные празднества. Было ли все это, по Розанову, утверждением или отрицанием мира? Привожу все эти примеры, чтобы наглядно показать всю шаткость постановки вопроса о «мире». Того «мира», о котором хлопочет Розанов, вовсе и не существует.

Оправдать религиозно историю, культуру, плоть мира — не значит оправдать семью, родовой быт и «варенье», а значит оправдать трансцендентную жажду по иному миру, воплощающуюся в мировой культуре, утверждать в этом мире жажду вселенского исхода из естественного порядка природы, злого и испорченного\*. Я даже осмеливаюсь думать, что между миром и семьей, во имя которой прежде всего Розанов восстал на Христа, существует [глубокая неистребимая] противоположность. Семья сама претендует быть миром и жить по своему закону, [семья] (она часто) отнимает человека от мира, нередко убивает его для мира и для всего, что в мире творится. [Между миром и семьей существует гораздо больший антагонизм, чем между миром и Христом. Достаточно уже доказано и показано, что ничто так не мешает вселенскому ощущению мировой жизни и мировых задач истории, как крепость родовой семьи. И не только между семьей и миром существует противоположность, противоположность существует между семьей и любовью, в семье слишком часто хоронится любовь.]

Всякий закрепленный, замкнутый быт противен творчеству, в вековом находится антагонизме со вселенной и вселенским. А Розанов хочет нам выдать семью и быт за вселенную, за великий мир Божий. Враждебность родového быта и родовой семьи вселенским творческим порывам не требует особых доказательств, это факт почти очевидный. Вот почему розановский «мир» представляется мне фикцией, которая кажется ясно ощутимой бытовому обывательскому сознанию. «Мир» — это есть смесь бытия с небытием, и религиозно важен не вопрос о «мире», а вопрос о всемирно-историческом торжестве в этом «мире» *бытия*. А им-

---

\* Достаточно почитать Иустина философа<sup>5</sup>, Иринея Лионского<sup>6</sup> и др. апологетов и учителей Церкви, чтобы понять, как неверен тот взгляд, который видит в христианстве вражду к плоти мира. Именно христианство защищало плоть мира и земли от спиритуалистического отрицания платонизма, гностицизма, и пр.

манентная религия этого мира есть апофеоз мещанства, к которому одной своей стороной и прилегает Розанов. «Мир» этот, сам по себе взятый, достоин лишь огня, но в его истории утверждается иной, настоящий мир, в нем есть богочеловеческие связи, в нем есть творческие порывы к божественному космосу, в нем есть вселенский путь к новому небу и новой земле, в нем есть освобождение от зла, и с этим связан религиозный вопрос об утверждении мира.

Все более и более вырождающееся монашество отрицает не мир, — мир этот контрабандным путем проникает в монашеский быт, варенья много в монастырях и мало в них «пепельной грусти» Евангелия, — монашество отрицает творчество, проникновение в этот мир иного мира, отрицает историю освобождения от зла этого мира. Монашество погрязло в этом «мире», теряет связь с аскетической христианской мистикой; официальное христианство давно уже превратилось в быт, в котором есть много любезного розановскому сердцу. Но монашество продолжает отрицать ценности мира, ненавидит порывы творчества, враждебно к освобождению от власти этого мира, дорожит злом мира как оправданием своего существования. Монахи, епископы, князья Церкви, исторические хозяева религии — все это (обыкновенно) слишком мирские, бытовые люди, поставленные царствами этого мира. Мы не верим, что люди эти не от мира сего, их отрицание мира есть лишь одна из хитростей этого «мира». И мы [восстаем] (готовы восстать) против иерархов Церкви, против официального христианства, не во имя мира, во имя мира иного, во имя творчества и свободы, во имя жажды разбить грани этого мира, а не закрепить их. Всемирно-исторический смысл аскетической христианской мистики — в вызове всему порядку природы, в противоборстве естественной необходимости, в обожении человеческой природы слиянием с Христом, в победе над смертью. Этот аскетизм христианских святых не был недоразумением или злом, он имел положительную миссию, имел космические последствия в деле мирового спасения. Но где теперь святые? Можно ли еще говорить в наше время о существовании аскетической мистики? Наше преодоление христианского аскетизма не есть отрицание его великой миссии, не есть принятие этого мира. Новое религиозное сознание утверждает не этот хаотический и рабский мир, а космос, святую плоть мира. Плоть мира, которая должна быть религиозно освящена, освобождена и спасена — трансцендентна, так же трансцендентна, как и дух. Плоть эта не есть материя этого мира, плоть эта явится в результате победы над тяжестью и скованностью материального

мира. Хилиастические надежды на завершение истории Царством Божиим на земле, чувственным царством Христовым не есть ожидание царства мира сего: хилиазм не есть царство от мира сего, но в мире сем. А с хилиазмом связано всемирно-историческое воскресение плоти, религиозное утверждение плоти мира. Какую же плоть любит Розанов, религию какой плоти он проповедует?

Вопрос о происхождении и сущности зла для Розанова неразрешим и даже непонятен. Пантеизм всегда односторонний, не ощущает мирового трагизма, в нем заключена лишь часть истины. Если мир так хорош и божествен, если в нем самом есть имманентное оправдание, если не нужен никакой трансцендентный исход из мировой истории, то непостижимо, откуда явилось зло этого мира и ужас здешней жизни. Для Розанова зло есть какое-то недоразумение, случай, роковая ошибка истории, вступившей на ложный путь. Откуда явился Христос, откуда власть Его темного, по Розанову, Лица? Почему религия смерти имеет такую гипнотическую власть над человеческими сердцами? Почему смерть косит мировую жизнь? Розанов не мог бы ответить ни на один из этих вопросов. Он прячется от зла в радости семейной жизни, в сладость быта, вареньем хочет подсластить горькую пиллюлю жизни. Розанов кричит: надоела трагедия, утомили страдания, ничего не хочу слышать о смерти, не могу уже воспринимать темных лучей, хочу радостей жизни, хочу воспринимать лишь божественный мир. Всем надоело, все утомлены, но ничего не поделаешь, зло есть действительность, а не гипноз недоразумения. Пол, кричит Розанов, — вот спасение, вот божественное, вот преодоление смерти. Пол хочет Розанов противопоставить Слово. Но пол отравлен в своей первооснове, пол тлеет и поддерживает тление, пол темен, и лишь Слово может спасти его.

Если видеть в Христе темное начало небытия, враждебное божественному миру, и то это уже очень глубокий провал пантеизма, это надлом, которого пантеизм не в силах выдержать. А Розанов слишком мистик, слишком задет личностью Христа, чтобы объяснять рационалистически таинственную мощь этой личности. Розанов ощущает тут иррациональную тайну. Но зло мира — тоже иррациональная тайна, и чистый пантеизм останавливается перед этой тайной с чувством беспомощности и неловкости. Розанов прямо говорит, что религия смерти пошла от Христа. Пусть он также прямо скажет, откуда пошла смерть, как совместима она с имманентной божественностью мира.

Хваленый «мир» Розанова есть кладбище, в нем все отравлено трупным ядом. На кладбище хочет Розанов вырастить

цветы божественной жизни и утешиться плодородием разлагающихся трупов. Розанов обоготворяет биологический факт рождения, но мистическая загадка жизни не вмещается в биологическом рождении во времени, она связана с тайной смерти. Розанов как бы не хочет видеть *двойственности человеческой природы*, ее принадлежности к *двум мирам*, закрывает глаза на противоречие между вечными порывами человека, между заключенной в нем потенцией абсолютной жизни и относительностью здешней жизни человека, ограниченностью всех здешних осуществлений. А религия имеет этот метафизико-антропологический корень, в двойственности человеческой природы коренится религиозная жажда. Религия Христа отрицает в этом мире его ограниченность и рабскую скованность во имя абсолютной безграничности и свободы — вот в чем смысл противоречия. Если бы у Розанова было глубокое ощущение личности, ощущение трагической анатомии всякого индивидуального человеческого бытия, то он бы не настаивал так на дилемме: «мир» или Христос. Сначала должна быть поставлена дилемма: *мир или личность*. В «розановском мире» личность гибнет со всеми своими абсолютными потенциями. Является Христос: в Христе спасается личность и осуществляются все ее абсолютные потенции, ее богосыновство, она призывается к участию в божественной жизни. Христос и есть тот мир, в котором утверждается бытие личности в божественной гармонии. И потому дилемма — «Христос или мир» лишается всякого религиозного смысла или приобретает смысл иной, не розановский. Истинное бытие есть личность, а не род, истинное вселенское соединение личностей есть богочеловеческая соборность, а не безличная природа. Утверждать полноту бытия в мире — значит утверждать иной, настоящий мир, а не природный порядок. Но Розанов не верит в сверхчувственное, он стирает всякое различие между чувственностью мистической и чувственностью эмпирической (это и есть имманентный пантеизм), и потому религия Христа представляется ему призрачным утешением, а не реальным исходом. Я задам Розанову один вопрос, от которого все зависит. Воскрес ли Христос, и что станет с его дилеммой, — мир или Христос, — если Христос воскрес? Поверив в реальность воскресения, будет ли он настаивать на том, что религия Христа есть религия смерти? Но Розанов со всеми рационалистами и позитивистами принужден видеть в воскресении лишь обман, либо миф, и для него в Христе торжествует смерть, а не жизнь. Вот почему борьба Розанова с Христом перестает быть мистически страшной. Страшно было бы, если бы, поверив в

реальность воскресения, он все-таки имел бы силу показать, что религия Христа есть религия смерти. А что «реальные» социальные реформы гораздо действительнее для жизни, чем «призрачное» воскресение Христа, это мы слышали от всех позитивистов и нисколько этого не страшимся. Розанов незаметно скатывается по наклонной плоскости к вульгарному позитивизму, у него пробивается молодой пушок позитивизма. [И странное впечатление в нем производит юношеское увлечение радикальными социальными идеями. То, что говорит теперь Розанов, обычно говорят в несравненно более юном возрасте. Скоро он будет переживать медовый месяц своего романа с позитивизмом и социализмом, последними результатами безрелигиозной европейской культуры.]

[Бывший консерватор, почти реакционер, Розанов, сотрудник «Русского вестника» и «Московских ведомостей», начинает флиртовать со стихией революции, незаметно перерождается в радикала. Но политическая неосведомленность, я бы сказал, почти малограмотность мешает Розанову разобраться в существующих политических течениях, он остается чуждым политике в собственном смысле слова. К великому соблазну всех тех, которые почитают этого первоклассного писателя, прислушиваются к его словам, физиономия его остается двусмысленной, радикализм его кажется несерьезным, капризом его темперамента. Я думаю, что тяготение Розанова к социальному радикализму, любовь его к «левым» имеет более глубокие корни. Розанов чувствует, что дело имманентного пантеизма и натуралистической мистики может выиграть от союза с нарождающейся религией социализма, с прогрессивным социальным устройством этой жизни. Социализм обещает обоготворить и устроить природный мир и природное человечество. Пантеизм розановского типа мог бы обогатить и опоэтизировать прозу социального строительства, одухотворить радости материальной жизни. Имманентное отношение к этому миру и радостям этой жизни и вражда к трансцендентному соединяет Розанова с социализмом и даже с позитивизмом. Но «левые» такие ремесленники, что не хотят воспользоваться Розановым, и Розанов продолжает терпеть от них немало обид: Розанов, конечно, всегда останется мистиком, в нем слишком сильно непосредственное чувство, он никогда не согласится переселиться в кухню, бьющая через край талантливость его всегда будет сильнее его бестолковой «левости», его дилетантского и обывательского радикализма. Есть настоящий, глубокий радикализм, и радикализм розановской постановки вопроса о поле и плоти гораздо

подлиннее, искреннее и значительнее его флирта с «левостью». \*]

Заслуги Розанова в критике официального христианства и официальной церковности огромны, своими темами он послужил новому религиозному сознанию. (Он с небывалым радикализмом поставил перед христианским сознанием вопрос об отношении к жизни мира и особенно к источнику жизни — полу.) Он оказал большое влияние на Мережковского и «Новый путь», почти определил темы «религиозно-философских собраний». (Он много сделал для улучшения положения незаконнорожденных.) Розанова очень боялись, с ним очень носились, и влияние его с одной стороны было благотворным и творческим, но с другой — вредным и слишком давящим. Розанов всех загипнотизировал своей дилеммой «Христос или мир», в то время как такой дилеммы, какую Розанов ставит, не существует. Она порождена смешением и темнотой сознания. Тема Розанова очень жизненна, очень разрушительна для официального христианства, для церковной казенщины, но Христа не касается, к Христу может быть отнесена лишь по слабости сознания, лишь в затмении. Когда Розанов говорит, что христианского брака не существует, что Церковь проклинает любовь, когда он ставит вопрос о таинстве брака так, что если это таинство подлинно существует, то пусть в церкви происходит соединение полов, — он могуществен и радикален, он гениально смел и для нас важен. Официальная Церковь ничего Розанову не могла ответить и не ответила. Но что общего имеет этот религиозно-проникновенный вопрос с обоготворением этого мира, имманентно взятого, с попыткой сокрушить Христа бытом? Историческая Церковь очень даже признает семейный быт, да и вообще питается бытом, а таинство любви не признает, не видит трансцендентности таинства брака. Официальная церковность враждебна не этому миру и кристаллизовавшемуся в нем быту, она враждебна космосу, божественной плоти мира, и в этом трагедия Церкви. Церковь как бы враждебна самой идее Церкви как космического организма. И рождается новое религиозное сознание, жаждущее преображенной плоти, а не первобытной плоти. Первобытная, языческая, тлеющая плоть продолжает контрабандно жить в Церкви, а новой воскресшей плоти в ней еще нет, не является. Розанов произносит свой суд

---

\* Писал я это более двух лет тому назад. С тех пор Розанов очень изменился, вернулся к прежним своим настроениям. За последние годы ему принадлежит ряд блестящих, религиозно-проникновенных статей.



над Церковью как представитель этой старой, языческой, тлеющей плоти, которая и без того слишком много занимает места в Церкви. [Вот почему «религиозно-философским собраниям» не следовало бы так поддавать под влияние Розанова.]

Христос — совершенное, божественное дитя Бога, образ Космоса. Христос-дитя есть абсолютная норма для мира-дитяти. Во имя Сына Своего — Логоса сотворил Бог мир, через сына мир усыновляется Богу, возвращается к Отцу. Христос божественный посредник между Богом и миром: если бы не было Христа, то мир не был бы дитя Божье, и пантеист не мог бы почувствовать свою частичную истину — божественность мира. Только мир, принявший в себя Христа и вошедший в Христа, становится дитятею Бога, божественным. Этот мир есть отпадение от Бога, и потому он во зле лежит, потому божественность его надломлена, болезненна, наш мир — сомнительно божественный. Но у мира осталась связка с Богом, эта связка в мистическом порядке бытия есть Сын Бога, Бого-Человек, Бого-Мир, вечный заступник. Связка эта воплотилась в истории в личности Христа. Через Бого-Человека, Бого-Мира — мир становится божественным, обожается. Между Христом и миром существует лишь эмпирически кажущаяся противоположность, от слабости человеческого сознания исходящая, но под ней скрыта мистически-реальная соединенность. В исторических пределах христианства соединенность Христа и мира, божественность человечества и мира недостаточно видна, так как не закончилась космическая эпоха искупления. Лишь в божественной диалектике Троичности окончательно завершается соединение мира с Богом, лишь в грядущей Церкви воскреснет плоть мира. В Духе исчезает всякая противоположность между двумя детьми Бога, между дитятей-миром и дитятею-Христом. Христос явил Собой Богочеловека, Дух Святой явит богочеловечество. В богочеловечестве произойдет обожение человечества, обожение мировой плоти. Но новая святая плоть не может быть плотью старой, языческой, тлеющей, той, о которой заботится Розанов: но в новый мир войдут все элементы нашего мира, но преображенные, ничто не уничтожится, но все просветится. Мы смотрим вперед, а не назад, на грядущее Царство Божие, а не на потерянный рай прошлого. Мы хотели бы быть религиозными революционерами, а не реакционерами. [По причудливой исторической иронии, религиозное реакционерство иногда соединяется с социальным революционерством.] Розанов стремится не к царству Духа, не к царству Бога Единого и Троичного, а к царству Бога-Отца: но царство Бога-Отца не может уже быть, оно несовместимо с мис-

тической диалектикой Троичности, окончательно соединяющей Творца с Творением, оно ничем почти не отличается от атеизма, от которого пантеизм отделен неуловимой границей.

В мире нарождается новая религиозная душа. Душа эта глубоко связана с самой старой, с тем, что было вечного в старой душе, но в ней открываются новые горизонты. Для нового религиозного настроения и сознания, пережившего весь опыт новой истории, всю глубину сомнений и отрицаний, вопрос о Церкви ставится иначе, чем для обветшало́го сознания. Мы ищем Церковь, в которую вошла бы вся полнота жизни, весь мировой опыт, все ценное в миру, все, что было подлинным бытием в истории. За стенами Церкви ничего не должно остаться, кроме небытия. Церковь есть космическая сила, обоженная душа мира, церковь и есть божественный мир, не погибающая связь между Богом и миром. Вхождение в Церковь и есть вхождение в подлинный мир, а не выхождение из мира. Люди старых религиозных чувств и старого сознания идут в Церковь спасаться от мировой жизни, замаливать грехи, накопившиеся в мире, и все, чем они живут, оставляют у входа в ограду Церкви, все самое дорогое для них, самое ценное в их жизни, все творческие порывы, [любовные грезы,] вся сложность их опыта, весь путь мировой истории — все это не входит с ними в Церковь, не смеет войти. Этого дуализма мы уже не можем вынести, этот дуализм стал безбожным, он умерщвляет религиозную жизнь, являясь хулой на Св. Духа. В Церкви должно быть все наше дорогое, все наше ценное, все нами выстраданное в мире — наша любовь, наша мысль и поэзия, все наше творчество, отлученное от Церкви старым сознанием, все наши великие мирские люди, все наши приподнимающие порывы и мечты, все, что было трансцендентного в нашей жизни и жизни мировой. Церковная жизнь есть полнота жизни, богатство бытия, а не семинарско-поповско-монашеский колпак, который держат в своих руках власть имеющие. Достоевский и Вл. Соловьев больше всех сделали для нового религиозного движения, это самые большие наши люди, наши учителя, но их религиозная душа наполовину была еще старая. Достоевский и Вл. Соловьев были очень сложные люди, глубоко пережившие весь опыт новой истории, прошедшие через все соблазны и сомнения, в них накопилось много новых богатств. Но в Церковь они шли по-старому, все их богатства не входили с ними в Церковь, весь их опыт не делал этой Церкви обширнее и поместительнее, в Церкви они себя лишь отрицали. Религиозно-философская система Вл. Соловьева гораздо шире его церковной религиозности, в ней есть идея *богочеловечества*, а в

Церкви его нет еще богочеловеческой жизни. Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе» открывает религиозные дали, чувствует несказанную религиозную свободу, а ходит в Церковь с настроением, замыкающим все горизонты. Вот почему я думаю, что ни одна из существующих исторических церквей не есть вселенская Церковь, не заключает в себе еще полноты откровения, а мир идет к Вселенской Церкви, жаждет освятить в ней свою жизнь\*.

Розанов скажет, что мы пантеизируем идею Церкви, но пантеизирование это ничего общего не имеет с его имманентным пантеизмом. Вселенская Церковь, вмещающая всю полноту бытия, есть Церковь Бога Единого и Троичного, Церковь св. Троицы; в ней окончательно исчезает кажущаяся противоположность между миром и Христом. В свете нового сознания рождается иная дилемма: официально-казенное христианство или Христос. Официально-казенное христианство есть старый мир, быт; Христос есть новый мир, противоположный всякому быту.

1907 г.



---

\* Этим, конечно, я не отрицаю, что путь к предельной полноте Вселенской Церкви лежит через святыню исторических церквей, через их таинства.



**Н. А. БЕРДЯЕВ**

## **О «вечно бабьем» в русской душе**

### **I**

Вышла книга В. В. Розанова «Война 1914 года и русское возрождение»<sup>1</sup>. Книга — блестящая и возмущающая. Розанов сейчас — первый русский стилист, писатель с настоящими проблесками гениальности. Есть у Розанова особенная, таинственная жизнь слов, магия словосочетаний, притягивающая чувственность слов. У него нет слов отвлеченных, мертвых, книжных. Все слова — живые, биологические, полнокровные. Чтение Розанова — чувственное наслаждение. Трудно передать своими словами мысли Розанова. Да у него и нет никаких мыслей. Все заключено в органической жизни слов и от них не может быть оторвано. Слова у него не символы мысли, а плоть и кровь. Розанов — необыкновенный художник слова, но в том, что он пишет, нет аполлонического претворения и оформления. В ослепительной жизни слов он дает сырье своей души, без всякого выбора, без всякой обработки. И делает он это с даром единственным и неповторимым. Оне презирует всякие «идеи», всякий логос, всякую активность и сопротивляемость духа в отношении к душевному и жизненному процессу. Писательство для него есть биологическое отправление его организма. И он никогда не сопротивляется никаким своим биологическим процессам, он их непосредственно заносит на бумагу, переводит на бумагу жизненный поток. Это делает Розанова совершенно исключительным, небывалым явлением, к которому трудно подойти с обычными критериями. Гениальная физиология розановских писаний поражает своей безыдейностью, беспринципностью, равнодушием к добру и злу, неверностью, полным отсутствием нравственного характера и духовного упора. Все, что писал Розанов, писатель богатого дара и большого жизненного значения, есть

огромный биологический поток, к которому невозможно приставать с какими-нибудь критериями и оценками.

Розанов — это какая-то первородная биология, переживаемая как мистика. Розанов не боится противоречий, потому что противоречий не боится биология, их боится лишь логика. Он готов отрицать на следующей странице то, что сказал на предыдущей, и остается в целостности жизненного, а не логического процесса. Розанов не может и не хочет противостоять наплыву и напору жизненных впечатлений, чувственных ощущений. Он совершенно лишен всякой мужественности духа, всякой активной силы сопротивления стихиям ветра, всякой внутренней свободы. Всякое жизненное дуновение и ощущение превращают его в резервуар, принимающий в себя поток, который потом с необычайной быстротой переливается на бумагу. Такой склад природы принуждает Розанова всегда преклоняться перед фактом, силой и историей. Для него сам жизненный поток в своей мощи и есть Бог. Он не мог противостоять потоку националистической реакции 80-х годов, не мог противостоять потоку декадентства в начале XX века, не мог противостоять революционному потоку 1905 г., а потом новому реакционному потоку, напору антисемитизма в эпоху Бейлиса, наконец, не может противостоять могучему потоку войны, подъему героического патриотизма и опасности шовинизма.

Многих пленяет в Розанове то, что в писаниях его, в своеобразной жизни его слов чувствуется как бы сама мать-природа, мать-земля и ее жизненные процессы. Розанова любят потому, что так устали от отвлеченности, книжности, оторванности. В его книгах как бы чувствуют больше жизни. И готовы простить Розанову его чудовищный цинизм, его писательскую низость, его неправду и предательство. Православные христиане, самые нетерпимые и отлучающие, простили Розанову все, забыли, что он много лет хулил Христа, кощунствовал и внушал отвращение к христианской святыне, Розанов все-таки свой человек, близкий биологически, родственник, дядюшка, вечно упоенный православным бытом.

Он, в сущности, всегда любил православие без Христа и всегда оставался верен такому языческому православию, которое ведь много милее и ближе, чем суровый и трагический дух Христов. В Розанове так много характерно-русского, истинно-русского. Он — гениальный выразитель какой-то стороны русской природы, русской стихии. Он возможен только в России. Он зародился в воображении Достоевского и даже превзошел своим неправдоподобием все, что представлялось этому гениальному

воображению. А ведь воображение Достоевского было чисто русское, и лишь до глубины русское в нем зарождалось. И если отродно иметь писателя, столь до конца русского, и поучительно видеть в нем обнаружение русской стихии, то и страшно становится за Россию, жутко становится за судьбу России. В самых недрах русского характера обнаруживается вечно-бабье, не вечно-женственное, а вечно-бабье. Розанов — гениальная русская баба, мистическая баба<sup>2</sup>. И это «бабье» чувствуется и в самой России.

## II

Книга Розанова о войне заканчивается описанием того потока ощущений, который хлынул в него, когда он однажды шел по улице Петрограда и встретил полк конницы. «Я все робко смотрел на эту нескончаемо идущую вереницу тяжелых всадников, из которых каждый был так огромен сравнительно со мной!.. Малейшая неправильность движения — и я раздавлен... Чувство своей подавленности более и более входило в меня. Я чувствовал себя обвеванным чужою силой, — до того огромной, что мое “я” как бы уносилось пушинкою в вихре этой огромности и этого множества... Когда я вдруг начал чувствовать, что не только “боюсь”, но и — обворочен ими, — зачарован странным очарованием, которое только один раз — вот этот — испытал в жизни. Произошло странное явление: преувеличенная мужественность того, что было предо мною, — как бы изменила структуру моей организации и отбросила, опрокинула эту организацию — в женскую. Я почувствовал необыкновенную нежность, истому и сонливость во всем существе... Сердце упало во мне — любовью... Мне хотелось бы, чтобы они были еще огромнее, чтобы их было еще больше... Этот колосс физиологии, колосс жизни и должно быть источник жизни — вызвал во мне чисто женственное ощущение безвольности, покорности и ненасытного желания “побывать вблизи”, видеть, не спускать глаз... Определенно — это было начало влюбления девушки» (с. 230–232). И Розанов восклицает: «Сила — вот одна красота в мире... Сила — она покоряет, перед ней падают, ей, наконец, — молятся... Молятся вообще “слабые” — “мы”, вот “я” на тротуаре... В силе лежит тайна мира... Огромное, сильное... Голова была ясна, а сердце билось... как у женщин. Суть армии, что она всех нас превращает в женщин трепещущих, обнимающих воздух...» (с. 233–234). Это замечательное описание дает ощущение прикосновения, если

не к «тайне мира и истории», как претендует Розанов, то к какой-то тайне русской истории и русской души. Женственность Розанова, так художественно переданная, есть также женственность души русского народа. История образования русской государственности, величайшей в мире государственности, столь непостижимая в жизни безгосударственного русского народа, может быть понята из этой тайны. У русского народа есть государственный дар покорности, смирения личности перед коллективом. Русский народ не чувствует себя мужем, он все невестится, чувствует себя женщиной перед колоссом государственности, его покоряет «сила», он ощущает себя розановским «я на тротуаре» в момент прохождения конницы. Сам Розанов на протяжении всей книги остается этим трепещущим «я на тротуаре». Для Розанова не только суть армии, но и суть государственной власти в том, что она «всех нас превращает в женщин, слабых, трепещущих, обнимающих воздух...» И он хочет показать, что весь русский народ так относится к государственной власти. В книге Розанова есть изумительные, художественные страницы небывалой апологии самодовлеющей силы государственной власти, переходящей в настоящее идолопоклонство. Подобного поклонения государственной силе, как мистическому факту истории, еще не было в русской литературе. И тут вскрывается очень интересное соотношение Розанова со славянофилами.

### III

Книга Розанова свидетельствует о возрождении славянофильства. Оказывается, что славянофильство возродила война, и в этом — основной смысл войны. Розанов решительно начинает за здравие славянофильства. И сам он повторяет славянофильские зады, давно уже отвергнутые не «западнической» мыслью, а мыслью, продолжавшей дело славянофилов. После В. Соловьева нет уже возврата к старому славянофильству. Но еще более, чем мыслью, опровергнуты славянофильские зады жизнью. Розанову кажется, что патриотический и национальный подъем, вызванный войною, и есть возрождение славянофильства. Я думаю, что нынешний исторический день совершенно опрокидывает и славянофильские, и западные платформы, и обязывает нас к творчеству нового самосознания и новой жизни. И мучительно видеть, что нас тянут назад, к отживающим формам сознания и жизни. Мировая война, конечно, приведет к преодолению старой постановки вопроса о России и Европе, о Востоке и



Западе. Она прекратит внутреннюю распря славянофилов и западников, упразднив и славянофильство, и западничество, как идеологии провинциальные, с ограниченным горизонтом.

Неужели мировые события, исключительные в мировой истории, ничему нас не научат, не приведут к рождению нового сознания и оставят нас в прежних категориях, из которых мы хотели вырваться до войны? Русское возрождение не может быть возрождением славянофильства, оно будет концом и старого славянофильства, и старого западничества, началом новой жизни и нового сознания. Розанова же война вдохновила лишь на повторение в тысячный раз старых слов, потерявших всякий вкус и аромат: «вся русская история есть тихая, безбурная; все русское состояние — мирное, безбурное. Русские люди — тихие. В хороших случаях и благоприятной обстановке они неодолимо вырастают в ласковых, приветных, добрых людей. Русские люди — «славные» (с. 51). Но с неменьшим основанием можно было бы утверждать, что русская душа — мятежная, ищущая, душа странническая, взыскующая Нового Града, никогда не удовлетворяющаяся ничем средним и относительным. Из этой прославленной и часто фальшиво звучащей «тихости, безбурности и славности» рождается инерция, которая мила вечно-бабьему сердцу Розанова, но никогда не рождается новой, лучшей жизни. В розановской стихии есть вечная опасность, вечный соблазн русского народа, источник его бессилия стать народом мужественным, свободным, созревшим для самостоятельной жизни в мире. И ужасно, что не только Розанов, но и другие, призванные быть выразителями нашего национального сознания, тянут нас назад и вниз, отдаются соблазну пассивности, покорности, рабству у национальной стихии, женственной религиозности. Не только вечное, но и слишком временное, старое и устаревшее в славянофильстве хотели бы восстановить С. Булгаков, В. Иванов, В. Эрн. Огромной силе, силе национальной стихии, земли не противостоит мужественный, светоносный и твердый дух, который призван овладеть стихиями. Отсюда рождается опасность шовинизма, бахвальство снаружи и рабье смирение внутри. И мир внутри России, преодоление вражды и злобы делают невозможным именно Розанов и ему подобные. Эти люди странно понимают взаимное примирение и воссоединение враждующих партий и направлений, так понимают, как понимают католики соединение Церквей, т. е. исключительно присоединение к одной стороне, на которой вся полнота истины. Этот старый способ не замيرит исторической распри «правого» и «левого» лагеря. Покаяние должно быть взаимным, и амнистия должна быть взаимной, и

согласие на самоограничение и жертву должно быть взаимным. Берилось, что война приведет к этому, но пока этого нет, и наши националистические идеологи мешают этому. Розановские настроения служат делу злобы, а не мира.

Начав за здравие славянофилов, Розанов кончает за упокой. Он отдает решительное предпочтение России официальной и государственной перед Россией народной и общественной, и славянофильству официальному перед славянофильством общественным. Славянофилы считали русский народ народом безгосударственным, и очень многое на этом строили. Розанов, напротив, считает русский народ народом государственным по преимуществу. В государственности Розанова, которая для него самого является неожиданностью, ибо в нем самом всего менее было государственности и гражданственности, — он всегда был певцом частного быта, семейного родового уклада, — чувствуется приспособление к духу времени, бабья неспособность противостоять потоку впечатлений нынешнего дня. Мнение славянофилов о безгосударственности русского народа требует больших корректив, так как оно слишком не согласуется с русской историей, с фактом создания великого русского государства.

Но способ, которым Розанов утверждает государственность и поклоняется его силе, — совсем не государственный, совсем не гражданский, совсем не мужественный. Розановское отношение к государственной власти есть отношение безгосударственного, женственного народа, для которого эта власть есть всегда начало вне его и над ним находящееся, инородное ему. Розанов, как и наши радикалы, безнадежно смешивает государство с правительством и думает, что государство — это всегда «они», а не «мы». Что-то рабье есть в словах Розанова о государственности, какая-то вековая отчужденность от мужественной власти. Это какое-то мление, недостойное народа, призванного к существованию совершеннолетнему, мужественно-зрелому. В своем рабьем и бабьем млении перед силой государственности, импонирующей своей далекостью и чуждостью, Розанов доходит до того, что прославляет официальную правительственную власть за ее гонения против славянофилов. Новый поток впечатлений хлынул на Розанова. Славянофилы, которые в начале книги выражали Россию и русский народ, в конце книги оказываются кучкой литераторов, полных самомнения и оторванных от жизни. Истинным выразителем России и русского народа было официальное правительство, которому славянофилы осмеливались оказывать оппозицию. «Славянофильство» умерло, потому что оно оказалось ненужным и напрасным, только мешающим в параллель-

ной мысли тому «официальному правительству», которое одно и могло сделать... Они (славянофилы) были именно малодушны о русской истории, твердя, но отвлеченно, о ней, что она святая... Святая Русь им казалась менее умной и менее правдивой, чем их литературная и общественная партия. И вот откуда на них гонение, «довольно понятное» (с. 122). Возрождение славянофильства оказывается совсем ненужным. Государственная власть и была истинным славянофильством, рядом с которым жалко и ненужно славянофильство литературное, идеологическое. Славянофильство воскреснет лишь под тем условием, что оно покается перед официальным правительством и пойдет за ним. Идолопоклонство перед фактом, как силой, достигло завершения.

Славянофилы не были способны на такое идолопоклонство и потому были бессильны. «Пятном на славянофильстве было то, что они за официальнойностью не видели сердца, которое всегда билось. Мундир распахнулся, — и мы увидели сердце, которое всегда болело. И болело по-своему, никому не подражая, болело из себя» (с. 127). «Несчастье, ошибка и порок славянофилов заключался именно в таком воздушном представлении своей якобы воздушной истории, якобы безматериальной истории» (с. 125). Славянофильство оказывается несколько не лучше западничества, оно — так же отвлеченно, литературно, идеологично, оторвано от подлинной жизни, которая есть Россия «официальная». Славянофилы действительно преклонялись больше перед русской «идеей», чем перед фактом и силой. Розанов завершает славянофильство преклонением перед силой и фактом. Презрение Розанова к идеям, мыслям, литературе не имеет пределов. Чиновник для него выше писателя. Чиновничья служба — дело серьезное, а литература — забава. Русский народ — государственный и серьезный народ. «Ему было любо государство в самих казнях, — ибо, казня, государство видело в нем душу и человека, а не игрушку, с которой позабавиться. Увы, литература только “забавилась” около человека» (с. 135). Розанов хочет с художественным совершенством выразить обывательскую точку зрения на мир, тот взгляд старых тетушек и дядюшек, по которому государственная служба есть дело серьезное, а литература, идеи и пр. — пустяки, забава. Но до чего все это литература у самого Розанова. Он сам насквозь литератор, и литератор болтливый. Розанов был когда-то чиновником контрольного ведомства. Но вряд ли он захочет остаться в истории в таком качестве. Он захочет остаться в истории знаменитым литератором и ни от одной строчки, написанной им, не откажется. Как много литера-

туры в самом чувстве народной жизни у Розанова, как далек он от народной жизни и как мало ее знает.

Народ и государственность в ослепительно талантливой литературе Розанова так же отличаются от народа и государственности в жизни, как прекрасодушная война его книги отличается от трагической войны, которая идет на берегах Вислы и на Карпатах. Органичность, народность, объективная космичность Розанова лишь кажущиеся. Он совершенно субъективен, импрессионистичен и ничего не знает и не хочет знать, кроме потока своих впечатлений и ощущений. Само преклонение Розанова перед фактом и силой есть лишь перелив на бумагу потока его женственно-бабьих переживаний, почти сексуальных по своему характеру. Он сам изобличил свою психологию в гениальной книге «Уединенное», которая должна была бы быть последней книгой его жизни и которая навсегда останется в русской литературе. Напрасно Розанов взывает к серьезности против игры и забавы. Сам он лишен серьезного нравственного характера, и все, что он пишет о серьезности официальной власти, остается для него безответственной игрой и забавой литературы. Он никогда не возьмет на себя ответственности за все сказанное им в книге о войне.

#### IV

Есть что-то неприятное и мучительное в слишком легком, благодушном, литературно-идеологическом отношении к войне. Мережковский справедливо восстал против «соловьев над кровью»<sup>3</sup>. Можно видеть глубокий смысл нынешней войны, и нельзя не видеть в ней глубокого духовного смысла. Все, что совершается ныне на войне материально и внешне, — лишь знаки того, что совершается в иной, более глубокой, духовной действительности. Можно чувствовать, что огонь войны очистителен. Но война — явление глубоко трагическое, антиномическое и страшное, а нынешняя война — более, чем какая-либо из войн мировой истории. «Кровь — жидкость совсем особенная», — говорит Гете в «Фаусте»<sup>4</sup>. И нужно самому приобщиться к мистерии крови, чтобы иметь право до конца видеть в ней радость, благо, очищение и спасение. Кабинетное, идеологическое обоготворение стихии войны и литературное прославление войны, как спасительницы от всех бед и зол, нравственно неприятно и религиозно недопустимо. Война есть внутренняя трагедия для каждого существа, она бесконечно серьезна. И мне кажется, что

Розанов со слишком большой легкостью и благополучием переживает весну от войны, сидя у себя в кабинете. Он пишет о героическом подъеме, хотя героизм чужд ему окончательно и он отрицает его каждым своим звуком. Но он так же не может противиться наплыву героизма, как не может противиться разгрому германского посольства, который старается защитить. Нужно помнить, что природа войны отрицательная, а не положительная, она — великая проявительница и изобличительница. Но война сама по себе не творит новой жизни, она — лишь конец старого, рефлексия на зло. Обогащение войны так же недопустимо, как недопустимо обогащение революции или государственности.

## V

Есть в книге Розанова еще одна неприятная и щекотливая для него сторона. Розанов всюду распинается за христианство, за православие, за Церковь, всюду выставляет себя верным сыном православной Церкви. Он уверяет, что славянофилов не любили потому, что они были христианами. Он повторяет целый ряд общих мест об измене христианству, от отпадении от веры отцов, поминает даже «Бюхнера и Молешотта», о которых не особенно ловко и вспоминать теперь, до того они отошли в небытие. Но я думаю, что христианская религия имела гораздо более опасного, более глубокого противника, чем «Бюхнер и Молешотт», чем наивные русские нигилисты, и противник этот был — В. В. Розанов. Кто написал гениальную хулу на Христа «об Иисусе Сладчайшем и о горьких плодах мира», кто почувствовал темное начало в Христе, источник смерти и небытия, истребление жизни и противопоставил «демонической» христианской религии светлую религию рождения, божественное язычество, утверждение жизни и бытия? \*

О, как невинно, как неинтересно и незначительно отношение к христианству Чернышевского и Писарева, Бюхнера и Молешотта по сравнению с отрицанием Розанова. Противление Розанова христианству может быть сопоставлено лишь с противлением Ницше, но с той разницей, что в глубине своего духа Ницше ближе ко Христу, чем Розанов, даже в том случае, когда он берет под свою защиту православие. Лучшие, самые яркие, самые гениальные страницы Розанова написаны против Христа и хрис-

---

\* См. книгу Розанова «Темный Лик».

тианства. Розанов, как явление бытия, есть глубочайшая, полярная противоположность всему Христову. Конечно, с Розановым мог произойти духовный переворот, в нем могло совершиться новое рождение, из язычника он мог стать христианином. Нехорошо попрекать человека тем, что раньше он был другим. Но с Розановым не в этом вопрос. Каждая строка Розанова свидетельствует о том, что в нем не произошло никакого переворота<sup>5</sup>, что он остался таким же язычником, беззащитным против смерти, как и всегда был, столь же полярно противоположным всему Христову. Есть документы его души: «Уединенное» и «Опавшие листья», которые он сам опубликовал для мира. Розанов пережил испуг перед ужасом жизни и смерти. О смерти он раньше не удосуживался подумать, так как исключительно был занят рождением и в нем искал спасение от всего. И Розанов из страха принял православие, но православие без Христа, — православный быт, всю животную теплоту православной плоти, все языческое в православии. Но ведь это он всегда любил в православии и всегда жил в этой коллективной животной теплоте — не любил он и не мог принять лишь Христа. Нет ни единого звука, который свидетельствовал бы, что Розанов принял Христа и в Нем стал искать спасение. Розанов сейчас держится за православную Церковь по сторонним, не религиозным соображениям и интересам, по мотивам национальным, житейско-бытовым, публицистическим. Нельзя быть до того русским и не иметь связи с православием! Православие так же нужно Розанову для русского стиля, как самовар и блины. Да и с «левыми», и с интеллигентами и нигилистами легче расправляться, имея в руках орудие православия. Но я думаю, что иные русские интеллигенты-атеисты на какой-то глубине ближе ко Христу, чем Розанов. Русские интеллигенты, в лучшей, героической своей части, очень национальны и в своем антинационализме, в своем отщепенстве и скитальчестве, и даже в своем отрицании России. Это — явление русского духа, более русского, чем национализм западно-немецкого образца. Сам же Розанов видит в русском западничестве чисто русское самоотречение и смирение (с. 53). И невозможно все в жизни русской интеллигенции отнести на счет «Бюхнера и Молашотта», «Маркса и Энгельса». Ни Маркс, ни Бюхнер никогда не сидели глубоко в русской душе, они заполняли лишь поверхностное сознание.

Великая беда русской души в том же, в чем беда и самого Розанова, — в женственной пассивности, переходящей в «бабье», в недостатке мужественности, в склонности к браку с чужим и чуждым мужем. Русский народ слишком живет в нацио-

нально-стихийном коллективизме, и в нем не окрепло еще сознание личности, ее достоинства и ее прав. Этим объясняется то, что русская государственность была так пропитана неметчиной и часто представлялась инородным владычеством. «Розановское», бабье и рабье, национально-языческое, дохристианское все еще сильно в русской народной стихии. «Розановщина» губит Россию, тянет ее вниз, засасывает, и освобождение от нее есть спасение для России. По крылатому слову Розанова, «русская душа испугана грехом», и я бы прибавил, что она им ушиблена и придавлена. Этот первородный испуг мешает мужественно творить жизнь, овладеть своей землей и национальной стихией. И если есть желанный смысл этой войны, то он прямо противоположен тому смыслу, который хочет установить Розанов. Смысл этот может быть лишь в выковывании мужественного, активного духа в русском народе, в выходе из женственной пассивности. Русский народ победит германизм, и дух его займет великодержавное положение в мире, лишь победив в себе «розановщину». Мы давно уже говорили о русской национальной культуре, о национальном сознании, о великом призвании русского народа. Но наши упования глубоко противоположны всему «розановскому», «вечно-бабьему», шовинизму и бахвальству, и этому духовно-вампирическому отношению к крови, проливаемой русскими войсками. И думается, что для великой миссии русского народа в мире останется существенной та великая христианская истина, что душа человеческая стоит больше, чем все царства и все миры...

1914







**М. М. ТАРЕЕВ**

**В. В. Розанов**

Перед моими глазами два тома последнего крупного произведения В. В. Розанова «Около церковных стен» (1906).

Книги — захватывающего и неотразимого интереса, и это не только в силу известной яркой талантливости автора, но и по разнообразию и жизненности тех церковно-религиозных вопросов, которые в ней обсуждаются. Бросается также в глаза, так сказать, живой биографический или автобиографический характер обсуждений. Это не отвлеченные диссертации по логически распределенным вопросам; но в речь автора постоянно вводится или описание конкретного случая, по поводу которого возникает вопрос, или ответ какого-нибудь «друга», или возражение, или исповедь какой-либо страдающей души. Особенно любопытны эти «исповедания сердца» — о вопросах культа христианского — исповедание иессео-протестанта-штундиста, об отрицательно-скорбном отношении духовенства к миру и его утехам — исповедание священника, о мотивах полного отвержения всякой вообще религии — исповедание неверующего, письма двух католиков о католицизме. Вообще, *каждому здесь довольно преддано для мысли*: эти слова автора о своей книге вполне оправдываются ее содержанием. И самое главное — не для одной лишь мысли, но повсюду здесь «томительные недоумения о всем пространстве нашей веры, не могущие не представиться у каждого, кто долго и с размышлением бродил и бродит по пажитям этой веры». Здесь не даются твердо-каменные ответы на старинные вопросы, — уже эти формулы слишком приелись всем, набили оскомину, и, как горох от стены, отскакивают они от нашего сердца. Здесь ставятся вопросы, как теперь ставит их самая жизнь, пылкое сердце, испытующий ум. И с ответами вы можете соглашаться или не соглашаться, но эти томительные недоумения могут быть чужды лишь тому, у кого окаменело сердце...

Я не буду передавать содержание этих книг. Я скажу лишь несколько слов о религиозном направлении В. В. Розанова, которые помогли бы читателю ориентироваться на материале этих книг.

В. В. Розанов — глубоко религиозный человек, но его религия не в понятиях, не в учении, а в чувстве — живом, влажном, сочном, его религия «завернута в физиологию», в ней имеет свои корни, глубоко погружена в лоно природы, обнимает все живое, зеленое, радостное, растущее — яркие звезды в небе и веселые цветы на земле, улыбку ребенка и тайну жизни под сердцем матери. У него нет интереса к отвлеченной догматике, но он молится на зеленой лужайке, которая окружает храм, — он, как Алеша Карамазов, любит клейкие листочки и целует влажную землю. «Он не останавливается и на крылечке (храма), но сходит вниз. Полная восторгов душа его жаждет свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоятся еще неясный Млечный путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегает землю. Белые башни и золотые главы собора сверкают на яхонтовом небе. Роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как будто сливается с небесной, тайна земная соприкасается со звездной... Он стоит, смотрит, и вдруг, как подкошенный, повергается на землю. Он не знает, для чего обнимает ее, он не дает себе отчета, почему ему так неудержимо хочется целовать ее, целовать ее всю, но он целует ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и иступленно клянется любить ее, любить во веки веков»... Он думает и знает, что в религии половина дела — полюбить жизнь прежде всякой мысли, прежде смысла, полюбить ее нутром, и кто не любит так жизни — жизни в «ее кровях», в ее благоухании, в ее радости и цветах — тот в религии ничего, ничего не понимает.

Религия Розанова и богословие — вот две разных плоскости; но он близок и понятен детям, беременной матери, семейным людям. Служащий священник, облаченный в «иконостасные» ризы — его противник по необходимости, но тот же священник, как семьянин, неизбежно его друг, и все они вместе — дети, мать, семья — со своими радостями и горем, незащитные, но безопасные в этой своей беззащитности — негодуют на мертвое, скопческое монашество, негодуют на «скопцов сухоньких, тощеньких, безобразненьких»...

В. В. Розанов на «богословском чтении» спит, в храме скучает, но «около церковных стен», в храме природы, он восторженно молится, — и он зовет сюда всех, кто любит жизнь, кому

дорога радость, и здесь могут с ним сговориться все, будь то христиане или язычники, для всех найдется здесь общее природно религиозное. «Я свободный христианин и мне везде просторно».

В. В. Розанов столь же свободный христианин, как и свободный язычник. И вот это срединное между христианством и язычеством, языческое или общечеловеческое в христианстве — это более всего понятно ему. На этой именно почве развивается и его любовь к церкви, которая дополнила и дополняет Евангелие своими огоньками на Пасху, троицкими березками, белой рубашечкой при крещении, — и его вражда к церковно-историческому монашеству, которое «хочет задушить всякую радость и жизнь».

Все рассуждения автора с этой точки зрения о праздниках глубоко поэтичны и религиозны. Внести в праздник природу, создать таким образом бытовую радость для детей и матерей семейств, которые не бегают по визитам и не сидят в трактирах, да и самих отцов удержать с семьей и сделать их радости более чистыми — таков его зов...

Но в речах о праздниках ему приходится более высказывать *pia desideria* \*, более жаловаться, чем радоваться на действительность.

Однако более всего он жалуется и негодует на отсутствие религии в явлениях зачатия и рождения, — в этих явлениях, преимущественно религиозных, потому что здесь более всего человек продолжает творческое дело Божие, дело природы \*\*.

---

\* Благие намерения (лат.).

\*\* «Девять месяцев беременности закладывают *фундамент души* будущего новорожденного; и, в конце концов, и у всего населения — закладывают, образуют и несколько воспитывают *душу целого народа*. “Каков в колыбельку, таков и в могилку”, — это решило 1000-летнее наблюдение. Это ли не месяцы *особого настроения* будущих матерей? И не можем ли мы, не могла ли бы религия, уступив хоть моим словам, сообщить им в это *усиленно важное время усиленно возвышенного настроения?* Далее, если мы имеем (в Петербурге) “Собор всей гвардии”, “Собор всей артиллерии” со знаменами, развешанными по стенам, с пушками возле паперты, с молитвами о “воинстве” и “победах”, то отчего же не быть *отдельному храму* и некоторым *особым молитвословиям*, со своими напевами, с созерцанием особой стеной живописи (библейские картины) для матерей, для беременных, для зачинающих?! где было бы вовсе исключено все аскетическое и раздвинуто и выражено все *жизне-творческое, семейно-домашнее!* Совершенно позволительная мысль, о которой мечтал, путешествуя на Афон, уже знаменитый епископ Порфирий Успенский<sup>1</sup>. Легко догадаться, что душа

И нужно сказать — около «пола» и его тайны вращается вся религиозная метафизика Розанова; радость брака, защита семьи от церковных и государственных жестокостей — главный предмет в его публицистической деятельности. Сюда относятся его сочинения «Семейный вопрос в России», «В мире неясного и нерешенного», «Религия и культура» и ряд статей в журналах «Новый путь» и «Вопросы жизни». Вот основные мысли из этих книг и статей: «Рождающие глубины человека имеют трансцендентную, мистическую, религиозную природу... Религия почти во всей своей существующей полноте струится от пола: это — молитвы отцов о детях, матерей — о них же; молитвы детей, повторяющих слова за няней. Там и здесь — это молитвы пола, т. е. имеющие пол в скрытой глубине своей. Холодны ли они? притворны ли? Нет глубочайших, нет страстнейших молитв!..

---

человека, столь неотделимая от его физиологии, от таинственного осолобого сложения его организма, будучи *в самой физиологии сплетена в один клубок с религией* — стала бы вообще более чутка и впечатлительна ко всему нездешнему, ко всему загробному, ко всему премирному. Ибо ведь что же такое “песня Ангела”, которую “слышал и полузабыл, но забыл не вовсе” человек до своего рождения?! Конечно, это только настроения матери, особо передающиеся ребенку! Ребенок еще из темной могилки своей видит душу матери с такой особой стороны, какая никому не открыта, да и она сама о себе всего не знает. Все, что мы именуем “врожденными идеями”, довременными предчувствиями — Бог, загробный мир, последний суд, грех и правда, идеалы терпения и подвига, — все “врожденное” и есть просто переживания матери, думы и песенки ее, песенки и молитвы, и страх о возможности смерти (в родах), своеобразно отразившиеся на плоде в ее чреве, *толкнувшие его, обласкавшие его, согретьшие...* Вот религия-то, через *соответственное чтение, обряды, службы, музыку, живопись*, наконец, чрез сотворенные легенды и *воспоминания* могла бы сотворить чудные по высоте и нежности мотивы для душевной жизни беременных, грядущих матерей! И вместо того, чтобы уже *потом* делаться (воспитание, суд) благородными, — вместо того, чтобы *приучаться* к благодетству, — люди (младенцы) уже *рождались бы благородными, с естественной (врожденной) склонностью к добру и отвращением ко злу...* Мне кажется, этого уже инстинктивно ищут теперь; матери в это время *избегают дурных впечатлений*; родные, ближние, друзья боятся *испугать, расстроить* беременную. Но... отчего же религия не выступит им *могущественно* на помощь, навстречу?.. Только и есть один на это ответ: да Церковь никогда о семье не думала и никогда о ней не заботилась, ибо она — *девственная, монашеская, аскетическая, скопеческая, анти-супружеская и анти-семейная!*»...

Более глубоко-сердечно-религиозного этих строк я ничего не встречал во всей литературе наших дней.

Над этими строками нужно годы думать и можно годы умиляться.

Нет высшей красоты религии, нежели религия семьи. Но тогда и семья, т. е. в кровности своей, в плотскости своей, в своей очевидной телесной зависимости и связности не есть ли также, обоюдно и взамен, религия? Т. е., если столь очевидно религия льется из плотских отношений, то и обратно — нет ли религиозности в самих плотских отношениях? В их фактуре? Все это безмолвно и для всех неощутимо выражено в самом институте “брака”: он и есть теитизация пола... Если же “брак” есть или может быть “религиозен”, — то, конечно, потому и при том лишь условии, что “религия” имеет в себе что-либо “половое”... Замечательная безгрешность младенца вытекает отсюда. В сущности, около младенца всякая взрослая (гражданская) добродетель является уменьшенной и ограниченной, и человек, чем далее отходит от момента рождения, тем более темнеет. В сиянии младенца есть ноуменальная, по-ту-светная святость, как бы влага по-ту-стороннего света, еще не сбежавшая с ресниц его. Дом без детей — темен (морально), с детьми — светел; долго смотря или общаясь с младенцем, мы исправляемся, возвращаемся к незлобию и правде... Семья — это “Аз есмь” каждого из нас; “святая земля”, на которой издревле стоят человеческие ноги. Это есть целый клубок таинственностей; узел, откуда и начинаются нити, связующие нас, ограничивающие наш произвол, но так, что только здесь мы радостно покоряемся подобному ограничению: т. е. начало религии, религиозных сцеплений человека с миром. Это есть настоящее духовное отечество наше, без коего каждый из нас — духовный бобыль. Семью нужно понимать как труд, как неустанную заботу друг о друге, как единственный предмет, для коего труд нетруден и забота не утомляет; способ такой связанности людей, где они уже без “Нравственного богословия” любят друг друга, проливают друг за друга пот и готовы пролить, да и проливают иногда, кровь... *Рождение и все около рождения* — религиозно; оно — *воскрешает*, и даже воскрешает из такой пустынности отрицания, как наш нигилизм. Нигилисты — все юноши, т. е. еще не рождавшие; нигилизм — весь *вне* семьи и *без* семьи. И где начинается семья, кончается нигилизм...» Трудно удержаться, чтобы еще и еще не продолжить эти чудные мысли, талантливо раскрытые в названных книгах и преимущественно «В мире неясного и нерешенного»...

У нас некоторые зашумели, что Розанов говорит безнравственные вещи, что он «профанирует религию», «развращает богословие»...

В таких криках, может быть, менее лицемерия, чем простого недостатка религиозного чувства. Редко кто так целомудрен в

своих словах, как Розанов в своих речах. «Взять священника на корабль вместо того, чтобы отслужить напутственный молебен», освятить религией всю природу, освятить самые страсти и чрез то оживить религию, сделать ее реальной силой, перевести ее из сферы понятий и слов в сферу жизни, переживаний — вот чего он хочет. Это ли не *целомудрие*?

Однако в этом еще не весь В. В. Розанов, — и кто думает, что здесь весь Розанов, и отдается его религиозному зову без всяких условий, без всяких задержек, тот может оказаться в положении поистине трагическом.

Дело в отношении г. Розанова к христианству по его существу — главный предмет названных выше книг.

Дело в том, что Розанов принципиально враждебен христианству, — и враждебен не только историческому христианству, но и всякому идеально-небесному порыву; он хочет, чтобы *единственной* основой религии и этики была физиология.

Его религия совпадает с церковно-бытовой поверхностью христианства и он здесь, на этой поверхности, говорит «к сердцу» христианской семьи. Но его религия уходит в глубь его религиозной метафизики и в этой глубине со всей решительностью востает против христианства.

Мы привыкли встречать пренебрежение к церковному культу, к бытовой стороне христианства, и уважение к моральной стороне христианства, с которой стоит в несомненной связи весь моральный облик европейской истории. Но вот Розанов принимает троицкие березки, лампадки и фимиам и со всей решительностью отвергает евангельскую суть христианства, христианскую мораль. Язычество Розанова не шутка, оно не в одной бытовой радости, которую иным кажется легко соединить с христианством, ибо и в евангелии говорится о красоте полевых лилий (о, как это наивно! до боли наивно!), оно глубже и серьезнее, оно доходит до подпочвенного трагизма, оно в корне не примиримо с евангельской психикой.

Этим не ослабляется интерес наш к Розанову, — от этого он только возрастает. Но в книге, о которой у нас речь, эта стихия Розанова едва-едва выступает, как бы намеренно прикрыта, спрятана. Там или здесь оброненный им отсвет этой его наиглубочайшей религиозной сути может ускользнуть от невнимательного читателя.

«Иногда думается, что есть две религии и есть и должны быть два *культа*, две категории богослужений: *черная* или *темная* — как ответ на скорбь и метафизику скорби, и *светлая*, *белая* — как продолжение, украшение и дальнейшее развитие тоже *врожденных* нам радостей, вос-

торгов, упоений, счастья. Первая уже есть: это — наша Церковь. О второй Церкви — даже *мысли ни у кого нет*. Для отрока, для юноши, для мужа-воина, для девушки-невесты что мы имеем, кроме вечно панихидных припевов, кроме икон с желто-пергаментными ликами старцев? Ничего — кроме *испуга, пугающего!*...

«Иногда думается», — какой отвод глаз, какое смягчение тона, набрасывание тени, как бы прикрытие волчьей ямы. И вдруг у нас «ничего, кроме испуга, пугающего»: вдумайтесь во весь ужас этих слов, во всю ненависть, которая в них слышится.

А вот еще брошенное словечко.

«Смиренно терпение... пассивная красота, Толстого умиляющая, умилявшая долго и меня, — но ее я теперь боюсь, как смерти моей, народной, мировой! Это — красивая форма Молоха (Дух Небытия и Уничтожения), яд в золотом пузырьке, “родные” пальцы, берущие вас за горло...»

Это значит: боюсь христианства, как смерти! Послушайте и вникните в это вы, наивно мечтающие примирить языческую радость с евангельским духом.

Для В. В. Розанова религия — свет и радость. В рецензируемой книге он с этой стороны подходит к христианству. В этом случае он с любовью (и неоднократно) останавливается на одном священнике наших дней, весьма известном проповеднике и публицисте, который «указывает и доказывает ссылками, что евангелие не осуждает *разумного уместного наслаждения благами природы*».

По-видимому, такое истолкование евангелия представляет наиболее удобное в практическом отношении решение религиозной проблемы, и оно действительно имеет ценность в смысле борьбы с историческим аскетизмом, с современным книжничеством и фарисейством. Но в существенно-религиозном отношении, в смысле решения христианской проблемы по существу, оно легкомысленно. Это есть именно утилитарная проповедь, а не философия, — публицистика, а не религиозная мысль...

Я хочу сказать: г. Розанов принимает это истолкование христианства в целях пропаганды своей идеи и совершенно вне интереса к сущности христианства. У него есть своя религия, — и все, чего он хотел бы от христианства, это чтобы оно перестало быть религией жертвы и сделалось религией радости и «достатка», нимало не заботясь о том, что в таком случае христианство погибнет, и даже желая именно этого. Истолковать христианство *только* как разумное наслаждение благами природы, это значит просто отрицать христианство, пройти с шуткой мимо Голгофы, не задуматься над глубочайшей тайной евангелия, над



сокровенными запросами человеческого сердца. Хорошее дело наслаждаться благами природы разумно, — но не одним хлебом живет человек, — хочет его сердце, кроме разумного наслаждения хлебом, и небесного подвига. Евангелие *говорит только* о небесной жизни. Это аскетически-односторонне объяснили так, что человек живет только небесной жизнью. С таким односторонним (историческим) аскетизмом нужно бороться, но для этого и нет нужды, и нет возможности легкомысленно перетолковать евангелие. Его слова нужно принять во всей их глубине и жесткости, — и нужно именно для такого евангелия поискать места в нашей жизни. Это есть новая задача нашего времени, наша религиозно-историческая задача, — и она не может быть решена без некоторого религиозного *перелома*. И не нужно затушевывать этот перелом, нужно и — как говорит В. В. Розанов в другом месте — «лучше взглянуть опасности прямо в глаза».

Сам В. В. Розанов лишь в этих статьях, в публицистических видах, принимает поверхностное истолкование евангелия, тая в себе *свое* объяснение этого «исторического» явления... Но и по существу евангелия, по существу евангельского, вечно-религиозного метода, — недостаточно одной борьбы с современным книжничеством и фарисейством, лицемерием. Как евангелие рядом с такой борьбой, с обличением ханжей открывало углубление в «изначальную» правду религии, в вечное откровение Бога в природе человека и его сердце, так и религиозная реформа наших дней не должна останавливаться на легкой для нашего времени победе над книжничеством и фарисейством, но должна углубить историческую поверхность христианства в даль природы и сердца, внести и внедрить «духовную» евангельскую жизнь в лоно широкой реальной жизни...

Такова наша религиозная проблема.

В прекрасной статье «Аскоченский и архим. Феодор Бухарев»<sup>2</sup> на тему «о сочетании реальной действительности с идеалом религиозной святости» приводится несколько писем Анны Сергеевны Бухаревой<sup>3</sup> к В. В. Розанову. В одном из этих писем А. С. Бухарева жалуется В. В. Розанову: «Вот, кстати, я хочу рассказать Вам, как я была возмущена статьей проф. Тареева “О нравственном значении Христова Воскресения”<sup>\*</sup>, где он с решительностью восстает против верования в Воскресение Христа во плоти. Главным образом меня возмутил его спиритуализм, которым хочет он затемнить широкие горизонты, имеющие открываться с развитием учения о Боговоплощении... Как потускнел бы светлый наш Праздник,

\* Глава из моей «Философии евангельской истории».

если бы православное наше представление о воскресении Христа отвечало спиритуалистическому представлению Тареева»... В. В. Розанов на это пишет: «Спиритуалист Тареев говорит, что в воскресении Христа было только воскресение Его души... Между тем (поучает меня наставительно г. Розанов, припомнив годы своего учительства в гимназии), душа наша не умирает... Зачем профессору это учение? Он возвышает дух на счет тела, т. е. путем его уничтожения (монашеская тенденция): и Анна Сергеевна, сливая личный свой подвиг и правду своего мужа (разрыв с монашеством), восстает за права тела...»

В Европе до сих пор некоторые убеждены, что в русских городах по улицам ходят медведи... Подобно этому, некоторые из наших светских писателей думают, что все профессора академии — монахи...

Что в воскресении Христа было воскресение Его души, — этого я не только не говорил, но это именно я отрицал, считая «элементарным положением в библейском богословии ту истину, что дух не есть вторая (дух и тело), или третья (дух, душа и тело) часть человеческой природы, но дух есть божественное начало человеческой жизни, божественное начало в человеке»...

О монашестве же профессоров академии и о своих монашеских тенденциях, равно как и о медведях на улицах Москвы, я не буду совсем говорить.

Не в этом дело. В том дело, что Бухарева жалуется на меня (убежденнейшего христианина) Розанову (убежденнейшему язычнику) по вопросу о Боговоплощении, — и они как будто понимают друг друга.

«Да, — говорит Розанов, — воскресение тела... и далее — признание рождения, семьи, брака — это хорошо...»

Также в другом месте Розанов похвалил монастыри: «монастыри — это хорошо... как наши пословицы и сказки...»

И Боговоплощение для него — милая сказка.

Не бросится монах за эту «сказку» на шею В. В. Розанову, — комична и жалоба Анны Сергеевны Бухаревой.

Ведь нужно же понимать тактику Розанова и его психику. Вот его слова, в которых существенно выражается его отношение к христианству: «Сегодняшний наш день в вере есть просто наш и только наш день».

Это вот что значит.

Празднуем мы крестины. Таинство кончилось, вынесли купель, — на большом, покрытом белой скатертью столе расставлены в изобилии кушанья, радостный отец усаживает разоблачившегося батюшку и собравшихся родных и друзей... Входит В. В. Розанов.

«Ах, как хорошо у вас... Купель уже вынесли: это, разумеется, наивность. Тайнство крещения — милые сказки... Но ведь, смотрите, как у вас весело. Белая рубашечка... на столе как все вкусно. Это самое главное — чтобы радостно было. Это у нас с вами общее. Мы — братья»...

— Но, позвольте, Василий Васильевич! Как же это Вы о крещении-то? И зачем это Вы?.. Если бы Вы просто поздравили меня с новорожденным и уселись за трапезу, как я был бы рад. — Но Вы о крещении... Смутили Вы нас... Понимаете ли, мы так легко не можем к этому относиться?

Так и о воскресении.

«Воскресение Христа? — говорит Василий Васильевич. — Это, конечно, сказки... Но смотрите — воскресение плоти: какая милая идея! Значит и “там” рождение, семья и брак»...

— Ах, г. Розанов, ведь у нас это... серьезно... И А. С. Бухарева: как это она скоро и... так легкомысленно с Вами...

Я не могу так легко принять розановское веселье — именно потому, что я убежденнейший христианин.

Для меня радость семьи, белая детская рубашечка, зеленая березка так же дороги, как и для Розанова. Но для меня дорого и евангелие... И поэтому для меня вся религиозная проблема сводится к вопросу о примирении «реальной действительности с религиозной святостью», о примирении евангелия с культурным прогрессом и мирскими радостями. Около этой проблемы вращаются все мои богословские сочинения.

Этот же вопрос решал и архим. Феодор Бухарев. Но он решал вопрос об отношении «православия к современности» догматически, исходя из идеи боговоплощения... На догматическом пути арх. Феодора нельзя оправдать свободного язычества, — это подлинный путь символического аскетизма. В самом деле, если мы ждем воскресения плоти, прославленной во Христе, то вся задача нашей жизни — приготовить свою плоть к воскресению, а приготовить ее можно лишь постом, молитвой и бдением, т. е. тем, чтобы «еще во плоти жить жизнью бесплотных». Это есть фактический принцип одностороннего аскетизма — общий архим. Феодору с Аскоченским.

Чтобы сделать невозможным этот уклон к символизму, я исхожу из евангельской идеи божественной духовной жизни и определяю отношение евангелия к миру и плоти по принципу полной свободы. Моя мысль в том, что нет никакого внешнего или формального соотношения христианского (религиозного) духа и языческой плоти: это две несоизмеримые области, соприкасающиеся лишь в глубине человеческой души. Евангелие не может

определить ни плотской жизни человека, ни социальной жизни общества, — эти области подчиняются только природным законам и гуманитарной этике. Религиозный (божественный) дух вмещается в глубину индивидуального настроения, получая здесь также полную свободу. Таким образом, я признаю одновременное существование сокровенно-личного религиозного творчества и внешней природно-социальной необходимости.

И вот, чтобы овладеть этим принципом, я и возвожу церковный догматизм к евангельскому абсолютизму, к идее чистой духовности, религиозной абсолютности. Это метод самого евангелия. Христос говорил иудеям: «Вы следуете закону. В законе сказано: “не прелюбодействуй”. Но если это делать для Бога, то не следует даже смотреть на женщину с вожделением. В законе определена форма развода, — совсем не разводиться. В законе запрещено убивать, — даже не гневайтесь». Так закон возводится к абсолютности, при которой он сам собой уничтожается и заменяется свободой. Следуя этому методу, я говорю Аскаченским: «Христу не нужны барометры и пароходы. В этом вы правы. Но ему не нужна и вся плоть. Ему нужна только чистая духовность божественной жизни. Но чистая духовность как дело свободное и личное дает полную свободу плоти. Мне дорога чистая духовность, чистое евангелие, потому что этим путем примирятся дух (божественность) и плоть (природа)».

Восстанавливая чистоту евангелия, я как бы разлагаю «воду» его на составные элементы, чтобы сделать возможным их живое соединение с составами нашей природы. Евангелие в церковно-исторической облатке символического аскетизма допускает лишь внешне-формальное отношение к миру (церковь и государство и пр.), — и лишь чистое евангелие соединяется в глубине индивидуальной жизни с природной необходимостью плотской жизни.

Вот зачем мне *нужна* чистая духовность. Это совсем не то, что символический аскетизм.

Впрочем, теперь речь не обо мне, — речь о книге г. Розанова, которой я ставлю упрек в неясности и недоговоренности. Говорю об этом с целью более выпуклой постановки религиозной проблемы.

В той же статье, под особым подзаголовком «Раздвоенность жизни», В. В. Розанов приводит письмо прот. А. Устьянского<sup>4</sup> по вопросу о семейной христианской жизни, предупреждая читателей, что «о. А. Устьянский пишет тверже и яснее, нежели я (т. е. В. В. Р.), на многие общие у нас обоих темы». Письмо замечательно в смысле постановки вопроса, — указания на то, что

наша семейная жизнь не освящается христианством, чего именно хочет автор. Последний итог своих рассуждений о семье он выражает словами Прессансе<sup>5</sup> («Христианская семья»): «Что значит служить Богу в семье? Служить Ему в семье значит стремиться прославить Его во всех этих сладких, дорогих отношениях прежде, чем думать о своем личном счастье, — дать семье благородную, возвышенную цель, находящуюся вне нас, — научить ее, что она, как и отдельная личность, не должна жить для себя, что конец ее и назначение ее в Боге». Этим путем о. Устьянский думает «сделать семейную жизнь единым нераздельным лучом света Христова».

Я полагаю, что этим путем совершенно не решается религиозная проблема семьи и что с точки зрения В. В. Розанова эти слова Прессансе — наивный лепет, — что, говоря иначе, опять В. В. Розанов не договаривает в своей книге.

С точки зрения аскетической самым трудным считается примирить с христианством скверну муже-женского соединения. Для евангельской точки зрения этого затруднения совершенно не существует, так как в евангелии даже отдаленного намека нет на природную скверну. Евангельский Отец Небесный сотворил в начале «мужа и жену»... Аскетический взгляд на брак есть плод языческого дуализма\*.

Но семья, по евангельскому учению, может стать преградой на пути к вечной (абсолютно-божественной) жизни в другом отношении — именно со стороны семейного эгоизма, самым наглядным видом которого можно назвать семейную собственность. Чтобы понять всю трудность этого столкновения, следует оценить, с одной стороны, всю высоту абсолютного евангельского идеала и, с другой, — всю глубину семейного эгоизма.

---

\* Об этом неоднократно говорит и В. В. Розанов в книге «В мире неясного и нерешенного». Он пишет: «Начало собственно плоти и плотского человека к человеку “прилепления” не только не враждебно Христу, но можно сказать, что в эту слепленность людскую Христос и вошел, как в сень свою, везде беря человека не в сиянии одежд его, не в украшениях гроба, но в радости семейного очага, у колыбели. Против этого общего колорита Евангелий и Лица Христова совершенно бессильны бегучие и, может быть, апокрифические привески вроде “лучше не жениться”, “давая деву в брак — хорошо поступает, а не давая — лучше поступает”... Тайна Боговоплощения: “Слово — плоть бысть и вселся в ны”. Таким образом, фундаментальное очертание христианства не только не бес-“поло”, как думают некоторые, не бес-“плотно”, но именно эта религия, с во-“площением” в центре, и есть истинное поклонение ставшей божескою плоти»...

«Оставь отца и мать, жену и детей, раздай все имение»: вот евангельское требование.

Семейный эгоизм, с другой стороны, так изображается В. В. Розановым:

«Собственность — это труд, и вопрос о нужности ее есть вопрос о нужности труда: т. е. это есть совершенное и именно безнравственное празднословие, прикрывающееся высшей моралью. Чувство собственности будет не только живо, но и горячо во всяком, в ком живо и горячо чувство семьи, чувство дома; можно быть бедным — и понимать это, бескорыстным — и проповедовать это; есть азартная, т. е. подлая собственность; но есть собственность как тихо льющийся неустанный труд для ближних (т. е. семьи) — и это есть святая собственность».

Вообще отрицание ненужного аскетизма составляет «явную» задачу Розанова... В дальнейшем семейный эгоизм приводит к национализму, к народной исключительности. Для Розанова евреи — идеальный народ-носитель семейного начала, — и ни один народ не воспитал в себе такой отвратительной ненависти и презрения к другим народам, за что и был заслуженно ненавидим и презираем всеми народами. Но Розанов отмечает как сор отвратительность этой ненависти ко всем и страдание этой ненависти ото всех: он видит в этом национализме Божие дело... С любовью к семье и своему народу, со святой собственностью он связывает всю культуру, все дорогое для человека, — и в этом пункте он расходится с евангелием до боли, до стонов. Вспоминая евангельские слова о разделении семьи и о вражде между домашними, он восклицает:

«Для чего такие ужасные жертвы? И кто же, не Бог ли Промыслитель, унежил наше существование и детьми, и семьей, и, наконец, Пушкиным, и даже звонкими песнями Эллады? Где Промысел? Кто Бог?.. Идея Отца и Промыслителя, всеобщего Опекуна мира, разрезалась идеей греха и искупления. Если грех — то нужна жертва, а только Пушкин и Эллада, но и эти детишки и жены — жертва... И мысленно я страдал. Это мировой вопрос»...

Между евангелием и семейным (и национальным) эгоизмом нет никакой внешне-формальной точки прикосновения, — и путем морализации семьи никак нельзя ее примирить с евангелием: идеалы Прессансе-Устьянского лицемерны с евангельской точки зрения и смешны с розановско-языческой точки зрения. Розанов — представитель религиозного семейного начала — последовательно и от души ненавидит евангельский дух как дух уничтожения и небытия. Семья только в том случае может быть освящена религией, если религия примет под свое покровитель-

ство семейный эгоизм, что было в иудействе и язычестве и чего хочет Розанов. Напротив, христиански-святой семьи, христианского государства, христианского народа никак не может быть, потому что христианство именно в уничтожении границ семьи, государства, народа.

Само собою понятно, что семейный эгоизм не есть непременно разврат и деспотизм. С ним не только мирится, но им требуется семейная чистота, благородство отношений, красота воспитания детей. Вся культура семьи вырастает единственно из семейного эгоизма... Но все дело в определенном *перевале*: до тех пор пока семейная моральная культура не перешла за этот перевал, она остается плодом семейного эгоизма, в нем разрешается всецело, а как только перевалила на другой склон — склон христианского духа, так необходимо начинается разрыв семьи.

Вот когда позовет Бог семьянина на какое-нибудь Божие дело и он благословит свою семью, поручит ее Богу и добрым людям, а сам пойдет на геройское дело, пытку и смерть и положит душу свою за Божию правду, за любовь к людям, — тогда лишь он проявит себя христианином \*. Если же нет еще этого зова, то христианская семья ничем не отличается и не должна отличаться от хорошей языческой семьи. Христианином семьянин бывает лишь в том смысле, что он носит в себе эту способность откликнуться на зов Божий, но это его отличие от материалистически настроенного человека ни в каком случае со стороны не может быть усмотрено и оценено. С этой стороны лучше не судить людей. Только Бог знает Своих.

Решительно можно утверждать, что применение евангелия непосредственно к формам мирской жизни — к устройству семьи и государства — неизбежно *должно* дать плачевные результаты: семья, устроенная только по евангелию (разумеется, мнимо), будет неизбежно хуже языческой \*\*, и государство, (мнимо) устроенное только по евангелию, порождает деспотизм со всеми его культурными последствиями. Для процветания семьи неизбежно нужно свободно раскрывающееся природное (языческое) тепло и для процветания государства — свободно развивающееся соотношение составляющих его сил.

---

\* Не то чтобы христианство только в «пытке и смерти», только в разрыве семьи, но в них наглядно выражается характерное устремление христианства. Если полная жизнь — в ритме прилива и отлива, то «чистое христианство» — один отлив, оно лишь момент в общей сложности жизни.

\*\* Читайте книги В. В. Розанова «В мире неясного и нерешенного» и «Семейный вопрос в России».



При этом опять-таки само собою разумеется, что чистое евангельское христианство можно носить только в душе, а чтобы применить его к формам жизни, семейной и общественной, необходимо облечь его в символическую форму — «венчание», «помазание на царство». Вот этот формализм, достаточный, чтобы ослабить языческие инстинкты здоровой жизни, но недостаточный, чтобы сделать жизнь вдохновенной, — и создает то, что В. В. Розанов называет «водянистым» христианством.

«Да есть ли, — говорит он, — *реализм, реальность, реалистический момент* в самом христианстве? Возьмите картину. Один и тот же ее узор можно начертать *карандашом, чернилами, акварелью*, масляными красками. Мне думается, христианство есть истина, начертанный карандашом, и самое большее — акварелью, а ни в каком случае не масляной краской. Бес-кровное и бес-сочное — вот что такое наши религиозные понятия. Даже дико сказать: «понятия». Почему религия должна быть понятием, а не фактом? Книга «Бытия», а не книга «рассуждения» — так началось ветхое богословие. «В начале бѣ Слово» — так началось богословие новое. Слово и разошлось с *бытием*, «Слово» — у духовенства, а *бытие* — у общества»...

В. В. Розанов возводит это расхождение к «метафизике христианства» в отличии его особенно от иудейства.

«Метафизика христианства лежит в *гробе, смерти и монашестве*. Смерть — ужас... Смерть — так же метафизична, как зачатие. Это — другой *полус* мира, черный, противоположащий белому полюсу — *обрезанию*. Евреи отвратительно хоронят своих мертвецов... Христианство смерть преобразовало в гроб. Гроб — это поэзия, а не голый ужас... Монастырь есть длинная мантия гроба... Как «гроб» есть преобразование смерти в «поэзию», так монастырь есть преобразование гроба в целую цивилизацию — поэтически-грустную, меланхолически-возвышенную... Монастырь есть вся душа и вся поэзия христианства, его реальная метафизика... Где нет монашеского духа и монастыря — нет христианства; где он есть — христианство налицо и действует \*... Новый Завет относится к Ветхому как смерть к зачатию, похороны к рождению, монастырь к семье, гарему (у Давида и Соломона) и площади (базару)».

Это самые сильные слова в книге В. В. Розанова, укрывшиеся, однако, в невидной последней статье, под непривлекательным заголовком и напечатанной мелким шрифтом.

В целях борьбы с церковью и христианством это самое разрушительное и неотразимое, что только было сказано на протяжении веков... \*\*

\* Особому вниманию А. С. Бухаревой и протоиерея А. Устьянского.

\*\* Книги В. В. Розанова содержат много внутренних противоречий: разновременные статьи не приведены к согласованию. То же, между

Если церковь и христианство есть не что иное, как религия смерти, то оно временно-историческое явление, искусственно привитое европейскому человечеству и уже пережитое им. Монашеская религия ныне встречается только ненавистью и презрением.

Но... характеристика, данная Розановым, относится к азиатскому буддизму, а не к христианству.

Есть ли какое различие между буддизмом и христианством? Существенное.

Буддизм — религия небытия и уничтожения, блаженство нирваны, а христианство — религия божественной любви и вечной жизни.

Любовь и жизнь — вот слова, которыми наполнено все евангелие. Изложение христианства, в котором, как у В. В. Розанова, нет слов «любовь и жизнь» — решительная ложь.

Это со стороны вербальной.

И по существу, универсальная любовь, порыв обнять все человечество, разбить мещанские оковы своего эгоизма, личного, семейного и национального, жажда геройского подвига — факт нашей жизни, неискоренимый и неустрашимый из природы типа homo sapiens. С этим фактом связано все благородное, сверхчеловеческое, божественное, которое только одно делает животное homo sapiens *человеком*.

Христианство есть этот порыв, эта универсальная любовь, возведенная в религию.

Рядом с любовью, смерть так же неизгладимо начертана в евангелии. Но она называется здесь единственно как условие абсолютного характера любви, как «смерть за людей». Поэзия смерти решительно отсутствует в евангелии, и *Христос содро-*

---

прочим, встречаем и в вопросе об отношении христиан к смерти. Доказывая, что все христианство в культе смерти, вся поэзия христианства есть поэзия гроба и что в этом отличие христианства от язычества и еврейства, В. В. Розанов (в статье «Наши возлюбленные усопшие») раскрывает ту мысль, что «поэзия и религия *своего угла* для могилы *извечно* присуща смертному. Извечно мы будем любить покойного. Любовь эта, уважение к праху — один из краеугольных камней красоты образа человеческого. Только христиане смотря на умерших, как на собак: “сжечь их?”, “опустить в землю?”, “на родине?”, “на чужбине?” — “Э, все равно, где-нибудь...” Я говорю, что у христиан нет почтения к праху, или, по крайней мере, его меньше, чем у древних и у современных язычников»...

Эта несогласованность в книге разновременных газетных статей ослабляет впечатление книги и колеблет основные выводы автора.

гался пред смертью до кровавого пота, как не содрогался ни один языческий мудрец, начиная с Сократа.

Это ли поэзия смерти?

Но евангельская любовь есть любовь до смерти, — и только в этом ее божественность.

По этой своей абсолютности евангелие слишком тесно соприкасается с мертвым аскетизмом.

Этим не нужно смущаться: у всего великого есть своя карикатура.

Мертвый аскетизм — карикатура евангельского христианства\*.

Проведите прямую линию. Затем проводите из той же исходной точки в том же направлении другую прямую, но с маленьким уклоном: две прямых разойдутся до бесконечности.

Так религия смерти расходится с христианством. В евангельском христианстве любовь не останавливается перед смертью, в аскетизме само по себе умирание, умерщвление становится идеалом: только и различие.

Но в наши дни бесконечность различия обнаружилась. Ныне, с одной стороны, открылась в сознании человечества мерзость трусливого прозябания, мещанского благодушия, и красота свободного подвига и беззаветной любви к людям, — ныне сознано и постигнуто «блаженство, равного которому еще не создавала земля, — работать за людей и умирать за них».

С другой стороны, ныне аскетизм с удивительной откровенностью, почти наглостью заявил, что ему нет дела до любви, что он не евангельской природы.

Это нужно оценить и осмыслить.

Наше время — лаборатория, в которой выясняется чистое христианство, освобождаясь от исторического облачения символов...

---

\* Нельзя здесь не припомнить следующих слов В. В. Розанова в ст. «Миссионерство и миссионеры»: «Что в евангелии сказано о смерти и погребении? Единственное: “оставь мертвым погребать мертвых”. Больше ничего. Кто же, как не Церковь, придумала, и притом вновь придумала, по своему почину, а не на почве Евангелия, дву-ночное над покойником чтение Псалтири, омовение его тела, как бы умащение и приготовление его к переходу во что-то чистое; и, наконец, — дивные по глубине и звукам надгробные песнопения, которых ни один человек не может равнодушно слышать. Развилось ли это из слов: “оставьте мертвым погребать мертвых”? Конечно, нет, конечно, при молчаливом *обходе* этих слов!»... Ср. выше примечание из книги «В мире неясного и нерешенного» об общем колорите Евангелий и Лика Христова... Встречаются там даже такие мысли: аскетизм «много спустя после Христа начался: Христос нигде не осудил еврейской семьи».

Но... еще вопрос.

Если символическая оболочка приводит к формальному применению христианства и необходима при таком применении, то ведь — наоборот — в природе нет места чистым элементам, и «чистое» христианство не окажется ли бесполезным по существу?

Освобождая христианство от исторической оболочки символов, восстанавливая его чистоту, мы должны видеть в этом только половину задачи, хотя и важную. Нужно затем отыскать для христианства новую точку опоры взамен символических форм, новые «сочетания».

И это есть колоссальная задача новейшей этики. Она должна ввести чистое христианство в систему реальной жизни, соединить его с землей, напитать его «кровью и соками», сделать его сильным естественной силой.

Задача новейшей этики — понять христианство как правду жизни в самом эмпирическом, живом смысле этого слова. Высшее этическое начало, как и высшее благо, — есть жизнь. Инстинкт жизни — единственная нравственная сила; радость жизни — имманентная нравственная награда. Эта жизнь есть прежде всего животная, физиологическая, с ее неотразимой силой и ее несокрушимой правдой. В ее законах — «изначальное» слово Божие, изначальная воля Его. Затем человеческая жизнь есть жизнь социальная с ее историческими законами, воспитывающими людей и слагающими их во всемирное братство. Но физиологией и общественностью не исчерпывается жизнь «нового» человечества: она есть, наконец, жизнь духовно-творческая, жизнь сверхчеловеческого подвига во имя высшей божественной свободы. Подвиг нужен человеку ради полноты его жизни, ради ее последней радости, высшего расцвета... Таким путем божественное, «христианское» начало вплетается в организм земной жизни с ее соками и высшими восторгами. Жизнь все примиряет в себе, — многогранная, она всему человеческому дает в себе место.

О жизни с избытком (ἐγὼ ἤλθον ἵνα ζωῆν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν), о жизни не одним хлебом (οὐκ ἐπ' ἄρτω μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος) как именно о новозаветном принципе учит евангелие. Но мы доселе принимали евангелие лишь за историческое явление; наше внимание было поглощено тем историческим фактом, в форме которого открылась человечеству духовная жизнь. Между тем, народившаяся в голгофской трагедии свободная жизнь духа давно уже стала естественным достоянием нового человечества, хотя еще не ясным для нашего сознания. Понять божественный дух

как естественную принадлежность реальной жизни, полной и свободной, — такова новейшая задача нравственной философии.

Первая (богословская) часть ее — привести чистое евангельское христианство к источникам жизни, к ее корням.

Вторая часть нравственной философии — раскрытие красоты самой жизни в ее источниках, в ее сочном благоухании, в ее изначальной и вечной влажности, в ее непрерывном воспроизведении и неиссякаемой радости... Эту «половину дела» с яркой талантливостью и художественным совершенством выполнил В. В. Розанов.

И те, которым дорого «евангелие» в жизни, с радостью протянут руку этому «жизнелюбцу», ненавидя символы, отторгавшие дух божественный от жизни. Но пусть и «жизнелюбцы» раздвинут рамки жизни и наряду с физиологией дадут в ней место не только социальному началу, но и высшему духовному подвигу...

Пусть они поймут, что как жизнь нужна для идеи, чтобы ей воплотиться, и плоть нужна для духа, чтобы ему реализоваться, и язычество нужно для христианства, чтобы быть ему живым, — так и плотскому язычеству нужен христианский дух, чтобы оно не было мерзкой плотью... Односторонняя культура духа, чем было доселе христианство и что подменяло божественный дух (= силу жизни) духовной бестелесностью, принесла горькие плоды ложного аскетизма. Но это не была религиозная aberrация, это был согласный с планами Промысла, необходимый исторический «день» христианства, выявивший его чистую идею и пронесший ее через развалины древнего язычества. Ныне открывается эра божественного духа не вне жизни, а для жизни... В. В. Розанов зовет нас «назад, как можно скорее назад» от христианства к язычеству, но «история не знает возвратов» и «нет пути к невозвратному». Солнце плоти для нас померкло навечно, — «язычество умерло и после Христа не воскресимо: все Афродиты и Дионисы — невыразимая чепуха». Прекрасное тело мы чувствуем, начинаем чувствовать, видим или начинаем видеть в нем Божие творение, но религиозно поклониться ему мы не можем, у нас потеряно чувство религиозного благоухания плоти, физиология не может перенести нас в трансцендентный мир, — прекрасное тело и его физиология для нас природа и только. Для нас воссияло новое солнце и у нас есть новая религия, мы знаем недоступные древним небесные восторги, знаем новые пути в царство Бога. Не назад от христианства, а вперед с христианством: вот наш путь.

Наша *религиозная мысль должна начинать* с христианства, с высоты евангельской. Дойти до плоти и жизни через Христа, — вот наша задача.

Божественный дух как дух для жизни, для ее освящения — в этом наше спасение. Только плоть — это язычество; только дух — это историческое христианство; дух для жизни — это наше будущее. Что ни говорите, древнее язычество погибло, развалилось по внутренней необходимости («плоть ослабевшая распустилась в последних пороках, слюна и гной точились у умирающего»), и его воскресение — пустая мечта. Мы можем освятить свою плоть не древним языческим путем, но только новым христианским — не религией плоти, но внесением в жизнь абсолютной ценности, — и это есть ценность личности. Нам нужно понять, и мы уже понимаем, божественный подвиг и святиню личности как требование и расцвет самой жизни, без чего жизнь кажется нам пошлой, мещанской. И вот это внесение божественного духа в недра самой жизни должно освятить все ее слои, должно освятить и плотскую жизнь. Поднять семью — эту наивысшую святиню плотской жизни — древним языческим путем, путем религии плоти, обрезания, нам не по силам и не по вкусу, но мы можем ее поднять путем святой личности — абсолютной ценности жены и ребенка. Нам нужна Божия природа, чистая плоть, в свободе ее страстей от всякого ложного стыдения, как живая основа жизни; но наш подъем, наша религия не от плоти, а от духа. «Это твоя сестра во Христе, поэтому не оскверняй ее плотским соединением»: так сказал Толстой, как последнее эхо аскетического прошлого. «Это твоя сестра во Христе, поэтому пусть твое соединение с ней будет святым, освяти это природно-сладкое соединение мыслию о ребенке»: так будут говорить грядущие пророки.

В святости личности есть свой абсолют. Изображая («В мире неясного и нерешенного») еврейство «как религиозно-половое товарищество, *кровное* племя не мнимых (мы), а истинных братьев, сестер, невест, женихов, отцов, матерей», В. В. Розанов отсюда объясняет, почему еврей не может изнасиловать еврейку («она — *наша, кого-нибудь* из нас»), не пойдет в дурной дом («он обидел бы Израиля»), и пишет далее о христианстве: «у нас, насилуя — я *пустую* насилую, *ничью*; и идя в дом терпимости — *себя* мараю, а не племя *русское*»... Против этого можно сказать: для человека евангельского *духа* не может быть пустой женщины, для него всякий человек *свят* — и это абсолютно, не как слово, а как действительное *ощущение*... Конечно, это ощущение не захватывает лакея, хотя и записанного в метрические книги, но это и значит лишь то, что я говорю — христианство не создает культуры, народности, должно быть свободно от всяких формул и дать всецелую свободу культуре, тогда как остается

несомненным, что святость личности — единственный для нас путь к религии брака и семьи.

Вот моя первая мысль: понять божественный порыв к универсальной любви, чуждой древних границ семьи и нации, чуждой границ мещанского благодушия — понять этот порыв не как внешнюю заповедь и тяжелую жертву, не как путь умертвия, а как расцвет самой жизни, это значит — освятить всю жизнь божественным духом. Носить в себе эту божественную возможность — это значит освятить и общественные отношения, и физиологические связи. Моя вторая мысль: необходима разнородность жизненных элементов — физиологии, общества и духа — для их гармонического сочетания. Что «разнородные элементы (как душа и тело) соединяются в единство, тогда как однородные смешиваются», — это древнее слово. Поэтому нет для нас двух религий — религии плоти и религии христианской, есть только одна религия — религия духа, одна абсолютность — духовная. Разнородные элементы — природная физиология, человеческое общество и божественный дух — именно потому, что они разнородные, сочетаются гармонично по закону полной взаимной свободы и непостижимого внутреннего взаимоотношения.

Наш Бог есть Бог жизни, — и наш высший принцип есть принцип жизни. Как дорога и высока жизнь, так дорого и высоко рождение — начало жизни. Но разумно-человеческая жизнь раскрывается лишь в обществе. И этого мало. Бывает так, что человек может быть жив лишь под условием наивысшей свободы и от оков общественной среды, и от границ семьи и нации. Что можно сказать против этого божественного порыва и высшей любви, лишь бы это было к жизни, к ее высшему расцвету и красоте? Но плоть и семья всегда есть «то, что она есть, а не то, что мы о ней думаем». Между древним язычеством и новейшей философией В. В. Розанова то различие, что там была непосредственность и простота чувства, а у него — *слово*, хотя и гениальное, «обширно развитая философия». Поэтому там, пока не исполнилось время, предохранение от мерзостей плоти было в самой жизни; а ныне искусственно (на словах) воздвигаемая религия (абсолютность) плоти ничем не предохранена от «бездны» плоти, в которой тает святая семья\*... Святая «многоочитая» плоть молчалива... Для нас эта святая молчаливость плоти потеряна, непосредственность природного чувства невозвратима, — и условие «теитизации» пола для нас единственно в том,

---

\* Это — не пустые слова, — и их не будет оспаривать г. Розанов.



что человек в своем духе может быть выше пола, что он не весь в физиологии. Это не означает того, что будто физиологию (и общество) можно построить, исходя из чистых основ духа, — природная сила всегда дана в своей неисчерпаемости и требует со стороны других элементов жизни лишь свободы и освящения. Это не означает и того, что будто в сфере природы можно быть без религии, без Бога. Но должно быть непрерывное схождение и подъем\*, как в видении Иакова и созерцаниях Христа; храм должен иметь дверь, святилище и святая святых (природа, общество и личность). В этом полнота религии... Двор (и святилище) не как задворки, куда сваливается сор, а как обнесение или окружение из стен и сада, совершенно необходимое условие внутреннего «святая святых», обращающегося в пустое место при обнажении, в пустой звук. И необходимо настаивать как на том, что только обнесение делает внутреннюю святыню реальною силою, дает ей точку опоры, напитывает ее соками и кровью, так и на том, что освящающий свет идет лишь изнутри, что лишь здесь — абсолют. Это одинаково идет и против одностороннего аскетизма, и против религии плоти: природный вид жизни (длительной) может быть только один — брачный, но браак — святыня только потому, что дает жизнь *человеку* — дает жизнь ребенку, «спасает» жену и делает «живым» его самого. При хорошей семье «схождение» лишь в том, что дающая и жертвующая любовь ограничивается в круге объектов, и это создает свежую психику скромного дела и кроткой радости; когда же или семья (напр<имер>, чрезмерно сытая, самодовольная, самозамкнутая) начинает (даже без всякого расстройтва и «противности» собственно в брачных отношениях) опошлять человека, губит его, или же делается для него внутренней потребностью какое-нибудь «вне-семейное» дело, он вправе разорвать семью, потому что выше всего то, чтобы «жив был человек». И думается, что эта возможность, переходящая иногда в необходимость, разрыва той или другой семьи (не по скопчеству природному, или от людей, или по прелюбодеянию, но ради царства Божия, ради жизни человека) — вообще семью не унизит, но возвысит и *освятит*.



---

\* Как, однако, трудно сказать, где здесь «выше» и «ниже».



## АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

### Отцы и дети русского символизма

Перечитываешь знакомые страницы объемистой книги Волынского<sup>1</sup>. Читаешь и невольно улыбаешься: все эти, хотя и умные, рассуждения веют таким далеким прошлым. Верно, точно, пожалуй, оригинально, но, Боже мой, до чего примитивна, известна, обща эта оригинальность. Приступая к еще непрочитанным страницам, испытываешь невольный искус прекратить чтение. Все, сказанное автором, мог бы, пожалуй, и сам рассказать себе, приняв стиль Волынского. Самым опасным ударом для авторского престижа является дерзкая мысль читателя, будто он знает все, что мог бы сказать автор.

Понимая стиль любого писателя, можно в разное время относиться и положительно, и отрицательно к этому стилю в зависимости от стадии своего внутреннего развития. Слишком хорошо известна людям нашей эпохи стадия отношения к Достоевскому, на которой стоит Волынский. Вот почему запас наблюдательности, остроумие, которыми элегантно блещет Волынский, превратились — остроумие в ходячее остроумие; наблюдательность — в общее место. Хорошо нам известен багаж обеих мест, необходимо нас встречающий на известной стадии понимания Достоевского. Слишком известны пределы этой стадии, а потому можно бы а priori вывести, что автор коснется «*богочеловека*» и «*человекобога*», «*раздвоения сознания*», «*трагизма сладострастия*» и т. д. и т. д. Всего этого и касается автор. Мы уже не ждем «*громов*» и «*гласов*». Путь Достоевского и его школы нам хорошо известен. Вот почему анализ его творчества имеет для нас лишь историко-литературный интерес. С этой точки зрения труд Волынского является ценным вкладом в литературу о Достоевском. Даже более того: факт существования у нас исследований Мережковского, Волынского и Розанова<sup>2</sup> приятно щекочет национальное самолюбие. Перед лицом Западной Европы

мы можем сказать, что русская критика оценила и поняла великого отечественного писателя. Если бы не существовало у нас этих исследований, мы должны были бы краснеть за русскую критику. Теперь мы спокойны.

Когда Розанов пишет о поле, он сверкает. Горящие символы его безвременны. Времена, национальности группируются вокруг этих образов, как вокруг своего ядра. Возвращаясь к истории, он невольно перемещает народности. Достоевский оказывается египтянином. В Египте воскресают черты, нам близкие. Тут Розанов подлинно гениален. Тут имя его останется в веках.

Когда же кстати и некстати притаскивает крылатые видения Иезекииля к современным темам<sup>3</sup>, горящие уголья его творчества покрываются серым налетом фельетонного пепла. «*Это писал усталый Розанов*», — хочется сказать, пробегая фельетон «Нового времени». Розанов, это — зоркая рысь, пронизывающая мрак лесных лабиринтов. Еще издали узнаешь о его приближении, когда в лесном одиночестве засверкают огоньки зорких глаз. Розанов-фельетонист, это — рысь, посаженная в клетку. Лихорадочно мечется она взад и вперед, возбуждая жалость, и вдруг оскалится. Тогда станет жутко.

Розанов, хватаясь за любую неинтересную тему, незаметно свертывает в излюбленную сторону. Тогда он бережно прибирает свою тему: тут ставит совершенно бесцветное письмо какого-то священника, наставит восклицательных знаков, снабдит сверкающим примечанием и вдруг от совершенно обыденных слов потянутся всюду указательные пальцы в одну точку; тут спрячется сам и точно нежной акварелью пройдет, изобразив беседу живых лиц, натравит их друг на друга, запутает; и потом вдруг выскочит из засады, подмигнет: «Видите, господа; я прав!»...

«Около церковных стен» — собрание статей и заметок, написанных не на главные темы Розанова. Здесь нет огня, оплеснувшего нас из книги «В мире неясного и нерешенного», ни красоты статей, напечатанных в «Мире искусства», ни внушительности «Семейного вопроса»<sup>4</sup>. «Усталый Розанов на досуге занимается ручными работами», — хочется сказать, прочитав его новую книгу. То перед нами изящно выточенная деревянная лошадка, то алая бархатная прошивка по золоту. «Около церковных стен» — музей ручных изделий. «Федосеевцы в Риге», «Интересные книги, интересное время» и «Миссионерство и миссионеры» — подлинные перлы вышиванья. Так бы и положить в гостиную на стол. Только где у нас гостиные, которые стоило бы украшать такими изящными изделиями? Ведь все эти изделия — в каком-то небывалом русском стиле, пока еще нечего с ними

делать. Прочитаешь — скажешь: глубоко, занимательно. И отложишь, принимаясь за круг обычных дел.

И вдруг испугаешься при мысли, что, быть может, оттого-то и нечего делать с этими бесконечно-тонкими узорами и разводами, что они относятся не к тому, что будет, а к тому, что могло бы быть, да не случилось. Неужели в таком случае интерес к ним — антикварный интерес?

Дай Бог, чтобы это не было так.

---

Имена Волынского, Розанова, Мережковского, Минского — дорогие имена, незабвенные. Это наши учителя. В них находили мы отклики на все то, что волновало нас в дни нашей юности.

Были дни, когда для целого поколения слетала с глаз пелена. Обозначилось явственнее окружающее. Но способы обозначения изменились. Эта разность в способах обозначения отделила тех, кто считал себя проснувшимся, от интеллигентного большинства.

И только потом стали понимать отделенные, что углубление в Достоевского немало способствовало созданию новых ценностей, а то, что углубляло Достоевского, — заря небывалого религиозного возрождения.

Потребовалась углубленная оценка Достоевского, и вот что-то затеплилось в статьях Волынского, бриллиантами искр рассыпалось в творчестве Розанова, заревом ярким и дымным встало у Мережковского. Так создавалась религиозно-эстетическая критика. Мы в нее уверовали. Многого ждали от нее. Думали мы — загорится пожар небывалый. Если и влагали столько надежд в просто критические статьи, хотя бы и гениальные, то только потому, что мы ждали новых времен. Новые времена не принесли новостей.

Волынский не развернулся. Так и остался теплым — теплящимся, хотя теплота его пролилась на читателя объемистыми томами. Мережковский ударил по нервам, сказав вдруг голосом громким на всю Россию: «Покайтесь, приблизилось Царствие Небесное. Покайтесь и веселитесь веселием вечным, ибо Жених грядет!»

Мережковский ударил на набат, но когда бросились к нему, вдруг закрылся религиозно-общественными темами.

Мы преклонились перед будущим. Но теперь, когда будущее запоздало, мы требуем гарантий, во имя чего должны мы отречься от чистого искусства, науки и теории познания? Во имя чего мир прекрасных форм, мысли и знаний должны мы преда-

вать иступленному безумию? Кроме того: религиозные методы наших учителей, преломленные в душах наших, я бы сказал, утончились. Многое мы видим более сложным, нежели наши учителя. На вопросы, ими поставленные, мы теперь смотрим трезвее, и сомневаемся, чтобы пути, ими указанные, были единственными путями.

Мы не скептики. Но нет в нас назойливого желания личную психологию навязывать многообразной действительности. Не отказываясь от религии, мы призываем с пути безумий к холодной ясности искусства, к гистологии науки, к серьезной, как музыка Баха, строгости теории познания.

Мы опять в горах. На перевале к лучшему будущему нас встречают туманы. Мы опять одни.

Голосам наших учителей не рассеять тучи сомнений, нас опоясавших. Мы принимаем эти сомнения, не спасаясь в безумие. Мы будем бороться холодом с холодом. К тому обязывает нас благородство.





## АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Рец.: В. Розанов, «Когда начальство  
ушло...», 1905–1906 гг.

С. VIII + 429, СПб., 1910 г., ц. 2 р.

Странная, неожиданная книга, как странен, неожиданен сам Розанов; он странен по выбору своих стратем; начнет описывать черные полосы еврейского *таллеса*, и от описания одежды перескочит к всемирно-историческому вопросу о судьбах еврейства и христианства; или наоборот: начнет углублять непонятные тексты «Апокалипсиса», а кончит тончайшими психологическими черточками, характеризующими быт супружеских отношений. От описания костюма — к концу всемирной истории; от конца всемирной истории — к Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне. В углублении любой житейской мелочи до ее вечного символического смысла видит он свою миссию: таблица из «Изумрудной скрижали»<sup>1</sup> — «все, что сверху, то и внизу» — превращается у Розанова в парадокс: в *мельчайшем крупнейшее*, в *конкретнейшем абстрактнейшее*; и он весь рассыпается в *конкретнейшее*; поверхность его писания — просто собрание слов, черточек лица, предметов, жестов, цитат; и может показаться, что у него нет мыслей; но у него есть во всяком случае одна мысль, мысль Тота-Гермеса, мысль «Изумрудной скрижали»: «Все, что сверху, то и внизу». Эта мысль есть мысль практического оккультизма всех времен и народов; из мужского семени строится мир, история, судьбы народов; деторождение равно мирозданию; половой акт равен творческому слову; быт вытекает из семьи; история — из быта. Розанов — наиболее бытийственный писатель нашего времени; философские, социальные и эстетические задачи нашего времени ставит он в зависимость от быта, быт — от семьи, как условия деторождения, а семью — от пола; вот почему в мелких черточках, характеризующих супружескую жизнь, видит он магию религиозного, бытового и исто-

рического творчества; у него одна мысль; он ее многократно, многообразно доказывал; а последние годы он уже только показывает на фактах справедливость своей мысли; вот почему не словами, не мыслями, не идеологией он входит нам в душу; он опрокидывает на нас поток *мелких бытовых черточек*, так или иначе подобранных; его мысль тонет в потоке черточек, сверкает миллионами живых проявлений, как бесплотный солнечный луч, она сверкает в тысячах живых капельках росы; в этом умении бесконечно варьировать свою тему — все богатство Розанова-публициста.

В последней книге Розанова «Когда начальство ушло» — еще одна вариация на старую тему оправдания революции, но какая новая вариация! Мы привыкли оправдывать освободительное движение наше отвлеченно: этическими, религиозными, политическими и социально-экономическими принципами; мы привыкли видеть правду освободительного движения, высказанную в отвлеченных принципах; наоборот, условия быта казались нам часто элементами консервативными по отношению к отвлеченным лозунгам наших стремлений; и певец быта, Розанов, в силу одной своей темы нам казался певцом отживающего прошлого; не мог не казаться им; да и сам заявлял многократно, многообразно о своем равнодушии к отвлеченным принципам общественности. Мистика Розанова часто казалась мистикой традиции, как чудился подозрительный, недобрый взор Розанова, брошенный в сторону отвлеченных утопий.

И вот сказал Розанов свое слово о том, что мы все пережили; он сказал это слово *так*, как никто, кроме него, не мог его сказать; но сказал он *то*, чего многие от него не могли вовсе и ожидать. Ласково улыбнулся Розанов там, где ждали от него угрюмого взора непонимания; в реально происходивших событиях прошлого он прочел жизнь и правду; в тысячах людей, с его точки зрения оторванных от быта, он увидел кровь и плоть этого быта, в «*безбожниках*» увидел «ангелов». «*Явились как будто “безбожники”, а работают как ангелы, посланные Богом*» (с. 14).

«*Явились как будто безбожники, а работают как ангелы, посланные Богом*», — удивляется Розанов и, как всегда, не доказывает отвлеченно правоты своего удивления, а зарисовывает недавнее прошлое в художественных картинах: вот митинг, Дума, Родичев; вот — кадеты; а вот — трудовики, — ряд великолепно исполненных фотографий с натуры, лишь слегка ретушированных лейтмотивом всей книги: «*Явились как будто безбожники, а работают как ангелы*». И этот ретушь превращает живые фотографии в художественные образы.



Книга Розанова — живая запись истории; это — документ; и вместе с тем это — характеристика событий 1905–1906 года с исключительно редкой точки зрения. Недоставало лишь этой точки зрения на события недавнего прошлого; и Розанов пополнил пробел: сделал то, что только он один мог сделать.

Но наиболее ценен мягкий пафос гуманизма, дышащий с каждой страницы и редкий у Розанова, писателя скорее жестокого, чем мягкого.

*«Были ли они религиозны? Нет. Но, может быть, они были не-религиозны? Опять нет. Международны, интернациональны? Снова — нет и нет. И как сестра милосердия на вопрос об этом ответила бы только: “Я стесняюсь ответом. Я училась перевязывать раны”» (с. 32).*

В событиях недавнего прошлого Розанову открылся прежде неведомый религиозный пафос неведомой прежде религии. И как изображенная им интеллигентка, стесняющаяся ответить на религиозные темы Розанова, сам Розанов лишь зарисовывает поразившие его вопреки ожиданию картины, как бы говоря нам: «Я стесняюсь ответить». И далее: «Я согласен, что “кадеты” почти революционеры: но — с культурой, за которую держатся... Вот вещь, которую нужно держать в уме раньше, чем осудить за что-нибудь кадетов» (с. 273). «Эстетика, эта проклятая эстетика, которой отравились русские... — я видел, что она одна управляет суждениями и этих милых (консервативно настроенных) и так глубоко мною чтимых девушек...» (с. 303). И далее важное признание певца быта: «Сгорели в пожаре Феникса отечества религия, быт, социальные связи, сословия, философия, поэзия. Человек наг опять. Но чего мы не можем оспорить, что бессильны оспорить все стороны, это — что он добр, благ, прекрасен». Это ли не оправдание революции?





## **А. А. ИЗМАЙЛОВ**

### **Вифлеем или Голгофа?**

(В. В. Розанов и «неудавшееся христианство»)

#### **I**

«Последний и совершеннейший выразитель антихристианской культуры — Ницше на Западе, а у нас, в России, почти с теми же откровениями — В. В. Розанов, русский Ницше. Я знаю, что такое сопоставление многих удивит; но когда этот мыслитель, при всех своих слабостях в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше, самородный, первозданный в своей антихристианской сущности, будет понят, то он окажется явлением едва ли не более грозным, требующим большего внимания со стороны церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей»<sup>1</sup>.

Так написал о Розанове Мережковский, и написал не в газетной статье, которой веку один день, а в капитальном и продуманнейшем двухтомном исследовании своем о Толстом и Достоевском. «Розанов — один из первых русских писателей... это нужно помнить... это должны помнить и враги его», — так написал убежденный политический враг его П. Струве<sup>2</sup>.

Но Владимир Соловьев когда-то беспощадно вышутил Розанова в целой статье и приклеил к нему долго державшуюся за ним кличку Порфирия Головлева. Но с высоты либерального величия критик М. Протопопов, бывший еще в силе, обозвал его «писателем-головотяпом»<sup>3</sup>. Но посейчас у него еще множество хулителей и врагов.

Оспариваемый и пререкаемый, умеющий вызывать какую-то особенную, глубокую до нежности и ласковости, читательскую любовь одних, раздражающий других одним своим именем, вызывающий чужих людей на интимнейшую переписку и странно

не задевающий душ других, — Розанов совершает свою литературную карьеру, подходящую вот уже к рубежу четверти века.

Откуда-то с проселочных дорог, из темных закоулков, из «Русского вестника», «Русского обозрения», плохо читаемых, еще менее уважаемых, из газет, где появление его имени было очевидной и не очень логической случайностью, — через несколько десятков лет он вышел на большую улицу литературы и стал на том месте, которое теперь видно со всех улиц и переулков. Ни предубеждения против журналов и газет, которым он давал свое имя, ни враждебный гул прогрессивной критики около его статей, ни самый характер его писаний, всегда серьезный и метафизический, ни самый стиль его, еще так недавно неясный, тяжеловатый, изобилующий словами в скобках и кавычках, примечаниями под строкой, отступлениями, — ничто не воспрепятствовало восходу его звезды.

## II

Своеобразный и большой талант победил уже многих, кто первое время не мог примириться с оригинальностью его выступлений, с его писательским обликом, так мало похожим на обыкновенные современные писательские лица, — не мог принять его языка, его тем, его странного спокойствия, с каким он садился за один стол с филистимлянами.

Похоже было на то, что в общество, связанное обычными, не нарушаемыми приличиями, этот человек пришел без условных крахмальных воротничков, в которых неловко шее, без застегнутого сюртука, без модного плаща.

Это было так непривычно, что на некоторое время совершенно обособившийся от своих собратий Розанов встал в положение какого-то почти «Христа ради юродивого». Над ним улыбались, когда на страницы книги он выносил что-то совершенно «свое», страшно интимное, совершенно личное.

Сколько великолепного зубоскальства ушло, например, на юморизирование по поводу «часовенки», о которой он заговорил в предисловии к одной из своих книг!<sup>4</sup>

Газетное литературное обозревательство большей частью имеет дело не с орехом, а со скорлупой, не ловит сущности, но цепляется за шероховатость, за орнамент, за ошибку, за lapsus, и уж как безгранично, по-мальчишески бывает радо смешному!

Розанов точно задался целью смущать этих веселых литературных мальчиков. Перед их огромной аудиторией он говорил

так, как можно говорить в интимном семейном кружке, где люди давно сговорились и понимают друг друга с полуслова. Доказывая мысль о необходимости какого-то возвращения к жизни природы, к общению с животным, он раз написал:

«Часто я думаю, что для этого надо просто обниматься с животными; начать носить их на руках (дети вечно носят кошек на руках). Великое дело — прилечь ухом к груди доброй коровы; новая теплота, новая жизненная теплота, как бы не нашей даже планеты, без категории еще грехопадения. Великому мы можем научиться из вздохов животных... И смешно, а как мило! Проникание в невинный или гораздо менее нас виновный животный мир достигло бы осязательности и действительности, если бы иногда человеческие матери, так сказать, менялись детенышами с матерями животных» и т. д.

Можно представить, какой благодарный материал всякого рода пересмешникам давали эти строки! Какой соблазн для карикатуристов чернил и красок представлялся в изображении Розанова, «прилежшего ухом к груди доброй коровы»! В России, где читатель не читает, а пользуется готовыми кличками фельетонистов, иногда приклеивающимися к общественному человеку на целый век, одной такой неосторожности достаточно для того, чтобы пошатнуть навсегда свое положение. Розанов давал эти поводы на каждом шагу.

Он иногда может договориться до чистого парадокса, до ереси, научной или политической. Его можно иногда жестоко осудить с точки зрения гражданственности, если забыть, что не всех людей можно судить под углом «направления».

### III

Писатель, который думает «свое», не очень заботясь о том, насколько это совпадает с общими думами, ставит себя очень невыгодно. Нужно «заставить» слушать себя. Но нет такой твердыни, которой бы не победили искренность и талант. И Розанов победил.

Новое литературное направление широко распахнуло перед ним свои двери. С уходом из рядов действующей армии критических старцев и все старое и стареющее повернуло к Розанову заинтересованное лицо.

В самые последние годы Розанов рос необыкновенно, с каждым новым шагом писательского самоопределения становясь все интереснее, смелее и ярче. Поразительной искренностью берет он читателя в свою власть.

Собственно говоря, сам Розанов изменился немного. Это правда, что с годами талант его зрел и зрел. Его фраза, в прежние годы длинная и вязкая, торопливая и запутанная, с годами много выиграла в своей ясности и красоте. Сейчас в его книгах, например, в «Итальянских впечатлениях», можно найти страницы такой настоящей художественности, что их можно взять в хрестоматии.

Но гораздо больше изменилось отношение к нему. Он так же неосторожен в своих признаниях. Так же легко он готов ввести читателя в свою личную, почти семейную жизнь, взять для примера, для доказательства какую-либо мелочь своей частной жизни. Так же наивен, так же готов процитировать полученное частное письмо, которое своей медицинской откровенностью способно привести читателя в крайнее удивление, а главное управление по делам печати в испуг. Так же мало он боится того, что о нем скажут и как посмотрят на него газетные фельетонисты, которым всегда и от всего весело.

Глубокий и серьезный читатель оценил эту черту писательской открытости. Эта интимность, это отсутствие боязни до конца высказаться взяли его в плен. За искренность платят искренностью.

#### IV

Сила притягательности Розанова, помимо этой искренности, в самой сущности его писательских влечений. Еще совсем неизвестный, никем не знаемый, по положению скромный учитель сначала в елецкой, потом в бельской прогимназии, в самых ранних своих статьях он брался за те важные и глубокие темы, которые будут вечно волновать человечество. Для толстого журнала 90-х годов почти странно звучали самые названия его работ: «Место христианства в истории», «Цель человеческой жизни», «Легенда о Великом Инквизиторе». Конечно, ни «Вестник Европы», ни «Русская мысль» не дали бы места этим статьям. Религиозный душок смущал прогрессивную редакцию «Вестника Европы» даже в статьях Влад. Соловьева. С религиозностью Толстого считались больше из любезности, оказываемой его колоссальному таланту. Было в высшей степени неосторожно выступить в дни, когда царил Михайловский, с вопросами, какие облюбовал Розанов.

Но веяние, выразителем которого был Толстой, уже властно несло на Россию. Когда Владимир Соловьев умирал, на него уже были устремлены благосклонные глаза интеллигенции, в сущности, вовсе не бывшей при жизни под его влиянием. Вопрос

сы религиозной совести стали вдруг близки ей. Тогда вдруг, буйно, вольно и в качественном и в количественном отношениях расцвел талант Розанова.

Была какая-то волнующая парадоксальность в его статьях. Ко всему, что интересовало его, он умел подойти как-то необыкновенно оригинально с той стороны, какая была в тени, не резала ничей глаз. И так было всегда, пытался ли он осветить судьбу Лермонтова, или хотел наметить историческую литературную грань от Пушкина или Гоголя, сопоставлял ли католичество с православием или писал о самых обыкновенных житейских предметах.

Интересный, парадоксальный, своеобразный по всему, вплоть до своего стиля, лирического, точно торопливого, часто почти судорожного, переливающегося то в экстазную речь при внезапной мысли, обжегшей сердце, то в тихо интимный, ласковый шепот — фельетонист Розанов создал имя Розанову-философу.

Сначала узнали его фельетоны, потом уже по справкам оказалось, что у этого писателя есть книга о «Великом Инквизиторе», что, кроме злобы сегодняшнего дня, для него горят интересом такие огромные вопросы, как вопрос о христианстве.

Розановым заинтересовались. Тогда узнали о его бывшем учительстве, о том, что он приглашен Т. И. Филипповым на службу в государственный контроль, что он уже совсем не молод. Ряд вышедших к этому времени книг установил репутацию Розанова. Его огромный философский трактат «О понимании» установил за ним ученый ценз. Для обыкновенного читателя — подвиг прочесть эту систему, где на протяжении 800 страниц нет ни одной цитаты. — «А какова действительная научная ценность этого труда?» — спросил я однажды у большого специалиста философии, академика и друга Соловьева. — «Этот труд, — ответил он, — замечателен тем, что Розанов, не читавший Гегеля, собственным умом дошел до того, до чего дошел Гегель. Я думаю, что этого не нужно было делать, — проще было научиться читать по-немецки»...

Это была горькая истина, но это был и очень высокий комплимент Розанову как мыслителю.

## V

Вопрос об «историческом христианстве» был темой, которая давно не давала спать Розанову. Что есть христианство и чем оно стало — этот вопрос мучил его еще тогда, когда он писал «Легенду о Великом Инквизиторе». Из этого вопроса вытекает

вся его философия. С величайшими усилиями он уцепился за колоссальное колесо, привел его в движение тяжестью своей мысли, и зубцы колеса попутно зацепили чуть не за всю систему человеческой мысли.

С преклонением Розанов остановился перед учением Христа, но историческое проведение христианства в жизнь, история христианства, облитая кровью первых мучеников, жертв инквизиции, жертв современной государственности, все современное христианство вообще с протитуцией и смертной казнью и т. д. без конца — все это повергло его в ужас.

«Христианство не удалось», — с великой горечью, но и с великим и несомненным убеждением произнес он. Христа не поняли, христианство подменили. Под христианство нырнуло что-то другое, сохранившее от истинного учения Христа только оболочки слов, формулы, красивые эмблемы и священные термины. Византинизм, аскеты-монахи переделали его на свой вкус. Они приняли христианство умом, они исписали тысячи толстых книг для его уяснения, но они не приняли евангелия сердцем и «не понесли его на струны» арфы, «не выразили в псалтири». Они хотели его *понять* и отказались *почувствовать*.

Протестующее мировоззрение Розанова создано не сразу и не целиком. Человек, избравший трагический удел газетного писателя, Розанов был лишен преимуществ мыслителя, неспешно и без помех вынашивающего свою систему для того, чтобы потом ударить ею по сердцам человечества. Только в самые первые годы своего труда, в годы безвестности и жизни в провинции Розанов мог почувствовать выгоды такого положения. Теперь на глазах всех он должен был вырубать и обтачивать каждый камень огромного здания своей философии.

Он как бы думал вслух, ошибаясь и поправляясь, выслушивая спорщиков, полемизируя с ними, иногда соглашаясь с ними и ломая только что уложенный перед этим камень. Совершенно так же, как Ницше, он дает многочисленные поводы понять себя неверно. В сего раннейших книгах есть целые отделы, которые теперь прямо должны быть вычеркнуты, — до такой степени не соответствуют они его нынешнему пониманию, иногда полярно противоположны его нынешнему пониманию.

## VI

Эта оговорка как нельзя более уместна и тогда, когда идет речь о понимании им современного христианства и тех поправок, какие он хотел бы в нем сделать.



Еще не так давно Розанов был убежденным сторонником христианства, понятого как «свет и радость». Христианство Вифлеема, религию рождений, светлого счастья семьи, брака, супружеской любви, улыбающихся детей Розанов проповедывал со всей порывистостью и страстью своего темперамента. В книге «Около церковных стен» он одобрял книгу Григория Петрова, несшую то же учение в противоположность христианству Голгофы, унылых монастырей, черных ряс, самоотреченного безбрачия и смертных саванов.

Эта религия Голгофы, эта смертная тень христианства казалась ему тогда лживым измышлением Византии и аскетов. Под таким углом написаны его книги «О семейном вопросе в России», о браке, сила и смысл которого для Розанова в супружеской любви и детях, а не в церковном обряде и отметках паспорта. Неудержимые громы метал он в представителей синодской церкви и в институт монашества.

Недавняя книга его «Темный Лик» освещена уже значительно иначе. Его вражда к монашеству, к аскетизму, внушающему миру идеалы безбрачия, подвиги девства, «мерзость пола», стыд плотского сожития, — правда, и здесь ничуть не менее. Он доходит почти до неприличия в своих бранных выпадах против этих «скопцов» и «изуверов», но, оставаясь наедине с собою, Розанов, кажется, должен чувствовать несправедливость своего обвинения в отношении именно *этих* лиц.

Углубляясь в свою излюбленную тему, докапываясь до самых корней, он, кажется, уже почувствовал, что обвинение его метит гораздо глубже, что он враждует не с этими людьми, а с самим Христом. Они виноваты не в том, что *неверно Его поняли*, а в том, что именно *прямолинейно провели Его учение* в жизнь.

«Востоку одному дано было уловить лицо Христа. И Восток увидел, что лицо это бесконечной красоты и бесконечной грусти. Взглянув на него, Восток уже навсегда потерял способность по-настоящему, по-земному радоваться, попросту быть веселым, даже только спокойным и ровным. Он разбил вдребезги прежние игрушки, земные недалекие удовольствия и пошел, плача, но и восторгаясь, по линии этого темного, не видного никому луча...»

## VII

Существует картина одного мастера из новых, изображающая Христа, держащего крест. За ним мир, поля, люди, жилища. Великая черная тень легла от этого креста на все сзади него. Вот

картина, которую Розанов мог бы повесить у себя вместо образа. Здесь все его мировоззрение: Пушкины и Горации, Рафаэль и Петрарка, вся романтика, все земное счастье — все умерло под смертной тенью христианства. Смерть — его идеал. «Плюнь и отрекись от своего рождения, от твоих родителей», — говорит церковь вновь крещаемому...

## VIII

Сопоставляя мир и монастырь, девство и брак, отшельничество и семью с детьми, Розанов не мог не остановиться перед огромным вопросом бытия — вопросом пола.

С этой минуты этот вопрос загорелся для него костром и пылает десяток лет, горя и не сгорая, как библейская купина перед Моисеем. Это даже не увлечение, не захват, — Розанов точно заболел, забеременел этой думою.

В целом мире для него нет ничего более интересного, огромного, захватывающего. Он для него выше политики, общественности, литературы, красоты, всех прикладных знаний, всего практического уклада. Всю тонкость своего ума, все свое мистическое прозрение, которое порой поражает в Розанове даже его литературных противников, всю образность своей речи, весь пафос своего сердца Розанов сложил сюда.

Своей думы он не оставляет нигде, ни перед сфинксами Египта, ни в галереях итальянских и германских сокровищниц, ни перед изображениями древних монет (маленькая его слабость). Всюду он ищет аналогий, символов, сравнений, прояснений, прообразов, пророчеств.

Как человек, подсмотревший Божию тайну, он носится с нею, иногда рискуя показаться психически неуравновешенным, возвращается к ней в десятках и сотнях статей, собирает эти статьи в книги. В двух томах «Семейного вопроса в России», в большой книге «В мире неясного и нерешенного», в «Людах лунного света» — его глаза прикованы все к той же точке. То, что веками замалчивалось в печати, освещаясь только в интимнейших тайных разговорах с глазу на глаз, то, что считалось стыдным, что церковь всех веков осуждала как грешное, нецеломудренное, — Розанов первый с такой смелостью, как никто, вынес на всенародные очи.

Жизнь пола он считает самым важным и самым священным в человеке. Это та область, где человек более всего касается Божией тайны и Бога. Пол определяет все и управляет всем. «Душа

вовсе и нисколько не имеет своим седалищем мозг, но то темное и разлитое в существе нашем, что мы называет «полом». Душа есть зеркало пола».

«Рождение и все около рождения религиозно». Всякое дитя, законное или незаконное, брачное или внебрачное, есть великое счастье и святыня. Всякий мужчина, сошедшийся с женщиной, записан в брачную книгу на небе.

## IX

Розанов хотел бы установить почти молитвенное отношение к супружескому акту. Как высшую мудрость он одобряет существование у евреев молитвы пред сближением супругов. С лицом, выражающим глубокую серьезность и иногда умиление, он входит в малейшие подробности восточных культов, устанавливающих внешнюю обрядовую сторону супружеского акта в древних религиях, делает экскурсии в медицину, психиатрию, в исследования извращений, ища всюду, и в положительных и в отрицательных материалах, прямых или косвенных подтверждений своего учения о «святости плоти», стряхивает пыль с египетских мифов, обращается к зоологии, воспринимает решительно все — в жизни, в книге — как материал для исследования о поле.

Трудно представить более пламенного певца семьи как «святий земли», как союза целомудрия и чистоты, как храма, где отец — жрец и царь, чем Розанов.

Нет злее врага, не щадящего самых жалких и обидных слов против тех, кто стоят за принципы девства и готов отрицать права пола. Он проклинает аскетизм и монашество, веками убеждавшие человечество, что жизнь пола есть грех, а целомудрие — высшая добродетель и святость.

«Оцеломудрить человечество! Две тысячи лет это понимает как «отвергнуть» пол, «уничтожить» его; и никто не догадывается, что это именно и есть *decadence* пола, его загрязнение, его развращение...»

Чисто языческий восторг овладевает Розановым, когда он становится поэтом пола, радостей семьи, безумного счастья материнства и отчества. Так мог радоваться бытию древний эллин. Каждое слово одобрения со стороны радует Розанова, и он перепечатывает эти письма к нему, не смущаясь откровенностью их выражений, не боясь иногда того, что в глазах человека, не разделяющего его возвышенного понимания, такие письма иногда

могут показаться чистой порнографией. В свое время нашумевшее 21 письмо в его книге «В мире неясного и нерешенного» было вырезано как оскорбляющее общественную нравственность.

Система Розанова еще и сейчас не может быть признана законченной и цельной. Она развивается вместе с его жизнью, принимает поправки, находит все более смелые определения и формулы. Она так сложна, что критическое освещение ее потребовало бы самостоятельной статьи. Чем она завершится — неизвестно, и здесь можно ждать всяческих неожиданностей.

Можно не удивиться, если его мысль пойдет в своем еретичестве дальше отрицания Толстого. Но не будет удивительно, если она найдет покойную и тихую пристань в кроткой вере Достоевского или Леонтьева.





## А. А. ИЗМАЙЛОВ

### Закат ересиарха († В. В. Розанов)

Пришел внезапный великий ветер от пустыни, как во дни Иова, и снес, как срезал, храмину русской литературы. И среди развалин и гробов высится гроб Розанова, точно его не могут убрать. Об этой смерти, больше чем о всех других, говорят здесь, на берегах Невы, на развалинах былых русских Афин. Мертвый, он занимает собою ничуть не меньше, чем живой, и в гробу он все тот же пререкаемый, прекословный, спорный — «руце его на всех, и руце всех на него».

Он уже не суетится среди нашей литературной сутолоки, в традиционном пиджачке, с «неакадемическим», непоэтическим лицом, сам с головой ушедший в ничтожные, «слишком человеческие» заботы, но той «величественной позы», какую создает торжественное отдаление смерти, у него нет и сейчас, когда он перестал быть человеком и стал *явлением*.

Напротив, чудится, что еще целый десяток лет он напомним шумом и стуком полемики, что над его могилой суждено еще прозвучать восторгам и хулам, каких он не слышал при жизни, что и теперь, с устранением личных пристрастий, этот гений для одних останется писателем-обывателем для других.

И камни еще летят по его следу. Это всегда заставляет настояжиться, — камнями иногда побивали пророков.

---

Однажды в «Русском труде» С. Ф. Шарапов первый истерически выкрикнул, что в России сейчас здравствуют три гения: Толстой, Вл. Соловьев и Розанов<sup>1</sup>. Мир до того скептик и завистник, что даже слыша с небес «Сей есть сын мой возлюбленный!» — говорит: «Гром бысть!» Принято было хохотать надо

всем, что ни скажет Шарапов, как над гоголевским Антоном Прокофьевичем<sup>2</sup>, которому говорили: «На что вы дразните собак?» — когда он не имел о собаках и помысла.

На патетическое восклицание Шарапова печатно улыбнулся один-другой фельетонист. «Розанов — гений», и как кстати рядом с этим гением Соловьев, тот самый, что навеки приклеил к нему позорный ярлык Иудушки Головлева!

Может быть, впервые над Розановым серьезно задумались тогда, когда гораздо более авторитетный Мережковский сравнил его с Ницше, и как сравнил!

— «Мыслитель, в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже больше, чем Ницше, самородный, первозданный в своей антихристианской сущности» («Толстой и Достоевский»)<sup>3</sup>.

«Ницше!» «Гениальность!» И это о Розанове? Гений, пишущий в дышащем на ладан «Рус<ском> обозрении», в великолепных «Моск<овских> ведомостях» и «Торгово-промышл<енной> газете»?<sup>4</sup> О чем пишущий, — о таких высокоинтересных и современных материях, как славянофильство, Леонтьев, христианство в истории и брачный процесс? Разве бракоразводными делами интересуется еще кто-нибудь, кроме служащих в консисториях? Разве в «Торг<ово>-пром<ышленной> газете» пишут еще о чем-нибудь, кроме цен на жиры, нефть, хлопок и металл? И этот человек не может писать короче, чем на полтора листа! И наконец, эти кавычки, скобки, подчеркивания. А какой его формуляр?

О Розанове справлялись, но он был решительно чужд всем кружкам, ведом разве в одной квартире Страхова. Что узнавали о нем, было отнюдь не занимательно. В формуляре не было ни интересности, ни неожиданности, ни страдания. Одиночка. Однодум. Был учителем «истории с географией» — почти смешно! — где-то в Брянске. Теперь на службе в Госуд<арственном> Контроле у елейно-лампадного Тертая Филиппова. Теперь на жалованьи у Суворина. Вот, от альфы до омеги, исключаящее гениальность.

\* \* \*

Но сталкивались с случайными людьми, со студентом, учителем, — и вдруг чувствовали тепло, иногда горячность, порой огонь около этого имени. Были люди, которые зачитывались этим писателем, пишущим в «Торг<ово>-промышленной», его любили, его строк искали, ему писали, как никому.

— Но «Торг<ово>-пром<ышленная>»!

— Да, это только несуразное место, потому что он сам — несуразный человек, идущий в первую открывшуюся перед ним дверь (сам потом написал это о себе), но все, что он пишет, — захватывающе интересно, будет ли это о Христе и Достоевском, католицизме или евреях, революции или половом влечении. Ко всему он подходит удивительно своеобразно. У него как-то так устроен глаз, что он видит вещи со стороны, всеми пренебреженной, этот человек пишет мыслью. В «Торг<ово>-пром<ышленной>» он пишет обо всем, кроме торговли и промышленности, но, думается, если бы он писал о хлопке и нефти, он попутно бы бросил кучу философских и художественных замечаний. И когда вы «втянетесь» в Розанова, вам понравится и его стиль, узнаваемый «с трех строк», и эти его кавычки, как родинки на любимом лице...

Слушали, улыбались, но, уходя, уносили зерно интереса к «не совсем обыкновенному» писателю, идущему во все открытые двери. И мало-помалу взламывался ледок. И кто натыкался сразу на «Легенду о Великом Инквизиторе», сразу же мог понять, что имеет дело с глубоким умом.

Мало, однако, совершенно открыто признать, что настоящая известность пришла к Розанову, вскормленному «Русского вестника» и «Московских ведомостей», совершенно так же, как она пришла к Чехову, питомцу «Осколков» и «Пб. газеты», — только тогда, когда он появился, как постоянный фельетонист, в «Новом времени». Только здесь, — и, м<ожет> б<ыть>, не без подсказа Суворина, — Розанов нашел форму, какой ему не доставало, — форму сжатого фельетона, маленькой статьи, освобожденной от громоздкой артиллерии мысли первых работ.

И только тут он нашел простор *своим* мыслям, таким далеким от умонастроений всяких редакций и редакторов, таким сектантским и еретическим. Никто из этих редакторов не был с ним в паре, не шел в ногу. Одним из величайших и курьезных русских недоразумений было то, что его, бунтаря и ересиарха, революционера с бомбой в кармане против всех святынь и твердынь, каприз российской случайности занес в богоугоднейший «Русский вестник», даже не в воинствующего Каткова, а его выдохшихся и анемичных эпигонов!

Суворин тоже ни в каком случае не был ему парой. Даже простыми попутчиками они были с великой натяжкой, в самом широком смысле, — в последней, пожалуй, точке пути. Оба были *очень* русские, путанные, впечатлительно-непостоянные, с «истерикой» во вкусе Рогожина, влюбленные в русское и ненавидящие русское, оба заглядывающие куда-то много дальше за фор-



мы нынешней политики через головы Горемыкиных. В сущности, и политика, и люди были обоим глубоко неинтересны, но Суворину нужны, как практику, «хозяину» и редактору, — Розанову же решительно, неприлично-неинтересны, так-таки до полного и характерного для него «наплевать».

«Хозяин» нередко возвращал работнику его труд, «ворочая статью», но было договорено, что это нисколько не ранило самолюбия, не било по карману. Здесь Розанов нашел то, чего еще никто не дал ему нигде: волю писать о чем ему нравится. В нововременском «парламенте мнений»<sup>5</sup> могло быть заслушано суждение человека, всегда изумительно оригинального и решительно непохожего на других, — в этом смысле Суворин был римлянин, тащивший в свой пантеон чужих богов, ничуть не поклоняемых.

И сам он нравился Розанову каким-то подобием себе, начиная тем, что и тот начал тоже с учительства, с географии и истории в каком-то Боброве, продолжая этой «жизнью по настроению», даже до идейного разгильдяйства... «Мои собственные недостатки, когда я их встречаю в других, нисколько не противны» («Уединенное»). И как Розанов написал о себе: «Я пишу не на гербовой бумаге» (всегда могу взять назад и всегда можете разорвать), — так точно сторонником неколеблящихся слов и «гербовой бумаги» в литературе — никогда не был и творец «Нов<ого> вр<емени>».

В этом они были и почти пара, и Розанов признавался, что редко еще переживал такое большое удовольствие, как его беседы ночью, уже в третьем часу при спуске газеты в машину, когда они оба, — один, просмотревший фельетон, другой, отбывший свои редакторские обязанности, в халате, весело-нервный и необычайно возбужденный — задерживались иногда на целый час где-то на лестнице, на пороге, не успевая наговориться...

\* \* \*

Фельетонист в философах — чепуха. Философ в фельетонистах — один из величайших капризов русского бытия, — вовсе, однако, недурных, если у этого философа не слог Канта. Такое сочетание являл Розанов.

К этому времени он отточил слово до своеобразнейшего совершенства и большой оригинальности: его узнаешь по трем строкам, как Достоевского или Толстого, как Дорошевича или Бальмонта. После нескольких опытов его в лирике, после одной «Голубой любви» в «Уединенном» невозможно спорить, что в

нем таился настоящий художник, только по свойствам дара своего он и не умел, и не хотел на одну минуту явиться в маске, мог только прямо писать *Я*, и был настолько чужд всякого ухищрения формы, что его немыслимо представить пишущим стихи. Маленькие статейки в газете, выливавшиеся у него из-под пера под случайным настроением, округлялись в законченные стихотворения в прозе.

И здесь уже Розанова читали. Читали и те, кого он злил каждой своей строкой, и те, кого он каждой строкой радовал. Было величайшим недоразумением принимать его как политика. Здесь его отличало самое грубое непонимание вещей, незнание азбуки, тяжкая неспособность понять явление в жизненно-практическом ракурсе, почти тупость, как сказал бы о себе он сам со свойственным ему выбором последних слов, обидных, как плевков. Не сам ли он рассказал о себе однажды, как ответственный для России день объявления манифеста 17 октября он «пролежал в пару» в банях на Знаменской, «отложив все попечения», радостный, что ни сегодня, ни завтра не придется писать<sup>6</sup>.

Там, где только начиналось касание человека к политике и общественности, Розанов становился иногда истинным богом бестактности, и хульные глаголы, от которых могла зауглиться страница, падали на бумагу. Декабристы — это «буффонада», Некрасов — погубитель тысяч юношей, Салтыков, этот «ругающийся вице-губернатор — отвратительное явление», Михайловский — Судейкин, Гоголь — «архиерей мертвечины», «Толстой прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь», Бокль — Добчинский, Дарвину — даже честь происходить от умной обезьяны, у Спенсера — лошадиная голова, и — «что с таким дураком делать, как не выдрать его за бакенбарды!» А надо всем этим — «частная жизнь выше всего» и «моя кухонная книжка стоит «Писем Тургенева к Виардо»!»

\* \* \*

Он кощунствовал, он глумился! Его почитателям иногда оставалось хвататься за голову при каждом новом и новом его идейном ляпсусе. А он с каждым новым политическим фельетоном (тянуло, как преступника на место преступления!), с каждой новой хулой на чудотворные иконы интеллигенции, на Герцена, на Некрасова, — все глуше и глуше лез в трясину, словно бы ему нравился этот лай из всех подворотен, какой поднимался после каждой его вылазки. Вот кто испытал истинное наслаждение матадора!

Или при своем презрении к «текущей литературе» он просто не читал этого? Вполне возможно. Во второй половине жизни, обожая старые книги, он ненавидел Гуттенберга за новые. С удовольствием расписывался он в том, что никогда не читал Щедрина, не прочел «Растеряевой улицы», из Шопенгауэра «прочел только первую половину первой страницы» «Мира как воля». Когда я, смеясь, сказал ему, что он притворяется, он написал в «Опавших листьях»: «Измайлов не верит, будто я не читал Щедрина», и мотивированно подтвердил факт. Не читал, потому что со Страховым, Рцы, Флоренским и Рачинским, зная «суть» его, считал бы «невежливостью в отношении ума своего читать Щедрина».

Глубокое недоразумение, что ему казалось нужным откликаться на политику в то политическое время, что никто из редакторов не сумел ему сказать: «Брось не свое дело», что критика прежде всего и *только* считалась с ним, как с политиком. Он скопил томик политических статей, и это — самое незначительное и последнее в его наследстве, как стихи у Шопенгауэра, как толкование на Апокалипсис у Ньютона.

И насколько же проникновеннее и умнее присяжных критиков и фельетонистов оказывался простой зауряд-читатель, давно почувствовавший центр тяжести писаний Розанова совсем в другом! Как хорошо понимала его какая-нибудь простая женщина-мать, задетая им и славшая ему горячие от горячего сердца строки хотя бы за то, что первый на столько веков он догадался спросить у церкви, почему среди тысяч своих молитв и воздыханий она ни разу не поклонилась и не вздохнула на беременную.

\* \* \*

Но отшвырните политику Розанова, как она того стоит, и весь этот последний период выявлений его предстанет сплошным пламенением его таланта, всем предшествующим опытом взвинченного и раскаленного до высокой и, конечно, болезненной точки. «Болею склерозом головного мозга, — прочитал я однажды жуткие слова в одном из его прошений, — содержащего в себе непрерывную угрозу нервного удара и смерти, по приговору врачей Карпинского, Шернвалья и Жихарева»<sup>7</sup>. Так вот где догадка и его метаний, и его прозрений, и всего в нем странного, и этого умственного перенасыщения! — подумал я тогда.

Подобно Ницше, и с большою же самомнительностью Ницше (в «Ессе homo») Розанов сам удивлялся в себе этому неустанному

кипению мыслей, вихрю дум, углублений, подмечаний, подслушиваний у природы, — этому смерчу, головокружительно несшему его, помимо веры, куда-то вперед. Не было возможности всего схватить, вместить, передумать, записать. Вечное истечение, бездонность, ненасытность!

Метель мела в человеке, в котором было нечто совершенно явное от пророка в ветхозаветном понимании или от... сумасшедшего дома. Если бы Розанов не умер раньше срока, убитый жизнью, аннулированный ею за год до финала, он, вне всякого сомнения, сошел бы с ума. Некоторые медицинские авторитеты считали его уже ненормальным.

Писательская производительность Розанова последнего десятилетия — исключительная. В сущности, все эти годы, за одним-единственным исключением «Легенды о Великом Инквизиторе», рождено и собрано им все лучшее. На пространстве нескольких годов он выбросил то, что обычно писатель производит за целую жизнь. И он хотел бы и мог писать еще и скучал, что ему *негде* писать, что Суворин печатает *мало*, и на его столе в час смерти действительно оказалось столько готового («Из восточных мотивов»<sup>8</sup> — о Египте), сколько редко находится у писателя.

В эти годы он именно был «в зените», в той точке расцвета, когда, по его собственному пониманию, и надо сниматься человеку на единственной *настоящей* фотографии<sup>9</sup>. За несколько лет до смерти, в период работы в «Русском слове», этот некрасивый в общепринятом смысле человек (каким он много раз признавал себя в книгах) похорошел до возможной степени. Бывают лица, становящиеся положительно лучше с приближением старости. Так, несомненно, было с ним. «Мы выслуживаем себе к концу жизни лицо, как солдаты Георгия», написал он в одной из самых ранних своих книг, и он так выслужил себе лицо весь век упрямо мыслившего профессора (почти двойник в известном и очень талантливом историке С. Ф. Платонове<sup>10</sup>).

С годами исчезла застенчивость, неуклюжесть (его слово), во взгляде сквозь туго вытянутые золотые очки, острым и почти сверлящем, чувствовалось расчленяющее, испытующее внимание. И — в то же время бездна чего-то неисправимо студенческого, от молодости — в торопливости, нетерпеливости, в нервном зажигании и подхватывании папирос, в манере поджимать под себя ногу на схваченном и близко к собеседнику придвинутом стуле.

Портрет такого Розанова в самом деле неизмеримо лучше и достойнее его, чем те молодые, где, худой и бледный, с испуганными бровями и едва отраженной печатающим солнцем расти-

тельностью, он больше кажется типичным чиновником консистории, «руки по швам», чем писателем, умевшим властвовать, смущать совесть, проклинать и благословлять.

\* \* \*

Розанов — явление настолько сложное, настолько не монолитное, настолько всю жизнь «бродившее», что нет решительно никакой возможности охватить его в беглом фельетоне. Если у Ницше тысячи противоречий, у Розанова их — тьмы. Его рука иногда вечером писала противоположное тому, что написала утром. Он поддерживал с упрямством фанатика бессмысленный навет на еврейство, и он слал в магазин «Н<ового> вр<емени>» приказ сжечь все эти четыре книжки. Глубочайшие и сверкающие, как алмаз, мысли иногда валяются у него среди битого стекла.

Можно прочесть целый ряд лекций по каждой из тем, глубоко его волновавших, — о поле, о месте христианства в истории, о Достоевском или Леонтьеве, о православии и русской семье, о религии и культуре, о русском сектантстве, тайнозрительстве еврейства или египетских откровениях. И можно собрать и читать два часа об его промахах, и ошибках, хулах и почти клеветах.

Можно представить его Патроклом и — при желании — «презрительным Терситом», «осколком гения», который мог бы «наполнить багровыми клубами дыма мир», и Макаром Девушкиным из «Бедных людей», вытряхивающим из экономии окурки; ересиархом, посягающим на церковь с неистовством врат адových, и смиренным кающимся, биющим себя в наболевшие перси в тоске отчаяния: «Запутался мой ум, совершенно запутался! всю жизнь посвятить на разрушение того, что *одно* в мире любил, — была ли у кого печальнее судьба!» — надменным мыслителем, совершенно в духе Ницше, открыто возвещающим свою силу, свою славу — «Мне многое пришло на ум, чего раньше *никому* не приходило, в том числе и Ницше», и — «Каждая моя строка есть священное писание!» — и бедным, заблудившимся умом, уже с напоминанием ницшевского: «Mutter, ich bin dumm» \* — «Вот чего я совершенно и окончательно не знаю, — что-нибудь я или ничто!»

А к этому, отпечатлевшемуся в книгах образу, дополнительно еще образ Розанова личности — человек, которого мы знали,

---

\* Мама, я глупец (нем.).

который, спеша высказаться, говорил с вами около своей библиотеки, ехал с вами на извозчике, всматривался в загулявшего Распутина<sup>11</sup>, ворчал на гоголевских торжествах<sup>12</sup>, пододвигал стакан с чаем за столом своей столовой. Вся сложность его выступала здесь, в живом общении, здесь он играл всеми цветами самородка, и, конечно, об *этом* Розанове по его кличам, по его биографиям будет представление только такое, как о драгоценном камне по минералогическому атласу. «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти». Попробуйте воссоздать эту амальгаму!

\* \* \*

Страшно умирал Розанов, во многом повторяя Гоголя, с его метаниями, с его судорожными хватаньями за религию, с его галлюцинациями величайших, апокалиптических откровений («Действительно, действительно времена Апокалипсиса. Они пришли, они — вот! Господи!.. Но мне страшно досказывать вам в частном письме...» — в одном из последних предсмертных ко мне писем), с его даже сожжением своего труда, только не в рукописях, а в печати («Прошу — с внезапным переходом на “ты”, — проверь, чтобы в магазинах «Нов<ого> вр<емени>» и складах были действительно уничтожены, т. е. действительно и на глазах, все четыре книги против евреев»). Как всегда, тут были вздохи и слезы, умиление и бунт, падения на колени с разбиванием до боли колен, и рядом кощунства и отречения.

Но умер он со всем примиренный, все поняв, все приняв, все простив. «Все — как надо». Благословен Воскресший из мертвых!

В последней прижизненной и им прочтенной своей статье о Розанове<sup>13</sup>, почти отходной (под впечатлением его страшных, психозных писем<sup>14</sup>) я вспоминал недавно перед тем происшедший случай: при перевозке цирка Гагенбека, где-то в Германии, поезд сошел с рельс. Ничто и никто не пострадал в вагонах, но — четыре берберских льва были найдены мертвыми. Испульва нечто столь страшное, что сердце льва его не выносит.

Таковы таинства природы, — писал я, — робкие зайцы и хрупкие лани — съежились и отделались легким испугом. «Так при мировых катаклизмах, когда маленький человек благополучно живет и спекулирует, Ницше и Розановы сходят с ума или умирают».

Он еще успел поправить меня, крикнуть из Сергиева Посада:

— «Нет, не алжирский лев перед Вами, умирающий от перепуга, а собака, без папиросы (“одно утешение!”)... Отчаяние полное, лютое отчаяние. Бегите, помогайте! Спешите, спешите, Измаил, сын Агари!..»<sup>15</sup>.

Это было его последнее письмо. И оно было так печально созвучно с последней страницей «Уединенного»:

— Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости.







## **Б. А. ГРИФЦОВ**

## **В. В. Розанов**

Странный, загадочно-талантливый, полный неистребимых противоречий облик В. В. Розанова мало известен широкой публике. И для этого немало оснований. В своем самом существенном и характерном он проходит мимо обычных требований элементарного, общедоступного и общепользовательного. Из года в год повторять про торжество разума или, еще проще, про единую спасительность конституции — это очевидно благородно и очевидно правильно, а потому? хотя публике будет немножко скучно, но от этих повторений она все же не откажется. И до некоторой степени будет права. Ведь для какой-то области конституция действительно будет спасением, отчего же и не расширить эту область? Недоверие ко всему проблематичному, тревожному — это уже укоренившаяся привычка. Молния великолепна и таинственна, но она бывает редко и каким-то непонятным зигзагом и неожиданно пререзает мрак и хаос. Вместо молнии и хаоса можно поставить перед собой скромно и правильно работающую лампу. Можно занавеситься плотными занавесками и любоваться на ровный кружок света вокруг лампы на столе.

Но кроме такой принципиальной чуждости, целым рядом случайных заборов загородил себя кругом Розанов. И пока разберешься в том, случайны они или нет, они успеют не раз привести в ужас. Когда еще их разломаешь! И кому хочется брать на себя лишний труд. Ведь, в самом деле, не в каждом же публицисте из «Нового времени» искать талантливого философа. Лучше всех их огулом свалить за забор. Так, во всяком случае, будет спокойнее.

«Новое время» — газета, несомненно, гнусная. А совсем ли уж случайно работает в ней Розанов? Увы, даже в самое сердце раненый Розановым, я все же не могу сказать, что случайно. И не только в славянофильском, христианском, злобно монархи-

ческом Розанове было нововременское, но не истребляется оно в нем и теперь, после всех бесконечных бурь, кризисов, просветлений. Так недавно написал он огненную брошюрку о русской революции, ослабнувшем фетишем обозвал монархию<sup>1</sup> и все-таки и теперь не может забыть старой и заплесневевшей песенки. «Русский солдат есть будущий победитель мира», твердит он в одной из последних книг. А какие из этого следуют выводы, можно без труда сообразить. Да и сам он об них говорит с полной и достаточно циничной откровенностью, ну, хотя бы в совсем недавнем фельетоне о памятнике Александру III («Русск<ое> слово»)<sup>2</sup>.

И в каком-то отношении эти политические взгляды сплетаются в очень крепкую сетку вокруг души Розанова. Ведь может быть и так, что до политических взглядов иного философа или поэта нет никакого дела. Только очень рьяные марксисты станут выискивать, как смотрели на аграрный вопрос Кант или Пушкин, а обыкновенному исследователю и в голову не придет, читая «Критику чистого разума», справляться в таблицах политической благонадежности. Совсем иначе состоит дело с Розановым. «В быте сам Господь Бог почил» — так верует он всю жизнь, и об этом принципе немало придется еще говорить. Но пока достаточно спросить: на какой же именно быт устремлены внимание и любовь Розанова? В прежних книгах его на этот вопрос найдется совсем определенный ответ. Раз как-то рассуждает он о том, как счастлив был Грибоедов, и говорит так: «Грибоедов имел радость в своей молодости, в здравье, в прекрасной и любящей жене, в счастливо слагавшейся службе, в сознании высокого и прекрасного своего таланта» (8.194)\*. Иначе разместить «элементы счастья» Розанову и в голову не придет, потому что

---

\* Для простоты я цифрами обозначаю книги В. В. Розанова, принимая хронологическую последовательность. Список его книг и брошюр таков: 1) О понимании. М. 1886. 2) Место христианства в истории. М. 1890 (брошюра, вошедшая также в сборник его статей «Религия и культура»). 3) Легенда о Великом Инквизиторе. СПб. 1893<sup>3</sup>. 4) Красота в природе. М. 1895 (вошло в сборник «Природа и история»). 5) Религия и культура. СПб. 1899. 6) Сумерки просвещения. СПб. 1899. 7) Природа и история. СПб. 1900. 8) Литературные очерки. СПб. 1900. 9) В мире неясного и нерешенного. СПб. 1901. 10) Семейный вопрос в России. 2 т. СПб. 1903. 11) Декаденты. 1904 (брошюра вошла в сборник «Религия и культура»). 12) Около церковных стен. 2 т. СПб. 1906. 13) Ослабнувший фетиш. СПб. 1906. 14) Итальянские впечатления. СПб. 1909. 15) Когда начальство ушло. СПб. 1910.

для него этот порядок и естествен. Конечно, и для поэта не только здоровье и любящая жена, но даже счастливая служба куда важнее таланта.

Или еще совсем наудачу взятый пример. Будет Розанов рецензировать богатую материалом книгу Барсукова «Жизнь и труды Погодина», существенное в ней все опустит, но не упустит случая восхититься преданностью Погодина вере и престолу или его мечтам о том, «как он делается вице-губернатором и, наконец, министром просвещения и учреждает особенный орден для ученых» (5.69). Мечты самого Розанова фантастичны всегда до чрезвычайности, мечты Погодина дальше вице-губернаторства и ордена не идут, но ради такой скудости можно и о фантастичности своей забыть. Так уж с детства пошло полагать, что выше священника и губернатора разве только сам Бог.

И в самые метафизические, чудесные построения его будет вплетаться это с молоком впитанное почитание самого обыденного быта. Есть у Розанова книга «В мире неясного и нерешенного». Книга с поразительным полетом мысли, с невероятной прямо жгучестью и захватом. Там читатель найдет, кроме статей самого Розанова, и те письма, которые присылали ему по поводу его статей. Может быть, для объективности, для разностороннего освещения вопроса? Как будто бы и так, но есть и такая прибавка: «читатель да не посетует, что ради немногих бесценного значения строк — я печатаю, как обстановку их, эти письма» (9.102). Вот обстановка-то и выходит довольно неожиданная. Одно письмо наивного сельского батюшки так и кончается вопросом: «А какую должность теперь вы в Петербурге занимаете?» — Очевидно, любопытство его было удовлетворено, и в следующем уже письме, посвященном вопросу о метафизическом смысле пола, есть уже и такая приписка: «Так вот вы где? Чиновником состоите? А я полагал, что вы служите по учебному ведомству» (9.121). Бедный немецкий профессор, которому придется со временем читать книги Розанова, как будет найти ему логическую связь между метафизикой и обстановкой? И как придется оценивать все сообщения корреспондентов Розанова о раке в желудке племянника, о выходе замуж младшей из трех дочерей корреспондента. (Если всего этого не припишут корреспонденты сами, то Розанов не упустит случая все подробно разъяснить в примечаниях.) Таков разлад метафизики и обстановки, и трещина проходит глубоко, глубоко, почти до самой души. Розанов философ отвлеченный и фантастичный, его душе наиболее близки проблемы космические, но какой-то толчок выбросил его из уединения, из романтических мечтаний в газетную

обыденность. В газете проходят его мысли, в газете ежедневной, торопливой, еле читаемой, среди столбцов хроники и нудной политики. И вот теперь уже трудно отделить его от газетной торопливости. Случается и ему иногда вспоминать с большой болью о том, что если бы иначе в России относились к философам, никогда не стал бы он газетным работником. Но вот возьмем его первую книгу, с которой он начал свою деятельность. Огромная книга «О понимании». 700 страниц мелкой печати. В конце приклеены большие вкладные листы с таблицами понятий. Все так вербально, схоластично, тускло. Прочсть эту скучнейшую книгу нет никакой возможности. А потом идут сборники газетных и журнальных статей. В них нет никогда привычной последовательности, никогда нет писания на тему. Тема только в основном чувстве, на основную нить нанизываются самые пестрые факты, фактические мелочи, бытовые подробности, случайные воспоминания. Таким и остается его стиль навсегда.

Можно было бы сказать, что по живости своих фельетонов Розанов идеальный газетный работник. Это — незаменимый газетный стиль, среди отчетливо схваченных мелочей, конкретностей внезапные отвлеченные острые мысли, сложные обобщения. И еще газетная черта — торопливость. Он никогда не даст отстояться своим мыслям. Очередной фельетон не ждет, и торопливость становится обычной манерой. Схватить первые попавшиеся мысли, их как-то связать, пронизать своими душевными лучами. Да, в этом-то и дело. На какую тему, о чем, — это вовсе не важно. Ведь, в конце концов, все о том же, все о том же — о темных источниках своей души, о самом себе, о своих фантастических, широко раскинувшихся мыслях.

И все-таки, разве не забор вокруг души Розанова эти бесчисленные простыни «Нового времени»? И забор не только для близоруких читателей, но и для него самого. Ведь у самого него порой вырывается плач о том, что только для современной, ничтожной, словесной культуры характерна и «потребность газетного чтения, не услаждающих и ненужных впечатлений» (6.91). И с какой искренностью молит он в другом фельетоне о том, «чтобы читатель на минуту, только на минуту забыл, что он читает ежедневную и политическую газету» (8.127). Дело все-таки не так просто. И, создав из себя идеального фельетониста, не потерял ли вместе с тем Розанов чего-то иного?

Но, во всяком случае, газета стала влиятельным фактом его творчества и мысли. И с каким трудом вырываются из клубков газетных наблюдений его собственные, до самой сущности своей чуждые современной действительности, иррациональные построения.

Отделить газету от теории, обстановку от метафизики трудно. Многие связи так и остаются непонятными. Смог ли отделить существенное, настоящее от наблюдений, от манеры, от газетных строчек — за это не поручисься.

И особенно в одном. Спрашиваешь, потому ли циничен Розанов, что связался с «Новым временем», или он в «Новое время» пошел из-за своей природной циничности? А циничность его несомненна, часто непонятна. Я уже приводил отрывки. Вот несколько примеров еще. Одна из книг Розанова носит заглавие «Литературные очерки» и там есть статья также с очень простым и вразумительным заглавием «О писателях и писательстве», но она заканчивается пространством рассуждением о бане. И чем иным, как не издевательством, будет размышление его о том, «что бани есть гораздо более замечательное явление, нежели английская конституция» (8.233). Ну, здесь хоть немножко из «Нового времени». Но вот другая тема: о Пушкине. Ведь трудно найти другого мыслителя, для кого поэзия была бы более священна, кто бы более ее чуял. И тем не менее в статье есть такие слова: «Пушкин нам милее по свойству нашей лени, апатии, недвижимости; все мы любим осень, камелек, теплую фуфайку и валеные сапоги» (8.165).

Этот цинизм Розанова многообразен, принимает самые причудливые формы. В одной статье своей Розанов пишет о декадентстве, видя в нем характерное завершение индивидуалистической мертвенной европейской культуры, он думает, что декадентство без труда выводимо из Мопассана, который в свою очередь связывается с Золя и т. д. Но как-то невольно в этой же статье Розанов проговаривается: «Мне не случилось что-нибудь прочесть из Мопассана или Золя» (5.132). Или точно так же пишет он о Михайловском и признается тут же: «мне известна только часть *orega omnia* \* Михайловского, где он со мной полемизировал» (7.255).

Это не случайно, и примеры можно было бы удесятить, и минутами делается понятным и кажется заслуженным то предубеждение, которым окружено имя Розанова. Да, это так и должно быть. Он всю жизнь пишет о том, что святыни погашены, растоптаны, он мечтает о новой небывалой культуре, он глумится над рационалистической критикой, и в то же время Пушкин, фуфайка, валяные сапоги. Полюбив Розанова, все-таки этого ему не простишь, а подходя к нему, от фуфайки отшатнешься дальше, чем от благородных размышлений Скабичевского.

---

\* полное собрание сочинений (лат.).

И все-таки даже в этом циничнейшем пренебрежении к окружающей культуре есть и другая сторона, даже в нем открывается, может быть, та же огромная переполненность Розанова собою. По существу, ему никто не нужен и ничто не нужно. Ему слишком много самого себя. Все прочее только тема, только предлог высказаться.

В самом деле, нельзя пройти мимо этой черты Розанова. Лет пять назад в русской журналистике был поднят вопрос из сферы философии истории. Поводом для довольно шумной полемики был перевод книги Г. Риккерта «Границы естественно-научного образования понятий»<sup>4</sup>. Индивидуальное — истинный предмет истории, отнесение к ценности ее метода — вот два лозунга, с которыми была начата методологическая революция. Розанов едва ли слышал о Риккертe и во всяком случае его не читал. И даже больше того, самая возможность гносеологической постановки вопроса ему чужда. С таким трудом выработавшаяся школа новой философии — проста незнакома ему. И тем не менее было бы вовсе не так бесплодно сопоставить Риккерта и хотя бы книгу Розанова «Природа и история». До какой степени чужды друг другу эти два хода мыслей. Вся прелесть Риккерта в невероятной логической тонкости, в безупречном соединении понятий, строжайше проверенных, разобранных, отточенных. Легкая и непрístupная постройка, созидаемая годами напряженной, медленной и спокойной работы. Вне книги с законченными и строго симметричными главами немислима система Риккерта. Все ее значение в логически обязательном соединении отчетливых терминов. И вместе с тем она естественный итог работ на много лет преемственной философской школы. Точно так же, как сам он принял задачи от своих философских отцов, точно так же передаст он проблемы недоразрешенные своим философским детям.

Розанову проблемы философии истории достались как-то случайно. Читал ли он совсем обязательного Канта? Едва ли. Эти вопросы пришли в куче других, пестрых, неразобранных. Даже пришли не сколько как проблемы, сколько как неясные ощущения. Это делается каким-то непосредственным чутьем. У Розанова нет учителей и невозможны ученики. Да и он сам схватил эти мысли об индивидуальном, о ценностях, о примате практического разума над теоретическим, бросил их небрежно, как почти несомненные ощущения, но рядом с этим пришли и вопросы о монархии, и о декадентстве, о православии, о смысле европейской культуры, о принципах новой педагогики, о церкви, о Библии и о церковном предании, о поле, браке и о положении священников — все это вместе, почти сразу и большое и малое, и

космическое и мелко-бытовое, и метафизическое и узко-новоевропейское. Вовсе не к тому, чтобы восхвалять широту русской природы, стоит это отметить. Ведь рядом с широтой является просто невежественность. И сколько раз приходилось тому же Розанову писать по вопросам, о которых он ровно так же ничего не знал. Но другое здесь важно. Вот основная проблема послекантовской философии: отношение разума теоретического к практическому, о примате второго — как постулат. Небрежно брошенная Розановым фраза: «человек вовсе не хочет быть только средством» (8.106), не стоит ли целотомных комментариев? Каким-то верхним чутьем он схватывал чрезвычайно острые проблемы, ничего почти не читая, он ставил те же вопросы, что выносила на гребень своих волн европейская ученая философия. Сам весь в быту и практике, Розанов оказался значительным теоретиком.

Вот снова и снова тот же основной разлад между «верхним чутьем» и земными привязанностями. <...>

### III

Цельного изложения системы, конечно, и быть не может у Розанова по самому его темпераменту. По его отдельным статьям «Место христианства в истории»<sup>5</sup>, «Красота в природе и ее смысл»<sup>6</sup> и наконец «О символистах и декадентах»<sup>7</sup> можно заметить ее захват, притязания и принципы. Десятилетие охватывают эти статьи, но при всей странной неподвижности Розанова очертания его мыслей долго не менялись. Это совсем не наскоро набросанные возражения против позитивизма, но широко и детально разработанный строй понятий. От вопроса о смысле современности — переход на следующую ступень — к жизни человечества, потом еще дальше, — еще шире — вход в смысл космической жизни. Так в логической схеме можно поставить эти статьи, в ином хронологическом порядке написанные и по очень различным и случайным поводам.

Статья конца 90-х годов «О символистах и декадентах» из сборника «Религия и культура», позже изданная случайной, отдельной брошюрой «Декаденты» — ставит очередной газетный вопрос. Поскольку статья относится к теме, она совсем не любопытна. Это обычное глумление над «Тень несозданных созданий», над «О, закрой свои бледные ноги»<sup>8</sup>. Выдержано в роде обычных глумлений. Все сваливается в кучу. Чудесная и нежная песня Метерлинка «Моя душа больна весь день» относится к крикли-



вой бутафорщине, туда же причисляются и проблески подлинного Брюсова.

Написано это с той же небрежностью, как и в большинстве случаев пишется о декадентстве, только с большей откровенностью. Один из тезисов таков — декадентство без труда выводимо из Мопассана, далее из Золя, Флобера, Бальзака — и тут же рядом признание: «Мне не случилось что-нибудь прочесть из Мопассана или Золя» (5.132).

Если стоит об этом хоть немножко упомянуть, так только потому, что столкнулись здесь большой писатель и большая тема.

А до какой степени ничего из этого на этот раз не вышло, можно судить просто по тому, что лучшее из всего написанного Розановым очень скоро станет печататься в «Мире искусства», «Весах», «Новом пути», т. е. органах как раз того «бессмысленного и уродливого символизма», «отрицательное отношение к которому бесспорно для всякого» (5.138).

Важно другое, не тема, но далекий полет мысли по поводу ее. Розанов рассматривает декадентство, только как крайнее выражение всей европейской культуры после Возрождения. По обыкновению, говоря не о том, что значит в заглавии, он на нескольких страничках разрешает проблему отношения средневековья к эпохе Возрождения и смысла всей новой европейской культуры. Тезис дается разом:

«Великое самоограничение человека, тянувшееся десять веков, дало между XIV и XVI веком нашей эры весь цвет так называемого Возрождения». «Средние века были великим кладохранилищем сил человеческих: в их аскетизме, в их отречении человека от себя; в презрении его к красоте своей, к силам своим, к уму своему — эти силы, это сердце, ум были сбережены до времени. Эпоха Возрождения была эпохой открытия этого клада». «В этом великом тысячелетнем молчании душа человека созрела».

Вся новая история представляется Розанову только тратой несметных сокровищ, тогда открывшихся. Человек не хочет более молчать, он разучается молиться. Он сбрасывает с себя церковь, сбрасывает государство, сбрасывает все, что мешает независимому обнаружению своего я... «до тех пор пока это я, превознесенное, изукрашенное, огражденное законодательствами, на развалинах *всех великих связующих институтов: церкви, отечества, семьи* — не определяет себя к исходу XIX в. в этом неожиданном, кратком, но и вместе выразительном пожелании:

О, закрой свои бледные ноги» (5.137).

Таков ход мыслей Розанова, таков, по его мнению, ход европейской истории. В нем снова много сторон. Раньше всего резюмирование новой истории на одной странице, конечно, не может быть более достоверным, чем скудная постройка Бокля. Но ведь можно и иначе взглянуть: без притязаний на общеобязательную истинность — это может приниматься, как великолепная фантастика. И самая мысль о скрытом смысле средневековья о, это вовсе не бесплодная мысль. И совсем иные источники, наверно, прикуют вскоре внимание к загадочной и огромной культуре средневековья. Каким-то темным инстинктом учуял Розанов неоткрытую сокровищницу. Но взять из нее пока осмелился только самое скучное, самое обыденное — только эти «великие связующие институты». Это типичный разлад. Но для него тогда это даже не было разладом. Тогда-то он был слишком уверен, уверен вплоть до возможности патетической и широковещательной проповеди. Так характерно, что и в хаосе и загадочных муках средневековья, к которому влек его темный, но верный инстинкт, он смог увидеть как раз благополучие, обыденный быт, связующие институты, благополучие — во что бы то ни стало.

Раз «религия своего я, поэзия этого я, философия того же я исчерпали, наконец, свое содержание» и настало уродство, то противоядие нужно искать, конечно, в том, что было отвергнуто слишком болтливым я — в аскетизме, в связующих институтах. Декадентство уродливо, но оно «генетически связуется со всем гениальным и высоким, что создано было *не связанною личностью*», напротив, грань, для него не переступаемая, кладется там, где человек понимал себя всегда связанным».

«Великий материк истории, материк реальных дел, практических потребностей — и, более этого всего, религии *переданной*, церкви *сложившейся* — вот на берег чего никогда не может выползти это смрадное чудовище и куда, убегая его, мы хотим указать — может всегда спастись человек. Там, где поднимается монастырская стена, это движение неверных волн истории, какую бы оно силу и распространение вокруг не получало — окончится и отхлынет назад» (5.139).

Примечание сделано ясное — «мы хотим указать», и смысл проповеди не темен точно так же. Монастырь, церковное предание, практические потребности — вот лекарственные меры, и в их глубине только одна мольба: спокойствия! благополучия во чтобы то ни стало!

Обращая свой взор на историю всего человечества в своей речи «Место христианства в истории» (произнесенной на публичном акте Елецкой гимназии по случаю 900-летия крещения Руси),

Розанов и в жизни всего человечества заметит некоторую единую мысль, единую целесообразность. Твердая уверенность господствует в нем, что не трудно открыть «план истории».

План этот таков. Было два великих племени: арийское и семитическое. Ариец обращен на внешнее, его наука и философия носят опытный, наблюдательный характер; наука, искусство, государство — вот три главных продукта его творчества, он жизнерадостен, объективен.

Семиты абстрактны, только субъективные искусства — музыка и лирика — процветали у них, не было преданий, не было государства. Но душа семита «не запятнана была земными помыслами», за это еврейский народ был избран, поэтому-то только ему и было дано в ветхозаветные времена откровение. Но он был безжалостен к Божию творению и за это позже был наказан, отвергнут. А в то же время и в Греции совершается переворот, возвышение от земли к духу, подготовка христианства.

Когда же появляются новые расы, свежие народы, они соединяют то, что было разделено ранее. Появляется христианство — синтез земного и небесного и вместе с тем как завершение истории, ибо иначе скомбинировать эти два элемента невозможно, да и новым народам больше неоткуда прийти. Христианская культура — последняя культура и высшая.

Так Розанов читает в книгах судьбы. Так премудро устроил все Бог, так все целесообразно и нравоучительно.

Когда позже рухнет так знаменательно вся эта система, как неизбежно разрушается и всякая метафизика в понятиях, тогда — это любопытно отметить, иные провиденциальные черты увидит Розанов и в этнографическом материале. Ведь скоро станет у Розанова наиболее лелеемой мысль о том, что евреи благословенны за свою любовь к земному. Скоро и в античной религии для Розанова окажется драгоценнейшее зерно — благословение домашнего очага, а очаг станет единственным подлинным нуменом. И будет он биться в тисках этого, в горький час придуманного плана истории, арифметического постижения судеб человеческих.

Но пока он спокойно и вполне благополучно воздвигает из отвлеченных понятий холодное и гармоничное здание. И как бы ни нарушали вдруг временами цельность его отдельные случайные и яркие вспышки хаотизма, здание все-таки воздвигнуто. Его широким основанием является проблема космическая. Ясен смысл нового времени — оно безумный расточитель сокровищ средневековья. Ясен смысл истории всего человечества — она несет в себе как идею и цель, — христианство. Но и во всем

мире та же целесообразность, тот же единый смысл. Об этом вопросе говорит статья Розанова «Красота в природе и ее смысл». Не механически, но телеологически следует рассматривать мировую жизнь. И тогда в ней будет открыт некоторый мировой центр, «по направлению к которому шевельнулось вещество», приближаясь к которому оно становится все оживленнее и прекраснее. Этот центр — Бог.

В органической жизни не трудно заметить восходящий ряд существ, гранью развития которых является человек, «но достигнув этой грани, *органическая* энергия не останавливается, а преобразовывается в *психическую*» (7.101). С этой ступени начинается новая цепь восхождений. В человечестве выделяются расы, в предельной и высшей из них — кавказской — мы находим историю. Та же дифференциация в дальнейшем постигает и избранные исторические народы: «масса народная всегда является в истории только служебным материалом» (7.85), ею руководят исторические *роды*, которые в свою очередь целью своего развития имеют образование *гения*. Гениальным завершается история и в то же время гений в своем творчестве всегда проявляет эту основную идею, этот скрытый центр мировой жизни.

Гений всегда религиозен.

Такова схема мировой жизни. Логически выводятся два основных постулата: целесообразность, Бог. Так же логически выводится преимущественное значение христианства, и, как его формы — аскетизма.

Как бы ни стало чуждо вскоре все это построение самому Розанову, все-таки приглядеться к нему очень стоит и потому, что совсем выйти из его рамок ему все-таки никогда не удастся, и потому, что слишком часто встречается такой тип метафизического построения. Каким-то роковым и властным образом надвигается самая эта типичность даже на смелого и независимого мыслителя и поглощает его. Какая-то роковая неизбежность сковывает мысль. Намечаются два основных типа мысли в новое время, в когти того или другого уже непременно попадает почти всякий мыслитель. Отшатываясь от позитивизма, впадает в логическую метафизику.

Сам же Розанов провозглашает требование: и «мир не хочет быть плоским и ясным как доска, как день, как утро, как биржа» (5.174), и в то же время антитезой упрощающему позитивизму ставит несколько не менее упрощающую и не менее плоскую метафизику. Что же может быть скучнее такого размещения по клеткам понятий — Бог, гений, род? Но это не только скуч-

но, не только противоречиво, это в некотором отношении возмутительно. Ведь это не просто академический поединок между идеализмом и позитивизмом. Ведь здесь ставятся последние вопросы, погребаются последние надежды. Вот погибает в скуке науки и биржи. В религии не найдем ли утешения?

И, однако, странное дело — или религия есть, и тогда она не нуждается в логических подпорках, или ее нет. — Как бы ни оценивать логически смысл музыки, все-таки она как факт захватит, завлечет, зачарует сама, пронзит сердце, — а потом говори, пожалуй, о ее логическом смысле. Сердце пронзит, ощущение чуда унесешь с собой. Но вот на место религиозного факта дается логическое доказательство бытия Божия, целесообразности мира. И намек на живое и совсем иное ощущение не дается. Дается иное логическое толкование, но все же логическое. И как бы ни быть убежденным, что логике нет и не может быть места в этих вопросах, от которых душа живую болью должна болеть — все равно, раз дается логическое толкование, то и ответ должен быть логический. А логический ответ будет таков: Бог и целесообразность есть не наблюдаемый закон, а постулат. Постулат приемлем только тогда, когда вся цепь выводимых из него заключений логически непрерывна, неизбежна, когда совершенно закрыта возможность мыслить иначе.

Но при таких требованиях система Розанова представляет печальное зрелище. Совершенно случайно взятые термины не прошли нисколько через горнило логической обработки. Что, например, имеет в виду Розанов под термином «гений»? Объяснения никакого. Обращаемся к примерам, оказывается, что гении — и Рафаэль, и сладенький Мурильо<sup>9</sup>, и Бэкон<sup>10</sup>, и Александр Македонский. Ведь как нарочно и таланты-то все больше второстепенные оказались гениями, и уж что общего между Мурильо и Александром Македонским, до того общего, что их относит в одну логическую категорию? И что ни термин, то такие же неясности, так что настезь открыты двери возможности мыслить иначе и как угодно. Что такое *исторический* народ? Разве не всякий народ принципиально доступен и интересен истории? Или еще, что белая раса высшая раса, доказывается тем, что она красивее всех. Недурно бы для общезначительности и мнение негра о красоте спросить. Или смелый, но не без риска скачок: «органическая энергия преобразовывается в психическую», — что это значит? И как преобразовывается? И возможно ли такое преобразование? Словом, вопросы, спорность, сомнения — и только. Система распадается на случайные мнения, на отдельные и ни для кого не обязательные высказывания вкусов самого Розанова.

Все эти замечания, конечно, между прочим и только по тому поводу, что в данном случае появилась роковая неизбежность. Всякую метафизику, как систему понятий, притязающих на общеобязательность, ждет та же участь. Будет ли то материализм, марксизм или христианская метафизика — они все равным образом создаются людьми, уверенными в возможности познания в понятиях огромных полей жизни, и всегда их ждет одно и то же наказание за эту уверенность — наказание — в виде полной логической случайности их систем. А если все эти метафизические построения не притязают на доказательство и общеобязательность, они, конечно, могут быть любопытны, приемлемы, могут сильно захватывать, как всякая фантастика. И тогда весь вопрос будет в том, интересны ли они? И неужели нельзя придумать чего-нибудь повеселее, чем эти правильные сухие ряды, чем вся эта Бокля достойная арифметика?

До сих пор говорилось об общих очертаниях преимущественно теоретической части системы Розанова. Но ее захват был широк, и до подробностей она была установлена и как будто бы крепко спаяна. Планомерно располагались и ветви системы. Христианство, традиция естественно влекли за собой и практический консерватизм, его обостряла посторонняя близость Розанову национального вопроса. Из всех этих элементов создавалось *славянофильство* Розанова, и очень притязательное славянофильство. Нельзя сказать, чтобы сам он внес какой-нибудь новый элемент в славянофильское учение и, если чем от прежних славянофилов отличался, так только большим доверием к нынешним формам власти. Чиновничество излюблено Розановым, да и «Новое время» не оставило его без своего влияния.

Но как бы то ни было, притязания снова огромны. «Нет, славянофильство не умерло; оно все возрастает, все развивается». Это восклицание часто встречается. Аргументы обычные: необходимо «продлить культурное существование человечества через отсечение славянского мира от очевидно разлагающейся культуры западной Европы» (8.27); «Община удержалась у нас 1000 лет» (8.75) и т. д.

Но вот иногда происходили и в этой спокойной и выясненной системе какие-то странные изломы. Ведь, кажется, пристань найдена, место для каждого во вселенной указано, все верховные понятия дедуцированы, таблички дозволенного и запрещенного вывешены, а главное: все это покоится на быте, на связи, на предании — можно было бы совсем успокоиться. И тем не менее в какой-нибудь статье Розанова «О монархии» в твердо, на китах

стоящем «Русском обозрении» (1893, № 2) вдруг найдешь такое странное издевательство над самим собой, то ли отчаянный цинизм, то ли просто отчаяние, что как-то даже растеряешься.

Статья эта, в самом деле, очень любопытна.

Начинается она выкриком не очень скромным: «В Европе все не хотят понять, что естественный вид политического быта для новых народов есть монархия». И далее на поучение Европе приводится напоминание о том, что «христианство, появление новых рас на смену прежних, умирающих и установление монархии на месте древней республики — три факта, отделившие древний мир от нового». Ну, а так как новых племен больше ждать неоткуда, и синтез последний дан в христианстве, то и соответствующая форма жизни — монархия, ясно, так же последняя, и пора бы об этом Европе вспомнить.

Этнографические соображения мы уж оставим пока в стороне, а вот любопытно кое-что из эмоций, которые влагает Розанов во все это рассуждение, некоторые конкретные образы, которыми он его иллюстрирует.

Вот в каком образе Розанов передает свое впечатление от момента гибели античности и появления христианства: «Человек, гордый своими силами, умер: человек, как предмет зависти богов, правый пред ними и пред людьми, исчез; умер богатый и остался один Лазарь. Нужно ли было ему идти на Олимпийские игры? Или слушать ораторов? Подавать голос в народных собраниях? Все болело в нем, все точилось в язвах, было замазано гноем».

Этот образ, совершенно неожиданно и необычайно символизирующий для Розанова все 19 веков европейской культуры, служит для него живым объяснением, почему неизбежна вера теперь и почему возможна только монархия. Человек беден, слеп, ограничен, он — Лазарь гноящийся, что же может дать ему незыблемость, как не одна только вера? И «что может сделать с человеком история, раз он уже ко всему готов»? У него только терпение, только покорность, и где же Лазарю подавать голос в народных собраниях? Нет, уж он лучше с мольбой и верой будет смотреть на монарха. «Не дела, о, нет, чтут новые народы в своих государствах... чтут, что их скорбям там есть отклик в милосердном сердце; что жалость там не оскудевает».

На этом фантастическом объяснении Розанов настаивает до конца статьи. И чем же тогда будет революция? Попыткой гноящегося Лазаря встать на колесницу, вспомнить о былом величии.

«Лазарь почувствовал себя, наконец, зажившим; ему жестка прежняя солома, скучен бедный кров... он приподнимается, тщательно зати-



рает он рубцы заживших ран и насыпает пудры на остатки своих волос; он все еще надеется явить миру прекрасное зрелище; он выходит и требует себе колесницу. Но как изменилось все, кроме этих могучих коней... Вот Лазарь, тщательно запрятывая мотающиеся лохмотья своих повязок, заносит ногу и берет возжи... он унесется в безграничную даль; он никогда не увидит этого отвратительного сарая, где он проводит свои дни — сияние огней, веселые пиршества».

Естественно, далее изображается, как Лазарь упал, и высказываются сожаления, что кто-то злобно и высокомерно издевающийся дал ему злополучный совет выйти из сарая.

Что это за кошмарные видения? И каково было Розанову, при его твердой уверенности в том, что христианство и монархия — уже окончательные и неизменные формы, каково было думать, что христианство и монархия и вся новая история, ими созданная, — есть только отвратительный сарай, только лохмотья, изношенная туфля, облезлые волосы, гноящиеся раны.

Разумное, строгое, благополучное построение от разума и минутами такой отчаянный крик от души. Что важнее и что выражает подлинного Розанова?

Но крик только минутами. Не нужно забывать, что только в редкие минуты.

И если, наконец, посмотреть систему его еще с одной последней стороны, снова можно будет еще раз увидеть, как плавно и спокойно распростерлось это благополучие. Через стену метафизики, понятий, христианства не доносился ветер.

И диких зверей даже оказывалось возможным приручать. Да, конечно, диких. Инстинктивной любви к дикому не преодолеть, но, в крайнем случае, благочестивой проповедью их можно приручать, делать безвредными и славословящими.

Так пытался Розанов приручить Достоевского в своей книге «Легенда о Великом Инквизиторе». Судьба посмеялась над Розановым, создав в публике успех этой его книге (она разошлась в трех изданиях), между тем в ней нет буквально ни одной черточки будущего, подлинного Розанова. Правда и позже у Розанова иногда мелькает такая мысль о Достоевском: «как высоко умиление его страдающей души» (8.149). Но, очевидно, это уже совсем случайное воспоминание об обломках прежней системы. А во времена этой системы Розанов всю книгу посвятил прославлению благочестия Достоевского.

Если Достоевский подчас рисовал образ скучающей Клеопатры, втыкающей золотые булавки в груди своих невольниц, так это только показатель того, что «душа, в которой зародились столь различные звуки и образы, способна побороться со всем, с чем человек в силах бороться» (3.31). Правда, бывает у Достоев-

ского «душная атмосфера каких-то странных идей и чувств», в романе «Преступление и наказание» есть даже диалектика, оправдывающая преступление, но несомненно, этим же романом «показано, как непреодолимо и страшно гибнет человек, раз сошедший с путей, не им предустановленных» (3.61). «Наше общество, идущее вперед без преданий, недоразвившееся ни до какой религии, ни до какого долга... символизировано в этом лице» (3.62).

Но вершина творчества Достоевского — «Братья Карамазовы», а их вершина — Легенда о Великом Инквизиторе, напоминающая нам, что акты грехопадения, искупления и вечного возмездия за добро и зло суть три мистические акта, источник вечных сил человека. И еще вершина, конечно, Алеша. Тот самый Алеша, которого даже Н. К. Михайловский (не слишком тонкий критик Достоевского) оценил, весьма удачно сказав про «томительную скуку всего, что относится к сюсюкающему младенцу Алеше»<sup>11</sup>. Розанов полагает иначе: «Алеша — истинное олицетворение малого роста в огромном гниющем семени жизни» (3.200).

В заключение читается и нотация Достоевскому на «его лепет о каком-то им открываемом подлинном христианстве, «как будто христианство еще не выразило и не определило себя... Церковь была, есть и останется злато-главна, верхо-главна... она авторитетна, иерархична. Ничего этого не разобрал Достоевский» (3.243).

Словом, Достоевский ни о чем не хлопотал, как только об оправдании розановско-христианской системы метафизики. Но и на этот раз Розанов был откровенен и в приложении к книге привел отрывки из ранних произведений Достоевского, относящиеся к теме. Так вот и в этих отрывках есть заявления Достоевского достаточно решительные: «И с чего это взяли все мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения?» Или еще: «не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод... и для чего человек готов против всех законов пойти, т. е. против рассудка, чести, покоя, благоденствия — одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей».

Чтобы далеко не ходить, и этих двух изречений достаточно для отметки иной какой-то линии в Достоевском, ради которой он проживет, когда и следа не останется от христианских догматик. Много нужно в Достоевском вычеркнуть, почти что всего его зачеркнуть, чтобы приручить его в сюсюкающего младенца.

И к другому дикому явлению влечет Розанова инстинкт — к Гоголю, и снова влечение смиренно склоняется перед жаждой нра-

воучений. Впрочем, в статьях Розанова о Гоголе есть другая сторона, которая выделяет их в истории русской критики. Вопреки безнадежному унылому школьному мнению о реализме Гоголя, Розанов, кажется, первый указал, что ничего общего с реализмом у Гоголя не было\*. Но эта достойная быть отмеченной мысль все-таки понадобилась Розанову для некоторых выводов.

«Гоголь — гениальный, но извращенный» (8.88) — вот основное признание. «Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидал он в ней» (3.18). «Его типы только карикатурны, дети и те безобразны. Описания природы напряженны, но абстрактны. С Гоголя начинается *потеря чувства действительности*». (3.264). Переходим после Гоголя к какому-нибудь новому писателю, «впервые слышим человеческие голоса, видим гнев и радость на человеческих лицах, знаем, как смешны иногда они бывают: и все-таки любим их, потому что чувствуем, что они люди» (3.22). Кто же в конце-концов прав? «Человечество грезило, и Гоголь один видел правду, или сам он грезил и свои больные грезы рассказал нам, как действительность?»

Ответ дается очень определенный и основное чувство, основное требование Розанова в те времена очень подчеркивающий.

«Успокоение — вот то, в чем мы всего более нуждаемся. Нет ясности в нашем сознании, нет естественности в движении нашего чувства, нет простоты в нашем отношении к действительности. Мы возбуждены, встревожены, — и это возбуждение, эта тревога сказывается конвульсивностью наших действий и беспорядочностью мыслей» (3.264).

«Воображение Гоголя *растлило* наши души и разорвало жизнь, наполнив то и другое глубочайшего страдания. Неужели мы не должны сознать это, неужели мы настолько уже испорчены, что живую жизнь начинаем любить менее, чем игру теней в зеркале» (3.265).

«Успокоение — вот то, в чем мы всего более нуждаемся» — как хорошо объясняют эти слова, зачем понадобилась христианская метафизика, все это складно сколоченное здание и все-таки заранее обреченное на разрушение. Потому что успокоения все-таки не было, и минутами с невероятной остротой вспоминалось, что всего-то навсего сколочен «отвратительный сарай». И еще потому, что «каждая душа должна сторгать» и право выска-

---

\* Теперь Розанов сильно изменил свое отношение к Гоголю, уже не читает нравоучений, отдаваясь его фантастике, тревоге, страданиям. Свидетельствует об этом, между прочим, замечательная и необычная статья Розанова «Магическая страница у Гоголя». («Весы», 1909 г, №№ 8 и 9).

зять свое из темных источников идущее слово получает лишь длительным рабством, длительным сковыванием цепей для самого себя.

#### IV

Самым характерным для нового Розанова было то, что он вдруг поверил своему неясному и не сводимому на простые понятия инстинкту. Теперь ему этих холодных, общеобязательных понятий больше не нужно. Он вдруг начинает говорить о своих *ощущениях*. Темное, но жгучее ощущение становится единственным принципом его высказываний, его мыслей. Об успокоении, о твердом месте, о ясных мыслях думать уже некогда, потому что властно надвигается иное, хаотическое и красочное.

Особенно странно, почему он так долго и упорно защищал аскетизм. О, несомненно, аскетизм — это не только скучная норма. В аскетизме, и в мучительстве и в умышленном страдании есть своя тайна, своя притягательная сила. Но не был этим аскетизм для Розанова. А был унылым теоретизированием, привычным общим местом.

Когда Розанов понял, что в современности господствует мертвенный позитивизм, он отшатнулся резко. Стояла перед ним дилемма — или западнический рационализм, или славянофильская христианская метафизика. Отшатнувшись от первого, горячо стал отстаивать второе. Еще не видна была возможность третьего и совсем отличного пути. Еще не мелькала соблазнительная возможность — и христианскую метафизику и позитивизм отнести за одну общую скобку.

Или еще так можно сказать: раньше всего Розанов подверг гносеологическому сомнению господствующее направление современности. Нашел, что оно детски упрощает действительность, забивает ее, все жизненные соки вытравливает. Может быть, и правильно, по законам логики производится это упрощение, да кому нужно самое упрощение? Правильна ли самая мысль об упрощении? Отрекшись от рационализма, Розанов выставил против него славянофильство, христианство. Но ведь настало время и христианство подвергнуть тому же гносеологическому сомнению. И вот что этой задачи Розанов несколько не испугался, а до конца ее прошел, — в этом явление не совсем уже обычное. Все-таки высказанные мысли власть имеют, все-таки выявленная система — это частица души писателя. И проверять ее, отказать от нее — значит отрезать от себя живое мясо. Не все

отваживались на такую операцию, какие бы основания для нее ни представлялись.

Система выстроена была гладко. Все вплоть до нового литературного течения могло найти в ней объяснение, и притом из законов мировой жизни объяснение. Но прорывались и неожиданные и всю целостность разрывающие чувства. Как раз на вопросе об аскетизме это особенно сказывается. Повторяю, аскетизм может быть принят именно чувством, именно живым ощущением. Но для Розанова он все-таки был формальным логическим понятием, удачно завершающим теоретически придуманную систему. Иначе как можно объяснить неожиданные, но странно искренние признания — уже в ранних книгах, вроде следующих:

«Среди всяческих мечтаний жизнь все-таки есть и нормально должна быть радостью, которая кончается только со смертью» (5.272). «Нельзя достаточно настаивать на том, что христианство есть радость, и только радость, и всегда радость» (5.244).

Или еще в статье 1895 года:

«Разве уже нет утешения в том, что истина всегда радостна, что все печальное ео ipso \* есть и заблуждение? Разве это не залог, что Бог и жизнь — одно, и как вечен Он — не умрет Она» (8.124). Или еще в одном из своих афоризмов (он их называет «эмбрионы») еще отчетливее Розанов подчеркивает, что из двух понятий — радость или христианство уже тогда было для него важнее. Атеизм страшен для него не потому, что в нем кощунство, но потому, что в нем отчаяние, пессимизм (5.244). Как недалеко был от того, чтобы спросить: да дает ли христианство наибольшую радость? и при отрицательном ответе и от христианства отречься.

В некоторых из своих «Эмбрионов» Розанов идет еще дальше, уже кое-что неожиданное и странное высказывает:

«Все гении тяготеют к премирному. Не есть ли предварение этой черты то, что все люди тяготеют к необыкновенному, странному; к ужасному даже» (5.242).

Или в ином месте он задает совсем уже тревожный вопрос: почему половые аномалии так часто встречаются у гениев? (5.240).

И как бы ни были неожиданны все эти вопросы, проблемы и замечания, пока Розанов спешит от них отмахнуться, поскорее

---

\* Само по себе (лат.).

спрятаться в испытанную гавань благополучия. Говоря о значении тоски, ночи, испуга, спешит прибавить: «Вчера испуганные — сегодня умилились. Вот Евангелие и Библия» (5.242). Оказывается, что сладенькое умирление отлично разрешает пока все эти проблемы и «православие есть вечная религия, в противоположность временным — католицизму и протестантству: вечная, ибо она не раздражает, как те, но удовлетворяет душу человеческую» (8.243). И по-прежнему идеалом для Розанова является священник: «он стоит на узком месте, в неподатливых гранях замкнута его жизнь, но вот, в своем ограничении он счастлив, умиротворен» (5.24). И по-прежнему, считая себя большим практиком, изобретает он панацею для исцеления человечества: «ввести неудачную программу в семинариях хуже, чем неудачно воевать под Севастополем» (5.243).

Однако, недаром сказаны слова о знойной красоте, о тяготе к ужасному и о радости. Недаром афоризмы названы «Эмбрионами». Из них суждено вырасти новым мыслям, неожиданным и странным, но властным.

«В акте рождения соединен весь органический мир, так разъединенный во всем остальном своем существовании» (7.47) — вот маленькая мысль, из которой суждено было произойти урагану. И уже одна из четырех сереньких книжек Розанова, которые вышли все вместе в 1899 году, заключая в себе статьи за предыдущее десятилетие и как бы подводя им итог, — уже одна из этих книжек, «Религия и культура», наполовину отдана этой буре, неожиданно вставшему вопросу о *поле*.

Только ли позитивизмом своим грешна современность? Уныние и мертвенность от позитивизма ли зависят или у того и другого вместе есть одна общая причина?

Самый повседневный газетный факт, история какого-то коммерсанта, соблазвившего модистку, в результате чего были выкидыш и смерть, наводит Розанова на такой вопрос. Как яркая антитеза этому газетному сообщению, вспоминается из глубины веков, из книги пророка Даниила история Сусанны, «весь этот всплеск бурно текущих и святых чувств» вспоминается рядом с «гнусной слизью» наших дней. Но эти две истории характерно выражают две эпохи. Не оттого ли безжизненна и арифметична наша культура, что «в идеях, в созерцании мужском женщина спустилась до малозначительности прислуги — необходимой, но низшей и чуть-чуть нечистоплотной вещи» (5.191)? Даром ли уже давно и почти нечаянно сорвалось слово: «скопческая» наша культура? И не пора ли сказать, что «оплакиваемое здесь — не женщина только, но вся наша цивили-

лизация. Ибо какова женщина, такова есть или очень скоро станет вся культура» (5.190)?

Но, как прямое следствие, явился новый вопрос, так сильно накренивший, а потом и разломавший всю гармоничную систему.

На чьей стороне христианство? На стороне ли святой и плотской древности или скопческой современности? Ответ на него был добыт Розановым многолетней борьбой. Долго готов он упорно отстаивать христианство. И все-таки уже тогда становится несомненным, что цивилизация от Евангелия оторвалась, что Евангелие не удалось, в жизнь не вошло. Так страстно, так сердечно хотелось, чтобы весь космический процесс и вся история человечества шли к примирению, к умирению, чтобы в самом деле христианство оказалось торжествующим. Но пропасть открывается: да, христианство свято и жизненно, но почему же жизнь прошла *мимо* него?

На самом деле, Евангелие — это целомудрие, возведенное в абсолют. А цивилизация, на нем основанная, — это регламентация проституции (5.156). Вся позднейшая разработка христианства ушла в догматическую, словесную сторону, а не на подлинное творчество жизни, в результате — «постылый брак, типично пассивная семья, без игры солнечных лучей в ней, без солнечных молитв, здесь льющих» (5.194). Это не так мало. Это расторжение идеального и животного, начавшись религией, овладев философией, подчинило себе и практику будней нашего бытия. «Это расторжение не только губит животное в нас, т. е. *живое* и самую *жизнь*, изъав из нее *идеал*, *свет*, просвещение, но и обратно: оно внесло безжизненность в наши предполагаемые идеи, бессочность, бескровность». «Вместо кровных мыслей — фикции». «Мы поклоняемся пустоте» (5.196). «*Жало смерти, идея небытия* пульсируют в нашей крови» (5.238).

Стиль Розанова тревожен. Мелькают мысли, схваченные и незаконченные. Пестрят страницу внезапные и случайные подчеркивания.

Тревого разрешается, наконец, отчетливым вопросом и решительным на него ответом:

«Где же исцеление от этих скорбей?

«В восстановлении *ветхой* *днем* мысли брака... Прольем религию в самый пол; ощущение высокого и чистого, что уже сейчас мы соединяем с религиозными отношениями, внесем это ощущение в его незагрязненности и святости в самый пульс своего бытия, кажущуюся *животную* его часть — и мы высветимся изнутри себя, религия брызнет из крови нашей, в сочных и кровных ее чертах, взамен теперешнего религиозного номинализма и индифферентизма» (5.197).



И не спрашивая пока дальше о связи этой выбившейся из подземных темнот струи необузданных ощущений — о связи с христианством, Розанов набрасывает картину по-иному, преобразованно представшему перед ним миру. Та связь вещей, о которой, как о логическом термине, думалось уже давно и упорно, — теперь предстала в живом ощущении. «Природа, история, религия исполнены потрясающих таинств» (5.185) — вот та норма, с которой должно теперь подходить к любому явлению, вот формальное выражение закона всеобщей связи, который оживляет и связует человека, природу, Бога, трансцендентное, быт, перекраивает мир в фантастическую и звучащую картину. Но, чтобы наполнить этот формальный принцип живым содержанием, для этого «нужен некоторый лучащийся нимб настроения», нужно, «чтобы в это светлое пятно ниспал огонь новой жизни» (5.202). Такой нимб способен дать лишь жизнетворческий, попяляющий инстинкт.

Недаром так вдруг молодеет Розанов и образцово-молодым Шиллером пополняет свою встревоженность, свою страстность.

«Душу Божьего творенья  
Радость вечная поит,  
Тайной силою броженья  
Кубок жизни пламенит.  
У груди благой природы  
Все, что дышит, радость пьет;  
Все созданья, все народы  
За собой она влечет»<sup>12</sup>.

Радость вечная, но не шиллеровская задорная и ясная, но темная, ночная. «Ночь темна, т. е. она таинственна». Но ночь влечет потому, что она «действительно есть великая сеятельница, какая-то таинственная сеятельница для целой земли» (5.171). «Темнота не как грех: о нет! — но как важное. На биржу мы спешим утром, но замечательно — в храм идем или ко всеобщей или к утрени, в обоих случаях по темным еще улицам» (5.172). Так полунамеками связывается у Розанова ночь, религия, тайна, пол. А вот та же мысль, та же связь еще высказаннее, явнее, где стержень всей этой связи преобразованной жизни выявлен ясно:

«Пол — это начинающаяся ночь в самой организации человека: в том смысле, что ясно анатомическое и сухо анатомическое его расчленение теряет здесь ясность, сухость и вместе рациональность свою. Все, приближаясь сюда, становится трансцендентно, т. е. не только окружено трансцендентными по необъяснимости своей бурями, *огнем поедоющим*, но и вообще как-то переливается в значительности своей за край только ана-

томических терминов. Это — второе темное лицо в человеке, и, собственно, оно есть ноуменальное в нем лицо: от этого — творчество не по отношению к идеям, но к самым вещам, *клубящее* из себя жизнь» (5.172). Или еще: «любовь, именно чувственная любовь, несмотря на ее грозовые и разрушительные иногда явления, драгоценна, велика и загадочна тем, что она пронизывает все человечество какими-то жгучими лучами, но одновременно и нитями прочности» (5.163).

Найден центр мира, пульс бытия, связь вещей. И что есть Бог? Бог есть эта чувственная любовь, это «благословение тонкому и нежному аромату, которым благоухает мир Божий, сад Божий, — этому нектару цветов его, тычинок и пестиков, откуда, если рассмотреть внимательно, течет всякая поэзия, растет гений, теплится молитва, и, наконец, из вечности и в вечность льется бытие мира?» (5.162).

Совсем этого не поняли и не учуяли христиане, вот иконописцы, их цель — бесстрастным изобразить Христа, но это только бегство от задачи.

Платона готов теперь благословить Розанов и уже не только как подготовительную ступень к христианству-аскетизму. Совсем иначе. Платон проник в некую тайну, ибо он «настойчиво говорит, что лишь безумствующие в любви, а не остающиеся в ней рассудительными, поступают правильно» (5.177).

Но подлинную, новую отчизну открывает Розанов в Востоке, Египте, в еврействе. Здесь было осуществлено то, о чем теперь можно только тосковать, здесь была эта душная атмосфера, это слияние Бога и человека через чувственную любовь, через обрезание. Здесь можно найти быт и краски искомого великолепия.

Сам Бог повелел Моисею сделать светильник из золота чистого, «чеканный должен быть он; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него... а на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами... смотри — сделай все, как я показал тебе на горе». А ведь древностью засвидетельствовано, что плод миндального дерева и гранатового яблока суть символы плодородия и его органов. И те же яблоки из нитей голубого, яхонтового и пурпурного цвета повелел Бог сделать по подолу священной одежды — ефода. Так каждый индивидуум сочленяется в Библии с суком, на котором он сидит. И недаром так обычен для Библии такой мотив: «оплачу девство мое», или такими характерными словами заключает одну библейскую историю летописец, с печалью говоря: «так она и не познала мужа». Точно пролила жидкость драгоценную. И как связывается со всем этим кажущееся нам таким странным «почти отсутствие

идеи греха». И «смерть — как она легка для них». Да разве может быть сознание греха, раз «порыв плоти в ее эфирнейшем излучении есть преобразование именно плоти из смрада и греха в чистоту и светоносность» (5.184).

Да, библейская древность — это подлинная отчизна, великий незабвенный идеал. Мы только «умственно развились до великих теологических систем», тогда как «Восток развился *усиленно до ощущения святости*» (5.218).

Одна из этих четырех серенских книжек 1899 года завершается такими бесстыдно и жгуче переданными ощущениями, перестраивающими все космические отношения, острым клином вторгающимися в холодную, отвлеченную, аскетическую систему. Не нужно забывать, однако, что на тех же последних страницах этой книги «Религия и культура» содержится и пресловутый афоризм о неудачной программе преподавания в духовных семинариях. Может быть сделано сопоставление и еще более любопытное, еще более подчеркивающее, каким вихрем вторгались вновь открытые ощущения в скромненькое христианство.

В начале книги помещена рецензия Розанова на книгу В. Ключевского «Добрые люди древней Руси». Розанов восторгается древне-русским *нищелюбием*. Добрая женщина XVII века, некая Осорьина<sup>13</sup>, которая обшивала всех сирот и немощных вдов, которая выручку от своего рукоделия тайком раздавала нищим, ходила всю зиму без шубы ради нищих, голодала ради нищих — вот идеал, вот кто понял смысл жизни, вот свидетельство того, как глубоко дух евангельский повлиял на народные характеры Востока (5.55–67). В конце книги есть также картинка идеальной жизни, которой должна позавидовать и у которой должна поучиться современность. Это тоже из древности, но из более «седой древности», это тоже Восток, у которого учится Запад, но более отдаленный Восток. На место всеобщей заповеди милостыни на этот раз ставится, как своеобразно выражается Розанов, заповедь «всеобщей принудительной грамотности, переведенной на язык святого чрева». (5.220). Вспоминает Розанов из Геродота: «у вавилонян есть, однако, следующий отвратительный обычай: каждая туземная женщина обязана раз в жизни иметь сообщение с иноземцем в храме Милитты»<sup>14</sup>. Но обычай этот не кажется Розанову отвратительным. Наоборот, что женщина, как бы знатна она ни была, должна следовать за первым позвавшим ее, кто бы он ни был — в этом Розанов отмечает «самоотвержение самое глубокое, милостыню самую поразительную» (5.223). «Отвратительное для Геродота для нас высвечивается необыкновенным, ясно небесным светом» (5.224). Вавило-

нянка, — отдающаяся в храме первому встречному, — вот кто понял смысл жизни, готов был бы воскликнуть теперь Розанов, ибо «вавилонянка точно понимает в брачном ритме небесное таинство».

От древне-русской боярыни, голодающей ради нищих, до вавилонянки, сочетавшей храм и чувственную любовь — так видоизменяется или так колеблется мысль Розанова. <...>





## К. И. ЧУКОВСКИЙ

### Открытое письмо В. В. Розанову

Дорогой Василий Васильевич!

Вас теперь принято очень бранить, но давайте я Вас пожалею. Вы так нуждаетесь в жалости, — бедный, Вы очень устали. Я читал Ваши последние книги; в них как будто есть и тревога, и пафос, но это меня не обманет. «Спать хочется!» — вот скрытое и, право, единственное Ваше настоящее слово теперь. Для виду Вы в своих статьях жестикулируете и ставите знаки восклицания, но как бы вдохновенна ни была каждая Ваша статья, — из каждой мне слышится голос:

— А, впрочем, черт с вами! Делайте, что хотите. Оставьте меня в покое.

Помню, в «Весах», прочитавши Вашу странную «Мечту в щелку» (1905, VII)<sup>1</sup>, я был поражен неожиданной откровенностью ее последних строк:

— «Чувствую, что решительно костенею», — говорили Вы там. — «Только и интересуюсь, что нумизматикой».

Но, костенея, Вы притворялись, что живы и что Вы очень взволнованы, и все время писали о рабочих депутатах, о Цусиме, о Гапоне, об Азефе, и даже недавно, на днях, напечатали об этом книгу: «Когда начальство ушло».

Превосходная книга! В ней Вы волнуетесь всеми волнениями общества, но мимоходом, как будто в сторону, как будто по секрету кому-то, Вы шепотом тут же признаетесь:

— «Я стар, чтобы волноваться волнениями общества» (с. 76).

И даже еще откровеннее:

— «Боже! Как давно я сам решительно ничего не хочу, кроме как сидеть дома, обув туфли и надев халат!» (Статья об А. П. Философовой)<sup>2</sup>.

— «Эх, не будь я Обломов, непременно стал бы Мирабо!» — восклицаете Вы. Т. е. не то чтобы Обломов, а равнодушный, кос-

тенеющий человек, который уже так окоченел от усталости, что ему решительно все — «все равно», на все решительно «наплевать». «Думайте, что хотите, делайте, что хотите, а, впрочем, провалитесь сквозь землю», — такой ветерок уже веет давно ото всех Ваших похвал, восторгов, обличений...

И потому я не удивляюсь, когда в одном месте Вы пишете, что революция есть — «непостижимая, святая Евхаристия», «новое христианство» (с. 318), а в другом месте, что это «мордобой», и «ненавидение», и «садизм»; когда в одном месте Вы возмущаетесь, зачем «радикалы» ликовали при смерти Александра II, а в другом месте сами о себе заявляете:

— «Да я сам осуждаю ли убийцу Плеве?»<sup>3</sup> Нисколько. Помню, тогда радовался» (с. 285).

Поистине, Вам все — «все равно». Других ли обличать в жажде крови, самого ли себя, быть анархистом или быть монархистом, и не изумляйтесь, если я покажу Вам в Вашей книге страницы, где самодержавие Вы зовете «разлагающимся великаном», «ослабнувшим фетишем», а про республику восклицаете, что это и «юность», и «труд», и «надежда», и «поэзия» (с. 344), — вот до каких пределов простирается Ваше «все равно»! Вы написали книгу о революции, но с первых же страниц сообщили:

— «Я даже не вышел на улицу!» (с. 33).

И недаром, нагромоздив очень много восторженных строк об «освободительных» наших митингах, Вы тут же, не скрываясь, признаетесь:

— «До митингов, положим, мне дела нет. Я человек старый и ленивый. Да и до политики дела немного. Жил и живу в своем углу» (с. 103). «Притом люблю нумизматику» (с. 79).

И все же Вы пишете и пишете, — и порою очень взволнованно, — именно о митингах, выборах в Думу, о политике, — и я бы мог Вам сказать, что это грех и цинизм соваться со своей «зевотой», со своим «все равно», со своим «наплевать», со своей «нумизматикой» туда, где люди веруют, и жертвуют собой, и умирают, но какой же я Бурцев!<sup>4</sup> Бог с Вами. Да и как же Вас «обличать», раз Вы сами о себе говорите:

— «В конце концов, я трус, ибо умел быть смелым только в мечтах, а жизнь прожил позорным ослом, не умевшим ни бежать, ни лягаться», ослом, «которого бьют и который несет какую-то чужую проклятую ношу» («Весы», 1905)<sup>5</sup>.

Опять-таки ноша, тяжесть, придавленность, опять-таки та же усталость... Нет, пусть на Вас нападают другие, а я, как хотите, не стану.

\* \* \*

Окостенение, равнодушие, полу-сон, полу-смерть, да как же это с Вами случилось! Вы полу-труп, — невозможно!!! Ведь кто же и любил так жизнь, как Вы. Я читал Ваши прежние книги. В них как будто не одно, а тысяча сердец, и каждое полно каким-то горячим вином, в каждом — этот изумительный «зеленый шум, весенний шум». Ведь Вы даже на Бога своего любимого восстали, на Христа Иисуса, чуть только Вы заподозрили, что Он недостаточно счастлив этим шумом зеленым и этим биением собственной крови. Как смеет Бог грустить и тосковать, как смеет Он страдать и быть распятым!! — Зачем ты так бледен, Галилеянин? — допрашивали Вы тысячу раз. О, воистину, Вам нужен был краснощекий, смеющийся Бог. — Почему Иисус никогда не смеялся? — воскликнули Вы в своей знаменитой статье «Об Иисусе сладчайшем» \*. Почему никогда не шутил, не улыбался? «Пепельное христианство», — Вы говорили тогда, — оно Голгофой затуманило весь мир! Почему в Евангелии никто ни в кого не влюбился?» И сколько раз Вы возмущались, отчего нет музыки в православных церквях (см. «Русская мысль», 1908, V)<sup>6</sup>. Вам так хотелось Бога поющего и играющего. Вот до чего Вы любили когда-то игры и песни «бытия». «Христианство есть смерть», — говорили Вы, — во Христе прогорк мир», — подлинное Ваше выражение. «Во Христе испепелились все вещи» — или, вернее: «обледенели», наступил какой-то «мировой декабрь, когда ничто не растет, все замерзло», покрылось льдом, — и Вы отвернулись от такого Христа, ибо Вам, жизнелюбцу, был мил «март месяц мироздания», месяц брожения жизненных соков, рождения и сладострастия. Вам не нужна была эта религия пустыни, религия Голгофы, Вам была близка религия Вифлеема, где Богородица рождала Ребенка, религия животных стад, окружавших ясли, — о, сколько Вы писали об этом в своих вдохновенных, пьянительных книгах. И даже не Тот, Кто покоился в яслях, а вот эти самые «лошадки и коровки» \*\*, — вот где для Вас божество, и вполне был прав один Ваш комментатор:

— «Бог-животное — вот Бог Розанова». «Ищи Бога в животном!» — подлинные Ваши слова; слово плоть бысть — это Вам, плотолюбцу, и дорого, — и опьяненный жизнью, зеленым шумом земли, вы уж не хотите ни неба, ни звезд. — Небо «у нас под ногами», — твердите Вы («Весы», 1904, II)<sup>7</sup>. Вам не нужно

\* «Русская мысль», 1908, I.

\*\* «Когда начальство ушло», с. 278.



«религии безземного Неба», — и, увидев Дункан, и «сосцы ее груди», «темнеющие через тюль», Вы, — я помню, — воздели руки и воскликнули набожно:

— Благословен Господь, создавший натуру! («Танцы невинности», Рус<ское> сл<ово>)<sup>8</sup>.

«Натура» — в этом Ваша религия. «Не религия Милости, а религия Натуры», — повторяете Вы («Весы», 1909, IX)<sup>9</sup>. Люди Вам всегда были милы не как отдельные лица, а как «ветви древа жизни», как «растеньица», — и из всех заповедей Вы запомнили и постигли одну:

— Плодитесь и размножайтесь!

Беременный живот для Вас дороже, чем лицо Рафаэля, чем голова Леонардо. Когда вы захотели похвалить когда-то Достоевского и Толстого, вы сказали: «беременные», «чресленные» писатели («В мире неясного и нерешенного», с. 18) — и пусть читатель достанет прошлогодние «Весы» (восьмую книгу), — какими жаркими и душевными словами Вы славите там эти неоскудевающие чресла библейских иудейских женщин. Вас всегда влекла к себе Библия — универсальный родильный дом — и, совсем не замечая Бога-Духа, и убегая от Бога-Сына, Вы знали, и видели, и ощущали в этом мире, в этом родильном доме — только Бога-Отца, Бога-Акушера, Бога Сарры, Авраама, Иакова.

Эта страстная, безмерная любовь к цветущей, чресленной, рождающей плоти, — как я чувствовал ее в каждой Вашей строке. В самом стиле Ваших писаний была какая-то телесная возбужденность, ненасытимость, какая-то полнокровность и похоть, — и если Вы правы, что гений есть половое цветение души, воистину Вы были гениальны, — и как убога наша «логика» и наша «грамматика» рядом с Вашим «чревным» и «чресленным» мышлением. Вы словно не мозгами тогда думали, а соками всего своего тела, — все так терпко, и томно, и душевно на Ваших страницах. Мы все фрунтовики перед Вами, скалозубы, скопцы, наши строки так формальны и пресны, — мы умеем излагать лишь наши мысли и чувства (да и то до чего отдаленно); — Вы же всегда на бумагу клали всего себя, со всей своей «физикой», со всей «физиологией»; и это делало самые вздорные, самые дикие Ваши слова такими же несомненными, как «несомненен» всякий организм, как бы он ни был уродлив, — а Ваши статьи почти всегда бывали организмами, живокровными, животрепещущими, — хотя сколько гомункулусов, выкидышей, недоносков, мертворожденных...

\* \* \*

Есть у Вас такие страницы, к которым, кажется, если приложишь руку, то почувствуешь теплоту и биение крови, — напр.: «Семья как религия»<sup>10</sup>, «Из загадок человеческой природы»<sup>11</sup>, «Об Иисусе Сладчайшем»<sup>12</sup>. И все это застыло, оледенело теперь? Не верю, не понимаю! Зеленый шум ужель замолк у Вас в душе, и все навек покрылось там снегами? Снова раскрываю Вашу последнюю книжку «Когда начальство ушло», эту красную книжку о политике, снова читаю в ней:

— «Я махнул рукой на политику» (с. 285). «До митингов мне дела нет» (с. 103). «Да и до политики мне немного дела» (с. 103).

И вдруг натыкаюсь, да что же это такое? Да это невероятно, смотрю и не верю глазам.

— «Ну ты, однако, не создана для любви и вообще страсти нежной, которую воспел Назон», — читаю я в этой книжке. «Что-то совсем другое, — общественное, групповое, не постельное, не спальное»... «Маленькая, почти низкорослая, широко и свободно раздалась она в плечах, в шее, в лице»... «Я бы ни за что не мог полюбить такую» — Вы помните, где Вы писали все эти строки, где они создались у вас?

На суде рабочих депутатов!!!

Вы пошли на суд рабочих депутатов и там заметили... женщину — «не постельную», «не спальную» — и подробно описали ее нам. А помните ли Вы, кто такая была эта женщина? Супруга г. Носаря<sup>13</sup>, председателя совета рабочих депутатов, — она-то и оказалась, по-Вашему, «не постельной», «не спальноей» женщиной, и вы тут же догадались про нее:

— «Ну, Носарь с Носарихой недолго потовариществуют!» (с. 410).

И для контраста описали на тех же страницах другую женщину, «милую», у которой Вы заметили обручальное кольцо, — и про нее, напротив, Вы выразились:

— «Эта полюбит раз и разлюбит раз. Жизнь, любовь, труд — и могила» (Ibid.).

Потом, побранив мимоходом жандармов, вы описали еще одну женщину («очевидно, не старше 25 лет», «мелка в теле», «лицо зрелое и даже перезрелое») и еще одну «темную старуху», и еще одну — «вечную девственницу» («стан высокий, полный, величественный», «смугла, но не очень», «породиста» и т. д.). Потом Вы поставили точку и ушли. А как же суд рабочих депутатов? Его-то Вы и не заметили. Он вам не любопытен, не нужен, — да и темно было в зале, да и плохо слышно, — словом, как-то так

случилось, что, озаглавив статью: «На суде рабочих депутатов», — Вы почти всю ее посвятили пяти незнакомым дамам, а все остальное забыли, все остальное пропустили сквозь пальцы, и это с Вами не единственный случай. В той же Вашей книжке читаю такое:

— «Как-то я заглянул в три часа ночи, перед тем как идти спать, за ширмочку, где спала сестра этой женщины... еще девица» (с. 373).

И Вы помните ли сами, как зовется эта статья: «В русском подполье»!!!<sup>14</sup> Не заглядывая к женщинам за ширмочку, Вы бы ничего не могли сказать о русском подполье и вообще ни о чем.

Конечно, можно бы здесь похихикать над Вами, можно бы и вознегодовать, но этот спорт я предоставлю другим, кто не читал Ваших книг. Здесь же я только отмечу, что эта черта в Вас основная: скучая политикой (и всякими «идеями»), Вы, где только можно, и даже там, где нельзя, рветесь все к тем же «чреслам», к той же «физиологии», — и, конечно, это дико, когда Вы пишете, что трудовой группе будто бы нужна «не Татьяна, не Лиза, а ядреная баба» (с. 236), — но что же делать, если только чрез посредство «физики» Вы способны хоть что-нибудь понять в той или другой «идеологии».

Помните ли Вы свою статью о проф. Ключевском, где Вы описали, как читал Ключевский, каким голосом и какая у него осанка, и какая прическа, а о чем он читал, не сказали, забыли, — и все же превосходно очертили самую душу его души. «Понюхать», «пощупать», «потрогать рукой» человека — для Вас и значит «понять», другого способа у Вас нет никакого, — и как Вы сердитесь на наших революционеров, зачем они судили об Азефе по его «программе», а не по его походке, шее, бороде («Рус<ское> сл<ово>», 1909, I)<sup>15</sup>.

Я помню, как об А. Философовой в огромном фельетоне Вы рассказали нам и то, какая у нее фигура, и какова она была в юности, и какое было у нее декольте, и какая прическа, — но даже не подумали сказать о том, чем г-жа Философова стала так дорога для русского общества, — об ее идеях и идеалах. «Идеи» и «идеалы» для Вас всегда деталь, второстепенность, производное от носа, глаз, фигуры и походки, и в этом Вы правы, в этом Вы мудры, но что же в таком случае может быть для Вас приманчиво и любопытно в политике, где ведь все — плохие или хорошие — но идеи, идеи, идеи, где ни походки, ни лысины, ни «чресла» не значат ничего, не стоят ничего, не характеризуют ничего; здесь все для Вас чужое, здесь Вы всему чужой, здесь все для Вас — «скука», на все «наплевать», все — «все равно»,

здесь и начинается Ваше «костенею», Ваша «ноша», Ваша «усталость».

— «Бог с ней, с политикой — это от сего мира, там, около колыбельки, — начало иного мира», — так Вы недаром когда-то определили смысл толстовской эпопеи («В мире неясного и нерешенного», с. 57).

Колыбелька — здесь Вы никогда не устанете, никогда не закостенеете, никогда не скажете «наплевать». Очень хорошо сказал об этом Андрей Белый в давнишних «Весах»:

— «Когда Розанов пишет о поле, он сверкает. Тут он подлинно гениален. Тут имя его останется в веках... Когда же он кстати и некстати притаскивает крылатые видения Иезекииля к современным темам, горящие уголья его творчества покрываются серым налетом фельетонного пепла»<sup>16</sup>. «Розанов-фельетонист — это рысь, посаженная в клетку» — и если Вас из клетки выпустить на свободу — Вы тотчас же поспешите, куда? — непременно к «чреслам», к тем самым, из-за которых Вы даже с Богом встали на бой; и здесь, уйдя сюда с головою, — Вы вновь почерпаете крепость, мудрость и пафос...

Не этим разбросанным строчкам передать все то чарующее, и жгучее, и нелепое, и глубокое, и безобразное, что за десять-пятнадцать лет написано вами о поле. Я только впишу наугад первое, что я вспомню, и если что я вспомню не так, надеюсь, Вы поправите меня. Вас я считаю единственным, поставившим в России «проблему пола». Гг. Арцыбашев, Каменский<sup>17</sup> и другие «половые писатели» — перед Вами просто таперы. Вы в этом деле единственный виртуоз. Вы спросили когда-то, откуда дается нам наше мистическое чувство, чувство соприкосновения нашего таинственным мирам иным, чувство Бога и чувство вечности. И Вы ответили:

— Это чувство есть чувство половое — и потому-то им в такой высокой степени и были объяты наши «чресленные», наши «беременные» — Толстой, и Лермонтов, и Достоевский, и потому-то оно совсем было чуждо «бесполому» Грибоедову, у которого — «какое нищенское мирозерцание, какое глубокое, до пяток, забвение миров иных» («В мире неясного и нерешенного»).

— «Нет чувства пола — нет чувства Бога!» — воскликнули Вы. — Чадозачатие есть главный трансцендентально-мистический акт, где человек актом участия своего сводит душу с доминых высот и завивает ее в стихии» (с. 117).

Пол — есть душа. «Утрата динамического в поле параллельна утрате динамического в душе». «Мысль, гений, всякие прозрения философские лучатся отсюда же («Религия и природа»,

с. 179). Лицо человека — есть выражение его пола, есть «ответ пола», и «вот почему любовь — то есть бесспорно и исключительно половое чувство — начинается с лица, пробуждается к лицу, вспыхивает при взгляде на лицо. Лицо в игре своей, выразительности, бесспорной и высокой одухотворенности есть только более понятные буквы того, что так темно в иероглифах пола».

«Пол есть святыня!» — не устаете Вы повторять. И мне особенно запомнилось, как Вы из того, что Свидригайлов тянулся к невинной, к 14-летней, и лермонтовский Бес тоже к 14-летней, к святой, заключаете, что свидригайловщина и карамазовщина есть явление религиозное, теистическое и подыскиваете всевозможные и даже невозможные доводы, чтобы доказать, что пол — это Бог, что в нашем отношении к Богу и в нашем отношении к полу есть какие-то параллельные чувства.

«Пол есть «податель жизни» — и Бог есть «податель жизни», — рассуждаете Вы. Пол у людей скрытан, укрыт от глаз, его нельзя видеть, и Бога-Иегову тоже ни один человек не мог никогда лицезреть. О поле люди не говорят, молчат, не называют по имени органов пола, — и имя Иеговы тоже вслух не произносилось у евреев \*. Но мне самому неловко пересказывать все это так бегло и так формально. Пересказывать ваши слова значит на них клеветать. Напомню только, что единственное доказательство бессмертия нашей души Вы видите в... некрофилии, в том, что какой-то жених изнасиловал мертвую невесту («Весы», 1904); что, по-Вашему, другой неестественный порок тоже трансцендентен и божественен, ибо, сближаясь с животными, человек «погружается в мир под собой, в природу до себя, в дыхание более ранних дней творения» («В мире неясного и нерешенного»). Половая связь брата с сестрой и вообще всякое кровосмешительство также восхваляется Вами как самое благочестивое деяние (См. «Весы», 1909, VIII и IX). Еще одна половая аномалия, — та самая, в которой Гарден<sup>18</sup> обвинял фон Мольтке, — тоже вызывает у Вас дифирамбы как некий кусочек «яхонта, аметиста, топаза, изумруда», вкрапленный в «толщу обыкновенного двуполого отношения» («Весы», 1909, III).

Словом, все Вам мило в области пола, все бури и смерчи, карамазовщина и свидригайловщина, Содом, как и Вифлеем, здесь все благословляется Вами и обожествляется Вами, и уходите себе с Богом сюда от рабочих депутатов, от Азефа, от Гапона, от революции, конституции — ведь ради этой же святыни Вы, обычно столь робкий («я каждого полицейского считаю своим начальст-

---

\* «Весы», 1909, V.

вом, а в конке — даже кондуктора конки»), не побоялись восстать против Бога, и восстать так страстно, что люди верующие все в один голос закричали про Вас:

— Антихрист!!!

И г. Бердяев обозвал Вас «врагом Христа, более страшным, чем Ницше» («Рус<ская> мысль», 1908, I), а г. Мережковский — «столь же гениальным, как Ницше, но более первозданным в своей антихристианской сущности»\*, а г. Философов — «самым глубоким из антихристианских писателей» («Слово и жизнь», 158); а г. Волжский так-таки всеми буквами написал: «Розанов есть Антихрист»\*\*...

А Вы... Вы в это время в газетах набожно ссылались на евангельские тексты, порицали безверие Гюйо, изумлялись, как это сенатор Ковалевский мог позабыть про Христа, про вечную жизнь, — «ведь после Христа мы все братья, одно стадо, в котором невозможно овце погибнуть, если она не отделилась» («Рус<ское> сл<ово>», 1909, X).

— Как смел сенатор Ковалевский отделиться от стада Христова? — восклицали Вы в это время. — Как смел он отстать от веры? Ведь «вера — источник бесконечной жизни». И «жалкими костлявыми ручонками никому не заслонить свет Христов!»

Так писали Вы и пишете на тысячу ладов, ибо, в сущности, и здесь Вам все — «все равно»: быть ли со Христом или против Христа, любить ли Его или ненавидеть — не здесь Ваша святыня и не здесь молитва. Святыня Ваша — «чресла», ей Вы не изменяли никогда, а на все остальное «наплевать».

Р. S. Эти все мои слова не окончательные, потому-то я и обращаюсь к Вам. Разъясните мне, в чем я неправ, ибо мне очень больно было бы думать, что это мое мнение о Вас — не ошибка. Равнодушие к Богу, равнодушие к родине и тысячи других «наплевать» — скажите, докажите мне, что все это мне почудилось, и я первый обрадуюсь и первый скажу: «Я неправ».



\* «Толстой и Достоевский», т. II, с. XX.

\*\* «Из мира литературных исканий».



## В. П. СВЕНЦИЦКИЙ

### Христианство и «половой вопрос»

По поводу книги В. Розанова «Люди лунного света»

Никогда еще Розанов не высказывался о «метафизике христианства» с такой определенной ненавистью.

Книга замечательная. Здесь однобокость и ложь доведены до последних пределов. Но, несмотря на эту однобокость и ложь, одно из самых больных мест в официальной церкви (не в христианстве) вскрыто с поразительной глубиной.

Я разумею половой вопрос, двойственное учение о браке, отсутствие в современном христианстве твердого и правильного отношения к *физической* любви, к половому акту.

В. Розанов видит в христианстве *иночество*.

Отрицание брака. По его мнению, новое, что дало миру христианство, заключается в «бессеменности». Христианство задушило жизнь.

Оно попрало основную заповедь Божию — «плодитесь и размножайтесь». Оно превратило мир из чудесного райского сада в сухостой. В мире *все пол*, потому что все рождается из полового акта. Отрицая пол, христианство отрицает *мир*.

Христианскому сухостю он противопоставляет жизнь древнееврейскую, исполненную постоянного полового напряжения. «Если «жёнство» хорошо, — говорит Розанов, — то много-«жёнство» еще лучше». В чем заблуждение Розанова и каково подлинно христианское решение полового вопроса, об этом речь впереди, а пока нельзя не отметить правоты Розанова в той части, где он *критикует* существующее теперь отношение к половому акту.

С одной стороны, брак — «таинство», брак освящается Церковью. С другой стороны, половое отношение — нечто «грязное», что требует «очищения», как скверна.

Слова «могий вместити»<sup>1</sup> толкуются, по отношению *не могут вместить*, как некоторое «неизбежное зло».



Отсюда заповедь святых (из Киевского Патерика): «Никогда в жизни ни с одной женщиной слова не говори».

«Нет супружества, семьи — и не надо», — это с одной стороны, а с другой — моление о том, чтобы потомство умножилось, как песок морской.

Полового акта стыдятся не только вне брака, но и в браке. И если бы кто-нибудь сказал бы, что новобрачных надо на первую ночь оставлять в храме, это было бы принято как *кощунство*. Потому что, с точки зрения Церковной, «Церковь», святые и половое сношение, «грязное» ничего общего между собой не имеют.

А в результате, говорит Розанов: «У нас в старомосковскую пору новобрачных, даже незнакомых друг другу, укладывали в постель и они “делали”, — так и до сих пор русские “скидают сапоги” и проч., и, улегшись, “делают”, и затем засыпают без поэзии, без единого поцелуя часто, без единого даже друг другу слова!»

То есть, другими словами, двойственное учение о половых отношениях фактически ведет к *чудовищному разврату*, хотя бы брак и был «законный», и супруги были «верны друг другу».

---

Но что же из этого следует?

Только то, что современное учение *не право*, но никак не то, что *христианство* не право и что прав Василий Васильевич Розанов.

Допустим, что основное положение Розанова — все есть проявление половой жизни — справедливо. При известном понимании слова «пол» оно даже несомненно справедливо. Но можно ли отсюда сделать вывод, что *половой акт* есть всё?

Разве *половая жизнь* (в высшем смысле слова) и физический половой акт — одно и то же?

Ведь пение соловья есть тоже проявление половой жизни, так же, как и спаривание его с самкой. Но следует ли из этого, что соловей должен перестать петь и *всю* свою половую энергию направить на физическое отношение с самкой?

Правильно чувствуя святость половых отношений, Розанов доводит это чувство *до лжи*, своей чудовищной односторонностью предлагая, чтобы вся половая сила уходила в деторождение, в многоженство, в «физику». И, благодаря этой лжи, мерзость нашего современного двойственного отношения к браку заменяется мерзостью еще большей, мерзостью розановской, кощунственной.

Для современного христианства жизнь есть «сон», от которого каждый должен стремиться как можно скорей «очнуться». Жизнь есть «испытание». Мы — странники. Земное существование — «необходимое зло», которое чем скорее кончится, тем лучше.

Современное христианство не любит *землю*. Не понимает ее, не хочет ее.

Отсюда — «нехотение» женщины. Презрение к самому ярко проявлению земной, плотской жизни — половому акту.

Если «отшельник», если современный официальный христианин взойдет весной в лес и почувствует творческую, *физическую* жизнь природы, он должен почувствовать *ужас* — бежать в пустыню.

*Половая жизнь* природы для него грязь и *бессмыслица*. Он почувствует, что и птицы, и травы, и цветы, и животные, и лес, и само солнце, их согревающее, — все полно этого, заложенного *в душу земли*, стремления к единению мужского и женского начала, — почувствует и ужаснется, что сам-то он часть этого леса, этих цветов и животных, часть *земли* и потому в нем есть *это земное*. Он готов будет не только отречься от этого: «не знаю сей земли», как Петр отрекся от Христа, но и проклясть ее.

— Не хочу я этого! Не хочу *грязи*, будь она проклята!

Отсюда вывод: христианство, давшее идею *Бога-человека* (небо-земли), должно перестать «проклинать» землю, перестать отрекаться от нее, признать, что она *святая*. Что лес свят, пение соловья свято, цветы святы, и я, человек, *желающий женщины*, *свят*. Потому что я тоже земля и живу с нею единой жизнью.

Но я не только земля.

Если в природе жизнь небесная бессознательная, «стихийная», выражающаяся в *красоте природы*, то в человеке она выражается в *духовном творчестве*.

Если еда и питье есть *основа бытия*, то половое сношение есть *основа творчества*. Первая «физическая» ступень его.

Человек не должен остановиться на этой ступени и уйти в «многочеловечество». Но он должен, приняв ее, как первую, святую ступень творческой жизни, восходить от нее дальше, восходить от земли-человека к небу-Богу.

Половой акт не есть необходимая «грязь». Из грязи «ангелы» не рождаются, а тем более дети Божии, — это есть великое и святое, но опозоренное, заплеванное, осмеянное и опошленное нами.

Всякий половой акт, когда он есть отказ от небесного, когда он исключительно материален, когда он «механическое соединение» двух тел, — он мерзок, хотя бы совершался с благословения какой бы то ни было Церкви и при полнейшей супружеской «верности».

Христианское решение полового вопроса гласит: половой акт есть *таинство*, потому что здесь не только соединение видимой физической природы, но и невидимой духовной индивидуальности. На него имеет право только тот, для кого это не предмет «наслаждения», а первая ступень великого подвига: совместной творческой жизни. Тогда он свят *от начала до конца* — от самых интимных, «грязных» подробностей до самых возвышенных проявлений в духовном творчестве.

---

Современное отношение к браку как к «грязи» не уничтожило «разврата», оно его *породило*. Оно создало то подлое «похихикивание», которое существует теперь по отношению к женщине. Вся «холостяцкая» пошлость с гадкими анекдотами и страшной проституцией, все питается идеей, что здесь «грязь».

Вместо благоговения получилось *глумление*. Все «стыдятся» и все же «делают» с мерзким смешком, без тени сознания своей ответственности, серьезности и святости того, над чем они хихикают и о чем рассказывают в «курилках».

Унижена женщина, унижено творчество, самая цивилизация раздвоилась и ее видимая «духовность» бессильна и пуста, потому что не восприняла *основного* земного начала. Не восприняв основы, она «не дотянулась» и до небес, застыла «недоделанной» в полумертвом бессилии.

Выход отсюда не розановский: это было бы равносильно возвращению к дикому состоянию, то есть отказ от всей мировой истории.

Выход в новом взгляде на половую жизнь, в новом взгляде на женщину, в новой *половой психике*, которая бы раскрыла всю святость, все *религиозное значение* того, над чем до сих пор мы только издевались, что мы упорно втаптывали в грязь.





## Прот. Н. ДРОЗДОВ

### Около полового вопроса

Известный публицист В. В. Розанов щедро рукою наполняет ныне книжный рынок плодами своих трудов. В сравнительно короткий срок он выпустил в свет солидную книгу: «Темный Лик», а за ней вслед вторую ее часть: «Люди лунного света» — потом «Русскую церковь» и потом книжицу «Л. Н. Толстой и русская церковь». На страницах «Странника» сказано нечто в свое время о «Л. Н. Толстом и Русской Церкви» в связи с другими книгами и брошюрами о графе<sup>1</sup>. В настоящий же раз позволим себе остановить внимание читателя на труде г. Розанова «Люди лунного света».

Товарищи г. Розанова по «Новому времени» — гг. Ст-н и Эль-Эс<sup>2</sup> отозвались о «Лунном свете» с похвалами. Один назвал книгу «замечательной, — довольно исчерпывающей вопросы пола, его извращения и странности, — монографией». Другой, Эль-Эс, причислил книгу «к оригинальным», со смелыми, иногда звучащими парадоксальностью, мыслями, со множеством творческого и спорного, но еще более — яркого, выхваченного из религии жизни» («Н<овое> вр<емя>» от 26 окт.).

И мы со своей стороны сказали бы, что в книге г. Розанова есть чистое зерно, но не мало и плевел, есть в ней — удобоваримый хлеб, но попадаются и неудобоваримые камни. Самый тон книги дышет какой-то вызывающей аподиктичностью, местами — грубо до неприличия. Автору вот так и хочется, по-видимому, сказать всякому протестанту: «Шире — грязь, — едет князь!». Не угодно ли послушать, как он расправляется с исповедниками иной, не розановской веры: «Вот дурак. Да чем животные плохи?».

Дураком он назвал г. Фози, приславшего ему брошюру: «Брак и нравственная личность» (с. 114)<sup>3</sup>. Или: «проклятые содомляне клира и юриспруденции», — «собаки из-под золотых маковок Москвы» (с. 125). Еще: «О, дубинное рассуждение» все того же

Фози — автора брошюры, написанной по аттестации г. Розанова, с «дево-содомским жаром» (с. 138). И еще: «О, гады, детоубийцы, Ироды, Скубляинские» (с. 144). Или: «тупоголовое предположение Шопенгауэра» (с. 148), «Пошлые медики, болваны» (с. 172), «Вранье — Толстого, Соловьева, Фози и преп. Моисея Угрина»<sup>4</sup> (с. 182). «О, семинарщина, о, глупая семинарщина! И еще туда же — философствует» (с. 21). Розанову хотелось тут зажать рот почтенному о. М. И. Хитрову<sup>5</sup>. Другие батюшки представляются Розанову каким-то презрительным прахом: он величает их либо «попиками», либо «отцами духовными», но в кавычках.

Конечно, в объяснение столь страстного, столь коробящего тона можно сказать, что «судия воздаст коемуждо по делом его», что «правда и всегда — не масло, а нож острый». Так-то оно так, но ведь и ножом можно резать с осторожностью, а можно «кромсать» с диким азартом... Гневаться — подобает, но так, чтобы и не согрешать. Грубый гнев — не всегда показатель чистой правды. Подлинному философу, каковым можно считать г. Розанова, подобало бы судить о целом сословии или даже о целых сословиях, как равно и об отдельных представителях сословий, поосторожнее, помягче, наблюдая известный афоризм — «sine ira et studio»\*. Едкий тон книги оттолкнет от нее читателей серьезного типа. О тоне, впрочем, довольно; перейдем к содержанию сердитой книги.

Содержание книги довольно пестрое. Если привести все заголовки книги, то запестрит в глазах. Чего-чего тут нет! И бородатые Венеры древности, и «подвижники раннего христианства», и «священные блудницы», и «прослойка содомии у Л. Толстого и Вл. Соловьева», и «случай, будто бы перерождения юноши в девушку и женщины в мужчину», и «бессупружное супружество», и царство «бессеменных святых и преп. Моисей Угрин», и великое множество иных, на вид пикантных тем, способных, вероятно, привлечь к себе внимание любителей легкого, с остреньким ароматцем, чтения. Спешим, однако, предупредить этих любителей, что не в их вкусе написана книга. Пикантны только темы, но раскрытие их сплошь и рядом непроглядно темно и темно. Наломашь голову уже над одним предисловием к книге, невзирая на его краткость. В нем автору угодно было наставить точек чуть ли не столько, сколько начертано слов, а между точками вкратить намеки на рассуждение о том, почему и для чего Бог сделал, чтобы нельзя было понять божественного писания,

\* Без гнева и пристрастия (*лат.*).

или чтобы всякий понявший сходил с ума и уже тогда ничего не мог рассказать, и что — «лучше померкнуть уму, чем погаснуть жизни». Прямого ответа на вопрос о непонятности Откровения — предисловие не дает. По-видимому, ответ должен состоять в том, что ограниченному существу нельзя вместить в себя неизглаголанную полноту существа беспредельного, да и нужды нет понимать все тайны. Какая нужда больному понимать сущность чудотворного исцеления его болезни у чудотворной иконы? Не довольно ли ему знать, что Бог дал иконе чудотворную силу, и что всякий просящий с верою приемлет просимое.

Все это — так, все это — правда, но какое же отношение имеет эта правда к «людям лунного света», понять затруднительно, не владея умом, равносильным философскому уму автора.

Столь же неудобопроходимы дебри во внутренностях книги. Вот пример: «происхождение урнингов происходит (?) от пролетания уже родителей по тому отсеку мирового круга или мирового эллипсиса, по коему движется весь пол *summa sexus* (колесо Иезекииля)», что «содомия — в афелии и перигелии этого эллипсиса, в его сужениях, в носике мирового яйца, а рождение (норма) в его боковых длинных сторонах», или, что «феномен пола, бурно пробиваясь к осуществлению, сотрясает нервными и психическими страданиями ту органическую среду, в которой появился, ибо пол — всегда центр, всего — зерно» (с. 150–151)...

От таких головоломок затрептит любая голова; а их в книге — не занимать статью! На долю легкомысленных читателей из книги упадут разве малые крупички: анекдотическая часть книги — некоторые «факты» из медицины, из Фореля<sup>6</sup>, Крафт-Эбинга, в главе «Колеблющиеся напряжения в поле» — развязная критика жития преп. Моисея Угурина, да пара-другая ошеломляющих, ошарашивающих афоризмов вроде таких: «До чего духовенство не понимает даже грамоты тех предметов, о которых пишет, и все между тем старается изъяснить» (с. 7); или: «Куль старых дев есть маринад из похоти мужские и похоти женские, который квасится в собственном укусе вместо того, чтобы давать лозу» (с. 16). И еще: этих — необычных афоризмов: «Божия Матерь — Монахиня, и рожденный Ею — Монах — без пострига, без формы (какой-то), без громких слов, без чина исповедания» (разве у Иисуса Христа не было исповедания?)... Можно, пожалуй, дописаться до того, что внесешь «в формуляр» Богочеловека, что Он был «личный почетный гражданин города Назарета»!

Что касается названия книги — «Люди лунного света» — то оно дано ей потому, что в ней много каленых стрел выпущено в

монашество, в аскетизм, в девственность, в безбрачие, в те состояния, которые любят луну — этот символ грез, «вечных» обещаний, томлений, ожиданий, уединения, чего-то спиритуалистического, не-рождающего, монашеского, девственного... Супругам в ум будто бы не приходит смотреть на луну. Совсем другой у них колорит любви: супруги любят солнышко — ясное, пекущее, выгоняющее из земли траву, из стволов древесных — сладкую камедь (сок), и цветы, и плоды... «Солнце — супружество, солнце — факт, действительность» (с. 9–10). Впрочем, автор «лунного света» готов почитать и монашество: «почтим монастырь», но скажем им: «не наводите грим скорби на лица свои, и не разыгрывайте театра скорби с комедией в душе. Прекрасна и скорбь, но — настоящая, прекрасны и удовольствия, если они не переходят “в свинство”, по каковому чину будто бы свойственно веселиться *христианам*, в противоположность “эллинам”» (с. 24)... Как будто «удовольствия» эллинов никогда не переходили «в свинство», в мерзость! Достаточно прочитать первую главу послания к Римлянам, чтобы видеть, до какого «непотребства» доходили люди, величавшие себя «мудрецами» в дохристианском мире... Не отрицаем, однако, возможности и для иного христианина, омытого в купели крещения, вновь загрязнить свою душу «калом тинным», мерзостями греха. Ужасающий блудник — кровосмесник явился как раз среди эллинов — в Коринфе...

Воспевая гимны «религии плодородия и только плодородия — у Моисея, у евреев и Израиля», г. Розанов просто-таки издевается над девственницами. Не довольно было ему приравнять их к «маринаду из смесей похоти», он изобрел для них и еще нелестную кличку «старые мухоморы», от яда которых — через мглу веков — произошли каким-то чудом “мухоморы” наших садов и бульваров, бегающие с высунутыми языками за гимназистами, студентами, столоначальниками» (с. 16)...

Апологету чадородия и плодородия думается, что сущность райской катастрофы состояла в том, что змей задумал поманить Еву, вопреки Божией воле о размножении людей, особым путем, путем урнингства — ненарушимого девства, монашества, как бы путем Моисея Угрина и подобных... «За отлагание воли Божией о размножении прародители и претерпели наказание, а поспеши они исполнить волю Божию, по всему вероятно, избежали бы изгнания»... «И только уже за дверями рая они стали “стирать главу змия”, т. е. плодиться»... Новый экзегет полагает, и с твердостью, что слова Библии о семени жены — «перевраны» (какая речь!) в русском и славянском переводах (с. 180)...



С недопускающей возражений прямолинейностью он утверждает все в том же направлении, что «многоженство считалось — будто бы — священнее одноженства... Бог всячески лелеял и ласкал многоженных Авраама, Иакова, а одноженный Исаак был “так себе” у Бога»... «Да и понятно: если *женность* — хорошо, то *многоженность* — лучше *одноженности*, как пять лучше, больше единицы, как полководец, выигравший три сражения, лучше выигравшего одного»... (с. 14). Ну, на арифметических-то аналогиях можно ведь залезть в трясины: «выпить одну рюмку водки или вина “стомаха ради” — хорошо; две — лучше; а двадцать две — совсем восторг»... А вино ведь не проклято Богом, а благословенно для употребления; однако... многопитие, увы, печальнее малопития!..

С точки зрения заповеди Божией о размножении человечества путем рождений гроша, по нашему мнению, не стоят все эти восторги пред священными блудницами, пред «*sainte prostitute*» Египта... Какой же «плод» может вырасти на обеспложенном ядом проституции дереве? Кто надеется вырастить хотя бы тощий злак на заезженной дороге?.. Если верить г. Розанову, то египтяне будто бы не гнушались вступать в браки с этими «всемирными невестами» после того, как они в бурной молодости «испили все», «насытились» всем в дни свобод, по нашему бы сказать — в дни безудержного распутства, — «блуда». Египтянам казалось, что эти «бывшие водопады» распутства, эти отставные, «священные блудницы» превратятся в замужестве в тихие ручейки — в «верных жен», в любящих «матерей» (с. 47, 48, 87, 88)... Евреи *иначе* о них думали: «позорная жена — гниль в костях мужа», — «земля трясется и не может перенести, когда позорная женщина выходит замуж» (Прит. XII, XXX)... Среди сынов Израиля не должно быть ни блудниц, ни блудников... Прелюбодействовавшая дочь жреца сжигалась огнем — за бесчестие отца (Втор. XXIII; Лев. XXI)... Розанов отыскал «в комнатах» Иерусалимского храма «священных блудниц» (с. 87)... А вот д-р А. А. Пясецкий, автор книги «Медицина по Библии и Талмуду», нашел, что законодательство евреев строжайшими мерами искореняло проституцию, стремясь к аболиционизму — к уничтожению этого постыднейшего «рабства», в когтях которого гибли молодые жизни блудниц и блудников...

Вопреки моралистам, г. Розанов кричит, будто девицы рожают *не* в силу разврата, а в силу неодолимого влечения к материнству, в исполнение воли Божией и закона природы (с. 163). Может быть, и так, а может быть, и совсем не так: разве не существует нигде этих отвратительных и ужасающих аборт,

вытравлений плода, этих поспешных «спихиваний» «желанных» малюток в чужие черствые, холодные руки? Где тут материнство?

Отдает парадоксом утверждение г. Розанова, будто «христианство растлеивает своими браками семью», будто оно «потрясло очаги рождения», «разрушило недра мира», как бы «прокололо иглой мировой зародыш», «зародышевую сущность мира» (с. 67, 118). Подумаешь, что И. Христос приходил на брак в Галилейскую Кану не с радостью и с милосердием, а с угрюмым челом и с хирургическим ножом или иглой, чтобы прокалывать мифический мировой зародыш! И как будто это не христианский, а эллинско-языческий апостол говорит: «Вдавай браку свою деву — добре творить?»

Парируя эти события и речи, г. Розанов указывает на *двойственность* в отношениях христианства к браку: оно то благословляет брак, радуется брачному соитию мужа и жены, то переносит свое благоволение к скопчеству, к вечной девственности, указывая на Христа как единственный объект истинной любви, предпочтительный перед отцом, матерью, сыном, дочерью. «Отрекись от всего, иди за Мной, люби Меня одного» — вот чего требует Христос! Что сказать в защиту брака?

Да то же самое, что можно сказать о любви к себе и ближним: себя нужно любить, но бывают моменты, что требуется принести себя в жертву за благо ближнего, «положить душу свою за други своя»... Христианство признает брак великой священной тайной, но выше этой святости оно полагает иную святость — любовь ко Христу, жениху возлюбленному каждой человеческой души... И если семья налагает путы на душу, возлюбившую Христа, то эти путы не грех и разорвать: нельзя же двум господам сразу служить!

Едва ли засим справедливо называть «вилянием» христианства, если оно не обязывает всех и каждого непременно вступать в брак: «могий вместити да вместит!» Вот его справедливый принцип. Не у всех людей есть склонность к брачной жизни, не все одарены силами устроить в должном порядке очень сложный семейный очаг. Не у каждого характер покладистый, способный на компромиссы, которых ведь может потребовать семья. Достаточно здесь вспомнить «уход» Толстого из семьи: встречай семья лаской, приветом, согласием всякое новшество в глазах главы семьи, Толстой никогда не покинул бы родного гнезда... Есть немало профессий, где продуктивнее может работать бессемейный человек, чем человек, обремененный семьей. И я положительно не понимаю, на каком основании Розанов «злится» на

преп. Моисея Угрина, когда тот сказал то, что имел право сказать: «Пусть все праведники спаслись с женами, а я не могу спастись с женой!» Розанов называет преподобного «глупым», «злым» монахом («продолжи монах *глупую* мысль свою»; «на что монах злится?») за то, что он ссылается на исторические примеры гибели мужей из-за жен. Но знает ли он, Розанов, что в священной Библии есть «повесть» на тему о том, «что всего сильнее на свете»? И что в этой повести о женах, между прочим, сказано: «Многие сошли с ума из-за женщин и сделали рабами через них, многие погибли и сбились с пути, и согрешили через женщин». В этой же «повести» говорится о глупом положении Царя, в какое его поставила царская наложница (II Ездр. IV). Что же, преподобному Моисею следовало знать только заповедь о размножении, а эту повесть той же священной Библии пропустить мимо ушей?

Удивительно слышать от г. Розанова о *женоненавистничестве* преподобного, а в связи с ним — и о *кулаках* церкви, поднятых на жену и мать (с. 176). Неужели отказ Моисея Угрина удовлетворить похоть блудной жены есть уже ненависть к женщинам? Помилуй Бог, какая хромая логика! «Не могу, значит, ненавижу». Не может слабый глаз переносить света, значит, он ненавидит свет?! Не хочу я есть поросятину в постные дни — значит, ненавижу ее? Старые мехи не переносят нового вина — рвутся от него — но ведь не от ненависти к нему...

Ясно, что зарапортовался чуточку развязный недруг девства! А откуда он вытащил кулаки церкви против жен, уже вовсе непонятно! Язык без костей: он может сказать, что «не было примера, чтобы церковь подняла протест против кулаков»... Можно еще сказать, что все протесты церкви против грубых взаимоотношений между супругами оставляются каменными сердцами без внимания, но — благословение кулаков церковью... Это злая выдумка про родную мать!

Кулаки церкви всегда поднимались и поднимаются против блуда и прелюбодеяния. В этом пункте оба завета сходятся вопреки утверждению г. Розанова, будто Ветхий Завет благословлял *всякие* «тяготения» к женщине, — и едва ли есть надежда на разрешение свободной (своеохотной) преданности, по-нашему — разврату *всех* незамужних и зрелых женщин (с. 177). Мы верим, что всегда найдутся государства, которые станут требовать от подданных законного брака вместо «своеохотных» сожительств мужчин с женщинами, сколько бы ни кричали новаторы, что такие государства «глупы» (с. 178), ибо-де они не верят в «предрасположения» иных не к браку, а к проституции... Мало

ли ведь к чему, к каким гадостям, предрасположен иной субъект: иного природа его злая влечет, как Каина, к братоубийству, другого — к предательству, третьего — к беспробудному пьянству... Государство должно над всеми этими лицами держать руки в благословляющем положении?! «Естественно, мол, посему — блудите, чада мои!» «Пусть душа ваша будет мерой: стыдно вам, воздержитесь, не стыдно — разрешайте на все!».. Розанов не пощадил и себя, лишь бы отстоять свободные связи между полами: «Я — нравственный человек, — говорит он о себе, — до супружества и в супружествах нарушал, скажем проще, седьмую заповедь, но ни малейшего угрызения совести не чувствовал, ни малейшего греха, ничего позорного» (с. 124)... Ну, это еще — не важный аргумент: «Я — не чувствовал!» Страсть ослепила глаза, ну и не видит человек света Божьего... Страдалец Христос мучился жаждой на кресте, а «злые псы» около Голгофского страдальца млеют от радости, что тает в муках ненавистная им жизнь...

В погоне за доказательствами «святости» всякого соития г. Розанов договорился до того, что самую душу человеческую поместил в том месте, которое обычно прикрывается фиговым листком (с. 37–38). Половая деятельность есть, по нему, самая спиритуалистическая, прекрасная, духовная, этическая, метафизическая, чудная, святая (с. 114, 132)... Да, так, так, — но при условии все же законного брака, так как в эту деятельность входит и «страстно-любовный элемент», который без регулятора приведет к мерзостям. Примеры бывали!

Напрасно г. Розанов повторяет, будто церковь с каким-то жеманством и возведением «глазков» к небу стыдится назвать полным именем цель брака, будто она ведает только «гармонию душ» брачующихся, забывая о нуждах тела (с. 92)... Очевидно, порицатель церкви просто-таки не читал чина венчания, где обильно говорится о «чадотворении», «добročадии», «единомыслии душ и телес», о погашении браком «плотского разжжения»... Но довольно, довольно!

В конечном итоге получается, что «люди лунного света» годятся, пожалуй, для людей «познавших» жизнь, а неискушенные жизнью люди могут этим «лунным светом» обжечься до боли. Пусть уж будут осторожны...





## **А. К. ЗАКРЖЕВСКИЙ**

### **Религия. Психологические параллели.**

#### **В. В. Розанов**

Когда я думаю об интереснейшем русском религиозном мыслителе — В. В. Розанове — мне часто приходит на ум сравнение его миросозерцания с кирилловской<sup>1</sup> идеей человекобожества. В самом деле: ведь они оба сходятся в одном пункте — в безумном дерзании против смерти во имя торжества и святости человека. Только дерзание Кириллова разрешилось сумасбродным актом самоубийства, а Розанов дерзнул еще дальше: он заявил своеволие свое священным гимном, обоготворяющим и человека, и природу, он тоже понял, что «все — хорошо» и все — свято, он тоже завопил против страдания и смерти, он тоже возвел человека на трон и заявил, что в нем все — божественно, вплоть до слюны и пищеvarения!..

И это все — в самое пессимистическое время умирающего христианства, и в самом сердце христианства, из которого он родился и в котором пребывает, ибо, что бы ни говорили, а Розанов от христианства неотделим, даже в самом своем бунте против Христа и церкви — неотделим!

Розанов самый яркий, самый крайний индивидуалист в настоящее время в России. И индивидуалист не повисший над бездной, но удержавшийся над ней. Розанов тем и силен в своем дерзании, что это дерзание, как равно и весь его бунт — всецело религиозны. Это, может быть, единственный бунтовщик не атеист и не «отрицатель» (в пошлом смысле этого слова), а настоящий религиозный человек, и именно благодаря этому — особенно опасный для христианства и особенно даровитый...

Его любят сравнивать с Ницше, но это сравнение крайне поверхностно: Ницше не мог вынести своего бунта, потому что последний был насквозь рационалистичен и потому что сверхчеловек оказался фикцией, распавшейся в прах. Розанов же в своем

собственном бунте находит источник жизни. Он тем и бесстрашен, что его идея чисто религиозна. Ницше же весь вышел из Вольтера. Ницше иссушила его философия, он был бессилен перед жизнью, и Христос победил «сверхчеловека» именно потому, что последний был беззащитен и весь составлен из одних философских терминов... Ницше даже не понимал Христа... Розанов дерзнул именно тем, что в самом обыденном, в самом животном, в самом человеческом нашел свою святую и открыл в ней глубочайшую тайну. Розанов пошел против Христа именно потому, что открыл в христианстве такие тайны, которые еще не открывались ни одному мыслителю в мире (ибо ницшевская критика христианства есть только арифметика), и именно благодаря этим тайнам он понял, что Христос — боль и страх, что Христос — очарование смерти, — и бунт учинил, и освятил человека за его животность, которая должна быть вечна и которая одна только и спасает от смерти...

Кириллов пошел против боли и страха во имя человека, во имя освящения человека. Розанов хотел бы истребить самую идею смерти во имя вечной жизни, не будущей, а настоящей. Для Розанова так же, как и для Кириллова — смерти нет, а есть одна жизнь. Розанов — это самое «живое место» в русском организме, это какой-то вулкан, из которого вечно извергается огнедышащая лава жизни, среди нашего пессимистического времени он кажется ничем необъяснимым архаизмом... Но вместе с тем — он злоеший признак: только перед концом мира может явиться такой безумный апологет жизни во имя самой жизни. В самом его превозношении животности и полового инстинкта кроется что-то уж слишком болезненное, какая-то выходящая из рамок человеческого — жажда, какая-то надорванная животная сила, почти граничащая со смертью, как и у Кириллова...

Кириллов во имя жизни разрушил идею Бога, пошел против Бога и был сам уничтожен. Розанов, хотя и идет против Христа, но он питается Богом, Бог разлит у него во всей природе. Бог у него в поле, в растениях, в животных, он чувствует эту почти чувственную Божию реальность и питается ею. Идет против Христа, в бунте своем достигает утонченнейших бездн, но без Христа жить не может, — и в этом его сила. Вооружается против христианства, называет его скопческой религией, религией смерти, и вместе с тем — по натуре своей истинный христианин, почти единственный искренний христианин в наше время, — и в этом его особенность, в этом его сложность...

Все, что человеческое, все, что является источником жизни — священо. Вот любимая мысль Розанова. Эту мысль носило бес-

сознательно в себе язычество. Язычество вне жизни не могло найти даже кумира себе. Язычество обожествляло кошек, крокодилов, быков, потому что кроме жизни для него не могло быть ничего святого. Язычество — это колыбель человечества и его радостная, безмятежная, младенческая заря. В нем пол был так же священен, как и идолы (культ фаллоса), в нем не было стыда, ибо все было радостно именно детской радостью, радостью невинности. И даже извращенность в язычестве была почти священна. И мало была ведома скорбь... Христос — это одна скорбь, это прорыв сквозь смерть в вечность, это распятие и страдание. Христос нарушил животную радость, он влил в душу сладкую отраву смерти... «Во Христе прогорк мир».

Таковы главные тезисы розановского бунта против христианства. Он развивает их гениально, он еще заставит глубоко призадуматься мудрецов мира сего над христианской идеей. И в этом отношении Розанов — язычник в полном смысле слова, не меньший, чем Юлиан Отступник<sup>2</sup>... Но Розанов *язычник в христианстве* — и в этом его особенность, в этом же и его трагедия. Он не может выйти за пределы христианства, отрицая его и вооружаясь против него, и эта невозможность почти что физическая... Он не может отвергнуть Христа, окончательно отречься от Него во имя пола и семьи, для него Христос не только высшая красота, но также и высшее чудо. Язычество и христианство в Розанове слиты неотделимо, это два мира, два полюса его души.

Розанов уловил «брачный ритм» жизни, у него все зарождается из брака. У него даже религия есть брак человека с Богом. И от самой церкви он отшатнулся именно потому, что в ней таинство брака неразвито и не получило такого расцвета, как другие таинства. Розанов хотел бы проникнуть через пол к самой главной святыне мира, которая еще не открыта. Для него не существует чуда вне пола. Для него пол — единственное чудо... Поистине, весь Розанов — это реакция против двухтысячелетней бесполости мира в христианстве, против скопчества и аскетизма в христианстве, он — бешеный взрыв замученной природы в цепях христианства, он, может быть — единственный вестник жизни в наше мертвое время... В то время, как все устало и все мертвы, он живет, клокочет, горит, волнуется, раздувая пламя свое, и что-то не русское, языческое, иудейское есть в этом его суетливом желании насытиться до краев жизнью...

В наше время в России не умеют, не хотят, не могут жить, драгоценная влага жизни расплескивается раньше времени и никто ею не дорожит. И только Розанов суетится около чаши жизни, дрожит, когда проливается капля, ему бы хотелось, что-



бы чаша эта была бездонна, ему хотелось бы собрать в нее все живительные соки, все силы, все семена мира и захлебнуться, припав к ней, и пить жадно, пить не так, как все, а как-нибудь особенно, причмокивая, закрывая глаза в блаженстве, вечно замирая в неоскудевающей жажде, вечно радуясь и по-детски ликуя, чтобы это носило характер чего-то священного, праздничного, литургического, чтобы в гимнах своих, в экстазе жажды, в самом процессе этом — забыть, что есть, что будет дно, забыть, что существует смерть!

Я сказал, что Розанов проник в сокровеннейшие тайны христианства. Именно в этом-то и заключается его заслуга и особенность его таланта. И в этом отношении его нужно признать *единственным*: есть талантливые историки христианства, исследователи, критики, но нет ни одного тонкого и проникновенного его психолога, который бы, отрешившись от мешающей в данном случае научности — вскрыл бы перед нами основные, невидимые нервы христианства, о которых никто не имеет понятия, но которые открывают такие истины и дают возможность проникнуть в такие бездны, куда еще не заглядывал ни один человек. Розанов именно такой психолог. Он годами вынашивал свое знание не при помощи науки, длиннейших и скучнейших размышлений и диссертаций, а исключительно посредством своей врожденной интуиции, интуиции художника, интуиции гениальной. Интуиция — вот главное оружие розановской критики, вот главная особенность его творчества. Это именно та интуиция, которую имеет в виду Бергсон<sup>3</sup>, интуиция, оцупью схватывающая то ускользающее, скрытое за семью печатями, сокровенное в вещах, ту почти мистическую их реальность, которую невозможно схватить посредством разума, которая находится по ту сторону всякой науки и которую постичь научным образом нельзя. Бергсон дал замечательно исчерпывающее определение подобной интуиции в следующих словах: «интуиция есть род интеллектуального вчувствования или симпатии, посредством которой мы проникаем во внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что в нем есть единственного и, следовательно, невыразимого» \*...

Но, понимая весь секрет подобного дара интуиции, сознавая, что последняя должна быть вненаучна или, вернее, сверхнаучна и что она должна даже идти против знания — Бергсон, однако, не мог пойти по пути чистого интуитивного знания, ему дорогу преградила научность, и его интуиция, в сущности, не гениаль-

---

\* Анри Бергсон, «Введение в метафизику».

ная и не художественная, а чисто научная и даже узко научная, и хотя она у него претендует на знание без символов, но, в сущности, он без них обойтись не может, и в этом цепь противоречий его философской системы, которая не столько интуитивна, сколько чисто научна... И в этом отношении Розанов нужно признать куда гениальнее Бергсона: Розанов владеет в совершенстве именно тем даром чисто художественной, гениальной интуиции, вскрывающей корни вещей посредством «вчувствования и симпатии», который совершенно отсутствует у Бергсона по причине перевеса научности в его философии над интуицией... Философия Розанова — это художественное творчество, руководствующееся тайной интуиции, интуиции именно внесимволической, как бы обходящей слова, как бы в словах не нуждающейся, ибо слова Розанова — особенные слова, сокровенные, это как бы нежная поверхность плодов, внутри которых заключается драгоценная влага жизни, и язык Розанова — не словесный и слова уничтожающий, это не мысленный язык, а язык чувств и переживаний...

Розанову понадобились многие годы для того, чтобы придти после арифметики христианства, которая понятна всем и которую знают все — к логарифмам христианства и к его высшей математике — знания сокровенного, мало кому доступного, о котором не каждый имеет понятие...

Розанов — примерный христианин, любящий церковные богослужения, лампадки, иконы и акафисты какой-то чувственной любовью, Розанов, торопливо крестящийся на молебнах, «мелкими, частыми крестиками» \*, Розанов — консерватор и сотрудник «Нового времени» — именно благодаря своей гениальной интуиции является опаснейшим и мудрейшим критиком христианства...

Он сумел подкопаться под основы христианства, сумел увидеть, на чем оно стоит — и ужаснулся, и принялся вопить об этом во всеуслышание, стал надрывать над своими открытиями, потому что христианство направлено именно против того, что для него составляет святыню, потому что Христос и пол несовместимы и потому, что несовместимы — он вечно мучается и вечно страдает, ибо не может жить и без Христа, и без пола.

---

\* «Точно так же он крестится, когда во время домашнего молебна старенький, седенький батюшка Всех Скорбящих <sup>4</sup> подымает Владычицу на руки, а Василий Васильевич, по древнему народному обычаю, для получения наибольшей благодати, согнувшись почти до полу, как будто на четвереньках, пролезает под иконою» (Д. Мережковский, «Революция и религия»).

Именно этот невозможный синтез духа и плоти, который мучает Мережковского и Бердяева, — является камнем преткновения и для самого Розанова, только у последнего это не философия, а жизнь, самая обыкновенная реальная жизнь — и вот почему такой вопль, и такая энергия, и такое живоносное творчество!.. Розанов — философ, которого философия неотделима от жизни и вне жизни невысказана, это философ древний, это языческий философ, живущий природой, событиями жизни, мелкими дразгами, семейной обстановкой и в них черпающий темы для своих размышлений...

Вечности для него как бы не существует, как не существует и будущей жизни, он и от Христа требует, чтобы Он вошел в эти его муравейники и домашние очаги и слился с ними, и пребывал в них, и освящал плодородие, и сквозил в любви и в поле, как древний Иегова — и это несомненно языческое свойство, и тем более оно странно, что никто со времен первых христиан не предъявлял таких требований ко Христу!.. Розанов первый задумал соединить языческое начало в человеке с христианским, но мысль эта оказалась сумасбродной, и оттого, что это оказалось несоединимым, — он особенно нападает и на христианство и даже на Христа... Оттого, что Христос не может освятить пола — Розанов не может примириться со Христом. И не потому, что пол невозможен в христианстве, а потому, что для самого Розанова кроме пола и семьи нет ничего, что бы было важнее их, потому что Розанов — безумный от жизни, обожествляющий жизнь и в ней только видящий свой храм, потому что божество Розанова — не Христос, а именно та человеческая плоть, которую преодолел Христос и которая для Розанова заменяет и небо, и ангелов, и будущую жизнь!..

Розанов — злейший враг всякого страдания. Кириллов разрушил мир в своем сердце именно за то, что в нем — боль и страх; Розанов делает разрушительные нападки на христианство за то, что оно культивирует боль и смерть, за то, что оно идет будто бы против жизни!.. Во имя этой жизни, во имя самого принципа жизни, — Розанов готов отречься от Христа... Такой безумной, религиозной любви к жизни в России не испытывал ни один писатель, такую любовь к плодородию и к семье испытывают только евреи, и в Розанове много еврейского (в смысле духовном). Иногда кажется, что Розанов смог бы жить без Христа одним своим половым пантеизмом, одним очарованием семьи и брака, но к счастью — это одна только видимость, Розанов оттого так и мучается своим бунтом против Христа, что жить без него не может...

Что же заставило вооружиться его против христианства и нанести на светлый и единственный Лик Христов темную тень несвойственного христианству мрака?.. Что побудило этого единственного по искренности чувства религиозного мыслителя, служащего акафисты и молебны — заявить, что Христос не жизнь, а смерть миру?... Не кроется ли в этом какое-нибудь недоразумение? Не есть ли поход Розанова против Христа лишь соблазн дьявола и сумерки духа, отданного в рабство плоти?... И не сыграла ли эта последняя с ним злую шутку именно за безумную, крайнюю к ней любовь и привязанность?.. Ведь кто ослеплен, тот не видит того, что видят все...

Христианство не только победило жизнь, оно победило смерть, именно своим проникновением чрез нее в вечность оно осватило ее, для христианства нет смерти, а есть вечная жизнь (конечно, не во плоти, а в духе), это знают все, это знает всякий верующий христианин, это должно быть известно и Розанову. Но он как будто не сознает этой победы христианства над смертью, он вечно доказывает, что христианство есть пессимизм и уничтожение жизни. И это происходит оттого, что для него жизнь существует только во плоти, что смерть для него есть прекращение жизни. Но это взгляд неправильный. Розанова в этом отношении нужно признать материалистом... Но он материалист особенный, мистический, и плоть для него почти духовна, и пол для него есть дух...

Как и Кириллов, он верит не в будущую вечную жизнь, а в *здесьнюю* вечную, ему бы хотелось, чтобы человек жил на земле вечно, чтобы он рождал вечно, чтобы наслаждался всеми радостями вечно, смерть для него — гибель, страх, прекращение пола, именно потому он и вооружается против смерти... Но это — наивный материализм, это не христианское понимание смерти, а языческое... Для Розанова как бы не существует в человеке духа, дух весь для него воплотился в пол, и будь бессмертен пол, будет бессмертен и человек, ибо вне пола ничего нет. Пол есть дух, талант есть страсть, как и вдохновение есть страсть, кроме семейной жизни не может быть другого идеала. И нет жизни вне плодородия. Плодородие есть вечность и только в нем — залог бессмертия. Конечно, в данном случае христианство может казаться религией скопческой и смертоносной, а Христос — мраком. Но виноват в этом отнюдь не Христос и не христианство, а сам Розанов и его наивный материализм!

Христианство не есть мрак и не есть смерть, это ясно. Оно тем и сильно, что победило смерть, что даровало душе бессмертие, что осватило весь мир страданьем, и в страданье этом его главная

радость и немеркнувший свет... Но Розанову христианство потому кажется мрачным и пессимистическим, что он видит жизнь только в поле, потому что он боится страдания и не принимает его, потому что страдание ему чуждо и в нем он видит один только мрак... Во имя радостной, животной, беспечальной, сытой, безболезненной жизни он отвернулся от Христа. Ему, как и Кириллову, Христос кажется какой-то сплошной болью, какою-то невыносимой серьезностью, исключаяющей всякую улыбочивость, и смерть для него страшна и невыносима... Что-то бесстыдно жизненное, фанатически жизненное кроется в этом отношении Розанова к христианству. Это именно «человеческое — слишком человеческое»... Это именно узко-еврейская заботливость, исключаяющая своим душным житейским теплом, своим на веки вечные прикрепленным к земле практицизмом — всякие другие миры, всякую мечту, всякое дыхание вечности... Еврейство — это закрепощение человека земле, это страшное земное царство, царство сытого и довольного человечества, это микроб торжествующей животности и рационализма, это — точка, в которой дух уничтожается и заменяется плотью... Розанов именно приближается этой своей стороной к библейской религии плодородия и семьи — и именно этот библейский дух, эта иудейская зараза — сильно подействовали на мировоззрение Розанова и помешали ему оценить христианство с другой точки зрения, не плотской, а духовной, не материалистической, а метафизической...

Получается одно сплошное недоразумение: Розанов все время напирает на то, что самое опасное место христианства заключается в культивировании последним смерти и страдания, что в этом — гибель жизни и что в этом — смерть. Отсюда выходит вся его гениальная метафизика глубин христианства и его фанатическое превозношение плоти... Но с другой стороны — наглядно выступает другая несомненная истина, мимо которой проходит Розанов, истина, что *для христианства самой смерти-то не существует, что христианство есть вечная жизнь, что страдание для христианства есть могущественная и единственная радость!*... Таким образом, то, что открыл Розанов в христианстве, имеет разрушительную силу и опасность только для самого Розанова, с точки же зрения христианства оно не только не опасно и не губительно, но составляет его незыблемую и нерушимую твердыню, в которой залог его вечной победы и торжества!

Самая же боязнь смерти и страдания у Розанова чисто языческая, ибо христианин не боится ни смерти, которой для него нет, ни страдания, которое — радость!...

Языческая идея пола всецело заслонила перед Розановым другую истину — чисто христианскую, которая ему, как апологету жизни и рождения — совершенно чужда: истину, что *Христос смертью победил смерть*, что через распятие Христа мир получил новую радость — радость страдания, которую не променяет никогда ни на какое сытое благодушие, ни на какие животные радости человека, прикрепленного к земле!

Кириллова самая идея распятия Христа ужаснула, ему непонятна была та священная тайна, которая скрывается в этой идее, ибо он ужаснулся факта великой боли. Не мог примириться с тем, что все — боль и что сам Бог есть боль, что Христос есть освящение боли... Такого Христа он не мог принять. Ему, как Розанову, нужен был Бог радостный, Бог, принимающий жизнь без боли и боль уничтожающий... Ему не тайна мучительная была нужна, а вместо тайны простая арифметика. Но в том-то и сила и красота Христа, что он *должен был быть распят*, иначе мир истлел бы в пожизненной скуке своей. Только из страдания рождается истинная жизнь, а там, где нет страдания — там розановские идеалы торжествуют — там и здоровая жена, и вкусный стол, и много детей, и благодушие, и сытость, но там же и простая мещанская скука, целый кошмарный мир скуки, которого не в силах перенести человек. Христианство тем и велико, что подняло человека над землей, открыло ему тайну страдания — и в тайне этой преобразился человек — и нет больше скуки, нет больше пресыщения и мещанства, а есть нечеловеческий восторг и радость вознесенья, и сладостная боль!.. Христианство преодолело человеческое — и в этом *всё*. Христианство есть творчество не от мира сего, творчество духа... Христианство и плоть освятило вознесением духа. Но для него эта жизнь не цель, а лишь средство, сквозь земную тоску виден ему чертог небесного царства...

Розанов смотрит на Христа как на обыкновенного человека. Ему досадно, отчего Христос не женился и отчего не было у Него детей (!), он не может примириться со смертью Христа, с его добровольным распятием, *это ему чуждо*. В своем языческом ослеплении Розанов дошел до того, что требует от Христа человеческих качеств и вовсе не может понять, что именно с фактом распятия Христа совершилась всемирная великая катастрофа, что не будь этого распятия, миру не было бы чем жить, что тайна распятия есть также и тайна преображения. Розанов восторгается, что творчество есть страсть, что талант есть половая сила, что все великие произведения писались силою страсти, что пол от творчества неотделим, но почему же он не хочет при-

знать, что в такой же мере, если не в большей — творчество рождается из страдания, творчество пропорционально степени страдания, что все великое, все гениальное создается силою страдания?.. Ему чужда трагическая сторона христианства, но все великое — трагично. Розанов хочет обесцветить, опошлить мир, исключив из него трагический элемент, страдание и боль. Розанов забывает, что без страдания все светлось бы к нулю, человечество задохнулось бы в кошмарном чаду вкусных обедов, полнотелых жен и куч детей и начало бы само истреблять все это, чтобы получить возможность жизни. Ибо жизнь только в страдании, и посредством страдания постигается и высшая свобода, и высшая тайна! Розановский идеал святости и безболезненности плоти, — в пределах жизни, на практике превращается в самую мещанскую комедию пошлости и середины. Он может жить иудейскими идеалами сытости и жизненной энергии, но эта способность дается не каждому, и не каждый может ее принять. В своем отрицании страдания Розанов дошел до черты, за которой начинается обыденщина и житейское.

Кириллову кажется, что, распяв Христа — мир победил Его, и, значит, все — обман и диаволов водевиль. Но это — грубое понимание и неверное. Именно потому, что мир распял Христа, он был побежден Христом, именно только из-за одного распятия человечество и получило ту новую жизнь, которую ради спасения своего не променяет ни на что. Ибо в страдании только возможна единственная жизнь.

Но Розанову страшно. Он, правда, далек от кирилловского признания, что все — диаволов водевиль и ложь, но ему страшно и непонятно. Ему страшно, что Бог распят, что Бог умер, он, как иудеи — требует от Бога грозного величия и непобедимости, ему страшно и непонятно то, что само по себе трагично и таинственно. Ему непонятно, почему Бог есть рыдание и боль, почему боль положена во главу мира, почему без боли невозможна жизнь...

«Сущность (христианства) везде одна, — говорит Розанов, — что мы умираем, и боимся, что умираем, и не понимаем, что такое это, что мы умираем, и восторг, что “с нами и за нас умер, наконец, и Господь”. Кончина Бога, Голгофа — вот невероятное случившееся, что и образует зерно, из которого выросло все христианство» \*... «Господь в гробу! Какая ужасная тайна! Господь смотрит на человека из гроба! Какая тайна, как бесчувственен читатель, если он не содрогается. Как постижимы тогда св. мощи, которые ведь все вослед Господу благоухают из гроба и манят

\* «Около церковных стен», т. II, с. 481.



нас к гробу же. Вот, где родник аскетизма, вот, где истинный его родник, а не в словах “лучше не жениться” \*... «И тогда оба явления, и сон и отречение, суть только лучи, только частицы одного потрясающего события, уже шедшего в мир: *смерти Бога среди людей и от людей!* Как это ужасно! Еще каинство человека, еще убитый в нашем доме, на нашем поле Авель! и какой Авель!» \*\*.

Почему ужасно? Почему страшно? Неужели Розанову непонятна та великая *животворящая* сила, которая скрывается именно в этом событии? Неужели не знает он, что не его «пол» может спасти мир и не его ветхий завет, а именно это распятие, эта скорбь, эта великая вила страдания? Он подходит ко Христу с одной только стороны — человеческой, и вот именно эта ренановская точка зрения мешает ему понять, что Христос не только человек, что Христос преодолел человеческое, что человек не цель в христианстве, а лишь оболочка духа, лишь переход к другой, высшей жизни, переход от тела к духу? Конечно, если подходить ко Христу как к человеку — то вполне уместен и этот ужас, и этот страх. Но, может быть, именно в факте распятия Христос перестал быть человеком и стал Богом? Может быть, само-то распятие, сама боль не есть ужас, а нечто священное, и страдание именно потому так и желательно, что составляет божественный акт?.. Но Розанов этого знать не хочет, ему невыносимо сознавать в Боге боль, и оттого, что он почувствовал эту боль во Христе, самый Лик Христа кажется ему темным и мрачным, он хотел бы, чтобы этот Лик улыбался той бессмысленной, вечной улыбкой, которая у индусских и китайских божков... Ему непонятно, что скорбь Христа вовсе не исключает улыбки, но эта улыбка для Христа не главное и не может быть главным! Ему больно, что главное — скорбь!

Лик Христа всегда затемнен Розановым. Он как бы нарочно хочет сгустить пессимистические краски христианства, подчеркнуть смертоносную силу этого Лица. И это оттого, что Розанов весь житейский, весь погружен в суету, в обыденщину, в вопросы пола, а после этого, конечно, ему непонятно и странно, как люди могут до того возлюбить скорбь, до того проникнуться очарованием Лица Христова, что уже не радуют их ни здоровая жена, ни множество рожденных, рождающихся и еще нерожденных детей, и всевозможные гастрономические соблазны!.. Для Розанова жизнь только в этом, для христианства — не только в этом. Для Розанова пол важнее Христа, важнее истории, важнее

\* «Темный Лик», с. 95.

\*\* Ibid., с. 4.

смерти, для христианства пол или вовсе не важен, или мало важен. Ибо если бессмысленна и кошмарна жизнь, если давит тоска, если человек иззяб от тоскливой стужи, то лучше вовсе уничтожить самое зерно жизни, нежели любить бессмысленную и животную жизнь только за то, что она — жизнь!

Розанову монастырский экстаз кажется «тяжелым», в монашестве и аскетизме он не видит ничего, кроме самозакапывания и положения в гроб. Ему непонятно, что есть люди, которые ради Христа отвернулись от мира, прокляли мир, ушли от него, он возмущается, когда Лик этой своей «испепеляющей красотой» убивает человека, делает его неспособным к жизни... Здесь языческое начало сильно сказалось в Розанове. Ему вовсе не понятно, как можно отвернуться от жизни, если она так прекрасна. Он с ужасом погружается в бездны христианства и везде его мучает вопрос: почему Христос убивает пол? Почему Христос несоединим с плотью? Но он забывает, что именно в этом аскетизме, в этом погружении плоти в тайну Христа, в этой неизреченно-прекрасной скорби и заключается истинная жизнь для христианина и что кроме этой жизни другой ему не нужно, ибо царство его не от мира сего!

«Все померкло в лучах нового сияния, — заявляет Розанов, — еще раскрылось небо, после Ветхого, после обрезания — и новый совсем голос послышался оттуда. И вдруг не стали мне нужны царства, боги, игры. Состроган гроб. “Куда ты смотришь, старче?” — “В гроб”. — “И?” ... Но нет “и” соединительного, другого: конец, пришло окончательное и оконченное... В суете земной позабыл “темный лик в углу”, и вдруг — друзья, жена, дети. “Тебе тяжела ноша, давай понесем вместе”. И ведь смеются, весело. — “Тебе легко, а нам легко оттого, что тебе легко”... — “Погодите, — говорю я, — не то”... И вспомнил Лик в углу, и стали мертветь друзья, дети, жена, и как будто пар и туман вместо людей, и вот рассеялся вовсе. Теперь я один и ужасно крихчу, ноша совсем меня придавила» \*.

Но ведь именно здесь-то и начинается христианство и кончается язычество, именно здесь-то и начинается чудо... Но Розанову нужно вовсе другое, ему нужна Библия, и Новый Завет ему не под силу. И не потому, чтобы он был ему чужд (может быть, никто так глубоко и любовно не понимал Евангелие, как Розанов), а просто не по силам он ему. Его душа не здесь. Его душе гораздо понятнее и роднее слова Иеговы: «плодитесь и множитесь», чем таинственные и полные еще неизведанного смысла слова Христовы: «возьмите иго мое от меня и научитесь от меня, ибо иго мое благо и бремя мое легко»...<sup>5</sup>

\* В мире неясного и нерешенного», с. 222.

В этом постоянном колебании между Ветхим и Новым Заветом, в этом перебегании от Моисея к Христу и от Христа к Моисею заключается главная и характерная особенность розановской религии... Ему неприятны мрачные лики православных икон, ему жутко от русских монастырей, жутко от смерти, которую якобы проникнуто христианство, он иногда (как, напр<имер>, в статье «Христос — Судия мира»<sup>6</sup>), с чисто искаротской злобой издевается над Христом, упрекает Его в жестокости, как бы желая отомстить этим за то, что Он сыграл такую громадную и мучительную роль в его жизни, он всячески старается очернить христианство и в «Темном Лике» и в «Людях лунного света» кажется каким-то не то «отрицателем», не то из «антихристов»... Но как бы он ни преуспевал в своей беспощадной и часто весьма ядовитой критике христианства, до какого бы отрицания и бунта ни доходил в своих писаниях — все же он не «отрицатель» и не «антихристианин», а самый искренний, самый православный христианин в наше время... Помню, я был очень удивлен, когда после одной из своих публичных лекций, в которой я назвал Розанова язычником — я получил от него письмо со следующими словами, глубоко врезавшимися в мою память: «а знаете, что я больше христианин, чем язычник и экстаз (особенно половой) мне вовсе чужд. И я люблю вечерний звон, и всенощную, и “свете тихий”... Я вообще не похож на свои сочинения»... Тогда это признание меня удивило. Теперь, ближе познакомившись с розановским творчеством, с особенностями его душевного склада — я вовсе не удивляюсь. Я знаю, что есть два Розанова: один — язычник, обожествляющий пол, поклоняющийся «святому животному», а другой — искренно верующий христианин с своей трогательной и детской любовью к лампадам, акафистам, вечернему звону и всему церковному, ко всей церковной обстановке, богослужениям, священникам и дьяконам.

Этот последний Розанов гораздо ближе и роднее мне. Он знает все ядовитые истины, знает водоворот бездн в христианстве, знает минуты сомнений, падений и соблазнов Иуды, ибо он живой человек и ничто человеческое ему не чуждо, но также знает он ту тайну, которая ведома и мне: что никакой человеческий разум, никакой анализ, как бы он ни был гениален, никакие искушения, никакой демон не в состоянии поколебать любви к чуду, любви именно к тем темным образам, которые кажутся символами смерти, и которые исцеляют, творят чудеса, творят другую, недоступную для разума человеческого жизнь, любви к церкви, без которой невозможно жить, которая уничтожает сытую скуку мещанства, которая сияет огнями и полна пречистого

и животворного света, любви к тайне Христовой, которая вечна и вне которой — суета и мрак.

Именно у *этого* Розанова вырвались однажды знаменательные слова в минуту самого беспощадного анализа священных тайн, детская, чистая вера вспыхнула в отравленном разумом сердце, и Розанов-язычник хоть на минуту, да был побежден и обезоружен:

«Боже, да ведь эти толпы, здесь, везде, их тысячи, миллионы... они непременно помешались бы от страха, безнадежности, от несчастья, от *действительного горя и действительной боли*, если бы им не добрести вот сюда... и если бы они не знали, *что есть место, куда — добредут, и Бог услышит*. Если бы вдруг перед ними... закрылось все...

Какой ужас!

Тьма, ночь и отчаянье.

.....

И да сияют Образа эти вечно. Ибо уже лучше пусть померкнет *ум*, нежели чтоб погасла жизнь.

И если даже мы *всё* “поймем”, то самое это “понимание” бросим в огонь» \*.

Все усилия Розанова были направлены на разрушение церкви, но в сущности — он ею жил, она была его жизнью даже тогда, когда он ее разрушал, и в этом его особенность. Еще недавно Розанов открыто в этом признался. И сколько глубокого смысла в этих его словах, только русская душа может их понять, только ей может быть так мучительно дорога идея церкви:

«Церковь, — признается Розанов, — есть единственно поэтическое, единственно глубокое на земле. Боже, какое безумие было, что лет 11 я делал все усилия, чтобы ее разрушить.

И как хорошо, что не удалось.

Да чем была бы земля без церкви?

Вдруг обесмыслилась бы и похолодела.

Цирк Чиннизелли, Малый театр, Художественный театр, “Речь”, митинг и его оратор, “можно приволокнуться за актрисой”, тот умер, этот родился, и мы все “пьем чай”: и мог я думать, что этого “довольно”. Прямо этого я не думал, но косвенно думал» \*\*.

Розанов и к церкви относился все время отрицательно, так как не находил в ней живой души, живого организма, а только казенное учреждение. Для Мережковского, Философова и Булгакова это обстоятельство послужило причиной их невольного

\* «Люди лунного света», с. IX.

\*\* «Уединенное», с. 25.

отпадения от казенной церкви, что же говорить о Розанове, с его ненавистью ко всему вечному, внежизненному, с его безумной любовью к свободной жизни, к жизни без рамок и без условностей? Ему становится душно в церкви, его языческий экстаз, его страсть к полным полножизненным символизмам богослужениям и жертвам, его привязанность к природе, к освящению природы в молитве, его дремлющие в глубине симпатии к языческим славянским празднествам, когда храм был природой, пляски, жертвоприношения и обряды — молитвой, а цветы, поля, небеса и животные — образами, его врожденный пантеизм, его идея человекобожества — все это, конечно, не могло найти себе места в православной церкви, все это чуждо ей и неприемлемо ею, ибо церковь есть защита от жизни и спасение от нее, ибо церковь есть столп и утверждение истины, корабль, уносящий все здешнее в вечность, чудесная пристань, где бурные воды житейские замирают в блаженном предчувствии покоя, вознесения, молитвы... Церковь не могла принять в себя интеллигенцию и слиться с нею, ибо это значило — изменить своим вечным традициям, это значило отдать дань князю мира сего, войти в суету мирскую, в грязь и пошлость житейскую. Но церковь должна быть выше жизни, это башня над пропастью смятения и тьмы, башня, в которой — одно и то же чудо от века. В ней все должно быть неизменно и свято от века. Там, около нее, в водовороте житейской тьмы кружится жизнь, раздаются вопли и стоны, проклятья, крики погибающих и ликование победителей, и море крови, и море слез, и море вражды, ненависти, животного бессилия и смерти — все сливается в грязно-кровавый океан жизни, но волны его разбиваются о каменные скалы церкви и отхлывают назад, и ничто не в состоянии поколебать их, и ничто не в силах повредить ее железную твердыню. И церковь возвышается над жизнью, как чудо из стали и мрамора, и в церкви — тишина и глубь, и восторг безмятежности, здесь мертвые оживают и живые становятся мертвыми для мира, здесь душа отделяется от тела, здесь спасение и вечная жизнь во Христе и победа над миром, здесь страшная и нераскрытая тайна — и взглянешь на нее — и не надо жизни, не надо человеческого царства, ничего не надо, и как ненужная чешуя — отпадает от человека все житейское — и вот именно этой вечной победой над миром, этим уничтожением жизни и всей суеты ее во Христе, этим слиянием души человеческой в таинствах с миром горним, с миром вечным и чудным, этим презрением своим к земле, — жива, святая и вечна церковь, и в этом ее сила, и врата адавы не одолеют ее никогда!..

Но Розанову именно эта вечная неприступность церкви и ненавистна, ему хочется, чтобы она снизошла до человека. осветила его пороки и нужды, освятила ту плоть, от которой отреклась навеки, освятила всю землю, как языческие боги освящали природу пребыванием в ней.

Розанова поражают *мертвенные* черты православной церкви, ему хочется кричать от изумления, от вечного непонимания, отчего так измучены и скорбны лики ее святых, отчего самый символизм церковных богослужений так вял, серьезен и как бы выточен из трупного очарования, отчего песнопения ее, молитвы, весь дух ее — рыдающий, скорбный, как бы возносящийся на крыльях от земли, воздыхающий, отчего все православие — это восторг боли и смерти, любовь к Богу в слезах, безутешная грусть, неизреченность жертвенного экстаза, отчего сама жертва в таинстве как бы внежизненна, отчего все христианство — одна вода горьких слез, а крови, жизни и плоти в ней нет?

И вот, он входит в церковь, служит молебны, истово крестится, бьет поклоны — и ему понятна и близка эта красота, он любит ее, он восторгается ею, и ему понятна чудная ночь пасхальной заутрени, единственная по своей чудесности ночь в целом мире, и душа его замирает в восторге при виде этих пасхальных огней, белых риз, белых платьев, цветов, и он думает «как это хорошо, что в церкви все мы братья. И пойдем вместе, за хоругвями, придерживая ладонью огонь свечи от дуновения ветра. И будем слушать пение. Да, как хороша религия, в звуках, в красках, в движениях, с иконами, с большими непременно иконами, в золотых ризах, а еще лучше — в жемчужных, как в Успенском соборе в Москве, и с огнями. И пусть огни будут в руках, перед образами, на улице, особенно на колокольнях» \*.

И он сливается всею душою с чудесным настроением пасхальной ночи, как нередко сливается и со всей душой православной церкви, но здесь-то и выступает наружу его характерная особенность; он не может скорбеть, не может пребывать в бесплотности, в отрешенности, в бесстрастном православном смирении, его языческая натура кипит в нем, бушует, рвется наружу — и в самое церковное его настроение врывается опьяняющая струя невозвратной весны человечества, и вот он — сам весенний, он забывает, что он в православной церкви, на развалинах древнего мира, он живет в своих вдруг оживших мечтах, и сквозь церковную обрядность просвечивает языческая красота, любовь к свя-

\* «Около церковных стен», т. II, с. 4.

ценным жертвенным огням, все очарование древних жертвоприношений, вся жизнь природы, и земли, и неба, и звезд. Как в зачарованном сне, Розанов подходит к образам, зажигает свечи, любит, как горят огни, чувствует в огнях и трепет души, и брожение крови, и теплое дыхание плоти, и душа его где-то далеко, не в церкви, ему грезится древний языческий храм, и песни, и царица земля, и хороводы, и оргии... В странном сочетании языческого и церковного красота невысказанная, красота опьяняющая, и хочется молиться и украшать свечами иконы, и все больше и больше огней, и в огнях — трепет души — молодой, весенней, и чары священной страсти, и вздохи любви, и вместе с тем — хочется забросать церковь свежими полевыми цветами, запеть что-то свое, такое радостное, такое страстное, такое волнующее, чтобы и эти нахмуренные старцы в ризах, и эти истощенные святые, и все молящиеся — вдруг почувствовали чудесный ритм жизни, жгучий, страстный, истомляющий, «брачный ритм», и началась бы пляска, и ликование, и поцелуи, и влюбленная нежность, и кружение в море цветов, молодых, стройных тел, и улыбки, и тайна, и слились бы в одной неизреченно сладостной гармонии Христос и Дионис, плоть и душа, любовь и молитва!..

В этих ярко пылающих огнях церковных, огнях — символах души возносящейся перед иконами — Розанову чудится пробудившийся вздох древности, и душа его пропадает вдруг в безднах веков, в лазурной безмятежности, в тех временах, когда люди не знали религии смерти, когда тело было храмом, а жертва — кровью и распятием в любви... И он славит огонь, священный огонь, огонь древности, вдруг снова оживший в церковных свечах — и как жарка молитва к огню! Огонь — символ плоти, символ любви, пламенное жало тоски и блаженства в тоске!..

Но душа тоскует по жертвенной, кровной, плотной слиянности человека с Богом, душа видит в церкви угасшую плоть, душа надрыдается оттого, что церковь бесплотна, бескровна и водяниста, и снова в этой душе восторженный вопль язычника, такой необычный в наше усталое время безжизненности и умирания: «мы потеряли кровный, родной путь к Богу в таинственных древних жертвах. Настали бескровные жертвы, водянистые, риторические, мы будто бы сокрушены в сердцах, а на самом деле обделываем свои делишки... Кровь есть *жизнь*, кровь есть *растущий* факт, кровь есть *источник сил* и *сильного*. Религия, взявшая кровь в нить соединения своего с Богом — и была *жизненна, растуща и реальна*. А вода — она и есть вода».



Розанов как бы реально сочетается с Богом, как бы *плотски* ощущает Его, чувствует Его, и это пантеизм языческий, это именно та мистическая реальность Бога, о которой говорят в наше время. Этот реализм, отсутствующий в христианстве — он у Розанова и плотский, и вместе с тем — живо-мистический, почти *животно-мистический*. И какая разница между этим теплым, кровным реализмом его веры и рассудочным «мистическим реализмом» Бердяева! «Если Бог, — говорит Розанов, — не есть Существо, физически *зрящее* и физически *обоняющее*, то для кого в церквах мы жжем *свечи* и *ладан*? Для себя? Себе угождаем? Ибо, очевидно, “Богу Духу” ни света, ни запахов (ладана) не нужно. Между тем погасите в церкви свечи и лампы и зажгите курильницы, как глубоко померкнет храм! А и свечи, и *ладан* — явный *остаток*, уже бессмысленный у нас, древнего, реально-кровного теизма!» \*.

Как относится Розанов к нашим праздникам! Ведь и в этом сказалась его связь с язычеством: для нас эти праздники один сплошной кошмар сытости, пошлости, пьянства, пустоты душевной, в эти праздники зевает и разлагается душа, мы не чувствуем символичности праздников, не чувствуем, не переживаем тех событий, в память которых они совершаются. Только у язычников (и между прочим, и у древних славян) праздники были особенной *жизнью*, мистическим переживанием, чем-то необычайно радостным, необычайно — торжественным, и душа вся была радостно настроена: — эти танцы, хороводы, песнопения, это обожествление природы, остаток которого доселе удержался на Руси — все это свидетельствует о кровной связи человека с природой и с Богом, все это говорит о каких-то торжественных мистериях, непостижимых современному иссушенному и измочаленному «культурному» человеку!.. Любовь Розанова к христианским праздникам, их любовное и глубокое понимание отзывается тоже язычеством, ему хочется воскресить хоть в этом радостную зарю человечества, этот опьяненный природой, ликующий дух, который омертвел в цепях христианской догмы. «Хочу для пыльщика рощ, лугов, цветов, музыки! — восклицает Розанов, упрекая духовенство в сонном унынии и угрюмости, — буду яростен и скажу прямо, что пыльщику нужны “языческие священные рощи” и смычок, положенный на скрипку, и наконец — девушки, хороводом взявшиеся за руки, — и не меланхолические, а с сочными губами, высокими бюстами, широкими бедрами! Нет, я тоже хочу быть жесток и закричу: “Шехерезаду, Шехерезаду”!

\* «Около церковных стен», т. II, с. 450.

“Дайте нам сады, и дев, и рощи, и леса, и благоухания цветов, и манящую к восторгам музыку!”» \*.

Отсюда его безмерная любовь к природе, этот восторженный пантеизм, который совершенно иссяк в христианстве и который то и дело прорывается у него в виде жарких гимнов нашим русским дремучим лесам, земле, солнцу и звездам, особенно звездам — символам жертвенных огней, этим лучезарным очам небес... И Розанов рвется снова из кельи монастыря, из душевной церкви, из городов, пропитанных заразой культуры и литературы — синонимов одной и той же пошлости — рвется к далекому прошлому, невозвратному, погибшему, где его душа, где его мечты, где его любовь:

«Уйди на всю жизнь в леса, к звездам, к утреннему солнцу, к живительной росе, проводи рукою по этой холодной росе на заре, или, поднявшись на пригорок, следи, как солнце садится в кучу деревьев — и так сегодня, завтра, всегда, — и душа очистится, станет прозрачна, как слеза росы на зелени, без мути в себе, без пыли в себе. Она сольется с природой, сделается от нее неразличимой. И природа как бы уже прижизненно вберет в себя такого человека, как она вбирает всякого после его смерти. И тогда придут к такому человеку животные, не боясь его, даже любя его, даже понимая как-то его, — и он их постигнет новым постижением» \*\*.

Язычеству чужд догматизм, его религия внедогматична и сами символы ее как бы плотские, как бы живут, как бы составляют плоть и кровь, ибо эта религия больше чувственная, больше кровная и жизненная, нежели разумная. Догмат — первый признак рационализма, и весь христианский догматизм рационалистичен. Розанов единственный мыслитель в современном «неохристианстве», который пошел против догматики — и в этом также особенность его мировоззрения. В то время как для Мережковского догмат является чем-то неизбежным, какой-то единственной броней, алмазным мечом защиты, в то время, как для Бердяева догмат — истинное высшее переживание, нечто граничащее с безумием — для Розанова догмат — звук пустой, богословское изобретение, мертвая буква, уничтожающая чувство в религии, которая должна быть свободна, радостна, таинственна и для которой не может быть никаких формул. «Позвольте, — возражает Розанов и богословам, и Мережковскому, и Бердяеву, — зачем же великолепное слово Евангелия переделывать в сравнительно гнилое слово догматики?.. Ведь догмат — нечто каменное. Хрис-

\* Ibid., с. 304–305.

\*\* «Темный Лик», с. 32–33.

тианство в отцах церкви и в построениях догмата потеряло *наивность и прелесть*, трогательность и силу *привлечения*... Христианство перестало быть *умилительно* с догматом, и на него *перестали умиляться*. Просто его *перестали любить*... Самими догматистами введен был в христианство главный и первоначальный яд... Догмат закрыл все три лица Пресвятой Троицы, самого Христа обратив в начетчика, который принес на землю только кучу текстов... Иногда поднимается вопрос или слышатся намеки на какую-то реформу Церкви: нет для этого более надежного и краткого средства, как закрыть в академиях и семинариях две кафедры — догматического богословия и канонического права, а книги по наукам этим поместить в список “неразрешенных к чтению”. Это значит сразу закрыть для публики сотни Скабичевских и открыть ей Пушкина, в отношении к христианству — это значит начать вдыхать “душу живую” в красную глину, из которой слеплен, ожил было и снова умер — “во грехах” — Адам Христианства» \*...

Это презрение к догме есть отвращение человека ко всякой мертвечине. Розанов хотел бы все христианство, все богословие продать за живую, радостную, кипучую, плотскую жизнь. Его богом был пол — и во имя освобождения пола от смерти, во имя бессмертия не в вечности, а на земле, во имя возврата древней угасшей библейской жизни он готов был отдать всю свою душу... Он нарочно молчал о смерти, он проклинал ее всеми силами языческой своей души, он рад был бы вычеркнуть из человеческого лексикона это ужасное, непонятное, грозное слово, которое так возлюбило христианство, из которого извлекло свою жизнь и свою вечную, ненавистную ему скорбь... Он гнал от себя слезы и грусть и трагедию, жил только радостью и презирал страдание \*\*, и думал, что этим победил жизнь и победил христианство!..

Но вот в своей книге «Уединенное», искренно-обнаженной книге, книге души, по ошибке изданной и уже втопанной в грязь толпой и газетчиками, Розанов как бы кается в своем безумном дерзании. И какая скорбь, какая злоецающая искалеченность в этом его покаянии, какое бессилие перед смертью, какая растерянность перед вечностью, какая боль от внезапно присосавшейся тоски!.. Только теперь он понял, что, игнорируя смерть и

---

\* «Об а-догматизме христианства».

\*\* В одном письме ко мне он пишет: «Вот вы пишете о страдании, о смерти, а я прожил 56 лет и написал 11 книг, и только теперь завизжал от этих вопросов»...

превознося плоть, он тем самым обрекал себя на близкую и беспощадную смерть, что его писания, его половой пантеизм, его критика христианства, — в сущности, ничто перед смертью, которая одна страшна, одна непобедима, одна ужасна. «Я говорил о браке, браке, браке, — признается Розанов, — а ко мне все шла смерть, смерть, смерть» \*...

В этом признании — все его поражение и вся суть его: именно потому, что он игнорировал ее, смерть пришла к нему и заглянула в глаза, именно потому, что он отвернулся от христианства — религии смерти — последняя и ужаснула его...

В «Уединенном» у Розанова еще хватает духа заигрывать со смертью, дразнить ее всяческими шутками и прибаутками, но это уже не то, что было прежде; по временам пронзительная горечь прорывается в его словах — и куда-то уходит все его «дерзание», вся его торжествующая плотскость, весь его языческий дух — и тогда перед нами живой, страдающий человек, со всей своей обнаженностью, со всей беспомощностью и тоской, человек, прошедший мимо христианства, забывший, что есть смерть, а теперь вдруг понявший, почувствовавший, что смерть одна-то и есть, что никакая радость не в состоянии ее уничтожить, что смерть — альфа и омега жизни, таинственный призыв, тайна тайн, что смерть есть единственная реальность, которую, когда почувствуешь, теряешь всякий ум, всякую способность философствования, всякую силу, всякую уверенность в себе...

И вот Розанов, прежде так проникновенно и гениально говоривший о браке, вдруг резко переменяет тему своих размышлений и говорит уже о другом, совсем о другом, мимо чего проходил прежде с гордостью и с презрением... И странно слышать об этом именно от Розанова, слишком уж это не в розановском духе:

«Могила... знаете ли вы, что смысл ее победит целую цивилизацию...

Т. е. вот равнина... поле... ничего нет, никого нет... И этот горбик земли, под которым зарыт человек. И эти два слова: “зарыт человек”, “человек умер”, своим потрясающим смыслом, своим великим смыслом, стоющим... преодолевают всю планету, и важнее “Иловайского с Атиллами”.

Те все топтались... Но “человек умер”, и мы даже не знаем, кто — это до того ужасно, слезно, отчаянно, ...что вся цивилизация в уме точно перевертывается, и мы не хотим “Атиллы и Иловайского”, а только сестра на горбике (†) и выть на нем униженно, собакою...

О, вот где *гордость* проходит.

Проклятое свойство.

Недаром я всегда так ненавидел тебя» ...

---

\* «Уединенное», с. 261.

Таким зловецким дыханием смерти проникнута почти вся эта странная и *единственная* по искренности книга... И в ней именно начало трагедии Розанова. Все русские мыслители, как мы видели, полны этого трагического духа, этого вечного недоумения перед смертью, из которой рождается и их философия, и их религия... Только один Розанов был радостен и «бодр», только для него одного смерти как бы не существовало... Но смерть и русская душа неразлучны и нераздельны, но кто понимает эту чудесную легенду русской мировой скорби, кто чувствует и слышит дыхание русской земли и тоску ее — тоску-вдохновительницу — тот не может пройти мимо смерти, тот не может не понять, что именно за то мы и возлюбили и Христа, и религию, что вечно преследует нас призрак смерти, что некуда от нее скрыться, что вечно мучает жажда бессмертия, мучительная жажда понять, что такое смерть, к чему она и зачем тогда жизнь?

Понял это и Розанов. И язычник вдруг стал подлинным христианином. И новая мысль, никогда не приходившая в голову, вдруг сверкнула в мозгу зловецким холодным огнем нового трагического сознания:

«20 лет, как журчащий свежий ручеек, я бежал около гроба.

И еще раздражался: отчего вокруг меня не весело, не цветут цветы. И так поздно узнать все»...

Но эта мысль вовсе не поздняя. Я глубоко верю, что это — признак выхода Розанова на новый путь, путь возврата к христианству, путь к новым глубинам, которые он нам открывает.





## Е. ПОСЕЛЯНИН

### Религиозная эволюция г. Розанова

(по поводу книги «Уединенное»)

Странный писатель, странная судьба.

И труднее всего — объять его вполне, проследить логическую нить.

Ненавидеть то, что любит, и любить то, что ненавидит, — проклинать, и сейчас же то же самое благословлять, — трепетать от ненависти и чрез день перед тем же сладко плакать и умиленно вздыхать...

Г. Розанова иные считают заклятым врагом церкви<sup>1</sup>. А между тем это глубоко религиозная душа. И вникнуть в суть одного из крупнейших раздвоений этой раздвоенной, растроенной, расчлененной души очень любопытно.

Г. Розанов в личной своей жизни был среди многих других людей глубоко, болезненно ранен одним из церковных процессов. И то, что его мучило, довело его до озлобления.

Вспомните захватывающую сцену из «Le Divorce» Bourget<sup>2</sup>, где об стену «non possumus» \* католического абсолютизма бьет ся оскорбленная, смятая неудачным браком душа, которой развод вернул бы жизнь, счастье и солнце — и вы поймете...

Убившись, так сказать, об один из выступов церкви, Розанову, по-видимому, показалось, что он ненавидит всю церковь.

Но ведь то люди и законы, писанные людьми же. Ко всей же церкви у него, в сущности, было странное, сложное чувство: любовь, мучительная для самого и мучающая предмет любви.

Да и в том, что он в церкви, по-видимому, ненавидел, он был непоследователен.

Розанов с виду — враг монашества. Ну, хорошо. Из этого следует, что особо яркие воплощения монашества должны быть ему

\* запрет (*лат.*) — формула папского отказа на требование светской власти.

особенно ненавистны. Но это «следует» для всякого другого писателя, кроме Розанова.

А вот Розанов из Сарова<sup>3</sup>, от раки старца Серафима, пишет строки захватывающие, волнующие, напряженного религиозного чувства: вся душа его растекается там в нежном умилении. Он же чертит поэтический, одухотворенный образ оптинского старца Амвросия<sup>4</sup>, которого он сам живым не видел, а лишь слышал о нем от близкого ему лица.

Как объяснить?

Он не может стать на точку зрения одного из предков героя «Медного всадника»:

Андрей, по прозвищу Езерский,  
Родил Ивана да Илью  
И в лавре схимился Печерской<sup>5</sup>.

Монашеский клубок представляется ему издали мечом, занесенным над семьей.

А вот там, на месте, где все семьяне, — и старцы, и молодые, и те, чье сердце впервые расширяется любовью — ищут себе поддержки: он чувствует там не меч, а ласку, направленную на всю широту жизни, греющую и эту семью, и падает, и благоговет, и целует народные слезы (тоже непостижимый и даже физически невероятный, чисто розановский прием), проливаемые у этой раки Серафима Саровского...

И если б эти отзвуки сердца его были редки! Но они так часты, что самые верующие, но наблюдательные люди, даже помня все буйственные слова г. Розанова, должны были, думая о нем, мысленно спрашивать его библейским вопросом: «Наш ли еси ты или от супостат наших?»

\* \* \*

Ему казалось порой, что в какой-то неистовой радости он рвет белоснежную ризу церкви. Но через несколько минут он мог бессознательно и жадно целовать эту ризу... И против этой привязанности к церкви, соединенной с чувством ополчения против нее, он сам был бессилен.

Заслуживает особого внимания та резкость, раздраженность, с которой г. Розанов обрушивается на лиц, легкомысленно и поверхностно решающих религиозные вопросы.

От этих лиц Розанов отличается тем, что все, что он сам говорит о религии, все это у него выстрадано, ему досталось дорого и болезненно.



Теперь же, когда религия в сравнительной «моде», о ней толкуют многие, совершенно лишенные религиозных переживаний, ею не страдавшие, не смотревшие в небо то с благословениями, то с проклятиями, не искавшие Бога со скрежетом зубовным, — говорят о ней округленные фразы, что-то мурлыкают, бесстрастно и самодовольно, напоминая пшютов, усевшихся в «баре» на высоких стульчиках и размахивающих ножками в бланжевых чулочках.

И подобные люди или самоуверенные, с кондачка, отрицатели страшно раздражают г. Розанова.

В этом у него так часто встречаемое в общежитии чувство: мы считаем себя вправе бранить все, чем мы в душе дорожим; судим это, рядим... Но попробуй посторонний побранить то же... О, как мы тогда огрызнемся!

И как ополчился Розанов и на Луначарского, и на Л. Андреева за его «Иуду»<sup>6</sup>, и на других.

\* \* \*

Отношение Розанова к церкви прекрасно выражалось названием вышедшей лет семь назад его книги «Около церковных стен».

Это человек, неуверенно просовывающий голову в двери церкви, готовый слиться душой с охваченною там одним чувством толпой, но удерживаемый чем-то извне.

А в той книге были порывы чистого, своеобразно-наивного религиозного чувства...

И вот теперь новая книга — «Уединенное».

Тут уж Розанов не «около церковных стен», а входит в них. И как все, в них входящие, находит успокоение измученной душе своей.

Эта книга — ворох мыслей, приходящих в голову в часы уединения, в часы ночной работы, большей частью мелькающих тенью и исчезающих, а им остановленных и записанных.

Мы не будем останавливаться на разительных блестящих мыслях, на страшных по откровенности характеристиках, мы выхватим только кое-что, определяющее религиозное состояние г. Розанова.

Что скажете вы о такой фразе: «Одному мне лучше, потому что, когда один — я с Богом».

Розанов дошел теперь до этого интимно-трепетного чувства, без которого нет религии: «Боже, Боже, зачем Ты забыл меня? Разве Ты не знаешь, что всякий раз, как Ты забываешь меня, я теряюсь?»

А это изумительное, простое и ясное объяснение о церкви: «Тепло только тут! Отчего же тут тепло, когда везде холодно? Хороним тут мамашу, братьев, похоронят меня; будут тут же жениться дети; все тут. Все важное. И вот люди надышали тепла».

Уже из сказанного видно, как хорошо — до экстаза — чувствует себя Розанов в церкви; лучше, чем тогда, когда ополчался на церковь.

И как он скрежещет на себя самого той поры: «Всю жизнь посвятить на разрушение того, что одно в мире люблю: была ли у кого печальней судьба».

Не хочется делать много выписок из этой книги, которую можно назвать листками ненависти и любви, чтобы не лишать читателя свежести впечатления.

Но как бы хотелось, чтобы побольше молодежи прочло вот эти, смоченные слезами глубокой жалости, строки:

«Сколько у нас репутаций, если не литературных (литературной — ни одной), то журнальных, обмоченных в юношеской крови. О, если бы юноши когда-нибудь могли поверить, что люди, никогда их не толкавшие в это кровавое дело (террор), любят и уважают их, — бесценную вечную их душу, их теплое и милое “будущее” (целый мир), — больше, чем эти их “наушники”, которым они доверились. Но никогда они этому не поверят! Они думают, что одиноки в мире, покинуты, и что одни остались у них “родные”, это кто им шепчет: “Идите впереди нас, мы уже стары и дрянцо, а вы героичны и благородны”. Никогда этого шепота дьявола не было разобрано...»

\* \* \*

Кроме значения решительного в чувстве и мышлении г. Розанова переворота, обрисованного со свойственной ему своеобразной музыкой души, его новая книга имеет еще другое значение.

Это прижизненный памятник, воздвигнутый потрясенною благородностью, быть может, спасенною мужскою душою — чистой, доброй и ясной женщине, давшей ему счастье и невидимо, заботливой и мягкой рукой, ведшей его туда, куда он теперь дошел.

В те дни, когда он говорил те, «безумные глаголы», которые теперь проклинаят, одна сильная духом женщина влекла его в другую сторону, где все — примирение и спокойное ожидание великой разгадки.

И этой душе-благодетельнице и спет теперь прекрасный, трогательный гимн.

О, какая это одухотворенная, цельная, обожающая любовь!

«Я 20 лет шел за нею: и все, что хорошего я делал, или было во мне хорошего за это время — от нее; а что дурное во мне — от меня самого.

Но я был упрям. Только сердце мое всегда плакало, когда я уклонялся от нее».

Не в том ли верховное счастье, чтобы видеть все новые и новые высокие стороны в любимом человеке? И какая прелестная наивность мысли и чувства:

«Я не помню дня, когда бы не заметил с ней чего-нибудь глубоко поэтического и, видя что или услыша (ухом во время занятий) — внутренне навернется слеза восторга или умиления. И вот отчего я счастлив. И даже от этого хорошо пишу (кажется)».

Да, скажем тут себе, любимая женщина, *когда она хороша*, какие творит чудеса!

Теперь, когда литература огажена напущенными на нас типами беснующихся менад, когда пишут женщин не по русской действительности, а по спросу на живое сальце; теперь, когда в густой тени стоят неизменными среди развала сохранившиеся наши женщины, держащие на своих руках мир русской семьи: именно теперь приспел час, чтобы к возвышенным типам, выведенным былыми русскими писателями, присоединились те же замороженные в нравственной чистоте своей и целостности, но современные типы. Чтоб искренний взволнованный голос человека, испытывавшего над всею жизнью своею благоухание и свежесть непорочной женской души, сказал в лицо этой женщине горячее, громкое и далеко слышное «спасибо» всем русским женщинам.

Кто из нас не обязан им? Кто из нас не хотел бы сказать тех же о них искренних, простых и благородных слов?

И — признательность человеку, эти слова нашедшему!

Земной поклон вам, русские страдалицы, живые и упокоившиеся...

Как дика и невыносима была бы без вас русская жизнь!

---

Книга «Уединенное» представляет собой вполне определенную, яркую ступень в религиозной эволюции г. Розанова.

И люди, внимательно и вдумчиво следившие за Розановым его прежней поры, различая даже в брани ту любовь, какой не слышали более грубые уши, знают, что он сдержит свое слово.

«Пусть Бог продлит мне 3–4–5 лет (и “ей”): зажгу я мою “соборованную свечу” и уже не выпущу ее до могилы».





## П. П. ПЕРЦОВ

### Между старым и новым

Все мало-помалу становится на свою полочку...

Долгие годы не видно было никакого внимания *со стороны* — из публики, от критики, от молодежи — к новым, в самом деле новым, а не перефразирующим только новыми погудками старое фактам умственной жизни России, к новым фазам ее теоретической мысли. Долгие годы мы как будто имели в русской литературе и «критике» только Михайловского и Скабичевского<sup>1</sup>, Скабичевского и Михайловского, и нескольких *dii minores* \* ортодоксального «письма».

В стороне что-то копошилось, кто-то говорил какие-то неясные и неподобающие и, главное, никому не нужные и никем не слышимые речи. Были когда-то славянофилы, но они сохранились почти только в предании. Были Аполлон Григорьев, Страхов — но их почти никто не читал. Потом Константин Леонтьев — но тот был уже окончательно неизвестен. Затем появился этот «чудак», Владимир Соловьев. Затем В. В. Розанов и некоторые новые критики. Все это покрывала густая тень литературного невнимания и равнодушия. На солнце блистали Михайловские и Скабичевские...

Так шли десятилетия. Владимир Соловьев успел умереть, при жизни так и не дождавшись сколько-нибудь широкого внимания. Его ценили «специалисты» — преимущественно за необъятную «эрудицию» и бесспорные качества «профессора». Любители стихов любили его чудесные стихи. Но «публика» вспоминала о нем только тогда, когда «этот чудак» предлагал союз России с папой<sup>2</sup> или возвещал пришествие Антихриста<sup>3</sup>. Вполне возможно, что именно это долготелнее духовное пустынножителство, «среди Скабичевских», и толкало иногда философа на излишней экстравагантности мысли и точно какое-то насильственное

\* малые божества (лат.).

вынуждение к себе общественного внимания. По крайней мере, я так объясняю себе все эти его внезапные, от времени до времени, «открытия» — то «врага с Востока»<sup>4</sup>, то сомнительных друзей с Запада, то опасности превращения России в песчаную пустыню, то в китайскую провинцию. Во всем этом было много какой-то судороги, какого-то неестественного напряжения мысли и воли, — точно желание схватить судьбу за горло. «Никто меня не слушает — не слушают даже явно нужного и значительного. Ну так вот вам необыкновенное» — что вы так любите: пророчества, предсказания, гороскоп судеб ваших и всей России. Нас засыплет песком «враг с Востока»; назначение России — вернуть папе его власть; желтый дракон поднимается над Европой; послезавтра придет Антихрист.

Но не слушали, не слушали даже несмотря на весь пафос и все грозные перспективы предсказаний. Или — еще хуже — слушали именно как курьез: «Вообразите, он пишет об Антихристе!» Серьезно не слушал никто — даже то серьезное, что он говорил так много среди «выдуманного» и притянутого за волосы. Просто не было внимания к самим темам соловьевского мышления, его интересам и влечениям. Было важно и казалось значительным, какое очередное письмо «о русской жизни» поместит в «Русской мысли» Шелгунов<sup>5</sup> и какую еще новую сатиру на «помпадуров» напишет бывший вице-помпадур Салтыков. Но католицизм и православие, Рим и Россия, желтый Восток и бледнолицый Запад — великие исторические и религиозные оси, на которых движется жизнь человечества, — все это было временно забыто и заслонено теми текущими «мелочами жизни». Ибо, как это ни удивительно, но люди не всегда расположены отдавать свою мысль и внимание самому важному и «окончательному», а сплошь и рядом весьма непрочь «поиграть в дурачки» и в философии, и в литературе.

Леонтьев и Соловьев не дожили до своего дня. Почтенный В. В. Розанов мог бы, кажется, отпраздновать свое 25-летие (приходящееся чуть ли не на этот, 1911 год — avis\* его почитателям!), но только теперь, по-видимому, забрезжил для него утренний свет общего «признания». «Мудреными путями Бог ведет тебя» — русская философия!

Уже вскоре после смерти Владимира Соловьева почувствовалась перемена к нему отношения. Но в последние 5–6 лет это отношение меняется так быстро и круто, что едва ли не начинает впадать в противоположную крайность. Теперь уже не ред-

---

\* совет (лат.).

кость прочесть, будто Соловьевым «основана» русская философия и даже роль его в ее истории якобы вполне аналогична великой роли Пушкина в русской поэзии<sup>6</sup>. Панегиристов при этом нисколько не смущает довольно грустный факт неизвестного отсутствия этой самой «основанной» русской философии и пребыванием ее все в той же зачаточной, «до-пушкинской» фазе (долею подражательности, долею разрозненных любительских попыток), в какой она обреталась и до Соловьева. Ни оригинальности уже определившегося типа, ни яркости зрелого творчества (что все в литературе было дано Пушкиным) русское мышление пока не представляет. Этот факт слишком очевиден... Но лук, некогда несправедливо погнутый в одну сторону, ныне должен быть выгнут в другую...

Другой мыслитель, современник и столько раз горячий полемист Соловьева, которого будущие исследователи будут, вероятно, постоянно противопоставлять ему, — В. В. Розанов до сих пор еще остается в сравнительной тени. В то время, когда о Соловьеве составила уже целая маленькая литература — статьи, брошюры и даже целые книги, — упоминания о Розанове до сих пор были сравнительно отрывочны и носили случайный характер. Это именно скорее упоминание, нежели подробный разбор, не говоря уже об апологии и панегирике. Этот факт, как мне кажется, лучше всего показывает, насколько мышление Розанова более самостоятельно и, как всякая действительная «новизна», более непривычно для нас, чем общий ход мысли Соловьева, несмотря на все его отдельные парадоксальные выходки. Соловьевский академизм и общий «прибранный» характер его писаний перебрасывают своего рода золотой мост от классического «образа мыслей» в философии к открываемым новым перспективам. Все совершается тихо и постепенно, без разрыва с традицией, а главное, *психологически* в тех же привычных тонах. Недаром Влад. Соловьев умер почетным академиком<sup>7</sup>, тогда как его философическому «антитезису», конечно, никогда не заседать в курульных креслах: слишком крутит и вихрем завивается в его «эмбрионах»<sup>8</sup> хаотическое начало — то самое, из которого рождается все новое.

Мне хочется отметить своего рода первую ласточку розановской литературы — литературу, уже не им, а о нем написанной. Уверен, что из-за моря будущего летит к нам целая их стая, как прилетела уже соловьевская, — но все-таки сейчас я встречаюсь с ней в первый раз. Передо мною небольшая книжка некоего Г. Б. Грифцова «Три мыслителя». Она характерна для совершающейся перемены вкусов и симпатий. Если бы такая книжка вы-

шла лет двадцать или пятнадцать назад, — эти три мыслителя были бы, конечно, Михайловский, Добролюбов и Шелгунов (или Скабичевский). Я и теперь ожидал встретить которого-нибудь из них, или же, по крайней мере (вспоминая модернистские увлечения), неизбежных ныне западных «властителей дум» — Ницше, Ибсена и какого-нибудь третьего на подмогу. Но, к удивлению, мыслители оказались все трое — русские: Розанов, Мережковский и Л. Шестов. Что же? Может быть, и Мережковский — мыслитель... И уж бесспорно мыслитель — Лев Шестов, но о нем другой Лев — Толстой — так убийственно сказал, что есть мыслители для себя и есть мыслители для публики. «Вот, например, Лев Шестов — мыслитель для публики»<sup>9</sup>...

Самый первый и самый большой очерк посвящен В. В. Розанову. Автор книги, несомненно, очень молод — это доказывает как его «свежая» заинтересованность именно свежим в русской мысли, так и его бессознательно-догматическое западничество. Для русского человека, по-видимому, в молодости все еще полагается быть западником — не в смысле каких-либо политических влечений, а в смысле приверженности к тому или другому западному типу мысли (лучшее доказательство, между прочим, отсутствия «основанного», самостоятельного русского типа). Это повелось, как известно, с очень давних пор — со времен русских шеллингианцев и гегелианцев, впервые перенесших на каменистую отечественную почву семена германского идеализма. Идеалистов 30-х и 40-х годов сменили материалисты 60-х с их евангелием Молашотта и Бюхнера, тех — социологи 70-х со Спенсером и Боклем под мышкой, этих — «марксята» 90-х с библией «самого» «иже во пророцех» Карла Маркса, и, наконец, в наши дни видим совсем «немецких» «гносеологов», в том же возрасте 18–28 лет<sup>10</sup>, с Риккертом, Когеном и Виндельбандом<sup>11</sup> в руках. Та же почти картина, описанная еще Герценом для гегелианских кружков Москвы 30-х годов; теперь вы можете ее наблюдать в той же Москве на 80 лет позднее, и только с заменой былой метафизики самой «современной» гносеологией и «критицизмом». Ну, конечно, все это гораздо тусклее в своем энтузиазме и своем веровании: книги (тоже немецкие книги) уже не зачитываются «до дыр, до падения листов, в несколько дней», как при Герцене, а мирно перелистываются, и самые «теоретические» споры ведутся не в прежнем эпическом образе героических битв, а в мирных тонах культурных научных собеседований, где поклонники марбургского философа, позволяя себе принципиальное разногласие с последователями философа фрейбургского, воздают им дань должного уважения. И то сказать:



80 лет за плечами! Восемьдесят лет странствования по западным пустыням — за путеводным столбом, имевшим вид огненный при Гегеле, но постепенно заволакивавшимся дымом «критического» разочарования и ныне уныло-облачным. Но усталые путники все еще влекутся за ним, в чайнии живой воды... Найдется ли она в чужой пустыне, почва которой сама засохла от безводия вот уже тоже 80 лет?

Молодой «критик» В. В. Розанова, по-видимому, также полуницшеанец, полу-риккертинец, — и русский философ понятен ему лишь постольку, поскольку он может быть транспонирован на западный ключ. На Западе был «антихрист» Ницше; на Западе вообще была со старых времен демоническая, богоборческая вражда с христианством и отвержение его, как и всякой религиозности, во имя гипертрофированного индивидуализма — во имя моего «я», которое пишется с большой буквы. Нельзя ли и русского мыслителя, выступающего с жесткой критикой аскетических идеалов и аскетической культуры, «подвести под Ницше» — понять его внутреннюю борьбу и разрыв с «традицией» как богоборческий и сверхчеловеческий «бунт» и только как бунт? Западные очки дают неизбежную аберрацию в эту сторону, а наличность некоторого «бунта», некоего «восстания мысли» в сочинениях такого «бытовика», такого благостного и умирленного философа выступает и ощущается особенно остро.

И все-таки, мне кажется, это коренная ошибка — не различать горизонтов истории. Запад приучил нас к «сверхчеловечеству» задолго до Ницше. Как грозные вершины европейских горных хребтов, возвышаются среди европейской литературы великие образы «героев»-мятежников, «противников неба» — всех этих Фаустов и Манфредов. Но у нас в бесконечной русской равнине, среди «беспорывной русской природы» (Гоголь), разве не сменились они совсем иными, «смирными» типами? Разве даже сам «мятежный» Лермонтов — Байрон «с русскою душой»<sup>12</sup> — не колебался между Печориным и Максимом Максимычем, и разве последний из наших великих, Лев Толстой, не создал решительного триумфа второму из них (типа Каратаева и пр.)? Нет, русская печь печет иначе, чем западный камин. Этого — хочется нам или не хочется — не переделаешь.

И русский бунт не может походить на западный. Недаром даже бунтовщики Достоевского, все эти Иваны Карамазовы и Раскольниковы, так подозрительно много говорят о чужом горе и несчастиях, о страданиях детей, о конкретных скорбях человечества. Манфреды и Фаусты об этом не заботились. «Падающего толкни» — вот «ницшеанский» тезис, чужая личность су-

ществуем лишь как материал для моего «я» — вот учение М. Штирнера<sup>13</sup>.

По-русски выходит иначе. Вот, после долгого странствования по сложному пути розановского мышления, мы приходим вместе с его критиком к «логическому венцу» — этим бурно-пламенным восклицаниям: «Нет, дайте пощады! Хочу... роц, лугов, цветов, музыки. Буду яростен и скажу прямо, что... нужны языческие священные роци и, наконец, девушки, хороводом взявшиеся за руки...» Так. «Это — бунт», как шепчет Алеша Карамазов. Но для кого же, во чье имя поднялись эти «мятежные» возгласы? Может быть, это бунтует только одно «сверхчеловеческое я» философа, начертанное с большой буквы? Нет: он требует этих роц, и музыки, и лугов для... (даже не придет в голову!) — для «пильщика, который, выгнув спину, монотонно шесть дней слышит лязг стали и дерева...»<sup>14</sup> Вот вам Манфред в русской транспонировке!

Знаете, мне кажется, с этим нужно примириться раз навсегда, — с этим фатальным демократизмом и «гуманизмом» русской души, которые выступают как ее скрытая природа всякий раз, когда эта душа создает чистое искусство или начинает «философствовать». И уже с точки зрения этого «первичного» факта следует обсуждать ценность и характер ее созданий. Тогда и самый «бунт» этой души приобретет, может быть, новое значение — в нем слышатся, может быть, неожиданные ноты. Западное богоборчество говорило так давно и так долго — и мы знаем все его речи. Если бы русские «бунтовщики» захотели повторять их, — это было бы только скучно. Но они в самом деле благостны и умиленны, эти бунтовщики, — они в самом деле «смирненны», — эти восставшие, если не речами, то каким-то последним сердечным смирением, смирением даже вот перед «пильщиком». Они *религиозны* в своем миропонимании, эти «бунтовщики», — вот в чем окончательный ответ и их решительное отличие от западных «сверхчеловеков». Что делать? — Россия все-таки страна «мистических реалистов», каковы все наши великие писатели, а совсем не страна риккертского «номинализма» и гносеологического человекобожия. Я не знаю, как с этим справятся в Москве, в кружках, почитающих марбургского философа предпочтительно перед фрейбургским, или наоборот. Но как «эмпирический факт» это так, — и то новое, что дает нам наша самостоятельная философская мысль, подтверждает все то же. Остается принять и понять этот «русский оттенок», не застревая между старым и новым.





## П. П. ПЕРЦОВ

### Рец.: В. Розанов, «Опавшие листья», СПб., 1913

Вот перед нами книжка, которая многим покажется странной, но которую «друзья Розанова» (а их много) тотчас же оценят, как *его* книгу.

Своеобразнейший из «русских» писателей должен был рано или поздно найти эту «свою» форму. Ряд отдельных заметок, отрывков, записей, точно на блокноте или отрывном календаре — записей почти ежедневных обо всем, что «подумалось», было замечено, услышано, припомнилось... И прежде всего — заметок о *своих*, о «ближних», понятых не в новозаветном, а в том извечном, ветхозаветном смысле, которому одному всегда верен Розанов. Здесь мы с ним вместе «дома» — там, куда никогда не пускали нас до сей поры «писатели», да нам и в голову не приходило «попроситься». Но для Розанова нет этой самой грани, непреступно делящей «жизнь» и «литературу». Сам блестящий писатель, он недаром роняет афоризм: «писательство есть несчастье» (с. 35). Литература не существует для него как «профессия», как «служба», куда прикажете? в виц-мундире и с застегнутой на четыре пуговицы душой. И вот почему он мог сделать то, на что не решился бы ни один «профессиональный» писатель: он прилагает к этой книжке ряд семейных портретов и говорит-рассказывает интимное своей жизни, биографии, своей души. Удивительная, странно-единственная книга, как странен единственный в своем роде ее автор.

Всякая цитата из этой книги, из интимных ее страниц была бы ошибкой: так меняется тон их, будучи выхвачен из живой ткани целого. Книга Розанова есть именно *живая* книга, осколок пережитой и переживаемой жизни, претворившийся в слова и сорвавшийся в литературу...

Кто знает книжку «Уединенное», выпущенную им в прошлом году, представляет себе и эту книгу, которая является как бы вторым ее томом. Но в отличие от «Уединенного», эта книга менее боевая, менее суровая, менее проповедническая и еще более замкнутая в себе и лирическая. Порхает порою насмешка, вспоминаются други и недруги, сердит политика — совершенно чуждая для автора область (и страницы о ней самые слабые), мелькают философские «размышления»... Но это все на периферии; внимание скользит и быстро обращается снова «вовнутрь», «к себе домой» — туда, где ждут любимые облики, «свой» уют, любимые досуги «за нумизматикой» и немногие, неведомые миру друзья. Кому чужд Розанов, — будет чужда и эта книга; но для «своего» она будет «своей».

Самое интересное «общего» характера — это признание: «От роду я никогда не любил читать Евангелия. Не влекло... Напротив, Ветхим Заветом я не мог насытиться» (с. 255). Тоже странно-единственное признание... И в свете его вдруг раскрывается весь писатель и весь человек. Да, это древний израильтянин перед нами, чуждый всякой общественной жизни, всему «римскому» и идущему от Рима, но счастливый в шатре своем и под смоковницей своею, где он мыслит, богословствует и изредка записывает и кидает нам эти листки «на обороте транспаранта» (с. 435).





## П. П. ПЕРЦОВ

### «Опавшие листья» \*

Вот он высыпал перед нами «последний» (?) свой короб этих литературных «летучек», листков, афоризмов...

Листья пожелтелые по ветру летят...

Нынешняя книжка становится, как номер третий, в ряд с «Уединенным» и первым томом «Опавших листьев». Это все «интимная», более нежели домашняя, более нежели откровенная, совсем и всецело «розановская» литература, — в своем типе, несомненно, единственная в нашей «словесности» (да и в какой литературе есть еще такая?).

Если хотите, это «литературный элемент» *in ipso* \*\*, чистая стихия «слова», возведенная в свой абсолюте. *Sic volo — sic scribo* \*\*\*... И недаром автор книги опять говорит о себе, с тем же «нестеснением»:

«У меня никакого нет стеснения в литературе, потому что литературы есть просто мои штаны. Что есть “еще литературы”, и вообще что она объективно существует, — до этого мне никакого дела».

Эти книги — осуществление протагоровского: «Человек есть мера всех вещей»<sup>1</sup>... Осуществление именно в протагоровском смысле — «достоверности частных впечатлений». Так как речь идет о философе, то мы можем позволить себе это «метафизическое» определение. Сократовская стихия — стихия «достоверности общего» — вот что совершенно чуждо Розанову.

И странным контрастом с этой верой в убегающее «частное» стоит розановская преданность началу государственности. Госу-

---

\* В. Розанов, «Опавшие листья. Короб второй и последний», 1915 г., 516 с. Ц. 2 руб.

\*\* сам по себе, в чистом виде (*лат.*).

\*\*\* как хочу, так пишу (*лат.*).

дарственный принцип он всегда готов защищать против личного, и этим «консерватизмом» объясняется половина его «пыхтящей» ненависти ко всему, где ему мерцает огонек «левизны»... Клейнмихель<sup>2</sup>, которого он вдруг собрался защищать в этой книжке, пожалуй, в самом деле ему ближе Герцена.

Из литературных отголосков в книге всего интереснее афоризмы о Гоголе. О Гоголе у Розанова всегда выходит как-то «необыкновенно», и тут есть какое-то тайное «сродство душ»<sup>3</sup>. Без гоголевской «абсолютности» Розанов дышит, однако, по-видимому, тем же воздухом «небытия».





## «СУД» НАД РОЗАНЫМ

### Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества

Доклад Совета и прения по вопросу об отношении общества к деятельности В. В. Розанова. Стенографический отчет

**Председатель**<sup>1</sup>. Слово принадлежит Д. В. Философову.

**Д. В. Философов.** Как видно из документов, оглашенных председателем Общества, Совет предложил В. В. Розанову добровольно покинуть Общество, на что Розанов ответил отказом, находя, что исключение по § 26 представляет «свой интерес».

Затем, из постановления Совета от 16 ноября видно, что Совет просил Розанова покинуть Общество по двум мотивам. Во-первых, потому, что последние выступления его в печати несовместимы с порядочностью, и, во-вторых, потому, что Совет считает невозможной совместной работу с ним в одном и том же общественном деле.

Позвольте мне сделать несколько дополнений в развитии этой краткой формулы.

Прежде всего, предлагая Розанову покинуть Общество, а затем, предлагая Обществу формально исключить из числа членов, Совет отнюдь не имел в виду суда над личностью Розанова. Совет находит, что не дело Общества судить своих сочленов за их частные поступки. Этой точки зрения члены Совета придерживаются со дня своего вступления в ряды руководителей Общества.

21 ноября 1908 года в московских газетах появилось письмо, подписанное членами Совета Московского Религиозно-философского общества. В письме этом московский Совет доводил до «общего сведения, что он предложил такому-то члену Общества (в письме это лицо было названо) выйти из состава Общества за ряд действий, явно предосудительного характера»<sup>2</sup>.



Московский Совет этим не ограничился. Он обратился к Совету петербургскому с просьбой последовать его примеру и публично заявить, что означенное лицо удалено и из числа членов петербургского Общества.

На эту просьбу петербургский Совет ответил самым решительным отказом. Брать на себя роль судей, отпускать или не отпускать грехов своих сочленов Совету казалось прямо чудовищным. А потому в списках действительных членов петербургского Общества означенное лицо числится до сих пор.

Поставив на повестку предложение об исключении В. В. Розанова, Совет отнюдь не изменил своим прежним взглядам, и находит, что суд над личностью, над ее частной жизнью, для таких организаций, как Религиозно-философское общество — есть вещь совершенно недопустимая. Но речь идет не о Василии Васильевиче Розанове, а об известном публицисте и замечательном писателе Розанове, о его многочисленных, совершенно публичных выступлениях, причем особенно существенными являются в данном случае не столько даже общественные идеи г-на Розанова, сколько те приемы общественной борьбы, к которым он прибегает.

Среди некоторых членов Общества существует взгляд, что Религиозно-философское общество, поскольку оно занимается чисто теоретической разработкой религиозных и философских вопросов, — должно отличаться абсолютной терпимостью, придерживаться совершенной свободы мнений.

Теоретически это положение правильно, но, как все отвлеченные принципы, оно не легко воплощается в жизнь. Да, наше Общество — религиозно-философское, а потому оно и теоретическое, занимающееся обменом мнений, но оно есть вместе с тем и *общество*, т. е. известная общественная организация, имеющая свое *лицо*. И как бы ни отстаивали полную терпимость, все равно, до конца ее провести нельзя, не жертвуя *лицом* Общества, его особенностью, его отличием от других аналогичных организаций. Существуют границы терпимости, переступив которые, Общество теряет лицо, становится случайным сборищем людей, а сама терпимость переходит в цинизм, в полное равнодушие к слову; свобода мнений переходит в блудсловие, в чем обвинял наше Общество еще так недавно один из видных публицистов, и против чего Совет энергично восстал.

Редактор газеты «Колокол» г-н Скворцов очень резко обрушился на нас (19 января 1914, «Колокол») за нетерпимость<sup>3</sup>. Когда такие упреки исходят от лиц, подобных г-ну Скворцову, они значительно теряют свою остроту, но все-таки послушаем, в

чем же, по мнению г-на Скворцова, состоят главные задачи Общества, его работа.

«В заседаниях, прениях и суждениях, — отвечает г-н Скворцов. — Религия и философия требуют свободы, — прибавляет он — а гг. Карташевы за такую свободу подвергают членов остракизму».

Устами г-на Скворцова да мед пить. Действительно, религия и философия требуют свободы. Но такой свободы в России нет. Нет именно потому, что торжествует своеобразная терпимость г-д Скворцовых. Закрывать на это глаза — значит быть или лицемером, или недалёковидным. Именно потому, что в России нет ни свободы мысли, ни свободы совести, ни свободы общественной жизни, безразличная ко всему терпимость есть величайший цинизм. И если мы желаем освободить Общество от одного из самых ярких представителей темных и злых общественных сил, представителей насилия, нетерпимости, кощунственного злоупотребления религиозными ценностями, — не потому, что мы уважаем слово, знаем, что слово имеет свою цену, что оно не звук пустой, и чем оно талантливее, тем оно ответственнее, особенно в России, где искони существует страшный окрик «Слово и Дело».

Для нас религиозные ценности тесно связаны со свободой, и те, которые пользуются ими в целях насилия над совестью и даже жизнью — для нас нетерпимы. Относиться к Розанову только эстетически, любоваться его талантливостью, — это значит презирать Розанова, не считать его реальной силой. Те, кто во имя отвлеченного начала не хотят сделать выбора между Розановым и нами, те, кто во имя ложно понимаемой культурности находят, что писания и общественные выступления Розанова — только талантливая литература, не больше, не хотят видеть, что за этой литературой скрывается страшное влияние на жизнь, что для миллионов людей, которые стонут от насилий, чинимых розановским лагерем, решительно все равно, — будут ли их мучить талантливо или бездарно. Культурным воздержанием вопроса не решишь. Надо сделать выбор. Жизнь этого требует. Воздерживаться в данном случае от выбора, — не значит воздерживаться от политики. Безучастное созерцание, величественное молчание есть уже громадное действие. За этим молчанием скрываются очень громкие слова, оправдывающие то, что есть, оправдывающие связь религии с застоём и смертью.

Вся деятельность нынешнего Совета была направлена на то, чтобы разорвать эту связь, чтобы показать, что религиозные темы, — суть темы жизненные. На этой почве происходил обмен

мнений, иногда очень страстный. Благодаря такому обмену мнений, постепенно выяснялось лицо Общества, образовывался подбор участников в наших работах, намечались те пределы терпимости и свободы, за которыми начинается или беспросветный цинизм, или величайшее насилие. Происходил этот процесс естественно, и, конечно, Совету в голову не приходило насильственно удалять инакомыслящих. Просто сторонники застоя, не-свободы, использования религии как политического средства для замораживания России и оправдания вещей, оправдания не подлежащих, сами себя устранили от деятельного участия в работах Общества. Этих лиц и по сию пору довольно много в списке действительных членов. Розанов по этому пути самоустранения не пошел. Вместе с тем, он человек настолько сильный и яркий, что, конечно, не может числиться «в мертвых душах». И вот в Обществе постепенно нарастало недомогание. Лицо его оставалось искаженным, его деятельность не могла развернуться. Слова начинали терять свою цену, потому что не только противоречили друг другу, а как бы уничтожали друг друга. Обществу стал грозить распад, потеря лица, потеря всякого общественного значения, превращение его в столь любезную г-ну Скворцову говорильню. Конфликт назревал давно и, наконец, обострился до крайности. Для Совета получилась полная невозможность дальнейшей планомерной работы, и Совету пришлось перед лицом Общества поставить ребром вопрос: с кем оно желает идти дальше — с Розановым или с Советом. Выбор сделать необходимо. Общество должно исключить или нас, или Розанова. Именно так мы вопрос и ставим. В этом смысле мы нисколько не посягаем на свободу господ членов Общества. Если большинству религиозно-общественные взгляды и действия Розанова кажутся приемлемыми, — оно имеет полную возможность оказать ему доверие своими голосами и тем самым исключить нас из Общества. Но совершенно невозможно, не презирая самое Общество как организацию, борящуюся за свое определенное лицо, не презирая Совета и самого Розанова, воздерживаться от всякого выбора и во имя отвлеченного начала впадать в полное равнодушие.

Совет этот выбор сделал. Раз и навсегда. Сделал его и Розанов.

О совершенно неприличных и нетерпимых среди уважающих себя людей выступлениях Розанова в печати можно было бы написать целые тома. Но мы ограничимся только двумя примерами.

Сперва возьмем его выступление в органе Московской Духовной Академии («Богословский вестник», март, 1913 г.).

Там появилась статья Розанова под названием «Не надо амнистии»<sup>4</sup>.

В феврале многие ждали амнистии, и вот один наивный юноша посылает Розанову следующее письмо.

«Молю вас, остановите кампанию “Нового времени” против амнистии. Кому будет плохо, если сотни и тысячи несчастных, истерзанных, замученных жестокой судьбой, вернуться в семьи. Зачем поддерживать эту жестокость, это посрамление всего лучшего, что есть в неокончательно загаженной душе человеческой? Я спрашиваю вас, во имя чего это новое надругательство, этот новый позор? Кому помешают полутрупы, из которых, быть может, половине суждено только приехать и умереть в России? Зачем еще мучить, травить, изгонять? Видали вы эмигрантов за границей? Наблюдали вы их беспросветную жизнь, их муки? Кто искупит их, чем они будут искуплены? А тюрьмы, клоповники, очаги тифа, низости человекообразных зверей, гнусные насилия? Вы вместили в душе много, очень много. Страшно вас читать, о вас думать. Как бы я хотел вас умолить, чтобы вы сами, вам одному известными способами, сделали что-нибудь, что нужно сделать...»

Что же отвечает Розанов на этот, может быть, наивный, но столь благородный вопль.

Приведа письмо полностью, он отвечает:

«Тащите все, по бревну, по доске, тащите, кому что надо, — бери один крышу, другой стены, третий забирай печь, убивайте скот ее (России), коровенку ее, лошадь ее, жгите гумно и хлеба, ломайте соху и борону, и грабли, и заступ, и серп, и прялку.

Вот смысл революции» (с. 646).

«Они захотели — эти “деточки” — “могилки на родной стороне”. Нет у них родной стороны.

А потому естественно, что подобных воров и разбойников в Россию пускать не следует.

Блудного сына надо простить, но только *раскаявшегося*, а не *раскаявшегося*: *Христос не указал*. Да и не нужно». (с. 647).

И Розанов энергично протестует, что эмигранты «полутрупы».

По его мнению, это все «женихи», которые ищут богатых невест, чтобы, «развалившись в креслах, проповедывать свои замечательные идеи то у банкира, то у богачки-помещицы, то у многотысячного инженера» (с. 647).

Приструнив эмигрантов: «Чего расхвастались. Сидите смиренно» (с. 649), Розанов заканчивает следующим образом: «Выбор нужно сделать такой: чтобы Россия отвернулась от своих тыся-

четелных хранителей и оберегателей, проливших за нее кровь, и уж воистину перерядившись в мачеху, в парадную кокотку, вдруг поклонилась Плеханову, Кропоткину и “женатому” Морозову с “Грозой и бурей” в кармане<sup>5</sup>.

Не будет. Не будет гадостей, и эмигранты не вернуться. Дом их сожжен ими самими. Сожжен ими в сердце своем. Нет у них родной земли. Нет им ни жизни, ни могилы, в проклятой (ими) “отреченной” земле. Отреклись, — пусть отречение будет полным».

С точки зрения «свободы слова» нельзя бороться с Розановым. Он проявляет свое святое право на свободу мнений.

Но такая свобода нам кажется мерзостью из мерзостей, потому что это издевательство насильника, потому что эти слова ежедневно переходят в дело, потому что во имя насилия здесь привлечено имя Христа, который будто бы миловать не указал.

И заметьте. Статья помещена в «Богословском вестнике», органе Московской Духовной Академии; ей как бы дана санкция церкви. Конечно, богословский журнал не есть голос церкви, но, разрешаемый духовной цензурой, он впредь, до дальнейших опровержений, все-таки выражает этот голос, и статья Розанова не могла быть понята читателями иначе, как руководственное мнение правящих кругов церкви, как мнение редактора, П. А. Флоренского, который состоит профессором Академии, готовит русских юношей к пастырской деятельности.

О, мы, по мнению отвлеченных поклонников свободы слова и терпимости, низко пали: в наши мирные, отвлеченные рассуждения врывается политика. А вот «Богословский вестник» политикой, и притом погромной, заниматься вправу, — это Христос указал; и когда «душа» петербургского Религиозно-философского общества (выражение Кассия из «Нового времени»<sup>6</sup>) отводит свою душу на страницах богословского журнала, мы должны молчать, твердо следуя доводу: «Не судите, да не судимы будете».

Нет, мы не верим, мы не хотим думать, что Розанов действительно душа Религиозно-философского общества. Это наваждение. А если он и вправду душа, то нам здесь не место. Пусть Общество, наконец, выскажется, пусть определит, где именно его душа, но да не будет оно двоедушным.

Сам Розанов говорит, что надо сделать выбор. О, он человек умный и чуткий. Он ясно видит, что теперь, сегодня, не одна Россия, а две России, и что нравственный долг каждого сознательного человека, каждого живого общественного организма, которые желают иметь свое лицо — сделать выбор. Потому что пребывать между двумя станами, значит — пребывать в небытии.

Но Розанов не остановился на своем призыве к последней жестокости.

Он пошел дальше. Я говорю о его выступлении по делу Бейлиса.

Нас обвиняют, что мы и в этом пункте занялись политикой. Это глубоко неверно. Вопросы политические решаются в другой плоскости. И если некоторые из представителей Совета выступали по этому делу политически, то вне стен этого собрания. Как руководители Религиозно-философского общества, мы лишь восстали против попрания религиозных ценностей, мы подняли голос против принесения национальных религиозных святынь в жертву грубой политики насилия и расовой ненависти.

Здесь Розанов особенно отличился. Даже известное своей терпимостью «Новое время» и то не вместило кощунств и доносов своего постоянного и славного сотрудника. Розанову, этой душе Религиозно-философского общества, пришлось переключиться в татарскую орду «Земщины».

5 октября 1913 года в «Земщине» появилась статья Розанова «Андрюша Ющинский». Не буду приводить обильных цитат. Слишком тяжело повторять лицемерные елейные слова, под которыми скрыты призывы к погрому, крови и мести. Но вот последние слова Розанова: «Кто как хочет думает. Для меня — Андрюша Ющинский есть *мученик христианский*. И пусть дети наши молятся у нем, как о замученном праведнике. Да не мешало бы помолиться и в больших церквах, всенародно».

Можно как угодно относиться к православной церкви. Но даже враги ее должны понять, что такого унижения она не заслуживает. Нельзя, стыдно, позорно публично издеваться таким образом над церковной святыней, над ее мучениками.

Но Розанову и этого мало. В той же газете, а именно, 22 октября 1913 г., он помещает обширную статью: «Наша кошерная печать». Здесь уже полный и самый отвратительный цинизм, перемешанный с доносами и призывами к погрому.

Именно в этой статье Розанов произносит свою знаменитую фразу:

«Если Вера Чеберячка<sup>7</sup> все-таки не взяла сорок тысяч за раскрытие Бейлиса — жму ей издали руку, как и всем притонодержателям и сутенерам, все-таки не убийцам, — то ведь русские литераторы берут сотняжки за такое обеление Бейлиса, и даже «имена» берут четверть предложенного ей... Немножко хлебца, и немножко славцы; и эти бедные русские сыты. Они продадут не только знамена свои, не только историю, но и определенную конкретную кровь мальчика».

Но кто же эти русские писатели, продавшие свою совесть, свои знамена и кровь христианского мученика за сотняжки?

Розанов называет их: это Кондурушкин<sup>8</sup>, Пешехонов, Милюков, Мережковский, Философов. Всем им он грозит местью «необразованного русского народа», а на Философова и Мережковского спешит сделать форменный донос:

«Ваша, ваша (т. е. жидовская) Россия. У нас нет отечества. Так торопятся Мережковский и Философов со своим другом Минским и со своим другом Савинковым-Ропшиным в Париже».

Упоминание наших фамилий ни меня, ни Мережковского нимало не трогает. Это, во всяком случае, прежде всего наше личное дело. Мы бы охотно промолчали, как молчат те лица, фамилии которых упомянуты Розановым наравне с нашими. Но вот в чем осложнение. Помимо того, что мы литераторы и публицисты, мы облечены доверием Религиозно-философского общества и входим в состав его Совета, в состав Совета того самого Общества, «душой» которого, по мнению некоторых, является Розанов.

Допустим на минуту, что Розанов прав, что мы действительно продажные люди, что у нас нет ничего святого и что на нас следует призывать месть русского необразованного народа.

Но как же тогда Общество терпит, чтобы во главе его стояли такие люди?

А если Розанов не прав, то не будет ли желание сохранить и его и нас в одной и той же общественной организации проявлением не благородной терпимости, а равнодушного цинизма?

Мы отлично знаем, что насилие и свобода понятия антиномичные. Доведите понятие свободы и терпимости до пределов — получится цинизм. Доведите до таких же пределов ограничение свободы во имя интересов общественных — получится изуверство. Весь вопрос в мере. Не мы выдумали Розанова и самое «дело» о нем. Его выдумала русская жизнь, условия русской общественной деятельности. И нам кажется, что дальнейшая терпимость по отношению к Розанову была бы именно тем цинизмом, который нарушает меру допустимой терпимости.

Мы не стоим за формальный путь юридического исключения Розанова. Все эти споры о кворуме и параграфах нам глубоко чужды. Мы хотим услышать живой голос Общества, увидеть его лик. Мы слишком его уважаем, чтобы думать, что состояние двоедушия — естественное его состояние.

Пусть исход сегодняшнего голосования будет не в нашу пользу. Мы покоримся и уйдем. Мы тогда будем бороться с тем обществом, которое открыто признало Розанова своей «душой».



Но достойнее иметь розановскую душу, нежели пребывать в двоедушии или быть бездушным механизмом, говорильной машиной. Лучше примкнуть к лагерю Розанова и брать на себя ответственность за действия этого лагеря, нежели заниматься совершенно безответственными словопрениями на усладу жадной до зрелищ и диспутов толпы. (*Аплодисменты*).

**Председатель.** Господа, тут не принято аплодировать, и я бы покорнейше просил воздерживаться от знаков одобрения и порицания. Из того, что вы заслушали, следует, что раньше, чем решать вопрос об исключении В. В. Розанова, необходимо решить предварительный вопрос, — признает ли собрание себя правомочным этот вопрос поставить на разрешение. Я бы покорнейше просил членов собрания высказываться и по этому поводу.

**С. А. Алексеев.** По докладу, который мы только что выслушали, можно думать, что Совет Религиозно-философского общества вовсе не имел в виду производить суд над В. В. Розановым. Д. В. Философов в самом начале своей речи подчеркнул, что Совет не имел в виду судить его. Я не могу согласиться с таким заявлением. Я здесь нахожу какое-то вопиющее противоречие.

Нам было прочтено письмо г. председателем Общества. Из этого письма видно, что В. В. Розанов обвиняется в общественной непорядочности. Что же, — это обвинение не есть суд? Или слово непорядочность не имеет смысла? Что за противоречие? Засим, если нам предлагают исключить члена Общества, очевидно, за какую-то вину, то нельзя же исключать, не установив виновности. Преступление оглашено, и логически ясно, что суд над Розановым нужно сделать. Какая-то странная робость чувствовалась в словах докладчика, когда он сказал то, что является самым существенным.

Я протестую не по поводу исключения В. В. Розанова, а именно по поводу суда над В. В. Розановым. Ибо для меня ясно, и я утверждаю, что Совет призывает нас к суду.

Всем ясно, что суд вещь тягостная. Не только в Евангелии вы найдете слова: «Не судите, да не судимы будете»<sup>9</sup>, но и всякая религия в числе основных своих положений прямо или косвенно устанавливает, что осуждение других есть одно из самых тяжелых религиозных преступлений. <...>

И вот, я считаю, что суд для Религиозно-философского общества недопустим по принципу, по идее самого Общества. Из доклада Д. В. Философова выходило, что Религиозно-философское общество будто бы принуждено к этому суду над Розановым. Я тщетно старался услышать какие-нибудь доводы в этом отношении; я слышал только голословные утверждения.

Кто следил за деятельностью Религиозно-философского общества, прекрасно знает, что участие Розанова в то время, когда он стоял более близко к центральному ядру Общества, заключалось в том, что он читал рефераты, сидел и слушал. Розанов давно уже не выступает и вообще не приспособлен выступать в публичных собраниях, так что общая работа Общества с ним по существу почти невозможна, тем более она невозможна теперь.

Я думаю, что после всего происшедшего Розанов не только не пойдет сюда говорить, на что он физически не способен, но не придет сюда и слушать. (Голос: это фактически неверно!) И потому заявление о невозможности совместной работы не имеет смысла; давно уже никакой совместной работы здесь не было и не может быть. Да и вообще совместной работы, в практическом смысле, как сказал Д. В. Философов, не может быть между членами Общества. Д. В. Философов говорил, что лицо нашего Общества вынуждает нас к категорическому выбору. Я опять не могу с этим согласиться. У Религиозно-философского общества нет никакого лица: достаточно прочесть список 45 членов его, чтобы убедиться, какая это разнородная компания; если же брать с точки зрения политических партий, то здесь можно насчитать 5–6 партий. Какое же это лицо, о каком лице мы здесь заботимся?

Затем, я не могу не сказать нескольких слов о преступлении Розанова. Хотя я считаю, что судить его мы не имеем основания, так как цель нашего Общества — только теоретическое обсуждение вопросов, и ничего практического наше Общество не должно иметь и по заданиям своим не имело, значит, при этих теоретических спорах необходима максимальная терпимость, — но я все-таки вынужден тем огромным обвинительным актом, который был прочитан и который так красноречиво и ярко обрисовал перед нами преступление Розанова, коснуться самого преступления.

Я начну с того, что преступление Розанова стародавнее. Мы все прекрасно знаем Розанова. Разве он когда-нибудь был осторожен в своих словах, разве было время, когда он не был ядовит и зол? Мы это прекрасно знали, и когда ядовитость Розанова распространялась на церковь, ядовитость иногда злбная, мы только благодушно говорили: «Василий Васильевич, по обыкновению, нам сегодня наврал», — и больше ничего. Теперь мы вознегодовали, когда злое слово Розанова направилось в ту сторону, которая, по убеждению Совета нашего Общества, является противоположной Розанову. Итак, преступление Розанова, его злоязычие, старо.

Здесь многие приводили жестокие слова Розанова и говорили: «доколе же мы будем терпеть», «quousque tandem Catilina» \* — слышали мы от Совета.

Но как будто только один В. В. Розанов жесток в словах. Господа, нужно быть немножко искренними и признать, что партийные страсти, которые неизбежны во всяком обществе, приводят к злобе и жестокости. Неужели только один Розанов говорил нам жестокие вещи? Что же, мы стали бы изгонять из нашего Общества и Константина Леонтьева, который тоже говорил жестокие вещи? Неужели ужасные жестокости говорил только Розанов, неужели все, особенно крайние партии, не неизбежно жестоки, и не только в словах, но и в делах?

Розанов до сих пор был жесток только на словах, но ведь мы знаем, что то, что находится на крайних полюсах, жестоко и в делах. Что же мы тут начинаем восклицать?

Господа, Совет Религиозно-философского общества предлагает нам судить Розанова, предлагает обвинить его в непорядочности. По этому поводу я только хочу напомнить чрезвычайное обстоятельство, на которое очень мало обращают внимание, а именно, что из всех категорий людей-злодеев, к каким бы партиям они ни принадлежали, Иисусу Христу были наиболее враждебны те, которые с уверенностью говорили: я хорош, а этот не хорош.

Господа, нам, членам Религиозно-философского общества, предлагают сказать: мы порядочны, а В. В. Розанов непорядочен. Ибо нельзя обвинять в непорядочности других, не будучи твердо убежденным в своей порядочности.

Я предлагаю членам не подавать совсем голосов.

**Свящ. П. В. Раевский**<sup>10</sup>. Для Религиозно-философского общества наступает момент, когда должно выясниться лицо его. Что это за Общество?

Я следил за деятельностью Общества с самого начала его существования. Тогда еще мы все видели и чувствовали, что начинается великое религиозно-философское движение; я с удовольствием наблюдал выступления здесь, в Обществе, и В. В. Розанова.

Розанов и в религии, и в философии явление незаурядное, из ряда вон выходящее, и я думаю, что ставить вопрос об исключении человека, который для религии и для философии представляет величину громадную, значило бы отрицать само Религиозно-философское общество. Если Религиозно-философское общество ставит подобного рода вопрос, то, значит, оно хочет

---

\* Доколе же, Катилина (*лат.*).

отказаться само от себя, оставляя на себе только ярлык Религиозно-философского общества.

Я удивляюсь, как можно ставить в Обществе вопрос об исключении Розанова. Когда наблюдаешь временное, случайное явление, то невольно увлекаешься не существом дела, а частностями. Мне кажется, что Совет Религиозно-философского общества также увлекся частностью. Общество захватила какая-то волна, которая иногда и раньше поднимала его ладью на свой гребень.

Я помню очень шумное заседание Общества по поводу интересной книги «Вехи». Помню доклад Мережковского по поводу этой книги<sup>11</sup>. Опять-таки, можно соглашаться или не соглашаться с авторами этой книги, но, во всяком случае, говорить о том, что эти господа поступают, как мужики Достоевского, которые хлестали свою лошаденку по глазам, — я этому удивляюсь.

Хотя я маленький человек и ничего не сделал ни для философии, ни, может быть, для религии, кроме того, что я священник и служу службу Божию, — я все-таки не понимаю, как можно религию и философию приносить в жертву общественности.

Рассмотрим вопрос с точки зрения религии. Как Христос относился к людям, которые к Нему приходили, — были ли то иудеи, ревнителю или зилоты и фарисеи? Он ведь не спрашивал их, кто вы такие, как смотрите на еврейский вопрос, или как вы смотрите на Мережковского или Философова, если бы они в то время существовали? Подобного рода вопросы едва ли приходили Ему в голову, и теперь едва ли могут приходиться всякому христианину.

Слушая рассуждения по поводу «Вех», или теперь рассуждения по поводу Розанова, я хочу задать вопрос словами В. Соловьева: «Что это, — словесность или истина?»<sup>12</sup> Когда Белинский писал известное письмо против Гоголя, то это была истина, но в то же время и словесность, потому что Белинский, как не религиозный человек, не мог серьезно относиться к тому, что сделал Гоголь в конце жизни, когда начал «Переписку с друзьями». Он не мог оценить этой метаморфозы Гоголя, и поэтому в нем, с одной стороны, было много словесности — с точки зрения религии и философии, но с точки зрения общественности в нем было много истины.

Вот было выступление Сикорского<sup>13</sup> на процессе в Киеве. Представьте себе, что университет Св. Владимира поднял бы вопрос об исключении этого профессора из состава университета. Можно смотреть на заслуги Сикорского как угодно, но мешать одно с другим нельзя. Я также удивился бы исключению Сикорского

из Киевского университета, как удивляюсь вопросу об исключении Розанова.

Возьмем философа Бэкона. Нам известно еще из семинарских учебников, что он был знаком со многими великосветскими домами. Значит, с точки зрения Философова, Бэкон непорядочный человек? Простите, но в этом случае аналогия напрашивается сама собой. Или, например, Мечников, ныне здравствующий, или умерший Менделеев? Я слышал, что эти люди в делах общественных мало понимают или, выражаясь нашим жаргоном, люди правые. Представьте, что в Пастеровском институте в Париже поднялся бы вопрос об исключении Мечникова потому, что он правых убеждений, или известного ученого-химика Менделеева — уволить из академии за правые убеждения? Я этого не понимаю. Простите, что я говорю вопросами, я не готовился к речи и говорю экспромтом. Я удивляюсь, и должен сказать, что в Религиозно-философском обществе не дано ответа на вопрос В. Соловьева: «Что это, — словесность или истина?»

**Председатель.** Предоставляю слово председателю Совета для одного очень важного заявления.

**А. В. Каргашев.** В виде продолжения официального материала, который мною доложен был собранию в самом начале, я имею сообщить еще два новых документа. Эти документы отделены от прочитанной мною ранее официальной переписки, так сказать, исторически значительным промежутком времени, ибо они получены председателем Общества уже в последний момент, т. е. за два с половиной часа до настоящего собрания. Между тем по своим формальным признакам они должны представлять особые мнения членов Совета П. Б. Струве и А. Н. Чеботаревской<sup>14</sup> к давнишнему заседанию Совета еще от 11-го декабря. Оставляя под сомнением юридическую допустимость столь позднего представления особых мнений, так как на основании протокола Совета от 11 декабря 1913 г. уже состоялось прошлое Общее Собрание 19 января, которое лишь по случайному недостатку кворума не было окончательно решающим, президиум, однако, не уклоняется от приобщения к делу этих особых мнений как таковых.

П. Б. Струве пишет следующее: «Я высказываюсь вполне определенно против исключения В. В. Розанова по двум основным соображениям.

Во-первых, поведение Розанова — и именно это я высказал совершенно категорически в своих последних статьях о Розанове, после которых я сознательно и последовательно не возвращался к суждениям о личности и поведении этого писателя —

по моему глубокому убеждению, совершенно устраняет применимость к нему начала вменения. Я вполне определенно считаю Розанова морально невменяемым. Поэтому в его деле, на мой взгляд, отсутствует основное субъективное условие разумного суда над человеком.

Во-вторых, Религиозно-философское общество само по своим задачам не может притязать на функции суда, хотя бы морального, над отдельными лицами. Таким образом, исключение из Общества как действие дисциплинарно-судебное есть действие, не соответствующее природе такого общества, как Религиозно-философское. В силу этого в данном случае отсутствует и основное объективное условие разумного суда.

По этим двум соображениям я решительно высказываюсь против внесения в Общее Собрание предложения об исключении В. В. Розанова».

В письме к председателю Общества, сопровождающем текст прочитанного сейчас особого мнения, П. Б. Струве делает заявление об одновременном с подачей этого мнения выходе своем из состава Совета Общества, о чем и просит сообщить сегодняшнему Собранию.

Почти одновременно с этим, в тот же час, получено особое мнение от члена Совета А. Н. Чеботаревской, которое формулируется так:

«Пользуясь правом приложить особое мнение к протоколу заседания Совета Религиозно-Философского Общества от 11 декабря 1913 г., считаю долгом своим заявить следующее:

Высказав сожаление в заседании 11 декабря 1913 г. по поводу того, что вопрос об исключении В. В. Розанова возник в предыдущее заседание Совета, во время отсутствия моего из С.-Петербурга, я выразила затем убеждение, что никакого рода суды не входят в круг деятельности Религиозно-философского общества, и призываю воздержаться от дальнейших шагов по исключению В. В. Розанова.

Настоящее заявление покорнейше прошу огласить в Общем Собрании сего 26-го января ввиду того, что в газетах и повестках, разосланных членам, по отношению к принятию Советом постановления об исключении В. В. Розанова было упомянуто «единогласно»». <...>

**Вяч. И. Иванов.** Господа, я не хотел бы в своей очень краткой речи останавливаться на религиозных мотивах. Развивать этого я не буду. Я скажу только, что если Религиозно-философское общество действительно хочет носить имя религии, то вопрос о суде невозможен принципиально, исключение Розанова для нас

невозможно, несмотря на то отношение, которое он вызывает в нашей психологии и наших этических чувствах, несмотря на все и *quand même* \* исключение его все же невозможно по религиозным мотивам.

В какой мере Религиозно-философское общество признает эти мотивы, остается невыясненным, но я с особенной энергией хотел обратить ваше внимание на то, что писатель вообще не судим и суду не подлежит. Писатель и потомство посмеются над таким судом, если бы он мог состояться; писатель презирает этот суд. Я теперь говорю только о писателе. Что касается Розанова, мы видим в нем человека; но все, выступавшие с попытками обвинения, выступали, я бы сказал, с робостью, даже с нравственной трусостью; говорили, что не человека судят, что не смеют судить человека.

Хорошо, итак, человека мы не судим. Кто же остается, кто осуждается — писатель? Многие говорили: мы судим Розанова-писателя. Вот я и хотел указать, что писатель не судим. Однако остается что-то, и по моему мнению подлежащее суду. В Розанове это осталось бы, если бы он был в тесном и настоящем смысле общественным деятелем. Тогда это было бы просто и грубо.

Если бы Розанов устно или письменно высказался буквально так: господа, поднимайте погромы, — если бы он призывал к кровопролитию, тогда подобные призывы выпадали бы из сферы писательской деятельности и подлежали бы суду как заявления, манифестации общественного деятеля, и я тогда первый стоял бы за всевозможное опозорение Розанова.

Но здесь дело иное. Я встречаю с его стороны заявления, может быть, мне непонятные по своей психологической и этической связи, заявления парадоксальные, больше того, отвратительные, внушающие глубокое омерзение, — но если это омерзительное стоит в связи с писательской деятельностью, то здесь мой суд умолкает; писатель, целиком взятый, столь нежный и целостный организм, что разбивать его на части и вырывать их из контекста нельзя. Тогда пришлось бы исключить и Достоевского, и Сологуба, и, конечно, Мережковского исключили бы 100 раз и т. д. Мы исключили бы и Гоголя, если бы жили в эпоху «Переписки с друзьями» и проч., и всякий раз поступали бы смешно и непродуктивно.

Розанов, несомненно, писатель крупный, громадного содержания, писатель, переживающий ту роковую для всякого писателя эпоху, которая проводит его через всевозможные чистили-

---

\* тем не менее (*франц.*).



ща и унижает иногда до последних унижений. «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»<sup>15</sup>.

Да, он писатель, и потому в моих глазах не подлежит суду. Но, кроме того, он не только писатель; это общественный голос в стране, где имеется величайшая общественная опасность, и мы ее пережили в 1905 году. Когда торжествовало правительство, то оно, пожалуй, проявляло меньше нетерпимости, чем можно было прочесть в обещаниях партий, готовивших себе торжество. Эти партии обещали нам одну страшную нетерпимость, жестокую цензуру, сыск над писателем и т. д. Принципиально нельзя становиться на эту дорогу. Может быть, пройдет немного лет, и мы увидим, что это была слабость, а не истина, — это вопрос о Розанове. Может быть, дело будет идти не о том, чтобы исключить из литературного общества какого-то одного литератора, чтобы сделать демонстрацию, чтобы подчеркнуть то, что было 30 раз подчеркнуто и в чем никто не сомневается. Может быть, через короткое время это будет действительно, и тогда посмотрим, что будут говорить. Тогда, может быть, вспомнят и мои слова те люди, которым в настоящее время это непонятно.

Писателя не должно судить и писателя вовсе не нужно исследовать. Дайте ему амнистию раз навсегда, проявите к нему великодушные или благодарности — как хотите.

Затем, как Розанов исключается? Как Розанов, т. е. разом — и как человек, и как писатель, и как общественный деятель? Мне хотелось только сказать, что общественное мнение, сила его в стране, — это, конечно, залог свободы, но сила общественного мнения обратно пропорциональна принудительности.

Итак, если Розанов вас возмущает, проявите общественное мнение именно в том, в чем оно естественно проявляется, т. е. в формах, которые лишены принудительности. Вы скажете: мы общество, и, значит, наш вотум — общественное мнение. Но это софизм.

Это будет вотум большинства или это будет показатель того, как разделились не только умы, но сердца, и психологии, и совести по вопросу о Розанове.

Нет, общественное мнение покоится на том, о чем говорил проф. Гредескул<sup>16</sup>. Каждый отлично знает, как ему относиться к Розанову, каждый свободен поступать, как ему подсказывает совесть. К чему непременно эта принудительность, непременно подчеркивание, исключение по такой-то статье? Зачем внесение отвратительных полицейских и судебных навыков в эту свободную сферу, где, казалось бы, мы должны так свободно дышать?

Убеждаю Вас не исключать Розанова...

А что касается до неодобрения Розанова, то, мне кажется, это было бы риторическим заявлением. Нам говорят: Религиозно-философское общество должно выявить одно лицо, не быть двуликим и двоедушным.

Господа, я боюсь пожелания, чтобы Общество получило одно лицо и одну душу. Я уверен за себя, что у меня есть лицо и душа, также уверен за другого и третьего, кого я люблю, кто мне дорог, знаю колеблющихся, знаю, что они переживают, — но знаю также, что у каждого из них есть свое решение. Однако, если давать Обществу одно лицо и подводить всех под одну линию, это не значит, что Общество получит одно лицо, это значит, что оно обезличится.

Что же будет? Будет нивелировка, какой требуют Мережковский и Совет, и только. Это неладно.

Религиозно-философское общество должно быть многоголовым и многодушным, и, если из этой какофонии голосов, из этого многодушия будет создаваться гармония, при которой хоть и будут различия, но будет торжествовать одна нота господствующая, как, например, ясно слышалось у всех без исключения ораторов осуждение Розанова за эти гнусные выходки и по поводу амнистии, и по поводу Ющинского, — тогда родится мнение без принуждения; это будет гораздо полновочнее, полноценнее, и, главное, будет цветистее. А мы будем иметь спокойную совесть, и нам не будет казаться, что мы жертвы какой-то искусно ведомой, с хорошими целями, но все же тиранической демагогии.

**Н. А. Макшеева**<sup>17</sup>. Исключение Розанова... Как больно ударяют эти слова в самое сердце тех, кто бывал еще в первых Религиозно-философских собраниях, кто чутко следил за выступлениями этого особенного, проникновенного до гениальности, парадоксального до безумия человека. Сколько он поднял вопросов, самых жизненно насущных, как он умел их поднимать!.. «Не я интересен, а моя тема»<sup>18</sup>, — говорил он, и поистине, его темы были животрепещущи. Чего стоил один семейный вопрос, которого он был поэтом, рыцарем: ведь его усилиями было улучшено положение внебрачных детей.

Да, этот человек будил, толкал, сам толкался в двери церкви, готовый целовать каменные плиты, под которые сам же подкладывал динамит. Все в нем переплетено из противоречия, из дерзости и самоуничтожения, из возвышенного и смешного. И с этим считались, и это нравилось, пленяя и друзей, и врагов, потому что было своеобразно, потому что вносило поток свежего воздуха под своды, закопченные схоластикой. Но из-под налета копо-

ти открывались дивные фрески, способные зачаровать дерзновенного борца. Застрельщик вызывал отпор, заставлял вооружаться тех, кто ранее бездействовал, — гонения естественно вдохновляют апологетов.

Этого человека приветствовали, превозносили до небес, называли русским Лютером, доходили до крайностей, которыми так изобилует русская жизнь. И теперь его же, В. В. Розанова, хотят исключать из Религиозно-философского общества, которое он питал своими вдохновениями, которое развилось под толчками его искрометной мысли.

Почему же теперь Религиозно-философскому Обществу расхотелось с Розановым из-за политики, когда оно прежде терпело его кощунственные речи (вспомним слова о злом Боге, стоившие закрытия первых Религиозно-философских собраний)? Иррациональный по природе, Розанов способен на всякие крайности, в нем настроение не знает узды, но таково его внутреннее существо, отсюда проистекают и его очарование, и слабость.

Мне лично представляется странным, каким образом он, поэт Ветхого Завета, восстает теперь против еврейства, подрубает корни дерева, на котором он сидит. Но непоследовательностью он себя обессиливает, при разномыслии же существует полемика, а не отлучение. Религиозно-философское общество не политическая партия, требующая от своих членов идти в ногу. Тем пышнее оно расцветает, чем разнообразнее выражены его мысли, включая в себя и славянофильское настроение, и призывы к новой общечеловечности. К. Леонтьев мог бы сидеть рядом с Вл. Соловьевым.

Розанова надо сохранить в интересах самого Общества, как большую двигательную силу. Он говорит, что поэт носит музыку в душе, а у него она звучит. Ради этой музыки прощались ему самые его уклонения от христианства, особенно после того, что он плакал горькими слезами в «Уединенном» и «Опавших листьях». — «Смысл Христа не заключается ли в Гефсимании и Кресте? — начинает прозревать он. — Тогда все объясняется. Тогда Осанна... — Но так ли это? Не знаю...

Если он утешитель, то как хочу я утешения, и тогда Он — Бог мой. Неужели? Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, что я с таким смертельным ужасом боюсь; неужели думать — встретимся! Воскреснем! И вот Он — Бог наш! И все объяснится».

Розанов идет ко Христу, идет, как и все мы, спотыкаясь. Но нам ли его отвергать?

**А. В. Карташев.** Е. В. Аничков<sup>19</sup> сущую правду сказал, что ему, как молодому члену Общества, и непонятно, и чуждо, поче-

му это люди, которые больше всего знают и любят Розанова, так настойчиво от него отделяются. Это очень верно и очень показательно. Стараются не судить Розанова те, кому от него ни жарко, ни холодно, люди к нему равнодушные, ничем, ни в настоящем, ни в прошлом, с ним не связанные. Вот ввиду этого я и хочу подойти к вопросу, так сказать, исторически, чтобы осветить его новым членам, не знающим прошлой жизни нашего общества. Почему вопрос этот так обострился, почему вылился в такую форму, какую многие называют политической, что, конечно, неточно и потому неверно?

Розанов был столпом и соловьем Религиозно-философских собраний, существовавших не по закону, а по благодати до 1903 г. Эта эпоха была совершенно другая сравнительно с теперешней; другая и для Религиозно-философского общества, и для всей русской жизни в ее целом. То было время самых широких сочетаний весьма разнородных лиц и общественных групп, чаявших освобождения России. То же полусознательное, полуинстинктивное предчувствие кризиса произвело на свет Божий и это причудливое сочетание епископов, архимандритов, миссионеров, литераторов из салонов кн. Мещерского и Суворина с «нечестивой» компанией из «Мира искусства» с прибавкой нескольких народников, получившее название «Религиозно-философских собраний». Но все это было давно. Заниматься теперь старчески воспоминаниями о тех «Собраниях», как делали сегодня некоторые, значит старчески ослепнуть по отношению к настоящему. То было и былшем поросло.

Все стало новым с 1907 г., когда настоящее Общество открылось по действующему закону об обществах. Лично я тогда всеми силами противился открытию этого Общества. Мне оно представлялось каким-то незаконнорожденным и мертворожденным, без живой души, без ясного лица, без права на существование. Зачиналось оно не органически, а по механическому подражанию старому: были религиозно-философские Собрания — пусть опять будут Собрания. Опыт прошлых Собраний инстинктивно подсказывал мне, что слов уже было сказано достаточно, что наступило время молчать, думать о выполнении сказанных слов и копить силы для новых выступлений. Но люди новые, учредители этого Общества, С. А. Алексеев и Н. А. Бердяев, не имевшие опыта, «рвались в бой». Глубоко раскаиваюсь в том, что я не только смирился пред наличностью чужих и, как мне казалось, религиозно немудрых пожеланий, но и позволил себя уговорить председательствовать на открытии Общества. Меня упрекали тогда, что я произнес вступительную речь каким-то

мертвым, упавшим голосом и сказал что-то очень пессимистическое. Но откуда было взяться вдохновению, вопреки убеждению? Я старался быть объективным, сказать о том, что есть, не преувеличивая, подчиняя свои чувства желанию большинства. Но, очевидно, внутренняя безнадежность выявилась в моей полусаркастической характеристике ближайшей возможной деятельности Общества. Я сказал, что открывается, в сущности, религиозно-философская говорильня. Действительно, слишком разношерстны были учредители по своим религиозным устремлениям, никакого единого духа среди них не чувствовалось, никакой широкой общественной потребности момента не чувствовалось в этом предприятии; то была потребность небольшой группы лиц. Что действительно единого в этом сочетании: правоверный чиновник Святейшего Синода В. А. Тернавцев и свободный философ С. Л. Франк? Получилась неизбежно одна теоретическая говорильня. Вообще, я не против такого учреждения. Говорить можно и о религии. Но Религиозно-философское общество говорильней быть не должно, как не может быть ею никакое общество, причастное к религии, ибо бесконечная говорильня в религии есть кощунство. И правы те наши критики, кому и нынешние наши разговоры о религии кажутся пустословием, развратом и т. п., правы, если действительно нет за этими разговорами каких-либо действий. Я разумею религиозную жизнь, управляющую всей жизнью, всем поведением человека, его делами личными и общественными. И вот таких-то действий за спиной нового Общества тогда, в 1907 г., не нарождалось; оно долгое время было томительной говорильней.

Розанов по существу своему писатель-говоритель, любитель слов и сыпатель их безотчетный, конечно, чувствовал себя в таком обществе, как рыба в воде. Но само Общество не могло рано или поздно не спросить себя: как же его работа относится к окружающей жизни и как эта жизнь относится к нему? Нужно ли оно ей и она ему? Эта самопроверка жизнью тем более неизбежна, что общество явно имело не научный и академический, а, так сказать, публицистический характер. Волновавший тогда и до сих пор волнующий русское интеллигентское общество вопрос о пересмотре его философского и общественного (в широком смысле) мировоззрения, появление «Вех» и борьба около них не могли не отразиться на темах Религиозно-философского общества. Религиозно-философское общество, таким образом, натолкнулось на реальность общественной жизни и должно было ясно ориентировать себя в отношении к ней. До сего времени Розанов был в Религиозно-философском обществе на своем мес-

те. Речи шли о вещах прохладных и неответственных. В новых темах общества он почувял резкий перелом. Это прямо вспугнуло Розанова; он инстинктивно почувствовал, что говорильня кончается, роль безответственного сыпателя слов прекращается. Как только Розанов стал это чувствовать, он от нашего Общества публично отказался. Те, кто по благодушию или сердолюбию думают, что, голосуя против Розанова, посягают на ценное для него право быть членом Религиозно-философского общества, пусть утешаются тем, что он сам, в 1909 году, 17 января, письмом в «Новое время» отрекся от нашего общества, написал, что выходит из состава Совета Религиозно-философского общества, в котором он в то время и не состоял, приняв по недоразумению за участие в совете сидение за зеленым сукном. Это был, в сущности, его публичный выход из самого общества, ибо с тех пор он принципиально не проронил в нем ни единого слова, несмотря на неоднократные приглашения, символически сядя в задние ряды. Он ничего теперь не теряет, он давно ушел от нас и нас презирает. Вот текст его письма в редакцию:

«Вследствие совершенно изменившегося характера Религиозно-философского общества в Петербурге я нахожу себя вынужденным выйти из состава *Совета* его, дабы не нести ответственности за измену прежним, добрым и нужным *для России* целям. В последнем, в *исторической* нужности прежних целей, конечно, не доведенных и до половины, а лишь намеченных, так сказать, пунктиром, и лежит повод, заставляющий меня оставить то дело, которое я столько лет любил и до некоторой степени жил им. Тут нет ничего личного. Возникло у вошедших в состав совета новых лиц намерение оставить прежние цели и Общество из *религиозно-философского* превратить в *литературное* с публицистическими интонациями, какие в нашей литературе всегда и везде присущи. Таким образом, самое имя его уже является только псевдонимом, и вообще все становится не прямо, не договорено, несколько мистифицировано. Что это — так, видно из того, что в зале собраний уже слышались из публики возгласы недоумения о том, что собираются сюда слушать *о религии*, а вместо этого приходится выслушивать литературные счета, сшибки литературных самолюбий. Но громко недоумевавшие об этом не знали, что, конечно, они и являются не в прежние Религиозно-философские собрания, *которых более нет*, а нечто совсем новое, чем *сознательно* (в совете общества) решено было заменить или, точнее, подменить их. Ибо для нового содержания просто нужно было основать новое Общество, — благо теперь это не слишком затруднено, — а не пользоваться старым именем, в то же время вытеснив все старое содержание.

Перемена эта, инициатива которой исключительно принадлежит Д. С. Мережковскому, Д. В. Filosoфoву и З. Н. Гиппиус, вовсе не участвовавшим в собраниях 1907–1908 гг., вызвала многочисленные печатные протесты старых участников Собраний, и столько же устных, в составе самого Совета. К протестующим принадлежат С. Л. Франк, П. Б. Струве, Н. А. Бердяев (по инициативе которого общество было возобновлено), В. А. Тернавцев, П. П. Перцов (редактор и издатель «Нового пути», где печатались протоколы собраний 1902–1903 гг.). Общество, имевшее задачи в России, превратилось в частный, своего рода семейный кружок без всякого общественного значения. И те немногие, которые прислушивались к бывалым прениям в нем не в одном Петербурге, но и в провинции, не могут даже и интересоваться, кто выходит, или кто входит в этот литературный салон. Был кристалл и растворился: прежняя форма не держит его частиц и не крепит в себе. По-видимому, обязанность сообщить об этом Обществу лежала на самом Совете; но он этого не сделал, и я, как былой член Совета за все время существования Собраний, позволяю себе и нахожу обязанным себя сделать это в мотивированном выходе».

Понимая общество по-своему, Розанов, таким образом, был прав. Замечательно, что за эту же перемену Религиозно-философское общество упрекнули и две либеральные газеты, которые перепечатали письмо Розанова. Им тоже было бы приятно, чтобы это общество держалось вне жизни и, как неожиданный самозванец, не впутывалось бы в расчеты их реальной политики. Не то же ли отношение большинства нашего либерального общества к данному вопросу мы видим и сейчас? Таким образом, Розанов убежал от начавшего нарождаться лица этого Общества. Благодаря этому изменению, переменился и состав его представителей и деятельность участников. Лишь немногие из старых представителей, сохранившие личные связи с некоторыми членами, остались. Весь состав Общества постепенно переменился. Духовенство, по старой памяти стремившееся в Религиозно-философское общество, увидев, что здесь уже не интересуются никакими церковно-практическими вопросами, почти без остатка покинуло нас навсегда. Был момент, когда с миссионерскими надеждами устремились сюда теософы, но вскоре если не с обидой, то с разочарованием увидели, что здесь им не место. Словом, все церковные практики, чистые мистики, теософы, сектанты, люди, жаждущие благочестивых умилений, с ропотом и осуждением ушли отсюда. А сюда стали приходиться главным образом лица почти обыкновенного интеллигентского типа. Рели-



гиозно-философское общество просто влилось в общий состав русской интеллигентской, общественной жизни и стало вместо философско-академического и религиозно-эстетического, каким было прежде, религиозно-общественным. Ибо такова природа того культурного потока русских интеллигентских интересов, к которому примкнула жизнь Религиозно-философского общества.

Таким образом, это общество стало не просто механическим сборищем, не концертным залом с платными входными билетами, а некоторым организмом. В нем сложилось некоторая живая душа с более или менее определенным характером. И эта душа стала создавать, так сказать, естественный подбор новых членов. Несмотря на кажущуюся случайность роста членов Религиозно-философского общества, конечно, он совершается на деле не без определенного критерия, не без минимальных требований по отношению к их общественной характеристике. Этот критерий в самой общей и растяжимой форме можно свести, если хотите, и к формуле общественной порядочности. Это не выдумка и не результат самоуправства только немногих деятелей Общества, как представлял Розанов в его открытом письме, а факт, создавшийся естественным, произвольным образом.

Совершенное заблуждение думать, что, приходя сюда, люди выходят из границ нашей обычной жизни, попадают в храм, или на небеса, где жизнь течет по каким-то благодатным законам. Нет, здесь люди сидят в том же самом широком русском обществе, где критерий общественной порядочности не только нельзя считать неуместным и, будто бы, даже оскорбительным, но наоборот, где равнодушие к этому критерию является вопиющей ненормальностью. И те, кто сейчас защищают здесь Розанова, поступают с непостижимой непоследовательностью, ибо везде, во всех своих специальных делах и общественных предприятиях, они строго руководятся критерием общественной порядочности. Почему же они, отбрасывая от себя Розанова как общественно неупорядоченного человека, надевают его на шею нам? П. Б. Струве с позором выщелкнул Розанова из «Русской мысли», ибо «Русская мысль» есть почтенная общественная организация<sup>20</sup>. Розанова, даже под псевдонимом, изгнала от себя (и рада, что сделала это своевременно) также одна большая либеральная газета<sup>21</sup>. Как видите, все общественные организации, спутавшиеся с Розановым, здоровым и бесхитростным жестом постарались очиститься от него, разумеется, не из-за его какой-то личной преступности (на что стараются здесь свести разговоры очень многие), а именно из-за его общественной недобропорядочности. Испугались не свободных мыслей и свободного

писателя, а союза с недоброкачественной *общественной* силой. Правильно испугались того, чего почему-то не позволяют пугаться нам. Все Розанова выбросили за борт, и он остался только еще у нас. И мы потому выступаем в этой роли последними, что раньше нас изгнавшие его никогда хорошенько не знали его, до сих пор не знают и, тем более, никогда не любили. Он остался у нас до сих пор только благодаря нашей упорной любви к нему, любви, не исчезающей и теперь, а также благодаря глубокой, может быть преувеличенной, оценке его религиозной мысли.

И вот, когда религиозная совесть возложила на нас крест последнего разрыва с любимой, но демонической силой, господа презиратели Розанова, точно сговорившись, целой компанией стараются сбросить его на нас, как какую-то нечисть. «Мы, люди почтенные, либеральные, с нечистью дел не имеем, а вы, Религиозно-философское общество, на то и созданы, чтобы быть складочным местом для всякой всячины без разбора; мы скуем вас золотыми цепями широчайшей “философской” терпимости, и сидите тут смиренно вместе, задыхайтесь в этом эстетическом болотце, а мы, “Русская мысль” и тому подобные деловые организации, будем процветать, заботливо отгораживаясь от всякого рода Розановых».

Господа, это было бы чистейшим лицемерием, если бы не находило себе некоторого объяснения в столь характерной для нашего момента путанице идей. Эти защитники Розанова велят нам не реагировать на него никаким действием. «Это, — говорят, — политика. Вы же будьте не политиками, а паралитиками, оставьте Розанова и нас в покое». Им этого хочется, потому что они не понимают нашей трагедии с Розановым. Презренная и ничтожная в их глазах величина, Розанов, не заслуживает таких тревог. Не знаю, так ли это даже с точки зрения одной голой политики, так ли Розанов недостоин никакой борьбы с ним? Но для нас его общественная непорядочность вырастает в трагедию разрыва с ним потому, что мы подходим к ней *не только политически*. И в последнем качестве, конечно, достаточно мотивов для разрыва. Но, надо откровенно признаться, что нас другая «муха укусила», что общественная непорядочность Розанова есть верный симптом и символ иной, враждебной нам, враждебной правде Христовой, *религиозной силы*. И нам важно знать, чует ли это наше Общество, желательно ли ему смешение нас с Розановым в одну культурно-пикантную кашу и чувствует ли оно религиозную преступность такого смешения?

Нами двигает сознание, что розановская непорядочность не есть проблема приватной нравственности, а есть значительный

общественный фактор. Мы не презираем эту силу, а должны бороться с ней. Эта реакционная и вместе религиозная сила заключена не в каком-то неменяемом преступнике, или выродке, не в простом пошляке, а таится в талантливой, Богом помазаной личности, которой дано чрезвычайно много писательских возможностей. Таких песен, которые поет и еще воспоеет Розанов, хотя бы, например, современному чудовищу национализма, не способен петь никто из его собратьев. Все эти Столыпины, Меньшиковы, Ренниковы<sup>22</sup> в сравнении с ним — атеисты, прозаики, деревьяшки. Розанов истинный поэт и гипнотизер, хватающий за сердце. И он входит теперь в новую силу, он, как блудный сын, из скитаний по идейным чужбинам, возвращается теперь в родное ему лоно славянофильского национализма и православия. И церковь с радостью принимает его, прощает ему все грехи, все кощунства, ибо умеет ценить такие силы, ей они до зареза нужны. А Розанову, окрыленному этим мощным союзом, предстоит еще вспыхнуть ярким пламенем таланта писательского, пламенем новых истерически-любовных слов националистических и церковных и затем вскоре зачахнуть, пропасть, умереть для жизни, ибо на этом роковом пути есть только соблазн разрешения вопросов жизни, а не само разрешение. Этот путь изжит, исчерпан до конца, соблазн его колоссальный, а конец — удушье и смерть. И это упрек не только русскому национализму и русскому православию, а и всем их подобиям, всем вероисповеданиям во всем мире. Таково наше отношение к Розанову как к религиозно-общественной силе.

Наш долг — размежеваться с нашим религиозно-общественным антиподом, но мы не выдвигали на первый план этого специфического мотива, зная, что он пока еще не стал общепонятным. Мы выдвинули лишь общепонятную интегральную часть нашего главного критерия — общественную непорядочность. И — о ужас! — на нее уже не реагируют. Когда, например, Е. В. Аничков сегодня сказал, что не мы кого-то гоним, а что нас гонят, и мы только защищаемся, — священник о. Н. Р. Антонов<sup>23</sup> крикнул: «Это к делу не относится!». Вот, господа, показатель той общественной безграмотности, той наивности, если не лукавства, которые ослепили наше Религиозно-философское общество и позорно завертели его около трех сосен. Непонимание того, что борьба с Розановым есть защита от торжествующих насильников, — скандал нашего времени. Перестали понимать это не только батюшки, которым Бог простит. К сожалению, чем дальше, тем более становятся общественно-индифферентными, т. е. безграмотными, и наши интеллигенты, преимущественно новей-

шей формации. Откуда эта тьма неведения, мрак окаменения сердечного, эта слякотная хмара надвинулась на наше общество? Куда девался в нем элементарный социальный разум? Какая губка, с какой ядовитой кислотой смыла с его золотого сердца так украшавшую его нравственную чуткость? Кто другой произвел это духовное опустошение, как не модернистский индивидуализм, эта культурная эпидемия последнего времени? Не он ли обольстил мышление интеллигентной толпы, будто только теперь она прозрела все тайны жизни, только теперь все взойши на высшую ступень культуры и получили право быть утонченными сверхчеловеками за пределами мещанской морали? Не замечая своей моральной наготы, духовного измельчания и опошления, они уверяют, что они суду уже не подлежат, они выше всякого суда. Ну, конечно, выше, ибо у них самих нет того критерия, который судит! Они действительно, искренне к «добру и злу постыдно равнодушны»<sup>24</sup>. И нас учат тому же, и возмущаются нами, что мы так дики и так отстали. Даже ссылаются на Евангелие. Воистину прав был Е. В. Аничков, когда говорил, что незачем в данном вопросе апеллировать к евангельским текстам, что это кощунство. И правда, зачем эта схоластика, эти цитаты из Иоанна, что — «Я не сужу никого», когда у того же Иоанна читается: «Я суд миру сему»; «Отец не судит никого, а весь суд отдал Сыну»<sup>25</sup>. А у Матфея читается: «Не мир принес Я, но меч»<sup>26</sup>. К чему кощунственная схоластика хладных сердец, когда ясно, что религия, более чем другие культурные силы, всегда и прежде всего судит, ибо тотчас же призывает к действию, мечом неумолимым отсекает зло от добра и не тайно, а явно, в конкретных актах воли и внешнего, житейского устройства? Разделяет отца с сыном, мать с дочерью, приносит революцию в простейшие социальные отношения?

Весь суд над Розановым есть суд этого принципиального, религиозно-социального порядка, а не суд над моральными качествами частного человека. Уж если на то пошло, то я должен признаться, что среди нашего Общества мне известны лица морально гораздо более предосудительные, чем Розанов, насколько я его знаю, но эти вопросы частной морали нас не касаются. Розанов, если хотите, добропорядочный обыватель среднего калибра. Нападать на его частную нравственность с нашей стороны было бы верхом нелепости. Конечно, приватные качества личности далеко не безразличны для писателя и общественного деятеля, но поймите же, господа, что даже и к ним мы имеем право подойти только со стороны подсудности и взаимной ответственности *общественной*. И в этом порядке писатель-публицист,

как выдающийся деятель слова, без всякого сомнения, есть подсудная общественная сила. И даже более того, он не есть отдельное индивидуальное явление. Ведь за ним всегда стоит масса его единомышленников. Он и заслуживает особенного внимания и особого суда именно потому, что в нем мы считаемся не с личностью, а с представителем целого лагеря. Здесь говорилось о нашем деле, как о борьбе двух лагерей. Конечно, в этом вся суть его. Конечно, обывательский и филантропический взгляд, будто кто-то обижает почтенного по талантам члена Общества, взятого как отдельную личность, в данном деле наивен, недостойн серьезных, взрослых людей. Конечно, сводятся счеты двух лагерей, и лагерей не политических, а религиозных. В религии также есть два разных духа: дух освобождения и дух порабощения, тонкий, лукавый дух, убивающий и ворующий человеческую свободу под видом высочайших мистических переживаний. Мы признаем, что Розанов действительно значительный деятель религиозно-философской мысли в России, но чей он слуга? Какого из двух религиозных духов? Какого из двух религиозных лагерей? И какому духу должно служить наше Религиозно-философское общество? Какое знамя должно оно поднять? Какие религиозные силы оно будет накапливать?

Да, мы хотим разделиться с Розановым, чтобы имя его не мешало нашему Обществу служить религиозной силе, освобождающей и самую религию, и самого человека, до конца освобождающей религию от всех позорящих ее оков и прежде всего — от позорящей ее роли служительницы всяческого порабощения. Мы хотим, чтобы Религиозно-философское общество не было местом убежища для усталых и сбившихся с пути, потерпевших кораблекрушение политиков после 1905 года, чтобы оно не было местом отдыха для современных модернистов, все понимающих, всем интересующихся и все превративших в пустую, бесплодную забаву оскопленного ума и сердца, а хотим, чтобы здесь было место, где духовно здоровые элементы Общества находили бы вдохновение и поддержку в нравственной ревности о правде Божьей на земле, как на небе. Под именем Розанова мы от глупины души боремся с величайшими культурными и религиозными соблазнами того националистического и церковного лагеря, для которого Розанов так характерен. Нам совершенно не важно, в какую юридическую форму облечь наше разделение с Розановым, важно лишь провозгласить, что мы не с его лагерем, что мы не в духовном общении ни с ним, ни с его пакостями, ни с его идеалами! Пусть его лагерь не оеживает комара, не занимается юридической мелочью, «исключен» или «не исключен»

Розанов. А пусть честно и серьезно считается с нами и знает, что мы не крючкотворствуем и не вертимся, а идем напрямик, что мы его честные и гордые враги!

**Председатель.** От действительных членов В. А. Степанова<sup>27</sup>, А.Я. Ефименко<sup>28</sup>, А. А. Мейера, Н. А. Гредескула, А. Г. Волочковой<sup>29</sup> и Е. В. Аничкова поступило в Совет Религиозно-философского общества следующее предложение: «Ввиду неясности Устава при решении вопроса об исключении из Общества кого-либо из членов Общества и ввиду необходимости обсуждать вопрос по существу, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем вам вместе голосования об исключении Розанова из Общества на основании ст. 26 Устава, обсудить и голосовать следующую резолюцию: “Выражая осуждение приемам общественной борьбы, к которым прибегает Розанов, общее собрание действительных членов общества присоединяется к заявлению Совета о невозможности совместной работы с В. В. Розановым в одном и том же общественном деле”»...

Ввиду того, что Совет отказывается от первоначального предложения вынести на решение общества вопрос об исключении Розанова, я предлагаю голосовать прочитанную резолюцию. Разумеется, в голосовании могут принять участие только действительные члены Общества.

**С. А. Алексеев.** По поводу последнего предложения я буду говорить формально. Это предложение по существу действительно новое, ибо в окончательной форме, в качестве предложения, оно поставлено только сейчас. Многие из говоривших сказали бы совершенно другое, если бы это предложение было поставлено раньше. Я лично мог бы многое сказать.

**Председатель.** Это неудобно.

**С. А. Алексеев.** Я знаю, что это неудобно, и потому хотел бы, чтобы этому вопросу было посвящено еще отдельное заседание.

**Председатель.** Общество уже два заседания посвятило обсуждению этого вопроса, и его невозможно опять откладывать. Опять возникнут прения и с тою же страстностью. Этот вопрос надо разрешить сейчас (*голос: «Почему?»*). Затем, отвечая на ваше заявление, что это предложение новое, я должен сказать, что всякое предложение вытекает из прений. Разумеется, это предложение новое, но оно вытекло из бывших здесь прений.

**Свящ. К. М. Аггеев**<sup>30</sup>. Мне кажется, нужно пополнить редакцию, тогда она будет приемлемее для многих, которые иначе бы затруднились присоединиться к ней.

**Председатель.** Не укажете ли, какая редакция вам желательнее? Я могу голосовать только конкретные предложения. Я просил бы всех представлять определенные резолюции. Я их все поставлю на голосование.

**Свящ. П. В. Раевский.** Я бы просил поставить на голосование вопрос об исключении.

**Председатель.** Совет отказался от своего первоначального предложения.

**Д. В. Философов.** От имени Совета делаю внеочередное заявление. Мы не отказывались ни от чего. Мы присоединились к внесенному предложению для того, чтобы доказать, что вовсе не желаем заниматься формальными вопросами, судебскими обязанностями. Мы присоединяемся к мнению шести уважаемых членов Общества для того, чтобы не порождать лишних разговоров и покончить ясно и определенно с вопросом. Меня крайне удивляет, что действительный член Общества, священник Раевский, считает возможным указывать нам, какие мы должны от своего имени предлагать резолюции. Если говорить откровенно, сегодня судили не только Розанова, сегодня четыре часа судили нас, и, следовательно, от нас зависит, что мы предложим на обсуждение Общества, тем более, что вопрос стоит так: если резолюция не встретит большинства, мы слагаем с себя обязанности.

**Председатель.** Мы посвятили более трех часов прениям по вопросу об исключении Розанова. В результате этих прений возникло другое предложение. Я не могу его не голосовать. Я считаю себя нравственно обязанным все резолюции, которые будут предложены, проголосовать. Если Общество признает, что эта резолюция не была обсуждена — оно ее отвергнет, но я не имею права не ставить на голосование то, что предлагается членами Общества. Вот почему я ставлю все резолюции, которые мне будут предложены. Пока я имею две определенных резолюции; одна из них мною уже была прочитана, и я ставлю ее на голосование. Другая резолюция гласит: «Выражая полное доверие Совету Религиозно-философского общества в его наличном составе и его религиозно-философской позиции, Собрание воздерживается от осуждения своего члена по соображениям принципиальным». Обе резолюции я предложу на голосование.

**Д. С. Мережковский.** Есть известный минимум, на который совет может идти, и этот минимум выражен в предложенной резолюции. В случае, если этот минимум не будет принят, то Совет уходит, ибо все время так и ставился вопрос — или мы, или Розанов. Резолюции можно предлагать до бесконечности и



смягчать, но мы не можем пойти дальше известного предела. Этот предел и указан внесенной резолюцией. Ни от чего мы не отказываемся. Для нас эта резолюция имеет, разумеется, значение не юридическое; но с самого начала мы не хотели стоять на юридической почве. Если Обществу не угодно будет принять эту минимальную формулу, то нам здесь больше делать нечего.

**Свящ. К. М. Аггеев.** Изменения могут быть не по пути смягчения, а по пути усиления, что будет более соответствовать настроению присутствующих лиц. Я эту резолюцию оставляю, но только предлагаю прибавить: «Признав теперешнее мирозерцание В. В. Розанова глубоко противоречащим христианству и осуждая» и т. д.

**Д. С. Мережковский.** Нет, тут суд заключается в общественности. Мы не имеем права иначе судить: это будет уже инквизиционный суд.

**Председатель.** Теперь без четверти час. Вопрос достаточно обсуждался, и, очевидно, должен быть предел. Я прошу подавать резолюции, которые и проголосую. Пока у меня имеются две резолюции. Прения прекращены. (*Читает одно дополнение к резолюции*): «Общество считает, что присутствие Розанова в его среде будет явным насилием над обществом».

Я сначала проголосую предложение Совета, а затем дополнение. Ставлю на голосование резолюцию: «Выражая осуждение приемам общественной борьбы, к которым прибегает Розанов, общее собрание действительных членов общества присоединяется к заявлению Совета о невозможности совместной работы с В. В. Розановым в одном и том же общественном деле». Голосование будет происходить записками. Форма принятия — плюс, форма непринятия — минус. Форма воздержания — пустая записка.

(*Производится голосование записками.*)

**Председатель.** За принятие резолюции высказалось 41 лицо, за непринятие — 10 при двух воздержавшихся. Всего голосовало 53 лица. (*Аплодисменты*). Затем ставлю на голосование поправку к резолюции: «и полагает, что дальнейшее пребывание В. В. Розанова в среде Общества явится явным насилием над большинством общества». Ставлю на голосование это дополнение в том же порядке. Поправка отклоняется 24 голосами против 9.

**Председатель.** Объявляю заседание закрытым.

### Дополнительное сообщение от Совета

После заседания 26 января Совет уведомил В. В. Розанова о принятой на этом заседании резолюции и послал ему в обычном порядке, как не исключенному юридически члену Общества, повестку на следующее очередное собрание. На повестке данного заседания, между прочим, в числе лиц, предназначенных к баллотировке в действительные члены Общества, стояло имя С. О. Грузенберга<sup>31</sup>, автора книги о Шопенгауэре и многих других философских трактатов, отчасти сопредельных с теологией.

По получении уведомления Совета и рядовой повестки, В. В. Розанов прислал председателю Общества следующее письмо, которое и было доложено ближайшему общему собранию без всяких комментариев:

*Господину Председателю  
Религиозно-Философского Общества в Петербурге*

Милостивый Государь  
Антон Владимирович!

Благодаря Вас за присылку повестки и официальной бумаги от имени Совета Общества, — я из первого документа усмотрел, что между прочими лицами баллотируется «в действительные члены» нашего Общества г. С. О. Грузенберг. Не находя никакой возможности находиться в одном Обществе с г. Грузенбергом, по моральным причинам, существо коих после Киевского процесса должно быть Вам ясно, честь имею покорно просить Вас одновременно с принятием в действительные члены названного выше лица исключить меня из действительных членов Религиозно-философского общества. О чем прошу Вас официально доложить Совету Общества.

Примите уверение в совершенном моем к Вам почтении.

*В. Розанов.*

Сознательно или нет, в данном письме В. В. Розанов смешал имя С. О. Грузенберга с представлением об известном защитнике Бейлиса — О. О. Грузенберге<sup>32</sup>. Существа дела и того законного вывода, какой сделал из этого Совет, вычеркнув имя Розанова из списков членов Общества и прекратив ему с того момента посылку повесток, — это конечно нисколько не меняет. Если О. О. Грузенберг и не состоит в настоящее время членом нашего Общества, то, конечно, во всякий момент он может войти в него, если только пожелает.

Приведенной мотивировкой своего выхода из Общества В. В. Розанов встал на совершенно тождественную с Советом и большинством Общества точку зрения и открыто подписался под принципиальной правильностью всей постановки его дела в Религиозно-философском обществе. В. В. Розанов с некоторым запозданием признал и для себя обязательным то элементарное правило общежития, по которому не только сидение рядом, но даже зачисление в списки какой-либо организации не есть факт безразличный для характеристики и общественной деятельности любого члена Общества, все равно — правого или левого направления.

Оправдав, таким образом, действия Совета и изобличив себя самого, В. В. Розанов лучше, чем кто-либо, изобличил несостоятельность и всех своих защитников.





## **А. А. СМИРНОВ**

### **О последней книге Розанова \***

Книга В. Розанова посвящена целиком вопросу о ритуальных убийствах у евреев. Она составилась из статей, напечатанных за время разбора дела об убийстве Ющинского, с присоединением нескольких статей, написанных еще в 1911 г. Эти последние являются ясным указанием на то, что точка зрения Розанова на вопрос возникла у него не только в связи с упомянутым делом и на подкладке его, но вытекла органически из основных черт его личности и мироощущения. Впрочем, едва ли есть надобность доказывать это тем, кто помнит прежние писания Розанова, хотя бы его «Письма о юдаизме», напечатанные им в «Новом пути» лет десять тому назад<sup>1</sup>. Мы не находим в книге вполне ясной формулировки мнений автора. Есть немалая разница, иногда даже противоречия, между отдельными главами-статьями. Кроме того, очень трудно отличить мысли самого Розанова от мыслей его корреспондентов, письма которых он печатает. Все это очень характерно для Розанова и нам давно знакомо. В общем, сквозь массу недомолвок можно уловить следующее. Розанов считает, что ритуальные убийства совершаются не отдельной какой-то сектой хассидов, а еврейством в целом. Но при этом он отрицает, что убийства эти вызываются чувством ненависти. Нужна детская кровь, все равно чья, но своего, еврейского ребенка убить «страшно, жалко»; потому только берут ребенка христианского (с. 127). Не верит Розанов и в средневековую (так он сам выражается) легенду об употреблении евреями крови в пищу, в частности, как примесь в маццу. «Ритуал, — говорит он, — состоит просто в пролитии крови, обонянии и осязании ее». Точка зрения странная, оригинальная и не совсем совпадающая с «взглядами» крайней правой печати.

\* В. В. Розанов, «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», СПб., 1914.

Говорить о Розанове трудно, неимоверно трудно. Мерки, с которыми подходишь к оценке всякого другого писателя, к нему неприменимы, — до того он скользок и неуловим, до того он весь в намеках, недомолвках! Сам Розанов целиком «по ту сторону» не только добра и зла, но и истины и лжи. «Мысль изреченная есть ложь» — не сознательный девиз его, а самое существо его мышления. Он весь в антиномиях. Опровергать Розанова, ловить его на ошибках, противоречиях и передержках — нечто в настоящее время совершенно излишнее и ненужное. Только о том, что есть ценного в писаниях его, и стоит говорить. Выделить же это ценное нелегко, а проглядеть его очень просто. Между тем несомненно, что часто Розанов видит больше и глубже, чем другие; всматривается, осязает глубже и как-то особенно «по существу». Когда Розанов высказывает что-нибудь явно неверное, решение вопроса о том, заблуждается ли он добросовестно или сознательно искажает истину — неважно, ибо самый вопрос этот о нем не может ставиться. На с. 79 его книги имеется изумительное описание крота, существа не то надземного, не то подземного, которое ныряет, плавает и дышит в земле. Таким кротом является и сам Розанов. Он плавает в какой-то таинственной стихии мысли и чуткости, которая еще не дифференцировалась на истину и ложь. Но все, что он говорит, если не *есть*, то *могло бы быть*, ибо всегда касается какой-то *сути*.

Книга Розанова — одна из самых интересных и, может быть, самых значительных из всего, что писалось по этому вопросу, — конечно, если выйти из плана позитивного рассмотрения его. Я лично не верю в правильность ни одного из предположений и выводов Розанова. Некоторые ошибки и ложные толкования бросаются в глаза. Поистине удивительное открытие сделал Розанов, найдя текст о вкушении крови евреями (это после того, как перед тем он доказывал, что евреи не вкушают, а лишь обоняют и осязают кровь!). Моисей разгневался на Елезара и Ифамара: «Вот, кровь ее (жертвы) не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено (Богом) мне» (Левит X, 16–18). С таким же успехом на основании фразы: «девочка принесла мне булку, и я с жадностью стал ее есть», Розанов мог бы доказывать, что рассказчик съел девочку. Ясно, что все дело в совпадении рода; «ее» в тексте относится к «жертве». Неужели Розанов не видел этого?.. Неужели в виду явной грамматической двусмысленности ему не пришло в голову взглянуть в текст на языке, на котором слова «жертва» и «кровь» разного рода, напр<имер>, на французском? Еврейский текст, как мне сообщил один профессор, специалист по семитическим

языкам, не допускает сомнений в том, что «ее» относится к «жертве». Но и без этой справки, по смыслу нужно перевести не так, как это делает Розанов. В предыдущих строках говорится о крови и жертве (обескровленной! Кому, как не Розанову, это знать!) как о двух разных вещах. При этом высказывается повеление съесть *жертву*. Ergo... А ведь Розанов умеет читать Библию, понимая... Неприятно читать рассказ Розанова о том, как однажды в доме одного *еврея* собравшиеся его друзья — *русские* — пробовали, *в шутку*, вкус крови *еврейского* юноши<sup>2</sup>. В этом Розанов видит проявление еврейского атавизма! Можно ли представить, чтобы он мог проявить столько непонимания и нечуткости?.. В вопросах истории и филологии Розанов зачастую наивен и не осведомлен. Неприятно действует и ссылка в предисловии на двух анонимных ученых, и псевдонимы (Омега, Под Забралом) авторов печатаемых Розановым писем. Лучше уж говорил бы он только от себя и за себя.

Но все это, и даже еще большее, хочется забыть и опустить ради основного: книга переносит вопрос из плоскости социальной и исторической в единственно правильную плоскость — *религиозную*. Розанов во всей полноте оценил тот факт, что ни у одного народа из существующих ныне, по крайней мере в Европе, религиозность, не заостренвшаяся в качестве формального, подчас бездушного исповедания догмы, но как чувство переживаемое и направляющее всю деятельность, не сохранилась в столь живой и интенсивной форме, как у евреев. Пусть все толкования Розанова, касающиеся еврейской религии, ложны, — самый подход его к вопросу и ряд проникновенных наблюдений не должны быть пропущены никем, кому ценно рассмотрение подобных вопросов по существу.

Может показаться, что в настоящей книге Розанов сильно изменил свои прежние воззрения. В знаменитой, так ярко выраженной им антитезе Христос–Израиль, Новый и Ветхий Завет, прежде он явно гораздо более тяготел к Ветхому Завету, к Израилю. Изменение (не эволюция, конечно!) центра тяготения у Розанова началось уже раньше (см., напр<имер>, «Темный Лик», 1911 г.). Теперь же он не находит для евреев (т. е. для юдаизма) иных слов, как «вы порождения ехиднины», «ваш отец дьявол есть»... (с. 98). На деле, однако, разницы почти нет. Антитеза Христос–Израиль была Розановым с самого начала развита как неразрешимая *антиномия* (как и все его мышление протекает в антиномиях). Почему *прежде* он тяготел более к Израилю, а *теперь* к Христу, а не наоборот, — вопрос, который для существа дела не имеет значения.

Не буду разбирать частностей книги. Отмечу лишь одно удивительное обстоятельство. Никто до сих пор не реабилитировал еврейства в такой полной мере и так по существу от взведенного на него чудовищного нареkania, как Розанов. *Все* говорит за то, что ритуальных убийств евреи не совершают. Но *если бы* что-либо подобное существовало, это следовало бы признать не актом злой воли, испорченности, чего-то порочного, но актом чистейшего и величайшего, хотя бы изуверского, проявления религиозности. Разъяснение того, что о какой-либо «гнусности» здесь не может быть речи, — заслуга Розанова. Ведь не назовет же ни один образованный человек «гнусностью» действия хотя бы наших скопцов, хотя они и преследуются законом! Если людям темным этого величайшего различия не понять, то людям сколько-нибудь культурным оно должно быть ясно. Между тем, известный «протест против кровавого навета» вопроса не исчерпал. Он был продиктован чувством негодования против ни на чем не основанного обвинения целого народа. Но в тоне его может почувствоваться отношение к «навету» как к обвинению в чем-то порочном. И если бы вдруг оказалось, что нечто вроде ритуальных убийств существует (??), весь протест легко мог обернуться камнем, брошенным в еврейство. Необходимо было перенести весь вопрос в другую плоскость. «Протест» нуждался в каком-то предисловии или *post-scriptum*'е. Такой *post-scriptum* написал теперь Розанов. Сознательно или бессознательно он это сделал — другой вопрос. Все у него неясно, полно недомолвок. Иногда смысл возникает точно помимо воли автора. Приходится как бы читать между строк. Но общий смысл ясен, и мысль говорит за себя.







## **Н. Я. АБРАМОВИЧ**

### **Новое время и «соблазненные младенцы».**

**В. В. Розанов**

О Розанове здесь, по существу, говорить не место. Он не нововременец, несмотря на то, что работал в «Новом времени». Но закал его личности, его писательского и человеческого «я» не таков, чтобы на него могла иметь хоть малейшее влияние та атмосфера чиновничьего шумного убожества, которая царила в редакции этой газеты. Со своей стороны и он со своими темами всегда был там «чужим», взаимно отталкиваясь с сотрудниками этой газеты, которых он тайно, конечно, презирал.

В «Новом времени» лишь небольшая часть Розанова, и к тому же он даже и сюда ухитряется принести свои монеты, свою нумизматику, свои увлечения тайными, интимными и сложнейшими темами религии, философии и жизни (прекрасные фельетоны — о святых местах, о сказках Шехеразады<sup>1</sup>, о книге Дарского<sup>2</sup> и пр.); так что почти весь целиком, своей сложнейшей писательской фигурой Розанов не вмещается в этих столбцах и искать надо его не здесь, а в литературе вообще, в литературе космополитической, мировой, всеобщей, хотя он и носит отличительные черты именно русского писателя. Но темы его всеобщие и увлечения его тоже всеобщие.

Поэтому мы коснемся этого писателя в самых общих чертах, не полагая важным, что на большой жизненной дороге писателя случилось его встретить в том или ином обществе или в той или иной гостинице. Для Розанова это несущественно, как не существенно вообще для большого писателя все то, что из внешних обстоятельств ставится ему в плюс или минус. Чем больше писательское дело, тем больше заслоняет оно все эти внешние обстоятельства, которые только тогда скрывают от глаз писательскую фигуру, когда она миниатюрна.

Розанова укоряют за хуление радикальной общественности, за непристойные выходки по ее адресу, а также за непрестанное

влечение к теме, в глубине которой скрыто эротическое раздражение и вообще вкус эротизма.

Было бы нелепо «защищать» Розанова. Его надо разъяснять, демонстрировать, как сложнейшее и любопытное жизненное явление, к его теме надо возвращаться, выявляя ее отчетливой среди субъективных и смутных узоров и движений мысли Розанова. То плодоносное, что оставил он нам, представляет огороженный сад, в котором еще не все зацвело и распустилось. Но в почве этого сада заложены им богатейшие семена жизненных всходов. И если считаться не с «пустынями», а с существом дела, то тот самый Розанов, которого называют растлителем мысли и маньяком пола, оказывается в неизмеримо большей степени садовником и хранителем свежей и здоровой, полной соков и сил жизни, чем «недотепы», из всех лагерей, пускающиеся в обсуждение и осуждение Розанова, не понимая его там и не стыдясь собственного литературного невежества.

В писаниях Розанова действительно есть эротизм, переродившийся, как бы перебродивший, перегнаный в философию. Муть органических влечений и низменных рабских очарований проходила через перегонный куб отвлеченного мышления, через высшее начало в человеке, владеющее органом разума и выражения. И возникало слияние органического, плотского с отвлеченным. Возникало отражение духа и плоти и идеи в чувственном.

И с особенной любовью и сладострастным вкусом зарывался он в плотские низины, ища в них идейного проблеска, отзвуков той человеческой религии, которая соединяет верх и низ, звуча в теме эротизма, в размножении и продлении жизни и в исканиях Бога и окончательного смысла.

Как на просфоре есть знак церкви, так на плоти он видел тайные знаки высших идей и высших целей и человеко-божеских откровений. Любители «клубнички» и ревнители нравственности с одинаковым пристрастным вниманием останавливались на его частых упоминаниях органов рождения и страсти по их связи с откровениями древних религий и по их мощи, жизненной во все времена. Через острый и томительный вкус этих чувств он шел к идеям, притягиваемый к ним не холодным и бесцветным обликотом правды, но также запахом, формами и красками плотского.

Не по случайности вырываются у него отдельные идеи, хотя он и рекомендует себя как раздробленного писателя. На самом деле афористическая форма его «Уединенного» и «Опавших листьев» знаменует только тайную цельность внутреннего «я», ока-

зывающуюся внезапно и мгновенно и фиксируемую в этих случайных и интимных проявлениях. Из-под спуда вырываются эти отдельные идеи, за каждую он отвечает, как за органическую идею своего мирозерцания.

Он выступил в литературе как консерватор, привыкший сочетать движение культуры с исконной русской правдой православия, с духом церкви. И он, перейдя потом в лагерь либералов-эстетов и мистиков, не мог уступить этой части своего духовного существа «левым» и не мог поправить «свободы» своего выражения. Временами из него выпирала хула рационализму и общественности, проявлялась та естественная ненависть мистика и отвлеченного теоретика к духу рационализма, связанного у него неразрывно с духом общественности, которая выражалась Розановым в непристойных и порой диких по цинизму и вульгарности выражениях. Это считают подлостью и кривдой. По существу, Розанов мог сочетать уважение к духовной свободе с ненавистью к борцам за нее рационалистам.

Вернувшись окончательно в темные подвалы «Нового времени», он уже с крайним раздражением, ища яркой, грубой и оскорбительной хулы, обрушился на русские общественные святыни. И — стал проклятым и отчужденным.

«С общественным человеком я не то, чтобы скучаю, а умираю»... Вот разгадка его ненависти и цинизма.





## **А. СЕЛИВАЧЕВ**

### **Психология юдофильства**

*Посвящается И. И. Юрьенсу  
в память 1914–15 учебного года*

Термин и понятие юдофильства в обычном смысле этого слова возникли не самостоятельно, но в виде противовеса термину и понятию юдофобства, или антисемитизма. Именно, юдофильством называется отрицание юдофобства, поскольку это отрицание является искренним и незаинтересованным. Поэтому обычное юдофильство может быть названо юдофильством негативным. Далее, главным содержанием юдофобства является проповедь борьбы с еврейством путем государственного законодательства и общественной самодеятельности. Что же касается теоретических положений юдофобства, то их значение обуславливается теми практическими выводами, которые из них можно сделать. Поэтому мы замечаем, что антисемитизм не обладает стройно разработанной теорией, и многие его положения являются противоречащими друг другу. Укажем, например, на то, что в Германии некоторыми крайними антисемитами 70-х годов был выставлен проект воскрешения старой национальной религии Одина и Тора в целях полной эмансипации от иудейских культурных элементов, в то время как большинство приверженцев антисемитизма являлись сторонниками христианства и христианизации евреев; укажем на различие в оценке древнего и нового иудейства у одних и на смешение их у других антисемитов, на различную оценку степени важности отдельных сторон еврейского вопроса — религиозной, национальной и экономической, и т. п. Указанные черты антисемитизма разделяются и юдофильством: ставя себе главной целью доказать ненужность проповедуемой первым борьбы с еврейством, оно пользуется для этого различными аргумента-

ми, не объединенными в стройную систему. В зависимости от характера этих аргументов юдофильство можно разделить на два главных направления. Первое может быть названо юдофильством гуманитарным. Оно возражает антисемитам указаниями на природное равенство людей, на необходимость всеобщего равенства перед законом и т. п.; евреев оно рассматривает не как таковых, а как людей вообще. Второе направление — это юдофильство христианское, характерным представителем которого является Влад. Соловьев. Это направление возражает антисемитам указанием на иудейское происхождение христианства и отчасти на грядущую роль евреев в христианской церкви. Вообще же юдофильство, имея своей целью увеличить права и благосостояние еврейства или сохранить их против посягательства антисемитизма, есть явление социально-политическое и, имея большое значение для социолога и политика, для психолога представляет сравнительно мало интереса; то же самое надо сказать и об антисемитизме. К тому же о том и другом было писано очень много.

Однако, кроме негативного социально-политического юдофильства, встречается, хотя и очень редко, особый род юдофильства, который можно назвать позитивным психологическим юдофильством. Под этим названием я разумею высокую оценку еврейской религии и культуры, увлечение ими, доходящее до принятия иудаизма. Такое юдофильство возникает как нечто самостоятельное, а не является лишь возражением противоположному направлению, и в этом смысле оно позитивно; также он оценивает положительным образом евреев как таковых, а не защищает из них лишь представителей абстрактного человечества или бывших основателей христианства. Не имея прямого отношения к политике, оно может соединяться как с политическим юдофильством, так иногда и с антисемитизмом. Последнее обстоятельство не должно казаться удивительным: ведь часто бывает, что мы, восхищаясь каким-нибудь человеком и желая подражать ему, в то же время будем вести с ним борьбу за существование или первенство. Такое юдофильство разрабатывает свои положения гораздо глубже, чем обычное боевое юдофильство и боевой антисемитизм, и в этом отношении к нему подходит еврейский антисемитизм, также лишенный элемента практической борьбы и потому выигрывающий в цельности (пример — Вейнингер).

Задачей настоящей статьи является рассмотрение позитивного юдофильства у христиан нового времени. <...>

## II

## В. В. РОЗАНОВ

Рассмотренные нами прозелиты принадлежат к другим народам или относятся к прошлому времени. Гораздо интереснее поэтому рассмотреть юдофильские идеи нашего современника, известного русского писателя В. В. Розанова. Следует, однако, сделать оговорку: Розанов не переходил и не пытался перейти в иудаизм, а кроме того, в последнее время, как известно, выступил с несколькими статьями и книгами резко юдофобского характера. Тем не менее это не может помешать нам рассматривать его как одного из самых видных представителей если не формального, то внутреннего иудейского прозелитизма. Поясним это сравнением. Чаадаев, как известно, не перешел в католицизм и к концу жизни отказался от своего мировоззрения, примкнув во многом к славянофилам; однако это не мешает тому, что каждый, интересующийся историей католикофильского движения в России, должен познакомиться с сочинениями Чаадаева как самого видного по глубине разработанных им католикофильских идей представителя этого направления. Совершенно так же обстоит дело и с В. В. Розановым, ибо ни у кого мы не встречаем столь подробного и глубокого обоснования юдофильства, как у него, хотя это обоснование нигде не высказывается у него в законченном виде, но состоит из отдельных мыслей, разбросанных по разным местам почти всех его сочинений.

Имя Розанова нередко можно встретить в соединении с именем Мережковского. Действительно, у них есть некоторые общие черты: оба являются писателями на религиозно-философские темы, оба много занимались вопросом о сущности христианства, оба отрицательно относятся к господствующему в русском религиозном сознании идеалу и пытаются реформировать русское религиозное сознание в сторону реабилитации «святой плоти». Но черты различия между ними существеннее черт сходства. В то время как Мережковский является писателем, возродившим диалектический метод Гегеля, оперирующим отвлеченными понятиями и нещадно искажающим факты, подгоняя их в рамки своей теории, Розанов представляет из себя противоположную крайность: он не только не признает никаких насилующих факты схем, но даже старается обойтись в своих рассуждениях без соблюдения логических законов \*, и многие из рассуждений

---

\* Об этом подробнее см.: *П. Струве*. Большой писатель с органическим пороком («Русская мысль», 1910, кн. XI; или «Patriotica», с. 492 и сл.).

Розанова напоминают собой следующий полушуточный отрывок из «Уединенного»: «Иду раз по улице. Поднял голову и прочитал: Немецкая булочная Розанова. Ну, так и есть: все булочки — Розановы, и, следовательно, все Розановы — булочки» (с. 53). Противоречия в рассуждениях Розанова не смущают его, и он даже не пытается сгладить их. В книге «Толстой и русская церковь» он говорит: «Русская церковь поистине приводит в смятение дух: около древнего здания ходишь и проклинаешь, ходишь и смеешься, ходишь и восторгаешься» (с. 5). В более общем виде высказывается подобная мысль в «Уединенном»: «Есть вещи в себе диалектические, высвечивающие и одним светом, и другим, кажущиеся с одной стороны так, а с другой иначе. Мы, люди, страшно несчастны в своих суждениях перед этими диалектическими вещами, ибо страшно бессильны. Бог взял концы вещей и связал в узел не развязываемый. Распутать невозможно, а разрубить — все умрет. И приходится говорить: синее, белое, красное. Ибо все есть» (с. 62). Там же он делает следующее признание: «Удивительно, как я удеывался с ложью. Она никогда не мучила меня. И по странному мотиву: а какое вам дело до того, что я в точности думаю, чем я обязан говорить свои настоящие мысли. Если тем не менее я в большинстве (даже всегда, мне кажется) писал искренно, то это не по любви к правде, которой у меня не только не было, но и представить себе не мог, а по небрежности. Солгать, для чего надо еще выдумывать и сводить концы с концами, труднее, чем сказать то, что есть. Поэтому мне часто казалось, что я самый правдивый и искренний писатель: хотя тут не содержится ни на скрупул нравственности. Так меня устроил Бог» (с. 185).

Основную черту в характере Розанова представляет его религиозность. «Знаете ли вы, — говорит он в «Уединенном», — что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, с тем не для чего спорить. Мимо такого нужно просто пройти. Обойти его молчанием. Но кто это знает? Многие ли? Вот отчего в наше время почти не о чем и не с кем говорить» (с. 168).

Бога Розанов ощущает как реальность: «От Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое теплое для меня. С Богом мне всего теплее. С Богом никогда не скучно и не холодно. В конце концов Бог — моя жизнь. Я только живу для Него, через Него. Вне Бога меня нет. Что такое Бог для меня? Боюсь ли я Его? Нисколько. Что Он накажет? Нет. Что Он даст будущую жизнь? Нет. Что Он меня питает? Нет. Что через Него существую, создан? Нет. Так что же Он такое для меня? Моя вечная грусть и



радость. Особенная, ни к чему не относящаяся. Так не есть ли Бог мое настроение? Я люблю Того, Кто заставляет меня грустить и радоваться, Кто со мной говорит, меня упрекает, меня утешает. Это Кто-то. Это Лицо, Бог для меня всегда “Он”. Или “Ты” — всегда близок. Мой Бог особенный. Это только мой Бог, и еще ничей. Ели еще чей-нибудь, то я этого не знаю и не интересуюсь» («Уединенное», с. 116). «Я не спорщик с Богом и не изменю Ему, когда Он по молитве не дал мне милости: я люблю Его, предан Ему. И что бы Он ни делал, не скажу хулы, а только буду плакать о себе» (с. 220). Свою связь с Богом Розанов ощущает особенно сильно именно в качестве писателя: «Слияние своей жизни, особенно мыслей и, главное, писаний с Божеским “хочу” было постоянно во мне, с самой юности, даже с отрочества. Какое-то непреодолимое внутреннее убеждение мне говорило, что все, что я говорю, хочет Бог, чтобы я говорил. Иногда это убеждение доходило до какой-то раскаленности. Я точно весь делался густой, мысли совсем приобретали особый строй, и язык сам говорил. В такие минуты я чувствовал, что говорю какую-то абсолютную правду, и под точь-в-точь таким углом наклона, как это есть в мире, в Боге, в истине в самой себе» (с. 189). Поэтому Розанов позволяет себе объявить: «Каждая моя строка есть священное писание, и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть священное слово» (с. 181).

Нельзя не заметить сходства между таким настроением Розанова с чувством Бога и своей боговдохновенности у еврейских пророков. Неудивительно поэтому, что еврейское Богоощущение Розанов предпочитает европейскому Богопониманию: «Адонай евреев чрезвычайно далек от той отвлеченной универсальности, какую придавал Первому Двигателю Аристотель или Мировому Разуму Платон и какую имеет Существо Единое, Вечное, Всеблагое и пр. средневековых схоластов. Это Бог не столь великий и более теплый. Дыханием Его согрет Израиль. Гораздо более похоже на дело, что европейцы не имеют никакого Бога у себя в сердце, и эту пустоту умственную и сердечную наполняют чисто-абстрактным именем Бога» («Около церковных стен», т. I, с. 253). Интересно понимание Розановым непроизносимой тетраграммы имени Божьего у евреев: по его догадке, это было не имя, а зов, тайна которого заключается в том, что Бог не может не отозваться на него, и является тут со всем своим могуществом. Поэтому, кто умеет произнести тетраграмму, — владеет миром («Уединенное», с. 148). С библейскими пророками Розанов сам сопоставляет себя: «Я родился странником-проповедником. Так, в Иудее, бывало, целая улица пророчествует. Вот и я

один из таких, т. е. людей улицы (средних) и во пророках (без миссии переломить, наприм., судьбу народа)» («Уединенное», с. 276). Розанов скорбит об ослаблении пророческого дара в людях: «Мы угасили дух пророчества в себе. Бытие догмата угасило возможность пророчества. Мы чрезвычайно обеднели сравнительно с ветхозаветным еврейством» («Около церковных стен», т. II, с. 465).

Вторым основным свойством Розанова наряду с чувством Бога является чувство пола, проникающее все произведения Розанова, который выразился, что его сочинения «замешаны не на воде и даже не на крови человеческой, а на семени человеческом» («Опавшие листья», с. 337). Это чувство пола у Розанова очень своеобразно: оно состоит из двух элементов, сливающихся в одно целое — эротизма и стремления к деторождению. Даже у женщин далеко не всегда встречается такое взаимопроникновение этих двух инстинктов, у мужчины же они всегда резко дифференцированы, что заставляет Розанова утверждать, что «мужчина почти атрофирован в ощущениях пола» («Темный Лик», с. 100). Розанов же до такой степени объединяет в своем чувстве пола или чувстве брака любовь и деторождение, что ему в равной мере ненавистен как аскетизм, с одной стороны, так и всякая бесплодная эротика — с другой. Поэтому он относится с отвращением к однополрой любви, хотя и не понимает ее, что видно из его книги «Люди лунного света», пытающейся обосновать удивительное по бессмысленности положение, что аскетизм и однополая любовь — явления одного порядка и всегда тесно связаны друг с другом. Возмущаясь проституцией, он также называет «уродством» раннюю, около 11 лет, влюбленность, как у Байрона и Лермонтова: Розанов не понимает эротика без возможности зачатия. Беременность представляется ему красотой: он говорит, что его всегда «волновали и притягивали, скорее же очаровывали женские груди и беременный живот», и что он «постоянно хотел видеть весь мир беременным» («Опавшие листья», с. 288). Детей своих Розанов любит до того, что к книге «Опавшие листья» прилагает их портреты и помещает там рассказы о том, какие игрушки он покупал своим детям и т. п. Здесь же он говорит: «С детьми и горькое сладко. Без детей и счастья не нужно. Завещаю всем моим детям (сын и четыре дочери) иметь детей. Судьба девушки без детей — ужасна, дымна, прогоркла. Девушка без детей — грешница. Это канон Розанова для всей России» (с. 333). Но он не только любит детей, но даже, по его словам, учится у них: свою книгу «Религия и культура» он посвящает «детям-младенцам, которые всему-то, всему меня научили, именно в религии, именно в культуре».

Сравнивая брак еврейский и христианский, Розанов отдает решительное предпочтение первому: «Сущность брака, от альфы до омеги его, в чудном, Богоданном Бытии, на первоостранице Завета Вечного, который мы грустно переименовали в Ветхий, постаревший. Отсюда-то, в гармонии с браком эдемским, и таинственное обрезание, Аврааму данное: вот где и на чем полагаю я завет мой с тобою» («Семейный вопрос в России», т. I, с. 155). «Библейское чувство семьи и брака вовсе неизвестно в православии, и если бы где проявилось, вызвало бы величайшее озлобление против себя» («Русская церковь», с. 18). «Смотришь на евреев и завидуешь их семейной жизни. Развод у них легкий, тем не менее случаи развода не часты, и целомудрие супругов у них — факт общеизвестный. Иногда развод происходит по причине бездетности; проходит несколько лет после развода и вторичного брака, смотришь, у того и другого есть дети, тому и другому хорошо. Брак не пугает их драконовскими законами, молодые люди не боятся вступать в него, вовремя рождаются дети, родители успевают поднять их, о мезальянсах не слышать, детоубийство — редкость, и силу еврейства, в особенности его быструю размножаемость, надо приписать, между прочим, брачным законам его» («Семейный вопрос в России», т. II, с. 130). «В поле сила, пол есть сила. И евреи соединены с этой силой, а христиане с ней разделены. Вот отчего евреи одолевают христиан. Тут борьба в зерне, а не на поверхности, и в такой глубине, что голова кружится. Дальнейший отказ христианства от пола будет иметь последствием увеличение триумфов еврейства. Вот отчего так вовремя я начал проповедывать пол» («Опавшие листья», с. 192).

Подобно тому как эротическое и родительское чувства сливаются у Розанова в одно общее чувство пола или брака, так и это чувство пола не остается отделенным от другого основного чувства Розанова — чувства Бога, но сливается с ним в одно религиозно-половое чувство. По словам Розанова, «теизм сексуализируется, а *sexus* теитизируется» («В мире неясного», с. 123), «а-сексуалисты суть в то же время атеисты, они не встречались с Богом» («Уединенное», с. 138). «Нет высшей красоты религии, нежели религия семьи» («В мире неясного и нерешенного», с. 66).

Спрашивается, как должен был Розанов, исходя из своего чувства святости пола и брака, отнести к христианству и к иудаизму? Нетрудно предвидеть ответ. В христианстве Розанов встречается с ненавистным ему идеалом аскетизма, монашества, девства, абсолютно отсутствующим в иудаизме. «Христианство так же выразило собою и открыло миру внутреннее содержание

бессеменности, как иудаизм и Ветхий Завет раскрыли семенность. Там все семя, от семени начато, к семени ведет, семя собою благословляет. Здесь все отвращает от семени, как само лишено его» («Опавшие листья», с. 475). Розанов указывает, что проводимая некоторыми аналогия между христианским монашеством и еврейским назорейством, основываемая на том, что назореи воздерживались от вина и сикера, совершенно ложная. Описавши обряд принятия в назорейство, Розанов видит значение последнего в том, что будто бы «срок назорейства, избираемый обыкновенно на 30 или немного более дней, был темпом изощренно-чистых, глубоко-ясных в сознании *coituum*, конечно, ни малейше не преувеличенных в числе, но бесспорно более, так сказать, зернистых, полновесных, содержательных. На это указывает бритье волос около *genitalia*. Как мы, готовясь делать визиты и на праздник, бреемся, так бритье *genitalium* ясно знаменует праздник их, торжество их. А что Моисеево “обрей все тело кругом” имело в виду особенно *genitalia*, это ясно само собой. С монашеством назорейство имеет только то подобие, что назорей также чувствовал себя посвященным Богу, но не через пост, скопчество и молитву, а через *coitus*’ы, угодные Богу, посвященные Богу. Воздержание же от вина и сикера служило для увеличения половой силы, которая и по Талмуду слабеет от них» («Люди лунного света», с. 11). Монашеский идеал, не будучи в состоянии удержать всех христиан от брака и деторождения, все же приучает их гнушаться половой жизнью. «Мы, упиваясь вином, впадая в скотоподобие, допускаем себя до *coitus*’а. Это — животная сторона нашей природы, коей мы делаем невольную уступку. Евреи, не входя в наши рассуждения, но принимая во внимание наши чувства, естественно испытывают чувство гнусности от полового с нами общения; они не хотят переходить из храма в хлев». Ибо этот «неугасимый народ догадался о святом в брызге бытия там именно, куда мы в понятиях своих отнесли грех» («Религия и культура», с. 209, 237). «Бесспорно в общем, что евреи и до сих пор еще хранят тайну некоторого приблизительного девства и невинности в супружестве, тайну непорочно-го супружества» (с. 263). «В священную ночь с пятницы на субботу еврейские женщины стремятся принять в себя материнство: но как самая суббота есть мистический их праздник, то и восприятие материнства совершается у них мистически и царственно. Бедные торговки и сплетницы шесть дней, несчастные процентчики и часовщики в дни труда и забот, они среди свеч и огней и священных воспоминаний в вечер пятницы как бы становятся царями земли, рождают в себе царскую психологию,

находят небесную душу и возжигают свет новой жизни не как *свиньи и мы*, а как цари и священники» («Семейный вопрос в России», т. I, с. 302). Чрезвычайно ценным представляется Розанову существование у евреев простейших форм заключения брака рядом с более сложными. «У нас, в нашей церкви, есть правило: когда родившийся младенец очень слаб и грозит немедленно умереть, а поблизости нет священника, его может окрестить повивальная бабка или кто бы то ни было из присутствующих. Так вот, из этого я вижу, что крещение у нас ценится, что церковь и мысли не допускает о некрещеном человеке, схватывает таинство какими бы то ни было руками и при каких бы то ни было обстоятельствах и дает его человеку. Или, например, возьмем исповедь: тоже ведь оговорено, что она может быть и глухую, без ответов грешника, перед смертью или в случае тяжелой болезни. Но супружество? Совершенно очевидно, что если бы религией семейная жизнь мирян ценилась и требовалась столь же абсолютно, как ею абсолютно требуется в отношении себя состояние покаянности; и если бы она ни в мысли, ни социально, ни явно, ни тайком не допускала прелюбодеяния как беспорядочной и случайной формы половой связи без последствий и без обязанностей, то она установила бы, кроме сложных, и более упрощенные формы заключения брака, но, однако, брака же и именно формы, вплоть до одного благословения родителей, до простой мены кольцами, до взаимного, написанного на бумаге, обета взаимной верности. Моисей как подлинно священный союз ценил супружество и установил три формы для его заключения: полную, с несением шатра над женихом и невестой; сокращенную, состоящую в простых словах жениха невесте с меной колец: “Я беру тебя в жены себе по закону Моисея”, и третью, описанную в XXII главе “Исхода”: она заключалась в простом факте супружества. Очевидно, вся сумма девушек, перестающих быть таковыми, в Библии переходила в полный итог брака. Лучше ли это нашего, пусть судит каждый» («Семейный вопрос в России», т. II, с. 45).

Не дорожа, по мнению Розанова, сущностью брака, церковь тем упорнее охраняет от нарушений его внешнюю форму, затрудняя или совершенно запрещая развод. Не так у евреев. «Развод совершенно свободен у евреев еще со времен Ниневи и Вавилона, и семья у них очень чиста». «Муж может потребовать развода, не объясняя других причин, кроме того, что у жены дурно пахнет изо рта», — решил светило еврейства, кроткий Гиллель<sup>1</sup>. Конечно, мудрые раввины хорошо понимали, что если муж любит жену, то он не пожалуется на дурной запах у нее изо

рта, а перенесет даже и побои от нее. А если нет любви, то как вы ни запрещайте развод, ничего, кроме разврата, в браке не будет» («Семейный вопрос в России», т. I, с. 103, 106).

Гнушаясь деторождением, христиане особенно презирают незаконнорожденных, которых их матери часто убивают, желая избежать позора. Наоборот, у евреев «незаконнорожденные получают непременно почетное имя Авраама и как бы усыновляются целым народом» (Ibid., XII). Более того: даже законное рождение ребенка является у христиан греховным, ибо над родившей читается очистительная молитва. Правда, нечто подобное есть и у евреев: «в Библии была установлена очистительная жертва от роженицы через шесть недель после рождения дитяти; но она очищала грех, или, по библейской терминологии, нечистоту кровоистечения, и к младенцу, и к его рождению не относилась. В Библии все истечения из тела — гноя, семени и крови — оскверняли человека. Но чтобы акт рождения и само рождение как таковое было грехом, этого, конечно, мы в Библии нигде не найдем» (Ibid., т. II, с. 182). Интересно объяснение Розановым отречения от сатаны крещаемого младенца: «У нас всякий младенец, прежде чем вступить в христианскую общину, должен отречься от сатаны. И если не он, по бессилию, то за него кто-нибудь при словах отречения должен дунуть и плюнуть. Мне думается, что этот плевок прямо приходится в лицо родителям, которые для избежания совсем конфузного вида и уходят, т. е. выводятся за двери; да и гадливые жесты при этом, и в самом деле совершаемый плевок, — все очерчивает какую-то скверну, отречение от какой-то скверны, пакости; и я не могу не думать, да и никто не отвергнет, что это относится к родителям, которые напакостничали, родив» (Ibid., т. II, с. 6).

В то время как в христианстве брак унижается до разврата, в Библии, наоборот, проституция возвышается до подобия брака; Розанов указывает на повеления Бога пророку пойти к блуднице и указывает, что при храме жили женщины, занимавшиеся священной проституцией — *sacrae conjuges populi sacri* — священные супруги святого народа («Люди лунного света», с. 91).

Итак, во всем, относящемся к половой и семейной жизни, евреи стоят несравненно выше христиан. Но и во многих других областях Розанов отдает предпочтение иудаизму. Так, например, в покаянии: «У нас по общей вере грехи отпускаются как-то механически, и притом грешащий заранее знает, что они будут отпущены, и несколько рассчитывает на этот отпуск. Наконец, у нас грех совершается против одного, напр<имер>, богачом против бедняка, а отпускается другим, именно священником. У ев-



реев вовсе не так: если кто говорит: “согрешу и раскаяюсь”, то ему не дают возможности совершить раскаяние. И если кто говорит: “Я теперь согрешу, а День Очищения меня очистит”, то День Очищения такого не очищает. Грехи, совершенные человеком по отношению к Богу, очищаются Днем Очищения, а грехи, совершенные человеком по отношению к ближнему, очищаются Днем Очищения лишь после того, как он помирился с ближним своим (Иома, гл. 8; Тосефта, 9). То есть, у евреев устранена механичность из покаяния, и этот акт души, необходимый, но скользкий и развращающий при легкости отпуска, остается высокочеловечным и индивидуально трудным» («Около церковных стен», т. I, с. 253). Еврейское погребение Розанов предпочитает христианскому наперекор своему личному чувству. «Человек, не знающий ничего о христианстве, непременно передал бы так свое впечатление: у этого народа богов столько, сколько покойников; покойники носят одежды, как священники, и еще как иконы, и перед ними, как перед иконами, кадят ладаном, читают псалмы и поют молитвы» («Русская церковь», с. 9). Евреи же «кидают тела умершей жены, матери, брата в какую-то почти яму, без обряда, без слез, без уважения, с отвращением и религиозной брезгливостью. Труп для них — отец отцов нечистоты. Какой ужас в этом отношении для нас. Но под отвратительным обычаем какая глубина мысли, яркость ощущения жизни и демаркационной линии, проходящей между нею и смертью. Мы лобызаем покойников с большим благоговением, чем живых, мы немножко им поклоняемся, и какая красота у нас погребального обряда. Но какое же чувство под этим? Не утрата ли в самом ощущении нашем разграничительной между смертью и жизнью линии, не нахождение ли наше в области смерти как бы еще при жизни; и как выразился бы Платон, не то ли это значит, не то ли символизирует, что мы приняли идею небытия в самое бытие свое? И это жало смерти, идея небытия, пульсирует в нашей крови» («Религия и культура», с. 238).

Розанов стоит за абсолютное соблюдение субботнего отдыха, отмененного в Новом Завете. «Седьмой день дан человеку на отдых, на радость, на совершенное исключение труда, даже до запрещения собирать дрова для топки. Невозможно семь дней трудиться. Бог этого не указал, Бог это запретил. Об этом должно быть сказано твердое слово. Началось с того, что овцу вытащили в седьмой день из ямы, а кончилось тем, что стали в седьмой день людей сталкивать в яму. Вот отчего и рассказано в Священном Писании: “И привели к законодателю одного человека, собиравшего сучья древесные для топки в седьмой день, и спроси-



ли, что делать с сим человеком, отпустить или наказать? И сказал законодатель: Выведите этого человека за границу стана и побейте его камнями, потому что он нарушил седьмой день”. Никогда я этого не мог понять, всегда мне это представлялось чудовищно и жестоко. Только смотря на Петербург в праздник, я догадался, до чего это было человеколюбиво и народно. Мысль того жестокого дня раскрылась в веках. Один погиб, а миллионы спаслись. И погиб, что не послушался с абсолютностью непонятной ему правды Заповеди Божией» («Около церковных стен», т. II, с. 141).

Евангельское учение о нестяжании, тесно связанное с аскетизмом, несимпатично Розанову, который, как хороший семьянин, является усердным приобретателем. Упреки в чрезмерно дорогой цене его книг он отклоняет двумя забавными возражениями — первое, уже упоминавшееся, что его книги замешаны на человеческом семени, так что цена их не может быть признана слишком дорогой, второе — что дешевые книги — это некультурность, ибо книги не водка. Изданием своих книг он нажил, как он сообщает в «Уединенном», 35 тысяч рублей. Неудивительно поэтому, что он негодует по поводу евангельского рассказа о богатом юноше, ссылаясь в защиту своего мнения опять-таки на Ветхий Завет:

«И золото той земли хорошо, там бдолах и камень оникс» (Быт. 12, 2), так сказано о рае, который насадил человеку Бог. “Бог дал человеку в радость и золото, и я им не злоупотребил, отдавая часть его на пропитание бедным”, так мог подумать богатый юноша и отойти в искреннем смущении, полном непонимания. Тут была не слабость его души, как критикуют пошленькие критики, сами далеко не распускающие своей мощны для ближнего, а полная растерянность при очевидности, что тот Бог, который насадил рай, вовсе не то, что сей человек, который учит с Божескою властью и силой. Бедность! Бедные! Подайте бедному! Но ведь что же и раздать, когда будут все бедны, а напоследок времен они и не могут не стать все бедны, раз что никакой другой заповеди в поправку или дополнение ее, в изъятие и разнообразие не дано, а это однонаклонное и однотонное “раздай” исполнено ревнующими до точки. И вот — тиф; нужно бы раздать, да нечего — ничего не накоплено. Ибо где нет золота и бдолаха — нет и накопления. Не нищенские же корки копить. Да и вообще при нищем нужен же и подающий, и богатый юноша, который подавал, не должен ли был вовсе не смущенно отойти, а закричать на целый город, на всю всемирную историю: “Я исполнил Закон Божий и не хочу другого, горького, несущего беды людям» («Темный Лик», с. 72).

Розанов защищает Талмуд от представления, «что это какая-то черная книга, исполненная непонятного в одной половине и злобного в другой. Талмуд — это сплошная забота о евреях их

великих древних учителей. Здесь есть предмет для зависти всякой нации. О, если бы и мы уже 1000 лет тому назад имели подобную заботу о себе своих учителей и законодателей. Не пришлось бы тогда Чехову писать своих “Мужиков”, Толстому — “Власть тьмы”, и, может быть, М. Горький выбрал бы для себя более мягкий псевдоним. Таким образом, здесь есть предмет для зависти, но какой же для упрека? Пусть каждый народ имеет о себе ту заботу, какую он в силах иметь! Кто знает, может быть, сохраненный в силах и здоровья, он когда-нибудь придет на помощь другим народам, не имевшим о себе этих предохранительных забот» («Около церковных стен», т. I, с. 253).

Сравнивая Канта и Соломона, мудреца Кенигсберга и мудреца Сиона, автора «Критики чистого разума» и автора «Песни песней», как представителей христианской и еврейской культуры, Розанов отдает решительное предпочтение второму: «Какое блистание одежд у Соломона! Разве царица Савская захотела бы посетить Канта: довольно с него синих чулков» («В мире неясного и нерешенного», с. 139).

Какие же практические выводы делает Розанов из своего юдофильства? По его мнению, христиане должны восстановить все Второзаконие Моисеево с установленными Богом там брачными нормами. «И наше, и не наше, признаем и не признаем, завет, но ветхий. Да разве слово Божие стареет? И в которой книге, пророческой или Моисеевой, сказано: “Это временно, пока дается, а затем настанут дни и века, когда это будет ветхим”. Термин “Ветхий Завет” абсолютно отсутствует во всех книгах Ветхого Завета. И как мы решаемся писать на переплете заглавие, которого книга сама себе не дает?!» («Семейный вопрос в России», т. II, с. 172). Если же восстановление Ветхого Завета встречает непреодолимые препятствия, то следует, по крайней мере, приблизиться к его духу. «У нас нет обрезания, но для достижения его нуменальных задач и неодолимо могущественного на душу влияния надлежит, по крайней мере, философски обрезаться, т. е. повторить древний завет не кровью и ножом, но в обратившейся сюда и обширно развитой философии». Ибо «мысль обрезания — в религиозном устройении пола, в том, чтобы воспитать человека к религиозности здесь» («В мире неясного и нерешенного», с. 123). Розанов желает, чтобы христиане чаще давали своим детям библейские имена, чтобы были допущены смешанные браки христиан с евреями, чтобы праматери еврейского народа имели у нас иконописные изображения и т. д.

Неудивительно, что при таком взгляде на иудаизм Розанов возмущается «Словом против иудеев и иудействующих» Иоанна

Златоуста и в своем комментарии к нему не стесняется в выражениях своего негодования: «Очевидна Иоаннова ложь. Не золотые уста ее говорили, а хладные и бездушные». «Это даже не Боборыкин пишет, а Ноздрев передвигает пашку рукавом». «Можно подумать, что Златоуст никогда не раскрывал Библию. Но если он читал Библию, то для дерзости его только и найдется что ответить из Апокалипсиса: И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его»<sup>2</sup>. «Здесь уже совершенно дух средневековых преследований и нашего Кишинева и других городов» («Около церковных стен», т. II, с. 486).

Апостол Павел, оторвавший христианство от иудаизма, также чрезвычайно несимпатичен Розанову, особенно при сравнении его с Моисеем: «Апостол Павел, убеждая евреев, сказал: “Я хотел бы быть отлученным от Иисуса ради братьев моих по крови, — евреев”. Какая любовь! Да и везде в Евангелии эта любовь аналогичная. Но золото этой любви все осталось на любящем, во славу Павла, а на любимом странном образом остался какой-то мазок: гибель и бесславие Израиля. Да что гибель — ненависть наша к “любимому”. Апостол Павел не только не отлучился от Иисуса ради братьев своих, но, начиная именно с него, и началось разлучение бывших братьев его от эллина и варвара, с выдвиганием их вперед, наверх, и с понижением, потоплением всей барки с “братьями”. Но как все это выражено неуволимо: через любовь, а не через гнев. Но поистине никакой гнев не совершил бы того, что эта разрушительная любовь. От “любви” евангельской горы повалились. Теперь вместо Моисея и Ревекки — Мошки и Ривки, не пророки, а сапожники. Мы их прямо ненавидим под нежным словом, их задавившим. Но в этом гетто человечества, куда гордый христианин не может войти, не зажав носа, есть очень аналогичное Павлову слово их национального законодателя: “Господи, если Ты решил истребить народ Твой, то изжени и меня с ним вместе из книги живота”<sup>3</sup>. Моисей жаловался, но он в обетованную землю сам не вошел, а народ в нее довел. Так вот она, подлинная-то любовь. Все возлюбленному родному простишь, как блудному сыну. Но притча о блудном сыне была Израилем выслушана, столь нежная, что подобной ей в Ветхом Завете нет, а как дошло время, то Веспасиан и Тит дали *résumé* к притче о блудном сыне, который двадцать веков прыгает на морозе. В Ветхом Завете жестко постлано, но мягко спать, в Новом Завете мягко постлано, да жестко спать» («Темный Лик», с. 247).

Розанов рассказывает, что «от роду никогда не любил читать Евангелия. Не влекло. Чудеса меня не поражали и даже не за-

нимали. Слова, речи, — я их не находил необыкновенными, кроме какой-то загадки Лица, будущих знаний и чего-то вещего. Напротив, Ветхим Заветом я не мог насытиться; все там мне казалось правдой и каким-то необыкновенно теплым, точно внутри слов и строк струится кровь, притом родная! Тут была какая-то врожденная непредрасположенность, и возможно, что она образовалась от ранней моей расположенности к рождению» (Опавшие листья», с. 255). Мессианистское чувство не вполне чуждо Розанову. Будучи недоволен тем, что «церковь есть святое памятование и святое прошлое», “*sancta memoria et sanctum perfectum*”», он говорит: «Однако певчих за обедней с “Благословен грядый во имя Господне” я никогда не мог слушать без слез. Но это мне казалось зовом, к чему-то другому относящимся, к будущему и вместе прежде покинутому» (Ibid., с. 255).

Чрезвычайно сложно и оригинально отношение Розанова ко Христу. Прежде всего он решительно не считает возможным признать его, как это делают рационалисты, за человека. «Иисус не человек, а Существо, и Евангелие действительно сверхъестественная книга, где передан рассказ о совершенно сверхъестественном Существо, и самые события сверхъестественны же. При этом мы разумеем не чудеса Иисуса, которые могли быть легендарны. Единственное и главное Чудо, и притом уже совершенно бесспорное, есть Он Сам. Даже если согласиться со скептиками, уверяющими, что Иисуса никогда не было, то вымыслить такое Лицо со всей красотой его образа и непостижимыми его речами так же трудно, и невероятно, и было бы чудесно, как и быть такому Лицу» («Русская церковь», с. 36). Однако признать Христа за Мессию Розанов отказывается. «Наш-то сифилис? Регистрация домов терпимости? Слишком мало знаков, что Мессия уже пришел. А войны, крестовые, за испанское наследство, за австрийское наследство? Слишком мало знаков, что овца уже легла около тигра, а между тем именно по этому предсказанию пророка Исаии мы и узнавали Христа: Вот, когда придет такой, что это принесет, то смотрите, он и будет Мессия. Мы смотрим и не узнаем» (Ibid., с. 34). На возражение, что зло продолжает существовать лишь потому, что люди не послушались Христа, Розанов отвечает: «Что это такое за мессианство, которое зависит от хорошего расположения моего духа? И Сократ учил, что, послушают его, будет хорошо, и Спенсер так учил. Мессианство — магия, святая сказка, но могущественнее всякой реальности, воочию имеющая наступить, дневная, очевидная. Поэтому, когда говорят, что оно не исполнилось оттого, что в добродетели мало упражняются, то просто уравнивают Христа со Спенсером» («Около церковных стен», т. II, с. 471).

Приведя пророчество Христа о гибели Иерусалима, Розанов рассуждает так: «Глаголы Божии суть события истории. Это не предвидения имеющего совершиться по естественным законам, а повеления, иногда вопреки естественным законам и поборающие их. Где нет воли в слове, нет и пророчества. Есть только гадание, предсказание, приличное человеку, подглядывающему внешне знамения, а не Богу, изводящему из себя историю. Творец истории Иисус таковым не занимался; пророчество Христово уже влечет события» («Темный Лик»). Итак, по мнению Розанова, Христос казнил евреев разрушением Иерусалима. За что же постигла их эта казнь? «Ну, пусть была в Иерусалиме какая-то шайка, которая кричала во дворе Пилата: “распни Его”. Так это ведь, очевидно, шайка подобранная, подговоренная, это катилиновцы, а не Рим. Кто же жжет из-за Катилины Рим? А это град Давидов, возлюбленное место Божие. Сколько обетований, пророчеств. Что Москва и ее предания! В Москве подвизались Савин и Сонька Золотая Ручка, достойные аналогии Иуды и черни во дворе Пилата. Был бы печален приговор — снести Кремль из-за Савина» (Ibid.).

«И вспоминается параллельно Авраамово: Господи, может быть, до пятидесяти праведников не найдется в Содоме и Гоморре, но, может быть, Ты пощадишь города те за сорок пять праведников? И дальше: Господи, вот я у ног Твоих, я раб Твой: может быть, не хватит до сорока пяти, до тридцати, до двадцати пяти. И утомленный просьбой Господь сказал: Пощажу, если найду только десять праведников. Так это Содом и Гоморра, а тут Закхей: половину имущества отдам, если увижу Иисуса, а на остальную буду жить. Не могу всего отдать. Грешен. Ну, положим, грешен, и вообще все иерусалимляне того времени были ужасно грешны. Так ведь не праведники нуждаются в помощи, а грешные, не семь раз надо прощать, но седмижды семь, “пришел ради погибших овец дома Израилева”<sup>4</sup>. Но столько лекарств не подействовало, и участь до вопля “Горы, падите на нас” совершилась над содомлянами с Закхеем и Лазарем» (Ibid.).

Но если Христос не был человеком и не был Мессией, то Кто же Он был, Он, казнивший евреев страшной казнью, Он, сказавший: «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся»<sup>5</sup>? Страшная гипотеза возникает в уме Розанова, и, сообщая ее устно Мережковскому, он сам пугается своих слов.

Еврейским знакомым Розанова его антихристианство было столь же приятно, как и его юдофильство. И вот тут-то и происходит любопытный поворот Розанова в отношениях к евреям.

Нападая сам на христианство и Христа, он не желает позволить евреям того же. Эту странную черту своей психологии с удивлением отмечает по другому поводу сам Розанов в «Уединенном», где он пишет (с. 119): «Сам я постоянно ругаю русских, даже почти только и делаю, что ругаю их. Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает? И даже почти только и ненавижу тех, кто русских ненавидит и особенно презирает. Между тем я бесспорно и презираю русских, до отвращения. Аномалия». Точно так же и здесь между Розановым и евреями происходит разрыв, как две капли воды напоминаящий сцену из пьесы Тургенева «Завтрак у предводителя»<sup>6</sup>, где ругающийся со своей сестрой Безнандин, будучи поддержан Алупкиным, не только не чувствует к нему никакой благодарности, но вызывает изумленного Алупкина на дуэль, говоря, что заступаетя вовсе не за сестру, которая для него вот что: тьфу! — а за честь фамилии. Розанов пишет: «Как зачавкали губами и “идеалист” Борух С., и “такая милая” Ревекка Ю., когда прочли “Темный Лик”. Тут я сказал себе: Назад! Страшись! Они думали, что я не вижу, но я хоть и сплю вечно, а подглядел. Борух, соскакивая с санок, так оживленно, весело, счастливо воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собой: “Ну, а все-таки Он — лжец”. Я даже испугался. А Ревекка проговорила: “Н-н-нда. Я прочла «Темный Лик»”. И такое счастье опять в губах, точно она кушала что-то сладкое. Таких физиологических (зрительно-осязательных) вещей надо увидеть, чтобы понять то, чему мы не хотим верить в книгах, в истории, в сказаниях. Действительно, есть какая-то ненависть между Ним и еврейством. И когда думаешь об этом, становится страшно. И понимаешь нуменальное, а не феноменальное “распи Его”» («Опавшие листья», с. 84).

Так переходит Розанов от юдофильства к юдофобству, которого он не чужд был и раньше, как видно и из некоторых приведенных выше текстов, что объясняется, во-первых, совместностью психологического юдофильства с антисемитизмом (некоторые субботники<sup>7</sup> также питают антипатию к евреям), а, во-вторых, особым умением Розанова совмещать противоречия. Отзвуки юдофильства можно встретить и в его антисемитических сочинениях. Но как бы то ни было, ничто другое, им написанное, не в силах ослабить значение того факта, что во всем христианском мире один В. В. Розанов создал столь глубокую, стройную и многостороннюю систему юдофильства. Являясь последней по времени, она указывает собой и те логические пределы, до которых может достигать позитивное юдофильство.





## **А. Л. ВОЛЫНСКИЙ**

### **«Фетишизм мелочей». В. В. Розанов**

#### **I**

Я прочел с интересом и вниманием два тома «Опавших листьев» В. В. Розанова и небольшую книжку его под названием «Уединенное». Произведения эти отмечены печатью интимности и скорее похожи на писательский дневник, чем на произведения литературные в установленном смысле этого понятия. Автор заносил на бумагу отрывки своих идей и мимолетные настроения в условиях более или менее случайных, не гоняясь за точностью выражений и даже, может быть, не стараясь сказать о предметах и людях полновесную правду. Тем не менее, книги эти в целом, если проследить их индивидуальные особенности, характерны для всей публицистической деятельности Розанова. Он отразился в них необыкновенно рельефно со всей путаницей своих психологических тем и маниакальной убежденностью, что отпадением от культа величавого к фетишизму мелочей им совершен настоящий перелом в самом центре современной литературы. «Мне многое пришло на ум, — пишет Розанов, — чего раньше никому не приходило, в том числе и Ницше, и Леонтьеву. По сложности и количеству мыслей я считаю себя первым». Иллюзии автора на этот счет принимают иногда грандиозные размеры. Минутами ему представляется с необыкновенной ясностью, что он говорит «какую-то абсолютную правду», что некоторые его мысли преломляют в себе принципы жизни и притом под тем самым «углом наклонения», под каким их можно наблюдать в стихии не только космической, но и божественной — «точь-в-точь», без штрихов отступления в ту или иную сторону. Не стесняемый при этом соображениями приличия и такта по отношению к самому себе, Розанов в другом месте прямо заявляет: «каждая моя строка есть священное писа-



ние, и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть священное слово». Конечно, выражения тут подобраны не в школьном их значении. Но очевидно также и то, что автор подчеркивает не патетичность своих личных убеждений и верований, а нечто куда более значительное и важное и для него самого, и для других. Если в самом деле философствование Розанова отражает в себе «угол наклонения» вещей в процессах истории и в самой природе, то каждая его мысль несомненно священна. Прочие все литераторы наших дней имеют, таким образом, только честь «современничать» В. В. Розанову. Но здесь уже мы стоим лицом к лицу с бредом пигмея, не видящего истинного уровня своих умственных сил и писательского таланта.

Характеристики больших и малых величин в литературе отличаются у Розанова необыкновенной развязностью тона. Можно критиковать беспощадно. Хлестать кнутом сатиры направо и налево. Рубить топором под самые корни явлений, признаваемых вредными или ничтожными с определенной точки зрения. Но идейная резкость писателя не должна иметь ничего общего со словесным озорством хулигана. Все-таки в ней должна быть какая-то своя галантность по отношению к противнику. Но полемика Розанова грубее всего, с чем мне приходилось встречаться на страницах газет и журналов, не исключая памятников критической литературы шестидесятих годов XIX века. Доводов и мыслей при этом почти никаких. Изучения и знания ужасно мало. Ни тени подкупающей горячности, какая всегда чувствовалась, например, в полемике Писарева и Чернышевского. В тирадах и фразах Чернышевского, даже самых неумеренных по своему характеру, никогда не переставала звучать струна благородного мужества. Казацкая нагайка Писарева тоже хлестала с удалством и азартом красивого увлечения. Но ничего этого мы не находим в полемических приемах Розанова. За кошмаром словесной хулы ощущается даже нечистая какая-то психология автора, растрепанная гадость мотивов скорее волевого, чем идейного характера. Писателю ненавистно прямое и ровное. Все честное и стильно законченное. Оттого-то с особенной злобой Розанов накидывается на литераторов, так или иначе прикосновенным к протестантским движениям русской истории. Он плещет в них брызгами своего гаденького порицания и смеха. Так, Герцен для него только пустозвон. Он «напустил целую реку фраз в Россию, воображая, что это политика и история». Ничего другого о бравом гладиаторе русской гражданственности. Согласимся, однако, на минуту, что политическое гладиаторство Герцена действительно чепуха. Но как было не соблюсти хоть тени уважения

к литературному таланту, полному горений, полному энтузиазма! Далее, Михайловский рисуется Розанову чем-то вроде слуги из «лакейской комнаты» русской оппозиции. «Политическая свобода и гражданское достоинство, — замечает при этом Розанов, — есть именно у консерваторов, а у оппозиции есть только лакейская озлобленность и мука о своем ужасном положении». Однако, если взять оппозицию хотя бы только со времени декабристов до наших дней, историческое пространство одного только столетия, то все же нельзя будет не остановиться перед нею с чувством изумления. Сделано совсем немало. Среди варварских нравов все-таки заложены основы новой жизни. Прямо подвиг совершен обществом на протяжении короткого срока. Подвиг тем более замечательный, тем более вызывающий сочувствие, что приходилось бороться на два фронта, с инерцией масс почти так же пламенно, как и с притязаниями могущественных классов государства. И, тем не менее, Россия все же вышла на большую дорогу с перспективами впереди. Так неужели же во всем этом движении от крепостничества к элементам правового быта оппозиция не показала своих богатырских сил? Но это-то богатство в практической области, несущее в себе напряжение воли целого народа, особенно ненавистно Розанову. Оно ведет к постановке задач политических и моральных, по характеру своему являющихся прямым отрицанием обывательского фетишизма мелочей.

## II

О Щедрина автор «Уединенного» выражается следующим образом: «Этот ругающийся вице-губернатор — отвратительное явление». При этом Розанов тут же замечает, что произведений Щедрина он совсем не знает, что «Губернских очерков» он и в глаза не видел и что и в «Истории одного города» он ознакомился только с первыми тремя страницами. Но в таком случае чего же, собственно, стоит строгий суд Розанова над сатирой Щедрина, при всех своих недостатках и грубостях насыщенной пониманием русского быта до последних его мелочей? Правда, за нею не чувствуется религиозная экзотичность в духе Гоголя. Но минутами гнев ее горит огнем и льется из души глубокой и скорбящей. Не любя писаний Щедрина, даже совсем не читанных, Розанов, однако, не прельстился также и сатирой Гоголя. Искусство этого писателя он считает «пустым» и «бессмысленным» мастерством. «Я не решусь удержаться, — пишет он, — выгово-

речь последнее слово: идиот». Голова у Гоголя была «глупая» и «пошлая». Но такой же пошлой головой оказалась на суде литературного озорника и голова Л. Н. Толстого. Даже Л. Н. Толстой «прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь». «Это ему и на ум никогда не приходило». Конечно, и придти не могло великому писателю земли русской, потому что, если верить Розанову, «Толстой был гениален, но не умен». Все его философские и религиозные искания, — продолжает кощунственно резонерствовать на эту тему Розанов, — не что иное, как «туда и сюда тульского барина, которого хорошо жилось, которого много славили и который ни о чем истинно не болел». Счастливыми исключениями среди лакеев, пустозвонов, гениальных и негениальных дураков русской литературы являются только Шперк, Рцы и священник Флоренский!

Все это пишется, конечно, с претензией на исключительную чуткость в определении писательских характеров. Но, читая и даже перечитывая от изумления соответственные страницы в произведениях Розанова, никакой глубины понимания в них не находишь. Ноздревская разнузданность — и ничего другого. При том разнузданность человека, очевидно потерявшего всякую самокритику, вообразившего в самом деле, что можно серьезно сопоставлять разные благоглупости о святой плоти с бриллиантами творчества в литературе, собственное маленькое умишко судорожно сумбурного, хаотически растрепанного писателя — с мудрым духом таких людей, как Гоголь и Л. Н. Толстой.

Но, ругнув Толстого и Гоголя и размазав черт знает какую чепуху по поводу других явлений литературного характера, Розанов устраивает уже настоящую потасовку деятелям европейской мысли, тоже не выдерживающим строгой критики, очевидно, с точки зрения фетишизма мелочей. Так, Дарвин должен был бы считать для себя честью, — пишет он, — происходить от такой умной обезьяны, как шимпанзе! «Он мог бы произойти и от более мелкой, от более позитивной породы». С Спенсером спорить не стоит совсем. Но есть «желание вцепиться в его аккумулятивные бакенбарды». Что же касается таких величин в области религиозной историографии, как Штраус и Ренан, то их следовало бы просто «выдрать за уши». Стесняться не стоит. «Пришли свиньи и изрыли мордами огород». Значит, надобно расправиться с ними по обычаю отечественных мордобитий. Свиснуть по физиономиям без всякой пощады. Но что такое, в конце концов, Дарвин, Спенсер и Ренан! Можно не церемониться даже с

репутацией деятеля, имя которого вписано в легенду Ветхого Завета. Великого Ездру, священнослужителя и знатока божественных законов, приветствовал в почтительнейших выражениях персидский царь. Иосиф Флавий рассказывает о нем, лова сквозь даль веков величественную фигуру вавилонского книжника, с оттенком почти благоговения<sup>1</sup>. Но варвару ничего не стоит дохнуть грубой душонкой и на это чудеснейшее имя в истории богоносного народа. «Этому Ездру я утер бы, — пишет Розанов, — нос костромским платком». Сексуалист с карамазовской отравой в крови не может простить великому человеку прошлого, что тот расторг браки иудеев с иноплеменными женщинами. Узнав о том, что дух Израиля начинает стираться среди хаоса падающей законности, Ездра разодрал на себе одежды и пал ниц, обливаясь слезами полного отчаяния. Но если бы не этот человек, не его мудрая чуткость к задачам исторического момента, вообще если бы не его теократически-созидательная работа почти в самом начале слепого периода, от иудейства с Иерусалимом во главе не осталось бы и следа. Оно было бы смыто с лица земли потоком дальнейшей истории, как было в свое время не только разрушено, но и распылено абсолютно северное десятиколенное царство Самарии могущественным Ашуром. Именно Ездру народ еврейский обязан своим спасением и формулировкой своего духа навсегда. А из теократического духа иудаизма, поддерживаемого вавилонским книжником, вылилась вся последующая эволюция идей в Палестине с рождением новых верований почти для всего человечества.

В своих писаниях Розанов не раз упоминает о том, что он давно уже оставил чтение книг и что вообще чужие мысли его интересуют мало. Но отсюда тучи ошибок в его рассуждениях, лишающих иногда смысла даже то, что подается в них разумного и толкового. Очень может быть, впрочем, что при чрезмерной своей субъективности и склонности отдаваться целиком игре эмоциональных настроений каждой данной минуты, писатель и не в силах совсем справиться ни с какой серьезной задачей, связанной с изучением всяческих материалов, иногда очень сложных и запутанных по своему содержанию. Куда легче положиться на собственную интуицию и решить вопрос по вдохновению. Но, однако, истинно талантливые люди этим путем в своих работах почти никогда не идут. В них особенно поразительно, напротив того, стремление знать всегда много, глядеть и назад и вперед с открытыми глазами, приходиться в интимнейшее соприкосновение с мыслями и нравами других народов. Не возьмет человек в свой кругозор ничего недостоверного. Поднимет к глазам и рас-

смотрит каждую мелочь. Осознает ее со всех сторон. Точно ошибка поспешного умозаключения ложится пятном на весь процесс работы и грязнит его для внутреннего глаза. Должен прибавить только, что черта эта особенно характерна для современных поколений и ритмически согласована у них с общим культурным строем нашей эпохи. Интерес к знанию вырос необычайно. Все хочется не только ощутить, но тут же непременно постичь и понять всесторонне. Претворить в мысль не одни лишь конкретные факты из волны окружающих событий, но и то, что смутно бьется внутри, пульсирует где-то в самой глубине души, под всеми ее наслоениями. При этом какая любовь к точным выражениям! Простота честной правды должна быть на первом плане. Без химер пылкой фантазии факты и их значение сами собой вырастут перед нами в полном своем масштабе, как только их коснется своим сиянием наше внутреннее разумение.

### III

Для иллюстрации моей мысли с отрицательной стороны хочу остановиться на одном примере. Беру его почти наудачу из трех книжек Розанова. Но для характеристики его литературной работы пример этот приобретает особенный интерес. Автор передает свой разговор с интеллигентной московской курсисткой еврейского происхождения о микве. Миква — это бассейн воды для ритуальных очищений. Сначала девушка давала ответы на вопросы Розанова, но потом вдруг замолчала. Свое молчание она объяснила писателю тем, что хотя миква вещь святая, но название это само по себе «неприлично» и «вслух или при других никогда не произносится». Таким образом, у евреев, в отличие от христиан, неприличное и святое могут «совмещаться! совпадать!! быть одним!!!» — восклицает истерически по этому поводу Розанов. Открытие огромного значения, бросающее свет на характер древних мистерий других народов, тоже, по всем видимостям, преобразовавшим сексуальные неприличия в святую жизнь плоти. Затем Розанов от этого общего философского рассуждения переходит к деталям устройства самой миквы. Миква должна иметь в глубину только полтора аршина — не больше. За погружением в воду наблюдают «синагогальные члены», а у женщин — старухи. На поверхности воды не должно быть видно «кончиков волос». «Вода не приносится снаружи, не наливается в бассейн, а выступает из почвы, есть почвенная вода. Но почвенная вода — это вода колодца. Таким образом, спуститься в микву всегда значит спуститься

на дно колодца». Для этого, естественно, требуется очень длинная узкая лестница. Спускающиеся, от двух до трех человек, «разезают широко ноги». Поднимающиеся же чуть-чуть закидывают голову кверху. Если это женщины, то перед глазами их в течение десяти минут открывается зрелище «закругленных животов и гладко выстриженных (ритуал) до голизны стыдливых частей». По окончании омовения, когда в микве не остается никого, старик-еврей «подходит последний к неглубокому ящичку с водою и, прилепив к его краям восковые свечи, зажигает их все. Это как бы знак того, что миква свята».

Все это сплошной бред Розанова с отвратительным оттенком садизма. Философия выдуманная. Само устройство миквы, как она описана у него, несомненно случайное. В действительности же каждый бассейн воды совершенно законная миква. Нужно только соблюдение двух следующих условий. Во-первых, вода его должна быть текучая: речная, пещерная, дождевая, колодезная, вообще живая. Если сделано где-нибудь искусственное приспособление с притоком и оттоком воды, то получится настоящая миква, пригодная для ритуальных очищений как мужчины, так и женщины. Во-вторых, вода миквы непременно должна иметь определенный объем: сорок сат. Это необходимо для того, чтобы тело, обмываясь и очищаясь, не загрязняло бассейн. Вот и все, что требуется для устройства миквы по еврейскому ритуалу. Устройство же миквы в колодце, на какой бы то ни было глубине земли, с множеством ступеней той или иной ширины, не предписывается решительно нигде. Эти мелочи находятся вне ритуала и обусловлены исключительно особенностями данного места. Розанов видел в Фридберге<sup>2</sup> средневековую микву случайной конструкции. В благоустроенных же современных городах это обыкновенный бассейн, где еврейские женщины совершают свое очищение сплошь и рядом одновременно с плавающими в нем христианскими дамами. Кошер! Никакого трефа! Точно так же совершенно фантастично и требование полуторааршинной глубины для миквы. Можно выкупаться в любой реке, в море или в океане. По духу очистительного ритуала такое омовение даже предпочтительнее всякого иного. Наконец, стрижка до голизны — по ритуалу, как подчеркивает Розанов, — стыдливых частей — совершеннейшая выдумка сексуалиста. У еврейских женщин обряд этот не практиковался никогда. Он известен только у мусульман. Далее — никаких восковых свечей. К ритуалу они не имеют во всяком случае отношения и обрядовым законом не предписываются. Ни восковых, ни стеариновых свечей в миквах вообще не полагается. Но если в бассейне тем-

но, то непременно кто-нибудь зажжет тот или иной светильник. Старики или старухи не произносят при этом никаких заклинательных формул. Все гораздо проще и прозаичнее, если хотите, без налета мистерии.

Затем, в слове миква нет ничего для еврейского уха неприличного. Это слово обыкновенное и даже популярное в разговоре. Имеется целый трактат в Талмуде, посвященный вопросу о ритуальных омовениях и озаглавленный им<sup>3</sup>. Оно является даже эвфемистическим выражением для понятия очищения тела после месячных кровей у женщин. Вот почему барышни и дамы остерегаются произносить его без крайней надобности. В нем нет, во всяком случае, ничего конфузного для обихода самой еврейской жизни. Тем более, что религия требует омовения живой водою как для мужчин, так и для женщин по самым различным поводам. Так, по древним законам, относящимся ко времени существования храма, если человек прикоснулся к чему-нибудь для него запретному, он считался нечистым до заката солнца. С закатом он должен был вымыть все бывшее на нем платье и очиститься от головы до пят погружением в микву.

Таким образом, сочетание неприличного и святого в одном понятии на почве еврейской религии не больше, как фантазмагория Розанова на эту тему. А расписанное им с фаллическим экстазом зрелище «широко разеваемых ног» и «закругленных животов» абсолютно не входит в горизонт рационально мудрого и сексуально чистого иудаизма. В культе его можно уловить стихию страсти. Но страсть эта льется из здорового волевого инстинкта целого народа без примеси стихии психологической, рыхло-болезненной и зыбкой по самому существу своему. Ни малейшего оттенка сластолюбия в трактовке вопросов сексуального характера. Кошер! Нет крика звериного сластолюбия. Нет истерики дьявольских упоений. Благородно и целесообразно все от начала и до конца. Естественно насквозь. Но естественное на высоту культа не возводится у евреев. Это лишь атмосфера для осуществления иных и более высоких задач религии, пластический обряд, но не святыня веры в истинном значении этих слов.

Между прочим, один ученый иудей, бывший казенный раввин, готовившийся с детства к карьере духовного раввина, с которым я вместе проверил розановский рассказ о микве, не полагаясь на собственные свои познания в этом вопросе, сделал мне одно интересное во всех отношениях указание. Существуют две картины Рембрандта, по-видимому, изображающие еврейский ритуал. Одна из них находится в Ренне, а другая — в Гааге. Обе изображают Вирсавию<sup>4</sup> перед погружением ее в бассейн живой воды, хотя



ошибочные под этими картинами подписи указывают на другой сюжет. Нужно знать для понимания темы Рембрандта, что перед ритуалом женщины должны счистить с своего тела всякую грязь до последней пылинки. Прочищают уши и ноздри. Полощут рот. Прочищают кожу между пальцами рук и ног. Освобождают гребешком голову от перхоти. Омывают половые части. Извлекают грязь из-под ногтей, а самые ногти на руках и на ногах обрезают елико возможно ниже. Последнюю операцию для аккуратности выполняет специалистка. Только после этой процедуры женщина входит в бассейн и погружается в воду целиком всем телом от головы до ног. Не только никаких волосиков не должно быть видно над водою, но абсолютно ничего.

Этот именно момент предварительного очищения и изображает Рембрандт. Старая женщина опустила к ногам Вирсавии и ножиком срезает у нее ногти. Источник живой воды тут же, на расстоянии одного шага. На гаагской картине, кроме педоманикюрьи, другая женщина тщательно расчесывает и прочищает чудесные длинные волосы Вирсавии. Но если содержание двух картин разгадано верно их пронизательным критиком, какое должно было у Рембрандта быть детальное знание еврейства с интимными тонкостями его быта и процедурами ритуального характера! Все подчеркивает у художника идею чистоты без каких-либо отношений к тайнодействиям экзотической мистики нового образца. Женщина пришла выкупаться и омываться в источнике живой воды после месячных кровей, чтобы потом продолжить свою прерванную на время физиологически опрятную семейную жизнь. Округло красивое лицо ее выражает спокойствие. Снимаемый туалет прост и скромн. От всего ландшафта с его кустами, деревьями и скалой на заднем плане веет прохладой. Точно сама природа сбросила с себя пыльный покров и приготовилась к соучастию в ритуале. Несмотря на густую светотень гаагской картины, общее впечатление от нее такое же, как и от картины в Ренне: опрятности и строгости обряда, имеющего в своем основании мотив реальный и простой. Эротомания отсутствует совершенно. Ни тени ее. Морально, чисто и благородно. Не рыхло. Не распатанно. Крепко и цельно. Психология не рассыпалась и не разбрызгалась среди диалектических внутренних противоречий, но вся собралась в пучок. И как все это вместе далеко от видений «широко разеваемых ног» и «закругленных животов», вообще от гадости и пакости патологического бреда на высокие темы религии. Воображение играет среди стихий испытанного веками культа. Не выцвечивается ради кощунственных сенсаций противоречащими друг другу идеями. Бес-

пыльно. Красота звездных высот. Надежно и вечно. От картины же Розанова хочется бежать. Не только все неверно в ней. Надумано и сфабриковано маниаком сексуальности. Особенно ужасно то именно, что от его рассказа, как вообще и от других писаний Розанова по вопросам пола, веет психологичностью личных переживаний, грубых и пошлых насквозь, но самим автором принимаемых чуть ли не за откровения свыше.

#### IV

Тут я остановлюсь на вопросе огромной важности, хотя развернуть его более или менее широко в рамках газетной статьи по случайному поводу нет никакой возможности. Отмечу поэтому только общие черты его в коротких словах. В разных местах своих сочинений В. В. Розанов старается выдвинуть вперед и подчеркнуть, что главная нить его рассуждений идет всегда от момента психологического, а не логически идейного. Автор считает себя борцом за пафосы личных настроений, а не за определенную систему с выдержанным горизонтом понятий. Вообще душа человека — вот главный постулат его учения. Он хотел бы от всех «психологичности», «ввинченности мысли в душу человеческую», «рассыпчатости» и «разрыхленности». «На образ мыслей несколько не хотелось бы влиять. Я сам убеждения менял, как перчатки». Писателю представляется иногда среди чадных его самовосхищений, что «напором своей психологичности» он может в самом деле одолеть всю литературу и направить ее к фетишизму мелочей. Тогда все решительно будут, как Рцы, Шперк и священник Флоренский! «Какое бы счастье, — восклицает сам Розанов в сладком предощущении ожидаемого перелома — перелома от идейности к психологичности. — Прошли бы эти болваны!» Под болванами разумеются при этом все те, кто поднимается духом к неподвижным светилам внутренней тверди, а затем ищет им каких-либо соответствий на земле. Но этот именно порыв к цельной идеальности особенно ненавистен душе Розанова. Он неизбежно ломает мелкие величины. Переводя идеи в сферу волевых инстинктов человека, в механизм его характера, он сближает и уродняет между собою типы людей, столь несходные во всех отношениях, если смотреть на них со стороны психологической. Вот в каком пункте для каждой индивидуальности в процессах ее развития естественно открывается путь к универсальности. Мировое становится личным мотивом жизни. Человек горит по-новому. Стираются неверные зыбкие психологии, живущие интересами минутного характера. Но рождаются тяготения к высокому и ве-

ликому. Без сомнения, если бы могла осуществиться в реальности идея «всемирной психологичности» в духе Розанова, составляющая предмет мечтаний для него, жизнь стала бы повсюду атеистической насквозь. Исчезло бы все героическое. Не было бы никакой Голгофы. Разрушилась бы прямота стремлений, делающая великими народы на их практических путях. Исчезли бы без следа вихри реформаций. Но тогда самое существование людей стало бы чепухой. Дьявол хохотал бы в восторге. Но Бог смысл бы эту гадость и пошлость новым потоком навсегда.

Отграничение душевного от духовного, психологического от идейного составляет одну из величественных особенностей языка и философии Нового Завета. Апостол Иаков помещает понятия земного, душевного и дьявольского в один ряд. Психологические натуры и натуры демонические — это одно и то же по своему реалистическому рисунку. Далее апостол Иуда называет людей душевных людьми, обособляющимися постоянно от других. В самом деле, именно психологические натуры, всегда занятые собою, «ввинчивающиеся» мыслью только в собственное свое я, оказываются изолированными от живущих интересами и тяготениями общего характера. Такие люди не имеют духа. Апостол Павел рассыпал на эту тему в своих посланиях угли пламенного красноречия. По словам его, человек душевный не может принять даяний духа. Он считает их безумием, не в силах познать и понять их значения. Но самую грань, поставленную между представлением о душе и представлением о духе, апостол относит к созданиям тончайшей и божественной мудрости, «острее всякого меча обоюдоострого»<sup>5</sup>. Наконец, Иоанн Богослов. Для него Бог и Дух являются идеями эквивалентными во всех отношениях. Евангелист требует даже ненависти к душе «в мире сем», чтобы сохранить ее для жизни вечной. «Любящий душу свою погубит ее»<sup>6</sup>.

Таким образом, не всемирная одушевленность является путеводной звездой евангельских и апостольских писаний Нового Завета. Это было бы царством дьявольских обособлений и разделений без конца. А всемирная и окончательная одухотворенность, уроднившая между собою народы, связавшая их в единое и цельное человечество. Но если присмотреться к процессам истории, оглянуться широко на прошлое людей, то ведь надобно сказать, что к этому-то, слава Богу, все и идет несомненно. Идет постоянно через жертвенное приношение Личного на алтарь Безличного. Через катастрофы великих революций. Даже через несчастья взаимной резни между отдельными племенами на перевалах к новым культурным векам.





## В. ГЕРМАНОВ

### Религия быта

(Розанов. Уединенное. Опавшие листья, т. I и II).

В. В. Розанов — писатель безответственный: по собственному признанию, он убеждения меняет, как перчатки, «ложь никогда его не мучила» — и по странному мотиву: «А какое вам дело до того, что я в точности думаю? Чем я обязан говорить настоящие свои мысли?» Трудно поэтому говорить об убеждениях Розанова. Но в последних его книгах, которые он сам выделил, как нечто интимное, «почти на правах рукописи», среди других задевающих, волнующих строк есть ряд мыслей, упрямо, настойчиво выражающих определенное отношение к религии и Церкви. Быть может, теперь от них и отречется сам автор, быть может, и они — только «занавеска», которой отделяет свое правдивое В. В. Розанов. То, что он сказал в «Уединенном» и «Опавших листьях», останется и при этом свидетелем уклона религиозной жизни, типичного для нашей русской церковности, широко распространенного, а потому интересного независимо от личности выразившего ее. Откровенность Розанова только приподнимает для всех воочию то, что не договаривается, прячется от самих себя в рядовом сознании.

На Розанова было вылито много желчи и гнева за эти книги. Их обвинили в жестоком цинизме. Едва ли это справедливо. Есть «цинизм от страдания». Не им ли объясняется, что Розанов заговорил о том, о чем никто никогда не посмеет говорить? И в этом его огромное общественное значение. Он — тот пункт, в котором только и может врач открыть наличность и качество гноя, заражающего организм. И счастье больного, что у него открылось такое место; и менее всего можно винить Розанова за то, что болезнь всего организма сделала его таким «противным» местом. Из любопытства остановиться на нем, конечно, нельзя: но изучающий болезнь не может и не должен ничего другого

питать к нему, кроме внимания и благодарности; то, что переживает Розанов, переживают и другие, но никто не говорит, всем стыдно; один лишь рассказал, признался.

И не «гений обывательщины», а только измученный общео, заразною болезнью, нестерпимыми страданиями доведенный до крика, до признаний, невысказанных в здоровом состоянии, человек, — вот кто Розанов, по нашему мнению. Болезнь — не обывательщина; по крайней мере, доводящая до крика, до цинизма. Большого нельзя упрекать и в непоследовательности, в неверности своим словам. Розанов не только меняет убеждения, но одновременно говорит об одном и том же и «да» и «нет». Здоровому простить этого нельзя. Но в болезни это становится понятным.

Что Розанов обладает огромной силой, факт неоспариваемый и его противниками. Любопытно, что есть немало поставленных ему в вину мыслей, которым можно поставить в параллель Пушкина, но которые у Пушкина забыты. Эта-то одаренность, быть может, и сделала его центром болезни, средоточием, а отсюда и откровенность.

Ныне Розанов говорит о своей преданности Церкви, церковные круги уверенно твердят о его церковности. Вот это приятие в «недра» Церкви и делает его особенно интересным для христианской мысли. Его болезнь принята за благочестие; его ужас оказался исповеданием веры многих: приняли и сказали: «Ты — наш!».

Да и сам он верит в это, по крайней мере, в минуты подъема боли, страдания. Но и здесь он прозорливее других. Он сам видит и боль свою, источник его «веры», и веру других.

Религия больного, конечно, не догматика, не система, а чувство. И подходить к ней можно только «психологически», от фактов. Пусть это не помешает читателю всмотреться и в общий их смысл, в то типичное, чем характерна религия Розанова.

## II

«Кто не знал горя, не знает и религии». «Когда болит душа, тогда не до язычества». С этого начинается религия Розанова. От боли она. Об этой боли Розанов говорит очень много.

Одиночество, пребывание за «ужасной занавеской, из-за которой не то, чтобы я не хотел, а не мог выйти. Это — не физическая стена, а духовная, о, куда страшней физической!» — вот первая мука Розанова. Всюду он чувствует себя «иностранцем», не связанным ни с кем и ни с чем в жизни. «Страшное одиночество за всю жизнь, — признается он, — с детства. Все мне чуж-

до, и какой-то странной, на роду написанной отчужденностью. Что бы я ни делал, кого бы не видел, не могу ни с чем слиться... Не от этого ли я так бесконечно люблю человеческую связанность, людей в связанности, во взаимном милowaniu, ласкании. Ничего я так не ненавижу; ничему так не враждебен, как всему, что разделяет людей, что мешает им слиться, соединиться, стать одним; надолго, на время — я даже не задаю вопроса; конечно, лучше на вечность; а если нельзя, то хоть на какое-то время». Кажется, что это — рок, судьба, такова уж природа Розанова, что он не может подойти к людям. Не может потому, что вообще не может что-либо сделать, употребить усилия: «воли к жизни» у него никакой; никакой воли, силы нет и для поисков, для напряженного делания во имя любви.

Любовь для него — «милowanie, ласкание». Он много раз возвращается к ней. Это — тепло, уют, ощущение на себе любви другого: «Видеть лучшее, самое прекрасное и знать, что оно к тебе привязано — это участь богов». «Любить — значит не могу без тебя быть, мне тяжело без тебя, везде скучно, где не ты». Подлинно, для Розанова это — самое точное описание любви. Атмосфера, его окружающая, вот что от любви ему нужно. Вне этого — «глубочайшая субъективность», запрятывание себя за занавеску. И потому — полное равнодушие к «постороннему». «Истинное отношение каждого только к самому себе. Даже социалист фальшивит немного в отношении к социализму... В этом отношении какой-то далекой хотя и тусклой звездочкой является эгоизм, — “я” для “я”, мое “я” для меня. Это — грустно, это страшно. Но это — истина». «Вот почему с такой силой и так часто возвращается Розанов к «другу», к семье, к тем любимым, которые около него создают тепло и уют жизни. Пока жизнь складывалась без нарушений этого семейного уюта и тепла, и жилось Розанову спокойно, он «жил — по мотиву, т. е. по аппетиту, по вкусу, по “что хочется” и “что нравится”». «Я так люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон». Привязанность Розанова к быту, жизни во плоти и создала его произведения. Во имя защиты семьи, как уюта и тепла, во имя этого очага он выступил и против христианства, и против всего, что мешало этому счастью. Пока его личное тепло не было затронуто, он спокойно думал: «Если бы не любовь друга, и вся история этой любви, как обеднилась бы моя жизнь и личность!» Потому что вне этого, личного в Розанове все — пусто. Он болеет от одиночества, но только потому, что ему нужны люди, ему хочется чувствовать их около себя: только в любимом, в «друге» — он отыскал «что-то нужное мне; тогда как суть стены и есть «ненужен я», «не нужно мне».

— Папироска после купанья, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа — вот мое 17-е октября. Люблю чай, люблю положить за платочку на папиросу. Люблю свою жену, свой сад...

Все это утрировано. Но смысл глубоко правдив. Жизнь в ее непосредственных ощущениях давала Розанову полное удовлетворение, а за октябристов он «подавал», сознавая, что они «болваны»: просто потерял бюллетень другой партии. Вот почему так понимает он язычество, любовь к земле, к вещам, к быту. Ему дорого все, что дает быту уют, тепло, привычный покой. «В счастье человек — естественный язычник. Я был очень счастлив и невольно впал в язычество. Присущее счастливому быть язычником, как солнцу — светить, растению — быть зеленым, как ребенку быть глупеньким, милым и ограниченным».

Но пришли скорби, страдания близкого человека. Склонилась собственная жизнь к закату. Увидел человек, что все эти радости погибают, «суета и томление духа», и пред лицом надвигающейся смерти почувствовал ужас от жизни. «Не странно ли прожить жизнь так, как бы смерти и не существовало? Я так относился к ней, как бы никто и ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было. Я говорил о браке, браке; а ко мне шла смерть, смерть, смерть... Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь». «Закатывается, закатывается жизнь. И не удержать. Как все изменилось в мысли соответственно этому положению!» «У, как я хочу вечного».

И в этом страхе перед смертью Розанов прибежал к Церкви. «Боль мира победила радость мира, — вот христианство». Розанов не прочь вернуться к радости, тревожится еще язычеством, но мог бы вернуться к нему, «если бы совсем выздороветь, и навсегда — здоровым».

«Тихие, темные ночи...  
 Испуг преступления...  
 Тоска одиночества...  
 Слезы отчаяния, страха и пота труда  
 Вот ты — религия.  
 Помощь усталому...  
 Помощь согбенному...  
 Вера больного...  
 Вот твои корни, религия... Вечные, чудные корни»...

Поистине, «страх первый создал религию» Розанова.



## III

В Церковь Розанов скрылся от ужаса и холода жизни. В ней ему дороги тепло, уют и свобода от небытия. Что это мотив вполне христианский, несомненно. Воскресение Христа есть победа над смертью. Но Розанов, кроме этого, ничего в Церкви не хочет и признавать. — В храме слышит он «Верую».

«Не слушаю... Ну его, византийское богословие. И вдруг слух поражается: “Чаю воскресения мертвых”»...

Кроме этого, никакого символа Веры для Розанова нет. Ранее он ни в воскресение, ни в душу, ни во Христа не верил. Тяжелая болезнь любимой, закат собственной жизни привели к «христианству»:

«Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь? Неужели думать: “Встретимся, воскреснем?”».

«Смерть не страшна тому, кто верит в бессмертие. Христос указал верить. Но как я поверю Христу? Значит, главное в испуге моем — неверие в Христа?»

Но «из великой космологической тоски при разлуке в смерти получается, что за гробом “встретимся”. Это как вода течет, как огонь жжет, и хлеб сытит: так душа не умирает в смерти тела». А Церковь «непрерывно, без колебаний» повелевала верить в бессмертие; о сомневавшемся она говорила: ты — не мой. Нельзя представить себе простого дьячка, который бы сказал: “Может быть, бессмертия и нет”. Всякий дьячок имеет уверенность в том, до чего едва додумался и едва имел силы посягнуть Платон». Поэтому, — «Иду в церковь, иду, иду!» И — «Даже если все будет здесь полно червями и тлением, я останусь здесь. С глупыми останусь. С плутами останусь. Почему? Здесь говорят о бессмертии души. О Боге. О вечной жизни. О наградах и наказаниях».

Но это — не одно. «Как же я мог умереть не так и не там, где наша мамочка? И я стал опять православным». Это любопытная черта для всего религиозного сознания Розанова: в церкви для него ценно то, что она сохраняет ему все дорогое, любимое. Вечность для него — непосредственное, прямое продолжение настоящего, в его точной форме: «Не то, чтобы душа Шперка была бессмертна; а его бороденка рыжая не могла умереть. А “душа” его бессмертна ли — не знаю, и не интересуюсь. Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки в сапоге, которая и не расширяется, и не заплатывается с тех пор, как была. Это лучше “бессмертия

души”, которое сухо и отвлеченно. Я хочу на тот свет прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше».

Весь быт, всю землю хочет Розанов перенести туда, за гроб. За этим нужна и Церковь. Вот почему церковность для Розанова — ласка, уют, «тепло быта».

«Да что же и дорого-то в России, как не старые церкви? Уж не канцелярии ли, не редакции ли? А церковь старая-престарая, и дьячок “не очень”, и священник тоже “не очень”, все с грешком, слабенькие. А тепло только тут. Отчего же тут тепло, когда везде холодно? Хоронили тут мамашу, братьев, похоронят меня; будут тут же жениться дети; все тут... Все важное. И вот люди надышали тепла!» Поэтому никакая реформа в Церкви не нужна: она сотрет «позолоту времен», а это хуже, как бы ни было плохо настоящее:

«Черви изгрызли все... И тернии, и сор, и плевелы везде... прибить заплатку — уродливо, не подновлять — все рассыплется... ненавижу — люблю... всего надеюсь — все безнадежно... но здесь — други, только здесь живет бессмертие души».

«Я не хочу истины, я хочу покоя... Лучше суеверие, лучше глупое, лучше черное, но — с молитвою».

С такой нищетой духа подходит Розанов к Церкви. У нее ищет он спасения от смерти, от ужаса небытия (яркое выражение этого — «Опавшие листья», с. 3), она — единственное теплое место в мире. Там, где все застывает в ужасе, она сумела, нашла силы произнести такие удивительные слова, каких мы не сумеем произнести об умершем отце, сыне, жене, подруге. Она всякого умирающего человека почувствовала так близко, так около «души», как только мать может почувствовать свое умершее дитя. А в современной светской цивилизации «нет ни одной капельки той любви, того безбрежного уважения к человеку, какие сказаны были церковью при соиздании этих погребальных обрядов, слов, песнопений, чтений, сказаний».

Почувствовав в церкви теплоту, Розанов во всем хочет от нее такого же отношения. Столкнувшись и тяжело пережив в своей жизни «суровость» брачных законов Церкви, он нестерпимо относится к ней здесь; но все же верит, что в ней хранится ласка и тепло. Путь к ним — молитва. Опять таки, крайне важно его признание, что постоянная молитва его жены приручила его к этому: «За годы, когда я постоянно видел около себя молящегося человека. мог ли я не привыкнуть, не воспитаться, не убедиться, не почувствовать со всей силой умиления, что молитва есть лучшее, главное?». Молитве научает Церковь; никто, кроме нее не догадался подойти со словом к умирающему, к роже-

нице. И молитва разлита, как свет, по всей стране. Кто не ленив — приходи все. Даже «неграмотным она дала способ молитвы: зажгла лампаду старуха темная, старая и сказала: “Господи, помилуй!” (слыхала в церкви, да и сама собой скажет) и положила поклон в землю. И помолилась, утешилась. Легче стало на душе у одинокой, старой. Кто это придумает? Пифагор не откроет, Ньютон не вычислит. Церковь сделала! Поняла! Сумела!».

Молитва около умирающего и рождающей, молитва без слов, «придуманная» церковью — вот что дорого Розанову. «Без молитвы нельзя жить, без молитвы — безумие и ужас». Потому что человек — слаб, бессилён: «Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва — где я не могу. Где я могу — нет молитвы». «Кто молится — победит всех, и святые будут победителями мира... Мой выбор решен: молитва — и ничего. Нет: молитва — и игра. Молитва — и пиры. Молитва — и танцы. Но в сердцевине всего — молитва. Есть молящийся человек — можно и все... Все будет дозволено, потому что все будет замолено».

Кому же молится Розанов? Богу? Но что такое Бог Розанова? «Моя вечная грусть и радость. Это Кто-то. Это — лицо. Мой Бог — Бог особенный. Это только мой Бог и еще ничей. Мой Бог — бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивидуальность. Бог — и моя интимность, и бесконечность, в коей самый мир — часть». Как в бесконечности, Розанов чувствует себя в Боге: «И все держит меня рука твоя — это я постоянно чувствую».

«Бог охоч к миру. А мир охоч к Богу. Вот религия и молитва». словно около материнской груди чувствует себя Розанов «где-то закутавшимся в персях мира и вечно сосущим из них молоко». «И держат мои ладони упругие груди, и далеким знанием знает Главизна мира обо мне и бережет меня. Потому-то я и люблю Бога».

Бог приходит на вздох, на молитву человека. Зов — вздох, молитва — ищут в Боге укрепы того же тепла, каким когда-то обладал Розанов, пока все было в жизни хорошо. Оттого и эта тоска.

«Язычество — утро, христианство — вечер. Неужели не настанет утро, неужели это — последний вечер?»

Конечно, не настанет. Это знает Розанов, как и все: «боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни; вот отчего религия всегда будет одолевать философию». И в душе Розанова «христианство» одолело язычество.

## IV

Но христианство в своем полном содержании имеет нечто для Розанова чуждое и неприемлемое, к чему он чувствует «враждебную нерасположенность», так что от роду никогда не любил читать Евангелия»: не влекло. Любопытно, что он даже «особенного ничего не находил» в нем. Чтобы понять это, надо вспомнить, что основа Евангелия — внутренний процесс преобразования человека, перевоспитания. Начиная с покаяния, вся жизнь христианина есть внутреннее делание, процесс напряженной работы над собой. Не только от смерти, но и от греха спасает Христос. И это освобождение от морального зла есть тяжкий подвиг, преодоление себя во многом, прежде всего — в своей самости, в эгоизме. Розанов сам признает себя неспособным к действию: он — созерцатель, лишенный «воли к жизни», к работе. И эта обломовщина, природная лень души связала его неразрывными узами с тем, что дано ему в жизни. Он любит быт, любит действительность; зная ее недостатки, ее мерзость, он, однако, ничего другого не хочет. Отсюда — вся жизнь прошла «по вкусу, т. е. что хочется, то и нравится». Поэтому он доволен собой, не хотел бы быть хорошим: «скучно!». Это примирение с данностью звучит чуть не на каждой странице розановской исповеди, хотя он часто говорит и о грусти, и о боли жизни. Уверьте его, что все его покойное существование будет вечно с ним, — и вся боль его, кажется, исчезнет. И литературная деятельность исходит из инстинкта, из потребности писать, без мысли о читателе, о правде момента. Даже связать момент с другими у него нет желания и охоты. Тем более чужда ему заповедь Евангелия подводить всю жизнь под известные принципы.

— «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллион лет прошло, пока моя душенька выпущена была погулять на белый свет, и вдруг я бы ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй по морали! Нет, я ей скажу: гуляй, душенька, гуляй, славенькая, гуляй, добренькая, гуляй как сама знаешь, а к вечеру пойдешь к Богу. Ибо жизнь моя есть день мой, а не Сократа или Спинозы».

Здесь не договорено. Но в позднейшем отрывке он спрашивает: — Кто приведет меня ко Христу?

Отношение Розанова ко Христу двоякое. Страдание, угроза разрушения жизни «прорвала» радостный позитивизм, испорошила его. «Хочу чуда! Боже, дай чуда!» Этот прорыв и есть Христос. Он плакал. И только слезам Он открыт. Христос — это слезы человечества, развернувшиеся в поразительный рассказ,

поразительное событие... Смысл Христа не заключается ли в Гефсимании и кресте? Т. е. что Он дал образ человеческого страдания, как бы сказав или указав или промолчав:

— «Чадца Мои! Избавить Я вас не могу (все-таки не могу! о, как это ужасно!); но вот, взглядывая на Меня, вспоминая Меня здесь, вы несколько будете утешаться, облегчаться, вам будет легче — что и Я страдал.

— Если так: и Он пришел утешить в страдании, которого обойти невозможно, победить невозможно, и прежде всего в этом ужасном страдании смерти и ее приближениях, тогда все объясняется. Тогда — Осанна! Но так ли это? Не знаю».

Пусть Розанов был смирен страданием и приведен к такому Христу. Это еще не христианство, не Евангелие. «Я — путь, истина и жизнь». Розанов истины не хочет, не ищет, а потому и Христа не знает. Для него достаточно Зевса или Аполлона, только сильного и людям подавать нектар и амброзию, радость и бессмертие. Среди олимпийцев Розанов был бы вполне счастлив. А это — измена основному содержанию христианской жизни. Потому что Евангелие приходит к человеку и с нравственными нормами, с заповедями.

«Даже не знаю, через *ѣ* или *е* пишется “нравственность”. И кто у нее папаша был, не знаю, — и кто мамаша и были ли деточки, и адрес ее — ничего не знаю». Розанов — не враждебен нравственности, а просто «не приходит на ум». И когда говорит он о совести, то нельзя не чувствовать, насколько больше искренности в таком признании:

«Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти. Или еще: это — золотые рыбки, играющие на солнце, но помещенные в аквариуме, заполненном навозной жижицей. И не задыхаются. Даже “тем паче”... Неправдоподобно. Но это так».

И это действительно так. По страницам исповеди рассеяно немало и нежного чувства, и любви, и теплой человеческой грусти. Есть строки, вызывающие отзвук сердца. И не только в милых рассказах о своих детях, в интимных переживаниях около друга таков он. Много острой, волнующей и высоко моральной правды говорит он и о широкой жизни, об общественности. Глубокая мысль, пронизывание и психологичность делают его речи сильными и вескими. Но рядом с ними — такая «навозная жижица», от которой задыхаешься, от которой пахнет гниением смерти. А для него «даже тем паче». В нем нет зла в ярой, сатанической форме. «Демонизм» ему чужд и навязывается совершенно несправедливо. По его же выражению, все недостатки, пороки его — не огненные, а мокрые, проистекавшие «или из

мелкого любопытства ума», или «так, распустился». Это — та теплохладность, равнодушие к добру и злу, которые в Апокалипсисе признаны отвратительнейшими для человеческого сознания:

— О, если бы ты был холоден и горяч! Но как ты тепл, а не горяч или холоден, то изблюю тебя из уст моих!

Такое же чувство вызывают и иные строки розановщины. В них чувствуется полная атрофия нравственного суждения, цинизм в подлинном смысле слова. Вот иллюстрации.

— «Какой хотели бы вы, чтобы вам поставили памятник? — Только один: показывающий кукиш зрителю».

— «На мне и грязь хороша, потому что это — я».

— «Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков? Это — что частная жизнь выше всего. Никто этого не говорил, я — первый. Просто сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца. Ей-ей, это общее религии... Все религии пройдут, а это останется: просто сидеть на стуле и смотреть вдаль».

Что это — равнодушие, не «злая мысль», признается сам Розанов:

«Чувства преступности у меня не было никогда; но всегда было чувство бесконечной своей слабости. Это — странная потеря своей воли над собою, над своими поступками, выбором деятельности. Я всегда шел в растворенную дверь, и мне было все равно, которая дверь отворилась. Никогда в жизни я не делал выбора. И всегда мысль: “Бог со мною”... и шел по безынтересности, в какую дверь войду. Я входил, где было жалко, где было благодарно. По этим двум мотивам я думаю все же, что был добрый человек».

Природная доброта, мягкость души — не весь Розанов. В ряде изумительных, исключительных по откровенности признаний он раскрывает и другую половину своей души, повторяем — не преступную, не душу, павшую в бездну, а тину мелочей, опутывающих душу, «мелкого беса» пошлой грязной обыденщины во всей ее непривлекательности. Без «силы выбора», без морального суждения, Розанов все это принимает в себе: «потому что это — я». В отношении к одному типу греха он прямо ставит вопрос: «Почему это грех? Какие доводы? Где доказательства?» Конечно, доказательств никто ему указать не сможет. Нет доказательств красоты, добра, правды, кроме: «прииди и виждь». Но при атрофии соответственного чувства можно и «видя не видеть, и слушая не слышать». Как же тогда «доказать»? Только на почве природного нравственного сознания решается этот вопрос. Чуждый моральной ясности Евангелия, Розанов и испытывает недоумение:

— «Нет, чувствую, предвижу, что, не пристав здесь, не пристану и туда. Неужели же не только судьба, но и Бог мне говорят: «выйди, выйди, тебе и тут нет места?»»

Где же место Розанова?

Для христианского сознания место каждого человека определяется воззрением, по которому все человечество — единая семья, проникнутая одной кровью, одним жизненным началом. В Церкви это единство усиливается питанием от Единого Тела. Личность каждого — орган одного великого организма. Вот этого ощущения своей равноценности с другими и нет у Розанова. Его мироощущение исключительно ценит себя, ставит себя в центре мира. Отсюда — его холодность к миру: «живи и трудись, как бы никого не было». Ему только кажется, что он морально примирился с христианством. Какое же это примирение:

«“Любите врагов ваших, благословляйте клянущих вас”. Не могу. Флюс болит».

Собственный флюс убил все евангельское содержание. Оттого, что «не хочется» думать о других; оттого, что, по убеждению Розанова, истинным может быть только отношение к самому себе, и эгоизм кажется ему чуть ли не единственной «звездочкой, хотя и тусклой».

Оттого и любовь Розанова принимает языческий характер. Ему нужны «милованье» и ласка. Но та любовь, которая дана как христианская заповедь, любовь, полагающая душу свою за любимого, Розанову чужда. Не только сейчас, не только от флюса, но всегда, потому что ему «душа» своя, покой свой дороже всего на свете. Он иногда говорит о грехе, о покаянии, совести. Какие пустые слова! За ними не чувствуется никакого жгучего духовного опыта, горячности переживания. Это легкие тени, случайно пробегающие, неуловимые и незаметные для него самого. Гораздо сильнее звучит:

— И все будет дозволено, потому что будет замолено!

А Евангелие остается, как предмет почитания, в золотом переплете, окованное и нераскрытое. Оно для Розанова — фетиш, а не живое слово о жизни. Потому что нельзя раскрывать Евангелие тому, кто ставит себя в центре мира: оно осудит его последним судом. Нет величайшего греха, чем себялюбие, потому что одна великая заповедь Христа — любовь к ближним. И нет горшего извращения Евангелия, чем применение его к устройению личного покоя и блага. Индивидуализм, «эготизм» признает в себе и сам Розанов. И не борется с ним, а принимает его как



норму жизни. В этом второй его грех против Христа. Привязанность к тому, что окружает, в сущности, исходит из этого корня — из индивидуализма, из переоценки себя и своего.

## V

Религия Розанова — религия инертного мечтания, без борьбы с грехом и без жизненного подвига. Он весь поглощен бытом, и в церкви ему дороги только тепло, уют, которым вне церкви грозит смерть. Как знакомо это благочестие быта, эстетики, привязанности к земному теплу! Ведь это — типичнейшее русское явление. И религиозное сознание Розанова — типичнейшее исповедание веры «православного русского человека», простолюдина ли или богослова, иерарха — безразлично. Вот почему и грех Розанова приходится считать не его личным грехом, а грехом всей нашей церковной действительности.

Религиозный эстетизм как привязанность к вековому, старому, хотя бы и устарелому, обветшалому, грозящему разрушением, — разве это не идеология старообрядчества, которой проникнуты и современные охранители церковности? Чем иным можно объяснить, кроме привычки уюта, эту упрямую защиту ненужного, мелочного, порою лишнего смысла? Разве не то же умиление пред молчаливой молитвой старухи побуждает так бережно хранить славянский, неисправный, темный текст богослужения? Разве свечечки великого четверга не заслоняют заботы о разумном богослужении, об осуществлении апостольского: «помолюся духом — помолюся и умом»?

И эта характеристика желательного кандидата в митрополиты: «Молчаливость, тихость и послушание... если при этом хороший рост, мелодичный голос и достоинство манер и обращения, то такому кандидату не страшен был бы соперником и Филарет, и Златоуст, и все «три Святителя»!<sup>1</sup>. И с этим нельзя не согласиться; Розанов только посмел сказать то, о чем молчат. Но разве это не правда?

Дороги лампадки в комнатах, свечечки четверга, золотыеклады на Евангелии. А в самое Евангелие заглядывать не надо. Пусть «ревет» дьякон, но так, чтобы разобрать нельзя было. Иначе встанут «недоумения», придется исправлять кое-что. Лучше мириться со всем во имя «позолоты времен», хотя бы «добропорядочность» и отсутствовала.

— «Бог с вами. Прощаю вашу каменность, извиняю все глупое у вас... Фарисеи вы... но сидите-то все-таки на седалище Моисеевом. Был некто,

кто, обратив внимание на ваше фарисейство, столкнул вас и с вами вместе и самое седалище. Я наоборот — ради значения седалища, которое нечем заменить, закрываю глаза на вас».

Немного неточно. Закрывать глаза значит не видеть. Такого прекраснотупиши у Розанова нет. Он видит и резко называет вещи своими именами: видит в церкви «и тернии, и сор, и плевелы везде», «и смирение, переходящее в трусость, попустительство и ренегатство», знает, что «полуискренность сопутствует теперь всем делам церковным, уклончивость и умолчание». Но это его не беспокоит. Разве это мешает тому, чего ищет от религии Розанов? Разве чрез это бессмертие становится дальше, уничтожается? Разве от этого холоднее в мире ему самому? О чем же думать, из-за чего волноваться?

Розановское понимание религии — типичный индивидуализм. Ни до кого никакого дела ему нет. Столько говорит он о любви, тоске по ней. Но всюду это — желание, чтобы его полюбили, и давали ему тепло. Его любовь — «не могу быть без тебя, мне тяжело без тебя». Но любовь, себя отдающая для другого, идущая на гибель во имя любимого, для Розанова не существует; о ней он не обмолвился ни словом. Он озабочен тем, чтобы оставить несколько десятков тысяч семье, но далее этого любовь — жертва его ни в чем не выражается, не в делах, а в мечтах... И это — понятно: у него же нет никакой «воли к жизни», он неспособен ни к какому напряжению деятельности.

Религиозно-общественного подвига здесь искать нельзя. Со всем можно примириться. А в утешение — оставить себе молитву:

— «Нужно мирянам “на сон грядущий” произносить молитву: Господи, не отними от нас святую Твою церковь. И устрой ее в правде и непогрешности, как Невесту Свою. Вот и все».

Пусть Бог устраивает Свою церковь. Человеку довольно заботы о том, чтобы не растерять «своих животных», своего тепла. Но и здесь лишенная «воли к жизни», безмолвная, ленивая душа выбирает не требующее напряжения средство — «молитву». О, не молитву аскета, не всеобщее бдение. Нет, с «опозданием», на минутку, как «вздых», зов, тоска и тяготение к сильному. Аскеты знают такую молитву только на вершинах подвига, после долгого тягостного труда. Для Розанова она — единственное религиозное дело, вот сейчас, в суете жизни, около вычислений над процентными бумагами.

Как и не молиться, когда «все позволено, потому что все будет замолено»!

Это гораздо легче, чем преобразование жизни, воплощение христианского настроения на место природного зла. Не только гореть болью за других, за всю церковь, даже о своем внутреннем зле думать «не хочется». Да и не нужно, раз весь смысл веры — в спасении от смерти, в спасении своего тепла жизни. Сурово обличает «пустоту сердца» Розанов у реформаторов церкви. Но какое же содержание и нужно для участия в той церкви, что питает самого обличителя? Только тяга к месту, «в котором надышали тепла» родные, к «позолоте веков». Только любовь к уюту и своим близким, жажда навеки сохранить их. Недаром и сам Розанов исповедуется в пустоте, в безразличии к ценному, в привязанности к мелочам.

Не оттого ли и «молитва» его — лампадка, свеча, гривенник на записку «о упокоении»? Но ни слова о необходимости первого шага ко Христу — раскаяния, переворота в самом процессе жизни. Мораль и сейчас отскакивает от Розанова, не затрагивает и его религию. Какими тощими, пустыми и лишенными жизни звучат его слова о грехе? Здесь даже толстовского самоанализа нет, нет и «тоски о морали». Единственное беспокоящее чувство — «не было ли от меня боли?» Опять — в пределах покоя, тепла. И здесь опять мы слышим знакомый голос русского благочестия, так легко уживающегося с нравственным индифферентизмом.

Здесь мы подходим к выяснению последнего источника «розановщины» в религиозной области. Христианство есть религия спасения от смерти и греха. Если преодоление зла физического совершено Христом, то победа над злом моральным может создаваться только силами и подвигом самого человека, окрепшего чрез благодатный дар свыше. Исходный пункт христианской жизни — возрождение. Процесс ее — постоянное делание, перевоспитание себя, освобождение от греха. Только в этом направлении и возможно усвоение христианства, подлинное православие. Но для этого необходим подготовительный путь Крестителя, внутренний переворот. Вот почему так дорога в религиозном смысле школа Достоевского в нашей литературе: она открывает глаза человечеству на греховность природы, заставляет здесь пережить отчаяние и искать спасения от этого зла. Пока это не пережито, не прошла болезнь духовного переворота, христианство остается силой внешней, слабо затрагивающей сердце, а чрез это легко подвергается искажению и подчиняется влияниям наследия языческих времен.

Так случилось и с русским православием. В течение ряда веков народ наш оставался привязанным к внешней стороне цер-

ковной жизни, старообрядчество лишь выразило то, чем была больна вся русская церковь. Вера в обряд, в «позолоту веков» шла рука об руку с небрежением к евангельской морали, к самой церковной жизни в смысле осуществления ею заветов Христовых. За христианство держались как за средство помощи здешней, земной жизни, в нем искали источника благополучия, довольства. Отсюда — индивидуалистический уклон, потеря большинством единственной заповеди Спасителя, величайшей основы Церкви. Отсюда же — то странное на первый взгляд явление, как совмещение церковного благочестия с нравственным безразличием, о чем недавно писал А. Блок:

Грешить бесстыдно, непробудно,  
 Счет потерять ночам и дням,  
 И, с головой, от хмеля трудной,  
 Пройти сторонкой в Божий храм.  
 Три раза преклониться долу,  
 Семь — осенить себя крестом,  
 Тайком к заплеванному полу  
 Горячим прикоснуться лбом.  
 Клада в тарелку грошик медный,  
 Три да еще семь раз подряд  
 Поцеловать столетний, бедный  
 И зацелованный оклад.  
 . . . . .  
 И под лампадой у иконы  
 Пить чай, отщелкивая счет,  
 Потом перелистать купоны,  
 Пузатый отворив комод,  
 И на перины пуховые  
 В тяжелом завалиться сне...<sup>2</sup>

Разве это — не то же, что говорит о себе Розанов? И это — не его только, даже не бытовое только явление русской церковности. Нет, здесь ярко выражена идеология значительной части руководителей Церкви. В связи с этим настроением создано целое мирозерцание, которым определяются и судьбы церкви в будущем.

Здесь «система» православия, корень церковного консерватизма. И здесь — могила для всяких попыток внести в церковь обновление. На все тревоги и заботы ответ дает сам же Розанов.

Православие в высшей степени отвечает гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу.

Да, розановское православие никакой тревоги не терпит. Покой, тепло, обещание вечности — вот и все. Но знает ли он аскетов, их исповеди? Знает ли он, что тревога души — наиболее частый путь к Евангелию?

Быть может, и знает. Но ведь это — Евангелие. Церковь для него — явление иного порядка.

Он знает, как далек он от Евангелия. И — любопытно — при всей его откровенности, при всех его «ересях» (а чего-чего он не говорил в своем раздражении за каноны о браке и разводе?) все прошлое его забыто, борьба с церковью прощена, и он ныне — любимое детище «православия». Такая любовь — исключительное явление. Объяснение ее можно найти только в внутреннем сродстве розановщины с официальным православием, в единстве духа.

В этом и значение исповеди Розанова. Он осмелился высказаться до конца, раскрыть все содержание одного из широко распространенных и влиятельных типов русского понимания православия. В этой наготе, в беспрецедентной откровенности Розанов вскрыл чуть ли не все язвы русской религиозной болезни. Он коснулся не канонов, не внешних форм, а корня, самого существа религиозной жизни. И поставил точку, после которой сказать нечего. В этом — его оригинальность. Но это — не оригинальность идеи, содержания. Дело только в решимости сказать то, чего никто не может договорить.

«Розановщина» для церковной жизни — то же, чем была «обломовщина» для дореформенной общественности.





## В. ПОЛОНСКИЙ

### Исповедь одного современника

Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта!..

*Пушкин*<sup>1</sup>

Эх! Тройка, птица-тройка!  
Русь, куда ж несешься ты?..

*Гоголь*

Убирайтесь вы все к черту!  
Спать хочу!..

*Розанов*

#### I

В одной из своих последних книг («Уединенное») В. В. Розанов несколько строчек посвятил правде. «Правда, — писал он, — выше солнца, выше неба, выше Бога: ибо если и Бог начинался бы не с *правды*, — он не бог, и небо — трясины, и солнце — медная посуда».

Слова глубоко верные, но... но замечательно при этом вот что: написав «панегирик» правде, Василий Васильевич Розанов, быть может, «однодневно» с этим панегириком *солгал*, покривил душой. И не однажды, а раз, и другой, и третий. Т. е. не то чтобы солгал, как это делается обыкновенно, *случайно*, без задней мысли, а с умыслом скрыл правду, обьявив неправду. И когда его упрекнули в глаза, и, конечно, просили обьяснений (ибо ведь случай-то был из ряда вон выходящий), В. В. Розанов ответил вот как:

— Если я лгал, — сказал он, — то просто в то время не хотел говорить правды — ну — «не хочу и не хочу».

— Это дурно.

— Не очень и даже совсем не дурно. «Не хочу говорить правды». Что вы за дураки, что не умеете отличать правды от лжи? Почему я для вас должен трудиться?

Т. е., написав апологию правды, г. Розанов вместе с ней написал, как будто, апологию лжи. И просто непонятно, как это могло случиться: «правда выше Бога», и «не хочу говорить правды». Явление загадочное и в русской литературе встречающееся *впервые* (так откровенно, цинично). Такое противоестественное соединение в одной душе двух полярностей может вызвать мысль, будто мы имеем дело с одной из тех «карамазовских» натур, которые, по словам Достоевского, способны вмещать невозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, «бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения». Это весьма любопытно и заслуживает внимания.

У В. В. Розанова чередование «высших идеалов» с безднами «низшего падения» происходит непрерывно. Он вот, по его собственным словам, «однодневно» (т. е. в один день) писал, например, «черные» статьи с «эс-эрными». *Чудовищно!* Но он уверяет при этом, что *в обеих был убежден*. С наивным (или наивничавшим) цинизмом он признается, что писал *во всех направлениях*, и при этом *искренно*; но в другом месте с тем же цинизмом объясняет, что писал потому, что *«деньги дают»*. В третьем месте он, наконец, заявляет, что ему в широкой степени *«наплевать»*, какие писать статьи, «направо» или «налево».

«Все это ерунда и не имеет никакого значения»!..

«Это безнравственно!» — завопит иной моралист. — «О, нет! — ответит Розанов. — Я не враждебен нравственности, а *просто не приходит на ум*».

— Но ведь это разврат! Гибель! Это бесчестно!

— Что же делать? Таков, Фелица, я развратен<sup>2</sup>.

И с невозмутимостью неуязвимой, не стыдясь, среди бела дня, он азартно, захлебываясь, защищает одну мысль, одно какое-нибудь положение, какую-нибудь программу, чтобы завтра (а может быть, и сегодня), и также с захлебыванием, с азартно защищать программу другую, враждебную первой, в корне первой противоречащую, — и вся его литературная деятельность последних лет есть история поразительной и *беспримерной* игры святыми понятиями и святыми увлечениями, и нет такой святости, которую, превознеся на высоту недоступную, он с карамазовским каким-то сладострастием не повлек бы затем по земле, топча ногами. В одной из своих последних книг он *плакал* о



судьбе русского народа и был уверен, что слезы его разделят другие — и разве можно было слезам его не поверить? Но спустя некоторое время он показал, что слезы эти были пустяками, бабьей слезливостью, ибо какая же цена этим слезам, если, по его же словам, он «бесспорно презирает русских», «до отвращения», и опять изумление охватывает читателя: *да как это можно!* Какие теплые, какие горячие строки посвятил он в той же книге демократии, ее победе, самоотверженному героизму революционеров! Кадеты были для него пределом государственной мудрости — «отцы настоящего, реального, осуществленного русского конституционализма», и с каким наслаждением и пиздетом рисовал он в книге портреты Милюкова, Родичева, Петражицкого!<sup>3</sup> Трудовики (даже к Аладьину<sup>4</sup> относился Розанов с любовной лаской) имели, по его словам, колоссальные заслуги перед родиной: помилуйте, они были движущей силой, «паром революции»; в другом месте он признавался чистосердечно, что, несмотря на весь свой консерватизм, любил даже революцию (т. е. *читать* о ней — торопливо прибавил он при этом), а в великолепной статье «Ослабнувший фетиш» с убедительностью показывал, как обессилел, завял и поник старый фетиш абсолютизма — и с какой радостью приветствовал он ослабление этого фетиша!

«*Не более абсолютизма, да здравствует свобода!*» — это одушевленно прокричал в то время Розанов; в революции видел он показатель живой мощи русской нации, в осуществлении свободы видел залог нашего спасения, и даже укорял однажды какого-то ученого мизантропа: «Не верить этому, ей-ей, антихристово дело!»

Если верить г. Ашешову<sup>5</sup>, в то время Розанов думал даже примкнуть к социал-демократии.

Но спустя некоторое время, быть может, тем же самым пером г. Розанов обозвал нашу революцию *лакеем*, а русское общество обругал *свинным обществом*, подчеркнув, что оно имело именно не *лицо*, а *морду*, а «отцов русского конституционализма» назвал *потным отродьем* и писал про них: «Пороть на съезжей профессоршк. В солдаты профессоров!» — и славословил Аракчеева, который, по его словам, один был более либерален, чем все ничтожества из 20 томов «Былого».

Русская революция, столь лучезарная недавно, оказалась попросту «русским хвастовством, прикинувшимся добродетелью, и русской ленью, собравшейся перевернуть мир»; у социал-демократов, к которым он хотел «пристать», была одна тоска: «к кому бы угвоздиться на содержание!», а революционеры вооб-

ще, те самые *полусвятые бесребренники*, сквозь все казематы и высылки сохранившие высокий идеализм, — они, оказывается, занимались вовсе не спасением России, а «вонзали нож в грудь своей матери», продавали ее немцам, и австрийцам, и англичанам, и еще кому-то, и «не надо давать амнистии эмигрантам» — это иступленно завопил он на страницах благочестивого «Богословского вестника», — и все это свое отступничество, все это свое блудословие, эту дьявольскую игру «чем люди живы», он заканчивает своим «сегодняшним» символом веры:

— Верю в Царя Самодержавного... До этого ни шагу вперед.

## II

Однажды, рассуждая о Гапоне, Розанов с удивительной проникновенностью обронил по его адресу несколько метких слов: «Есть люди об одном цвете, черные, белые, — сказал он. — Но есть еще *несчастно-рожденные* люди, пегие, которые совершенно *искренно* не могут одному чему-нибудь служить, и совершенно *искренно* служат двум господам; т. е. *измена* то одному, то другому и в конце концов всему и всем составляет самый *стержень, истину* их души».

Это про себя сказал Розанов. Он сам — один из этих «несчастно-рожденных», *пегий* писатель, для которого *измена* то одному, то другому, составляет *истину* души. Достояна внимания при этом не сама пегость Розанова, а та его особенность, что он *панегирист* пегости, что он *идеолог* пегости и вдохновенный ее проповедник — и голос его не остается гласом вопиющего в пустыне. Розанову внимают, он имеет аудиторию. Ведь открыл же ему свои страницы «Богословский вестник» для изуверской статьи — «Не давать амнистии эмигрантам!»; ведь оплачивает же щедрой рукой его строки «Новое время», ведь читаются же (и перечитываются) эти последние *пегие* его книжки, и если в одних они вызывают недоумевающее (и негодующее) отвращение, то в других, — совсем наоборот, — восхищение, преклонение, почтение. Ведь написала же ему некая «сидящая в колодце»: «Каждую вашу строчку читаю с жадностью и ищу в ней “розановщины”. Читаю “Уединенное” и “Опавшие листья” с жадностью день и ночь»; ведь написалось же (правда, у г. Бурнакина<sup>6</sup>), что «после Толстого Розанов единственный, имеющий право на внимание Европы». Разве восторги эти не придают последним писаниям г. Розанова некоторой значительности?

Но если бы даже не было этого почтительно-восторженного преклонения, мы хотим быть справедливыми. Г. Розанов и в

самом деле писатель с выдающимся литературным талантом, с большим пытливим умом, смелым и решительным. Ведь, кроме «Уединенного», «Опавших листьев» и других книг последних лет (о которых мы и будем говорить) им опубликован ряд работ по вопросам философии и религии, религиозной политики, просвещения и семьи.

В плоскости *его* мировоззрения мысли, высказанные Розановым в работах, ярки, обоснованы с талантом, и это является лишним поводом к тому, чтобы мы серьезней отнеслись к его «пегости». Ведь, если г. Розанов в самом деле «выдающийся» мыслитель, как утверждают многие, то чем является его «пегость», его этическое «безобразие»? И можно ли все это оторвать от его «гениальности»? Можно ли вообще разорвать человеческую душу на части и сказать: здесь вот кончается мыслитель, здесь же начинается «пегий» публицист? Быть может, и в «пегости» своей он столь же «гениален», сколь, скажем, в критике христианства? Быть может, и здесь он «вскрывает», «выявляет», «улавливает» нечто, что в душах простых смертных бродит еще в виде бесформенных облаков?

«Уединенное», «Опавшие листья», собственно, не книги — так они интимны, рукописны, касаются самого «стыдного», скрываемого простым смертным, того, что не выносится на улицу. Но вот нашелся смельчак и распахнул душу свою для встречного-поперечного, сдернул всякие там занавески, обнажился до самых тайных и заветных мест — и весь перед нами голый, неприкрытый, с язвами и пороками, как мать родила. «Уединенное», «Опавшие листья» — не публицистика, не философия. Это признания, confessions, «исповедь», и если бы мы не знали ее подлинного автора, то заподозрили бы в нем сатирика язвительного и беспощадного, который создал мастерское художественное произведение, какой-нибудь «дневник одного нашего современника»\* — и в произведении этом представил нам бездну пошлости и порочности, угнездившейся в душе его героя. Но книги Розанова — не роман. Тем лучше. Отнесемся к ним, как к человеческому документу, как к признаниям не литературного героя, а живого человека, который держит квартиру где-нибудь на Коломенской, торгуется с извозчиками, читает газету, ходит в кинематограф и заботливо оберегает себя от простуды.

---

\* Между прочим: сходство розановских «записок» с «записками из подполья» — в некоторых местах чрезвычайное, чуть ли не до текстуальности. Параллель между этими произведениями вскрыла бы некоторые любопытные черты духовной природы В. В. Розанова.

## III

...У нас нет чего-то...

...У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим. Бога нет...

А. Чехов. Письмо к Суворину<sup>7</sup>

Во второй книге «Опавших листьев» Розанов, размышляя о своем литературном амплуа, замечает, между прочим: «Я ввел в литературу самое мелочное, невидимые движения души, паутинки быта». Именно паутинки, серое, невидимое, от чего досадливо отмахиваешься, когда беспокоящим прикосновением оседает это невидимое на руках, лице и вообще на чем-нибудь *живом*. Первое, инстинктивное, что вспыхивает при таком ощущении — порыв: сорвать, стереть, освободиться! И вот одна из розановских «странностей»: таково порыва в нем не рождается. Даже наоборот: он ощутит паутинку, липкую, связывающую, оплетающую, и провозгласит ей: осанна! ибо паутинка для него — благословенна; он радостно замрет, созерцая ее, с одной думой, с одним беспокойством: только бы не двинуться, не шелохнуться, чтобы не повредить, не порвать этой благословенной паутинки.

«Опавшие листья» и «Уединенное» — такое паутинное плетение мелочей, в котором лишь изредка трепещет крупная мысль, как изнемогающее насекомое со сверкающими крыльями. Мелочи, мелочи, мелочи — ползут отовсюду, изо всех щелей розановской души, наползает друг на друга, громоздятся, сталкиваются, засыпают своей трухой искры ума, и когда перечитываешь эти книги, то минутами ощущаешь их, как некое единоборство глубинного и мелкого, чего-то крылящего, пытающегося взлететь — и ползающего, червячного, пресмыкающегося. И всякий раз побеждает последнее; это для Розанова фатально, этого он никак избежать не может.

«Окурочки-то все-таки вытряхиваю. Не всегда, но если с 1/2 папиросы не докурено. Даже и меньше. Надо утилизировать». Эти окурочки звучат у него, как программа, как некое исповедание. Мировая история? Бог? Человечество? — «Наплевать!» Окурочки, — вот что важно и близко. Кто докажет, что человечество выше окурочков? или мировая история? или революция? или (даже) Бог? Окурочки выше! Нет ничего выше окурочков...

И его книжки — какой-то гимн, славословие мелочам быта, вещичкам, остаточкам, тряпочкам, пустячкам. Это какой-то сад Плюшкина, где свален в кучу всякий хлам, к которому хозяин

относится с величайшим вниманием, с материнской какой-то заботливостью, и если бы (предположим) этот хлам от него отнять, отвезти, что ли, на свалку, или выкинуть куда-нибудь, сжечь — он раздерет на себе одежды, всплеснет руками, в отчаянии падет на колени — и ему, вероятно, будет казаться, что погиб мир, конечно, «его» мир, которым он жил и без которого прожить не сумеет. Бог ушел из жизни. Бог мелочей, паутинок быта.

Однажды он высказал это очень определенно. «У меня есть какой-то фетишизм мелочей, — сказал он. — Мелочи суть мои “боги”», — и спустя некоторое время эти же самые слова повторил в другой своей книге, прибавив к ним: «И я вечно играюсь с ними. А когда их нет: пустыня. И я ее боюсь».

Фетишизм мелочей — такова призма, сквозь которую смотрит на мир Розанов. Жажда мелочей для него так же божественна, как, скажем, жажда славы для Наполеона. *Эта* Розанову не нужна.

Он совсем не Наполеон, этот удивительный русский писатель, и ничего в нем нет наполеоновского. Правда, он глубоко, непоколебимо убежден, что *мог бы* наполнить весь мир «багровыми клубами дыма»... Но *не хочет*, потому что сгорело бы все», ...потому что «вышел бы большой шум, большое *беспокойство*», а это ему совсем не по душе. «Пусть моя могилка будет тиха и в стороне».

И когда Розанову великодушные критики навязывали какое-то наполеонство, какой-то демонизм, Розанов сердился и смеялся над великодушными своими критиками. «Чего им надо? — ворчал он. — Демонизм Розанова! Все статьи начинаются демонизмом Розанова! Откуда? Почему? На каком основании? Я — самый обыкновенный человек». «Позвольте, полный титул: коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения!» А со всех сторон лезут к нему с демонизмом! Человек каждой строкой своей хочет убедить весь свет, что он маленький, слабенький, щупленький старичок, «русский обыватель, уважающий начальство», «человек мирный от природы», который «каждого полицейского почитает своим начальством, а в конке — даже кондуктора конки», а ему подсовывают какой-то демонизм. Демонизм — ведь это нечто титаническое, сверх-порочное, огненное, — а какой же он демон, если все его пороки, по его собственным словам (и это глубокая правда) — *мокрые*. «Огненного ни одного!» Нет, совсем не демон В. В. Розанов! Уж коли толковать, то не о демоническом, а о бесовском, и не о каком-то Великом, а наоборот, о Мелком бесе — «коллежском

советнике», — который, «сидя над морем, на высокой горе, с бумажкой в руках, высчитывал процентные бумаги», для которого его «кухонная (прих.-расх.) книжка стоит “писем Тургенева к Виардо”», по мнению которого «грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского», у которого не «пороки» и даже не «влечение к ним», а всего только «чесотка пороков, — грязнотца, в которой копошится вошь: огонь и пыл пороков — я его никогда не знал. Ведь весь я тихий, смиренно-мудрый». Ему очень не много нужно. Это, пожалуй, самый невзыскательный из невзыскательных русских людей. Недавно, вот, бушевала революция. Строили баррикады, восставали люди и умирали. Кровь лилась. Плакали маленькие мальчики. Горько рыдали женщины и ломали пальцы в отчаянии. *Сколько боли! Какая жестокая жизнь! А Розанов?*

«Папироска после купанья. Малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб с боку прилипла ниточка укропа (не надо снимать) — вот мое 17 октября. В этом смысле я — октябрист». И когда настоящие люди вопреки всяческим преградам продолжали все-таки о чем-то хлопотать, шуметь, волноваться, — этот «коллежский советник», любитель нумизматики и малосольных огурцов, обратился к ним с советом:

«Господа, бросьте браунинги и займитесь библиографией!»

#### IV

Но вот что при этом достойно внимания. Розанов любит малосольные огурцы и не любит политики. Браунингам предпочитает библиографию, т. е. как будто что-то отвергает, что-то выбирает, к чему-то относится *активно*. Но это неверно. В том-то и дело — и это самое *твердое* в Розанове — он к огурцам, и к библиографии, и к своей любимой нумизматике глубоко *равнодушен*. И если вместо политики склоняется к огурцам, то просто потому, что они проще, доступней, спокойней политики, тем-то именно ему и мила нумизматика, что она «удивительно успокаивает нервы» — и в самом деле, какое же беспокойство от нумизматики! *Равнодушие* — истинная стихия Розанова; в равнодушии (как ни странно звучит это словосочетание) — пафос его души, единственная ее правда, неоспоримая, непоколебимая. От равнодушия, от безразличия, от «наплевать» — вся психология Розанова: и его перелетничество, и зигзаги, и безубежденность, и безогненность его пороков, и мелочность, и все прочее. Розанов, по его собственным словам, всегда шел в открытую дверь,

ему всегда было «все равно», которая дверь отворялась; никогда в жизни он «не делал *выбора*», и никогда в этом смысле «не колебался». Был он в мире всегда «наблюдателем, а не участником», жил он «в *своем углу*», и ни до кого ему не было дела, ничего ему никогда не хотелось, и, странная вещь, — это *нехотение* было его истинной страстью; об его «не хочется», уверяет он, разбивался всякий наскок и вообще ему «*хочется* очень редко». «От этого я так мало замешан, соучаствую миру, точно откатился куда-то в сторону и закатился в канавку. И из нее смотрю только с любопытством, но не с “хочу”». И при этом такое томление, и усталость, и тяга к покою, к неподвижности, — и чувствуется эта тяга на каждой странице, в каждой строке его писаний. Ему противна и непонятна торопливость, даже греховной кажется она ему, по крайней мере, как-то заметил он, что люди, которые никуда не торопятся, — это и есть «Божьи люди», так же как люди, которые «не задаются никакими целями», — и все эти признания его покрываются тяжкими вздохами: «Боже, как давно я сам решительно ничего не хочу кроме как сидеть дома, обув туфли и надев халат», и «полежать бы», и «*оставьте все, как есть, не тяните ни туда, ни сюда*». В этих вздохах — весь Розанов, вся его бездейственная душа, вялая, омертвелая, и так велика ее косность, что *истина* (даже истина! — а ведь он так страстно, как будто, искал ее!) не нужна ему, — ибо она связана с беспокойством. «Я не хочу истины, — говорит он. — *Я хочу покоя*» — т. е., в конечном счете — *не хочет ничего!* И дальше Розанов со своей неподражаемой искренностью (не от равнодушия ли?) признается, что не чувствует в себе никакого интереса к реализации себя, никакой *внешней* энергии, «*воли к бытию*». «Я самый нереализующийся человек», — говорит он, да и какая может быть воля к бытию — к реализации себя, — когда он, по его словам, ничего не видит вокруг, кроме *пустоты, безмолвия и небытия*, что он едва верит, едва допускает, что ему современничают другие люди. И оттого, что вокруг нет *никого*, и оттого, что ему *все равно, на все наплевать*, он может славословить кого угодно и что угодно, крест — и виселицу, Бога — и дьявола, низкое — и высокое, идеал Мадонны — и идеал содомский, и, с беззаботностью вознеся что-нибудь на пьедестал, — свергнуть и поволочить по грязи, браня и заплевывая вчерашнего своего кумира. Если говорить, откуда явилась *азефовщина*, которая тоже ведь явление нашего быта, то здесь — ее прямые истоки, здесь ее родина — и кого же обозвать духовным отцом Азефа, как не этого равнодушного к *добру и злу* человека, у которого одни лишь в жизни остались «окурочки».



Г. Мокиевский, который написал недавно в «Русских записках» ядовитую статью о Розанове<sup>8</sup>, увидел в нем только «обнаженного нововременца»; для него совершенно ясно, что Розанов всего-навсего обыкновенный и беспринципный флюгер, подобный всяким прочим отечественным и заграничным. Это похоже на правду, — но, увы! — это не правда, — ибо для Розанова, и мы хотим подчеркнуть это, его игра убеждениями, его хождение по всем церквам, — чуть ли не *символ веры*, который он несет миру; он *убежден*, что никому не следует иметь убеждений, как ни покажется это странным или противоестественным. И что любопытнее всего: Розанов как-то вдруг заговорил приподнятым тоном, от лица какого-то «мы», от каких-то «нас» — «людей нижнего яруса», «которые во власти не участвуют и не хотят участвовать», — и вот, от лица этого «мы» он говорит, что «мы должны оставить все, как есть». «Нам все равно, т. е. успокоимся и будем делать свои дела».

Позвольте — какие дела? И кто эти господа, которым «все равно» и которые «должны оставить все, как есть»?

Это может быть дерзко, но, уверяю вас, вовсе не рискованно, если скажу, что Розанов действительно — глашатай, идеолог, выступающий от имени кого-то, и все то, что говорит он, вызывает сочувственные отклики в некоторых душах, и душ этих не одна, не две, их, может быть, много, их, может быть, к несчастью, очень много, быть может, больше, чем мы предполагаем, чем это нам было бы желательно. Это, конечно, обыкновенные смертные, средние, серединные, серые русские люди, *обыватели*, *вся обывательская Русь*, которую мы забываем, без которой частенько производим наши расчеты, увы! — оказывающиеся нередко расчетами без хозяина.

В книгах Розанова запечатлелась душа обывателя до самых последних ее глубин, все сокровеннейшие тайники ее оказались отверстыми для нашего взора, и нужны были смелость и бесстрашие выдающегося человека, чтобы не побояться, чтобы не постесняться вынести на свет Божий всю постыдную ее скверну, ее боли и страхи, ее дряблость и бедность, ее пресмыкательство перед силой, ее привязанность к «малосольным огурцам», ко всякой мелочи и мелюзге, ко всему преходящему, местному, маленькому, «своему», — взамен непреходящего, большого, «все-человеческого».

Никогда еще с такой яркостью не была выражена эта язва нашей истории. Воистину, Розанов — гений обывательщины, вобравший в себя всю тоску ее, всю пошлость ее, все бессилие ее, — и он не просто отразил это на своих страницах, он *возвел*

обывательщину в принцип, провозгласил это свое «все равно» — как некое откровение, — он даже целую программу объявил: разбить все яйца и сделать яичницу, чтобы все перемешалось, и однажды этот новоявленный Заратустра с уличной тумбы обратился вдруг к толпе с такой речью:

— «Народы, хотите ли, я выскажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков?

— Ну? Ну? Хх...

— Это, — что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе-хе! Хо-хо-хо... Ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил: я первый. Просто — сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца.

— Ха-ха-ха...

— Ей-ей. Это — *общее* религии. Все религии пройдут, а это останется. Просто — сидеть на стуле и смотреть вдаль».

Он, в сущности, только тем и занят, что восхваляет эту свою «частную» жизнь», только то и делает, что строчит ее апологию, — и как ядовито чернит и клеймит всякого, в ком подозревает иные чувства, — недаром страстной, свирепой ненавистью ненавидит смертельного врага своего, Салтыкова-Щедрина, — и изрыгает на него такую ужасную хулу, что просто столбенеешь, читая ее, так она невероятна, разнузданно-дерзновенна.

Он как-то упрекнул Льва Толстого в пошлости, в пошлой жизни, и тем самым высказал к «пошлому» свое отрицательное отношение, но сам только и делает, что насаждает пошлость страшнейшую, — и, ведь, говоря откровенно, его последние книги — *пошлейшие* книги не только в русской, но, пожалуй, и во всей мировой литературе, а сам этот «коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения», возведший эту пошлость в принцип, барахтающийся в ней, словно в лазурных волнах какого-то Средиземного моря, — кто он, как не «Великий Пошляк» Русской Литературы, к которой, разумеется, принадлежит со всеми своими мокрыми пороками и грязнотцами. Ибо Розанова ни из русской истории, ни из русской литературы не вычеркнешь.

И Розанов прекрасно сознает, что «розановщина» — явление хотя и личное, индивидуальное, но вместе с тем массовое, «всехное».

«Я начал, но движение это пойдет», — уверенно заявляет он.

Что ж: доля правды есть в этой его уверенности. «Розановщина» выходит за пределы души одного только В. В. Розанова.

## V

Мережковский Д. С., как известно, не поклонник Европы. Мерещится ему в ее лике что-то пугающее, отталкивающее, и будущее Европы для него темно. Но вот, побывав в этой Европе, он возвратился домой, восвояси, в родную Россию. И поведал нам о тех впечатлениях, которыми подарило его родное лицо. Получилось вот что.

«Аполитизм», «невозмутимость», «неуязвимость», «непроницаемость» для всех вопросов общественных. Никому ни до чего дела нет, хоть кол на голове теши! Ну ее к черту, политику!» («Было и будет») <sup>9</sup>.

Вот она, Россия-матушка! Но в чем же беда ее? Почему, в самом деле, она так «аполитична» и при первом подходящем случае «чертыхается»? И откуда вообще в ней это? Не может ведь того быть, чтобы все это у нее было в крови, душевное, нутряное, чтобы в этом «ну вас к черту» была ее душа? «Ужасный звук гармоники, сумасшедший смех и плач вместе, — вся Россия», — говорит Мережковский и страницей дальше, что уже совсем неожиданно, заявляет: «Мы погибаем от бесстыдства» и еще: «Русская терпимость — дом терпимости» <sup>10</sup>.

Какие страшные слова! Бесстыдство, терпимость, но ведь это «розановщина», ведь это то самое, о чем мы только что говорили! Т. е. как? Розановщина — Россия? Та Россия, которая такой мучительной любовью держит в плену наши сердца и умы? Как же это могло случиться? Да полноте, правда ли это? Но послушаем еще г. Мережковского.

Он с горечью рассказывает в своем дневнике о том, как Религиозно-философское общество назначило однажды беседу о свободе совести, слушатели же собирались вяло, нехотя. А вот на доклад о теософии — валом валили, легко, жадно, радостно, как будто этого и ждали. Вопрос о свободе совести, рассуждает г. Мережковский, слишком *действенный*, к чему-то обязывающий. А теософия хороша именно тем, что она ни к чему не обязывает — анестезирует, убаюкивает в отвлеченности. Теософские речи слушаются, как пение Шаляпина. А этого-то нам и нужно. *Все, что угодно, только бы не менять ничего в жизни, ни за что не отвечать. И главное, не пробуждаться от смертного сна, в котором не чувствуешь боли.* Тут же он обзывает русских людей сонными мухами, ищущими смерти, которую им обещает теософия.

Тяжелые, горькие слова. Их нельзя читать без *испуга* и боли, и тем боль острее, чем больше чувствуешь в них правду, жесто-

кую, обидную и... страшную. Но надо иметь *мужество* взглянуть правде в глаза, изведать всю глубину ее, всю угрозу ее, понять, что она не случайность, навеянная жестокостью одной какой-нибудь эпохи, а тяжкое наследие всего нашего прошлого, всей нашей многострадальной и неудачной истории. Об этой правде, не умолкая, говорит наша художественная литература — единственно великое, что мы сумели создать; о ней на каждом шагу твердит наш неладный быт, «замирающий» темп нашей жизни, распыленность нашего общества, вечные наши неустройства, весь лик «Старой России», возлюбивший покой и неподвижность. И так властительна вековая истома, так сладко дремное оцепенение, что нужна какая-нибудь катастрофа, какое-нибудь великое несчастье, «гром с ясного неба», чтобы растолкать, расшевелить, пробудить ее к жизни. Тогда только русский человек встряхивается, и, не пришедши в себя, с видом еще очумелым, хватает, что под руки попадет, рубит, ломит, крошит, — покуда не столкнется с твердым препятствием. Здесь — точка. Опускаются руки, клонится голова — так непреодолима преграда! — и новый сон до новой катастрофы.

Это с удивительной яркостью сказалось в Розанове. Мирно, вместе со всей необъятной Россией, дремал он, погруженный в созерцание своих мыслей о Боге, поле, семье. Но «гром грянул». На плечи Розанова свалилось несчастье. Встрепенулась Русь: *как, что, где, почему?* Розанов был одним из тех, которые, проснувшись, сумели оценить все значение происшедшего. И при этом произошло любопытнейшее явление.

Реакционер, *славянофил*, идеолог и апологет Старой России, в годы, последовавшие за японской войной, он сделался западником отъявленным, убежденным.

Словно прозрев под ударами испытаний, он как будто понял, что Россия погибнет, если не совершит над собой какого-то усилия, не вырвет чего-то из своей души, не перестанет быть рабой, покорной и терпеливой. Розанову были тогда видны все корни. Неумение действовать. Неохота действовать. «Для всего этого надо иметь *привычку*, — говорил он, — надо иметь *обычай* действовать» — «а у нас таких обычаев не водилось. У нас не было деятельности, ответственности, настоящей истории». По его словам, у нас была переписка чиновников, — а истории у нас не было. Мы разлагались без шума, без событий. Шума не было. Но гниение? Оно везде было — и через несколько страниц он опять спрашивал: «Можно ли сказать, что русские имели свою историю? Сомневаемся. Была “история русского терпения”, а не история России, как нравственного лица... Сколько терпения!

Боже, сколько терпел русский народ, безгласно, глухо, с зажатым ртом, перехваченным горлом... Сколько маленьких деспотов, азиатских ханов над бедным, рабским населением России!» И он знал, в чем здесь было дело. Если бы не наша поразительная *нравственная вялость*, — вздыхал он, — не *безразличие к дурным запахам души*, к дурному запаху дел и жизни, какое воспиталось в нашем народе рабством, пригнетенностью, подневольностью. В нашем прошлом Розанов видел одно только терпение; наши святые представлялись ему образцами терпеливости; он искал и не находил *силы* русской души, размаха таланта, сверкания гения. «Этого не было, — говорит он, — или было случайно. Поэт это выразил в стихе, поразившем Россию — он сказал о народе, что он:

Создал песню, подобную стону,  
И духовно навеки почил...<sup>11</sup>

Как ужасно это прочитать, — восклицал Розанов, — не говоря уж согласиться. Согласиться с двустижием — это невозможно, ибо *согласиться с ним и не умереть сейчас же самому от тоски и печали невозможно для русского*. Россия, по его словам, вовсе и не жила, а только и делала, что тонула и тонула, но не в прекрасной реке, а в зловонном болоте!

И этот восточник, славянофил и обскурант, друг всех реакционеров, почитатель Победоносцева громогласно отказывался от своего «восточного наследства», отворачивал свой лик от востока и возглашал с яростным пафосом неопита: «Ура! С Запада свет!» Ему не нужна больше старая, «святая Русь», — ибо в системе ее были только «терпение, смирение и покорность»: мы нуждаемся в *энтузиазме*, в смелости, в молодости, в бурности, — вот какие у него явились тогда идеи! Ему вдруг стали необходимы *героические дела*, без которых пропадет Россия, а самая любовь его «к матери» приобрела какую-то мужественность; это была уже не преданность раба, благоговейно целующего руку господина своего, сюсюкающая привязанность к дому своему, к грязи и вони своей, — она была любовью гражданина, строгого, нетерпеливого, ревнивого. «Что наша жизнь? — вопрошал он: — Служба, картишки, картишки и служба; еще ухаживание за женой ближнего. Что же еще? Еще? — Сон после обеда. Мало, душно! — рюмка водки за обедом... Смирновской, мягкой, какой нигде в Европе не выделяется... Да, водка у нас лучшая в Европе. И сон такой сладкий, как нигде в Европе. И сладкие сны»<sup>12</sup>.

И нарисовав такую картину — сам содрогается: — «*Позорное существование*» — и покидает свой стан, бежит к «левым», хвата-

ет за платье, за руки, заглядывает в глаза (как перепугался, бедный!), спрашивает, ловит, «не у них ли правда», не они ли владеют «секретом» спасения России. И тогда он еще верил, что и впрямь «они», если вообще можно Россию спасти, вытащить из болота, то это сделают не правые, не люди «востока», не русские азиаты, а именно левые, все эти эсеры, трудовики, кадеты, у которых есть все, — и таланты, и знания, и, главное, *вера* в свое дело, тот *энтузиазм*, которого нет у него, ни у всей «святой Руси». Для него тогда было так ясно, что и «центровики» и правые — «не имеют за душой ничего идеального, и смотрят не вперед, а назад», — т. е. на то же вонючее болото, в котором задыхалась Россия; «в них нет энтузиазма и силы»; никто из них «не умрет за своих Горациев и за свои Пантеоны». А «новые люди во множестве готовы умереть, да и умирали в катакомбах Шлиссельбурга».

А потому, что вокруг все жило, двигалось, кипело, бурлило, было полно «взаимным радостным удивлением», в котором растаял, растопился былой «эгоизм сердец» — он верил, что *«теперь смерти не будет»*.

Таков «революционный роман» В. В. Розанова. Я верю в его правдивость. Розанов — как и все. Он — все, вот те рядовые люди, которые *дулись в картишки* в то время, как Россия тонула в болоте. Розанов — только самый талантливый из них, самый чуткий, глубже всех их все переживший, определеннее всех их все сказавший, бесстрашнее всех их себя обнаживший. Он первый из последних — был их сердцем, их мозгом, и то, что было у них (и тогда и после) на уме, у него было на кончике пера; потому-то его книги и драгоценны, что в них открывается душа всех этих бесчисленных, миллионных, словно икрою покрывших Россию «коллежских советников», от которых стонет Россия, которыми она вечно тяжела, мертвенна, бездеятельна, терпелива. Когда она, сдвинутая толчком, зашевелилась, Розанов был тут как тут, выразитель ее души, ее чаяний, симпатий и антипатий. Когда же «непреодолимость препятствий» произвела «всеобщее успокоение нервов», успокоился и Розанов; как этого следовало ожидать, он проклял свои вчерашние увлечения и вместе со всей «переутомившейся» Русью твердо заявил: «Баста!».

Победила «Старая Русь». «Стоп. Ни с места! Не тяните ни туда, ни сюда!». Тогда-то В. В. Розанов вспомнил, что ему ни до чего дела нет, что ему «все равно», на все «наплевать», тут он, вероятно, и обругал революцию «лакеем», а русское общество «свинным обществом» и хотел было погрузиться в библиографию, но... что «все равно» и «наплевать» ему даром не прошло, что за этот «холод души» его ждало наказание жестокое, беспощадное.

## VI

В книге своей «Литературные изгнанники» Розанов (в примечании) рассказывает, как он однажды шел за гробом Пергамента. Смотрел, слушал и шагал вместе с другими, бессознательно, машинально. Другие станут на повороте — он вместе с ними остановится. Но когда подошли к кладбищу, его точно осенило: «Да я с ума сошел? За кем я иду? Какое мне дело до Пергамента и всей идущей толпы, Милюковых, Родичевых, с которыми я ничего общего не имею?» — и он повернулся и пошел *равнодушно* назад, не зная, для чего, собственно, прошел пешком весь город. Но так же, — добавляет он, — как это за «Пергаментом»... «проходило и другое все: любовь, дружба, религия, две женитьбы, участие в прессе, в лагерях и партиях»... Даже *любовь*, даже *дружба*, даже *женитьба*, даже *религия*... Боже мой, да как можно было жить с этим, возможно ли это дело, ведь есть в этой *пустоте души* что-то *противоестественное*, греховное, преступное, именно *преступное*, ибо тут нарушены какие-то законы человеческой природы, человеческого естества, чего-то основного, чего нарушать нельзя, невозможно. Или, в самом деле, прав был Корней Чуковский<sup>13</sup>, когда он отыскал у Розанова «колыбельку», около которой он никогда не устанет, никогда не закостенеет, никогда не скажет «наплевать»? Но тогда понятно: Розанов попросту променял весь мир на «колыбельку», для него «колыбелька» все, и ничего другого Розанову не надо.

Это было бы, конечно, для Розанова спасением, даже оправданием, — и тогда он мог бы ликовать, тогда он нашел бы в жизни некоторую точку, около которой мог чувствовать себя твердо и устойчиво; не было бы тогда того внутреннего *беспокойства*, неуверенности, тайного испуга, безотчетного *страха* перед природой, перед Богом, перед людьми (обыватель всего боится), который живет в его душе, который не заметен под маской равнодушия, но проявляется очень часто, всегда, лишь только нарушена правильность в порядке, в благолепии окружающего. Но никакой «колыбельки» у Розанова нет, никакие «чресла» его не спасут, и спасти не могли, просто потому, что *мертвая душа*, — откуда она могла взять жизненную силу хотя бы для этой «колыбельки»? «Душа озябла» — вдруг жалуется Розанов. «*Страшно*, когда наступает озноб души». И много раз возвращаясь к своей душе, он повторяет, что «болит душа», «томится душа», и опять: «страшно, когда наступает озноб души»; «душа зябнет», и вновь о какой-то, очевидно немалой боли, о том, что она «сосет его с детства», что боль в нем — главное, и,



наконец: «все погибло, все погибло. Погибла жизнь. Погиб самый смысл ее». При этом он уверяет (или себя уверить хочет) будто все страдание его жизни именно оттого, что «не позвал вовремя Карпинского». О, явись вовремя, — «Карпинский», наверное, спас, вылечил, избавил бы от страданий человека, которого он любит, о любви к которому много и часто говорит.

Но сколько бы Розанов ни твердил об этой причине, причина, более глубокая, выпирает чуть ли не из каждой его страницы — и при чем тут Карпинский<sup>14</sup>, или Бехтерев, когда мы слышим такое: «*все мне чуждо какой-то странной, на роду написанной отчужденностью*. Что бы я ни делал, кого бы ни видел, *не могу ни с чем слиться*». Этого одного порока было бы достаточно, чтобы наперед предсказать узоры розановского жизненного пути. Отчужденность, неспособность слиться с миром, *атрофия чувства связанности, слиянности с человечеством*, это такой грех, такое преступление, какое не могло остаться безнаказанным. «Страшное одиночество за всю жизнь... Страшная тяжесть одиночества»... вот неизлечимая болезнь Розанова, его «порок сердца», и как бы он ни старался, как бы ни пытался привязаться к чему-нибудь или к кому-нибудь на земле, к семье ли, к церкви, или нумизматике, рано или поздно захочется быть глухим и слепым, ничего не видеть, не слышать, не знать...

«Чужестранцы на своей земле, как сказал Розанов (Ключевский сказал: *гости*) — русские обыватели вообще всегда одиночки, от всего чем-то отъединены, отчуждены, нет у них «своего», «настоящего», где бы они чувствовали себя полными господами, «хозяевами», оттого-то они так неуверенны, робки — и даже «кондукторов конки» почитают своим начальством. И кому же не пугаться *смерти*, как именно обывателю, которого жизнь привязывает к себе, быть может, потому, что *тепло*, потому, что *не дует*, — а лишь только подует — для него опять страх, опять беспокойство. «Смерть страшна, смерть страшна, смерть страшна», — твердит Розанов. «Я говорил о браке, браке, браке, а ко мне шла смерть, смерть, смерть» и это наряду с твердой, как будто, уверенностью, что «Бог с ним» и чуть ли не в нем самом, В. В. Розанове.

Живет в Розанове чувство какой-то вины перед жизнью, не оформившееся, быть может, скрываемое, затушевываемое сознание: «не то, не то, не так надо было». «Вот и прошла жизнь, — говорит он. Каков же итог жизни? Ужасно мало смысла; ничего особенного, как-то ненужно», и все это потому, проговаривается он, что «*жизнь требует твердого глаза, твердой руки. Жизнь — не слезы, не вздохи, а борьба; и страшная борьба*», а он посту-

пал как раз наоборот. — Он как-то обмолвился однажды о себе, и эту обмолвку вместе с ним могла бы повторить вся многомиллионная российская обывательщина: *«В конце концов, я трус, ибо умел быть смелым только в мечтах, а жизнь прожил позорным ослом, не умевшим ни бежать, ни лягаться».*

Никому не нужный («ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен»), равнодушный и холодный, российский обыватель хочет, конечно, забыть землю «великим забвением», и создает пессимистическую философию жизни, от которой веет могилой: *«Родила червяшка червяшку. Червяшка поползала. Потом умерла. Вся наша жизнь».* И Розанов, конечно, изменил бы себе, перестал бы быть *русским* обывателем, если бы не вспомнил о спасительном, универсальном костыле, на который опираются все немощные и убогие.

Когда-то (это было давно) Розанов огненными словами говорил о религии, уводящей с земли, и о религии, землю благословляющей, о забытых прелестях земного, о насыщенной, плодоносящей красоте мира. Как сильно и смело было противопоставление его тогдашнего язычества христианству, какие, наконец, значительные слова сказал он о русской церкви. Теперь все это позабыто. Хроменький, усталый, несчастненький, *болящий*, он не хочет «язычества», до язычества ли ему теперь? («могу ли я вернуться к язычеству? Если бы совсем выздороветь, и *навсегда* здоровым? — мог бы») — и он вспомнил о церкви, он бросился к ней, теперь для него церковь — одно в мире *«теплое, последнее теплое на земле»*, та самая церковь, над которой смеялся он таким ядовитым смехом. *«Иду в церковь. Иду! иду!»* — и вновь охватывает его благолепие храма, свечечки, иконы, и «как хорошо у православных, что целуют руки у попов».

Так, закончив круг своих превращений от язычества к «попикам, кушающим севрюжину», он мог бы, пожалуй, успокоиться и прошептать: «ныне отпускаеши раба твоего» — если бы не это *вечно-розановское, вечно-обывательское*, которое ведь не умерло в его душе, а продолжает звенеть по-прежнему погребальным звоном:

«Все равно», «наплевать», «к черту!».





**В. Р. ХОВИН**

## **Не угодно ли-с?**

*Сообщнику моих житейских и литературных затей, Ольге Вороновской, эти страницы посвящаю.*

Что вещам «больно», это есть постоянное мое страдание за всю жизнь. Через это «больно» проходит нежность... Мне иногда кажется, что я вечно бы с людьми «воровал у Бога»... не то золотые яблоки, не то счастье, вот это убавление грусти, вот это убавление боли, вот эту ужасную смертность и «окончательность людей», что все «кончается» и все «не вечно».

*В. Розанов*

Многословный, велеречивый некролог?

Словесные венки на гроб умершего?

Или клятвы верности заветам его над только что засыпанной могилой?

Ну как же все это нужно над могилой Василия Розанова.

Так и должно было случиться, что умер он такой «домашней» смертью, и что тело его повезли на деревенских дрогах, и что могила его не на литературных мостках столицы, а на одиноком кладбище Черниговского монастыря, в снежных сугробах Сергиева Посада.

Так должно было случиться...

И так случилось.

Случилось у стен радостно расцветенной, расписанной Троицко-Сергиевой Лавры, дряхлого памятника старой Руси, гордо возносящего свои золотые купола над бесплодными, увы, песками нашей «Новой», позором немощи испеленной, России.

Здесь, у этих стен, притулился Розанов, одинокий, с вздыбленной совестью, безудержный человек.

Здесь, в крохотном посаде, в таком провинциальном домике, по-прежнему «сидел у окна» он, мистик домашнего уюта, домашнего тепла, и смотрел вдаль за каменную ограду Лавры, вверх золоченых куполов ее, смотрел, исходя своими полу-думами, полу-мыслями о человеке и родине.

И по-прежнему тихо и тяжело вздыхал.

И какой бы это ересью не показалось, но Розанов, он один из современников, был единственной совестью нашей, совестью современности.

— Пренебрег веками созидаемой благоустроенностью душ наших и морали нашей, пренебрег всякими покровами и всякой мишурой какой бы то ни было фразеологии, презрел косметику, коей так старательно украшала нас фальшивая в своей выпренности и ходульная в своей изошренности многовековая цивилизация наша, оголился донельзя, так, как никто до него и...

**ЗАБОЛЕЛ.**

Тяжело, мучительно заболел тяжелой и мучительной болезнью совести. И, заболев, с настойчивостью и беспощадностью маниака, с рвением и непримиримостью религиозного безумца, со словами откровений, достойными его гения, стал всенародно каяться в греховности человеческого существа своего.

...Каяться в греховности своей и так же настойчиво, так же беспощадно упорствовать в ней.

О, это было ужасное, отчаянное покаяние.

И современники не выдержали: одни зажмурили глаза, другие боязливо обходили такое страшное и такое странное по неожиданности своей, по всей обстановке своей, место казни.

.....

Умер он, успокоенный, в тихом мерцании лампад, под благовест многокупольной, золотом расцвеченной Лавры.

Умер так, как должно было только мечтаться ему раньше.

Умер и, как всегда откровенный в противоречиях, даже самой смертью своей, такой христианнейшей смертью, впал в последнее на своем жизненном пути противоречие.

Но те,

кто любил Розанова, именно любил, а не ценил как мыслителя, или как философа, или как писателя (недаром такая любовь была страшна ему самому);

кто любил его, интимнейшего из пишущих и писавших, любил особой, нежной, «домашней», что ли, любовью;

кто за каждым словом его и за каждым поступком его, каковы бы они ни были, различал едва слышимый часто, но всегда

больной вздох, — вздох о человеке, брошенном так безжалостно, так сиротливо в этот огромный неуютный мир;

то кто бы они ни были и как бы и во что ни верили, должны, — по-человечески должны, — радоваться этому последнему противоречию его жизни....

Должны радоваться такой успокоенной смерти, и этому умиротворяющему мерцанию лампад, и этому торжественному благовесту церковному.

*Сергиев Посад. Март 1919 г.*

Гуляй, душенька, гуляй, славенькая,  
гуляй, добренькая, гуляй, как сама знаешь.  
А к вечеру пойдешь к Богу.

*В. Розанов*

Зачем же Ты пришел нам мешать?

*Ф. Достоевский*<sup>1</sup>

Невзрачный, маленький, потертый такой, в пиджачишке пошленном, и с фамилией булочной — Розанов, непременно с *такой* фамилией, прибежал он впопыхах, — как же иначе, как не впопыхах, — прибежал и вывернул себя наизнанку:

— Вот-с я какой!..

Вывернул и подхихикнул только:

— Не угодно ли-с?!

И случилось это не в каком-нибудь там Скотопригонске, и отнюдь не в разгоряченной больной фантазии припадочного писателя, отнюдь нет. А в столице Государства Российского, в центре света и цивилизации. Случилось, нарушив торжественный парад идей гуманных и чаяний человеческого благополучия...

В сдавленных каменными громадами улицах бьются неслитные, разобщенные миллионы живых жизней, сдавливаются, стискиваются в единую массу живое человеческое мясо, а на эстрадах, в освещении электрического света, застегнутые на все пуговицы джентльмены спасают мир и человечество пустыми ненужными словами, испепеляясь в пафосе пустой речистости.

— Вот-с я какой!

— Не угодно ли-с?!

И подхихикнул.

— Но, послушайте, вы же неприличны! Непристойна оголенность ваша! И это при свете *наших* истин, *наших* идей, *наших* высоких и значительных слов.

— Или, быть может, и у вас тоже есть *свои* истины? Не собираетесь ли и вы к нам, сюда, на эстраду? Оголенный проповедник!

— Учитель с судорогой слова!

— Нет, благодарю-с, я лучше с места скажу свою громовую истину:

— «Это — что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе хе!.. Ха-ха-ха!.. Ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил; я первый.

— Просто сидеть дома и смотреть на закат солнца.

— Ха-ха-ха!..

— Ей-ей, это общее религии. Все религии пройдут, а это останется: просто сидеть на стуле и смотреть вдаль» \*.

А потом понесся в злобе своей:

— А вот, вы-то, вы-то неужели думаете своей пустой фразистикой, своей ходульной возвышенностью мир спасти?

— Или же и «частная» ваша жизнь такая же, такая же деланная, такая же эстрадная? Но даже и в этом случае, если вы «гармонические личности», вылежавшие свою гармонию на мягких пуховиках разжиревшей мысли, если вы действительно познали истину добра и зла, если вы познали эту истину, продающуюся оптом и в розницу всякой сволочью на рынках профессионального учительства и проповедничества, даже в этом случае, как смеете вы приходить к нам, — на улицу, и судорогу ее мерить своими бумажными аршинами?

— Или же вы небожители, гости нашей планеты?

— Но зачем же тогда наследили вы так на бутафорском троне своем?

— Но мне ли теперь по праву принадлежит:

— Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!..

И подхихикивает, подхихикивает злорадный ведун и пишет свой донос, — о, если б Богу можно было, — но пишет человечеству:

— Эй вы, самый высокопарный, самый торжественный, велеречивый, судейскую цепь надевший на себя, творящий с высоты кафедры суд над людьми, над этими неподсудными никому комками со струящейся по ним горячей живой кровью, вы слышите, проповедник, вы, говорю я:

— Снимите судейскую цепь! Я не верю вам!

— Посмотрите, ведь у вас ноги по колени в грязи, в нашей житейской грязи. Ведь от своей возвышенности по ступеням сой-

\* Слова Розанова всегда в кавычках. Слова из других авторов в кавычках и в примечаниях — указание откуда.

дете вы, калиф на час, опять к нам, — к нашей «грустной жалкой действительности», к той самой, которую вы так безжалостно, так свысока осудили на заклятие во имя «высших принципов».

— Так снимите же свои судейские цепи! И я, Розанов, буду вашей совестью, и я напому вам о душевном целомудрии:

— Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие — не смотреться в зеркало.

Злобный ведун, злорадный подхихикиватель, не только целомудренен, он болен целомудрием, не тем ходульным, узколобным целомудрием «пророков и учителей», выдавших самим себе билеты на вечность, — не ханжеством целомудрия, а целомудрием болящей, судорожно напряженной творческой мысли:

— Вот-с я какой!

И когда выдали Розанову аттестат на звание Российский Ницше, или как другие олицетворили в нем демонизм новейшей формации, недаром стал отмахиваться.

И действительно,

Розанов — Ницше?!

Розанов — демонист?! Он-то, обитатель невского подполья, несуразный Дон-Кихот в пиджачишке не первой свежести, — рыцарь с голыми руками и копьём своего надорванного, болящего голоса, рыцарь прекрасной дамы правдивости *во что бы то ни стало и какой бы там ни было...*

Но только, как же это так в подпольи всю жизнь провести с правдивостью только своей? Это еще Мармеладов<sup>2</sup> у Достоевского совершенно безапелляционно заявил:

«Ведь надобно же, чтоб всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти».

Розанов тоже знает непереносимость эту, недаром и он экскурсии всякие совершал и совершает. Раз даже в революцию ушел, совсем было ушел, но только выскочила неожиданно правдивость, и Розанов споткнулся, — бегом обратно бросился.

Вовремя или не вовремя тень Прекрасной Дамы преградила путь Розанова, основательно или неосновательно было его вспять, про это судить нам не дано, ибо Прекрасная Дама — существо весьма и весьма капризное.

Теперь вот Розанов по церквям ходит, свечи ставит и решительно от каждого попа в восторг приходит. Но и это от того, что бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти.

Вот и пошел.



Вы думаете, не искренне? О, нет; с самой несомненной, с самой решительной искренностью пошел.

Вы не верите пафосу его свечечному, восторгам, им излианным? — Прикидывается, прикидывается этот разнузданно-оголенный человек с правдивостью своей непрошенной и назойливой.

Но только, как же прикидывается, когда горло спазмой захватило, — когда судорогой слова выбрасываются? Тут благолепия торжественного ждешь, за поклонами церковными жизнь устойчивую, равновесную, а на самом-то деле — никакой устойчивости, никакого благолепия.

Розанову самому несомненным кажется, что по своей воле через церковную ограду шагнул, и шагнул, можно сказать, по всей своей органической цельности. Поклоны отбивает, а не знает, что как марионетка отбивает, на пружинке прыгает. Пружинка же к самому основному механизму ведет, в «частной жизни» оставленному.

Оттуда и идет все, — из подполья одиноческого или мансарды отъединенной.

Там-то механизм и заведен, на жизнь всю хватит, — не остановится. И заведен-то ключиком, который правдивостью «частной жизни» называется. За заклятый круг не выскочишь, повсюду своей судорогой и своими спазмами сопровождаешься.

Ведь, если покопался бы, сам вспомнил, что «вопрос»-то им давно уж разрешен: «все религии пройдут, а это останется».

Ну, а раз сам знает, что пройдут, так, конечно, благолепий и равновесий искать нечего. А вот «это» — беречь приходится. И бережет, целомудрено бережет.

Не мудрено, что нутряного целомудрия розановщины не заметили погонщики человеческого благополучия, рыцари печатного станка, разбитные приказчики потребительской лавки под фирмой «Русская журналистика». Не заметили, да и как было заметить в шуме колотушек, которым предупреждался российский обыватель об опасности, грозящей его духовному благополучию.

Сколько грошевых, истасканных слов было пущено в ход по поводу цинизма розановского, его оголенности, его злобствования. Где уж тут было услышать странные слова об «изнуряющей мечте», о том, что «суть литературы — сказать сердце», и еще много других, но таких же. Не почувствовали какой-то совсем особый, неожиданный тон их среди всех других, — злобных и доносных, ибо, конечно же, книги Розанова — книги человеческой злобы.

А между тем тон *этих* слов, слов сердца, — великолепная канва, на которой сплетает Розанов цепи своих мучительных судорог.

Книги Розанова — пороховой погреб, подведенный под самую сердцевину духовного быта современности. Недаром циклоп этот зафиксировал точку одну и сверлил ее неустанно.

Не он ли сказал:

— «Имей всегда сосредоточенное устремление, не гляди по сторонам. Это не значит — будь слеп. Глазами, пожалуй, гляди везде: но душой никогда не смотри на многое, а на одно».

Высмотрел и подкопался, с корнем вывернул древо познания добра и зла.

— «Да не воображайте, что вы нравственнее меня. Вы и не нравственны и не безнравственны. Вы просто сделанные вещи. Магазин сделанных вещей. Вот я возьму палку и разобью эти вещи.

Нравственна или безнравственна фарфоровая чашка? Можно сказать, что она чиста, что хорошо расписана, цветочки и все. Но мне больше нравится Шарик в конуре. И как он ни грязен, в сору, я, однако, пойду играть с ним, а с вами ничего».

Не подумайте только, что выращивается здесь новое древо познания добра и зла, пишет Розанов новые скрижали человеческого поведения, что, ломающий лабораторные аршины, изготовленные для установления устойчивых равновесий и гармонических сочетаний в человеческих жизнях, он незаметно подменяет их своим аршином, что, борющийся с ходульными истинами в литературных смокингах, попирающими нутрянную личную правдивость, сам растирает он в реторте месиво новой истины, универсальной, общеобязательной и общеспасительной.

О, нет! «Я не хочу истины, я хочу покоя».

«Вся история, вся наша жизнь полна загримированными Александрями и Диогенами. У всех людей миссии и все люди, чтоб спасти свое дело, принуждены скрывать многое, — быть может, самое важное и значительное для них»\*.

И если угодно вам знать «важное и значительное» не Александра или Диогена какого-нибудь, а Василия Васильевича Розанова, — пожалуйста к нему, в его частную жизнь, в подполье его. Там вы услышите:

— Вот-с я какой!

И преподнесите себя «*au naturel*»\*\*.

---

\* Лев Шестов.

\*\* в натуральном виде (*франц.*).

— Ах, вы хотите всеобщей истины, правды публичной — извините, дверью ошиблись. В магазин универсальный пожалуйте; там и дешевле, и прочнее, и на всякие мерки. Производство фабричное, штамп и фирмы ручательство.

— А здесь частная квартира Розанова Василия Васильевича.

— Я-то по благодущию своему подумал (это Розанов все так говорил бы), что в гости пришли ко мне, к Розанову Василию Васильевичу, — на дверях еще выгравировано.

— Я думал, поинтересоваться мною явились, частной жизнью моей.

— А вы, оказывается, совсем не так.

— Вы даже и про частную-то жизнь ничего не знаете, ничего в ней не понимаете. Какая такая частная жизнь? И почему какая-то частная жизнь Василия Васильевича Розанова интересоваться нас должна?

— Его полу-мысли, полу-чувства?

— Но только нам-то что же от них?

— Нет, знаете, нам готовая истина нужна, большая, объективнейшая; да чтоб импозантна была.

— Чтоб сразу видно было, человек о нас старался, о человечестве, и для нас. И чтоб голос уверенный был, — не мысль, а дорога шоссевая, и ухабинки чтоб ни одной.

— А тут (вдруг у меня-то, у Розанова): полу-мысли, полу-чувства. Канитель одна, не шоссе, а лестница витая, и пейзажа никакого. Мы же до смерти любим, чтоб кругом было величественно и спокойно — на чем глаз отдыхал бы.

— Вы думаете, мы про трагизмы не знаем. И о них слышали, как же не слышать: проблемы неразрешимые, провалы душевные, бездны всякие, миры двойственные, ну там, еще Бодлер, опьянение, гашиш, — про все знаем. Только на все мы сквозь призмы смотрим.

— Много их, призм рекомендованных, но только сквозь какую ни поглядишь, всякая успокоение вносит и перспективу открывает.

— Вы думаете, что через провалы и бездны уж и шоссе проложить нельзя? Отлично можно, и как еще по шоссе этому лихо пронесешься на тройке словесной, в особенности если ямщик из лихих и бывалых.

— А вы вот дома у окошечка сидите, да в судорогах и спазмах корчитесь. Эх!..

Но сидит, продолжает высиживать что-то такое Розанов, а когда помянут его, — как это, мол, можно всю жизнь «частно-житейским» своим заниматься, как это можно про «идею чело-

вечества» забыть и про все то, к чему идея эта обязывает, так он целомудренно покраснеет только, на флюс сошлетя или еще того хуже — предпочтет в конуру Шарика отправиться.

Ведь знает же, хитрец, чем идею дискредитировать. — Пустяк пустяком кажется флюс-то, а подвох в этом пустяке какой?

По-моему даже, щека, красным платком повязанная, — неопровержимое доказательство того, что действительно «частная жизнь» превыше всего. А чтоб у настоящего современного человека какой-нибудь там зуб не дергало, этому Розанов ни за что не поверит.

Сам-то он только от целомудрия о зубе своем гнилом и заговорил, и от целомудрия только часто он напраслину на себя взваливает. — Чтоб не подумали, что глаза честные делает или во «что-то» такое записался.

Нет, розановщина — розановщина и есть.

Однако не примите это и за покаяние какое-нибудь. Кого бы это Розанов своим судьей сделал? Какой такой кодекс нравственный признал бы, когда, если даже сейчас флюса и нет, то в любой момент выскочить может.

Выскочит и все кодексы прахом пойдут.

К черту истину, а вот *просто* сидеть на стуле и вдаль смотреть.

И мира-то никакого не окажется, а только нервный комочек, в частной квартире Василия Васильевича Розанова проживающий, и порядка никакого, а произвол только один, ему, Розанову, подчиненный, и Истины нет, а только правда — розановщина есть.

— «Каждая моя строка есть священное писание, и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть священное слово».

И какая упорная, глубоко личная борьба с Гуттенбергом, с литературщиной, с человеком без пульса, со словами без температуры, с пафосом без горения, — с паровым отоплением всей современной культуры, всей духовной жизни человечества. Но только — не с человеком.

Страшно разойтись с человеком!

Проблемы, Истины, Идеалы? Но как же могут, как смеют пройти с такими словами мимо одной, *только одной* «отшвырнутой» человеческой жизни?

Вы только вслушайтесь в эти слова:

«Я хочу на тот свет прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше!»  
И это во всем «ни чуточки меньше».

Злоба, ненависть, клевета, доносы, все это как клещами сдавленная мысль читателя розановского, но все это нужно, все это

должно, если хоть чуточку меньше! Ведь это не какое-нибудь фразистое, позерское: «все иль ничего». Ведь спазма прерывает дыхание.

«Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла»...

Ну что ж, пророки и учителя! Пойте, если поется, состязайтесь с целомудрием этим. Но только помните, чтоб и красота ваших слов, и Истина, и гармония обещанная до дырочки на сапоге соблюдены были. Ни чуточки меньше!

Ни в коем случае не меньше!

Иначе вы только лжецы, лжепророки, фигляры на ходулях.

Ну, где же охранителям и блюстителям «возвышенности» человеческой, где же настройщикам мировой гармонии и мирового благополучия до человечности Розанова? Где же этим слюнявым мечтателям с коробами жалких и жалостливых слов, этим беспечальным печальникам человечества, где им вынести тяготу розановской мечты.

«Презрение к мещанину имеет что-то на самом конце своем — мещанское. Я такой барин или пророк, что не подаю руки этой чуйке».

Да ведь это апология человека и человечности и напряженнейший, целомудреннейший индивидуализм.

Утверждение чуйки в чуйке, но непременно в чуйке, наряду со сладострастной, непоборимой ненавистью к человечеству, вернее, идее «человечества».

Недаром Розанов гордится так «одиночеством вещей», ибо там, где нарушается оно — нарушается и отдельность вещи, увядает душа ее, замирает боль ее и расплывается она в головокружительных безднах обобщения и схематизаций, — в безднах, в которых высятся символические кукиши с больших букв.

— «Нехорошо быть человеку одному» — говорит Розанов, и вы всегда чувствуете в розановщине тяготу одиночества. Поистине страшна петля одиночества, поистине страшно, когда человек не может хоть куда-нибудь да пойти и все же...

Все же «умей искать уединения, умей искать уединения, умей искать уединения»...

— «Бог меряет не верстами только, — пишет Розанов, — но и миллиметрами». Да и как же иначе мерить душу человеческую, как не миллиметрами? Ведь для верст-то, да и для аршин тоже, из отдельных человек тесто общее сделать нужно, то самое тесто, которое «человечеством» названо. Так и наложишь аршин на самую незаметную, но и самую большую царапину ду-

шевную, ту самую, которой, быть может, человек только жизни и касался; миллиметр же царапину эту ни за что не минует.

С миллиметром обращаясь, вдруг и окажется, что никаких больших букв в жизни-то и нет, никаких отвлеченностей, а все вокруг самого наиконкретнейшего вертится, что все из мелочей составляется. Правда, мелочь-то, так, пустяк-пустяком, вдруг верстой выскочит, и три версты этой душу во все стороны горбами разопрет. Но ведь эта верста — мера личная, произвольная и субъективно ощущаемая, а те версты, — «проблемы общие», извне предлагаемые, — к душе человеческой касательство имеют весьма относительное (какое? — об этом чуть ниже). Ими так все скважины душевные зашпигуешь, что не душа, а поверхность, хоть шаром покати, получится.

Розанов же с миллиметрами, исключительно с миллиметрами, обращается. Так и получается:

«Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Рытвины. Что это — ремонт мостовой? Нет, это — «сочинение Розанова»».

До сих пор духовная жизнь без отвлеченностей и эмпирей решительно немислима была, а этот, духом исключительно живущий и чувствилищем своим, только в конкретном, как белка в колесе, вертится. духовностью весь пронизанный, светящийся ею, — поэтом мелочей стал.

Не космос, не мироздание, а «чулок жизни», не Истина, а «флюс болит», не поэзия, а «лавка грибная в чистый понедельник».

Недаром кто-то его в бабстве обвинил, что только штаны на нем мужские, — сам об этом сообщает.

Ведь это он девушкам говорит:

«Вы охранительницы древа жизни, а не каменных ископаемых, находимых в угольных коях. Охраняйте древо жизни — вы его Ангел с мечом обращающимся, и не опускайте этот меч».

И сам поднял меч.

Действительно, нелепая, уродливая мысль человечеству пришла, что можно мимо человека взором скользнуть и мимо жизни живой, и в небесный купол упереться. От хитрости и лени исключительно произошла она.

Все, мол, пустячки и мелочи; все это покрыть идеей можно, мостик через перекинуть в пространство безвоздушное. Сами же, конечно, пустяками едино и живут, мелочами утробу свою набивают; только при «идее» безответственно все это. Безответственности одной и служит она.

А может, раньше, чем пустяк вглотнуть в себя, и следует трижды прикинуть, да помучиться. В этом быть может, и задача жизни всей?

Как же иначе требование розановское исполнится, чтоб за словом пожар или наводнение было, ужас или радость. В словесных-то стихиях, да в эмпириях воздушных, наверно, пожары и наводнения — явления весьма необычайные и, во всяком случае, опасностью никому не грозящие. Вот отсюда и вопрос: «вы думаете, что вы нравственнее меня»? Ну, конечно же, не нравственнее, да вдобавок еще во много раз подлее.

Однако, читатели, необычайной с вашей стороны глупостью было бы подумать, что я с мыслями Розанова соглашаюсь. Со многими не согласен, быть может, ни с одной даже, а все же Розанова со *всеми* его мыслями принимаю.

Пожалуй, вы подумаете так, что и Розанов свою любовь и ненависть, похвалу и хулу с согласием мыслей сочетает. Глупо рассуждать изволите, господа.

Другой пунктик есть для принятия человека и непринятия его, а касательно мыслей, то это — сущий пустяк; каждый по-своему и о своем мыслит. Здесь, знаете, другая точка есть, и вот, Розанов взял, да и назвал ее. И не только назвал, а такой спектр лучей внизал в нее, что умрет человек, точка же вечно светиться будет.

Вздохом названа она.

И не в том дело, что назвал, а что сам вздохнул и *его* вздохом слово это живет.

И мысли — мыслями, и поступки — поступками, и дела — делами, но всему этому человек предшествует. И вот эта сущность человечья, всему предшествующая, вздох душевный, за внешностью скрывающийся, вот это-то и есть первоначальное, единоважное, всепокрывающее.

Когда пышет к человечеству Розанов, когда льет ушатами грязь на него, значит, чувствовал, что человек этот — без вздоха человек. Совсем не важно, правильно ли почувствовал он, основательно ли грязью человека поливает, а почему и за что? Во имя чего?

— Безнравственный человек, оголяющийся человек, — бранят Розанова.

Действительно, не без червоточины человек, но Розанов, вероятно, то же думает, а я так совершенно убежден, что без червоточины людей вовсе и нет.

Не безнравственный человек Розанов, вы можете сказать — излишней нравственности или величайшей нравственности безнравственный человек.



Вот если бы Розанов без вдоха был, или для тех, кто вдоха его не услышал и для тех, кто о вздохе вообще ничего не знает, картина существенно меняется. Действительно, Розанов сам убежден, что не знают и что многие не услышат...

Да и как же услышать, когда сам рассказывает, что от его общественного «я» воронка идет, суживающаяся до точки, и что за этой точкой — другая воронка, уже расширяющаяся в бесконечность, где Бог его, розановский, интимный, и обитает.

Как же можно людей заставить в воронки какие-то смотреть, да через них еще что-то? Ведь это снова, значит, миллиметр в руки совать, при давнишней привычке и склонности человечества все не иначе, как верстами мерить, при склонности к масштабам грандиозным и обобщениям широчайшим.

Потому-то и уперся Розанов в «частную жизнь», что вздох — всегда в глубине и чтоб услышать его, частной жизнью Василия Васильевича Розанова заинтересоваться нужно, в квартиру его пожаловать и у окошечка с ним посидеть, — помолчать, да вдаль поглядеть.

Сам-то он недаром у окна сиднем сидел; недаром, ибо увидел вдали, что кончается один мир и новый идет.

Однако, чего возмущался я так, когда другие Розанова за Ницше принимали? Ведь сам-то я ему громадное значение придаю, сам сказал, что громадное, и в связь его поставил, в связь непосредственную, с миром новым.

И все же продолжаю я утверждать, что не Ницше Российский он, и что не какойнибудь другой Ницше, но именно он, нервный комочек, Розановым прозывающийся, в пиджачишке поношенном, от Истины флюсом отмахивающийся и в своем частно-житейском погрязший, значит, во всем противоположный тому, что привыкли мы относить к провидцам и прозевателям новых миров, что все же он, Василий Васильевич Розанов, — провидец.

И никто иной, никакой глашатай и проповедник, не мог бы быть этим провидцем, потому что и мир новый, о котором идет речь, — исключительная розановщина, поскольку последняя — величайший индивидуализм и напряженнейший интимизм.

Розанова часто с Достоевским связывают и не столько, конечно, с Достоевским, ибо кто же при всеобщей ненависти к Розанову станет его с «великим писателем» сравнивать, а с «уродливыми видениями припадочной души писателя». Или как-нибудь иначе выразятся, ну, например, про «кошмарные страницы оголенности человеческой» упомянут.

Или еще иначе, но непременно с подвохом, — про уродливость или оголенность и т. п. вспомнят, лишь бы только Розанова «унизить».

Но, вообще, все эти аналогии и параллели — вещь часто противоположная и всегда преопасная, а ими, или почти исключительно ими, питалась до сих пор русская критика.

Иван Иванович «ищет Бога», и о том же заявляет Иван Петрович, вот и глава готова: «Искание Бога у Иван Ивановича и Иван Петровича». Раздолье критику необычайное, — цитат понадергивает, слова общие подсчитывает и пошла писать: «первый Иван — предшественник», а «второй — продолжатель», или наоборот — «второй — просто подражатель первого», или еще — «во что выскочила идея первого Ивана у второго».

И не понимают, что хотя оба Ивана «Бога ищут», но совсем по-разному ищут, и заклятые враги между собой. И что вот, хотя цитаты понадерганные и совпадают, и слов общих подсчитана уйма, но это ровно ничего не доказывает, а главное, ничего не показывает.

Это правда, что у Достоевского написано: миру провалиться, лишь бы мне чаек был. Правда и то, что звучит эта фраза почти так же, как «я не хочу истины, я хочу покоя». А в «Записках из подполья», с героем этого произведения в особенности Розанова любят связать, совпадений еще больше. начать с названия «Записки из подполья», но ведь даже я говорил о подполье Розанова, значит, оба в подпольи и пр., и пр. — вот раздолье-то!

У Достоевского вы и про созерцательную инерцию героя подпольного найдете, значит, снова о покое, и про целомудрие его сказано, даже о зубной боли есть, но все-таки это ничего не доказывает и между ними ровно ничего общего нет.

Герой «Записок из подполья» и борется-то с розановщиной, т. е. теперь, когда есть Розанов, видим мы, что и герой произведения названного по логике вещей должен сделаться Розановым. Однако все же не сделался им, а был только одним «коллежским ассесором». Розановым же сделался именно Василий Васильевич Розанов.

«Коллежский ассесор» вообще ничем сделаться не мог, — сам сознается в этом, — а ведь Розанов с пеной у рта утверждает розановщину. Если признак этот, т. е. пена у рта, налицо и у ассесора коллежского, то по причинам совсем иным, — потому что ко «всеобщему» присоединиться он не мог, «всеобщее» его самого отшвырнуло. Недаром «горбатым» уродился.

И если в отрицаниях своих он как будто бы каждую минуту и собирает Розановым обернуться, то ведь только собирает.

А на самом деле «отрицаниями» хочет он подполье свое оправдать, ими свой горб покрыть.

— Горбатым уродился, ну, вот и отрицаю вас; сами меня к себе не пускаете, а я вот сделаю вид, что и не хочу идти к вам.

Розанов же единственно от отрицания и «горбатым» стал. Любовно горб свой растил для того только, чтобы с какими-то «ими» не слиться.

Хотя коллежский ассесор как будто бы своей вывернутостью и оголенностью гордится, но на самом деле стыдится червоточины, которую открыл в себе. Розанов же совсем не стыдится. Потому-то первый и жизнь себе в подпольи сочиняет и в мечтах «героем» делается. Розанов, конечно, не представил бы себя так, как он, — «вступающим на свет Божий чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке», ибо всю свою жизнь борется и с конями белыми, и с венками лавровыми, — борется за червоточину свою:

— Вот-с я какой?!

— Не угодно ли-с?!

Коллежский ассесор, побегав по жизни и выплевав злобную слюну всю, от судорог своих к «прекрасным формам бытия переходил, совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям» \*, чего бы Розанов никогда не сделал. Этот всю жизнь только и ненавидел «прекрасные готовые, сильно-украденные и приспособленные формы».

И по самому существу психологизма своего Розанов коренным образом отличается не только от героев Достоевского, но и от самого Достоевского, от всей достоевщины, ибо достоевщина — психологичность декламаторская.

Не случайно говорит Дмитрий Карамазов:

— «Что в том, что человек капельку декламирует? Разве же я не декламирую, а ведь искренен же я, искренен!»

По-моему, искренен, абсолютно искренен, и я это говорю все вовсе не к тому, чтобы решить, что лучше? — декламирующая ли достоевщина, или недекламирующая, слишком недекламирующая розановщина. Дело не в том, что лучше, а что вот, несмотря на общие места и совпадения, если б увлечься, много страниц ими заполнить можно было, несмотря на все это, достоевщина и розановщина ни в чем не похожи, по нутру своему не похожи.

А что розановщина улыбнулась бы достоевщине, встретившись с нею на одном углу, это — несомненно. Так же, как один человек со вздохом — другому.

---

\* «Записки из подполья».

Достоевщина по самому существу своему актуальна. Все герои Достоевского не действовать не могут. Сначала подекламируют (не укор это), психологизмом и размышлениями изойдут, а потом и к реализации себя приступают. Вот как герой подполья, который сначала с офицером чуть ли не годы сражался, затем свой своевольный нрав и собственные хотения в неподобающем обществе выявлял, потом на павшее создание воздействовать пытался. И если даже допустить, что и офицер, и бунт в неподобающем обществе, и падшее создание — фантазия сплошная, выдуманное, то *воля к реализации* все же здесь налицо.

Другое дело Розанов, — действительно самый нереализующийся человек.

— «Я никуда не торопился, полежать бы», — говорит он. Но только это — неправда о себе, точно так же, как неправда и все разговоры его об обломовщине своей.

Нерв сплошной, губка впечатлительная, — и вдруг Обломов!

Обломовщиной называет он упорную усидчивость свою, вот то самое бесконечное, недвижимое сидение на стуле и вдаль смотрение, — фиксирование точки одной, пока до самого дна не докопается.

Однодум — Розанов, медлительный, вдумчивый, дна ищущий и вздох улавливающий. Не умеет того, чтобы глаза разбегались, чтобы сразу несколькими делами заниматься. Поэтому и на улице выйти не может, а то раздавят, непременно раздавят, циклопа такого.

В другом месте правильнее о себе сказал:

«Я задыхаюсь в мыслях, и как мне приятно жить в таком задыхании».

До того задыхается в мыслях человек, что и реализоваться-то ему некогда.

И еще о том же говорит он, что пропорционально отсутствию воли к жизни было у него упорство воли к мечте.

Но так недавно еще мечту всячески поносил я и мечтателя к нулю свел, а тут вдруг «воля к мечте».

Ну и что же?!

Если у того, обуреваемого жаждой «высокого и прекрасного», героем в мечтах становящегося и выступающего на свет Божий не иначе как на белом коне и в венке лавровом, если у того мечта была, то у Розанова ее нет, или наоборот. Я как раз и убежден в этом «наоборот».

В первом случае, когда от «пошлости» житейской человек в мысли «о высоком и прекрасном» окунается, и когда мысли эти

овеществляются им в белой лошади и лавровом венке, — в этом случае ни чуточки мечты нет, а у Розанова иступленная мечтательность, изнуряющая, творческая.

— Творческая потому, что это уже не «сильно украденная форма», и пусть даже не Бог вещь какая «возвышенная», но зато наверное *своя*, интимная. Не бесплатное приложение к действительности печальной, а «дело жизни» всей, не фантом, должностующий украшать существование человеческое, а боль его, печаль его.

Недаром даже о молитве Розанов говорит, что молитва, это — «горе Аннушки», «заключение судьбы старца Ивана» (дело идет о живописи), а не безличный и «вообще “выход из церкви”, крестный ход» и т. п.

Иначе как исполнится:

«Лишь там, где субъект и объект — одно, исчезает неправда».

Мечтательность Розанова и есть обратная сторона точки той, которой первая воронка кончается и от которой вторая расширяется в бесконечность, — к Богу. Если б без обратной стороны, т. е. без второй воронки, на Бога глядящей, так не душа у человека была, а пустышка только, а сам человек не созерцателем, а животным высокомерным. Знаем мы «созерцателей» этих, знаем скепсис их грошовой, ибо раз «обратной стороны» нет, так что же, помимо улыбки иронической и брезгливой, есть еще?

Меня всегда удивляло, как это люди мимо мечтательности розановской прошли. Прогнали и не заметили. Пусть уйма «пакостей» разбросана на страницах его, пусть циничный человек он, оголившийся, сейчас же соглашусь со всеми, если вы вот ответите мне, откуда в нем осиянность эта?

Тут, конечно, не белый конь и не венки лавровый, и тем менее «прекрасные формы», украденные у поэтов и романистов, но нечто гораздо большее, гораздо значительнее.

Недаром одной стороной душа к Богу и в бесконечность обращена.

Впрочем, быть может, и не к Богу, и не в бесконечность вовсе, ибо не скажу я, чтоб для Розанова и Бог, и бесконечность так уж несомненны были, воля к ним только бесспорна. Но если уж не Бог и бесконечность, так это — синева выси небесной через точку души его ластится к мелочам жизни человеческой. — Оттуда и просветленность слов его, лирика тона его, мягкость теней душевных, отбрасываемых им на весь внешний мир. Поистине целомудренное мечтательство, а не взвинченное, не словоблуд о «высоком и прекрасном», не блуждание

в отрешенной стихии возвышенного, не душевная обстановочная mise en scene с аксессуарами и бутафорией эстетики ходульной.

Нет! просто кусочек синевы небесной в паутине мелочей запутался, или зайчик солнечный к пустяку какому-нибудь приник.

«Что же ты любишь, чудака? — Мечту свою».

И не чудака вовсе, — чудака мало, а энтузиаст, самый подлинный энтузиаст.

От энтузиазма исключительно и вывернул себя наизнанку. Не захотел синевой небесной червоточину свою покрыть.

— Вот-с я какой! До дырочки в сапоге покажу себя, но только и кусочка синевы небесной не уступлю и зайчика солнечного тоже. Потому самим собой, Василием Васильевичем Розановым, и хочу быть, и ничем не делаюсь, и ни во что не записываюсь, — локтями в праведники не проталкиваюсь, чтоб на них право иметь.

«Лучше суеверие, лучше глупое, лучше черное, но с молитвой»!..

И в статье о картине художника Нестерова хочется ему закрыть руками левую часть картины, где стоят Спаситель и за Ним особо чтимые на Руси угодники, и в восторг приходит от другой части, где Русь молящаяся представлена.

— Русь молящаяся с косматым старцем слепым, с девочкой умиленной, с бабами, все видевшими, с сиротами-одиночками, которых били в детстве и которые голодали всю жизнь, а главное, с «чуть ли не сестрой милосердия, в белом платочке и косынке, недоумевающей, грешной девочкой-подростком с острым и упорным, во грехах упорным лицом».

То что сказал о Нестерове — о себе должен был сказать, что не его дело писать Бога, а только как человек прибегает к Богу. Молитву, а не Того, кому молитва.

Розанов анти-«иконен» по той же причине, по какой анти-«иконен» и Нестеров. Потому что лирик он, ну, а «икона — это существо эпическое: стоит в углу и на нее взирают».

Только когда стержень Розанову надобен, когда является совершеннейшая необходимость хоть куда-нибудь да пойти, только тогда пытается он побороть анти-«иконность» свою бесконечной эпичностью православия, бытом его, тишиной его, и завешивает все углы квартиры своей потемневшими старыми образами.

Но все же, по самому существу своему, лириком остается Розанов. С молитвой только остается он. Без нее шагу не может сделать, даже когда злобной слюной плюется, даже порог грибной лавки переступая. Но обращенной не к «Богу высот», не к

надменному, высокомерному Божеству. Для этого есть другие слова у него:

«Нет, уж если поклоняться Голгофе или там страданию вообще, то потрудитесь-ка, небеса, поклониться земле: ибо “небеса” — они какие-то чугунные, или уж очень праведные, что ли: не трескаются, не болеют. Все им ничего, этим небесам; а на земле землетрясения, вулканы, голод, холера, ужасы и гадости. Но в таком случае, пожалуйста, оставьте нас в покое, оставьте вообще всю землю с вашими выпренностями и якобы идеализмом, который мне представляется преественной гадостью».

Но нужен все же Бог ему, очень нужен. Велика в нем жажда Его. От нее единой и зажглись в руках Розанова свечи церковные.

Однако, есть ли Он или нет, но молитва розановская есть, она-то наверное есть. Не от выпренности молитва эта и не к «высотам» ведет: совсем другой источник, совсем иное устремление:

«Мне печально, что все несовершенно, но отнюдь не в том смысле, что вещи не исполняют какой-то заповеди, какого-то от них ожидания, а что самим вещам не хорошо, они не удовлетворены, им больно. Что вещам “больно”, это есть постоянное мое страдание за всю жизнь».

Единственно возможные, истинно человеческие, неоскорбительные слова.

— Слова молитвы!

«Болят душа, болят душа, болят душа»...

И пусть базарные кликуши фейерверком блестящих слов, упдающих мертвым пеплом на землю, думают заглушить крик боли этой, судорогу слов, из сердца идущих.

Поистине — «“благодать” (т. е. учение) у них чистая, да плоти коварные» \*...

Говоря о сектантах, о пророчествованиях их перед кругом братьев и сестер, о кружениях хлыстовских, пишет Розанов, что нужно же им (сектантам) в чем-нибудь, как-нибудь «вывертеть дух» свой.

Вывертеть дух?!

Кому же, как не Розанову, знать про это.

Если те (хлысты), нашедшие Бога себе, перед кругом братьев и сестер, — всем кораблем в кружении, — доходят до вакхического экстаза, то этот, жаждущий Бога, петлей одиночества измаянный, томящийся тайно, про себя, мечтой по каком-то своем

---

\* Слова сектанта Селиванова.



«корабле» не знает ни корабельных кружений, ни религиозного вакхического экстаза.

Но сердцем болящий должен же и он «вывертеть» дух свой.

И уродствует, уродствует по-своему.

С зеленых вершин радости внешней в каком-то безрассудстве бросает он дух свой в колючую изгородь мук и страданий, от примирения, кротости и всепрощения кидается к ненависти, злобе, почти изуверству.

«Ведь около всякого дневного и явного есть ночное и укрываемое. Никто не пытался связать ночь человека с его днем. А связь есть: день человека и ночь его составляет *просто одного человека*».

Но не только ночь и день, а гораздо больше сказать нужно, количественно больше. Сам показал, что не только ночь и день, а что и ночь, и день еще «пустыками» кишат, по самое горло набиты мелочами жизни душевной. Сам связал из пустыков этих человека, того самого *одного человека*, за которого потом горой стал. И ни одного «пустыка» из него уступить не захотел, хотя, если б уступил, так, быть может, и создал бы, ну плохонькую, ну невзрачную, но зато успокоительную гармонию.

Красотой пренебрег, все покровы и с дня, и с ночи стащил, хотя великолепно знал, *как* человека обнажать нельзя, и предстал перед удивленным и возмущенным человечеством:

— Вот-с я какой!

— Не угодно ли-с?!

Но и во грехах, и в уродстве, верным остался он последней радости своей, последней печали своей — молитве неустанной. Ею святеет вся розановщина, вся эта судорожная исповедь «одного человека», в одинокости своей влекомого необузданной волей к мечте, в своем прикровенном нутряном фанатизме, предавшего себя самоистязанию во имя свое, во имя человека.

И вдруг:

— «Я невестюсь перед всем миром», — бросает он неожиданные и немного смешные слова.

Еще бы не смешные, когда он, маленький человечек злорадный с пеной у рта, когда говорит он о себе, что невестится. А, быть может, и исповеди бы не было, если б не сознался в этом, так трудно выговариваемом. И сознаться было труднее, гораздо труднее, чем в злобствованиях своих, — в ночном своем...

Но поистине невеста, томящаяся по неведомом, осиянном женихе.

И то, что сказал о другой невесте, в венке из опавших осенних листьев, — невесте заневестившейся, о нем, болью исходящем, скажется:

«Молитва, экстаз, немного сумасшествия... Что-то прекрасное, безмолвное, целое. Какая-то всемирная Офелия, как бы овладевшая стихиями природы и согнувшая по-своему деревья, расположившая по-своему пейзажи, давшая им свои краски и выражение, меланхолию, слезы, беззвучные краски»...

Домосед, скопидом, — бережливый собиратель своих полумыслей, полу-вздохов, всякой пылинки души своей, певец одинокого своего существования и одновременно инквизитор, истязаящий себя, непокорный гордец и публично кающийся грешник, соглядатай действительности, бьющейся о порог его дома, и злобный доносчик на нее, исходящий любовью и ненавистью, кроткий монастырский послушник и домашний бес, нашептывающий мелкие человеческие грешки, изувер во имя своего Бога и хулитель всякого божества и всего Божественного, замирает он в какой-то несказанной молитве, молитве-вздохе, молитве-порыве, молитве-зове.

*Август 1916 г.  
Петроград–Полтава.*





Л. А. МУРАХИНА

О В. В. Розанове. Из личных впечатлений

25 июля (7 авг.) 1918 г.

...На мой взгляд, Василий Васильевич — удивительно женственное (в *симпатичном* отношении) существо, сложное, тонко сплетенное, нежное, хрупкое, нуждающееся в постоянной сердечной ласке, в нежнейших заботах и попечениях о себе; такое существо, которое так и хотелось бы взять на руки, сладко покормить и снести также в отдельный от «улицы» храм с открытым лишь потолком, открывающим вид на царство «ноуменов», к которому так тянется это редкое существо. «Сиди спокойно, дорогой, и наслаждайся тем, что представляется твоему страстно ищущему взору. Наслаждайся, не ведая злобы, ни нынешнего, ни завтрашнего дня!..» Говорить с ним о чем-нибудь обстоятельно трудновато при страшной живости его мысли, зато в высшей степени *наэлектризовываешься* им! И чувствуешь себя с ним, так мало *эмпирически* знакомым, так, словно мы когда-то были очень близки, потом надолго были разлучены, и вот, снова вместе. Благородная простота, безыскусственная деликатность, сердечность без слащавости, — все это делает Вас<илия> Вас<ильевича> таким же обаятельным в личном общении, каким он является и в своих письменных излияниях, несмотря на то, что в них, на мой взгляд, есть большие ошибки...

...О произведениях Вас<илия> Вас<ильевича>. Да, лишь очень немногим читателям может он прийтись по уму. Прочитала его «Люди лунного света», «Темный Лик», «В мире неясного и нерешенного» и «Литературные изгнанники». И пока могу сказать только одно: очень много в авторе чисто субъективного, *хорошего*. Недостаток объективности, объясняемый изумительной живостью мышления, есть тем больший дефект, что автор как вихрь подхватывает читателя и уносит с собой в мир... «неясного и нерешенного», который может показаться читателю со спертым ды-

ханием и закружившейся головою областью всего уже *ясного и решенного*. В *частности* очень много верного, пронизывающего толщи накопившихся в умах ложных представлений, но в *общем* дается возможность нового неверного представления. Так как центральный пункт автора первых трех прочитанных мною произведений — акт вызывания к объективному бытию нового существа, читатель может смешать *условие с целью*, воображая, что в этом одном акте и есть суть всей задачи жизни: и без того, б<ыть> м<ожет>, уже склонный к культивированию этого именно акта, очень рад будет видеть в нем одном все требование религии. Тут — возвращение к фаллизму, который, как у людей высшего порядка никогда *культ*ом быть не может (а если бывает, то лишь как мимолетное увлечение), у толпы же ведет к... одичанию. Вглядываясь в историю, лично я нахожу, что фаллизм — достояние именно совсем *еще* диких обществ, или снова погружающихся в варварство, *семитизирующихся*. Ведь, по-моему, *семитизм* как явление вовсе не есть что-нибудь отдельно *племенное*, а лишь — *состояние*, которому рано или поздно подвергается каждый индивид и каждое скопление индивидов, хотя бы разросшихся и в целое обширное государство, раз особь (или масса особей) поддались внутренней порче...

Окончательный мой личный вывод из прочитанного (книга о Н. Н. Страхове и пр<очих> в стороне): — В. В. Розанов в высокой степени интересен и ценен для читателей *мыслящих*, потому что он сильно электризует их мысль, но читатель обыденный *завязнет* на его главном пункте. Больше не решаюсь сказать.

Повторяю лишь: В. В. Розанов — *очень* обаятелен и как человек, и как мыслитель, и как писатель.

26 июля (8 авг.) утром.

...Вас<илий> Вас<ильевич> дал прочесть его «Уединенное» и 2 тома «Опавших листьев». И я приятно была удивлена, когда, раскрыв «Уединенное», нашла на 26-ой стр., что одна его родственница сказала ему: — «В вас *мужского* только одежда» (последнее слово там другое). Следовательно, я не ошиблась в своей характеристике, написанной мною *до* прочтения отзыва другой женщины.

Вечером.

...Хорошо, что я написала предыдущее о Вас<илие> Вас<ильевиче> *до* ознакомления с его мелкими набросками, иначе можно бы подумать, что я *плагирую*, на что я способна так же мало, как на прямое воровство. Так, напр<имер>, совпало и мое

выражение о том, что нужно бы поместить Вас<илия> Вас<ильевича> в храм с открытым потолком — с тем местом (в «Опавших» листьях», I том), где он сам говорит: — «Мне представлялась ночь, и половина храма с открытым куполом»... Опять радуюсь, что отчасти поняла эту крайне своеобразную личность.

Это — клубок тончайшей трансцендентальной паутины, из которой во все стороны брызгают яркие молнии, которые на что случайно упадут, то и вырезают в окружающем мраке, без чего оно оставалось бы незамеченным. Положим, освещается не весь данный предмет, а лишь та или иная *точка* его, но это и не может быть иначе при освещении на *миг*. Это я — со стороны интеллектуальной. Что же касается *душевной*, то, насколько могла понять, Вас<илий> Вас<ильевич> обладает душой совершенно *прозрачною*, такую *чистою*, что даже маленькие недостатки ее (без которых Вас<илий> Вас<ильевич> был бы не человек) не могут отталкивать, потому что и их корень — *чистый*. В том-то и вся суть Вас<илия> Вас<ильевича>, что он воплощение принципа *чистоты*, которая стремится покрыть собою... стусевать всю грязь, скопившуюся в современных понятиях, но — увы! сама загрязняется от тесного соприкосновения с нечистотою. Грязнится *не сама по себе*, а — в виде наружного налета. Глаза же большинства «созерцателей» только *наружное*, ведь, и видят и отождествляют его с сущью...

Бедная белоснежная бабочка (Психея) среди нашей липкой грязи! Не туда ты попала, а все-таки как *хорошо*, что *попала*... *Хорошо* — для тех немногих, которые поймут тебя, увидят в тебе пришлицу из нагорного мира!

Да, Вас<илий> Вас<ильевич> не *сочинитель*, он — *открывающий и открывающийся*; и он *единственный* в своем роде; изумительное явление среди нас. Да сохранит его Провидение как можно дольше в этом мире, где он сияет такою светлою, но таинственною, своей редкостью, звездой!

Большое счастье увидеть близко от себя эту звезду!

Относительно того, в чем расходятся мои собственные взгляды со взглядами Вас<илия> Вас<ильевича> (видим *разные* точки предметов) я говорить здесь не буду, это выясняется из моих литературных произведений.

Но теперь уже и *punctum!* \*



\* точка (лат.).



## Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХ

### Последние дни Розанова

(к 4-й годовщине смерти)

«В огне и холоде тревог» промелькнули четыре года, отделяющие меня от того изгрызанного тоской дня, когда я получил от Н. А. Бердяева письмо с извещением о смерти В. В. Розанова: «Умер Розанов. Ужасно, что негде даже написать о нем».

С тех пор прошло четыре года, но, кажется, и теперь — написать о Розанове негде. Во всяком случае, негде написать о нем *до конца*, написать все, что хочется, все, что нужно. Я очень люблю «Литературное приложение» к «Накануне» и почитаю его руководителя<sup>1</sup>, но уверен, что и он при всем желании не мог бы напечатать о Розанове полную правду, т. е. правду в том смысле, в каком понимал ее сам Розанов — смысле окончательного самообличения. Недаром же М. А. Кузмин, взявший у меня одно из писем Розанова для своего «Абраксаса»<sup>2</sup>, вынужден был отказаться от его печатания («страшно», по его словам).

Если даже Кузмин, находящийся, подобно Розанову, в сладком неведении, через «ѣ» или через «е» пишется слово «нравственность», обнаружил стыдливую робость, то чего же ждать от других?

Не удивительно, что «Сполохи» (издат. Гутнов)<sup>3</sup>, полгода тому назад забравшие у меня письма Розанова и даже предупредительно приславшие через *Lüftpost* \* корректуру, до сих пор не удосуживаются тиснуть эту злосчастную книжицу.

Все это, впрочем, дела домашние, о которых просто неприлично говорить в газетной статье, и я никогда не решился бы на такую бестактность, если бы, подобно моему гениальному учителю, не чувствовал литературу «как свои штаны».

\* авиапочта (нем.).

Пусть блюстители приличия, в свое время остервенело травившие Розанова на столбцах кадетских газет, говорят о «развязности» и «дурном тоне». Мы знаем (В. В. все слышит, сочувственно улыбается и кивает мне головой), что бывает цинизм от страдания, и знаем, что где-то там, за серыми туманами, — розовые зори в земном небе, радость примирения, любовь без конца. Здесь — все не то, все не так, здесь мы рождаемся с болью («с болью я родился» — в «Уединенном»), с болью живем, с болью умираем, здесь мы томимся в тесной тюрьме, кое-как учимся, кое-как влюбляемся, кое-как влачим крестную ношу, не напрасно веруя, что есть

«Где-то там, за синей далью  
Берег вечного веселья,  
Незнакомые с печалью  
Геспериовы сады» (Брюсов)<sup>4</sup>.

Это влечение к несбывшейся отчизне звучало в предсмертном Розанове как лейтмотив, как доминанта. Судьба не палкой загнала его в сад смерти, а увлекла любовно и нежно. И разве страшен этот сад? — «Там густа и высока трава, там большие белые звезды, цикуты, и всю ночь там поет соловей. Всю ночь там поет соловей, а сверху глядит холодная хрустальная луна, и тисовое дерево простирает свои исполинские руки над спящими» (Уайльд)<sup>5</sup>. Не страшна смерть, но страшно предсмертное томление.

Жестокие муки испытал Розанов на пути в сад смерти. Вот его последние мысли, записанные Н. В. Розановой:

#### ПОСЛЕДНИЕ МЫСЛИ РОЗАНОВА \*

«От лучинки к лучинке, Надя, опять зажигай лучинку, скорей, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль.

Что такое сейчас Розанов?

Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся под тупым углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурой, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга очевидно нет, жалкие тряпки, тряпки, тела.

---

\* Продиктованы В. В. Розановым его дочери Надежде в декабре 1918 г., за месяц до смерти.



Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара тела. Вот оно: тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвой водой. Она переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая. Убийственная своей мертвечиной. Дрожание и озноб внутренний не поддаются ничему ощущаемому. Ткани тела кажутся опущенными в холодную лютую воду. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому “ад” или пламя не представляют ничего грозного, а скорее желанное. Это все для согревания, а согревание только и желаемо. Ткань тела, эти мотающиеся тряпки и представляются не в целом, а в каких-то безумных подробностях, отвратительных и смешных, размоченными в воде адского холода. И кажется, кроме озноба ничего в природе не существует. Поэтому умирание, по крайней мере, от удара — представляет собою зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это холод, холод и холод, мертвый холод и больше ничего.

Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких раздробленных лучинок, где каждая представляется трущей и раздражающей остальные. Все вообще представляет изломы, трение и страдание.

Состояние духа — его \* — никакого. Потому что и духа нет. Есть только материя изможденная, похожая на тряпку, брошенную на какие-то крючки.

До завтра.

Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так изнеможено, что духовного тоже ничего не приходит на ум. Адская мука — вот она налицо. В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса, воистину узнаю их образ».

*В. Розанов.*

Но, несмотря на тяжкие страдания, перед самой смертью душа Розанова озарилась необычайным горением. Огромный сдвиг произошел в нем, огромный подъем. Для меня не было ничего неожиданного в том, что Розанов умер христианином, умер вполне «православно». Он всегда утверждал, что религия есть самое важное, самое нужное, что жить без нее невозможно и никакую

---

\* я (лат.).

философию вне религии построить нельзя. Вопрос только о *форме*; и вполне естественно, что для умирающего Розанова православие, вера его предков, вера его семьи и друзей стала единственно-возможной формой религиозного *действия*. А бездействовать (религиозно) в минуты умирания — невозможно. Наконец, — как забыться, как уйти от себя человеку, душа которого сплетена «из грязи, нежности, грусти»?

«Я прожил гнусную жизнь, — говорит Хомутов в “Кукушкиных слезах” гр. А. Н. Толстого, — я малодушный, ничтожный человек. Но нужно, чтобы конец этой муки был прекрасный и торжественный, как удар колокола». Конец Розанова был именно таков, но никто этого не понял.

Критик Г. сказал мне однажды о Розанове: «Жил он как курица и умер как курица» (т. е. малодушно, поджав хвост, примазавшись к Церкви).

Другой собеседник, проф. С., заметил возмущенно: «Непостижимо, *как мог* Розанов окунуться под конец жизни в самое банальное православие, в наибольшую церковность. Невероятная пошлость!»

На это Розанов мог бы ответить, что если в его жизни и была пошлость, она заключалась только в том, что он был писателем. Во всем же остальном эта жизнь была необычайна, и *необычен в своей обыкновенности* был ее конец.

Мне бесконечно жаль, что в своей книге о Розанове я недостаточно осветил его последние дни. И только недавно, перечитывая письма его дочери, я почувствовал, что необходимо это сделать — лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, Н. В. Розанова не посетует на меня за выдержки из ее писем. Все «домашнее», «личное», «интимное» пропускаю.

«...Получили Вашу телеграмму и так глубоко и больно почувствовали Вашу близость. Да, как часто, часто вспоминал папа своего “милого Эриха”, как часто хотел видеть Вас, молча около Вас посидеть... И как все это кажется недавно... Два месяца он болел параличом. У него не действовала левая часть тела. Надо было одно усиленное питание, но его не было, достать было невозможно... Он все слабел, слабел. Последние дни я, 18-летняя, легко переносила его на руках, как малого ребенка. Он был тих, кроток. Страшная перемена произошла в нем, великий перелом и возрождение. Смерть его была чудная, радостная. Вся смерть его и его предсмертные дни была одна Осанна Христу. Я была с ним все время в дни его болезни и в его последние дни. Он говорил: “Как радостно, как хорошо. Отчего вокруг меня такая радость, скажите? Со мною происходят действительно чудеса, а

что за чудеса — расскажу потом, когда-нибудь”. “Обнимитесь вы все... Целуемся во имя воскресшего Христа. Христос воскрес!” Он 4 раза по собственному желанию причастился, 1 раз соборовался, три раза над ним читали отходную. Во время нее он скончался. Он умер 23-го января ст. стиля, в среду, в 1 час дня. Без всяких мучений. Дыхание становилось все слабее, ему начала мешать слюна. Друзья, окружившие его, положили ему на голову пелену, снятую с мощей (изголовья) преп. Сергия, — слюна сразу перестала течь, он тихо, тихо уснул. Три раза улыбнулся, затем какая-то тень пробежала по лицу, будто ему было что-то горько, неприятно, почти физически, и он †. Его похоронили в монастыре Черниговской Божьей матери, рядом с любимым К. Н. Леонтьевым. И когда над могилой его служили панихиду, пели о “упокоении души новопреставленного Василия”, вместе с ним молились и о “упокоении души монаха Климента”<sup>7</sup>. Много страшно чудесного открылось в последние дни его, в смерти и в его погребении. Об этом после. Я пришлю Вам, когда спишу, все, что он диктовал мне во время болезни»... «Да, воистину: “Посрамлю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну”. Такой свет, такая радость была вокруг него. Такая светлая кончина, такая Осанна Христу».

«Когда папу хоронили, день был ласковый, теплый, нежный... Как хорошо было бы, если бы Вы... приехали, пошли бы на могилу папы. Дорога через лес и поле. Лес сосновый, темный, напоминает пустыньку св. Серафима Саровского... Вы бы посидели над могилой его, как по-прежнему — молчали бы вдумчиво и в молчании говорили бы неутешно с ним».

(... — Говорю с ним всегда, и далекая могила в Сергиевом Посаде — место моего всегдашнего паломничества).

«Посылаю Вам все, что диктовал мне папа. Письмо к Мережковскому (первое)<sup>8</sup>, писал с страшным надрывом, плакал о великом холоде мира, какой хотел растопить бы...»

«...Он говорил, что знает, что умрет, но это радостно ему».

«В Москве повсюду ходит легенда, что папа прогнал покойного брата Васю, который хотел стать красноармейцем, и кажется, что даже выгнал его из дома. Перед смертью же действительно причастился, но после сказал: “Дайте мне изображение Иеговы”. Его не оказалось. “Тогда дайте мне статую Озириса”. Ему подали и он поклонился Озирису... Это — еврей — Гершензон, Эфрос<sup>9</sup> и др. Буквально всюду эта легенда. Из самых разнородных кружков. И так быстро все облетело. Испугались, что папа во Христе умер, и перед смертью понял Его. И поклонился Ему. А как там у Вас приняли папину кончину?»

У нас приняли эту смерть вот как. В «Доме Литераторов», где обычно вывешивались известия о смерти самого маленького журналиста, на смерть Розанова не откликнулись ничем: никакого «вечера памяти», никакого доклада, даже панихиды не было. Не было, повторяю, даже извещения о смерти. Печать (как известно, «голос народа») не сочла нужным уделить внимание «презренному нововременцу».

Литературная братия в своем кругу перекинулась, как водится, кое-какими грязенькими анекдотами о Розанове.

Злословие с незапамятных времен составляет отличительную доблесть русского писателя. Вспомним вздох Блока (тоже достаточно страдавшего от злословия):

«Друг другу мы тайно враждебны,  
Завистливы, глухи, чужды,  
А как бы и жить, и работать,  
Не зная извечной вражды»...<sup>10</sup>

Клевету и сплетню не будем, однако, смешивать с легендой.

Смерть большого писателя всегда порождает легенды и, в сущности, нет такой легенды, которая не имела бы внутреннего основания, хотя бы слабого подобия правды. В «легенде» Гершензона, Эфроса и пр. есть доля внутренней правды, хотя и лишенной внешнего основания. В ней есть вероятие и доля правдоподобия.

З. Н. Гиппиус вскоре после смерти Розанова передала мне от слова до слова рассказы про Иегову и Озириса, присоединила к нему еще Аписа, Изиду и Астарту. Такое обилие богов повергло меня в смущение, и я пытался протестовать, ссылаясь на свидетельства Над<ежды> Вас<ильевны> Розановой.

Но с женщиной спорить, разумеется, бесполезно, особенно со столь энергичной, как пленительная З. Н. Гиппиус, о которой покойный Розанов говорил с восторгом и страхом: «Не женщина, а сущий черт».

Почитатели розановского иудаизма утверждают, что православное настроение Розанова было всецело подготовлено свящ. Флоренским. П. А. Флоренский действительно имел большое влияние на Розанова и старался укрепить его в православии, но я не допускаю и мысли, чтобы Флоренский мог бы «инсценировать христианскую кончину». Повторяю, *бессмысленных* легенд не существует. Поэтому не станем отвергать «гипотезу Гершензона-Эфроса», если даже она и лишена фактического основания. Но противоречие с самим собою (выразившееся в «христианской кончине») несравненно более похоже на Розанова, чем идейная последовательность.

Он жил «наперекор стихиям» и, подобно Уитмену, был «вместителен настолько, что совмещать умел противоречия»<sup>11</sup>.

\* \* \*

Царское Село — снежные сугробы за окном. Голубоватое сияние луны. Тишина — ненарушимая.

...Сергиев Посад. Пеленою снежною, глубоким безмолвием окутана далекая могила...

«Может быть, мы всю жизнь живем, чтобы заслужить могилу».

Оглядываюсь назад: мелкими шажками, шмыгающей своей походкой входит ко мне В<асилий> В<асильевич>. Мы целуемся, молча, без слов. Он садится в кресло, поджав под себя ногу, другой ногой трясет по своему обыкновению. Закуривает, жмурится от дыма. И говорит, как бывало:

«Пишите, пишите, но без “похвального слова”: откройте всю правду обо мне и свою собственную правду. Я счастлив, что мы нашли друг друга. Одни и те же песни без слов звучат в наших душах, и мы одни слышим и знаем, о чем поют эти песни»...

...За окном глубокая ночь. Тишина. Сугробы снега. Мы одни в целом мире. Не времени, нет пространства и близко долгожданное Утро.





**П. А. ФЛОРЕНСКИЙ**

**О В. В. Розанове (письмо М. И. Лутохину)**

*<5-6 сентября 1918 г., Сергиев Посад>*

Глубокоуважаемый Михаил Иванович!

Спешу ответить на сегодня полученное письмо Ваше. О Вас<илии> Вас<ильевиче> сказать могу лишь очень немного, ибо иначе — надо говорить слишком много. Существо его — Божественное: он не приемлет ни страданий, ни греха, ни лишений, ни смерти, ему не надо искупления, не надо и воскресения, ибо тайная его мысль — вечно жить, и иначе он не воспринимает мира. Вас<илий> Вас<ильевич> есть такой шарик, который можете придавливать — он выскользнет, но который не войдет в состав целого мира: он сам по себе, *per se est*, или, по крайней мере, *potat se per se esse* \*. Это — стихия хаоса, мятущаяся, вечно-мятущаяся, не признающая никакой себе грани, — хаоса не понявшего и не умеющего понять своей конечности, своей условности, своей жалкости вне Бога. Бейте его — он съезжится, но стоит перестать его бить, он опять возьмется за свое. И потому Вас<илия> Вас<ильевича> надо глотать целиком — если можете и хотите, и отбрасывать целиком — если не умеете и не желаете проглотить. Меня удивляет, как это ни Вы, ни другие не видят непрерывности мыслей, настроений и высказываний В<асилия> В<асильевича>: право же, он говорит теперь то же (в сущности дела), то же именно, что говорил раньше<sup>1</sup>. Спорить тут бесполезно, ибо В<асилий> В<асильевич> не умеет слушать, не умеет и спорить, но по-женски твердит свое, а если его прижать к стене, то негодует и злится, но конечно не сдается. Если бы действовать на него не логически, а психологически, то он (и это не было бы корыстно, расчетливо, а произошло бы само со-

---

\* мог бы быть сам по себе (*лат.*).

бою) стал бы говорить иное, хотя и не по существу, а — по адресу. Например, если бы его приютил какой-либо монастырь, давал бы ему вволю махорки, сливок, сахару и пр., и пр., и, главное, щедро топил бы печи, то, я уверяю, В<асилий> В<асильевич> с детской наивностью стал бы восхвалять не этот монастырь, а по свойственной ему необузданности обобщений, чисто детских индукций ab eхemplо ad omnia \* — все монастыри вообще, их доброту, их человечность, христианский аскетизм и т. д. И воистину, он воспел бы христианству гимн, какого не слыхивали по проникновенности лирики. Правда, этот гимн, если бы внимательно вслушаться в него, оказался бы восхвалением христианства не за христианственность, а за некоторые нейтральные черты в нем, но он был бы сладостно действителен, общественно (т. е. для дураков, кои не умеют разбираться в сути дела) более полезен, нежели все говоримые проповеди, вместе взятые. Но вот, приехал В<асилий> В<асильевич> в Посад. Его монастырь даже не заметил, — конечно! — в Посаде выпали на долю В<асилия> В<асильевича> все те бедствия, которые в гораздо большей степени в это же время выпали бы в СПб., в Москве и всюду. Находолавшись и наголодавшись, не умея распорядиться ни деньгами, ни провизией, ни временем, этот зверек-хорек, что ли, или куничка, или ласка, душащая кур, но мящая себя львом или тигром, все свои бедствия отнес к вине Лавры, Церкви, христианства и т. д., включительно до И<исуса> Х<риста>. Почва была подготовлена: семейные истории В<асилия> В<асильевича>, уже давно намозолившие ему шею, подготовили его бешенство против консистории, Церкви, Христа. Кое-что в словах его, ложно выраженное, содержит правильное постижение хода мировой истории. Но все же так это выражается, ложно, по основному направлению В<асилия> В<асильевича>, по его складу духа, не приемлющему никакого «нет», никакой задержки, никакого «должен», — стремящегося излиться, как льется поток воды, и не переносящего ни малейшей препоны, на самое короткое время.

*Ваш священник Павел Флоренский*



\* от частного к общему (лат.).





## Л. Д. ТРОЦКИЙ

### Мистицизм и канонизация Розанова

Но ни в чем, может быть, не обнаружилось с такой интимной убедительностью опустошение и гниение интеллигентского индивидуализма, как в повальной нынешней канонизации Розанова: «гениальный» философ, и провидец, и поэт, и мимоходом рыцарь духа. А между тем Розанов был заведомой дрянью, трусом, приживальщиком, подлипалой. И это составляло суть его. Даровитость была в пределах выражения этой сути.

Когда говорят о «гениальности» Розанова, выдвигают главным образом его откровения в области пола. Но попробовал бы кто-нибудь из почитателей свести воедино и систематизировать то, что сказано Розановым на его приспособленном для недомолвок и двусмысленностей языке о влиянии пола на поэзию, религию, государственность, — получилось бы нечто весьма скудное и немало не новое. Австрийская психоаналитическая школа (Фрейд<sup>1</sup>, Юнг<sup>2</sup>, Альберт Адлер<sup>3</sup> и др.) внесла неизмеримо больший вклад в вопрос о роли полового момента в формировании личного характера и общественного сознания. Тут по существу дела и сравнивать нельзя. Даже и парадоксальнейшие преувеличения Фрейда куда более значительны и плодотворны, чем размашистые догадки Розанова, который сплошь сбивается на умышленное юродство и прямую болтовню, твердит зады и врет за двух.

И тем не менее должно признать, что не стыдящиеся словословить Розанова и склоняться перед ним внешние и внутренние эмигранты попадают в точку: в своем духовном приживальстве, в пресмыкательстве своем, в трусости своей Розанов только доводил до крайнего выражения их основные духовные черты, — трусость перед жизнью и трусость перед смертью.

Некий Виктор Ховин — теоретик футуризма, что ли? — удостоверяет, что подлая переметчивость Розанова проистекала из сложнейших и тончайших причин: если Розанов, забежав было

в революцию (1905 г.), не покидая, впрочем, «Нового времени», повернул затем вправо, то единственно потому, что испугался обнаруженной им сверхличной банальности; и если добежал до выполнения щегловитовских поручений по ритуалу<sup>4</sup>, и если писал одновременно в «Новом времени» в правом направлении, а в «Русском слове», за псевдонимом, — в левом, и если в качестве сводни сманивал к Суворину молодых писателей<sup>5</sup>, то единственно опять-таки от сложности и глубины душевной своей организации. Эта глуповатая и слащавая апологетика была бы хоть чуть-чуть убедительнее, если бы Розанов приблизился к революции во время гонений на нее, чтобы затем отшатнуться от нее во время победы. Но вот чего уж с Розановым не бывало и быть не могло. Ходынскую катастрофу, как очистительную жертву<sup>6</sup>, он воспевал в эпоху торжествующей победоносцевщины. Учредительное собрание и террор, все самое что ни на есть революционное, он принял в октябрьский период 1905 г., когда молодая революция, казалось, уложила правящих на обе лопатки. После 3 июня (1907 г.) он пел третьеиюнцев<sup>7</sup>. В эпоху бейлисиады доказывал употребление евреями христианской крови. Незадолго до смерти писал со свойственным ему юродским кривлянием о евреях как о «первой нации в мире», что, конечно, немногим лучше бейлисиады, хоть и с другой стороны. Самое доподлинное в Розанове: перед силой всю жизнь червем вился. Червеобразный человек и писатель: извивающийся, скользкий, липкий, укорачивается и растягивается по мере нужды — и как червь, противен. Православную церковь Розанов бесцеремонно — разумеется в своем кругу — называл навозной кучей<sup>8</sup>. Но обрядности держался (из трусости и на всякий случай), а помирать пришлось, пять раз причащался, тоже... на всякий случай. Он и с небом своим двурушничал, как с издателем и читателем.

Розанов продавал себя публично, за монету. И философия его таковская, к этому приспособленная. Точно так же и стиль его. Был он поэтом интерьерчика, квартиры со всеми удобствами. Глумясь над учителями и пророками, сам он неизменно учительствовал: главное в жизни — мягонькое, тепленькое, жирненькое, сладенькое. Интеллигенция в последние десятилетия быстро обуржуазивалась и очень тяготела к мягонькому и сладенькому, но в то же время стеснялась Розанова, как подрастающий буржуазный отпрыск стесняется разнузданной кокотки, которая свою науку преподает публично. Но по существу-то Розанов всегда был ихним. А теперь, когда старые перегородки внутри «образованного» общества потеряли всякое значение, равно как и стыдливость, фигура Розанова принимает в их глазах

титанические размеры. И они объединяются ныне в культ Розанова: тут и теоретики футуризма (Шкловский, Ховин), и Ремизов, и мечтатели-антропософы, и немечтательный Иосиф Гессен<sup>9</sup>, и бывшие правые, и бывшие левые! «Осанна приживальщику! Он учил нас любить сладкое, а мы бредили буревестником и все потеряли. И вот мы оставлены историей — без сладкого...»





## В. Б. ШКЛОВСКИЙ

### Розанов

#### I

В «Вильгеме Мейстере» Гете есть «Исповедь прекрасной души». Героиня этой исповеди говорит, что она относилась к красоте художественного произведения так, как относятся к красоте шрифта книги: «Хорошо иметь красиво напечатанную книгу, но кто читает книгу за то, что она красиво напечатана?».

И она, и Гете за нее знали, что говорить так — значит ничего не понимать в искусстве. А между тем такое отношение так же привычно для большинства современных исследователей искусства, как привычно косоглазие для китайца.

И если этот взгляд уже смешон в музыке, провинциален в изобразительных искусствах, то в литературе он живет во всех оттенках.

Но, рассматривая литературное произведение и смотря на так называемую форму как на какой-то покров, сквозь который надо проникнуть, современный теоретик литературы, садясь на лошадь, перепрыгивает через нее.

Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, не материал, а отношение материалов. И как всякое отношение, — это отношение нулевого измерения. Поэтому безразличен масштаб произведения, арифметическое значение его числителя и знаменателя, важно их отношение. Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставления мира миру или кошки камню — равны между собой.

Отсюда же безвредность, замкнутость в себе, неповелительность искусства. История литературы движется вперед по прерывистой, переломистой линии. Если выстроить в один ряд всех тех литературных святых, которые канонизированы, например, в России с XVII по XX столетие, то мы не получим линии, по

которой можно было бы проследить историю развития литературных форм. То, что пишет Пушкин про Державина, не остро и не верно. Некрасов явно не идет от пушкинских традиций. Среди прозаиков Толстой также явно не происходит ни от Тургенева, ни от Гоголя, а Чехов не идет от Толстого. Эти разрывы происходят не потому, что между названными именами есть хронологические промежутки.

Нет, дело в том, что наследование при смене литературных школ идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику. Сперва развернем формулу. В каждую литературную эпоху существует не одна, а несколько литературных школ. Они существуют в литературе одновременно, причем одна из них представляет ее канонизированный гребень. Другие существуют не канонизированно, глухо, как существовала, например, при Пушкине державинская традиция в стихах Кюхельбекера и Грибоедова одновременно с традицией русского водевильного стиха и с рядом других традиций, как, например, чистая традиция авантюрного романа у Булгарина.

Пушкинская традиция не продолжалась за ним, то есть произошло явление того же типа, как отсутствие гениальных и остродаровитых детей у гениев.

Но в это время в нижнем слое создаются новые формы взамен форм старого искусства, ощутимых уже не больше, чем грамматические формы в речи, ставшие из элементов художественной установки явление служебным, внеощутимым. Младшая линия врывается на место старшей, и водевилист Белопяткин становится Некрасовым (работа Осипа Брика)<sup>1</sup>, прямой наследник XVIII века Толстой создает новый роман (Борис Эйхенбаум), Блок канонизирует темы и темпы «цыганского романса», а Чехов вводит «Будильник»<sup>2</sup> в русскую литературу. Достоевский вводит литературную норму приемы бульварного романа. Каждая новая литературная школа — это революция, нечто вроде появления нового класса.

Но, конечно, это только аналогия. Победенная «линия» не уничтожается, не перестает существовать. Она только сбивается с гребня, уходит вниз гулять под паром и снова может воскреснуть, являясь вечным претендентом на престол. Кроме того, в действительности дело осложняется тем, что новый гегемон обычно является не чистым восстановителем прежней формы, а осложнен присутствием черт других младших школ, да и чертами, унаследованными от своей предшественницы по престолу, но уже в служебной роли.

Теперь перейдем к Розанову для новых отступлений.

В своей заметке о Розанове я коснусь только его трех последних книг: «Уединенного» и «Опавших листьев» (короба первого и второго).

Конечно, в этих произведениях, интимных до оскорбления, отразилась душа автора. Но я попробую доказать, что душа литературного произведения есть не что иное, как его строй, его форма. Или, употребляя мою формулу: «Содержание (душа сюда же) литературного произведения равно сумме его стилистических приемов». Перехожу на цитату из Розанова — «Опавшие листья» (короб I):

«Все воображают, что душа есть существо. Но почему она не есть музыка?

И ищут ее “свойства” (“свойства предмета”). Но почему она не имеет только *строй*?

(за кофе утр.)» (с. 339).

Художественное произведение имеет душу как строй, как геометрическое отношение масс. Подбор материала для художественного произведения совершается тоже по формальным признакам. Выбирают величины значимые, ощутимые. Каждая эпоха имеет свой индекс, свой список запрещенных за устарелостью тем. Такой индекс накладывает, например, Толстой, запрещая писать про романтический Кавказ, про лунный свет.

Здесь типичное запрещение «романтических тем». У Чехова мы видим другое. В своей юношеской вещи «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?» он перечисляет шаблонные места:

«Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам. Не так полезны для героя его наставления, как смерть Тетка в Тамбове.

Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку с набалдашником и лысину. <...>

Подмосковная дача и заложенное имение на юге».

Как видите, здесь запрещение наложено на некоторые типичные бытовые «положения». Запрещение это сделано не потому, что нет больше докторов, заявляющих, что кризис прошел, но потому, что это положение уже стало клише. Есть возможность подновить клише, подчеркнув его условность, и здесь возможна удача игры с банальностью. Но такая удача единична. Привожу пример (Гейне):

Die Pose, die Lilje, die Taube, die Sonne,  
Die liebt'ich einst alle in Liebeswonne...<sup>3</sup>

(далее игра на рифмах: Alleine — Eine — Kleine — Feine — Reine = кровь — любовь — радость — младость).

Но запрещенные темы продолжают существовать вне канонизованной литературы так, как существует сейчас и существовал всегда эротический анекдот, или так, как существуют в психике подавленные желания, изредка выявляясь в снах, иногда неожиданно для своих носителей. Тема последней домашности, домашнего отношения к вещам, супружеская двухспальная любовь не подымалась или почти никогда не поднималась в «большой свет» литературы, но она существовала, например, в письмах.

«Целую тебя в детской, за ширмами, в сером капоте», — пишет Толстой своей жене (29 ноября 1864 г.).

Или в другом месте:

«Так Сережа к клеенке лицо прикладывает и агу кричит, посмотрю я. Ты меня так удивила, объявив, что ты спишь на полу; но Л<юбовь> Ал<ександровна> сказала, что и она так спала, и я понял. Я и люблю, и не люблю, когда ты подражаешь ей. Я желел бы, чтобы ты была такая же существенно хорошая, как она <...>».

После послезавтра, на клеенчатом полу в детской обойму тебя, тонкую, быструю, милую мою жену» (10 декабря 1864 г.).

Но время шло, стерся и стал штампом толстовский материал и прием. Толстой как гений не имел учеников. И без объявления, без составления нового списка запрещенных тем его творчество ушло в запас. Тогда произошло то, что происходит в супружеской жизни, по словам Розанова, когда исчезает чувство различия между супругами:

«Зубцы (разница) перетираются, сглаживаются, не зацепляют друг друга. И “вал” останавливается, “работа” остановилась: потому что исчезла машина, как стройность и гармония “противоположностей”».

*Эта любовь, естественно умершая, никогда не возродится...*

Отсюда, раньше ее (полного) окончания, вспыхивают измены, как последняя надежда любви: ничто так не отдаляет (творит разницу) любящих, как измена которого-нибудь. Последний еще не стершийся зубец — нарастает, и с ним зацепляется противоположащий зубчик» («Опавшие листья», с. 212).

Такой изменой в литературе является смена литературных школ.

Общезвестен факт, что величайшие творения литературы (говоря сейчас только о прозе) не укладываются в рамки определенного жанра. Трудно определить, что такое «Мертвые души», трудно отнести это произведение к определенному жанру. «Вой-



на и мир» Льва Толстого, «Тристрам Шенди» Стерна с почти полным отсутствием обрамляющей новеллы могут быть названы романами только за то, что они нарушают именно законы романа. Сама чистота жанра, например, жанра «ложноклассической трагедии», понятна только как противопоставление жанра, не всегда нашедшего себя, канону. Но канон романа как жанра, быть может, чаще, чем всякий другой, способен перепародироваться и переиначиваться.

Я разрешаю себе, следуя канону романа XVIII века, отступление.

Кстати об отступлениях. У Фильдинга в «Джозефе Эндрьюсе» есть глава, вставленная после описания драки. Глава эта содержит описание разговора писателя с актером и носит следующее название: «Вставленная исключительно для того, чтобы задержать действие»<sup>4</sup>.

Отступления вообще играют три роли. Первая их роль состоит в том, что они позволяют вводить в роман новый материал. Так, речи Дон Кихота позволили ввести Сервантесу в роман различный критический, философский и тому подобный материал. Гораздо более значения имеет вторая роль отступлений — это задержание действия, торможение его. Прием этот широко использован Стерном, о чем я и писал в своей нигде не напечатанной работе. Сущность приема состоит у Стерна в том, что один сюжетный мотив развертывается то экспозицией действующих лиц, то внесением нового материала, вроде рассуждения, то, наконец, введением новой темы (у Стерна, например, внесен таким образом рассказ в «Тристраме Шенди» о тетке героя и об ее кучере).

Играя с нетерпением читателя, автор все время напоминает ему об оставленном герое, но не возвращается к нему после отступления, и само напоминание служит только для подновления ожидания.

В романе с параллельными интригами, типа «Несчастливых» Виктора Гюго или романов Достоевского, в качестве материала для отступления использовано перебивание одного действия другим.

Третья роль отступлений состоит в том, что они служат для создания контраста. Фильдинг пишет об этом так (книга пятая, «Том Джонс», глава 1):

«Для этого мы необходимо должны указать на новую жилу познания, которая если и была уже известна прежде, то, по крайней мере, не разработана, сколько нам известно, ни одним из древних или новых писателей. Эта жила — закон контраста; она

проходит по всему в мире и, конечно, немало способствовала пробуждению в нас идеи красоты как естественной, так и искусственной, ибо — что лучше противоположности может уяснить красоту или превосходство вещи? Так, например, ужасы ночи и зимы делают для нас очевидными красоту дня и лета, и человек, видевший только день и лето, имел бы очень несовершенное понятие об их прелести».

Я думаю, что приведенная цитата достаточно выясняет третью роль, исполняемую отступлениями, — создание контрастов.

Гейне, собирая свою книгу, тщательно подбирал главы, изменяя их порядок, для создания такой контрастности.

## II

Возвращаюсь к Розанову.

Три разбираемые его книги представляют жанр совершенно новый, «измену» чрезвычайную. В эти книги вошли целые литературные, публицистические статьи, разбитые и перебивающие друг друга, биография Розанова, сцены из его жизни, фотографические карточки и т. д.

Эти книги — не нечто совсем бесформенное, так как мы видим в них какое-то постоянство приема их сложения.

Для меня эти книги являются новым жанром, более всего подобным роману пародийного типа, со слабо выраженной обрамляющей новеллой (главным сюжетом) и без комической окраски.

Мне, может быть, скажут: «А нам какое дело до этого?» Я тоже мог бы ответить: «А мне какое дело до вас?» — но я помирнел с годами (мне минуло двадцать восемь лет 12-го января) — и я объяснюсь.

Книга Розанова была героической попыткой уйти из литературы, «сказаться без слов, без формы» — и книга вышла прекрасной, потому что создала новую литературу, новую форму.

Розанов ввел в литературу новые, кухонные темы. Семейные темы вводились раньше; Шарлотта в «Вертере», режущая хлеб, для своего времени была явлением революционным, как и имя Татьяны в пушкинском романе, — но семейности, ватного одеяла, кухни и ее запаха (вне сатирической оценки) в литературе не было.

Розанов ввел эти темы или без оговорок, как, например, в целом ряде отрывков:

«Моя кухонная (прих.-расх.) книжка стоит “Писем Тургенева к Виардо”. Это — другое, но это такая же ось мира и, в сущности, такая же поэзия.

Сколько усилий! бережливости! страха не переступить “черты”! и — удовлетворения, когда “к 1-му числу” сошлись концы с концами» («Оп<авшие> лист<ья>», с. 182)

или в другом месте:

«Люблю чай; люблю положить заплаточку на папиросу (где прорвано). Люблю жену свою, свой сад (на даче)» («Оп<авшие> лист<ья>», с. 365);

или с мотивировкой «сладким» воспоминанием:

«...окурочки-то все-таки вытряхиваю. Не всегда, но если с 1/2 папиросы не докурено. Даже и меньше. «Надо утилизировать» (вторично употребить остатки табаку).

А вырабатываю 12 000 в год и, конечно, не нуждаюсь в этом. Отчего?

Старая неопрятность рук (детство)... и даже, пожалуй, по сладкой памяти ребяческих лет.

Отчего я так люблю свое детство? Свое измученное и опозоренное детство?» («Оп<авшие> лист<ья>», кор<об> II, с. 106).

Среди вещей, созданных заново, создался и новый образ поэта:

«С выпученными глазами и облизывающийся — вот я.

Некрасиво?

Что делать» («Оп<авшие> лист<ья>», короб II, с. 8).

Или еще:

«Во мне ужасно много *гниды*, копошащейся около корней волос.

Невидимое и отвратительное.

Отчасти отсюда и глубина моя <...>» («Оп<авшие> лист<ья>», с. 446).

Или еще:

«Это — золотые рыбки, “играющие на солнце”, но помещенные в аквариуме, наполненном навозной жижей.

И не задыхаются. Даже “тем паче”... Неправдоподобно. И однако — так» («Уединенное», с. 181).

Конечно, гнида, копошащаяся у корней волос, — это не все, что хочет сказать Розанов о себе, — но это материал для стройки.

Розанов ввел новые темы. Почему он их ввел? Не потому, что он был человек особенный, хотя он был человек гениальный, то есть особенный; законы диалектического самосоздания новых форм и привлечения новых материалов оставили при смерти форм пустоту. Душа художника искала новых тем.

Розанов нашел тему. Целый разряд тем, тем обыденщины и семьи.

Вещи устраивают периодические восстания. В Лескове восстал «великий, могучий, правдивый» и всякий другой русский язык, отреченный, вычурный, язык мещанина и приживальщика. Восстание Розанова было восстанием более широким, — вещи, окружавшие его, потребовали ореола. Розанов дал им ореол и прославление.

«Конечно, не бывало еще примера, — пишет дальше Розанов, — и повторение его немислимо в мироздании, чтобы в тот самый миг, как слезы текут и душа разрывается, — я почувствовал безошибочным ухом слушателя, что они текут литературно, музыкально, “хоть записывай”: и ведь только потому я записывал (“Уединенное”, — девочка на вокзале, вентилятор)» («Оп<авшие> лист<ья>», короб II, с. 8–9).

Привожу оба места, упомянутые Розановым в скобках:

«Недодашь чего — и в душе тоска. Даже если недодашь подарок. (*Девочке на вокзале, Киев, которой хотел подарить карандаш — “вставочку”*; но промедлил, и она с бабушкой ушла.)

А девочка та вернулась, и я подарил ей карандаш. Никогда не видела, и едва мог объяснить, что за “чудо”. Как хорошо ей и мне» («Уед<иненное>», с. 211).

«Томительно, но не грубо свистит вентилятор в коридорчике: я заплакал (почти): “да вот чтобы слушать его — я хочу еще жить, а главное друг должен жить”. Потом мысль: “неужели он (друг) на том свете не услышит вентилятора”; и жажда бессмертия так схватила меня за волосы, что я чуть не присел на пол» («Уед<иненное>», с. 265).

Самая конкретность ужаса Розанова есть литературный прием.

Чтобы показать сознательность домашности как приема у Розанова, обращу внимание на одну *графическую* деталь его книг. Вы, наверное, помните семейные карточки, вклеенные в оба короба розановских «Опавших листьев» (с. 38 в первом и 194 во втором). Эти карточки производят странное, необычное впечатление. Если приглядеться к ним пристально, то станет ясной причина этого впечатления: карточки напечатаны без бордюра, не так, как обычно печатаются иллюстрации в книгах. Серый фон карточек доходит до обреза страницы. Никакой надписи или подписи под карточкой нет. Все это, вместе взятое, производит впечатление не книжной иллюстрации, а подлинной фотографии, вклеенной или вложенной в книгу. Сознательность этого образа воспроизведения доказывается тем, что таким способом воспроизведены только некоторые *семейные* фотографии, иллюстрации же служебного типа напечатаны обычным способом с оставлением полей.

Правда, с полями напечатана фотография детей писателя, но здесь любопытна подпись:

«Мама и Таня (стоит у колен) в палисаднике, на Павловской ул. в СПб (Петерб. сторона).

Рядом — мальчик Несветевич, сосед по квартире.

Дом Ефимова, № 2”.

В ней характерно точное полицейское указание адреса, документальность изображения, что также является определенным стилистическим приемом.

Мои слова о домашности Розанова совершенно не надо понимать в том смысле, что он исповедовался, изливал свою душу. Нет, он брал тон «исповеди» как прием.

### III

В «Темном Лике», в «Людях лунного света», в «Семейном вопросе в России» Розанов выступал публицистом, человеком нападающим, врагом Христа.

Таковы же были его политические выступления. Правда, он писал в одной газете как черный, а в другой как красный. Но это делалось все же под двумя разными фамилиями, и каждый род статей был волевым, двигательным, и каждый род их требовал своего особого движения. Сосуществование же их в одной душе было известно ему одному и представляло чисто биографический факт.

В трех последних книгах Розанова дело резко изменилось, даже не изменилось, а переменялось начисто.

«Да» и «нет» существуют одновременно на одном листе, — факт биографический возведен в степень факта стилистического. Черный и красный Розанов создают художественный контраст, как Розанов грязный и божественный. Само «пророчество» его изменило тон, потеряло провозглашение, теперь это пророчество домашнее, никуда не идущее.

«“Пророчество” не есть у меня для русских, т. е. факт истории нашего народа, а мое домашнее обстоятельство и относится только до меня (без значения и влияния); есть частность моей биографии» («Уед<иненное>», с. 276).

Отсюда (из литературности) — «не хочу», отсутствие воли к действию Розанова. Величины стали художественным материалом, добро и зло стали числителем и знаменателем дроби, и измерение этой дроби нулевое.

На «не хочу» Розанова я хочу привести несколько примеров из его текста.

«Никакого интереса к реализации себя, отсутствие всякой внешней энергии, “воли к бытию”. Я — самый нереализующий человек» («Уед<иненное>», стр. 224).

«Хочу ли я играть роль?

Ни — малейшего (жел.)» («Оп<авшие> лист<ья>», с. 507).

«Хочу ли я, чтобы очень распространилось мое учение?

Нет.

Вышло бы большое волнение, а я так люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон» («Уед<иненное>», с. 171).

Я мог бы наполнить багровыми клубами дыма мир... Но не хочу. [*Люди лунного света (если бы настаивать); 22 марта 1912 г.*]

И сгорело бы все... Но не хочу.

Пусть моя могилка будет тиха и “в сторонке” (*Люди лун. св., тогда же*) («Оп<авшие> лист<ья>», короб II, с. 11).

« — Ну, а девчонок не хочешь? [на том свете. — В. Ш.]

— Нет.

— Отчего же?

— Вот прославили меня: я и “там” если этим делом и баловался, то, в сущности, для “опытов”. Т. е. наблюдал и изучал. А чтобы “для своего удовольствия” — то почти что и не было.

— Ну и вывод?

— Не по департаменту разговор. Перемените тему» («Уед<иненное>», с. 288. 16 дек. 1911).

Единственно несомненное во всем этом, единственное, чего хочется, — это «записать!».

«Всякое движение души у меня сопровождается *выговариванием*. И всякое выговаривание я хочу непременно *записать*. Это — инстинкт. Не из такого ли инстинкта родилась литература (письменная)?» («Уед<иненное>», с. 107).

Все эти «не хочу» написаны в книге особенной — книге, уравнивающей себя Священному писанию. Обращаю внимание, что алфавитный перечень к «Уединенному», «Опавшим листьям» (обоим коробам) составлен по образу «Симфонии», сборника текстов Нового и Ветхого завета, расположенных в алфавитном порядке:

«АВРААМА призвал Бог, а я сам призвал Бога. («Уед<иненное>», с. 129).

А ВСЕ-ТАКИ мелочной лавочки из души не вытрешь. («Оп<авшие> лист<ья>», с. 401).

А ВСЕ-ТАКИ тоскуешь по известности. («Оп<авшие> лист<ья>», с. 82).

АВТОНОМИЯ университета. («Оп<авшие> лист<ья>», короб II, с. 403)  
и т. д.

Я постарался показать, что «три книги» Розанова — произведение литературное. Указал также на характер одной из тем, преобладающей в книге, — это тема обыденщины, гимн частной жизни. Тема эта не дана в своем чистом виде, а использована для создания контрастов.

Великий Розанов, охваченный огнем, как пылающая головня, пищущий Священное писание, — любит папиросу после купанья и пишет главу на тему «1 рубль 50 коп.». Здесь мы входим в сферу сложного литературного приема.

Смотри, ей весело грустить,  
Такой нарядно обнаженной<sup>5</sup>,

пишет Анна Ахматова.

В приведенном отрывке важно *противоречие* между словами «весело» и «грустно» и между «нарядно» и «обнаженной» (не нарядно одетая, а нарядно обнаженная).

У Маяковского есть целые произведения, построенные на этом приеме, как, например, «Четыре тяжелых, как удар...». Привожу отрывки:

Если б был я  
маленький,  
как Великий океан...<sup>6</sup>

Или:

О, если б я нищ был!  
Как миллиардер!<sup>7</sup>

Такой прием носит название оксюморон. Ему можно придавать распространенное толкование.

Название одной из повестей Ф. Достоевского «Честный вор» — есть несомненный оксюморон, развернутый в сюжет.

Таким образом мы приходим к понятию оксюморона в сюжете. Аристотель говорит (цитирую его не как Священное писание):

«Но когда эти страдания возникают среди друзей, например, если брат убивает брата, или сын — отца, или мать — сына, или сын — мать, или же намеревается убить, или делает что-нибудь другое в этом роде, вот <сюжет, которого> следует искать поэту»<sup>8</sup>.

Здесь оксюморичность основана на *противопоставленности родства и вражды*.

На оксюмороне основаны очень многие сюжеты, например, портной убивает великана, Давид — Голиафа, лягушки — слона и т. д. Сюжет здесь играет роль оправдания — мотивировки и в то же время — развития оксюморона. Оксюморонам является и



«оправдание жизни» у Достоевского — пророчество Мармеладова о пьяницах на Страшном суде.

Творчество и мировые слова, сказанные Розановым на фоне «1 р. 50 коп.», и рассуждение о том, как закрывать вьюшки, — являются одним из прекраснейших примеров оксюморона.

Эффект увеличивается еще другим приемом. Контрасты здесь основаны не только на смене тем, но и на *несоответствии между мыслью или переживанием и их обстановкой*.

Могут быть два основных случая литературного пейзажа: пейзаж, совпадающий с основным действием, и пейзаж, контрастирующий с ним.

Примеров совпадающих пейзажей можно найти много у романтиков. Как хороший пример пейзажа противопоставленного можно привести описание природы в «Валерике» Лермонтова или описание неба над Аустерлицем у Толстого. Гоголевский пейзаж (в поздних вещах) представляет несколько иное явление: сад Плюшкина не противопоставлен непосредственно Плюшкину, но входит как составная часть в лирическую — высокую сторону произведения, и вся эта лирическая струя в целом противопоставлена «сатирической». Кроме того, гоголевские пейзажи «фонетические», то есть они — мотивировка фонетических построений.

«Пейзаж» Розанова — второго типа. То есть это пейзаж *противопоставленный*. Я говорю про те сноски внизу отрывков, в которых сказано, где они написаны.

Некоторые отрывки написаны в ватерклозете, мысли о проституции пришли ему, когда он шел за гробом Суворина, статья о Гоголе обдумана в саду, когда болел живот. Многие отрывки «написаны» «на извозчике» или приписаны Розановым к этому времени.

Вот что пишет об этом сам Розанов:

«Место и обстановка “пришедшей мысли” везде указаны (абсолютно точно) ради опровержения фундаментальной идеи сенсуализма: « *nihil est in intellectu, quod non fuerat in sensu*» \*. Вся жизнь я, наоборот, наблюдал, что *in intellectu* происходящее находится в полном разрыве с *quod fuerat in sensu*. Что вообще *жизнь души* и *течение ощущений*, конечно, соприкасаются, отталкиваются, противодействуют друг другу, совпадают, текут параллельно: но лишь в *некоторой* части. На самом же деле *жизнь души* и имеет другое русло, *свое самостоятельное*, а самое главное — имеет другой *исток*, другой себе *толчок*.

Откуда же?

От Бога и рождения.

\* нет ничего в рассудке, чего прежде не было в чувстве (*лат.*).

*Несовпадение* внутренней и внешней жизни, конечно, знает каждый в себе: но в конце концов с *очень ранних лет* (13-ти, 14-ти) у меня это несовпадение было до того разительно (и тягостно часто, а “служебно” и “работно” — глубоко вредно и разрушительно), что я бывал в постоянном удивлении этому явлению (*степени* этого явления); и пища здесь “вообще все, что поражало и удивляло меня”, как и что “нравится” или очень “не нравится”, записал и это. Где против “природы вещей” (время и обстановка записей) нет изменения ни йоты.

Это *умственно*. Есть для этих записей обстановка и времени и моральный мотив, о котором когда-нибудь потом.

Все это примечание помещено в «Оп<авших> лист<ьях>» на с. 525–526, после списка опечаток; здесь мы видим обычный прием Розанова: помещение материала на необычное место.

Здесь меня интересует установка автора на противоречие места и действия и самого действия. Его указания на «достоверность» места менее интересны, так как он совершал выбор, где дать указание места (не все отрывки, точнее, большинство их не локализовано). Само утверждение документальности — обычный литературный прием, который равно встречается и у Розанова, и у аббата Прево в «Манон Леско» и всего чаще выражается в замечаниях, что «если бы я писал роман, то герой сделал бы то-то и то, но так как я не пишу романа», дальше роман продолжается. Предлагаю сравнить у Маяковского:

Этого  
стихами сказать нельзя.  
Выхоленным ли языком поэта  
горящие жаровни лизать! —<sup>9</sup>

и дальше идут такие же стихи.

Вообще такие указания на выпад из литературы обычно служат для мотивировки ввода нового литературного приема.

#### IV

Теперь постараюсь кратко нарисовать сюжетную схему «Уединенного» и двух коробов «Опавших листьев».

Даны несколько тем. Из них главные: 1) Тема друга (о жене), 2) Тема космического пола, 3) Тема газеты об оппозиции и революции, 4) Тема литературная, с развитыми статьями о Гоголе, 5) Биография, 6) Позитивизм, 7) Еврейство, 8) Большой вводный эпизод писем и несколько других.

Такое изобилие тем — факт не единичный. Мы знаем романы с учетверенной и упятеренной интригой, сам же прием разруше-

ния сюжета вводными темами, перекликающимися между собой, уже был использован Л. Стерном, который одновременно вел не меньше тем.

Из трех книг «Уединенное» представляет самостоятельную законченность.

Ввод новых тем производится так. Нам дается отрывок готового положения без объяснения его появления, и мы не понимаем, что видим; потом идет развертывание, — как будто сперва загадка, потом разгадка. Очень характерна тема «друга» (о жене Розанова). Сперва идет просто упоминание (с. 110), потом (с. 133) намеки вводят нас в середину вещей, нам дается человек кусками, кусками, взятыми как от знакомого, но только много позднее отрывки стекаются, и мы получаем связную биографию жены Розанова, которую можно восстановить, выписав все заметки о ней в теме жены; неудачный диагноз Бехтерева тоже сперва является простым упоминанием фамилии Карпинского:

«Почему не позвал Карпинского?» «Почему не позвал Карпинского?» «Почему не позвал Карпинского?» («Оп<авшие> лист<ья>», с. 371).

И только после мы получаем объяснение в истории неверного диагноза, не принявшего во внимание «рефлекса зрачков». Так же «Бызов». Сперва дана одна его фамилия (Короб I, с. 225), потом он развернут в образ. Этим достигается то, что прежде всего новая тема не появляется для нас из пустоты, как в сборнике афоризмов, а подготавливается исподволь, и действующее лицо или положение прoderгиваются через весь сюжет.

Эти перекликания тем и составляют в своем противопоставлении те нити, которые, появляясь и снова исчезая, создают сюжетную ткань произведения. В «Дон Кихоте» Сервантес, развертывая вторую часть, пользуется именами людей, упомянутых в первой, например, мавра Рикоте, соседа Пансо.

В некоторых темах наблюдается любопытное скопление отрывков, например, в теме о литературе есть разработанная статья о Гоголе. Она, кроме отрывков, состоит и из развитой статьи («Оп<авшие> л<истья>», с. 134–139); так же в конце короба второго сосредоточиваются противоположные намеки Розанова в целую статью. Она идет в газетном тоне и вдруг резко противопоставлена космическому концу книги о мировой груди.

Вообще отрывки у Розанова следуют друг за другом по принципу противопоставления планов, то есть план бытовой сменяется планом космическим, например, тема жены сменяется темой Аписа.

Таким образом, мы видим, что «три книги» Розанова представляют из себя некоторое композиционное единство типа рома-

нов, но без связывающей части мотивировки. Приведу пример. В романах довольно част прием ввода стихов, как это мы видим у Сервантеса, в «Тысяча и одной ночи», у Анны Редклиф<sup>10</sup> и отчасти у Максима Горького. Эти стихи представляют из себя определенный материал, находящийся в каком-то отношении к прозе произведения. Для ввода их употребляются различные мотивировки; это или эпиграфы, или стихи самих действующих лиц, либо стихи вводных лиц, причем два последних случая представляют из себя мотивировку сюжетную, а первый — обнажение приема. Но по существу это тот же прием. Мы знаем, например, что «Анчар» или «Жил на свете рыцарь бедный» Пушкина могли бы быть эпиграфом к отдельным главам «Идиота» Достоевского, и встречаем это стихотворение в самом произведении как читаемое действующими лицами. У Марка Твена мы находим в одном романе эпиграфы, взятые из изречений действующего лица («Вильсон — мякинная голова»). У Владимира Соловьева в «Трех разговорах» также подчеркнута, что эпиграф о панмонголизме сочинен автором (дано через вопрос дамы и ответ господ).

Точно так же связь действующих лиц через их родство, иногда совершенно причудливое и дурно обоснованное, как отцовство Вертера или родство Миньоны в «Вильгельме Мейстере», является только мотивировкой построения произведения, приема их композиционного сопоставления. Иногда слишком трудно мотивируемое обосновывается как сон, иногда шутливо. Мотивировка сном типична для Ремизова, у Гофмана в «Коте Мурре» сюжетный сдвиг и перепутывание пародийной истории кота с историей человека мотивированы тем, что кот писал на бумагах своего хозяина.

«Уединенное» и коробки можно квалифицировать поэтому как романы без мотивировки.

Таким образом, в области тематической для них характерна канонизация новых тем, а в области композиционной — обнажение приема.

## V

Рассмотрим источники новых тем и нового тона Розанова. На первом плане стоят, как я уже говорил, письма. Эта связь подчеркнута самим Розановым, во-первых, в отдельных указаниях.

«Вместо “ерунды в повестях” выбросить бы из журналов эту новейшую беллетристику и вместо ее...

Ну — печатать *дело*: науку, рассуждения, философию.

Но иногда, а впрочем, лучше в отдельных книгах, вот воспроизвести чемодан старых писем. Цветков и Гершензон много бы оттуда выудили. Да и “зачитался бы с задумчивостью иной читатель, немногие серьезные люди...”» («Оп<авшие> лист<ья>», с. 216).

Розанов даже произвел такую попытку ввода писем сырьем в литературу, напечатав письма своего школьного товарища во втором коробе. Они представляют из себя наиболее крупный кусок в книге и идут сорок страниц.

Второй источник тем — газета, так как при всей условной интимности Розанова в его вещах встречаются, как я уже говорил, целые газетные статьи. Самый подход его к политике газетен. Это небольшие фельетоны с типично фельетонным приемом развертывания отдельного факта в факт общий и мировой, причем развертывание дается самим автором в готовом виде.

Но самой главной чертой зависимости Розанова от газеты является то, что он строил свою книгу наполовину из публицистического материала.

Может быть, также сама резкость переходов Розанова, немотивированность связи частей, появилась сперва как результат газетной техники и только после была оценена и закреплена как стилистический прием. Кроме канонизации газеты, в Розанове интересно отметить его живое чувство преемственности от какой-то младшей линии русской литературы.

Если родословная Лескова идет к Далю и Вельтману, то родословная Розанова еще более сложна.

Прежде всего он порывает с общей официальной традицией русской публицистики и отказывается от наследия 70-х годов. И в то же время ведь Розанов человек остролитературный, в своих трех книгах он упоминает сто двадцать три писателя, но его все время тянет к младшим, к неизвестным, к Рцы, к Шперку, к Говорухе-Отроку. Он говорит даже, что слава его интересуется, главным образом, как возможность прославить их.

«Сравнительно с “Рцы” и Шперком как обширно развернулась моя литературная деятельность, сколько уже издано книг... Но за всю мою жизнь никакие печатные отзывы, никакие дифирамбы (в той же печати) не дали мне этой спокойной хорошей гордости, как дружба и (я это чувствовал) уважение (от Шперка — и любовь) этих трех людей.

Но какова судьба литературы: отчего же они так незначимы, отвергнуты, забыты?

Шперк, точно предчувствуя свою судьбу, говаривал: “Вы читали (кажется) Грубера? Нет? Ужасно люблю отыскать что-нибудь его. Меня вообще манят писатели безвестные, оставшиеся незамеченными. Что были за люди? И так радуешься, встретив у них необычайную и преждевре-

менную мысль”. Как это просто, глубоко и прекрасно» («Уед<иненное>», с. 229–230).

С этой младшей линией у него были несомненные связи, само название книг — «Опавшие листья» — напоминает «Листопад» Рцы<sup>11</sup>.

Розанов был Пушкиным этой линии. Его школа была сзади его, как у Пушкина (мнение Стасова и самого Розанова).

«Связь с Пушкиным последующей литературы вообще проблематична. В Пушкине есть одна малозамеченная черта: по структуре своего духа он обращен к прошлому, а не к будущему. Великая гармония его сердца и какая-то опытность ума, ясная уже в очень ранних созданиях, вытекают из того, что он существенно заканчивает в себе огромное умственное и вообще духовное движение от Петра до себя»<sup>12</sup>.

Страхование в прекрасных «Заметках о Пушкине» анализом фактуры его стиха доказывает, что у него вообще не было «новых форм», и относит это к его скромности и «смирению», нежеланию быть оригинальным по форме<sup>13</sup>.

Пушкин строил заново. У нас еще не было необходимости разрушить канон, не было даже канона, достаточно крепкого для разрушения, что доказывается тем, что хорошо известный в его время в России и во время, непосредственно предшествующее, Стерн<sup>14</sup> не был воспринят со стороны усложнения сюжетного строения и игры на его разрушение, и Карамзин «подражал» Стерну произведениями, построенными младенчески просто. *Стерн был воспринят в России только тематически*, в то время как Германия восприняла в своем романтизме принципы его композиции, то есть срифмовала с ним то, что должно было явиться в ней самостоятельно.

Розанов родился как канонизатор младшей линии в то время, когда старшая была еще могуча, он — восстанье.

Интересно, что не все черты этого прошлого искусства, влачащего до Розанова жалкую, неканонизированную роль, были доведены им до определенной художественной высоты. Розанов брал отовсюду, вводил воровские даже слова.

«Я до времени не беспокоил ваше благородие, по тому самому, что мне *хотелось накрыть их тепленькими*».

Этот фольклор мне нравится.

Я думаю, в воровском и в полицейском языке есть нечто художественное» («Оп<авшие> лист<ья>», короб II, с. 22).

Розанов восхищался жаргонными выражениями вроде «бранделяс»; наконец, ввел темы сыщицкого романа, подробно и с

любовью говоря о «Пинкертонгах», и использовал их материал, чтобы и на нем провести темы «Людей лунного света» и тем подновить эту тему «Опавших листьев».

«Есть страшно интересные и милые подробности, — пишет Розанов. — В одной книжке идет речь о “первом в Италии воре”. Автор принес, очевидно, рукопись издателю: но издатель, найдя, что “король воров” не заманчиво и не интересно для сбыта, зачеркнул это название и надписал свое (издательское) “Королева воров”. Я читаю-читаю, и жду, когда же выступит королева воров? Оказывается, во всей книжке — ее нет. Рассказывается только о джентльмене-воре» («Оп<авшие> лист<ья>», короб II, с. 97).

Здесь издательский трюк воспринят как художественная подробность.

Замечаний о Шерлоке Холмсе много, особенно в последнем коробе.

« — Дети, вам вредно читать Шерлока Холмса.

И, отобрав пачку, потихоньку зачитываюсь сам.

В каждой — 48 страничек. Теперь “Сиверская — Петербург” пролетают как во сне. Но я грешу и “на сон грядущий”, иногда до 4-го часу утра. Ужасные истории» («Оп<авшие> лист<ья>», короб I, с. 341).

Как видите, и здесь тема сперва названа и не развертывается. Развертывание она получила во втором коробе, где даны целые эпизоды в их идейном осмысливании. В первом коробе «Опавших листьев» есть один эпизод очень характерный, где в тексте Шерлок Холмс дан только намеком и весь смысл применения его — обострение материала, остранение вопроса о браке.

Привожу отрывок:

«Злая разлучница, злая разлучница. Ведьма. Ведьма. Ведьма. И ты смейшь благословлять брак.

(<...> семейные истории в Шерлоке Холмсе: “Голубая татуировка” и “В подземной Вене”. “Повенчанная” должна была вернуться к хулигану, который зарезал ее мужа, много лет ее кинувшего и уехавшего в Америку, и овладел его именными документами, а также и случайно разитель но похож на него; этого хулигана насильно оттащили от виски, и аристократка должна была стать его женой, по закону церкви») («Оп<авшие> лист<ья>», короб I, с. 350).

Этот прием здесь и важен, а не мысли. «Мысли бывают разные».

Но не весь материал получил, как я уже говорил, какое-то преображение, часть его осталась непереработанной. В книгах Розанова есть элементы того, что можно определить как надсонницу, не подвергнувшуюся переработке. Таковы, например, полустихи:



«Тихие, темные ночи...  
Испуг преступленья...  
Тоска одиночества...  
Слезы отчаянья, страха и пота труда.  
Вот ты, религия...  
Помощь согбенному...  
Помощь усталому...  
Вера больного...  
Вот твои корни, религия...  
Вечные, чудные корни...  
(за корректурой фельетона)» («Уед<иненное>», с. 250).

Или:

«Звездочка тусклая, звездочка бледная,  
Все ты горишь предо мною одна,  
Ты и больная, ты и дрожащая,  
Вот-вот померкнешь совсем...» («Оп<авшие> лист<ья>», Короб II, с. 388).

То же в прозе:

« — Что ты любишь?  
— Я люблю мои ночные грезы, — прошепчу я встречному ветру». («Уед<иненное>», с. 183).

Эти темы и композиция ощущаются как банальные. Очевидно, время их воскрешения еще не пришло. Они еще недостаточно «дурного тона», чтобы стать хорошими.

Здесь все в перемене точки зрения, в подавании вещи заново, сопоставлении ее с новым материалом, фоном. Так же организованы у Розанова и образы.

## VI

Образ-троп есть необычное название предмета, то есть название его необычным именем. Цель его приема состоит в том, чтобы поместить предмет в новый семантический ряд, в ряд понятий другого порядка, например, звезда — глаза, девушка — серая утка, причем обычно образ разворачивается описанием подставленного предмета.

С образом можно сравнить синкретический эпитет, то есть эпитет, определяющий, например, звуковые понятия через слуховые и наоборот. Например, малиновый звон, блестящие звуки. Прием этот часто встречался у романтиков.

Здесь слуховые представления смешаны со зрительными, но я думаю, что здесь нет путаницы, а есть прием помещения пред-

мета в новый ряд, одним словом, выведение его из категории. Интересно рассмотреть с этой точки зрения образы Розанова.

Розанов так осознает это явление, приводя слова Шперка:

«Дети тем отличаются от нас, что воспринимают все с такой силой реализма, как это недоступно взрослым. Для нас “стул” есть подробность “мебели”. Но дитя категории мебели не знает: и “стул” для него так огромен и жив, как не может быть для нас. От этого дети *наслаждаются миром* гораздо больше нас...» («Уед<иненное>», с. 230).

Эту-то работу и производит писатель, нарушая категорию, вырывая стул из мебели. Приведу сейчас один совершенно потрясающий розановский отрывок:

«Пол есть гора светов: гора высокая-высокая, откуда исходят светы, лучи его, и распространяются на всю землю, всю ее обливая новым благороднейшим смыслом.

Верьте этой горе. Она просто стоит на четырех деревянных ножках (железо и вообще жесткий металл недопустимы здесь, как и “язвящие” звезды недопустимы).

Видел. Свидетельствую. И за это буду стоять» («Опавшие листья», короб I, с. 293).

Этот образ построен так. Сперва идет «повышающая», прославительная часть, предмет назван «горой светов», воспринимается как мировой центр, как что-то библейское. Он помещен в ряд космических понятий.

Дальше идет перифразирующее описание, и мы узнаем предмет. Слова о железе конкретизируют предмет еще больше и в то же время превращают техническую деталь в «символистическую». Последняя часть отрывка замечательна тем, что в ней после «узнавания» предмета тон не меняется, а продолжает держаться на высоте пророчества. Узнанный предмет остается в повышенном ряду. Это одно из разработанных применений приема образа-перифраз.

Кроме повышающего перифраза — остранения может быть применен и понижающий, типичный для пародийного стиля всех видоизменений, до имажинистов включительно. Таково сравнение Розанова «воздержание равно запору»:

«В невыразимых слезах хочется передать все просто и грубо, унижая милый предмет: хотя в смысле *напора* — сравнение точно.

Рот переполнен слюной, — нельзя выплюнуть. Можно попасть в старцев.

Человек ест дни, недели, месяцы: нельзя сходить “кой-куда”, — нужно все держать в себе...

Пил, ешь — и опять нельзя никуда “сходить”...

Вот — девство.

— Я задыхаюсь! Меня распирает!

— Нельзя» («Опавшие листья», короб I, с. 69).

Или:

«Растяжимая материя объемлет нерастяжимый предмет, как бы он ни казался огромнее. Она — всегда “больше”...

Удав толщиной в руку, ну, самое большое, в ногу у колена, поглощает козленка.

На этом основаны многие странные явления. И аппетит удавов и козы.

— Да, немного больно, тесно, но — обошлось...

Невероятно надеть на руку лайковую перчатку, когда она лежит такая узенькая и “невинная” в коробке магазина. А одевается и образует крепкий обхват.

Есть метафизическое тяготение мира к “крепкому обхвату”.

В “крепком обхвате” держит Бог мир...

И все стремится не только к свободе и “хлябанью”, но есть и совершенно противоположный аппетит — войти в “узкий путь”, сжимающий путь» («Опавшие листья», короб II, с. 417).

На следующей странице:

«Крепкое, именно крепкое ищет узкого пути. А “хлябанье” — у старух, стариков и в старческом возрасте планеты» (отрывок не локализован).

В последнем отрывке мы видим эротический символизм, причем сперва он дан через «образ», через помещение половых частей в разряд обхватывающих и входящих предметов, в конце же образ удвоен, то есть понятие употреблено для перевода французской революции из ряда «свободы» в ряд «хлябанье». Этот ряд состоит, таким образом, из понятий «хлябанья» старчества, «французская революция». Другой же ряд: «лайковая перчатка» (подобная половому органу), — дается через слово «невинное», относящееся как бы к перчатке.

Дальше идет «удав и коза», метафизический «крепкий обхват». Отсюда понятие «узкого пути» в противоположность свободе.

Перчатка — обычный образ полового объекта у Розанова, на пример:

«Любовь *продажная* кажется “очень удобною”: “у кого есть пять рублей, входи и бери”. Да, но

Облетели цветы  
И угасли огни...<sup>15</sup>

Что же он берет? Кусок мертвой резины. Лайковую перчатку, притом заплеванную и брошенную на пол, которую...» и т. д. («Опавшие листья», короб II, с. 367).

Такие ступени строит писатель для создания переживаемого образа...

Нужно кончать работу. Я думаю кончить ее здесь. Можно было бы завязать конец бантиком, но я уверен, что старый канон сведенной статьи или лекции умер. Мысли, сведенные в искусственные ряды, превращаются в одну дорогу, в колеи мысли писателя. Все разнообразие ассоциаций, все бесчисленные тропинки, которые бегут от каждой мысли во все стороны, сглаживаются. Но так как я полон уважения к своим современникам и знаю, что им нужно или «подать конец», или написать внизу, что автор умер и потому конца не будет, поэтому да будет здесь концовка:

«. . . . .  
Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины.

— Что это? — ремонт мостовой?

— Нет, это «сочинения Розанова».

И по железным рельсам несется уверенно трамвай».

Я применяю это к себе.





**П. К. ГУБЕР**

**Силуэт Розанова**

Он был старик, давно больной и хилый,  
Дивились все, — как мог он долго жить.  
Но почему же с этою могилой  
Меня не может время примирить?  
Не скрыл он в землю дар безумных песен,  
Он все сказал, что дух ему велел, —  
Что ж для меня не стал он бестелесен,  
И взор его в душе не побледнел?

*Вл. Соловьев*<sup>1</sup>

О нем много писали и говорили, пока он был жив. И почти всегда — резко и страстно.

Теперь, думаю я, о нем можно говорить с большим спокойствием, нежели прежде. Ведь недаром прошли мы школу тяжкого опыта последних лет. Жизнь приучила нас ничему не удивляться и почти ничем не возмущаться. Эту привычку не худо перенести и в область литературы.

Решившись писать здесь о Розанове, я не собираюсь дать его полную характеристику. Такую задачу нельзя разрешить на протяжении нескольких страниц. Не литературный портрет во весь рост предлагается здесь читателю, но лишь беглый контур, в котором схвачены некоторые, наиболее бросающиеся в глаза черты.

Прежде всего это был замечательный стилист, утонченный мастер слова, едва ли не единственный писатель наших дней, у кого была своя собственная, ему одному присущая литературная манера, притом манера не вымученная, не надуманная, а необходимо связанная с существом его мысли. То, что он писал, можно и должно было писать *так*, как он писал: не иначе.

Кто, кроме него, обладал в наше время, да и гораздо прежде, этим даром великолепного лаконизма, соединявшегося подчас с

высокой иронией? Такова, например, маленькая притча, написанная им незадолго до смерти. Называется она:

### Интеллигенция и Революция.

«Полюбовавшись вдоволь на это ужасное зрелище, мы сказали: — Теперь наденем шубы и пойдем домой. Но оказалось, что шубы украдены, а дома заняты»<sup>2</sup>.

И это все. По-моему, это лучшее из многих тысяч листов, написанных на ту же тему.

Да, это был великий стилист. Однако при внимательном изучении его стиля мы наталкиваемся на странное противоречие.

Иногда, или, вернее, очень часто, этот выдающийся мастер, этот неподражаемый художник становится вдруг косноязычен и стилистически беспомощен. Утомительное многословие вытесняет филигранно-отчеканенную речь. Мысль как бы тонет в мутно-серых словесных потоках. Чем объясняется это? Неужели истерией, кривлянием, уродством, кликушеством, о которых до сих пор не перестают твердить хулители Розанова?

Конечно, нет. Но здесь мы приближаемся ко второй характерной черте его.

Для меня несомненно, что Розанов был тайновидцем. Видел и знал тайны, недоступные большинству. То не были тайны потустороннего мира. Но ведь граница таинственного, порубежная черта «неясного и нерешенного» не всегда совпадает с границами трансцендентного.

Все, протекающее за дымкой сумерек, есть уже тайна; впрочем, тайна, доступная человеческому прозрению. Таинственны все биологические процессы и вся игра подсознательных начал в нашей душе, таинственен и ход человеческой истории, хотя мы не можем отказаться от попыток разгадать и осмыслить его.

Яркие краски блестящего внешнего покрова, наброшенного на земную действительность, ослепляют наш взгляд. Впечатления внешнего порядка преимущественно проходят через наше бодрствующее сознание. И как раз эти впечатления всего легче укладываются в четкие словесные формулы, которыми издавна полным-полна сокровищница литературы. Писать красиво, элегантно, логически стройно может, в конце концов, всякий, у кого есть достаточно терпения и выдержки, чтобы научиться словесному искусству. Но в писателях такого рода найдет отражение только светоносная поверхность бытия. Один шаг в сторону, в царство сумеречных глубин, и начинаются блуждания ощупью, наугад. Хаотичность изложения тотчас же обличает смутность и неясность описываемого объекта. В отдельных слу-

чаях хаотичность эту удастся преодолеть, и тогда перед нами огромное литературное достижение. Но тут неизбежны срывы и провалы; понятны и естественны неудачи.

Такие неудачи были и у Розанова. Слишком далеко дерзал он уходить в просторы, объятые мраком.

В мире загадок и тайн есть одна область, которая с особенной, исключительной силой привлекала Розанова. Заговорив об этом, мы коснулись третьей основной, характерной, — пожалуй, самой характерной — его черты.

Он был тайновидцем пола, считался общепризнанным специалистом по части сексуальной проблемы. Это такая проблема, за которую, право, лучше было бы не браться огромному большинству авторов, ее трактовавших. Заметьте: многие русские писатели в личной жизни вовсе не были целомудренными людьми. Мы знаем это из их биографий. Но русская литература от Пушкина до Чехова — самая целомудренная во всей Европе. И не потому, что за нею так долго бдительным оком следила еще более целомудренная цензура. Нищету, грязь, грубость и жестокость жизни наша литература всегда рисовала с беспощадной правдивостью. Но, изображая отношения между мужчиной и женщиной, она неизменно обретала некий предел, за которым — как безошибочно чувствовали все истинные носители национального поэтического гения — «мысль изреченная есть ложь». И не изрекали.

Наша литература была целомудренной и в самом начале XX столетия от этого своего качества умышленно и преднамеренно отказалась. Русский цинизм, которого и прежде было сколько угодно в жизни, перелился в книги.

Русский цинизм обладает некоторыми особенностями, которые предпочтительно отличают его от соответственных явлений на Западе. Если цинизм народов и литератур латино-романского корня изящен, грациозен и лукав; если цинизм немца или англичанина тяжел, груб, прозаичен, то русский цинизм неестественен и уродлив. В нем есть что-то жалкое и вместе страшное, от чего щемит сердце и хочется плакать; и от чего к тому же изрядно тошнит.

И вот доказательством высшей оригинальности Розанова служит его способность безнаказанно братья за скользкие и сомнительные темы. Его прославленное бесстыдство нисколько не похоже на типичный русский эротизм печального образа. Скорее здесь приходит на память простодушная и серьезная откровенность некоторых глав Библии — книги, которую глубоко чувствовал Розанов.



Религия имеет какую-то не вполне понятную для нас связь с жизнью пола. Розанов с особенной ясностью ощущал эту связь. Говорят, он выдумал «религию пола». Неправда. Подобные религии были «выдуманы» или, вернее, пережиты в мистическом опыте за много веков до рождения Розанова. Неисповедимыми путями русский журналист, сотрудник «Нового времени», оказался сопричастником этого опыта. Отсюда его вражда к христианству.

Конечно, всегда, даже в эпоху своего наибольшего увлечения христианской церковностью, он был врагом христианства, врагом хитрым, коварным, непримиримым. Более того: он питал враждебное чувство к самой личности Христа, ненавидел Иисуса Сладчайшего, от которого, по его словам, «прогорк мир». Прочтите его статью о сектантах, которые замуrowались и уморили себя голодом, сочтя всероссийскую перепись знамением Антихриста<sup>3</sup>. Розанов несколько раз повторяет в примечаниях: «а Смеявшийся над ними говорил»: и за сим следует... цитата из евангелия.

*Смеявшийся* не был для Розанова бестелесным мифом или, напротив, простым смертным, историческим деятелем. Нет, он ясно постигал Его сверхчеловеческую природу. И все-таки отринул Его, не принял в свое сердце. Не знаю, доходил ли кто-либо другой до такого дерзновения. Иван Карамазов доходил. Но ведь то было только в романе.

Подобные вещи даром не проходят. Трещина остается в душе, скрытый изъян, который рано или поздно дает о себе знать. Имелся изъян и у Розанова. Сказать ли? В лице его мы имеем редкий тип мыслителя, равнодушного к истине.

Такова последняя черта, в конечном счете все определяющая и направляющая. Черта, которая все портит. Не будь ее, Розанов, вероятно, стал бы действительно великим писателем. Во всяком случае, не пришлось бы еще и теперь доказывать его литературную значительность.

Прошу понять меня как следует: враждебность к той или иной частной, обособленной истине можно наблюдать очень часто. Она объясняется непониманием, ошибочным суждением. Равнодушие к истине вообще, основанное на душевной и умственной тупости, также представляет собой весьма распространенное явление. Но я говорю о другом: можно знать истину, безошибочно угадывать ее и все-таки не любить. Это своеобразная болезнь духа, извращение основных и органических душевных свойств. Розанов несомненно страдал этой болезнью.

То, что я называю равнодушием Розанова к истине, можно иллюстрировать общеизвестным примером: ролью, которую он играл во время дела Бейлиса.

Нет никакого сомнения, что ни судейские чиновники, которые вели следствие, ни адвокаты, выступавшие гражданскими истцами, ни на йоту не верили, что Бейлис убил Ющинского с ритуальными целями. Они раздували и двигали это дело из чисто политических соображений. Но в толпе их Розанов занимал совсем особое место. Он полагал, что ритуальные убийства действительно существуют в тайниках какой-то мистической еврейской секты. Или, точнее говоря, ему хотелось, чтобы они существовали. Но хотелось не для того, чтобы оправдать угнетение евреев, а потому, что самый факт ритуальных убийств *нравился* ему. Он был убежден, что это хорошо, что, пожалуй, это даже *угодно Богу*. Такова потаенная, скрытая мысль написанной Розановым книги об употреблении евреями христианской крови<sup>4</sup>. Конечно, ни министру Щегловитову, ни адвокату Замысловскому, ни прокурору Випперу не приходило в голову ничего подобного.

Розанов умер не отверженным еретиком, подобно Толстому, но послушным сыном церкви, почти благолепно и праведно в стенах Троицко-Сергиевой Лавры. Один из ученейших и талантливейших священников русских напутствовал его в последние минуты<sup>5</sup>.

Что это было такое: действительный отказ от всего своего прошлого или один лишний шаг по тому пути житейского оппортунизма, которым так охотно шел Розанов в течение всей своей жизни?

«Я мог бы наполнить багровыми клубами дыма мир... И сгорело бы все. Но не хочу. Пусть моя могилка будет тиха и в сторонке».

Могилка осталась в сторонке. Багровые клубы поднялись над пожаром, зажженным другими руками. Автор «Уединенного» и после смерти одинок. Теперь его книги — только утеха литературных гурманов. Соблазн, в них заключенный, слишком изыскан и тонок, чтобы действовать на толпу.

И на этом все кончилось? Не знаю.

Заключу эту статью последними строками стихотворения, которого первые строфы приведены, как эпитафия:

Здесь тайна есть... Мне слышатся призывы  
И скорбный стон с дрожащею мольбой...  
Непримиренное вздыхает сиротливо  
И одинокое тоскует над собой.





## Д. С. СВЯТОПОЛК–МИРСКИЙ

### Розанов

Имя Мережковского обычно упоминают рядом с именами Розанова и Шестова. Но если не считать того, что оба они — его современники, писавшие на темы «религиозной философии», и что некоторые из их наиболее значительных работ имеют форму комментария к Достоевскому, то, по существу, между Мережковским и этими двумя писателями нет ничего общего. Хотя ни Розанов, ни Шестов никогда не играли в литературной жизни такой большой роли, как Мережковский, они занимают гораздо более видное место в истории русской литературы — не только благодаря значению и подлинности их религиозных идей, но и как первоклассные, чрезвычайно оригинальные *писатели*. <...>

Главное у Розанова — его религия, натуралистическая религия пола и продолжения рода. Это прежде всего религия брака и семьи. Она строго моногамна, и ребенку отводится в ней по крайней мере не меньшая роль, чем жене. Розанова отличала глубокая религиозность, ему было близко все, что относилось к русской церкви — ее службы и святыни, поэзия и духовенство. Для него было характерно чрезвычайно глубокое проникновение в существо христианства с его аскетическим, девственным идеалом. Но на дне его души лежала вера, в которой христианство сливалось с естественной религией. Это была первооснова всякой религии — чувство единства вселенной: *religio* \*, *pietas* \*\*. Христианство и влекло его, и одновременно отталкивало своей враждебностью другой близкой ему религии — религии жизни. Что особенно оригинально в Розанове и что делает его столь похожим на Достоевского — это его своеобразное отношение к морали. Он был глубоким имморалистом и в то же время превыше

---

\* связь, религия (*лат.*).

\*\* благочестие (*лат.*).

всего ценил сочувствие, жалость, доброту. Моральное добро существовало для него только в виду естественной, произвольной, неодолимой *доброты*. Ему не нужны были никакие системы, не нужна логика. Он полностью находился во власти интуиции, и по глубине интуиции превосходил всех писателей мира, даже Достоевского. Этот дар проявляется на каждой странице его сочинений, от «Легенды о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» до «Апокалипсиса нашего времени», но прежде всего обнаруживается там, где он ведет речь о религии и о живых людях. Человеческая личность была для него самым важным — единственной ценностью, которую он ставил наравне с религией. И страницы, посвященные им характерам живых людей, просто бесподобны. В качестве наглядных примеров его интуиции и стиля можно упомянуть два места (они слишком длинны для цитирования) — три последние страницы книги «В мире неясного и нерешенного», где он говорит о разном отношении церкви к шести новозаветным таинствам и единственному ветхозаветному — таинству брака; а также размышление о Владимире Соловьеве (с точки зрения стиля — одно из самых значительных достижений в русской прозе со времен протопопа Аввакума), которое, что показательно, расположено в подстрочном примечании к одному из писем Страхова («Литературные изгнанники», с. 141–144).

Само собой разумеется, что стилистика Розанова плохо поддается переводу — хуже, чем чья-либо еще. Особую роль играет в ней *интонация*. Он пользуется различными типографскими средствами для ее выявления — кавычками, скобками, но в иностранном языке впечатление от них совершенно меняется или совсем пропадает: творчество Розанова так богато оттенками чувств и переживаний, так пропитано русским духом, что и его интонации звучат исключительно по-русски. Мне ничего не остается, как предложить вниманию читателей несколько грубых оттисков с непревзойденных оригиналов.

Вот что пишет Розанов о себе и вселенной (в примечании к одному из писем Страхова<sup>1</sup>); я сохраняю все скобки и кавычки оригинала:

«Есть у меня (должно быть) какая-то вражда к воздуху, и я совершенно не помню за всю жизнь случая, когда бы “вышел погулять” или “вышел пройтись” ради “подышать чистым воздухом”. Даже в лесу старался забиться поскорей в сторонку (“с глаз”) и “с дороги”, чтобы немедленно улечься и начать нюхать мох или (лучше) попашийся гриб, или сквозь вершины колеблющихся деревьев смотреть в небо. Раз гимназистом я так лег на лавочку (в городском саду): и до того ввинтился в звезды, “все

глубже и глубже”, “дальше и дальше”, что только отдаленно сознавая, что “гимназист” и в “Нижнем” — стал себя спрашивать, трогая пуговицы мундира: “Что же истина, то ли, что я *гимназист и покупаю в соседней лавочке табак*, или этой ужасной *невозможности*, гимназистов и т. п., табак и прочее, вовсе *не существует*, а это есть наш сон, несчастный сон заблудившегося человечества, а существуют... *Что?.. Миры*, колоссы, орбиты, вечности!!.. *Вечность и я* — несовместимы, но *Вечность* — я ее вижу, а я — просто фантом”... И прочее в том роде».

О своем друге Шперке и бессмертии (из «Опавших листьев»<sup>2</sup>):

«Сказать, что Шперка *теперь совсем нет на свете* — невозможно. Там, м. б., в платоновском смысле “бессмертие души” — и ошибочно: но для моих друзей оно ни в коем случае не ошибочно.

И не то чтобы “душа Шперка — бессмертна”: а его бороденка рыжая не могла умереть. “Бызов” его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на конке — направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А “душа” его “бессмертна” ли: и — не знаю, и — не интересуюсь.

*Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не “залатывается” с тех пор, как была. Это лучше “бессмертия души”, которое сухо и отвлеченно.*

А хочу “на тот свет” прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше».

О Боге и устройстве мира (из «Опавших листьев»<sup>3</sup>):

«Что же я скажу (на т. с.) Богу о том, что Он послал меня увидеть? Скажу ли, что мир, Им сотворенный, прекрасен? Нет. Что же я скажу? Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня».

О национальности (из «Уединенного»<sup>4</sup>):

«Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком... И все понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя *с иностранцем*».

Последняя цитата еще раз напоминает читателю, как трудно, если вообще возможно, передать мироощущение, вкус, запах такого человека, как Розанов. Да не так уж, может быть, и надо, в конце концов (с точки зрения русского патриота) его пропагандировать среди иностранцев. Есть люди, которые ненавидят, глубоко ненавидят Розанова и которые считают его неприятным, отталкивающим. Строгие православные священники сходятся в этом неприятии с ортодоксами совсем иного рода — такими, как Троцкий. Розанов — антипод классицизма, дисциплины и всего, что имеет отношение к позиции, к воле. Его гений женственен, это голая интуиция, без следа «архитектуры». Это апофеоз «естественного человека», отрицание усилия и дисциплины. Андре

Суарес<sup>5</sup> сказал о Достоевском, что тот явил собой «скандал наготы» (le scandal de la nudité). Но Достоевский еще вполне прилично одет по сравнению с Розановым. И нагота Розанова не всегда прекрасна. Но, несмотря на все это, Розанов был величайшим писателем своего поколения. Русский гений нельзя измерить без учета Розанова, а мы должны нести ответственность за наших великих людей, какими бы путями они ни шли...





## А. М. РЕМИЗОВ

### «Воистину»

памяти В. В. Розанова

*к 70-й годовщине со дня рождения  
3.5–20.4 1856 († 1919) — 1926*

Сегодня исполняется 70 лет со дня Вашего рождения, честь имею Вас поздравить, Василий Васильевич! В молодости я все некрологи писал — — Ну, а как же! живым, известно: Бердяев, Щеголев, Савинков<sup>1</sup> — — Никогда! Я ж не от худого сердца. Это кто в сердцах, тому и прет одна осклизлость в человеке, а в человеке, Вы это сами знаете, всегда найдется, отчего так хорошо бывает, ну, весело! (в нашем-то печальном мире — весело!) другой и сам за собой не замечает, в мелочах каких-нибудь или повадка. Раз как-то Пришвин помянул своего приятеля-земляка (из Ельца тоже и Ваш вроде как земляк) и вдруг так засиял — автомобильный фонарь! — и всем стало весело, и вспомнил он не «победы и одоления» приятеля, а про яйцо, как ловко приятель яйцо в смятку ел: «Ну так, знаете, скорлупку содрал чисто, сдунул и все подъял начисто, замечательный человек!»

А мне сейчас почему про яйцо — со стола они на меня глядят, яйца: и красные, и синие, и лиловые, и желтые, и зеленые, и золотое, и серебряное, и пестрые — корзиночка: сегодня второй день Пасхи!

А теперь я пишу не «некрологи», а память пишу усопшим. Крестов-то, крестов понаставили! И все тесней и теснее — и Брюсов «приказал долго жить», и Гершензон «обманул»: в прошлом году в Москве похоронили! и этот, помните, кудрявый мальчик — «припаду к лапоточкам берестяным, мир вам, грабли, коса и соха, я гадаю по взорам невестиным на войне о судьбе



жениха»<sup>2</sup> — Есенин. Я, Василий Васильевич, памятью за каждое доброе слово держусь — это мне как свечи горят по дороге (и это мое счастье!), а, должно быть, очень страшно брести последний путь — и одни пустые могилы — повторять во тьму: «люди — злые!» Нет, когда-нибудь соберу книгу — «Мое поминанье», все, как следует, в лиловом или вишневом бархатном переплете и золотой крест посередке, там соберу всех, все, что доброе запахло, и «о упокой», и «о здравии». Время-то идет, давно ль все расписывались «молодыми писателями», а теперь, посмотрите: в этом году исполнилось 60 лет — Вяч. И. Иванову, Д. С. Мережковскому, Л. И. Шестову. Юбилей Л. Шестова справляли по-русски — три вечера: на дому — литературное сборище, у С. В. Лурье<sup>3</sup> — семейное, и третий вечер — философское: только философы. Бердяев, Вышеславцев<sup>4</sup>, Эфрон<sup>5</sup>, Ильин<sup>6</sup>, Познер<sup>7</sup>, Лазарев<sup>8</sup>, Лурье, Сувчинский<sup>9</sup>, кн. Д. С. Мирский, Федотов, Мочульский (Степун<sup>10</sup> не приехал!) и только я не философ. я за музыканта: читал весь вечер — три часа без перерыва — «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», самую жизне-радостную книгу, а на тему: путь к вольной смерти! А Вячеслав Иванович Иванов в Риме отшельником: поди, пришел сосед П. П. Муратов<sup>11</sup>, поставили самовар, попили чайку с итальянскими баранками, спели орфические гимны, ушел Муратов «комедию» писать, а юбиляр засел за «римские древности» — познания все-светные! достойный ученик своего великого учителя Моммзена<sup>12</sup>!

.....

Дождика не идет, все деревья зеленые — три дня дождь! — закурил и домой не хочется, так бы все и шел — — вот она, какая земля! любимая! — — Вы не понимаете? — — А ведь как Вы здесь-то, как любили: каждый корешок, каждую каплю, вот с крыши на меня сейчас и еще — это оттуда! Василий Васильевич! — «воистину!»

.....

Жил в России протопоп Аввакум (Аввакум Петрович Петров, 1621—1681), жил он при царе Алексее Михайловиче во дни Паскаля, когда Паскаль свои «Pensées» сочинял (1623—1662), и итог своих дел — это «житие им самим написанное»: ума проникновенного, воли огненной (конец его — сожгли в срубе!), прошел весь подвиг веры и, стражда, на цепи и в земляной тюрьме долгие годы сидя, не ожесточился на своих гонителей. «Не им было, а бысть же было иным!» А это называется: не только что около

своего носа... да с другого и требовать нельзя: жизнь жестокая, осатанеешь! А как написано! Я и помянул-то протопопа «всея России» к слову о его «слове». Ведь его «вяканье» — «русский природный язык» — и ваш «розановский стиль» одного корня. Во дни протопопа этот простой «русский природный язык» (со своими оборотами, со своим синтаксисом «сказа») в противоположность высокой книжно-письменной речи «книжников и фарисеев» в насмешку, конечно, и презрительно называли «вяканьем» (так про собак: лает, вякает), как ваше «розановское» зовется и поныне в академических кругах «юродством». А кроме Вас, от того же самого корня, Иван Осипов (Ванька Каин)<sup>13</sup> и Лесков — про Лескова или ничего не говорили (это называется в литературном мире «замораживать»), или выхватывали отдельные чудные слова вроде: «жены переносицы», «мыльнопыльный завод» и, само собой, в смех, но и не без удовольствия, а самый-то склад лесковской речи, родной и Вам, и Осипову, и Аввакуму — да просто за смехом не вникали. В русской литературе книжное церковно-славянское переключилось книжным же европейским и выпихнулось литературной «классической» речью: Карамзин, пушкинская проза и т. д. и т. д. (ведь и думали-то они по-французски!), и рядом с европейским — с «классическим стилем» — «русский природный язык»: Аввакум, Осипов, Лесков, Розанов. И у Вас тоже есть — ваша книга «О понимании»: Вы тоже могли и умели выражаться по-книжному, как заправский книжник и фарисей, и очень ценили эту книгу, и Аввакум щеголял Дионисием Архопагитом<sup>14</sup> и мифическим римским папою Фармосом<sup>15</sup> латинского летописца (знай наших!). Но в последние годы Вашей жизни на этой чудеснейшей земле то, что «розановский стиль» — это самое юродство — это и есть настоящее, идет прямой дорогой от «вяканья» Аввакума из самой глубины русской земли. Сами Вы это знали ли? (Аввакум проговорился: «люблю свой русский природный язык», Лесков, должно быть, не сознавал, иначе не умалчался бы так перед Львом Толстым!) Помните, в Гатчине<sup>16</sup>, как мы у Вас на даче-то ночевали, Вы с сокрушением говорили, что рассказов Вы писать не можете, — «не выходит». А Вам хотелось, как у Горького или у Чехова — у аккуратнейшего «без сучка и задоринки» Чехова, которым ушиваются сейчас англичане, а это что-нибудь да значит! и у Горького, который «махал помелом» по литературным образцам. Василий Васильевич, да ведь они совсем по-другому и фразу-то складывали — ведь в «вяканье» и в «юродстве» свой синтаксис, свое расположение слов, да как же Вы хотели по их, эка! Розанов — форму чеховского рассказа? — да никак не уложишь, и *не надо*. Их синтаксис — «письменный», «грамматический», а Ваш и Аввакума — «живой», «изустный», «мимичес-

кий». Теперь начали это изучать, докапываться в России — там книжники и вся казна наша книжная! Но и среди русских, живущих за границей, есть та же дума. Сидит тут, в Париже, Федотов, ученый человек, Вашими книгами занимается, опять же Сувчинский, глава евразийцев, Петр Петрович, а в этой самой Англии кн. Д. Святополк-Мирский — да, да, сын Петра Дмитриевича<sup>17</sup>, еще «весной»-то прозвали, благодаря ему нам разрешение вышло в Петербург до срока переехать, и с Вами тогда познакомились! — А книг Ваших, Василий Васильевич, не видно: переиздали «Легенду о Великом Инквизиторе». Изд. «Разум». Берлин, 1924. Стр. 266. А мне попало тут единственное, что по-французски переведено: Vassili Rozanov. «L'Eglise russe». Traduit avec l'autorisation de l'auteur par H. Limont-Saint-Jean et Denis Roche. Paris, Jouve et Cie. Editeurs, 1912. — р. 42. От Ваших переводчиков получил. А в России — не в поре: «борьба на духовном фронте», и попали Вы в эту категорию «мистическую», ну Вас и изъяли — а уж про издание и говорить нечего. Только, думаю, этим немного возьмешь. Запрещенный-то плод сладок — тянет. По себе сужу, уж что ни сделал бы, а книжку достал, и всю б ее от доски до доски — Василий Васильевич, какой собрался богатый матерьял в мире всяких глупостей и глубокомысленнейших, ну и несчастных! Война! — до сих пор не расхлебали. Конечно, во всем Божий промысел и дело нечеловеческое — и «надо всему было быть, как было!» (Аввакум прав!) и не без «обновления жизни» такие встряски! но и правду сказать, и человек «действующий элемент» постарался — по-ду-ровали! А теперь, смотрите: и беды не оберешься, и от беды не схоронишься —

— «Эй, дурачье, дурачье!»

А живи Вы тут — от суммы да от тюрьмы не зарекайся! — кто же его знает, «борьба на духовном фронте!», и угодили б Вы сюда с Бердяевым и Франком, и были бы мы опять соседями, или в Clamart'e<sup>18</sup> около Бердяева, или где на Convention (Paris, XVe)\*: Насонову-то помните, подруга Вашей Веры, она за профессором Сеземаном<sup>19</sup>, два у нее мальчика, старший Алеша, а другой Митька, и что странно, Митька — вылитый с лица С. П.<sup>20</sup>, ведь вот же уродится так, и большой ее приятель, называет «подруга». И скажу Вам, и из здешней «зарубежной русской жизни» был бы Вам матерьял. Когда-то Вы писали, что «заработал на полемике с каким-то дураком 300 рублей», ну, 300 не рублей, а франков — ручаюсь! — было бы Вам к Пасхе. Дождались мы Пасхи — а сколько было за зиму и болезни и всего! — и там в России! Хотите, я

\* Согласия (Париж, 15-й округ) (франц.).

Вам расскажу старый один советский анекдот про Пасху? Больно он из всех мне запомнился, а Вам, знаю, будет интересно —

.....

Действующее лицо: батюшка из тех, кого Вы ни к Чернышевскому, ни к Добролюбову не относите, нет, другой породы — не затейливой — («извините, с яйцами?»)\* все эти попы Иваны и отцы Николаи, у которых лицо безвозрастное с бородачкой и ходят они как-то, плечо опущено, и говорить «неспособны», а проповедь читает, бывало, по епархиальному листку, как поминанье, без запятых и точек, сплошь без разбору. Так вот, на Пасху в Москве у Гужона — рельсопрокатный завод (с детства помню, по вечерам из окна видно полыхающее зарево — Гужон — московская Бельгия) — устроили собрание с антирелигиозными целями от какой-то «безбожной» ячейки. Собралось народу видимо-невидимо — сколько одних рабочих на заводе! — тысячи. А выступал докладчиком сам нарком А. В. Луначарский. А видите ли, слышал я ораторов: Федор Степун (во Фрейбурге под Дрезденом сидит), не переслушаешь, или Виктор Шкловский (в Москве), такой отбрыкливый, ничем не подцепишь, а Луначарский — ну тот (собственными ушами слышал и не раз!) прямо рекой льется. И по окончании речи (часа два этак) выносится единогласно через поднятие рук резолюция, что ни Бога, ни Светло-Христово Воскресения нет и быть не могло, предрассудок. И тут же на собрании этот самый поп Иван ныряет: в оппоненты записался. «Да куда, — говорят, — тебе, отец, нешто против наркома! да и уморились канителиться». А ему — и Бог его знает, с чего это пристукнуло? — одно только слово просит. Ну, и пустили: «слово — гражданину Ивану Финикову». И вылезает — ну, ей Богу, Ваш! Ваш, бессловесный, самый русский природный, без которого круг жизни не скружится, а чего-то стесняющийся, плечо на бок — — «Христос воскрес!» — и поклонился, как полагается на Пасхе, приветствие, как здравствуйте, трижды: «Христос воскрес!» — «Воистину!» — загудело в подхват собрание, все тысячи, битком набитый завод, Гужон с полыхающим вечерним заревом красных труб, московская Бельгия, — «воистину воскрес!»



\* Алексей Ремизов, «Кукха, Розановы письма», изд. З. И. Гржебина, Б., 1923, с. 93.



## Прот. В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ

### В. В. Розанов

9. Характеристика идейного содержания творчества Розанова до крайности затрудняется тем, что он был типичным *журналистом*. Хотя у него было достаточно цельное мировоззрение, хотя в его многообразном творчестве есть определенное единство, но самая манера письма Розанова очень затрудняет раскрытие этого внутреннего единства. Розанов оставляет впечатление прихотливого импрессиониста, нарочито не желающего придать своим высказываниям логическую стройность, но на самом деле он был очень цельным человеком и мыслителем. Тонкость и глубина его наблюдений, а в то же время «доверие» ко всякой мысли, даже случайно забредшей ему в голову, создают внешнюю яркость, но и пестроту его писаний. Но редко кому из русских писателей была присуща в такой степени *магия слова*, как Розанову. Он покоряет своего читателя прежде всего этой непосредственностью, порой «обнаженностью» своих мыслей, которые не прячутся за слова, не ищут в словах прикрытия их сути.

Розанов едва ли не самый замечательный *писатель* среди русских мыслителей, но он и подлинный мыслитель, упорно и настойчиво пролагающий свой путь, свою тропинку среди запутанности мысли и жизни современности. По основному содержанию неустанной работы мысли, Розанов — один из наиболее даровитых и сильных русских религиозных философов, — смелых, разносторонне образованных и до последних краев искренних с самим собой. Оттого-то он и имел такое огромное (хотя часто и подпольное) влияние на русскую философскую мысль XX-го века. Как и Леонтьев, Розанов занят вопросом о Боге и мире в их отношении, в их связи. Было бы неверно видеть в Розанове человека, забывающего Бога ради мира; его упования и искания он так глубоко держит в себе, что его религиозное сознание деформируется, меняется для того, чтобы не дать погибнуть ниче-

му ценному в мире. В споре мира с Богом Розанов (как и Леонтьев) остается в плоскости религиозной, — но если Леонтьев ради Божией правды, как он ее понимал, готов отвернуться от мира, «подморозить» его, то Розанов, наоборот, ради правды мира отвергает христианство за его «неспособность», как он думает, принять в себя эту правду мира. Леонтьев и Розанов — антиподы в этом пункте, но и страшно близки в нем друг к другу. Любопытно, что того и другого нередко характеризовали как «русского Ницше», — и действительно, у обоих есть черты, сближающие их (хотя и в разных моментах) с Ницше<sup>1</sup>.

Биография Розанова не сложна. *Василий Васильевич Розанов* родился \* в 1856-ом году в Ветлуге, в бедной провинциальной семье. Детство его происходило в тяжелой обстановке, ребенком Розанов развивался вне семейной обстановки. По окончании гимназии он поступил в Московский университет на филологический факультет и, по окончании его, получил место преподавателя истории<sup>2</sup> в глухом провинциальном городе. Здесь Розанов задумал философский труд, над которым трудился пять лет. Большая книга под названием «О понимании» (737 страниц) появилась в 1886-ом году, но осталась совершенно неотмеченной в русской печати<sup>3</sup>. В то же время Розанов вступил и на путь журнальной работы, который позднее стал для него основным. Статья «Сумерки просвещения», в которой Розанов едко и сурово характеризовал учебное дело, вызвала репрессии против Розанова, которому было очень трудно совмещать службу по учебному ведомству и свободное писательство. Наконец, благодаря хлопотам Н. Н. Страхова<sup>4</sup> (горячим поклонником которого был Розанов)\*\*, с 1893-го года Розанов получил место в Петербурге (в Госуд<арственном> Контроле). Здесь Розанов попал в среду «эпигонов славянофильства», точнее, в среду журналистов и писателей, боровшихся с радикализмом, царившим тогда в русском обществе. К 1903–1904 гг. относится написание Розановым большой книги о Достоевском («Легенда о Великом Инквизиторе»)<sup>5</sup>, — книги, обратившей общее внимание на него. Ряд других статей доставил Розанову громадную славу, — а в связи с этим стало улучшаться и его материальное положение (Розанов стал писать в газете «Новое время», что дало ему достаточные

\* Биографии Розанова до сих пор не написано, кроме небольшой книги Э. Ф. Голлербаха «В. В. Розанов. Личность и творчество», Петроград, 1918, 50 с.

\*\* Для биографии Розанова очень важны письма Н. Н. Страхова к Розанову и примечания Розанова к этим письмам (в книге «Литературные изгнанники»).

средства). Постепенно стали появляться один за другим сборники его статей: «Религия и культура», «Природа и история», позже — «Семейный вопрос в России» (2 тома), этюд «Место христианства в истории». Из дальнейших сочинений особенно надо отметить книгу «Метафизика христианства» («Темный лик христианства» с нашумевшей статьей «Об Иисусе Сладчайшем» и 2-ая часть «Люди лунного света»), «Около церковных стен» (2 тома), еще позже — «Уединенное» и «Опавшие листья» (в двух частях). В годы революции Розанов оказался в Сергиевском Посаде (где Троицко-Сергиевская Лавра), и здесь он издавал свой замечательный «Апокалипсис»\*.

Розанов имел громадное влияние на Д. С. Мережковского (в его религиозно-философских исканиях), отчасти — Н. А. Бердяева (в его антропологии), отчасти — на о. П. Флоренского (с которым он сблизился задолго до переезда в Сергиевский Посад, где жил Флоренский, как профессор Московской Духовной Академии). Но, кроме друзей, Розанов имел много литературных врагов, — отчасти благодаря особой его манере письма, приводившей многих в чрезвычайное возмущение, отчасти благодаря нередко проявлявшейся у него беспринципности\*\*.

В 1919-ом году в крайней нищете и в тяжких бедствиях Розанов скончался в Сергиевском Посаде (у Троицко-Сергиевской Лавры).

10. Духовная эволюция Розанова была очень сложна. Начав со своеобразного рационализма (с отзвуками трансцендентализма), легшего в основу его первого философского труда «О понимании», Розанов довольно скоро стал отходить от него, хотя отдельные следы былого рационализма оставались у него до конца

---

\* Перепечатано в Париже в 1927 году в журнале «Версты» (№ 2). Полного собрания сочинений Розанова не имеется. Отметим работы о Розанове: Голлербах «Розанов. Личность и творчество»; Курдюмов «Розанов» (Париж, 1929); Волжский «Мистический пантеизм Розанова» (в книге «Из мира литературных исканий»). См. также роман Н. Н. Русова «Золотое счастье», где выведен Розанов; Чуковский «Книга о современных писателях»; Бердяев в ранних религиозно-философских статьях. См. мою книгу «Русские мыслители и Европа» (гл. VIII).

\*\* Образчик такой резкой полемики с Розановым представляет статья о нем Вл. Соловьева (т. VI). По поводу статьи Розанова о Л. Толстом, написанной в довольно «неудобном» тоне и вызвавшей острое возмущение Розановым в литературных и общественных кругах, П. Б. Струве предлагал «исключить Розанова из литературы»<sup>6</sup>. Из Религиозно-Философского Общества в Петербурге Розанова исключили тоже за его острые высказывания по еврейскому вопросу...



дней. Но с самого начала (то есть уже в книге «О понимании») Розанов проявлял себя как *религиозный мыслитель*. Таким он оставался и всю жизнь, и вся его духовная эволюция совершалась, так сказать, внутри его религиозного сознания. В первой фазе Розанов всецело принадлежал православию, — в свете его оценивал темы культуры вообще, в частности проблему Запада. Наиболее ярким памятником этого периода является книга его, посвященная «Легенде о Великом Инквизиторе», а также его статьи в сборниках: «В мире неясного и нерешенного», «Религия и культура» и т. д. Однако уже и в это время у Розанова попадаются мысли, говорящие о сомнениях, которые вспыхивают в его душе. С одной стороны, Розанов резко противопоставляет христианский Запад Востоку: западное христианство ему представляется «далеким от мира», «антимиром» \*. В свете православия христианство представляется Розанову как «полная веселость, удивительная легкость духа — никакого уныния, ничего тяжелого» \*\*, — и несколько дальше тут же он пишет: «нельзя достаточно настаивать на том, что христианство есть радость — и только радость и всегда радость» \*\*\*. Но в эти же годы он пишет замечательную статью «Номинализм в христианстве», где он остро говорит о *всем* христианстве, что оно «превратилось в доктрину», — что «номинализм», риторика — не случайное явление в христианстве, что «это именно и есть христианство, как оно выразилось в истории» \*\*\*\*. Тут же читаем: «христианство прямо еще не начато, *его нет вовсе*, и мы поклоняемся ему, как легенде» \*\*\*\*\*. «Вся мука, вся задача на земле религии — *стать реальной, осуществиться*», — читаем здесь \*\*\*\*\*, — и в этих словах, в этой защите христианского реализма заключается как раз движущая сила в диалектике религиозных исканий Розанова. Мы уже всецело на пороге второго периода в его творчестве, — Розанов уже объят сомнениями относительно «исторического» христианства, которое он противопоставляет подлинному и истинному христианству. Правда, тут еще есть отзвуки бывшего противопоставления Запада Востоку, — вот что, например, читаем почти рядом с приведенной защитой христианского реализма: «глубин христианства *никто еще не постиг*, — и эта

---

\* Розанов, «Религия и культура» (Изд. 1901 г., с. 64).

\*\* Ibid., с. 65, 66.

\*\*\* Ibid., с. 243.

\*\*\*\* В сборнике «В мире неясного и нерешенного» (Изд. 1901 г., с. 47).

\*\*\*\*\* Ibid., с. 267.

\*\*\*\*\* Ibid., с. 103.

задача, даже не брезжившаяся Западу, может быть, есть оригинальная задача русского гения». Так или иначе, Розанов начинает скептически относиться к «историческому» христианству, — и вот какие новые богословские идеи приходят ему в голову. «Религии Голгофы» он впервые здесь противопоставляет «религию Вифлеема» \*, которая заключает в себе «христианство же, но выраженное столь жизненно-сладостно, что около Голгофы, аскетической его фазы, оно представляется как бы новой религией» \*\*.

Здесь мы уже совсем вступаем во второй период в творчестве Розанова, в котором Голгофа *противопоставляется* Вифлеему. Розанов становится критиком «исторического» христианства во имя «Вифлеема», и проблема семьи ставится в центре его богословских и философских размышлений. Он еще не отходит от Церкви, он все еще «около церковных стен» (как назвал он двухтомный сборник своих статей), но в «споре» христианства и культуры у него постепенно христианство тускнеет, теряет «жизненно-сладостную» силу и постепенно отходит в сторону, чтобы уступить место «религии Отца», — «Ветхому Завету». Любопытно отметить, что в первой статье I-го тома книги «Около церковных стен» (статья носит характерное название «Религия как свет и радость») Розанов еще пишет: «Тщательное рассмотрение убеждает, что среди всех философских и религиозных учений нет более светлого и жизнерадостного мировоззрения, чем христианское» \*\*\*. Но уже здесь идет речь о «великом недоразумении, которое в судьбах христианства образовалось около момента Голгофы», — ибо «из подражания Христу и именно в моменте Голгофы образовалось неутомимое искание страданий». Через это «весь акт искупления *прошел мимо человека* и рухнул в бездну, в пустоту, — *никого и ничего не спасая*» \*\*\*\*. В этих словах диалектически уже наличествует переход ко второму периоду, только объектом критики у Розанова является не само христианство, а его неверное понимание в Церкви. «Сущность Церкви и даже христианства определилась, — пишет он в другой статье \*\*\*\*\*, — *как поклонение смерти*». «Ничто из бытия Христа, — читаем тут же, — не взято в такой великий и постоянный символ, как смерть. Уподобиться мощам, перестать вовсе жить, двигаться, дышать — есть общий и великий идеал Церкви».

---

\* Ibid., с. 57.

\*\* Ibid., с. 61.

\*\*\* «Около церковных стен» (1906 г.), т. I, с. 15.

\*\*\*\* Ibid., с. 18.

\*\*\*\*\* «Около церковных стен» (1906 г.), т. II, с. 446.

Но со всей силой критика Церкви перешла в *борьбу* с Церковью, когда размышления Розанова сосредоточились на проблеме семьи. Однажды Розанов написал \*: «Всю жизнь посвятить на разрушение того, что одно в мире люблю — была ли у кого печальнее судьба?» Это очень верно: Розанов действительно не мог оторваться от Церкви, да и умирать поехал «около церковных стен» (возле Троицкой Лавры), но внутренняя диалектика его мысли вела к острой и беспощадной борьбе с Церковью, а позже и с Христом. Чтобы понять эту внутреннюю диалектику в Розанове и оценить всю значительность его идей, необходимо углубиться в изучение того, что мыслил Розанов о человеке. В его антропологии ключ ко всей его идейной и духовной эволюции.

11. Мы говорим именно об *антропологии* Розанова в целом, а не только о построенной им «метафизике пола», которая хотя и является важнейшей частью его антропологии, но не выполняет ее всю.

Исходная интуиция Розанова в его исканиях и построениях в области антропологии есть вера в «естество» человека и нежная любовь к нему. Розанов вообще любил «естество», природу, — и это так сильно звучало всегда в нем, что его мировоззрение часто характеризовали как «мистический пантеизм» \*\*, — что, впрочем, неверно. «Природа — друг, но не съедобное», — с сарказмом говорит Розанов \*\*\*. — «Все в мире любят друг друга какой-то слепой, безотчетной, глупой и неборимой любовью... каждая вещь даже извне отражает в себе окружающее... и эта взаимная “зеркальность” вещей простирается даже на цивилизацию, и в ее штрихи входит что-то из ландшафта природы» \*\*\*\*. Ощущение жизни природы действительно исключительно у Розанова (*хотя вовсе не пантеистично*). В замечательной статье «Святое чудо бытия» есть строки, близкие к тому ощущению природы, которое особенно часто встречается действительно в пантеизме \*\*\*\*\*: «есть действительно некоторое *тайное основание* принять весь мир, универс за мистико-материнскую утробу, в которой рождается мы, родилось наше солнце и от него земля». О «тайном основании» думаю, что дело идет о *софиологии*

---

\* «Уединенное» (Петербург, 1912), с. 213.

\*\* См. особенно статью Волжского «Мистический пантеизм» (это лучшее, что было написано о Розанове) в сборнике «Из мира литературных исканий».

\*\*\* «Около церковных стен», т. I, с. 12.

\*\*\*\* Ibid., с. 77–79.

\*\*\*\*\* Сборник статей «Семейный вопрос в России» (1903), т. II, с. 53.

ческой концепции, о которой вообще, насколько я знаю, Розанов нигде, кроме приведенного места, не высказывался. Но дело сейчас не в этом, а в очень частом у Розанова чувстве *жизни в мире и связи человека с природой*. «Наша земля, — пишет он \*, — из каждой хижинки, при каждом новом “я”, рождающемся в мир, испускает маленький лучик, — и вся земля сияет коротким, не достигающим неба, но своим собственным зато сиянием. Земля, поскольку она рождает, плывет в тверди сияющим телом, — и именно религиозно сияющим». «Мир создан не только рационально, — пишет в другом месте Розанов \*\*, — но и священно, — столько же по Аристотелю, сколько и по Библии... Весь мир согревается и связывается любовью».

Из всего этого «чувства природы», очень глубокого у Розанова, питались разные его размышления. Этот принципиальный *биоцентризм* (сказавшийся уже в первой книге Розанова «О понимании») совсем не вел его к «мистическому пантеизму», как часто полагают, а к другому выводу, который он сам однажды формулировал в таких словах \*\*\*: «Всякая метафизика есть углубление познания *природы*». Это есть космоцентризм. Но так как у Розанова всегда было очень острое чувство Творца, была всегда существовавшая идея тварности мира, то космоцентризм не переходил у него в пантеизм.

Вся антропология Розанова тоже ориентирована *космоцентрически*. Я не разделяю мнения Волжского \*\*\*\*, что «любовь к жизни у Розанова *вне личности* человека и Бога». Наоборот, у него исключительно велико чувство личности (в человеке), но это чувство у него окрашено космоцентрически. Вся метафизика человека сосредоточена для Розанова в тайне *пола*, — но это абсолютно далеко от пансексуализма Фрейда, ибо все в тайне пола *очеловечено* у Розанова. Мы еще будем иметь случай коснуться замечательной его формулы: «то, что человек потерял в мироздании, то он находит в истории» \*\*\*\*\*. Для нас сейчас существенно в этой формуле указание на то, что человек «теряет» в мироздании, — но он *не теряется в нем*, — он «включен» в порядок природы, и точка этой включенности и есть пол как тайна рождения новой жизни. Именно эта «творящая» функция пола нужна и дорога Розанову; ведь пол, по Розанову, «и есть

---

\* «Семейный вопрос...», т. I, с. 54.

\*\* «Литературные изгнанники», с. 248 (примеч. к письму Страхова к Розанову).

\*\*\* «Рус<ский> вестник», 1892 (VIII), с. 196.

\*\*\*\* Волжский, «Из мира литературных исканий», с. 363.

\*\*\*\*\* Сборник «Религия и культура», с. 21.

наша душа» \*. Оттого Розанов даже утверждает, что человек вообще есть «трансформация пола» \*\*, — но это совсем не есть какой-то антропологический «материализм», а как раз наоборот. «Нет крупинки в нас, ногтя, волоса, капли крови, — пишет тут же Розанов, — которые не имели бы в себе духовного начала» \*\*\*. Появление личности есть огромное событие в жизни космоса, ибо «во всяком “я” мы находим обособление, противоположность всему, что не есть “я”» \*\*\*\*.

Понимая пол как ту сферу в человеке, где он таинственно связан со всей природой, то есть понимая его метафизически, Розанов считает все «остальное» в человеке как выражение и развитие тайны пола. «Пол выходит из границ естества, он — внеестественен и сверхъестественен» \*\*\*\*\*. Если вообще «лишь там, где есть пол, возникает лицо», то в своей глубине пол есть «второе, темное, ноуменальное лицо в человеке» \*\*\*\*\*: «здесь пропасть, уходящая в антипод бытия, здесь образ того света» \*\*\*\*\*. «Пол в человеке подобен зачарованному лесу, то есть лесу, обставленному чарами; человек бежит от него в ужасе, зачарованный лес остается тайной» \*\*\*\*\*.

В замечательной статье «Семя и жизнь» (в сборнике «Религия и культура») рассыпано много характерных и существенных размышлений Розанова на те же темы. «Пол не функция и не орган», — говорит здесь Розанов против поверхностного эмпиризма в учении о поле; отношение же к полу как органу «*есть разрушение человека*» \*\*\*\*\*. В этих глубоких словах ясно выступает вся *человечность* этой метафизики; никто не чувствовал так глубоко «священное» в человеке, как Розанов, именно потому, что он чувствовал священную тайну пола. Его книги напоены любовью к «младенцу» (особенно замечательно все, что он писал о «незаконнорожденных» детях), — и не случайно то, что последний источник «порчи» современной цивилизации Розанов видит в том разложении семьи, которое подтачивает эту цивилизацию.

---

\* «В мире неясного и нерешенного», с. 7.

\*\* «Люди лунного света» (1911), с. 71.

\*\*\* Ibid., с. 70.

\*\*\*\* Ibid., с. 28.

\*\*\*\*\* «В мире неясного и нерешенного», с. 110.

\*\*\*\*\* Ibid., с. 5.

\*\*\*\*\* Ibid., с. 110.

\*\*\*\*\* «Из восточных мотивов» (Тетради), с. 24.

\*\*\*\*\* «Религия и культура», с. 173.

Углубление в проблемы пола у Розанова входит, как в общую рамку, в систему персонализма, — в этом вся значительность его размышлений. Метафизика человека освещена у него из признания метафизической центральности сферы пола. «Пол не есть вовсе тело, — писал Розанов однажды \*, — тело клубится около него и из него»... В этой и иных близких формулах Розанов неизмеримо глубже всего того «тайновидения плоти», которое Мережковский восхвалял в Толстом: никто глубже Розанова не чувствует «тайны» пола, его связи с трансцендентной сферой («связь пола с Богом большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом» \*\*).

12. Вдумываясь в то, как складывается судьба семьи в развитии христианской истории, Розанов сначала был склонен, как мы видели, обвинять Церковь, вообще «историческое христианство» в одностороннем уклоне в сторону аскетического «гнушения» миром. Но постепенно его взгляд меняется, — он уже начинает переносить свои сомнения на самую *сущность* христианства. «Христианство давно перестало быть дробилом, дрожжами», оно «установилось» \*\*\*. Оттого «вокруг нас зрелище обледенелой в сущности христианской цивилизации...», где все номинально \*\*\*\*. Источник этого, по новому сознанию Розанова, в том, что «из текста Евангелия естественно вытекает только монастырь» \*\*\*\*\*. «У Церкви нет чувства детей», — в другом месте утверждает Розанов \*\*\*\*\*. Высшей точки эти сомнения его достигли в его нашумевшей статье об «Иисусе Сладчайшем» (в сборнике «Темный лик христианства»). Здесь Розанов утверждает, что «во Христе мир прогорк» \*\*\*\*\*. У Розанова начался период христорождения, решительного поворота к Ветхому Завету (религии Отца). Теперь оказывается, что он «отроду не любил читать Евангелия, — а Ветхим Заветом не мог насытиться» \*\*\*\*\*, что «иночество составляет метафизику христианства» \*\*\*\*\*. Христианство он теперь называет «христотеизмом», в котором только

\* «В мире неясного и нерешенного», с. 123.

\*\* «Уединенное», с. 169.

\*\*\* «Около церк<овных> стен», т. I, с. 91.

\*\*\*\* «Религия и культура», с. 150.

\*\*\*\*\* Письмо к Голлербаху. См.: Голлербах, «Розанов (Письма его)», с. 44.

\*\*\*\*\* «Сем<ейный> вопрос», т. I, с. 35.

\*\*\*\*\* «Темный лик...», с. 255.

\*\*\*\*\* «Опавшие листья», Кор. I, с. 255.

\*\*\*\*\* «Люди лунного света», с. 194.

одна треть правды теизма» \*. Особенной силы и острой выразительности христорборчество Розанова достигает в его предсмертном произведении «Апокалипсис нашего времени». Это — очень жуткая вещь с очень острыми, страшными формулами. «Христос невыносимо отягчил человеческую жизнь», Христос — «таинственная Тень, наведшая отощание на все злаки»; христианство «бессильно устроить жизнь человеческую» со своей «узенькой правдой Евангелия». Есть здесь и такие слова: «зло пришествия Христа...» \*\*.

Христианство — «истинно, но не мочно», — написал однажды Розанов \*\*\*, — и историческое «бессилие» Церкви, тот факт, что она не овладела историческим процессом, не смогла внести в него свой свет, чтобы во всем преобразить его, — все это для Розанова есть «грех» Церкви. И тут перед нами выступает никогда до конца не выявленная его историософская концепция. Мы уже приводили очень глубокую его мысль, что «все, что потерял человек в мироздании, он находит в истории». Однако это *совсем не возвеличивает человека как делателя истории*; царственное значение, утерянное человеком в космосе, но вновь обретенное в истории, *совсем не создается* человеком. «Человек не делает историю, — читаем в той же книге, откуда взята только что приведенная цитата, — он в ней живет, блуждает, без всякого ведения, для чего, к чему» \*\*\*\*. Это больше, чем агностицизм, — это уже историософский мистицизм, часто близкий к историософскому алогизму Герцена или имперсонализму в истории философии у Л. Толстого. В той же книге в одном месте Розанов говорит о «*неверных* волнах истории», движение которых разбивается о монастырь, — но в личном сознании человека власть истории гораздо больше, чем это нам кажется. «Быть *обманываемым* в истории есть постоянный удел человека на земле. Можно сказать, надежды внушаемы человеку для того, чтобы, манясь ими, он совершал некоторые дела, которые необходимы для приведения его в состояние, *ничего общего с этими надеждами не имеющего*, но очень гармоничное, ясно необходимое в общем строе всемирной истории» \*\*\*\*\*. Единственное «место», в котором человек может проявить *личное* творчество, есть

\* «Из восточных мотивов» (с. 15). Ср. «Сем<ейный> вопрос», т. I, с. 25.

\*\* «Апокалипсис нашего времени» (Версты. 1927, № 2), с. 303, 307, 316, 336, 345.

\*\*\* Ibid., с. 305.

\*\*\*\* «Религия и культура», с. 126.

\*\*\*\*\* Ibid., с. 126.



семья, рождение детей, — и Розанов, как мы уже видели, всячески стремится раскрыть священное значение семьи, рождение детей. Розанов постоянно утверждает мистическую глубину, присущую семье, ее сверхэмпирическую природу («семью нельзя рационально построить», «семья есть институт существенно иррациональный, мистический») \*.

13. Мы подходим к чисто философским предпосылкам, на которые опирается Розанов. Все его мировоззрение, слагавшееся у него по поводу «случайных» тем, с которыми его связывал долг журналиста, при исключительной «правдивости» (часто переходившей границы «приличия»), оставалось верным той изначальной интуиции, которая легла в основу еще первой его книги «О понимании». Насквозь пронизанная *рационализмом*, уверенностью в «рациональной предустановленности» бытия, она в то же время представляет очень своеобразную *мистическую интерпретацию рационализма*. Бытие разумно, и его разумность открывается в нашем разуме, — все познаваемое заключено в понимании, содержится в его формах, но еще закрыто. Эта «параллельность» бытия и нашего разума как-то, по собственному признанию Розанова \*\*, предстала ему как раз в видении и определила самый замысел его книги «О понимании». Как из семени развивается растение, так из глубин ума развивается все знание, — и этот образ «семени», легший в основу первой книги, навсегда остался основным для Розанова. В одной из статей \*\*\* он писал: «Всякое ощущение беспросветно, темно для человека, непроницаемо в своем смысле, пока оно не будет возведено к смыслу чего-то, *уже* ранее присутствовавшего в духе». «Мы должны, — пишет тут же Розанов в линиях трансцендентализма, — понимать явления внешней природы как только *повторения* процессов и состояний своего *первичного* сознания».

Но рационализм, чуть-чуть приближающийся к трансцендентализму, сейчас же истолковывается у Розанова в смысле трансцендентального *реализма*. «Реальность есть нечто высшее, нежели разумность и истина» \*\*\*\*. А реализм тут же истолковывается в линиях *теизма*, — чем прямо и категорически отвергается предположение о пантеизме Розанова. «Подобно тому, как мыс-

\* «Сем<ейный> вопрос», т. I, с. 75, 78.

\*\* Примеч. к письму Страхова в книге «Литературные изгнанники», с. 342–343.

\*\*\* Идея рационального естествознания, «Русский вестник», 1892 г., VIII, с. 196–197.

\*\*\*\* «Литературные очерки» (1899), с. 39.

лящему разуму есть соответствующий ему мыслимый мир, — так и нравственному чувству — отвечающий ему долг, а религиозному созерцанию — *созерцаемое им Божество*\*. Это не есть случайное выражение у Розанова, — он всю жизнь жил Богом\*\*. Но Розанов глубже других чувствовал *божественный свет в космосе*, непосредственное касание к трансцендентной сфере. Это, однако, не дает права говорить о пантеизме Розанова, — можно лишь сказать, что он стоял на пути к построению *софиологической* концепции, которая по своей интенции (не по фактическому ее выражению, — например, у Вл. Соловьева) свободна от пантеизма. Но тем ярче выступает перед нами *мистицизм* в мировоззрении Розанова с его постоянным ощущением того, как за прозрачной поверхностью «рационализма» начинается сфера трансцендентного.

14. *Космоцентризм* Розанова имел исключительное влияние на различных русских мыслителей, — не только близких, но и враждебных ему по духу. То положительное, что неразрывно связано в диалектике русской мысли с Розановым, есть не проблема пола и семьи (как ни важно и значительно все то, что в этой области выдвигал Розанов), а именно его космоцентризм. Не потому ли склонны считать его пантеистом? Розанов внес свою лепту в будущую, еще до конца не построенную русскими философами *софиологию*, которая должна философски осмыслить то, что в живом религиозном восприятии заключено в Православии с его космизмом.

Не менее важно и то, что дал Розанов в основной для диалектики русской философии теме о «секуляризме», о возможности построения системы культуры на основе Церкви. Розанов, как и Леонтьев, исходил все время от христианства, всегда был «около церковных стен», был, как и Леонтьев, сознательным противником секуляризованной Европы, но это не помешало ему трагически выразить нерешенность в Церкви самой темы секуляризма. На этом пути Розанов, *не уступая секуляризму*, пришел, однако, к такой острой критике Церкви, какую не мог даже развить секуляризм. Итог сложного, напряженного творчества Розанова совсем не идет на пользу секуляризму, он все же по существу является *положительным*. Совершенно невозможно отвергать это положительное влияние самых острых идей Розанова на обновление и возрождение русских религиозных ис-

---

\* Ibid., с. 42.

\*\* См. яркие строки в «Уединенном», с. 117.

каний, — и именно в направлении того, как религиозно осмыслить и освятить «стихийный» процесс культурного творчества. Проблема церковной культуры не может быть решена, обходя темы Розанова, обходя его космоцентризм. Даже больше: русский персонализм, часто слишком накреняющийся в сторону одного этицизма, должен вместить в себя темы Розанова, чтобы взойти до софиологической его постановки. На этом пути к будущей софиологии идейное наследство Розанова является особенно ценным.





## В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ

### Русские мыслители и Европа. В. В. Розанов

Василий Васильевич Розанов, писатель исключительно своеобразного и яркого литературного дарования, был подлинным религиозным мыслителем, имевшим чрезвычайное влияние на дальнейшую русскую религиозную мысль. В сущности, это влияние сильно еще и сейчас, — ибо вопросы, которые ставил с исключительной остротой Розанов, сохраняют свое основное значение в религиозном мышлении наших дней. Здесь, конечно, не место излагать хотя бы основные контуры мировоззрения Розанова, укажу только, что в Розанове с чрезвычайной силой, дерзко и буйно, а в то же время глубоко и серьезно прорвался религиозный *натурализм*. Выросший в атмосфере православия и частью души оставшийся верным ему навсегда, Розанов поднимает бунт против всего того, что умаляет и унижает «естество». Глубокое ощущение святости «естества» у него уже христианское, уже все пронизано лучами той радости, которая зазвучала для мира в ангельской песне: «...на земле мир, в человецех благоволение»<sup>1</sup>. Тайна Боговоплощения есть главное событие в Новом Завете, которое никогда для Розанова не тускнело, — но дальше этого он религиозно не пошел; он не вмещает тайны Голгофы и в сущности не знает Воскресения: ему дорого бытие, какое оно есть, до своего преобразования. Розанов хотя и остается таким образом *внутри христианства*, но в то же время он включает его в себя неполно. Церковь и мир соединены для Розанова лишь в первом ангельском благовестии — от которого он не отходит, но — они глубоко разъединены для него в своем историческом раскрытии. Розанов не сразу сознал те диссонансы, которые он носил в своей душе; долгое время он связывал их с исторической драмой христианства — с расхождением Запада и Востока, но постепенно он стал чувствовать единство исторического христианства в отношении к мучившим его диссонансам —

и, оставшись при Новом Завете, он шел напряженно и мучительно к отвержению Церкви. У Розанова спасенная и благословенная уже природа восстает против идеи креста; глубочайший и тончайший натурализм, дыхание которого вообще проникает нередко в православное сознание в силу его *космизма*, его направленности к идее преобразования мира, — завладевает Розановым с необычайной силой. Он доходит до противопоставления откровения Бога-Отца и Бога-Сына, в ряде тончайших наблюдений развивает это противопоставление до существенной, а не только исторической непримиримости. Быть может, самое острое и жуткое свое выражение нашло это отталкивание от Христа в статье «Об Иисусе Сладчайшем». Каким-то Иудиным поцелуем веет от этой статьи, — в ее малой правде скрыта глубочайшая неправда и злостная клевета. Розанов уверяет нас, что в христианстве — «мир прогорк», что от него на весь мир легла какая-то тень, от которой блекнут краски, стихает творческое движение жизни, вянут ее цветы; это «лунное» христианство, как его воспринимал Розанов, признавалось им историческим раскрытием, самой сутью Нового Завета, — и как раз здесь Розанов и ощутил антиномию Ветхого и Нового Заветов. Во втором периоде своего творчества Розанов переходит к резкому и отчетливому утверждению своей мысли, — хотя в начале своей деятельности он ощущал эту противоположность как различие католицизма и православия. В католицизме Розанов видел тогда «анти-мир», так как Церковь здесь «не просветляет действительность, а отрицает ее»; поэтому он считает католицизм «потусторонней Церковью». В одном месте (сборник статей под заглавием «Религия и культура») говорит он о «Духе Церкви, еще библейском на Западе, уже евангельском на Востоке». Православие в этом его восприятии дорого Розанову сохранившейся в нем радостью о Господе, своей обращенностью к жизни, своим идеалом «обоже-ния» и своим стремлением освятить жизнь. В то же время у Розанова закладываются основы его критического отношения к западной культуре; находясь под глубоким влиянием Достоевского, как свидетельствует ранняя книга Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе», он в это время еще может быть отнесен к «почвенникам». Мы увидим, что он, собственно, и остался «почвенником», поскольку религиозный натурализм не только не был преодолен Розановым, но был даже углублен и противопоставлен христианству с исключительной силой и резкостью. Но в ранний свой период Розанов разделял веру в особую миссию России. «Как католицизм есть романское понимание христианства, писал он тогда («Легенда о Великом Инквизиторе»), протестан-

тизм — германское, так православие есть его славянское понимание». В связи с этими строками понятна и такая мысль Розанова, высказанная в той же книге: «Раса, последней выступившая на историческое поприще, к которой принадлежим мы, — в особенностях своего психического уклада несет наибольшую способность выполнять эту великую задачу (внести гармонию в жизнь и в историю). Раса славянская входит как внутреннее единство в самые разнообразные и, по-видимому, непримиримые противоположности». Здесь мы видим любопытные ответы позднего славянофильства, отчасти идей Данилевского, отчасти «почвенников». Впоследствии, во время великой войны, у Розанова еще раз вспыхнуло бывшее его славянофильство (о котором Н. А. Бердяев написал очень интересную, но все же пристрастную и во многом несправедливую статью — см. сборник его «Судьба России», Москва, 1918 г.)<sup>2</sup>, — но оно и должно было развеяться пред лицом распада русской государственности. Последние мысли Розанова, запечатленные в нескольких небольших тетрадках его «Апокалипсиса», говорят о глубоком ощущении у него общего провала культуры в пустоту...

Во всяком случае, противопоставление католичества и православия (в связи с этим Западу и России) довольно рано стало сменяться у Розанова перенесением отмеченной им здесь противоположности в самую суть христианства; прежняя антиномия постепенно приобретает характер противопоставления Ветхого и Нового Заветов. В этот период творчества Розанов и становится тем несравненным по литературной силе и какой-то единственной художественности писателем, в котором вся красота речи глубоко связана с ее непосредственностью, с ее внелогичностью. Творчество Розанова приобретает изумительную глубину и значительность, — и как раз в этот период, еще больше, чем раньше, Розанов раскрывает всю свою «русскость». Его хочется сравнивать лишь с Лесковым, тоже непередаваемо «почвенным» художником: вот отчего Розанов, вероятно, наименее, может быть, понятен вне России. Еще хочется сравнить Розанова с другим замечательным религиозным мыслителем — Н. Ф. Федоровым<sup>3</sup>, тоже по своему договорившим «почвенников».

«Почвенники», о которых мы будем еще вести речь в главе о Достоевском, развивая некоторые мысли славянофилов, с которыми они вовсе не чувствовали себя близкими, — стремились вернуть и жизнь, и творчество, и мысль к «почве». В их понимании, окрашенном в тона народничества, это означало погружение как в мир традиций, так особенно в полноту современности. («Народ» они не смешивали с простонародьем — см. об этом

ранние статьи Достоевского, перепечатанные в томе, посвященном «Дневнику писателя».) Понятие «почвы» обнимало историю и современность, эмпирическую полноту и метафизическую глубину «народа»; таким образом, понятие «почвенности» соединялось здесь с понятием национальности. Это был своеобразный религиозный национализм... В Федорове и Розанове действует тот же мотив возвращения к «почве», но уже понимаемый шире национальных рамок. У Федорова выступает мотив возвращения к историческому прошлому и ставится задача его «воскрешения»; без этого исторический поток, отрывая нас от прошлого, отрывает и от «почвы», делает «беспочвенными» и расстраивает духовную жизнь... У Розанова «почва» означает близость к неугасимой творческой силе мира — к полу, к семье, к рождению новой жизни: здесь мы у «почвы», здесь мы прикасаемся к творческой силе мира, становимся живыми участниками его жизни — здесь источник жизненной силы и творческого вдохновения, духовного здоровья и исторической мощи. Мы увидим, как, исходя из этого, критикует современность Розанов — тоже представитель «руссоизма» на русской почве и защитник «естественного» устройства жизни.

И Федоров и Розанов, каждый по-своему, рисуют нам тип своеобразного христианского натурализма, как ни звучит парадоксально это словосочетание. Его не раз знал и Запад, он пророс и на русской почве: его смысл, его сущность заключается в том, что бытие в его данности ощущается как уже освященное, благословенное — нужно лишь устройство мира, а не преображение, нужно только следовать «естеству» и быть верным ему. Это натурализм, ибо здесь не нужно никакого преодоления бытия, — но это *христианский натурализм*, ибо берется бытие «благословенное». Мир уже спасен, и ныне нужно быть в нем, никакого «креста» уже не нужно, — и, в сущности, Церковь тоже во многом не нужна, ибо не в одной Церкви небо соединено с землей, но и во всем мире: христианский натурализм, впрочем, не отвергает вполне учения о Церкви. Оставим в стороне Федорова, чтобы не усложнять изложения, но скажем о Розанове, что для него, столь глубоко принявшего в душе благовестие Церкви — «На земле мир и в человецех благоволение» — церковное христианство было дорого лишь психологически, религиозно же он вышел из Церкви, отделился от церковного христианства и вернулся к Ветхому Завету, не замечая, что он весь пронизан лучами Христовой победы, что душа его все время поет христианскую песнь о «мире на земле» — вот отчего его натурализм, его «почвенничество» могут быть названы (как и у Достоевско-



го) христианскими, вот отчего он (как и Федоров, и Достоевский) так бесконечно близки и дороги нам. И все же здесь остается не раскрытой тайна христианского преображения жизни. У Розанова не понята Голгофа, которая для него была лишь однажды нужна, чтобы через распятие Спасителя совершилась победа над смертью: Розанов не понял, не вместил того, что каждому из нас дан свой крест, дано узнать свою Голгофу. Достоевский же, так глубоко знавший страдания и его тайну, так и не смог окончательно *поднять* над тайною креста; хотя он и сделал попытку в старце Зосиме раскрыть полноту христианского жизнепонимания, но его личность слишком была в тисках почвенничества, в тисках того же христианского натурализма (мы увидим это в следующей главе), и образ Зосимы, при всей несравненной его красоте, *как образ*, едва ли удался ему.

---

Как ни отрывочны предыдущие замечания, но, надеюсь, они сделают понятными мысли Розанова, обращенные к современной цивилизации. Подобно другим писателям его эпохи, Розанов *критикует не Запад, а западную цивилизацию*, включая в последнюю и русскую культуру, поскольку она проникнута теми же началами западной цивилизации. Вот эти-то «начала» и критикует Розанов.

Приведем сначала характеристику современности у Розанова и затем укажем объяснение им дефектов цивилизации. В «старейшей жизни Западной Европы» чувствует Розанов глубокое иссякание ее творческих сил. «Необозримое множество подробностей, — читаем в одном месте, — и отсутствие среди них чего-либо главного и связующего — вот характерное отличие европейской жизни, как она сложилась за два последние века... Отсутствие согласующего центра в неумолкающем труде, в вечном созидании частей есть только последствия этой утраты жизненного смысла». Тут же читаем еще: «Просвещение... тем более увеличивает необъяснимую грусть. Отсюда глубокая печаль всей новой поэзии, сменяющаяся кощунством или злобой... все сумрачное и безотрадное неудержимо влечет к себе современное человечество, потому что нет более радости в его сердце... Жизнь иссякает в своих источниках и распадается, выступают непримиримые противоречия в истории и нестерпимый хаос в единичной совести».

Так писал Розанов в одной из своих ранних книг — «Легенда о Великом Инквизиторе». Но вот более поздние строки: «есть...

тоска собственного европейского существования. Найдём ли мы внутри европейского существования бесконечное? Все идеалы европейские во всем конечны — а без бесконечного человек существовать не может». «Цивилизация, — читаем еще в одном месте, — от востока до запада, от севера до юга сочится такой ужасной, невозможной прежде всего и яснее всего скучищей». «Европа ссыхается, — писал несколько раньше Розанов, («Религия и культура»), — высыхается; в ней не внешнее разрушение, а внутреннее — из центра и души — превращение в “святыи мощи”». Еще там же: «чудовищный эгоизм, неслыханный холод отношений... да оглянемся же: все это вокруг нас, это и есть зрелище обледенелой в сущности христианской цивилизации». В другом месте: «в Европе был раньше более общий, единый — трудно определяемый и могущественно действовавший дух; и вот нам чудится, что в этом-то духе и просвечивает какая-то печальная трещина, какой-то раскол, распад».

Вот как рисует итоги этого «распада» Розанов. «Общевропейский дух... род какого-то европейского славянофильства, был гордостью Европы... была граница возможного, за которой началось невозможное для европейских заветов, европейских идеалов. Вот некоторую математическую точность, но нравственного порядка, и потерял сейчас европейский дух... Европа утомилась собой и начала не доверять себе. Во вторую половину XIX века Европа сразу и как-то бесконечно постарела; она вдруг осела, начала расти в землю, как это делается со стариками. Во внутренних европейских событиях, чем ближе к концу века, тем яснее “общевропейской” делалась только пошлость. Все сменялось, но пошлость не менялась... Европеизм раскалывается; старые общественные лозунги — длинны и древне-прекрасны, но они просто не действуют». В дополнение к этим мыслям Розанов резко указывает факты, отмеченные, как мы видели, и другими мыслителями: «европейской истории не новость разорять, будто бы христианизировав, целые цивилизованные миры». В «Опавших листьях» с присущей здесь Розанову свободой выражений он пишет: «вся цивилизация XIX века есть медленное, неодолимое и, наконец, восторжествовавшее просачивание всюду кабака». В замечательной книге «В мире неясного и нерешенного» Розанов писал: «солнце XIX века закатывается в лучах мошенничества (дело Дрейфуса). Не то даже существенно, что к концу знаменитого и гордого века оказалось несколько всесветных мошенников, но важно, что в течение дней, недель, месяцев и, наконец, лет, целая Европа с наибольшим прилежанием ума и чуткостью сердца следила за подробностями жизни людей, о

которых с самого начала не могло быть спора, что, в сущности, все они суть самые плоские людишки... Панама, шантажисты, дрейфуссиада... Конечно, это похоронный колокол всякого идеализма, а в цивилизации христианской — похоронный колокол самого христианства».

Дехристианизация Европы несомненна для Розанова. «Весь Запад, продолжая хранить, — пишет он, — *декорум* религии, в тайне души и... в практике жизни разошелся с христианством». С удивительной глубиной Розанов указывает на то, что христианство становится ныне лишь декоративным, становится *словесным*: «самая опасная сторона в христианстве XIX века, — замечает он, — это то, что оно начинает быть *риторическим*». Вот как характеризует Розанов *религиозные* причины этого высыхания христианства: «Католицизм, — пишет он в сравнительно ранней статье, — и до сих пор *не понимает существа воплощения*, по-своему его отвергает, как-то затушевывает, обходит; он создал догмат о “непорочном зачатии” Девы Марии... тенденция здесь — отвергнуть именно центральную суть воплощения, смешения божеского и человеческого, соединения небесного и земного... Христианский Восток и Запад, — заканчивает эту тираду Розанов, — исповедывали и исповедуют до сих пор религии существенно различные и типично противоположные».

Мы подошли к самому существенному в Розанове — к его горячей защите семьи. Католицизм, отвергший для клира брак, был для него символом неприятия западным христианством самой основы жизни, «почвы», из которой все растет и в которой было и есть благословение Отца Небесного при самом создании мира («плодитесь, размножайтесь...»). Розанов глубоко ощущал это гнушение полом и браком и со всей силой своего таланта, со всей мощью, заключенной в парадоксальном «христианском натурализме», обрушивался на «неплодущую цивилизацию» («цивилизация европейская, — писал он, — не сейчас только, но и всегда, вечно была и есть неплодущая цивилизация»). Постепенно он направил свои обвинения не на один католицизм, но и на всю цивилизацию, включая сюда отчасти и Россию. «Брак свелся, — пишет он, — к номинализму, и семья к фикции; без света религии в таинственных “завязях” бытия своего человек неудержимо стал загнивать в них, и европейская цивилизация — и именно только европейская, неудержимо расплывается — в проституцию. Нет огня, нет таинственного жгучего огня, стягивающего человека в “брак” — это так очевидно и именно в Европе с ее начинающимся вырождением! Мы изнутри похолодели...»

Розанов ощущал глубокое внутреннее перерождение семьи и брака, ощущал его как главный симптом религиозного оскудения, ибо в семье он видит неугасимый творческий огонь, согревающий весь процесс культуры. Всякая святыня держится в человечестве тем огнем, который возжигается в браке, — так гласит своеобразная, «почвенная» философия Розанова. Вот отчего он болезненно и тоскливо ощущает то скрытое осквернение брака, от которого «загнивает» и вся полнота культурной жизни. «Борьба с нигилизмом, — пишет он в книге «Семейный вопрос в России», — мне представлялась через ребенка и на почве отцовства», — но ему приходится констатировать лишь дальнейший распад семьи. Говоря в одном месте о ценности ранних браков, он пишет: «Разрушение брака зашло так далеко, что восстановление раннего чистого брака не может быть сделано иначе, как через глубокое потрясение всей цивилизации». «Европейская семья (читаем в другом месте) построена не на любви»: в этом видит Розанов отход от натуральных и неустрашимых основ семьи, и он много вдохновения и таланта отдает на то, чтобы вскрыть ту ложь, которая накопилась вокруг семьи. Особенно страстно и горячо восставал он против жестокого отношения к так называемым «незаконным детям». Многие страницы, написанные на эту тему Розановым, долго еще будут сохранять свою силу. Он даже делает такой вывод: «так как везде в Европе дети делаются на законных и незаконных, то нельзя доказать присутствия в Европе таинства брака». Учение Розанова о таинстве брака представляет специально богословскую тему, но нельзя тут же не отметить, что здесь было сказано Розановым очень много глубокого. С чрезвычайной скорбью он констатирует падение религиозного отношения к браку и думает даже, что «надвигающийся новый век будет эрой глубоких коллизий между существом религиозным и таинственным брака и между цивилизацией нашей, типично и характерно атеистической и бесполой». Вот отчего так суровы его слова о Европе: «Европа, — пишет он, — есть континент испорченной крови». И еще в другом месте: «Европа есть континент упавшей души и опавших крыльев. Мы говорим, конечно, об индивидууме, ибо машина европейская идет ходко».

Розанова очень трудно излагать, и я боюсь, что приведенные места из разных его книг утерjali то особое напряжение, ту глубину и значительность, какую открываешь в них при погружении во внутренний мир Розанова. Одно бесспорно: Розанов писал о действительных переживаниях своих, — это не мысли, а записи подлинно пережитого. Если у Шевырева<sup>4</sup> его фразы о

«гниению» Европы продиктованы поспешным осуждением и глубокой уверенностью, что вне России нигде нет духовного здоровья, если приговоры социалистически настроенных мыслителей о «гниении» Европы (см., напр., приведенное раньше письмо Боткина к Белинскому<sup>5</sup>, многие места у Герцена) связаны с общим мировоззрением их, то у Розанова мы находим и острое ощущение «загнивания» современной цивилизации в самых ее истоках — в семье. Вот отчего, вопреки известной горделивой фразе о «веке ребенка», Розанов пишет жуткие слова: «в цивилизации целой потух младенец». Пусть это и преувеличено, но правда все же есть в словах Розанова. «Для всей Европы, — писал он однажды, — на несколько веков Иродова легенда получила плоть и кости исторически действительного факта». Когда вспомнишь о бесконечной погоне в наши дни за вытравливанием плода и т. п., то слова Розанова об Иродовом избиении младенцев не покажутся уже клеветой на современность...

---

У Розанова с исключительной остротой и правдивостью ставится коренной вопрос, над которым бьется русская религиозная мысль — вопрос об отношении Церкви к миру, к культуре. До Розанова один лишь Гоголь, а в дни Розанова один лишь Достоевский чувствовал всю проблематику этого вопроса; идеал построения культуры в духе Православия означает движение по пути к освящению жизни, к внутреннему и интимному проникновению религиозного начала в процессы культуры. Розанов потому имел и имеет такое огромное значение в истории новейшей религиозной мысли в России, что он глубоко ощутил *акосмические тона* в некоторых сторонах исторического христианства. Он ощутил их вообще в христианстве, каким оно сложилось в истории, но и он, как и другие, особенно резко ощущал акосмизм в современной цивилизации, столь глубоко связанной с западным христианством. Неправда средневекового теократического принципа покоилась на идее *подчинения* мира Церкви, на нечувствии его ценности и на отвержении идеала *свободного* движения мира к Церкви; но и протестантизм, восстановивший начало свободы, не сумел соединить мира с Церковью: мир для него вне Церкви, Церковь для него вне мира. Акосмизм глубоко разъедает христианский Запад... Розанов сурово напоминает об ином акосмизме, таящемся и на Востоке, и этим освобождает нас от религиозного самовозвеличения, но насколько он ощущал еще открытыми пути к примирению Церкви с миром и мира

с Церковью, он чувствовал это в православии. Вот почему Розанов, при всем его христорборчестве, при его явном влечении к Ветхому Завету, все же изнутри связан с христианством и всегда будет ощущаться, как один из предтеч православной культуры. А его борьба за возвращение к святыне брака и к святыне семьи, его борьба против извращения таинственных и глубоких их законов входит существенной частью в ту общую борьбу с «секуляризацией» в современной европейской культуре, с ее обмирщением и измельчением, которая образует основное содержание в критике Европы у русских религиозных мыслителей.





## Л. ШЕСТОВ

### В. В. Розанов

Я попытаюсь «оценить», насколько это возможно сделать в кратких словах, литературное наследие этого огромного писателя, вернее, этого неутомимого борца. Ибо Розанов, как все почти большие русские писатели, был прежде всего борцом. Его несравненное литературное дарование было в его руках только оружием для борьбы с вечным и страшным врагом, притом с таким врагом, с которым примирение, компромисс, даже временное перемирие, невозможны. Кто не с ним, тот против него. Кто не против него — тот с ним. Этого врага Розанов видел в христианстве. Или вернее: этого врага Розанов называл христианством.

Но, странным образом, Розанов, всегда так безудержно и страстно нападавший на христианство, сказал как-то про себя словами Федора Карамазова: «Хоть я и поросенок, но Бог меня любит». Как это ни грубо и ни цинично — Розанов в своих писаниях доходил до крайней грубости и циничности, и именно тогда, когда он бывал так груб и циничен, он более всего выявлял себя — как это ни грубо и ни цинично, в этих словах большая правда о Розанове. Правда, что он был «поросенком», но также правда, что Бог его любил. И еще, хоть он этого не сказал, в них скрыта другая правда: Розанов Бога любил, любил всем сердцем и всей душой так, как того требует первая заповедь. И, если не все меня обманывает, в этом разгадка его вражды к христианству. Он мог бы повторить тоже слова другого героя из «Братьев Карамазовых, Мити, обращенные к младшему брату: «Бога, Алеша, жалко». Я думаю, что для всякого, кто внимательно читал произведения Розанова, ясно: он нападал на христианство потому, что хоть он был и поросенок, но чувствовал, что Бог его любил, чувствовал, что он Бога любит больше всего на свете и что ему «Бога жалко», жалко Бога, которого убивало христиан-



ство. Как так случилось, что для Розанова идея христианства связалась с идеей безбожия, на этот вопрос мы в сочинениях Розанова ответа не получим. Он сам, по-видимому, даже не давал себе вполне отчета, по крайней мере, никогда отчетливо не говорил о том, что для него христианство каким-то образом связано с идеей смерти Бога. Но уже его первое и в некотором смысле наиболее замечательное произведение, его комментарии к «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевского служат достаточно ручательством за то, что для Розанова быть христианином — значит отказаться от Бога<sup>1</sup>. Если бы у меня была под рукой эта его книга и, главное, если бы разбор или даже самое поверхностное изложение этой книги не требовало бы слишком много времени, то, конечно, нужно было бы и очень стоило бы остановиться на ней. Но я принужден быть кратким и не могу злоупотреблять вашим терпением и потому вместо того, чтобы говорить о розановском комментарии к «Великому Инквизитору», предложу всем прослушать страницы из гегелевской «Философии религии»<sup>2</sup>. Не пугайтесь — эта одна из тех редких страниц его сочинений, где он говорит не на гегелевском, а на общепонятном, человеческом языке. А вспомнил я о ней потому, что, по моему мнению, она объяснит нам не только Розанова, но и великого инквизитора Достоевского и вместе с тем подведет нас к одной из более трудных и наиболее важных проблем нашего времени. Вот она: «Может быть, что вера в религии начинается с чудесного: но сам Христос говорил против чудес, обличал иудеев, требовавших от Него чудес, и говорил ученикам своим: дух будет вести вас ко всей истине»<sup>3</sup>. Вера, начинающаяся с таких внешних вещей, есть чисто формальная вера и ее место должна занять вера истинная. Если этого не будет, то людям придется предъявить требования верить в такие вещи, в которые они, на известной степени образования, верить уже не могут. Такого рода вера есть вера, имеющая своим содержанием конечное и случайное, т. е. не истинная вера, ибо истинная вера имеет не случайное содержание... Выпили на свадьбе в Кане гости больше или меньше вина, это совершенно безразлично; тоже чистый случай, что излечили кому-либо парализованную руку: миллионы людей ходят с парализованными руками и никто их не излечивает. Или в Ветхом Завете рассказывается, что при выходе из Египта на дверях еврейских домов были сделаны красные знаки, дабы Ангел Господен мог распознать их: будто бы Ангел и без этих знаков не мог распознать евреев? Такая вера не имеет никакого интереса для духа. Злейшие насмешки Вольтера направлены против такой веры. Он говорит, между прочим, что

лучше бы Бог поучил евреев о бессмертности души, чем учить их aller à la selle \* (Второз. 23, 13–15). Отхожие места составляют, таким образом, содержание веры». Так говорит Гегель, но так думает не Гегель, так думают «на известной степени образования» все люди, или, лучше сказать, почти все люди. Для них Кана Галилейская — предмет ужаса и отвращения, так же как и излечение паралитиков и воскрешение Лазаря. «Чудо, — продолжает Гегель, — есть только насилие над естественными связями явлений и потому насилие над духом». Тут, конечно, дозволительно усомниться в законности гегелевского «потому». Насилие над естественными связями явлений само по себе, а дух сам по себе. Иное дело сказать, что почти все люди на известной степени образования не могут верить, что кому бы то ни было, даже самому Богу, дано разрывать то, что мы привыкли называть естественными связями явлений. Но и то, только «почти» все люди. Паскаль, например, хотя и находился на той степени образования, о которой идет речь у Гегеля, не побоялся провозгласить: Бог Авраама, Исаака и Иакова — а не Бог философов<sup>4</sup>, и «верил» в такого Бога, который и смеет и может разрывать естественные связи явлений, превращать воду в вино, излечивать паралитиков, воскрешать мертвых. Наверное, Паскаль не испугался бы злейших сарказмов Вольтера и не согласился бы никоим образом с Гегелем, что чудо есть насилие над духом. Наоборот, он чувствовал всей душой, что невозможность разорвать естественную связь явлений, если бы ее удалось окончательно и навсегда установить, была бы насилием и величайшим насилием над духом. Но — то Паскаль, а Паскалей на земле не много. И Достоевский так же думал, как Паскаль — у нас еще будет речь впереди, — но и Достоевских нужно на земле днем с фонарем искать. Подавляющее же большинство «образованных людей» думают так, как Гегель. Для них «естественная связь явлений» — предел и человеческой, и божеской возможности. Оттого откровенный и честный Эпиктет<sup>5</sup>, которого чтит Паскаль, и утверждал, что начало философии есть сознание своей слабости и бессилия пред необходимостью. Гегель в качестве человека, поднявшегося на известную ступень образования, думал так же, как Эпиктет. Но в своей слабости и в своем бессилии он признаваться не хотел. Он предпочитал *ria fraus* \*\* или то, что ему казалось благочестивым обманом — сарказмы Вольтера представлялись ему неотразимым аргументом, так же как

---

\* испражняться (франц.).

\*\* благочестивый обман (лат.).

и власть необходимости — последней, высшей властью на земле. Соответственно этому и Бог Авраама, Исаака и Иакова, которому повинуются и ветры и море, представлялся ему нелепой выдумкой, от которой нужно было прежде всего очистить христианство, или, как он говорит, вера в Бога, творящего чудеса, не представляет никакого интереса для духа. Гегель в одном был, повторяю, безусловно прав: образованные люди в библейского Бога не могут верить и не хотят. Но он в такой же мере заблуждался, утверждая, что христианство, что религия останется религией, если на место Бога Авраама, Исаака и Иакова поставить ту религию «духа», которую он предлагал. Можно, конечно, отречься от живого Бога, образованные люди во всех странах до Гегеля и без Гегеля от Бога отреклись, но, и говоря о Кане Галилейской, не могут не вспомнить злейших насмешек Вольтера, его *aller à la... etc.* Но христианство без Бога уже не есть христианство: этого Гегель не умел и не хотел понять. Но Розанов, когда ему «открылось, что христианский Бог так же слаб и немогуч перед лицом Необходимости, как Эпиктет или любой из смертных», уже не мог быть больше христианином. То «поклонение в духе и истине», которое оставил на долю «образованных» людей Гегель, Гегель предлагал, ссылаясь на Священное Писание, и уверял, что *super hanc petram\**, без всякого Бога религия будет много лучше держаться, чем на Боге. Уже Достоевского гегелевский Бог, т. е. тот единственный Бог, который приемлем для образованного человека, приводил в бешенство. Все его творчество, как он сам неоднократно, от своего собственного имени и через героев своих многочисленных романов, не раз возвещал, имело своим источником ужас перед тем, что Бог «образованных людей» должен занять место Бога Св. Писания. Розанов был тоже «образованным человеком». Он, как все мы, прошел через гимназию, университет, был потом сам преподавателем истории в гимназии. Ему даже принадлежит огромное сочинение на чисто философскую тему о «понимании», которого, впрочем, никто никогда не читал, т. к. оно к тому времени, когда Розанов приобрел известность в России, стало библиографической редкостью. И, как образованный человек, был тоже глубоко убежден, что — хочешь, не хочешь — нужно лезть *super hanc petram*, которого так красноречиво описывал Гегель. Но когда он влез на гегелевский камень — зрелище, которое ему открылось, потрясло все его существо. Он, как до него Ницше, почувствовал, что Бог «умер», но, правда, — и этим он отлича-

---

\* на этом камне (*лат.*).

ется и от Ницше, которого он знал, вероятно, поверхностно, по плохим русским переводам, и от Достоевского, на котором он вырос и духовно сформировался, — он не заметил или не догадался, что это «мы сами» убили Бога, он уверовал, что Бог умер «естественной смертью» или, того больше, что естественное состояние Бога — это смерть. Шлёцер<sup>6\*</sup> в своей статье приводит замечательные слова Розанова, которые стоят того, чтобы их повторить еще раз: «Бог в гробу — какая ужасная тайна. Бог глядит на человека из своего гроба. Глаза верующих христиан блещут бесконечной радостью, в их взорах есть что-то небесное, последнее, светлое, что-то, что вам почти мешает дышать. На самом деле, это просто — гроб». И точно, Розанов прав: Гегель ведь считал себя христианином и Гегель был выразителем того, что он называл «духом времени» — а что такое значат приведенные выше слова его, как не «Бог в гробу», который не смеет разорвать естественную связь явлений, созданную не им и не для него, Бог, который не может даже обратить воду в вино — разве это не есть мертвый Бог, Бог в гробу, Бог, который либо уже умер, либо никогда не жил. «Естественная связь явлений» была для Розанова пределом, за который никогда не перелетала его мысль, той стеной, которую, по его глубокому убеждению, не дано пробить никакой человеческой силе. И в этом отношении он был правоверным гегелевцем, как и все мы, те, которые изучали Гегеля, и те, которые ни читали ни одной строчки его книг. Но в то время, как Гегель пред этой стеной преклонился и принял ее не только как неизбежное, но как нечто высшее и желанное, несущее последнее, окончательное успокоение человеку и потому вполне заменяющее абсолютную религию, или, как он говорил, выражающее собой духовный смысл христианства, Розанов такого христианства никогда не принимал, принять не мог и не хотел. Если в мире нет Того, про которого написано: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых», то Библия есть одна сплошная выдумка и ложь, и христианство не абсолютная религия, а отвратительное наваждение, от которого чем скорее проснешься, тем лучше. Надо выбирать: либо забыть христианство, либо осмелиться бороться с «гегелевской стеной», «естественной связью явлений». Розанов не мог решиться окончательно на первое, но никогда тоже не имел достаточно дерзновения, чтобы начать, по примеру Достоевского, открытую и явно безнадежную борьбу с

\* B. de Schloezer, «V. Rozanov», *La Nouvelle Revue Française*, N° 194, Paris, 1.11.1929.

теми «началами», которые обнажились пред человечеством как результат тысячелетней борьбы его самой напряженной мысли. Как «образованному» человеку верить в Кану Галилейскую, верить в Бога Авраама, Исаака и Иакова, по слову которого создан и мир и в мире живущий живой человек. Гегель «возвысился» — даже до того, считал позорным любить того Бога, которому поклонялись Авраам, Исаак и Иаков: Кана Галилейская ассоциировалась в его представлении с вольтеровским *aller à la...* Розанов не вдохновлялся вольтеровским глумлением над Св. Писанием — но повторяю, перед гегелевской «естественной связью явлений» он безвольно склонялся. И в этом объяснение всех его отчаянных нападков на христианство. Раз стена прежде Бога — всякая религия только дело рук человеческих, стало быть, держится на возмутительном обмане. И учитель Розанова, Достоевский, знал это. Но — и тут открывается нам то, что отделяло Достоевского от Розанова. Когда Достоевский убедился, что между человеком и Богом стоит стена, что «естественная связь явлений» отнимает у человека Бога, он почувствовал, что для него нет иного выхода. Дано ли человеку порвать естественную связь явлений, дано ли человеку пробить стену — он не умел сказать и не мог. Но он знал одно: до конца жизни он будет бороться со стеной, хотя бы пришлось колотиться об нее собственной головой, хотя бы все говорило за то, что с этой стеной справиться нам не дано. Приведу собственные слова Достоевского, которые являются как бы ответом на приведенные мною раньше выписки из гегелевской «Философии религии». Гегель говорит от имени всех — Достоевский от самого себя, Гегель опирается на разум, здравый смысл, историю и действительность, — Достоевскому не на что опереться. Гегель, конечно, одолел в «истории» — его слова все помнят и знают, о словах Достоевского все забыли, даже Розанов о них забыл. И все же, если бы вернуть Достоевского вновь к жизни, он бы не смирился пред своей неудачей и вновь начал бы свою ничего не обещающую борьбу с той «стеной», — так он называл «естественную связь явлений», — которую мы все искренно, вместе с Гегелем, считаем пределом человеческих и божеских возможностей и лицемерно называем великим словом Истина. Надо хоть изредка прислушаться к Достоевскому, раз мы слушаем и слышим Гегеля. «Перед стеной, — пишет он, — непосредственные люди пасуют. Для них стена не отвод, как, например, для нас, не предлог воротиться с дороги. Нет, они пасуют со всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое». И еще раз: «Продолжаю о людях с крепки-

ми нервами... Эти господа, при иных казусах, хотя и ревут, как бык, во все горло, хотя это им, положим, и приносит величайшую честь, но пред невозможностью они тотчас смиряются. Невозможность — значит каменная стена. Какая каменная стена? Ну, конечно, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что ты от обезьяны произошел, так уж нечего морщиться, принимай, как есть... “Помилуйте, — кричат вам, — восставать нельзя, это дважды два — четыре. Природа вас не спрашивает: ей дела нет до ваших желаний, нравятся ли вам ее законы, или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следовательно, и все ее результаты. Стена значит и есть стена и т. д. и т. д. ...” Господи Боже, да какое мне дело до закона природы и арифметики, когда мне почему-то эти законы и дважды два — четыре не нравятся. Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что она каменная стена и у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно потому, что она дважды два четыре. О, нелепость нелепостей. То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены, и не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться»<sup>7</sup>. Думаю, что слова Достоевского не нуждаются ни в комментариях, ни в объяснениях. Думаю тоже, что сам Достоевский тоже хорошо понимал, что со своей самодельной пращей «мерзит» ему не так-то легко выдержать единоборство с Голиафом-Гегелем, с ног до головы вооруженным всеми новейшими изобретениями наук и искусств. И все-таки он пошел и против Гегеля. Другого выхода у него не было: нужно было либо убить Бога, положить Бога в гроб, как сделал Розанов, либо, не загадывая вперед о том, что будет, ничего и ни на что не рассчитывая, начать великую и последнюю борьбу с теми невозможностями и стенами, в которых Гегель и все люди на известной степени образования видят последний источник и истины, и бытия. У Розанова не хватило того безудержного дерзновения, которое вдохновляло Достоевского в его творчестве. Можно ли за это упрекнуть Розанова? Кто из нас посмеет первый в него бросить камень за то, что он не решился отказать от прочности, которую дает общение со всеми, и искал отдохновения и покоя на предложенной ему современной мыслью *super hanc petram*? Розанов любил Бога, Розанов искал Бога, но того горчичного зерна веры, за которое людям обетовано божественное «не будет для вас ничего

невозможного», он в себе не находил и правдиво об этом рассказал. И правдивый рассказ об умершем Боге больше даст людям, чем притворное исповедание ничего не говорящих душе истин. Недаром Лютер сказал: иной раз проклятия и богохульство слаще звучат в ушах Господа, чем самые торжественные аллилуйя. И нужно думать, что Розанов не ошибался, применяя к себе слова старика Карамазова. Хоть он и отрекался от Бога, хоть он и говорил страшные слова, но за эти слова и за эти отречения Бог, которому открыты бездны и тайны человеческой души, любил его.







## К. В. МОЧУЛЬСКИЙ

### Заметки о Розанове

Недавно в Париже было переиздано «Уединенное»<sup>1</sup>. Значительность Розанова растет для нас с каждым годом. При жизни его мало замечали. Когда заметили, принялись яростно «хулить». Он достиг известности — но какой! «Юродивый», «кликуша», «безответственный», «непристойный» писатель, да и писатель ли? Не то богослов, не то фельетонист, публицист, цинично раскрывающий все сокровенное, философ, не создавший никакого учения, интимничающий о Боге, половом вопросе и обрезании. Корректный критик издали посматривал на «розановщину», как на свалку какого-то разнокалиберного сырья, и опускал руки перед невозможностью сведения его к «единству». А так как критика только и умеет делать, что «сводить к единству», — то Розанов и остался в заштатных писателях. Ведь если в понятии «литература» есть какое-нибудь содержание, то писания Розанова должны быть «отреченными». И в пример приводился Толстой: если Толстой — литература, то Розанов — не литература. Теперь это разделение кажется нам нелепым, — но все же к нему стоит приглядеться. В нем есть осколок правды о Розанове.

Ненависть к литературе прирождена этому профессиональному литератору. Процесс писания — сама его жизнь; он записывает везде: на улице, в вагоне, в редакции, на извозчике, в уборной, в постели ночью; он пишет на всем: на клочке бумаги, на обороте транспаранта, на конверте полученного письма, на подошве туфли, и эта обреченность на вечное, непрерывное высказывание, «выговаривание», «выражение» для него сладостна до приторности, до отвращения. Он терзается своим безволием, перед непреодолимой потребностью все вынести на показ, на площадь... «А ведь по существу-то — Боже! Боже! — в душе моей вечно стоял монастырь. Неужели же мне нужна была площадь? Брррр...» Grimаса безгливости, стон тошноты, вопль, что вот,

не могу иначе. И самое противное, что в отвратности этой — густая сладость, от которой захлебываешься, содрогаешься и оторваться не можешь. «В сущности, вполне метафизично: «самое интимное отдаю всем»... Черт знает, что такое: можно и убить от негодования, а можно... и бесконечно задуматься».

Помните, в поразительном его рассказе о еврейской микве — и «неприлично» и свято<sup>2</sup>. Значит, неприличное и святое может совмещаться! Для Розанова это открытие величайшее. Снизолет свет и все озарил. И, быть может, никогда он не прикасался так «интимно» к чуду. На этом слиянии противоречий открывается для него его особый, единственный путь. Подчеркнуть противоположности, довести их до самого резкого выражения: сделать один конец черным до полного мрака, до ада, а другой обелить райскими лучами — и потом вдруг одним словом перекинуть мост через эту пропасть и поставить знак равенства, назло логике и здравому смыслу. В том предприятии, как обычно у Розанова, предельная искренность и обнаженность сплетаются с озорством и мистификацией. И говорится так:

«Действительно в существо актера, писателя, адвоката входит психология проститутки, то есть этого равнодушия ко всем и ласковости со всеми».

Это — «черный конец»: «мое дело, дело всей моей жизни — проституция». Он пишет не потому, чтобы был смысл, была цель, а при полном равнодушии к людям, повинувшись простому инстинкту: «Всякое движение души у меня сопровождается выговариванием. И всякое выговаривание я хочу непременно записать». Да, понятно: если литература есть некая *religio*, — связь пишущего и воспринимающего, если без обращенности к другому — литературы быть не может, то Розанов — не литература. «Зачем? Кому нужно? Просто — мне нужно. Ах, добрый читатель, я уже давно пишу “без читателя” — просто потому, что нравится». Вот какой оказывается эта «интимная беседа». Ни с кем, «ни для кому». И никого вообще нет. «Мир, как мое представление». Розанов из Шопенгауэра прочел только первую страницу, но эту фразу запомнил твердо.

Литература — не монолог и не исповедь в пустыне, — представляется Розанову величайшей ложью и лицемерием. В «Уединенном» все его мысли пронизаны этой упорной враждой:

«И литература сделалась мне противна».

«Русская литература — все это есть производная от студенческой курилки и от тощей кровати проститутки».

«Литература вся празднословие... почти вся...»

«Мне более и более кажется, что все литераторы суть “Бранделясы”». «Литература есть самый отвратительный вид торга».

А между тем Розанов до конца — до последней интимной подробности быта и туалета — растворен в литературе. Каждое движение, каждый вздох, каждая мысль — непреодолимо выговариваются. Это — тупик, в котором он «с упоением» задыхается. И тут же — опять литература! — подлинное отвращение к писательству превращается в литературный прием. Обличение привычных и приевшихся нам форм — само становится новой «действенной» формой. Так романтики изобличали лживость классицизма во имя своей новой правды. Эта правда была, конечно, чистейшей фикцией, чем же «Эрнани»<sup>3</sup> правдивее «Сида»? Но в литературе из двух условностей правдивой кажется та, которая действует. Так у Розанова: вовсе не сокрушается литература, а просто один жанр вытесняется другим. То, что раньше прозябало на задворках, выступило в первые ряды. А неряшливость, распушенность, «домашность» и интимность его стиля совсем не потому, что писано для себя и «ни для кому»: все эти «приемы» эффектно контрастируют с приглаженностью, официальной народностью и «общественностью» нашей признанной литературы. Розанов выходит на улицу в халате и без воротничка; юродство? едва ли: просто всем до смерти надоели воротнички и пиджаки.

Но это — только одна сторона дела — техническая. Новый прием должен быть оправдан и психологически. Мало ли озорничали футуристы в своих желтых кофтах? Из их скандальничанья никакого нового жанра не получилось.

Как же мотивируется у Розанова разрыв со старыми «салонными» и благопристойными жанрами и введение нового жанра, до цинизма субъективного и интимного? (Кухня, детская, спальня.) Сопоставим несколько его признаний:

«Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываюсь “В. Розанов”... Такая неестественно отвратительная фамилия мне дана в дополнение к мизерабельному виду... В душе я думал: нет, это кончено. Женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего».

Проведя всю свою жизнь на людях, «на площади», в суете редакций и журнальной полемики, юркий, «в припрыжечку», запыхавшийся, с коленцем и ужимкой — Розанов был до того одинок и душевно бездомен, что по сравнению с его «беспочвенностью» — одиночество, например, Толстого, кажется просто

красивой фразой. И недаром он, невольно думая о своей судьбе, постоянно возвращается к Толстому. Тот — «великий писатель», учитель, проповедник — у него поклонники, ученики: литературная школа и религиозная секта, — а у Розанова — ничего. Толстой — лицом к человечеству, он чего-то «представитель» и «выразитель»: его голос рассчитан на аудиторию, — он говорит об общем, для всех. Розанов — спиной к людям; у себя в углу «чай пьет», бормочет шепотком для себя, только для себя — и все о своем личном, самом интимном, и никому это не нужно и не понятно — да и нет ничего. «Я не нужен; ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен».

Религиозный опыт Толстого «поучителен», ибо представлен в самой общей форме: все индивидуальное в нем устранено, остался человек с большой буквы и совесть в элементарном смысле. А Розанов бунтует, плачет, примиряется и опять восстает против своего Бога, совсем один; а потому Розанов о Толстом: «Он прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь... Никакого страдания, никакого “тернового венца”. Полная пошлость».

И о себе: «Точно я иностранец — во всяком месте, во всяком часе, где бы я ни был, когда бы я ни был. Все мне чуждо, и какой-то странной, на роду написанной отчужденностью». «Странник, вечный странник и везде только странник». Он до того — тень, до того лишен «земности» (его слова: «зерно», «икра»), воли к жизни; он так «слаб», «бессилен», «изнеможен», что ему необходимо каждый час и каждую минуту «доказывать» себе, что он «есть». Его манера все мысли «выговаривать» и все движения записывать — не эгоцентризм и самовлюбленность, а непрестанная отчаянная борьба со смертью. Нащупывать, осознать: вот моя рука, моя нога — вот мое тело: да, это — я, я — жив. Я — не один дух. «Да просто я не имею формы (“causa formalis” Аристотеля). Какой-то “комком” или “мочалка”... Я наименее рожденный человек, как бы еще лежу (комком) в утробе матери». Эта бесформенность, туманность оттого, что он «весь — дух, и весь субъект: субъективное действительно развито во мне бесконечно». Быть чистым сознанием и стремиться к воплощению; лежать «комком» и томиться по плотному, живому, действительному миру; и наконец — быть обращенным только к себе, без надежд выйти «внаружу», прорасти в землю — и мечтать о корнях, о эротических, физиологических истоках жизни. «Рок, судьба». Оторванность влечет Розанова к страстной жажде человеческой связанности, слиянности, соединенности. Любовьность, «взаимное милование, ласкание» — отсюда — пафос семьи, брака, рода; библейское любострастие и чадолюбие. Корень, самый корень мира — физиология, пол, деторождение. И тут для него

нет грани между «неприличным» и святым. «Связь пола с Богом — большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом, — выступает из того, что все а-сексуалисты обнаруживают себя а-теистами». И это — второе озарение Розанова: отсюда его главные темы, не покидающие его до дня смерти: христианство и юдаизм. Кровно связанный с православием («Около церковных стен») и, как тип сознания, невысказанный вне христианства, Розанов, веруя и терзаясь, жестоко борется с Христом (начиная с «Темного Лица» и «Людей лунного света» и вплоть до «Апокалипсиса нашего времени»). «Грех» христианства, «безлюбного и бесполого», покрывшего своей страшной аскетической тенью все зачатья и роды земли, его личный грех. Он сам, Розанов — «весь дух», обремененный сознанием вины, изгнанный из безгрешного Эдема. Вторая тема — юдаизм — великий соблазн, мука-ненависть и любовь — одновременно. «Любящий» Отец — бог Израиля — противопоставлен «безлюбому» Сыну, «благоуханная», земная «Песнь Песней» — сухим, моральным притчам Евангелия. И вот мы подходим к противоположному концу: мы начали с «юродства», с бормотания вслух, с литературы, как торга и протитуции — таков «черный конец». А «белый»:

«Каждая моя строка есть священное писание (не в школьном, не в «употребительном» смысле) и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть — священное слово».

И он понимает: все его писательство от чувства «греха», а это чувство — от Бога. В восстании, во вражде, в борьбе с Богом, он, как Иаков — все теснее и теснее сжимает Его в своих объятиях.

«Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего “я”, от славы или известности — слишком мог бы; от счастья, от благополучия — не знаю. Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое “теплое” для меня».

И конец — Сергиев Посад, примиренная и светлая христианская кончина:

«В конце концов Бог — моя жизнь».

«Я только живу для Него, через Него. Вне Бога — меня нет».

Владимир Соловьев думал о Боге, Толстой учил, Розанов «жил в Боге». И, дойдя до «самого тайного», остановимся и вспомним его просьбу.

«Если кто будет любить меня после смерти, пусть об этом промолчит».





## Г. П. ФЕДОТОВ

### В. Розанов. «Опавшие листья»

«Глубокое недоумение, как же “меня” издавать? Если “все сочинения...”, кто же будет читать?.. А если избранное и лучшее..., то неудобное в том, что некоторые *острые стрелы* (завершения, пика) *всего моего мирозерцания* выразились просто в *примечании* к чужой статье» («Опавшие листья», с. 375).

Перед этой трудностью стоит всякий издатель Розанова, особенно современный. Выбрав «Опавшие листья», как первый сноп розановской жатвы, издательство «Russica» удачно приступило к решению задачи<sup>1</sup>. Эта книга — настоящая энциклопедия Розанова, малый карманный Розанов. Все темы, волнующие его, вошли в эту книгу. Не в капризном соседстве случайных записей, как могло бы показаться с первого взгляда, а в той внутренней необходимой связи, которая дается единством жизни. Нетрудно обнаружить, что самые поверхностные высказывания Розанова — о политике, журналистике, например, — связаны с самыми глубокими корнями его бытия. За видимым хаосом, разорванностью, противоречивостью, приоткрывается тихая глубина. «Опавшие листья», быть может, не самое острое, но самое зрелое из всего, что написал Розанов — осенняя жатва его жизни, уже тронутый дыханием смерти. В предчувствии гибели, но все еще оторчески влюбленный в жизнь, в мельчайшие ее явления, Розанов достигает предельной, метафизической зоркости. И как удивительно — для многих неожиданно, — что эта розановская зоркость окутывается зоркостью любви.

Ищешь, по привычке, к чему можно было бы прицепить ярлык цинизма, и не находишь. Эта книга исполнена нежности и печали. Конечно, человек религиозный, как и человек политический, вообще человек убеждений будет ранен многим. Но как поднимется рука судить того, кто сам так беспощадно казнит себя? Кто стоит перед Богом и перед миром с содранной им кожей, чтобы больше было жить?

Противоречия Розанова? Они на каждой странице. Но в них нет уже ничего от игры, от резвости ума, дерзости иррационализма. Он просто слишком ясно видит обе стороны медали, говоря языком его любимой нумизматики. Он часто видит их одновременно, и не имеет ни силы, ни желания преодолеть их актом воли. В выборе для него, вероятно, всегда есть что-то насильственное, бесчеловечное. Не только вечные розановские темы — христианство, еврейство — все время выворачиваются наизнанку. О самых чуждых, презренных для него вещах Розанов, в этот час осенней справедливости, готов найти порой трогательные и примиряющие слова. Удивительно читать в этой книге апологию низких истин: морали, ума, западничества, либерализма, даже русской журналистики. И еще удивительнее, что в апологии соблюдена мера. Розанов точно знает, что он может простить и принять в чуждом ему порядке бытия. Категория меры, столь ему несродная, торжествует, как найденное равновесие сердца, как возможный предел благословения жизни.

Любовь и смерть есть подлинная тема «Опавших листьев», начало и конец книги, которая за множественностью тем имеет одну основную, биографическую: умирание любимой, той, кого Розанов называет «другом». Течение болезни, жестокая обыденность медицины, приближение конца, отмеченное этапами разложения — сообщают жестокую правдивость жизни самым отвлеченным страницам. Ибо мы знаем: о чем бы ни была мысль Розанова, она питается из источников любви и смерти.

Разумеется, можно сказать: всякая большая мысль о человеке — всегда о любви и смерти. Все дело в том, что такое смерть и что такое любовь для Розанова. «Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь», повторяет он. Как древний еврей, он плохо верит в бессмертие. Да, «бессмертие души» его несколько не утешает — его, который хочет «на тот свет прийти с носовым платком. Ни чуточку меньше». Страшно умирание тела, вещей, нежно любимых, «до дырочки в сапоге». Лишь через любовь к конкретной личности он ощущает бессмертие, но никакая религия не может гарантировать ему носового платка в вечности. Он мучается временностью человека, категорией времени, но не хочет отказаться ни от чего, что во времени, ибо сюда он излил всю свою любовь без остатка. Отсюда безвыходность его трагедии.

Его любовь раздваивается, как эрос и жалость, оставаясь единой. И это единство — самое важное в завещании Розанова. Быть может, магнитные бури пола уже потеряли свою напряженность к осенним дням. Но несомненно, что в розановском восприятии пола отсутствует все жестокое, несмотря на его увлечение си-



рийскими и фаллическими культами. Самые интимные признания в «Опавших листьях» об этом свидетельствуют. Лишь чадородие, то есть материнство, т. е. жалостная, кормящая любовь, его вдохновляет. Это и библейское и, притом, женское понимание любви делает Розанова единственным в сфере нашей язычески-христианской культуры.

Его любовь к телу оказывается любовью к «душе тела». А дух — лишь «запахом тела». — «Будем целовать друг друга, пока текут дни. Слишком быстротечны они — будем целовать друг друга». О чем это? Об Эросе? Но под страницей заметка о смерти доктора Наука.

Любовь для Розанова — жалость и боль о человеке. Не восхищенное созерцание (платонизм), а отогревание в невыносимом холоде жизни. «Больше любви, больше любви, дайте любви. Я задыхаюсь в холоде. У, как везде холодно». Вот почему нет святее имени матери («мамочкой» зовет он своего «друга»). «Звезды жалеют ли? Мать — жалеет: и да будет она выше звезд». Только с болью о человеке Розанов может мыслить и Бога, тревожно вопрошая об этом: «Болят ли Бог о нас? Есть ли у Бога вообще боль?» Лишь погружаясь в жалость, Розанов встречается со Христом. Все еще отвращаясь от Евангелия (как аскезы) он ставит вопрос о смысле Христовой жертвы. Не Искупителя, не Победителя смерти, а страдальца и, притом, побежденного готов принять Розанов. «Если так: и Он пришел *утешить* в страдании, которого обойти невозможно, победить невозможно, и прежде всего, в этом ужасном страдании смерти и ее приближениях, тогда все объясняется. Тогда Осанна! Но *так* ли это? Не знаю».

Погруженный в эту религию жалости, Розанов отменяет все заповеди, кроме одной: любовь к человеку — «остальных можешь не исполнять». Отсюда страницы, посвященные друзьям — пронзительной нежности. Нельзя, однако, не почувствовать, как тонет в этой жалостной стихии чувство личности. О самой любимой, о «друге» Розанов не умеет сказать почти ничего конкретного. Она остается для нас бледной тенью Женщины, Русской женщины, Матери, Христианки — мы не видим ее живого лица. Одна и та же бескачественная любовь разливается в мире.

Слабо чувствуя личность, Розанов начисто отрицает царство идей. Идеи доступны ему лишь в теплых, очеловеченных густках быта. Переводя с платоновского языка на христианский, придется сказать, что в Библии Розанова нет места ангелам.

Вот почему с такой легкостью совершается в Розанове разложение социального сознания, и притом двойного: консерватив-

но-церковного и радикально-позитивистского. Вся изумительная вспышка розановского гения питается горячими газами, выделяющимися в разложении старой России. Думая о Розанове, невольно вспоминаешь распад атома, освобождающий огромное количество энергии. От «Понимания» к «Опавшим листьям»: не случайно, что вершины своего гения Розанов достигает в максимальной разорванности, распаде «умного» сознания. Розанов одновременно и рождается сам в смерти старой России, и могущественно ускоряет ее гибель. Иной раз кажется, что одного «Уединенного» было бы достаточно, чтобы взорвать Россию.

Но если Розанов, убийца идей, выполнял провиденциальную функцию разрушителя империи, то в нем же умирающая Россия находит своего плакальщика. Плач о России, предчувствие ее гибели — одна из самых жгучих тем «Опавших листьев». Здесь Розанов возвышается до жутких пророчеств: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы должны ее любить именно, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно, когда наша “мать” пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, мы и не должны отходить от нее. Но это еще не последнее: когда она наконец умрет и будет являть одни кости — тот будет “русский”, кто будет плакать около этого остова, никому не нужного, и всеми плюнутого. Так да будет...»<sup>2</sup>





## Прот. Г. ФЛОРОВСКИЙ

### В. В. Розанов

<...> Еще резче и острее этот *религиозно-натуралистический соблазн* сказался в творчестве и мировоззрении В. В. Розанова (1856—1919). Это был писатель с большим религиозным темпераментом, но человек религиозно слепой. Не слепой к религии, но слепой в религии. Человек религиозной страсти, не мысли, даже не веры. И в нем больше поражает его жуткое нечувствие, чем его прозрения; самый факт, что он *смог не увидеть* самого очевидного... Розанов каким-то жутким образом так и не увидел христианства, так и не услышал благовестия. Он слышал только то, что хотел, что соглашался слушать. И все сейчас же толковал по-своему. Сам Розанов отмечал у себя с детства «поглощенность воображением». И все для него только повод. В нем не было органической цельности. Розанов весь в хаосе, в минутах, в переживаниях, в проблесках. Все его книги точно дневник. Ему всего свойственнее было писать именно афоризмами, короткими фразами, отрывочками, обломками. Редко ему удаются большие картины. У него какое-то разложенное и разлагающее сознание, — разлагающее потому, что придирчивое, раздергивающее по черточкам, по мелочам. И сразу же навертываются какие-то раздражительные ассоциации, больше по смежности. «Я никогда не владел своим вниманием... Но меня поражало что-нибудь, мысль или предмет». За этим скрывается изъян логической воли, у Розанова нет ни чувства ответственности за свои мысли, ни желания за них отвечать, он одержим своими мыслями, ими не владеет. Это предел субъективизма, романтической прихотливости. Сюда присоединяется в последних книгах его навязчивая интимность, ненужная, а потому переходящая в манерность и развязность. Мировоззрение Розанова слагалось в опыте личных огорчений и обид. Очень разные идейные веяния отпечатались на нем, начиная гегелианством ранних лет (в его

книге «О понимании», 1886). Затем Розанов прошел через чтение Достоевского (и Гоголя), и отчасти усвоил идеологию почвенничества. Но только отчасти. Сильнее было влияние Леонтьева, о котором Розанов еще при его жизни написал очень пронизательную статью<sup>1</sup>. В ней уже можно распознать типические пути мысли и темы позднейшего Розанова. Характерно, прежде всего, это «эстетическое понимание истории» (так называется первая из статей, 1892). Все мерила снимаются ради эстетического. Эти мотивы романтического натурализма всегда сильны у Розанова, а ведь в романтический натурализм уже включен интерес к этим стихийным культам древнего Востока, которые завлекали Розанова. Но к этому неожиданно присоединяется мотив крайнего сентиментализма, какого-то обывательского умиления. «Христианство вышло все из народных вздохов, из народного умиления к Богу». Бог есть «центр мирового умиления». И этот острый психологизм, разлагающий самую реальность религиозного опыта, совсем не случаен для Розанова. «Так что же Он такое для меня? Моя вечная грусть и моя радость. Особенная, ни к чему не относящаяся...» Последние главы Евангелия кажутся ему не реальными, не убедительными, ибо они уводят по ту сторону. В такой психологической перспективе, конечно, христианское благовестие не звучит... Совсем неверно называть религию Розанова религией Вифлеема. Ибо действительное таинство Вифлеема не есть пастораль или семейное умиление, как то выходило у Розанова, но огненная тайна Боговоплощения. Не столько радость человеческого рождения, но слава Божественного нисхождения. Слово плоть бысть! И вот это Розанов никогда не понимал. Он не понимал и Вифлеема, он не принимал и тайны Богочеловечества вообще, ни умом, ни сердцем. Отсюда именно понятна и его враждебность, его бунт против Креста. «Христианство есть культура похорон...» Поэтому он вовсе остается вне христианства и обличает его извне, как внешний... Натурализм Розанова никак нельзя называть «христианским», да и может ли быть христианский натурализм? Розанов приемлет мир, как он дан, не потому ведь, что он уже спасен, но потому, что он и не нуждается собственно в спасении, — ибо самое бытие добро зело, вот это «сырое вещество земли». И именно этот *не* преобразованный мир так Розанову дорог, что ради него он отвергает Иисуса. Ибо во сладости Иисусовой прогорк мир... В христианстве невозможна *языческая радость*, невозможна уже стихийная жизнь, — вот почему Розанов считает христианство умерщвляющим, и договаривается до «Темного Лица»... Именно слепота поражает в Розанове всегда, — и в его реферате об

«а-догматизме христианства» в религиозно-философских собраниях (1902)<sup>2</sup>, и в его позднейшем докладе «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» (1907), и в его книге «Темный Лик» (1911). После этой книги Розанов как будто стал о чем-то догадываться (в связи с неизбежностью смерти), но еще не видеть. Однако и в предсмертных выпусках своего «Апокалипсиса нашего времени» он оставался в прежней враждебности и называл христианство нигилизмом, потому что Христос «не взял» той царственной власти, что была предложена ему в пустыне искушений. Впрочем, умер Розанов, как член Церкви...

У Розанова было несомненное чувство быта, мелкого быта, мелочей быта. Бердяев метко называл его «гениальным обывателем». Но это было упадочное чувство быта, не простая бытовая жизнь, а именно любованье бытом, снова от духовной безбытности. И ясновидение плоти и пола, которым Розанов был несомненно одарен, было у него болезненным и нездоровым. Ибо он не был способен увидеть цельного и целостного человека. Человек как-то сразу распадался для него на дух и плоть, и только плоть и обладала для него онтологической убедительностью. «Карамазовщину мы переименуем в святую землю, в священный корень бытия...» Из Нового Завета Розанов отступает в Ветхий, но и Ветхий Завет он понимает по-своему, избирательно, прихотливо. Он находит в Библии только сказания о родах и рождениях, только песнь страсти и любви. Он читает и эту ветхозаветную книгу не библейскими глазами, а глазами скорее восточного язычника, служителя какого-нибудь оргиастического культа. Розанов религиозно противится христианству, его антихристианство есть только иная религия, и он религиозно отступает в до-христианские культы, возвращается к почитанию стихий и стихий, к религии рождающих сил. И то, что в ветхозаветном Откровении было действительно основным и главным, для Розанова так же не звучит, как и Евангелие. Он понимает жертвы кровавые, «кровь есть мистицизм и факт». Но «жертва Богу дух сокрушен»<sup>3</sup> он уже не понимает, и плачется, что «факт» подменяют понятием! И напрасно он плачется, что «бытие догматов угасило возможность пророчества». Ибо пророчества сами не звучат для него... Розанов есть психологическая загадка, очень соблазнительная и страшная. Человек, загнипнотизированный плотью, потерявший себя в родовых переживаниях и пожеланиях... И оказывается, в этой загадке есть что-то типическое... Розанов производил впечатление, увлекал и завлекал. Но положительных мыслей у него не было...

Розанов принадлежал к старшему поколению, в 90-х годах писал в «Русском вестнике», потом в Петербурге примкнул к кружку поздних славянофилов: Н. П. Аксакова, С. Ф. Шарапова, Аф. Васильева, Н. Н. Страхова<sup>4</sup>. С «символистами» он сблизился очень поздно, уже в начале нового века<sup>5</sup>. Но с ними сразу нашел общие темы. То была прежде всего тема о плоти, снова la *rehabilitation de la chair*, и спор против аскетизма...





**Ю. ИВАСК**

## **Розанов и о. Павел Флоренский**

В этом году исполнилась сотая годовщина со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856–1919) и, может быть, десятая со дня кончины отца Павла Флоренского (1882–1946?)<sup>1</sup>. Оба они были друзьями. Эта дружба установилась не по «зако-ну ли противоположностей» (которые будто бы сходятся? Действительно, трудно найти более разительный контраст! Розанов — «гениальный вопрошатель христианства» (Мережков-ский<sup>2</sup>), полный тоски по Ветхому Завету, искавший и находив-ший религию «святой плоти», «святого пола» у древних евреев и древних египтян; о. П. Флоренский — у которого якобы «от-сутствовала христология» (по Бердяеву<sup>3</sup>, о. Г. Флоровскому<sup>4</sup>) — был одержим образом грядущего завета Св. Духа и образом Софии (но иначе, чем Вл. Соловьев, о. С. Булгаков и другие богословы и поэты раннего XX-го века). Розанов — беспокой-ный иудей по натуре, «плотяной» и «душевный» человек; о. П. Флоренский — спокойный эллин, «духовный» человек. Семейному Розанову хотелось уподобиться библейским патриар-хам, а о. П. Флоренский — это новый гностик, новый Ориген<sup>5</sup> (хотя идеологически он его и осуждал). Розанов — журналист, мало что толком знавший: египтолог без солидной подготовки, нумизмат, покупавший фальшивые монеты, а о. П. Флорен-ский — замечательный ученый, философ, филолог, математик, физик, даже изобретатель (персонифицированный университет и политехникум!). Розанов — гениальный художник слова; а Флоренский — вычурный стилист, импонирующий немногим. Казалось бы — они противоположны во всем. Но оба (каждый по-своему) отталкивались от Нового Завета; и оба они были «неисправимыми мечтателями»: и интимно-болтливый автор «Уединенного» (1911 г.) и «Опавших листьев» (1913–1915 гг.), и странно молчаливый автор каменного «Столпа и утвержде-ния истины» (1914 г.).



У Розанова, при всей его нарочитой разбросанности, несомненно, есть своя система — и религиозная, и философская, а о. П. Флоренский — своего рода «урожденный» систематик; но оба они «начинаются с мечты»; и, может быть, именно поэтому они так близко сошлись. Идеология их разделяла, но мечты — сближали.

Некоторые наиболее пристальные наблюдатели, например, Зинаида Гиппиус, видели в Розанове Задумчивого Странника; пусть ему самому очень хотелось воплотиться в патриархально-го Авраама-Исаака-Иакова, но на самом деле, даже в семейном кругу, он оставался одиночкой, неврастеником-романтиком декаданса; он обожал свою болящую жену, Друга, но и субъектом и объектом его песни песней был все тот же Василий Васильевич — отнюдь не патриарх, а нарцисс. Все его самые заветные слова всегда о самом себе: «Мой Бог — особенный. Это только мой Бог; и еще ничей». Или же — он «беспробудно» мечтает: то ему хочется «унежить» все человечество, или же вспорхнуть душой-бабочкой в солнечном египетском раю. Здесь Розанов — гениален: он великий мастер русской прозы, передающий в своих писаниях все интонации живой разумной речи (что до него удавалось передать одному лишь Аввакуму<sup>6</sup>). Это не только мастерство. Есть особый высший смысл в розановских писаниях.

Вот уже больше четверти века я постоянно читаю Розанова и со-мечтаю с ним (без этого со-мечтания он едва ли может приоткрыться). Его религия пола и плоти сомнительна и поверхностна. Есть разложение, гнильца в его творчестве (он сам это признавал); и даже со-мечтательная беседа с ним «набивает оскомину»; очень уж часто он юродствует, хитрит — даже в моменты экстаза. Но есть и другое: был у этого нарцисса великий дар лирического восхищения жизнью, и это лирическое восхищение, пусть и капризно-индивидуалистическое, имеет свою онтологию, свою метафизику. Кто знает, — в Новом Иерусалиме, сходящем с небес, не преобразится ли все то, что было поистине прекрасного в мире, например, пирамиды и Акрополь, Айя-София и Нотр-Дам? Но, может быть, в нем преобразятся и «найдут себе место» те восхитительные мелочи жизни, которые Розанов так любил и так хотел (бессознательно) спасти, например, тот «томительно-свистящий вентилятор», которые напомним Василию Васильевичу о вечности, или свежий огурец и папироска, летом, «после купанья»... Никто во всей мировой литературе не расширял так границы вещественной эстетики, как Розанов, и, может быть, ни один из вариантов бессмертного псалма «всякое дыхание да хвалит Господа»<sup>7</sup> не звучал так трепетно-интимно... Если прислушаться к гениальной болтовне Розанова, к его неповторимо-

му голосу, то в мелодии его речи можно расслышать гимн Творцу... Пусть он был «слеп в религии» (о. Г. Флоровский<sup>8</sup>), пусть был он даже и полу-атеистом (хотя больше сорока лет писал «на религиозные темы»); в нем, как-то помимо него, пела-выпевалась бессмертная хвала Господу (как и в поэзии Пушкина, но у Пушкина совершенно иначе — стройно и чисто). Это напряженнейшее переживание жизни как великого блага не является ли своего рода онтологическим доказательством бытия Божия?

С о. П. Флоренским дело обстоит труднее. Понять его нелегко. Но если вчитаться в его «лирические отступления» (в «Столпе и утверждении истины»), то не может оставаться никаких сомнений, что мечтателем был и этот гордый ученый, «совоприсник мира», гностик и даже маг (о странной прозорливости его писал Н. О. Лосский в своей «Истории философии»<sup>9</sup>). В его монументальном труде, наряду с математическими формулами, цитатами на древнееврейском языке и даже экскурсами в осетинскую лингвистику, мы читаем следующее: «Темняло... И — дождь шел взрыдами. Крыша взрыдывала в последней тоске и холодном отчаянии»\*. Это замечательный образец его своеобразного стиля, в котором простонародность, «семинарщина» и лирика отстраняются пышнейшими барочными построениями самого высокого стиля. У Розанова же — мещанский или мелкочиновничий говорок, газетные шаблоны и лирические вздохи, вопли...

Лирика ученого о. П. Флоренского питается пафосом дружбы (у Розанова же пафосом уединения). О. П. Флоренский обиняками рассказывает о каком-то своем умершем друге<sup>10</sup> и цитирует дневники — может быть, того же самого друга (но это остается неясным). Из упомянутых дневников мы узнаем, что писавший их хочет уйти в мир, чтобы не покидать своего «погрязшего в грехе» товарища. «Довольно платонизма», — восклицает он: если друг падает, то паду и я (но с тайной надеждой спасти его!). Мелодия дружбы звучит везде. Первое письмо в «Столпе и утверждении истины» начинается обращением: «Мой кроткий, мой ясный!» Одна из эмблем-заставок изображает двух «амуров», натягивающих лук: оба они целятся друг в друга. Надпись же под «картинкой» гласит: «Бой счастливый». В центральной главе книги («Дружба») о. П. Флоренский с восхищением рассказывает о древнем православном обряде побратимства (отчасти параллельном бракосочетанию). Из Евангелия он приводит те места, где говорится, что Христос посылал учеников по два (двоицами,

\* Именно «темняло» у Флоренского.

диадами). Самого Христа «концентрическими» суживающимися кругами «обрамляют» толпы народа, потом тайные ученики, двенадцать апостолов и, наконец, с ним остается его любимый ученик. Христианскую раннюю еkkлeсию объединяет вселенская любовь — агапе, но и индивидуальная — филическая. Чтобы любить всех братьев, надо одного любить в особенности. Через одного друга созерцается Бог. Это чистый платонизм (тема диалога «Федр»). Пламя дружбы — тихое пламя елeя. Это опять платонизм, эллинизм, и эта эллинистическая интерпретация Евангелия — односторонняя. Но, вместе с тем, нельзя сомневаться в том, что именно дружба (а не брак, добавил бы Розанов) является зерном евангельской общины, христианского Града Друзей. Эта дружба — общая, но и частная: со всеми братьями и одним братом (Павел и Тимофей). Диады супругов в эту еkkлeсию тоже допускались (но об этом он не упоминает).

Отец П. Флоренский поздний, осенний эллин в христианстве, «православный декадент». Его книгу Бердяев удачно сравнивает с опадающим «золотой осенью» лесом. Но недаром утаенный друг о. П. Флоренского восклицает: «Довольно платонизма!», и он, платоник, ему сочувствует; и недаром он цитирует истинно-христианское житие блаж. Иоанна Мосха (из «Луга духовного»<sup>11</sup>) о том, как чистый друг ушел в мир, вслед за грешным другом, и его в конце концов спасает. Эта параллель — к случаю, рассказанному в дневнике (см. выше). У гордого, по-осеннему прохладного о. П. Флоренского чувствуется не одно эллино-языческое любовование, а и евангельское жертвенное рвение, которого не было у Сократа, у Федра или Федона. Стрела христианства ныла в сердце эллина о. П. Флоренского, как и в сердце иудея Розанова. Они оба — христиане-мечтатели. Но христианство — не мечта; и церковь не может не отнестись с недоверием к этому мечтательству, и не может не осудить ветхозаветные «реставрационные замашки» Розанова или соблазнительное ускоренное взыскание Третьего Завета Св. Духа у о. П. Флоренского (характерное для его эпохи). Но уединенная, невольная хвала Господу у Розанова есть единственный и неповторимый «феномен» христианской поэзии; и тоска по другу, боль за друга — полуутаенный филический пафос о. П. Флоренского — это тоже христианская поэзия, не менее трепетная, чем розановская, хотя и не выраженная «лучшими словами в лучшем порядке», а лишь едва намеченная в лирических отступлениях «Столпа и утверждения истины».

О чем именно Розанов и о. П. Флоренский говорили друг с другом наедине — мы, вероятно, никогда не узнаем. Но мы зна-

ем, что эллинистующий о. Павел Флоренский исповедовал и при-  
чащал иудействовавшего Василия Розанова (перед самой его смер-  
тью<sup>12</sup>).

Розанов умер 23-го января 1919 г. в Троице-Сергиевом Поса-  
де от последствий недоедания, а о. П. Флоренский (по данным  
еще непроверенным) скончался в советском концлагере. Агония  
Василия Васильевича была мучительной, а отец Павел — не умер  
ли он мучеником?

Их религиозный опыт был то вне-церковным, то полу-цер-  
ковным. Но этот опыт мог осуществиться лишь в мире христи-  
анском. Оба они были великими христианами мечтателями,  
склонными к еретичеству. У обоих были черты гениальности: и  
у полностью выговорившегося Розанова, и у о. П. Флоренского,  
самое главное утаившего. Да, первый же сказал, что мог ска-  
зать; а второй лишь «проговаривается» о том, что было ему одно-  
му ведомо \*.



---

\* Я не излагаю здесь учения о. П. Флоренского. Оно изложено и с  
самых разных точек зрения подвергнуто критике. Но его основная  
тема, тема дружбы, как-то была оставлена без внимания. Между тем,  
его анализ дружбы является своего рода шедевром. Книги о. П. Фло-  
ренского являются теперь библиографической редкостью. Избранные  
сочинения В. В. Розанова появились в издании им. Чехова в 1956 г. (с  
моим вступительным очерком).



## В. Н. ИЛЬИН

### Стилизация и стиль

2 — Ремизов и Розанов

Ремизов весь ушел в музыку слова и в варьирование разных словесно-музыкальных тем и образов. В этом отношении он пошел дальше и Мельникова-Печерского, и Лескова, и даже самого Розанова. Несомненно, он предъявляет читателю большие требования. Читать его трудно и надо по несколько раз вчитываться и вслушиваться в искусство его словосплетения. Кроме того, есть в нем своего рода «юродство», у некоторых писателей служащее своего рода самозащитой от вторжения улицы в напуганную и настрадавшуюся душу, которой нужны тишина святылища и покой монашеской кельи. Верно сказал Ницше: «Верь ты мне, о друг оглушительного шума, что наши самые тихие часы — самые великие»<sup>1</sup>.

Так как специально взятый и художественно анатомированный быт очень поддается в своем художественном изображении словоузорному плетению, то естественно, что Ремизов оказался одним из величайших русских художников быта. В этом отношении его никак нельзя даже и отдаленно смешивать, например, с И. С. Шмелевым<sup>2</sup>, который берет быт «кусками» и вставляет его, как бы «цитируя», в свои произведения.

Ремизов, так же, как Лесков и Розанов, анатомирует быт, даже «атомизирует» его, распыляет и потом уже воссоздает в своих композициях, которые *eo ipso* совсем не изображения чего-то, но начала новых творимых миров. Отсюда необычайная религиозность Ремизова, так же как Розанова и Лескова. Но это совершенно особая религиозность. Она тесно связана с творчеством и можно сказать, что эти авторы, «отложивши житейское попечение», «только поют».

Как и следовало ожидать, эти авторы — только «артисты» — должны были с особенной болью переживать удары острых уг-

лов жизни. И действительно, как только, по тем или иным причинам, дело у Ремизова доходит до «сюжета», почти всегда сюжет этот трагический, мучительно тягостный, невыносимый. В таких случаях жизнь берется у Ремизова с самой ее тяжелой и даже вовсе нелепой стороны. И это так же характерно для молодого Ремизова, одной из самых значительных фигур русского Ренессанса, как и для Ремизова эмигрировавшего и пережившего ту самую «Взвихренную Русь», которая так безжалостно поглотила в своем «диком чреве» весь изысканный музей Ренессанса. Ремизов, пишущий до революции такие вещи, как «Крестовые сестры», или поменьше — повесть «Оля», или еще меньше — очерк «Петушок», так же, как Ремизов, пишущий небольшой рассказ о «Вифлеемском избииении младенцев», — это все тот же Ремизов, которому так трудно переживать жизнь, что он вынужден уходить от нее в «разводы» и «переводы» своей фантастической музыки, которую, быть может, лучше всего передать «Кикиморой» Лядова<sup>3</sup>, его же «Волшебным озером» и «Из Апокалипсиса»...

Тот, кто хочет знать, что такое страдальческое нутро Ремизова, пусть прочтет его небольшой рассказ о Вифлеемском избииении младенцев. Он увидит, что хотя этот большой художник и положил как будто бы львиную долю своего времени на хитроумное извятие словес, но все-таки главная тема его внутреннего звучания есть невыносимая «боль жизни», невозможность понять знаменитую «слезинку ребенка», для которой у него из церковно-скриптурального предания нашелся жуткий образ, вдохновивший некогда великого живописца Лукаса Кранаха<sup>4</sup>. Или вот, например, повесть «Три желания». С какой силой ранит этот анатомизированный быт, превратившийся в тысячи остро-режущих осколков, от которых кровянятся подошвы, кровью слезятся забитые пылью глаза, которые забираются в волосы, с ненастным дождем заплывают за спину и режут в поясице вместе с холодом намокшей одежды. Никак нельзя упрекать Ремизова в том, что стилизация и хитроумное художество закрыли от него страдания жизни, скорее наоборот. Он лечился художеством от этих самых страданий, которые были всегда ему неведомы. Может быть, нельзя назвать его гением, но несомненно он был необыкновенной натурой — и получил на эту натуру как дар данайцев вместе с такой необыкновенной душевной и физической организацией, что если бы ему дана была возможность перед началом своего земного поприща увидеть себя, он наверное отказался бы от своего громадного дара, который едва заглушал стоны «униженного и оскорбленного»... Только кем? Вот страш-

ный вопрос, который превратил блестящее искусство Ремизова в вечное русское юродство.

Таков был, конечно, и удивительный учитель Ремизова В. В. Розанов. Вот уж можно сказать, что над этой, быть может, самой замечательной литературной фигурой XX века насмеялся и надругался всяк, кому только не было лень, конечно, все из той же тьмочисленной братии «светлых личностей» с их окружением.

Напрасный труд! Более, чем кто-либо другой, надругался над собою сам Розанов. И после этого тщетны были бездарнейшие потуги на брань какого-нибудь Ожигова из пошлой «Киевской мысли»<sup>5</sup>. Вся эта история напоминает бессильную попытку маленького буржуа посмеяться над длинным носом Сирано де Бержерака<sup>6</sup>. Тот, взяв за ухо бездарного насмешника, показал ему, как следует талантливо смеяться над уродством своего ближнего и прежде всего — над самим собою.

«Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываю *В. Розанов* под статьями. Хоть бы *Руднев*, *Бугаев*, что-нибудь. Или обыкновенная русская: *Иванов*. Иду раз по улице. Поднял голову и прочитал:

“Немецкая булочная Розанова”.

Ну, так и есть: все булочки *Розановы*, и, следовательно, все *Розановы* булочки. Что таким дуракам (с такой глупой фамилией) и делать? Хуже моей фамилии только Каблуков: это уж совсем позорно. Или *Стечкин* (критик “Русского вестника”, подписывавшийся *Стародумом*): это уж совсем срам. Но вообще ужасно неприятно носить самому себе неприятные фамилии. Я думаю, *Брюсов* постоянно радуется своей фамилии. Поэтому

*Сочинения В. Розанова*

меня не манят. Даже смешно.

*Стихотворения В. Розанова*

совершенно нельзя вообразить. Кто будет читать такие стихи?

— Ты что делаешь, Розанов?

— Я пишу стихи.

— Дурак! Ты бы лучше пек булки.

Совершенно естественно.

Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал (когда ученики разойдутся из гимназии) перед большим зеркалом в коридоре — и сколько тайных слез украдкой пролил. Лицо красное. Кожа какая-то неопрятная, лоснящаяся (не сухая). Волосы прямо огненного цвета (у гимназиста) и торчат вверх, но не “благородным ежом” (мужской характер), а какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо, и как я не видал ни у кого. Помадил их, и все — не лежат. Потом домой придю и



опять в зеркало (маленькое ручное): “Ну, кто такого противного полюбит?” Просто ужас брал: но меня *замечательно любили товарищи*, и я всегда был “коноводом” (против начальства, учителей, особенно против директора).

.....  
 Но в душе я думал:

— Нет, это *кончено*. Женщина меня *никогда не полюбит никакая*. Что же делать? *Уходить в себя, жить с собою для себя* (не эгоистически, а духовно), *для будущего*. Конечно, побочным образом и как “пустяки”, внешняя непривлекательность была причиной самоуглубления» («Уединенное»).

Ко всему этому окончательный комментарий:

«Цинизм *от страдания*... Думали ли вы когда-нибудь об этом?»

Если соединить эти очень важные и столь необыкновенно выраженные автобиографические признания с фигурой главного героя «Белого орла» (Лескова), если вспомнить этот же элемент у Ремизова, если подумать о том, что Пушкин был чрезвычайно некрасив и светская чернь даже, говоря на эту тему, как бы требовала от его жены измены с красавцем кавалергардом, если отнести сюда же мучения Л. Толстого в «Детстве и отрочестве», неприглядную физиономию Гоголя, если вспомнить, наконец, страдальческий взгляд Лескова на портрете Серова...<sup>7</sup> и еще много, много другого в этом роде, то опять и опять откроется, но уже совершенно с другой стороны, тайна Иовлевых воплей и проклятий пророка Иеремии своему существованию.

Но открывается также и причина религиозности этих великих «уродов» и несчастливцев. Открывается тайна «униженных и оскорбленных», тайна *подлинного дара* и *обязательного* надругательства над ним.

Розанов, помимо только что выраженной невыносимо тягостной стороны своей «экзистенции», тоже может казаться пришедшим к мысли и к смыслу через совершенно особый, ему только одному присущий стиль. Если гению в подлинном смысле этого слова свойственно открывать путь, по которому еще никто не ходил, и тропинку в заколдованный волшебный лес, где не ступала еще нога человеческая, если, наконец, сам автор — творец этого зачарованного леса с его жуткой темной чащей и еще никем не открытыми тайнами, то Розанов, конечно, гениален. И ему, быть может, разрешается, как и всякому большому дару, иметь совершенно особые отношения к своему Творцу, совершенно особое «стояние» перед Ним. Розанов, конечно, философ религии. Но, приняв во внимание его литературный гений, которому свойственно приходиться к новым мыслям также и через

художество стиля, его следует одновременно отнести к царству русского слова и к царству русской национальной мысли.

В чем сущность стиля Розанова? Мы уже отчасти его охарактеризовали, говоря о стиле Ремизова. Один из последователей и аналитиков этого стиля, Виктор Шкловский, в своем интереснейшем очерке «Ход коня»<sup>8</sup> удачно применил к стилю Розанова греческое словечко «оксимерон» — что означает заостренный, острый, колючий осколок. И действительно, все сочинения Розанова, независимо от их размеров — от толстых томов такого сочинения, как «Около церковных стен», и до коротеньких мыслеобразов «Уединенного» или «Опавших листьев», — все они — анатомизированная словесная пыль, мельчайшие осколки какого-то чрезвычайно твердого материала.

Никакой «диалектики». Никакой даже логической последовательности. Одно и то же положение много раз утверждается и много раз отрицается. Настроение сразу пробегает через все цвета спектра, а музыка, как цевница Пана, через все созвучия. В результате же — незабываемые образы и удачно схваченные либо решения по-новому старых тем, либо постановка таких тем, о существовании которых никто не догадывался.

Говоря языком *морфологии*, можно сказать, что в удивительном «хаокосмосе» розановского творчества, где хаоса гораздо больше, чем космоса, мы наблюдаем самое трудное и самое таинственное из всего, что являют собою для философа так наз. «мировые загадки»: *первичное зарождение и соединение форм — морфогенезис*.

В Розанове есть нечто *первоначальное* и в известном смысле — *доумное* и *заумное*. Это, кажется, *единственный по-настоящему удавшийся футурист*. В этом смысле он как-то смог символизировать «догрехопадность мира», находящегося еще в «творческом лоне», мира, еще не вышедшего из материнского чрева *вечной Софии*; отсюда, если можно так выразиться, «*интеллектуальность*» Розанова: недаром он так любил и ценил Аристотеля, которого он дал мастерски комментированный перевод «Метафизики».

Этот творческий «хаос Эмпедокла» и переживание самого себя в качестве «утробного младенца» делают Розанова, очень образцованного и даже (по старинному, по классическому греко-латинскому образцу) ученого писателя — диаметральной противоположностью какого бы то ни было педантизма, какой бы то ни было «официальщины». Этой стороной своего дара он может быть признан как бы «антитезой Козьмы Прутков». А так как Козьма Прутков есть пародия на чиновничье государство и вообще

на всякую «табель о рангах» со всеми ее отражениями и преломлениями, то понятна бессильная ярость и злоба всех «фанатиков мундира», ханжей и лицемеров против этого органически «*безмундирного*» человека, грешного всем, кроме ханжества и лицемерства.

Итак, *Розанов есть удавшийся футурист, удавшийся Пикассо русской литературы и русской философии*, равно как и *русской религиозной метафизики*.

Заметим, кстати, что коммунистам в годы так называемого «военного коммунизма» *очень хотелось быть самим футуристами*. Но у них ничего, кроме пошлого, бессмысленного и бессильного вздора, не получилось — несмотря на сотрудничество Демьяна Бедного, Владимира Маяковского и Мейерхольда. Удача была только в разбазаривании Эрмитажа, Публичной Библиотеки и в том, что Маяковский назвал «треньканьем пулями по стенам музеев»<sup>9</sup>, — да еще в истреблении невероятного количества ученых, техников и мыслителей, часть которых была изгнана, и книгохранилища которых — вроде, например, библиотек Ульяницкого<sup>10</sup>, О. О. Розенберга<sup>11</sup> (не смешивать с нацистом Розенбергом) и богатейшего музея в замке Сангушко<sup>12</sup> — истреблены. В этом смысле коммунистический футуризм *удался вполне или почти вполне* — вспомним еще погром имения и уничтожение библиотеки и рукописей гениального математика Ляпунова<sup>13</sup>, жена которого была убита, после чего сам он застрелился.

Нет, «футуризм» В. В. Розанова был совершенно другим, как и его литературный атомизм в духе Демокрита, Анаксагора и Эмпедокла был тоже совсем другим — уже по той причине, что он был органически связан с культом *Бога и любви — пола*.

Характерное свойство того, что можно и должно назвать подлинным или удавшимся футуризмом, — это абсолютное владение сокровищницей и техникой прошлого. Я только тогда могу убедительно подать нечто абсолютно новое, даже такое, которое может показаться новым безобразием, пришедшим на смену старой красоты, если я этой старой красотой внутренне и внешне овладел и если эта старая красота мною внутренне и внешне владеет. Тогда я могу сказать с чистой совестью: я все это исходил вдоль и поперек; я все это знаю, я пред всем этим преклоняюсь, и, наконец, я всем этим владею и могу творить такое же. Тогда только я могу позволить себе роскошь некоторой, так сказать, литературно-эстетической «иронии», чего-то абсолютно нового, непохожего и которое может показаться ломкой, взрывом, даже «истреблением» старого... чего в действительности,

конечно, нет. Просто «удавшийся футурист» как бы говорит «неудавшимся консерваторам»: все, что вы делаете и что вы требуете от меня, было сказано и сделано до вас и гораздо лучше вас; и я это могу сделать несравненно лучше вас.

Чтобы пояснить сказанное, приведем конкретный пример, на этот раз по поводу неудачного футуриста и модерниста. Это один из тех бесчисленных представителей «обнаглевшей бездари» (по выражению Игоря Северянина), которые сделали вдруг открытие, что можно и должно писать, музицировать, сочинять, лепить краски на полотне, не имея ни призвания, ни дарования. Заранее торжествуя свою победу, этот «тип» пришел со своей безграмотной цветной мазней к ныне уже покойному художнику Коровину. Художник взглянул мельком на мазню и сказал с полуулыбкой:

— Хорошо, хорошо, молодой человек... я готов поверить в вашу гениальность, но при одном условии... нарисуйте мне, пожалуйста, вот на этом клочке бумаги ухо.

Великий гений с видом лисицы, уходящей из виноградника, удалился. Конечно, он был в полной уверенности, что, будь он Господом Богом, то ухо он бы поместил на месте пятки, пятку на месте уха, глаза на затылке и все это так, что и пятка, и ухо, и затылок, и глаза напоминали бы в своем сочетании плохой салат. То же самое касается и искусства слова.

Есть хаос и хаос. Хаос первого рода — это «земля невидимая и неустроенная, мрак вверху бездны и дух Божий, носящийся над водами». Это — хаос творческий и творимый, оформляемый, готовый стать космосом под воздействием слова Божия и Духа Божия и уже становящийся космосом, как бы этому ни противилась «вражья сила». Но есть хаос и второго рода. Это — «горький хаос» разрушения, смерти, гибели. Этот хаос в известном смысле обратен первому и связан с противлением воле Творца, воле Божией. Характерное свойство этого хаоса то, что он возникает всякий раз, когда тварь отвращается от Творца в силу дарованной ей формальной свободы, но видит перед собой зияющую пустоту, наполненную небытийственными призраками и, одержимая темным влечением к гибели, стремится в эту пустоту. Здесь неизреченная, вполне иррациональная тайна свободы, к которой можно подойти диалектическим путем, но которая в своем существе никакой диалектикой не познается, но связана с той или иной волевой установкой, с тем или иным «деланием» — добрым или злым. И внутренний опыт, и свидетельство от Писания говорят нам о том, что творение и разрушение идут как бы параллельно, и на каждый творческий акт Создателя мира его

противник отвечает актами противления и разрушения. И это даже превратилось в своеобразный вариант закона действия и противодействия, — закона, далеко выходящего по своему значению за пределы того узкого элементарно-механического смысла, который ему принято придавать. Блестящий русский богослов и мыслитель В. А. Тернавцев<sup>14</sup> все свое толкование Апокалипсиса построил как своеобразную диалектику дней творения и дней разрушения, причем дни разрушения — как бы смещения и искажения, «анаморфозы» дней творения. Но воля Божия о бытии и о существовании тварного мира и вообще космоса неотменима. Возникает трагическая картина хаокосмоса.

В. В. Розанов всем существом своего подсознания, которым он и жил и творил и за пределы которого редко выходил, одновременно мучительно и радостно переживал эту борьбу двух хаосов и двух волей. Он как бы сам стоял на этой границе и, как Пифия, свидетельствовал о том, что «слышало подвластное ухо». В качестве подлинного писателя свое творчество он переживал как музыкальное и даже считал, что «вечная музыка в душе есть секрет подлинного писательства». В этом он вполне согласовался с великим французским поэтом Верленом, требовавшим музыки прежде всего — «*de la musique avant toute chose*»<sup>15</sup>.

Его религиозность была тоже религиозностью прежде всего «музыкальной», существование и законность которой отметил Георг Зиммель. Отсюда трудности входить с Розановым в полемику. Быть может, этим объясняется, что, почти всегда к невыгоде противников Розанова, полемика с ним превращалась в сквернословие и истерику, даже если противником был такой блестящий полемист, как Владимир Соловьев. Разница была только та, что специфический литературный дар Розанова делал его всегда сильнее и остроумнее даже на почве перебранки. К тому же Розанов обладал удивительным свойством убить своего противника мимоходом и небрежно брошенным словом.

Так или иначе, но религия и Бог были для Розанова всем. И если некоторые большие художники мыслили, хотя в очень уменьшенном виде, вне религии, то Розанов, так же как и русский народ, вне религии просто ничто — «дрянь», по выражению славянофила И. В. Кошелева<sup>16</sup>. Отсюда и то, что Розанов мог сколько угодно «еретичествовать», «бунтовать», «капризничать», даже безобразничать как малолетнее дитя (которым он себя всегда и чувствовал), мог даже бессловесно ерзать, как неродившееся дитя в утробе матери (тоже высказанная им исповедь), но никогда не выходил за пределы церковной ограды. Это Церковь всегда чувствовала и снисходительно смотрела на все шалости «гениально-

го полисона» \*. Сам Розанов мог сказать о себе знаменитую фразу: «Еретичествовать могу, но еретиком не буду (*haereticare potero sed haereticus non ero*)».

Религиозность и жажда бессмертия превратились у Розанова как бы в органические проявления и отправления. Можно сказать, выражаясь словами св. Ап. Павла, что он «в Боге двигался и существовал»<sup>17</sup>. В этом отношении его свидетельство по своей литературной яркости и автентической наивности, столь свойственной подлинной гениальности, в своем роде единственно.

«Томительно, но не грубо свистит вентилятор в коридорчике: я заплакал: ...“да вот чтобы слушать его — я хочу еще жить, а главное, *друг* должен жить”. Потом мысль: “неужели он (*друг*) на том свете не услышит вентилятора”: и жажда бессмертия так схватила меня за волосы, что я чуть не присел на пол».

.....

Отсюда и вполне искренняя вражда Розанова к позитивизму, в котором ему претила еще его удивительная бесплодность. И действительно, среди великих писателей и мыслителей, артистов и духовных деятелей России нет не только ни одного позитивиста — о материалистах мы и не говорим! — но нет ни одного, который с позитивизмом так или иначе не враждовал бы. Послушаем высказывания Розанова на эту тему.

«...Никогда моя нога не будет на одном полу с позитивистами, никогда! никогда! И никогда я не хочу с ними дышать воздухом одной комнаты!

Лучше суеверие, лучше глупое, лучше черное, но с *молитвой*. Религия или — ничего. Это борьба и крест, посох и палица, пика и могила.

Но я верю, “святые” победят.

...Лучшие люди, каких я встречал, — нет, каких я *нашел* в жизни: “друг”, “великая бабушка” (А. А. Руднева), “дяденька”, Н. Р. Щербова, свящ. Устьинский — все были *религиозные* люди; глубочайшие умом, Флоренский, Рцы — религиозные же. Ведь это что-нибудь да значит? Мой выбор *решен*.

Молитва — или ничего.

Или:

Молитва — и игра.

Молитва — и пиры.

Молитва — и танцы.

Но в сердцевине всего — молитва.

Есть “молящийся человек” — и можно все.

Нет “его” — и ничего нельзя.

«Это мое *sredo*, и да сойду я с ним в гроб».

\* от франц. *polisson* — сорванец.

Пафос религиозности и делал Розанова своеобразной и единственной Пифией — вещательницей мужского рода, хотя душа Розанова была в значительной мере женственной. Так как он все время себя чувствовал не только совсем малолетним ребенком и даже не родившимся еще младенцем в утробе матери, то и его переживание отеческой доброты Бога и действенной силы молитвы — не книжное, а органическое. Заметим кстати, что Розанова особенно захватывала в Ветхом Завете Псалтирь и все как бы непрекращающееся молитвословие, связанное с культом жизненных сил, непрерывных зачатий и рождений.

*«Я начну великий танец молитвы. С длинными трубами, с музыкой, со всем: и все будет дозволено, потому что все будет замолено. Мы все сделаем, потому что после всего поклонимся Богу. Но не сделаем лишнего, сдержимся, никакого “карамазовского”»: ибо и в танцах мы будем помнить Бога и не захотим огорчить Его».*

Все, что здесь было приведено, можно назвать лейтмотивом или монотемой творчества Розанова. Уберите эту монотему — и от Розанова буквально ничего не останется. Этим объясняется художественная доброкачественность и прочность розановского «футуризма» и всех его необычайностей и стилистических новшеств, которые делают его столь необыкновенным — и единственным. Также объясняется и то, что он одинаково чувствовал себя «как дома» в обычном повествовательном реалистическом стиле, который был у него чрезвычайно ярок, вкусен и прянок, выражаясь словами Талмуда, вино с пряностями.

Выйти из этого «классического», на многие века и тысячелетия растянувшегося повествовательного стиля в тот прием и в ту технику, которые Шкловский назвал «оксимерон», т. е. стиль распыленно атомизированный и находящийся в непрерывном движении постоянных трансформаций, варьирований и необыкновенных ракурсов одной и той же темы, одного и того же образа, — ему ничего не стоило и было для него как бы переходом из одной комнаты в другую — все «на своей квартире», где была у него своя «домашняя церковь».

Что еще очень характерно для стиля Розанова, как «классического», так и «оксимерон», это то, что он почти никогда не развивает последовательно тему и не описывает что-нибудь последовательно (хотя если нужно, то делает и это). Он очень любит делать тему предлогом, как бы отталкиваясь от нее, чтобы бросаться во многие и трудные поэтико-философские авантюры и поиски.

Вот образчик его связной религиозно-философской прозы:



«...отчего, действительно, человеку неистребимо присуще религиозное ощущение? Отчего дикарям в Австралии, и мудрому из Кенигсберга, отчего “чернокнижнику” Фаусту и русскому простому сельскому попу равно мерещится что-то святое, божественное, чудесное, неисповедимое в мире?»

Оставим “мэоны” и “единое”, — скучные, как доска: откуда у нас эти слезы при виде смерти, и слезы не одного испуга; откуда у нас-то, — не у “мэона”, а у нас — мечты, воображения? Откуда трепет, задумчивость при закате солнца?.. Я упомянул о великой психологической загадке: отчего смерть, — любимого, близкого, — не ушибает нас мертвым ушибом, отчего это не просто “оглобля” и “боль”, а что-то и еще есть тут таинственное, и когда мы истекаем в слезах над бездыханным телом и, кажется, хотели бы умереть за дорогого и вместо дорогого — почему эта потеря, тягчайшая собственной смерти, сопутствуется каким-то другим неизъяснимым чувством, совершенно противоположным тому, что выражается словами: “ушиб”, “боль”, “оглобля”, “скверно”? Возьмите чувство человека над гробом, отца с трупом ребенка на руках, — и сравните с равным по “ушибу” чувством человека, проигравшего в карты все состояние: вы оскорблены самим сравнением, а между тем, в оскорбленности-то вашей и лежит начало очевидной тайны. Ведь случается, “проигравшийся” — повесится, т. е. для него проигрыш хуже, тоскливее, отчаяннее смерти. Но нас оскорбляет сравнение этих двух ушибов: — и в чувстве отца есть, значит, кроме ощущения ушиба, мировой боли, раздавленного камня и еще какая-то темная сладость, утешение, вообще что-то, являющееся не *минусом*, а *плюсом* около нашего бытия?! Действительно, день на 5-й, на 10-й, через месяц, полгода, как потерявший ребенка, видевший чужую смерть — вырос! В нем иногда появляется бессмертная красота, которая даже передается в чертах лица! И сам он, вся душа его, — другая, и это состояние души своей, встревоженное, глубоко задумчивое, опустелое — он не променяет на состояние прежнее, сытое, полное и довольное! Вообще в *печали* есть особенная красота, не заместимая никакою иною, ни с какой не сравнимая, что — не приходи она в мир — мир понизился бы в красоте, достоинстве: и уж если Бог есть Высшая Красота, прекраснее всех Своих тварей, то совершенно бесспорно, что вне всяческих мэонов, независимо от их теорий, это есть печальный Бог, которому чего-то недостает. Альфа морали и эстетики: а подите-ка убедите в этом богословов, которые говорят, точно отсчитывая градусы: “всеблагодный”, всеведущий, вседольный”, как и греки ошибались же, определяя: “счастливые боги”...»

Это все на тему о том, что «боль жизни сильнее интереса к жизни», почему «религия всегда будет одолевать философию». И это уже по той причине, что «плачущие и болезнующие, чающие Христовы утешения» получают это утешение отнюдь не от «Бога философов и ученых», но от «Бога Авраама, Исаака и Иакова». И это сказал один из гениальнейших ученых и философов!<sup>18</sup>

Да и сверх того, «счастливую Грецию» и ее «счастливых богов» выдумали много веков спустя плохие стилизаторы Ренессанса, создавшие этот лже-миф в пику так называемому «мрачному средневековью» — в то время как никакой «счастливой Греции» и никакого «мрачного средневековья» никогда не было... Орфей и миф о Евридике, что это — «счастливая» Греция? Миф о Коре-Персефоне — тоже «счастливая» Греция? А греческая трагедия? А вечно плачущий Одиссей, переживающий по отношению к любимой, уже умершей матери то же чувство, что Орфей к Евридике, — тоже «счастливая» Греция? Любопытно, что все эти вздоры по сей день повторяются — как будто Ницше, Роде, Фукар, Фрезер, Марио Менье<sup>19</sup> и др. — сочинения и переводы которых давно уже стали классическими — никогда и не существовали...

Розанов был зачарован этой скорбной музыкой тоски по вечности, старался вникнуть в нее или хотя бы стилистически адекватно передать ее и наконец нашел ее в «Темном Лике» Иисуса Христа и в окружающих Его «людях лунного света» — противопоставив им «солнечный лик» ветхозаветного Бога-Отца, Его «людей солнца». Первые — скопцы, проклявшие радости мира, его красоту и самое его бытие вместе с тесно связанными с ними полом и творчеством; вторые — утвердившие радости мира, его красоту, самое его бытие и метафизику и онтологию пола, которых все это держится.

Отсюда теснейшая связь метафизики и своеобразной антитетики Розанова с проблемой пола. Идя все далее и углубляя эту тему, он дошел через *сакрализацию пола и его жизни* до своеобразного учения о, так сказать, *натуральной святости и натуральной богоугодности семейно-половой жизни*, с особенным приятием детотворения и детей. Он нисколько не отрицает существования христианского канонического брака, он только считает, что по самому своему существу *акосмическое* (как он думает) *христианство не может положительно принять*, например, такую основу подлинного брака, как влюбленность жениха и невесты, и только допускает брак, совершенно обходя вопрос о влюблении; если же требуют от христианства прямого ответа на эту тему, — считает он, — ответ не может не быть отрицательным даже в случае молчания.

Долгое время Розанов находился в невыносимом априйном положении, и не только по причинам духовно субъективным, чувствуя себя зачарованным зараз красотой обоих несовместимых — как он думал — заветов: Ветхого и Нового. К тому же он сознавал и чувствовал, что все преимущества красоты — на сто-

роне *новозаветной*: «Великая красота делает нас равнодушными к красоте обыкновенной; но все обыкновенно сравнительно с Иисусом», — говорит Розанов в «Темном Лике». Ему — Розанову — жаль расстаться с солнечной красотой и с наслаждениями Ветхого Завета, которые он не устает описывать со свойственным ему, единственным в своем роде мастерством и в ему одному принадлежащем неподражаемом стиле.

Можно сказать, что согласно идее, господствующей в обеих его книгах по «метафизике христианства» («Темный Лик» и «Люди лунного света»), Ветхий Завет — «религия Бога-Отца» — и Новый Завет — «религия Бога-Сына» — радикально противостоят друг другу именно *по линии творчества*.

Согласно Розанову, Ветхий Завет создает счастливых людей солнечного света — многосемейных супругов, они продолжают род человеческий и тем исполняют первейший завет воли Божией — завет Жизни: по мысли Розанова, душа человека вселяется в его тело в момент зачатия, и здесь супруги как бы непосредственно сотрудничают с Богом — откуда и солнечность их счастья. Розанов, кстати сказать, очень любил детей, понимал их и считал, что дети — благословение Божие. Это и не удивительно: в нем самом было много детского, даже младенческого, совсем он не был «бабой», как некоторые говорят, но скорее уж «младенцем», даже «утробным младенцем». Его самосвидетельство об этом должно быть принято к сведению в самом серьезном смысле, — так сказать, «психоаналитического теста». Розанов — драгоценнейший материал для психоанализа. Конечно, его гениальность психоаналитически выведена быть не может, но связь его творчества, и, может быть, некоторые особенности его стиля и направленности его внимания и его литературно-мыслительских и религиозно-метафизических интересов могут быть объяснены анализом колоссальных и интереснейших «залежей» инфантилизма в его душе и в подсознании. Это все касается отношений Розанова к Ветхому Завету, к родовой стихии и к еврейству, в котором он не без основания видит некий символ «вечно женственного», чем он и объяснял вечность еврейства в истории человечества.

Совершенно другое дело — «Люди лунного света», так сказать, «лунатики», «иррациональная половина рода человеческого», его, если можно так выразиться, «третий пол». Это — люди, внутренне по духу (а не обязательно только по плоти) находящиеся вне половой жизни и от нее отвращающиеся. По Розанову это, впрочем, не столько антропологическая категория, сколько категория душевно-пневматическая, и даже более пневматическая,

чем душевная. Даже нормальный человек с нормальной жизнью пола может проходить через этот мир «души ночной» и поддавать под чары «лунного света», лунной вдохновляющей и романтической мечты. Слово найдено: это — *«вечно романтическое в человеке»*.

Это — *состояние влюбленности*, связанное с категорией «*женитовства*», но ни в коем случае не *супружества*, это не соединение, но *взаимная мечта друг о друге*, или, даже, просто *мечта* о чем-то *неуловимом* и *недостижимом*, словно сквозь облик предмета мечты — *сквозит иной мир, потусторонний рай*. Розанов с большой тонкостью резко противопоставляет состояние *влюбленное* и состояние *супружеское*. Первое — состояние «лунно-романтическое», второе — «солнечно-реалистическое». Между ними по качеству — пропасть. Иногда — далеко не всегда — по пути к солнцу соединяющиеся проходят через полосу «лунного света», но это отнюдь не значит, что между этими состояниями есть что-то общее. Это все-таки две различные антропологические категории, две различные экзистенции, даже две различные сущности — «эссенции», между ними — скачок, мутация. Но зато есть значительная категория — особенно значительная по своей громадной творческой одаренности, — которая *этого скачка не знает, от этой мутации отвергается как от чего-то абсолютно невозможного, чудовищного, смерти подобного, как от падения в самые низины бытия*. Этой антропологической категории особенно свойственно чувство греховной скверны и паническая боязнь того, что именуется падением. Чтобы хорошо понять Розанова в этом пункте, надо принять во внимание еще и то, что *монашество, культ вечно-девственного есть апокалиптическая категория*. «Нынешний» мир с его красотами, мир солнечный тесно связан со стихией пола и без него немислим. Поэтому *люди лунного света — апокалиптическая категория*. И творчество — грандиозное, ни с чем не сравнимое по глубине, — которое несут с собою «люди лунного света», связано обязательно с миром потусторонним, с *тайнами вечности и гроба*.

Розанов не устает подчеркивать *апокалиптичность* девства и чистоты. В связи с этим он именуется такие секты, как хлыстовство и, особенно *скопчество* — *апокалиптическими сектами* и не устает подчеркивать религиозную гениальность русского мистического сектантства, нисколько не скрывая его крайней еретичности. Страницы, посвященные Розановым этому предмету, вместе с удачными цитациями — инкрустациями фольклорического типа — принадлежат к самым его удачным.

Но так же он силен и в изображении двух величайших ветвей церковного христианства. Ему посвящено два тома «Около церковных стен», многие места обоих томов «Метафизики христианства» («Люди лунного света» и «Темный Лик») и специальная брошюра о Русской Церкви.

В этих произведениях он близок к «классической» русской прозе.

Розанов вообще отличный и понимающий красоту передаваемого корреспондент. Совершенно, например, неподражаема его корреспонденция о «Страстной пятнице в соборе св. Петра».

«На торжественной службе в соборе Св. Петра между 4,5 и 7-ю часами, перед главным алтарем на длинных скамьях, ... я насчитал до 160-и священников, каноников, прелатов, епископов. После всех вошел в красной шапочке и в длинной лиловой мантии Кардинал Рампола. Четыре каноника несли его длинный, до двух аршин, шлейф, как это бывает с царями во время венчания. Поразительна эта особенность священнических одежд и на Западе, и на Востоке, что по покрою своему они суть типично женственные, а вовсе не мужские одежды: расширяющиеся к концу рукава, кушак — широкою лентою (никогда не бывает этого у мужчин), наконец, даже шлейф. И в самом цвете платья — что-нибудь яркое: лиловое, зеленое, голубое, красное, чего также вовсе не встречается у мужчин. Между тем, вкус к платью и к цвету выражает бессознательнейшую и очень глубокую часть души человеческой.

.....

«...С каждого лица можно было снять портрет и поместить его в книгу... Боже, как я узнал в них столь знакомые мне по нумизматике портреты Тибериев, Веспасианов, Антонинов, Неронов, Августов, Цезарей (не преувеличиваю), Понтийев, Гракхов. Коротко остриженная борода и бритый подбородок, дающий рассмотреть все строение черепа и лица, не оставляли сомнения. Я помню эти самые лица на монетах, мною собранных, мне в мельчайших чертах знакомых — "...мы теперь христиане, и в христианстве так же сильны, как были сильны в язычестве".

“Аз есмь аз”, как бы и доселе говорит этот исторический Геркулес. Сила — вот отличие, вот сущность Рима.

С каждого прелата, откинув пелерину, можно было писать императора. Несмотря на присутствие кардинала, они держали себя совершенно свободно, даже впереди сидевшие мальчики... Выходя читать перед таким большим собранием, они читали смело, твердо, точно опрокидывали что-то, точно трибун Клодий, которого боялся Цицерон... И Рампола это знает. Рампола спросит с него нужное, а ненужного не спросит...

Там есть бесконечная дисциплина, но эта дисциплина не мертвая, а живая».

Мы видели Розанова там, где он как бы скрывает свой подлинный, футуристический гений, чтобы на классическом языке говорить о классическом, о самом классическом, о вечном Риме.

Но вот теперь мы переходим к тому, чем делается Розанов, когда он хочет быть самим собой и чем он стал в 1911–1912 гг.

Розанов был и остался очень умным человеком. Это сказалось и в его отношении к уму — что и будет переходным моментом к господству стиля «оксимерон», т. е. стиля разбросанных и намеренно хаотических мельчайших мыслеобразов, которые, когда соединяются, то всегда соединяются талантливо.

Зато порою получаются такие «необычайности», такие «монстры», что надо понять негодование педантов, «любителей тишины и хорошего поведения». И все-таки над всем здесь господствует ум, правда, сплошь и рядом действующий из-за кулис в виде «мещанина себе на уме». Вот что говорит об уме Розанов в «Уединенном»:

«Ум положишь — мещанишко, а без “третьего элемента” все-таки не проживешь.

Надо ходить в чищенных сапогах; надобно, чтоб кто-то сшил платье: Илья-пророк все-таки имел милость, и ее сшил какой-нибудь портной.

Самое презрение к уму... мещанину имеет что-то *на самом конце своем* — мещанское...

Настоящее *господство над умом* должно быть совершенно глубоким, совершенно в себе запрятанным; это должно быть субъективной тайной».

Дальше Розанов, «запрятав глубоко свой ум» и «забронировав» свою «хитрость разума» (*die List der Vernunft*) наподобие Гегеля, — вначале, говорят, он и был гегельянцем, — сам намеренно ограждает тайну своего ума своим стилем.

.....  
 «Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины.

— Что это — ремонт мостовой?

— Нет, это “Сочинения Розанова”. И по железным рельсам несется уверенно трамвай».

Русскую радикальщину всегда необычайно раздражал в Розанове этот стиль «удавшегося футуризма». Это вполне понятно: ведь сами они страдали стилем, вернее сказать — бесстилием неудавшегося чистописания.

То, что плохие критики называют у Розанова самообнажением и даже цинизмом, то в конце концов все-таки было таким же прикрытием самого главного, как внешние символы и знаки таинств церковных, начиная от ветхозаветного обрезания, ибо сказано: «Не мечите бисера вашего перед свиньями».

Удавшееся футуристическое «разворачивание» мостовой, по которой шагали толпы радикального студенчества, погром интеллигентского «чистописания» и «гладкоговорения» отвечали

самой настоящей необходимости. Розанов явился как раз вовремя и со своей религиозно-сексуальной тематикой, и со своим футуристическим стилем «оксимерон». В зале, где сидели надушенные дешевыми духами «вавилонской блудницы» пуритане позитивизма, атеизма и материализма, нужен был удавшийся скандал, такой, чтобы все это «общество покровительства бездарностям» разбежалось куда попало. Розанов сделал это сразу по двум направлениям: и по религиозно-философской тематике, абсолютно неприемлемой для красных и розовых пуритан, и по линии острых и едких алмазных осколков «оксимерон». Не надо преувеличивать «размягченности» и «обывательщины» Розанова. Это уже не стиль, а стилизация. Настоящий Розанов так же тверд и неподатлив, как и вообще всякий хороший стиль. И ярость многих против Розанова — это ярость мышей и крыс, которых погладила бархатная лапка гениального кота.

«Имей всегда сосредоточенное устремление, не гляди по сторонам. Это не значит: будь слеп. Глазами, пожалуй, гляди везде: но душой никогда не смотри на многое, а на одно».

Этим «одним» и была у Розанова монотема «Бог-пол».

Этой монотеме как будто бы противоречит видимость увлечения, которое Розанов испытал при виде революции 1905 года, — хотя все то, что он писал по этому поводу, было так же непонятно и противно революционерам, как все то, что писал Константин Леонтьев о консерватизме и монархии, было противно русским черносотенцам. Гений всегда одинок.

«Как я смотрю на свое “почти революционное” увлечение 190..., нет, 1897–1906 гг.?»

— Оно было право.

*Отвратительное* человека начинается с самодовольства.

И тогда самодовольны были чиновники.

Потом стали революционеры. И я возненавидел их».

Это — замечательное признание артиста, увлекающегося революцией, вроде того, например, как в 1848 году Рихард Вагнер, распропагандированный Бакуниным, бросил свою дирижерскую палочку, схватил ружье и принялся стрелять в королевские войска — отчего, конечно, ни в малой степени не стал ни Бакуниным, ни Нечаевым, ни Ткачевым.

Подлинные философы давно уже смекнули, что сущность философии заключается в ее полном самопреодолении, так же, как и талантливые техники отлично знают, что чем машина незаметнее и чем она меньше шумит, тем в большей степени



выражено ее совершенство. Предел техники — полная ее незаметность. Вот почему прав Розанов, когда говорит:

«Писателю необходимо подавить в себе писателя (“писательство”, литературщину). Только достигнув этого, он становится писателем; не “делал”, а “сделал”. Вершина человеческой гениальности и пальцы, замазанные чернилами, запах типографской краски — несовместимы. Совершенно нельзя себе вообразить Будду, Сократа, Иисуса Христа “пишущими”. Они — изрекают, но не пишут».

Розанов придумал еще один превосходный термин, связанный с его отрицательным отношением к «несчастной книжности», «несчастной интеллигентности». Этот термин — *рукописность души*. Этим он объясняет и прихотливое своеобразие своего «футуристического» стиля, этим оправдывается также и тот характер саморазоблачения и самообнажения в стиле исповеди, который на раз вызывал — несомненно лицемерное — «возмущение». Розанов писал:

«“Рукописность души”, врожденная и неодолимая, отнюдь не своевольная и не приобретенная, и дала мне тон “У<единенного>”, я думаю, совершенно новый за все века книгопечатания. Можно рассказать о себе очень позорные вещи — и все-таки рассказанное будет “печатным”; можно о себе выдумать “ужасы” — а будет все-таки “литература”. Предстояло устранить это опубликование. И я, который наименее опубликовывался уже в печати, сделал еще шаг внутрь, спустился еще на ступень вниз против своей обычной “печати” (халат, штаны) — и очутился “как в бане нагишом”, что мне не было вовсе трудно. Только мне и одному мне... Тут, в конце концов, та тайна (граничащая с безумием), что я сам с собой говорю: настолько постоянно и занимательно и *страстно*, что вообще, кроме этого, ничего не слышу. “Вихрь вокруг”, *дышит* из меня и около меня, — ничего не видно, никто не видит меня, “мы с миром не знакомы”».

Этим Розанов опять с свойственной ему силой, своеобразием и художественной точностью выражает идею неповторимости личности и всего того, что с личностью связано — идею глубоко христианскую и богословскую, играющую огромную роль в христианской антропологии. Лучше сказать — могущую играть, ибо до сих пор эта тема не была разработана, а Розанов бросил ее в качестве «оксимерон». Сверх того, это также означает, что Розанов не рекомендует подражать себе, — да это и невозможно. Розанов не мог писать иначе, и не мог не писать. Согласно его мироощущению, Богу это было нужно, и возражать здесь не приходится (все равно что возражать Самому Богу).

«В самом деле, дымящаяся головешка (часто в детстве вытаскивал из печи) — похожа на меня: ее совсем не видно, не видно щипцов, которыми ее держат.

И Господь держит меня щипцами. “Господь надымил мною в мире”.  
 Может быть».

Тайна, которую здесь Розанов выражает, — это тайна рожденности в мир, которая есть как бы самоцель, не требующая объяснений, свидетельствующая о себе и пророчествующая о себе. Отсюда тот необычайный мистический трепет, или, если угодно, перевозданный ужас, которым Розанов окружил родовой акт, соединив его непосредственно не только с волей Божией, но как бы с Самим Богом.

«Молчаливые люди и нелитературные народы и не имеют других слов к миру, как через детей. Подняв новорожденного на руки, молодая мать может сказать: “Вот мой пророческий глагол”».

Этим Розанов показывает неприкосновенность метафизических прав личности и невозможность, немыслимость борьбы с нею.

«На мне и грязь хороша, потому что это — я».

Считать это «самопревозношением», «гордыней», — значит обнаружить слепоту. Речь здесь ведь идет о неповторимой драгоценности всякого «я» перед лицом его Создателя и родителей, через которых Создатель действовал.

«Будет ли хорошо, если я получу влияние? Думаю — да. Неужели это иллюзия, что “понимавшие меня люди” казались мне наилучшими и наиболее интересными. Я отчетливо знаю, что это не от самолюбия. Я клал свое “да” на этих людей, любовь свою, видя, что они проникновенно чувствуют душу человеческую, мир, коров, звезды, все...

Вот такой человек “брат мне”, лучший, чем “я”. Между тем как Струве, сколько ни долдонил мне “о партиях” и что “без партийности” нет политики, я был как кирпич и он был для меня как кирпич. Таким образом, “мое влияние” было бы в расширении души человеческой, в том, что “дышит *всем*” душа, что она “вбирает в себя все”. Что душа была бы нежнее, чтобы у нее было большое ухо, большие ноздри. Я хочу, чтобы люди “все цветы нюхали”...

И — больше, в сущности, ничего не хочу:

И царства ею сокрушатся,  
 И всем мирам она грозит<sup>20</sup>.

Если — *так*, то что остается человеку, что остается бедному человеку, как не нюхать цветы в поле?

Понюхал, умер, могила».

Здесь предел ветхозаветности Розанова: он не то что не верил в Воскресение, а не переживал его, не чувствовал его. То, что он относился к Иисусу Христу как к бесконечно печальному пепельно-серому грустному, хотя и прекраснейшему среди всего прочего

цветку — «моноцветку», связано с полной, хотя и временной, быть может, провиденциально временной слепотой Розанова к победной мощи и славе Христа воскресшего и воцаряющегося.

О Розанове можно было сказать то, что Св. Ап. Павел говорил о евреях, которых Розанов так хорошо понимал, чувствовал и по-своему, органически, утробно любил, любовью мужчины к женщине. Точно пелена или покрывало какое-то налегло на глаза Розанову. Это не было ни насмешкой над Воскресением, ни хулой над Воскресшим, это была какая-то детская болезнь, «слепой пункт» на глазах младенца Розанова. По Розанову можно даже изучать — приблизительно — каково отношение евреев к идее Воскресения. Этот факт громадного значения. Церковь никогда за это не осуждала, ни, тем более, не анафематствовала, а только ждала.

С присущим Розанову литературным мастерством и точностью (когда он этого хочет) им дается *морфологическая схема* отношений Бога и индивидуального человека.

«Мой Бог» — бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивидуальность... Так что Бог

1) и моя интимность

2) и бесконечность, в коей самый мир — часть».

Идея Бога у Розанова органически связана с идеей смирения, глубочайшего самоуничужения до полного нуля, до сознания себя сором. С точки зрения Розанова, вся русская литература есть борьба гордого Печорина со смиренным Максимом Максимычем. В известном смысле это борьба не только двух литературных течений, но как бы борьба двух духовных космосов, между которыми не может быть никакого компромисса, хотя, например, Максим Максимыч и безмерно унизил себя своей безответной неразделенной любовью к Печорину. Кстати сказать, драма этой неразделенной любви, так дивно описанная в «Герое нашего времени», есть нечто глубоко символическое, гораздо более серьезное, чем простая психологическая драма. Это как бы отношение смиренного «кроткого сердцем» Сына человеческого к тем гордецам и фарисеям, к которым Он пришел, которые Его сначала оттолкнули, а потом убили. Ведь Лермонтов ясно дает нам понять, что Максим Максимыч духовно убит и — ужас! — здесь, на земле, уже никогда больше не воскреснет, — для себя, для своей интимной жизни. Но красотой своей безответной жертвенности он побеждает и сметает в прах Печорина. Розанов не только всецело на стороне Максима Максимыча, но и сам себя чувствует как бы принадлежащим к тому же обществу.

Победа толстовского Платона Каратаева еще гораздо значительнее, чем принято думать: это в самом деле победа Максима Максимыча над Печориным, т. е. победа одного из двух огромных литературных течений над враждебным.

В сознании этого существует для Розанова огромная, ни с чем не сравнимая радость о Боге.

«Бог мой! вечность моя! отчего же душа моя так прыгает, когда я думаю о Тебе?»

И все держит рука Твоя: что она меня держит — это я постоянно чувствую».

Только в связи с этим переживает себя Розанов в качестве мыслителя, и притом настоящего мыслителя, для которого мысль есть стихия — внешняя и внутренняя.

«Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего жизнь моя сквозь тернии и слезы все-таки наслаждение».

Очень существенно признание Розанова в отсутствии у него «воли к жизни». Это признание, может быть, самое «русское» во всех «интимностях» Розанова. Здесь секрет и «непротивления» Л. Н. Толстого (которое упоминается Розановым), и неуничтожимости России и ее народа: они устойчивы и неуничтожимы через отсутствие воли к жизни, т. е. *хищнического самоутверждения*. Идеологическая твердость и «несклоняемость» — это совсем другое.

«Почти пропорционально отсутствию воли к жизни (к реализации) у меня было упорство воли к мечте. Даже, кажется, еще постояннее, настойчивее... Именно — “не подвинулось ни на скрупул” и не “уступило ничему”».

«На виду я — *всесклоняемый*».

В себе (субъект) — *абсолютно не склоняем*; “несогласуем”. Какое-то “наречение”».

Здесь Розанов делает большое пневматологическое открытие, заключающееся в том, что субъект, или личность, находится глубже, чем так называемая метафизическая или космогоническая воля, которая составляет любимую монотему германской философии в разных ее аспектах и разрезах, от Шопенгауэра до Людвига Клагеса<sup>21</sup>.

Отсюда и другое открытие: — религиозное призвание и религиозное утверждение и самоутверждение находится где-то в бесконечных глубинах за пределами воли.

«Все-таки ни один из библеистов не рассмотрел этой особенности и странности библейского рассказа, что ведь не Авраам искал Бога, а Бог

*хотел Авраама.* В Библии даже ясно показано, что Авраам долго уклонялся от заключения завета... Бегал, но Бог схватил его. Тогда он ответил: “Теперь я буду верен Тебе, я и потомство мое”.

Здесь опять первостепенной важности тема о настойчивости и непреклонности, неистоцимости Бога в любви, что показывает онтологическое совпадение понятия Бога и понятия любви. Здесь надо искать решения столь трудной для богословов и философов проблемы «*Всемогущества*».

Всемогущество Божие как-то отвечает и самоуничижению — как в самом Боге, так и в твари.

«Унижение всегда переходит через несколько дней в такое душевное сияние, с которым не сравнится ничто. Не невозможно сказать, что некоторые, и притом высочайшие, духовные *просветления* недостижимы без предварительной униженности; что некоторые “духовные абсолютности” так и оставались навеки скрыты от тех, кто вечно торжествовал, побеждал, был наверху».

Из этого фрагмента понятно, почему Розанов, несмотря на все свои «девиации» и «еретичества», несмотря на все попытки уйти в «иудаизм», в ветхозаветность — все-таки по ядру своей личности, по самой своей субстанции оставался церковным, православным христианином, любившим духовенство и им любимый.

Отсюда Розанов и выводит необходимость креста и того, «что Он наконец захотел пострадать»...

С большой тонкостью Розанов отыскивает то положительное ядро «демократии», которым это течение побеждает, опять-таки несмотря на все «девиации» и «еретичества». Отсюда же очень характерное для всей русской национальной философии утверждение *правды* и ее внутреннее отождествление с Богом, идея очень дерзновенная и даже дерзкая, — что как бы *через правду Бог есть то, что Он есть*:

«Правда выше солнца, выше неба, выше Бога: ибо если и *Бог* начинался бы не с правды — Он — не *Бог*, и небо трясина, и солнце — медная посуда».

Это утверждение правды Розанов, бросая свой обычный юридический обывательский и футуристический стиль, производит в форме огненного исповедания души как «страсти», ибо душа есть образ Божий, образ огня и страсти.

«Душа есть страсть».

И отсюда отдаленно и высоко: “Аз есмь огонь поедающий” (Бог о Себе в Библии).

Отсюда же: талант нарастает, когда нарастает страсть. Талант есть страсть».

В связи с этим стоит опять утверждение религии как самого главного, чем утверждается и подлинная, всякая подлинная талантливость.

«Знаете ли, что религия есть самая важная, самая первая, самая нужная? Кто этого не знает, с тем не для чего произносить “А” споров, разговоров.

Мимо такого нужно *пройти*. Обойти его молчанием.

Но кто это знает? Многие ли? Вот отчего в наше время почти *не о чем и не с кем говорить*».

Для Розанова асексуальность мысли и мирочувствия как бы связана с внутренним безбожием. Это все по линии «ветхозаветной», с которой Розанов сойти почти никогда не мог и не хотел. Окончательно вернувшись к христианству и умирая, так сказать, в объятиях Церкви и духовенства, он ни разу не отрекся от любимого им как «Песнь Песней» Ветхого Завета, и стоял здесь твердо. Спорить здесь с Розановым, осуждать его здесь так же бесполезно, как спорить с Ветхим Заветом и осуждать его. Надо постараться понять.

«Связь пола с Богом — большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом, — выступает из того, что все а-сексуалисты обнаруживают себя и а-теистами. Те самые господа, как Бокль или Спенсер, как Писарев или Белинский, о “поле” сказавшие не больше слов, чем об Аргентинской республике, и, очевидно, не более о нем и думавшие, в то же время до того атеистичны, как бы никогда до них и вокруг них не было никакой религии. Это буквально “некрещеные” в каком-то странном особенном смысле».

Суть «метерлинковского поворота» за 20, 30 лет заключалась в том, что очень много людей начали «смотреть в *корень*» не в прутковском, а в розановском смысле. Так должна быть понята и звучащая футуристически нижеследующая тирада Розанова:

«Каждая моя строка есть священное писание (не в школьном и не в “употребительском” смысле), и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть священное слово.

Как вы смеете? — кричит читатель.

Ну вот и “смею”, — смеюсь ему в ответ я.

Я весь “в Провидении”... Боже, до чего я это чувствую».

Следующий за этим текст как бы комментарий к предыдущему:

«Это моя душа! Это моя душа!

Несусь как ветер, не устаю как ветер.

Куда? Зачем?

И наконец:

«— Что ты любишь?

— Я люблю мои ночные грезы, прошепчу я встречному ветру».

Здесь мы находимся всецело во власти музыки, той самой музыки, вне которой, по мнению Розанова — и он совершенно прав — нет секрета подлинного писательства. Не могут быть ни настоящими писателями, ни настоящими мыслителями, ни настоящими поэтами те, которым «медведь на ухо наступил». Шопенгауэр — как будто атеист; но когда речь заходит о музыке, он моментально забывает о том, чем ему полагается быть по чину своей философии, и торжественно исповедует: «Музыка, как Бог, проникает непосредственно в душу человека»<sup>22</sup> — и сознается, что его любимые музыкальные формы — симфония и месса.

На этой артистической почве и происходит решительный разрыв Розанова с кантовой моралью. Здесь Розанов действительно в центре русского Ренессанса, который прежде всего — движение артистическое, где сама религия возникает как власть красоты. «Небрежность» — противоположный полюс «педантизма», и Розанов в этом споре артистической небрежности с придиристо моральным педантизмом всегда на стороне «небрежности».

«“Небрежность” — мой отрицательный пафос. Солгать — для чего надо еще “выдумывать” и “сводить” “концы с концами”, “строить”, — труднее, чем “сказать то, что есть”. И я просто “клял на бумагу то, что есть” — что и образует мою правдивость. Она натуральная, но она не нравственная».

По двум важнейшим линиям, по моральному педантизму и по вопросу пола, Розанов должен быть признан крайним антиполюсом кантианства, и в этом смысле крайним антиполюсом германского идеализма. Он, конечно, должен быть отнесен с оговорками к русским ницшеанцам, говорим, — с оговорками, потому что большинство тех, которых мода увлекла в поверхностное ницшеанство эпохи возрождения, были ничтожными псевдоэстетамы и понятия не имели о религиозной трагедии глубоко веровавшего и пламенно любившего Бога Ницше.

Характерное свойство Розанова — его «биологизм», его «органичность» и в известном смысле его укорененность в черноземе жизни со стремлением расти вверх и благоухать. Отсюда признание:

«Так расту: если вам не нравится — то и не смотрите.



Поэтому мне часто же казалось (и, может быть, так и есть), что я самый правдивый и искренний писатель: хотя тут не содержится ни скрупула нравственности.

Так меня устроил Бог».

Этот свой своеобразный фатум «Божией воли во мне» и «таким меня сотворил Бог» Розанов доводит до высших степеней пафоса и силы, отбрасывая свой стиль «удавшегося футуриста» и «гениального обывателя» — ради торжественного пафоса. Розанов очень экономен в этом смысле. Но когда он прибегает к этому приему, то он звучит как труба, и действие этой трубы тем разительнее, что оно неожиданно и как бы идет вразрез с тем, чего от него ожидаешь.

«Слияние своей жизни, особенно мыслей и, главное, писания с Божеским “хочу” — было постоянно во мне, с самой юности, даже с отрочества. И отсюда, пожалуй, вытекла моя небрежность. Я потому был небрежен, что какой-то внутренний голос, какое-то непреодолимое внутреннее убеждение мне говорило, что все, что я говорю, — хочет Бог, чтобы я говорил. Не всегда это бывало в одинаковом напряжении: но иногда это убеждение, эта вера доходила до какой-то раскаленности. Я точно весь делался *густой*, душа делалась густою, мысли совсем приобретали особый строй и “язык сам говорил”. Не всегда в таких случаях бывало перо под рукой: и тогда я *выговаривал*, что было на душе... Но я чувствовал, что в “выговариваемом” был такой напор силы (“густого”), что не могли бы стены выдержать... В такие минуты я чувствовал, что говорю какую-то абсолютную правду, и “под точь-в-точь таким углом наклона”, как это есть в мире, в Боге, в “истине в самой себе”. Большею частью, однако, это не записалось (не было пера)».

Несомненно, были в стиле Розанова черты «гениального обывателя», по меткому определению Н. А. Бердяева. Был также в нем и «удавшийся футурист». Но дальше начинается нечто до предела серьезное. За юродствами своего «обывательства» и «футуризма» Розанов скрыл то невыговариваемое, с чего и начинается подлинный гений... Здесь начинается область молчания — и вопрос в том, кто и как может молчать в ответ на то, о чем промолчал и Розанов.





## **М. М. СПАСОВСКИЙ**

### **В. В. Розанов в последние годы своей жизни**

Василий Васильевич Розанов умер в январе 1919 года, но страсти вокруг него, борьба «за Розанова» и «против Розанова» не утихли до сих пор и, пожалуй, никогда не утихнут среди тех, кто так или иначе близок к религиозно-философским течениям мысли, — вообще к пытливой мысли о неумиряющих вопросах.

Розанов — это фельетонист и газетный обозреватель, философ и богослов, исследователь древних вер и культов, прежде всего иудаизма и религиозной истории Египта. Розанов — это создатель нового стиля и новой формы в литературе, это — предтеча француза Марселя Пруста<sup>1</sup> и ирландца Джеймса Джойса<sup>2</sup>, когда словами говорит уже не разум, а сердце и даже сама душа, — когда нельзя читать вслух или слушать автора из чужих уст, когда надо самому читать и обязательно видеть его строчки, — до того у Розанова важна каждая мелочь вроде кавычек, скобок, запятых, курсивных и жирных слов и так или иначе оттененных выражений.

Некоторые розановские образы, выраженные писателем в двух-трех абзацах, как будто бегло и как будто небрежно, стоят целого исследования, вызывают вдумчивые размышления и удивляют глубиной прозрения, краткостью и яркостью изложения, большим содержанием в малых словах. А некоторые его зарисовки вот такими скупыми, но образными словами производят такое же впечатление, как огромная картина великого мастера-художника, где вы видите все и потрясены всем.

Это особенно ярко и осязательно чувствуется по небольшой статье Розанова о картине И. Е. Репина «Заседание Государственного Совета», помещенной в его книге «Когда начальство ушло»<sup>3</sup>. В этой статье, мимоходом написанной, в не всегда законченных мыслях и даже фразах перед читателем встает жуткая перспекти-

ва всех начал и причин, почему Россия должна была докатиться в 1905 году до Цусимы, до Октябрьского манифеста, до Государственной Думы, до вынужденного и ненужного участия в европейской войне, до революции 17-го года, до большевизма... А ведь Розанов в этой своей статье совсем не о том говорит. Это — одна из граней гениальности Розанова.

Розанов — это религиозный мыслитель, толкователь Библии и иудаизма, это борец с казенным христианством и с казенным черничеством. Это — возродитель древнего фаллического культа, тонкий аналитик сексуального вопроса в плоскости исканий божественной сущности мира...

И никак и нисколько не приходится удивляться кипению тех страстей вокруг Розанова, которое продолжается до сих пор и которое едва ли когда уляжется. Одни приходят от Розанова в восторг, другие отплевываются от него. Но многие ли имели возможность и силу чутко и вдумчиво прочесть такие книги Розанова, как, например, «Темный Лик», «Семейный вопрос в России», «Из восточных мотивов», «В мире неясного и нерешенного», «У церковных стен», «Легенда о Великом Инквизиторе», «Русская Церковь», «В соседстве Содомы», «У истоков Израиля», «Люди лунного света», «Уединенное» и его два короба «Опавших листьев»? Те немногие, которые вместили в себя всю эту богато сверкающую гамму розановских мыслей, образов и зарисовок, поймут всю многогранность Розанова, — поймут, что Розанов шел своей собственной дорогой, только ему одному свойственной и только ему одному под силу, — что гений Розанова несравним ни с кем по своему широкому своеобразию, по своему удивительному подходу к миру и к жизни мира, по своему исключительному проникновению в нутро мира, восприятию этого нутра и отражению его в словах и чувствах, — поймут, что Розанова нельзя мерить аршином маленьких людей.

О Розанове можно писать книги, и их написано не мало, но их будет написано еще больше. Розанов — тема необъятная и неохватная. Тема о Розанове далеко не только для философов и богословов. Розанов, не помню сейчас где, писал, что хотя он был человеком с философским образованием и выпустил трактат «О понимании», но считает, что лучшая из лучших его книг «Уединенное» написана так просто и читается так легко, что ее поймут даже дети малые.

И это правда. Тяжелые рассуждения западных доктринеров, их мешкотные, неповоротливые, где-то и как-то копошащиеся исследования в ворохах всегда нудных и безмерно скучных поисков «разгадки бытия» были органически чужды Розанову. Всех

этих «аналитиков», «догматиков» и, выражаясь современным языком, «комментаторов» общественной жизни, создателей и «апостолов» текущих философских и особенно политических доктрин Розанов называл утопистами, а то и просто онанистами. Эти теоретики вызывали в нем отвращение, они возмущали его плоскостью своего мышления, своего подхода к миру, к пониманию ими «подспудных законов» жизни. В партийных людях он видел «органическую узость», отсутствие в них духовной глубины, кризис восприятия ими мира и человека и считал их «фактическими мертвецами», трупный яд которых смертелен для живых и здоровых и государственно опасен для народов земли...

Розанов — это «нумизмат, обыкновенный обыватель и гениальный от рождения мыслитель», как сказал о нем другой замечательный русский человек, тоже мыслитель первой величины и тоже мало кому известный большой богослов-философ, ныне покойный протоиерей Павел Александрович Флоренский, профессор Духовной Академии, разоблачивший ересь учения о св. Софии<sup>4</sup>, — автор книги «Столп и утверждение Истины», на изучение которой не жалко посвятить несколько лет своей жизни.

Розанов не любил ни писать, ни говорить о своем происхождении, — не о чем было писать и нечего было рассказывать. Родился он 20 апреля 1856 года в убогой, очень бедной мещанской семье, в уездном городке Ветлуга Костромской губернии. Гимназическое образование получил в Симбирске и Нижнем Новгороде, а затем окончил курс историко-филологического факультета Московского университета.

Единственно, чем он гордился, это своим чисто русским, как он выражался, *коренным* происхождением. Под этим выражением «коренным», насколько можно было понять Розанова, он имел в виду не только чистоту своей славянской крови и не только свою низовую генеалогию, но и свою здоровую, природную и никак и ничем не поврежденную, как теперь пишут, *русскость*.

По профессии Розанов был преподавателем словесности, истории и географии в Елецкой гимназии<sup>5</sup> и разночинцем в провинциальном обществе — скромный и незаметный. В 1893 году Розанов попадает в Петербург чиновником Государственного Контроля, прослужив по учебному ведомству всего тринадцать лет.

В русскую литературу он вошел незванным и совершенно неожиданным гостем. Остающееся от педагогической деятельности время он посвящал «пописыванию» в разные издания, но это «пописывание», это его первые литературные шаги ничем не отличали Розанова из рядовой «пишущей братии».

В 1898<sup>6</sup> и 1899 годах он опубликовал даже две свои книги в скромном издании П. Перцова. Одна представляла сборник статей Розанова на педагогические темы, другая — «Литературные очерки». Обе книги были «как все», ничего особенного, умно и толково написанные, и только. Ничего «розановского», как мы теперь понимаем это, в них не было.

Не сразу Розанов выявил себя известным нам Розановым. Семени его исключительного дарования долго лежали «под спудом» как бы несуществующими, переживая медлительный процесс брожения и всхождения. Это был период поистине мистический, — не то чтобы «исканий» и расчетливых размышлений и поисков, куда бы и как бы приложить свои силы. Это был момент созревания бутона неведомого цветка, и едва ли сам Розанов сознавал, что именно выйдет из этого бутона. Ни темы своей жизни, ни канвы своего творчества, ни стиля своего языка, ни манеры подхода к миру и к людям, — вообще ничего о себе в тот период Розанов не знал, — кто он, «пописыватель» или гениальный мыслитель и негаданной силы литератор.

И только в самых первых годах XX-го века, уже на склоне своих лет, когда его фельетоны стали появляться на страницах влиятельнейшей петербургской газеты «Новое время» (А. С. Суворина), бутон неведомого цветка начал распускаться, — облик подлинного Розанова быстро формировался в явлении исключительного порядка. Известность Розанова стала стремительно расти и привлекать у одних благожелательное внимание, у других настороженное.

Газета «Новое время» повсеместно в России читалась высшими представителями правительства, чиновниками всех министерств и ведомств, иерархами Церкви, военными кругами и гвардией и вообще всеми монархически настроенными кругами русского общества. Газета эта в своем политическом кредо стояла на страже государственных интересов исторической России.

И посему левой российской интеллигенцией называлась «консервативной» газетой, не идущей в ногу с «прогрессивной» политической мыслью, — «косной» и «отсталой». Эти круги встретили появление Розанова, выплывающего на большую волну, сперва сдержанно и крайне подозрительно, а затем вскоре открыто возненавидели его. Розанов оказался не их лагеря, а когда некоторые статьи Розанова появились и на страницах так называемой «либеральной» печати, эти круги стали ругать его «двурушником» и, наконец, «заклеймили» его «Иудушкой».

Левые круги, меряя все и всех шаблонной меркой, не могли разглядеть Розанова и понять, что широкий горизонт умствен-

ных озарений Розанова не укладывался ни в какие партийные шоры. Розанов по природе своей был вне всяких шор, он просто не умещался в них и не мог уместиться в них никак, — он видел то, чего они не видели, и понимал то, что им было органически недоступно. Они требовали «ответ по шпаргалке», «бег в крепкой узде», печать «передового борца», а Розанов бросал им «слова по существу», открывал им такие бездны в их «больных вопросах» и в ими же надуманных теориях «социального благоустройства», что г<оспо>дам «прогрессистам» ничего не оставалось делать, как или ругать Розанова, или замалчивать его и вообще отмалчиваться. Так они и поступали.

Спорить с Розановым, в серьезном смысле этого слова, г<оспо>да «прогрессисты» не могли. Они выступали с палками, а Розанов бил их пулеметом. Борющиеся стороны были разного калибра. И врагу, умственно слабому, но сильному своим напором, своей организованностью и своими деньгами, оставался лишь один путь, — улюлюканья и «запрета на Розанова». Но как замолчать того, о котором говорила вся читающая Россия, без мнения которого не обходился ни один религиозно-философский спор, с голосом которого считалась и голоса которого искала вся умственно чуткая русская элита!..

И Розанов шел своим путем, не обращая никакого внимания на это улюлюканье и даже не замечая его. Травля со стороны левых не мешала Розанову расцветать, с каждым годом увеличивая длинную вереницу своих искренних друзей, почитателей и поклонников. Правда, в крайне правом лагере были скептики, отвергающие Розанова, упрекавшие его в «заумничаньи», в «неуместном пересоле», в «странной гибкости» и даже не то чтобы безбожии, а в каком-то «кощунственном язычестве».

Но все это никак не колебало поступь Розанова. Он знал, что внутренне он прав, что во всей этой возне вокруг его имени много вздора, клеветы, интриг, зависти и страха. Завидовали потому, что рядом с ним никак нельзя было встать «в одну шеренгу». Как всякого гениального писателя, Розанова нельзя было имитировать, под него нельзя было подделаться и его нельзя было подделывать и подражать было невозможно. Розанов был и остается явлением в своем роде единственным и неповторимым.

Страх у левых перед Розановым был обоснован. Если бы влияние его и понимание его ширилось и углублялось по периферии всех русских общественно-политических кругов, то революционная акция по расшатыванию государственных устоев исторической России не только приостановилась бы, но стала бы сокращаться. Поэтому злоба против Розанова и поношение его вполне

понятны, — как понятно и то, что эта стихия черни, умственно и морально урезанная, болталась где-то у ног и под ногами Розанова, вызывая у него лишь досаду и брезгливость. Он эту стихию называл (вернее, — ругал) одним словом — «социал-демократией», желая подчеркнуть этим этическое ничтожество этой стихии, ее политическое убожество и невежество, — «передовое невежество», по его выражению. Насколько Розанов был «вопиюще» прав, это теперь хорошо и наглядно известно всем.

Что пророка и провидца всегда травили и даже побивали камнями — история обычная. Так было и так, очевидно, будет, ибо чернь есть чернь.

У нас так было с Гоголем, с Достоевским, с Константином Леонтьевым. Так случилось и с Василием Васильевичем Розановым.

\* \* \*

Но время шло. И вчерашние враги Розанова, наиболее совестливые, умственно наиболее трезвые и духовно наиболее свободные, мало-помалу убеждались, насколько глубоко подходил Розанов к шуму земли и насколько он верно хлестал своим словом тех «вонючих разночинцев», которые подрубали русские корни, чтобы заменить их ядовитой паутиной «осуществленного социализма».

В частности, наиболее отрезвевшими были Алексей Ремизов, Зинаида Гиппиус, Бердяев... Все они в конечном итоге своего «жизненного опыта» пришли к одному выводу, к заключению о том, что Розанов был «огромное явление в русской литературе», что он был «замечательным и оригинальным мыслителем», что «его недооценили в свое время» и «плохо понимали». При этом Бердяев то ли в шутку, то ли с вдумчивой мыслью как-то назвал Розанова «гениальным обывателем».

Да, Розанов был и обывателем, но и обывателем он был особенным, и главная особенность его сказывалась прежде всего в искренности и честности, в его простоте и доступности. И в наивности до порою непонятной вроде как бы юродивости. Какой другой писатель и философ мог так говорить о себе при жизни, как говорил и писал про себя Розанов в своих «Опавших листьях»:

«Во мне ужасно много гниды, копошащейся около корней волос. Невидимое и отвратительное. Отчасти отсюда и глубина моя»...

И тут же рядом Розанов пишет:



«Люблю чай, люблю положить заплаточку на папиросу (где прорвалось). Люблю жену, свой сад (на даче)».

«Хочу ли я играть роль? Ни малейшего желания» (с. 507). «Хочу ли я, чтобы очень распространилось мое учение? Нет! Вышло бы большое волнение, а я так люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон» (там же, с. 95).

Запись в Сергиевом Посаде от 9-го мая 1918 года. Великий Четверток:

«Только что простоял “со свечечками”. И опять пережил умиление».

Обывательское все это?

— Ну, конечно, обывательское, — скажет читатель, но в голос его послышится какая-то осечка.

Все это обывательское, — верно. Но написано все это не по-обывательски. Простоял «со свечечками»... Всего-то здесь два с половиной слова, а какая гамма впечатлений! Вот эта гамма впечатлений проходит через все литературное творчество Розанова, — гениальное творчество, «неудобное» для русских недругов, но близкое и дорогое русскому сердцу.

Только не надо смотреть на Розанова по-обывательски. Трудно это передать словами, — Розанова надо чувствовать.

\* \* \*

Тут же, сейчас же хочется сопоставить эти розановские «свечечки» и это розановское умиление от Четверговой службы с фразой Феофана, впоследствии архиепископа, а тогда инспектора Петербургской Духовной Академии<sup>7</sup>, сказанной им в объяснение, почему он вышел из комнаты, завидев Розанова:

— Оттого ушел, что Розанов пришел, а он — Дьявол!

Но дальше.

Такие вопросы, как

— Был ли Розанов церковным человеком?

или

— Был ли Розанов антисемитом?

или

— Был ли Розанов монархистом? —

такие вопросы о Розанове бесполезно, да и нельзя было задавать, их в серьезных кругах и не задавали. Не умещается Розанов в рамках вот таких обывательских вопросов, ибо такие вопросы обычно задавались, чтобы сопоставить с кем-то и определить то или иное лицо, — чтобы или укорить и обличить, или похвалить и порекомендовать — вообще как-то охарактери-

зывать. А с кем Розанова можно было сопоставить, коли он был единственным по своему глубокому и многогранному своеобразию?! Чтобы «легко и просто» определить Розанова с обычной точки зрения, нужно быть или предвзятым, или органически узким, или вообще верхоглядом, не отдающим отчета в своей болтовне.

Так обычно и шло определение Розанова. Когда вышла его книга «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», еврейские круги с яростью «заклеймили» его антисемитом, варваром и мракобесом, но не посмели назвать лжецом, а Розанов в этой книге никакой пропаганды против евреев не вел, — он вскрывал в ней отношение евреев к крови в мистическом плане обрядовой стороны, также как это он делал, копаясь в «египетских пирамидах». Евреев возмущало, — зачем Розанов вскрывал это отношение и шел в своем анализе так далеко. «Какое ему дело до наших обрядов?»...

Когда же вышли такие розановские книги, как «Когда начальство ушло», «Темный Лик» и «Люди лунного света», те же еврейские круги и та же «передовая» печать считали Розанова если не своим, то своим «без пяти минут», — он «вскрывал пороки царского правительства», он «обнажал темные стороны омещанившегося христианства», он «уличал черноризцев в праздности и тунеядстве»... Тогда как на самом деле ни того, ни другого, ни третьего в этих книгах Розанова не было, но толковать их можно было и вкривь и вкось, прилаживая те или иные отдельные мысли Розанова к тому или иному трафарету или к тому или иному политическому коленцу или «философскому» выверту розановских «обозревателей».

То же и по монархической линии. Книги «Когда начальство ушло» и «Люди лунного света», выпущенные Розановым в 1905–6 годах в Париже<sup>8</sup>, очень не нравились петербургским монархистам. Они укоряли и даже обвиняли Розанова в «нелояльности», в «чрезмерном вольнодумстве», в «бесцеремонном нарушении и даже попрании верноподданнических чувств», чуть ли не в измене «Трону и Церкви». И в то же время, «под секретом и втайне», учились «монархической мудрости» по розановской книге «О подразумеваемом смысле нашей монархии», выпущенной в 1912 году, в которой особенно штудировали VII-ую главу (с. 48–54).

В этой книге Розанов освещал глубинную сущность монархического начала вообще и Русской Монархии в частности так, как никто не освещал до него и после него. Наиболее яркие, характерные и показательные выдержки из этой книги читатель найдет дальше.

Эта одновременная «любовь» и «ненависть» к Розанову, тяга к нему и отталкивание от него, приятие его и его отвержение лишь повторно показывают, что нельзя ценить или не ценить бриллиант по тому или другому *одному* лучу. Розанов поистине был велик и поэтому к его творчеству приходится и нужно подходить с величайшей осторожностью — не в смысле боязни принять «гнилушку за породу», а в смысле уразумения его.

Розанов честен до конца и во всем. И если что-то в нем нам не нравится, кажется «странным» и «неудобоваримым», то исключительно потому, что мы еще «не охватили предмета». Умные враги Розанова понимали силу глубины розановских озарений и его провидений и поэтому молчали о нем «до крайнего случая», видя не только бесполезность, но и вред и даже комизм спора с ним. Что бы, как бы и где бы Розанов ни писал, конечные выводы и утверждения Розанова никак не совпадали с «программными установками» его врагов, — Розанов твердо шел к Богу и к Царю, но шел не нашими путями. У него был свой аршин, свои весы и свой ланцет, чего мы часто не учитываем и потому до сих пор называем его «путанным».

Путанного у Розанова и в Розанове ничего нет. Он не прыгал по кочкам, не метался по боковым тропинкам, никогда не делал никаких заячьих петель. Перед ним, в его нутре развертывалась ясная и прямая дорога, и он в каком-то смысле, как сомнамбула, даже не шел, а несся по этой дороге, видя и рассказывая нам то и так, что не всегда укладывалось в нашем мозгу и не всегда бывает близко нашему осознанию.

\* \* \*

О Розанове как в свое время, так и теперь много писалось и пишется «за» и «против». И что всего характернее, как те, так и другие в своей критике Розанова не дают его какое бы то ни было определение. Кто же Розанов, что он собою представляет, — положительное явление на ниве русской мысли или отрицательное? Вопрос этот элементарный и плоский, ибо даже «злой» гений по внутренней сути своей есть явление положительное, — ибо гений есть гений, — отмеченная богом особь. Но именно с таким вопросом если не открыто, то «втайне» подходят к Розанову. И потому теряются в его определении — «Розанов как будто бы положительное явление» и в то же время он «как будто бы и отрицательное». Отсюда недоношенность всей критической литературы о Розанове.

Все сходится на том, что Розанов — гениальный публицист, что он обладал даром глубокого аналитика в отношении людей и событий, умел проникать в суть и понимать эту суть, что не было таких вопросов и тем, на которые не откликнулся бы Розанов с присущим ему озарением, что влияние Розанова было и остается огромным, но, как пишут критики, влияние это мало-заметно, ибо «Розанов был растрепанным в своих мыслях» или, как выразился о нем Ив. Солоневич<sup>9</sup>, — «путанным».

Каждый из критикующих Розанова, как бы ни старался быть «объективным», — мысленно, а то и «конкретно» сравнивал его с кем-либо из «больших» писателей, сопоставлял и неизбежно находил из этого сравнения «пороки» Розанова: кто «ложность» его, кто — «бесстыдство», а кто даже и «кощунство». Так, суживая свой подход к Розанову и при этом всегда забывая сугубое своеобразие гениальной даровитости Розанова, которое начисто исключало возможность сравнивать Розанова с кем бы то ни было, господа критики ограничивали поле своего зрения и видели Розанова лишь в какой-то его части или в каких-то двух-трех «разрозненных» частях, а не в целом. И фактически не Розанов выходил из-под пера этих критиков «растрепанным» и «путанным», а понимание, знание и оценка этого мыслителя получалась у критиков и растрепанной, и путанной.

Розанова надо брать в несравнимой его самоцветности и в неповторимой его индивидуальности. Как человек, да еще с такой пытливей отзывчивостью буквально на каждую «злобу дня», Розанов мог в суете своей журнальной (ежедневной) работы делать «неувязки», тот или иной «перегиб» или «недогиб», ту или иную крайность или недосказанность, — но не в них, не в этом ворохе обыденщины и не в этих мелочах текущей прозы жизни ценен, важен, интересен и значителен Розанов.

Ценен и значителен Розанов полностью и чистотой своего русского гения. На его миро-ощущении нет даже тени влияния извне. Розанов был настолько силен и сила его гения настолько глубока, что его вернее всего рассматривать как самородок в его первозданном виде, — как самородок золота, а не слиток золота. Различные философские системы Розанов знал хорошо, но он был вне их. Эти системы были не в его масштабе, не в его перспективе. Розанов не видел в них «последнего слова», — в них ему не к чему было прислушиваться, и они проходили мимо, внутренне не задевая и никак не «трансформируя» его. Гений Розанова настолько само-цветен и само-бытен и в то же время энциклопедичен по своей интуитивной природе, что искать чего-то или каких-то ответов и откровений «на стороне» у него про-

сто не было надобности. В этом смысле Розанов был несомненно феноменальным явлением. И оценивать Розанова по той или иной грани его творческой мысли, это значит просто не понимать его, — не видеть его в целом, не чувствовать его всего.

Единственным «серьезным недостатком» Розанова является отсутствие у него «стройно изложенной доктрины», как это принято понимать у «классических» философов и богословов. Этот свой «недостаток» или «упущение» или «пробел» Розанов и не стремился исправить, — он не стремился все свое собрать воедино, — свое «учение» уложить в какие-то стройные рамки, разбить на отделы, главы и параграфы. Это он считал и смешным и ненужным.

Возможно, у Розанова не хватало времени, чтобы заняться этим «укладыванием в рамки» длинной цепи своих мыслей, — но возможно и то, что он и не искал, а если и искал, то не находил этих рамок, — в которые уложилась бы его доктрина, как он ее понимал, и чтобы ее поняли другие.

Но будет время, и в этом сомневаться не приходится, когда найдется «исследователь Розанова» — *понимающий* его, который и соберет мысли Розанова, рассортирует их по духу и по их прозрениям, как-то систематизирует их, выявит их цельность и ясность и тем оформит розановское учение. Близкие ему по своему душевному настроению и по складу своего умственного характера видели связанность розановских мыслей и их определенность, — определенность его *миро-ощущения*, и потому не находили в Розанове ни «растрепанности», ни «путанного».

Автор этих строк и до революции и после нее многократно сталкивался с этими многими *близкими* Розанову и никогда не слышал от них «гнева» на Розанова, недоумения или раздражения. Правда, не было и «осанны», того современного демагогического кликушества вокруг рекламируемых кумиров улиц, которое так всегда отдает дешевкой. Но зато было главное, *неприемлемое* улицей, тем «вонючим разночинцем», который сегодня так ликующе справляет «бал» своей торжествующей пошлости, — было самое главное: — принятие *внутренней* преданности Розанова Церкви, Царю и своему Народу Русскому и страха Розанова за судьбу всех их — «взятых в горсть»...

И рассматривал Розанов это триединое начало, специфически *русское* начало, не с политической точки зрения партийного порядка. Всякую политику, а партийную в особенности, Розанов презирал, — он рассматривал это начало с государственной, вернее, религиозно-государственной точки зрения, то есть, проникал в сердцевину существа вопроса. И, так как Розанов был *свободен* в своей мысли, чист и честен, то вскрывал *подлинные*

*основы народного цветения*, извлекая эти основы из-под шелухи преходящего. И смеялся над теми «парт-работниками», которые дальше этой шелухи ничего не видели или не смели видеть и которые превращали эту шелуху в фетиши и лозунги своей «борьбы за счастье народное», за «невыразимо прекрасное будущее».

Все это опускается критиками Розанова.

Частые встречи и беседы с Розановым неоднократно убеждали автора этих строк, что Розанова надо или приять положительно, или отвергнуть целиком. Рассматривать же — «критиковать» Розанова в плане лишь какой-то одной грани его творчества — значит спекулировать им, даже больше, — дискредитировать его гениальную даровитость как большого русского самородка-мыслителя исключительного порядка.

\* \* \*

Каково значение Розанова для России? Громадно, — и в русской литературе, и в русской истории, и в русской науке. Значение именно *для* России, ибо Розанов вложил в сокровищницу русской культуры поистине богатый и диковинный дар глубокой *русской* мысли.

Наша русская вина в том, что мы очень медленно раскрываем Розанова, не ищем его и подхода к нему, — чтобы ближе, лучше и внимательнее разглядеть его и через него ярче и тверже осветить свой *русский* путь...

Мы не ставим Розанова в ряд с кем бы то ни было из русских мыслителей, не вплетаем его имя и в жемчужную нить наших славянофилов, полной мерой взвесивших и определивших этот наш русский путь. Розанов по духу своему, по своему душевному настроению и по своим умственным озарениям был очень близок ко всем им и, в частности, особенно к Достоевскому. И входил в плеяду именно этих звезд, но горел Розанов настолько особо и свет его звезды настолько своеобразен и силен, что он невольно выделяется из всех своей феноменальной индивидуальностью, находясь как бы «на отлете» от них, но крепко и природно пребывая в общей орбите подлинно русской даровитости и подлинно русского мировосприятия, до конца сохранивших свою чистоту — в своей независимости.

Из того немногого, скупого и беглого, что приведено нами *розановского*, читатель видит, как много у Розанова *поучительного* для всех нас, русских людей, верящих в Россию и любящих ее, религиозно и государственно историческую. Но и правые и левые держали Розанова «за железным занавесом», не давая ему

хода в широкие круги русского общества. Правые «вели» себя так потому, что не охватывали его в целом и потому не понимали его, — и потому что не видели в Розанове того источника живой воды, который помог бы им лучше ориентироваться в судьбах русской истории и определить полнее дух, объем и направление своей работы.

Розанова читали «как всех читают». Но Розанов не для чтения, а для воспитания — умственного и душевного. *Только* читающие Розанова проходили мимо него тепло-прохладными и в русской жизни пропадали для России...

Левые держали и держат Розанова «за железным занавесом» из-за вполне определенной неприязни к нему. Розанов — не их поля ягода. В нем, как и во всем исторически-русском, они усматривали и «выпирали» наружу только одно «темное» и «отрицательное» и заведомо малозначащее и совсем не-характерное для Розанова и тут же смаковали все то «корявое», что так «царапало» в Розанове правых. И представляли его «публике» скорее «своим», чем «чужим». В общем, — буквально сбивали у своих читателей мозги набекрень.

Левые боялись Розанова, они понимали его русскую громадность, — громадность его авторитетной, бесспорной и острой мысли. Они прекрасно сознавали, что широкое раскрытие этой громадности грозило их посягательствам, и потому всегда держали и держат Розанова в тени, на отшибе от «ведущей элиты», в нарочитом умалении розановского дарования, розановского значения для России, для борьбы за Россию и не только за нее...

Закончим мы свою книгу выдержкой из статьи Э. Ф. Голлербаха напечатанной в «Летописи Дома литераторов» № 8–9 от 25 февраля 1922 года (Петроград).

Вот что пишет Голлербах:

«Предсмертные дни В. В. Розанова были сплошной осанной Христу. Телесные муки не могли заглушить в нем радости духовной, — “поцелуемся во имя воскресшего Христа. Христос Воскресе! Как радостно, как хорошо!.. Со мной происходят, действительно, чудеса, а что за чудеса, — расскажу потом когда-нибудь”... Перед самой смертью страдания утихли. Он четыре раза причащался по собственному желанию, — один раз соборовался, три раза над ним читали отходную, во время которой он скончался без мучений, спокойно и благостно».

*22 января по ст. стилю, в час дня, 1919 года,  
в Сергиевом Посаде, — под Москвой.*







**А. Д. СИНЯВСКИЙ**

## **С носовым платком в Царстве Небесное**

Обычное свое состояние, тем более состояние творческое, Розанов определял словами «задумчивость» или «зачарованность». Порою он страдал от нее и ощущал это как самый тяжелый грех.

«Иногда чувствую что-то чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничего не входит.

Я каменный.

А камень — чудовище.

.....

Она съела меня и все вокруг меня» \*.

Подобного рода покаянные настроения в большинстве случаев вызваны болезнью жены, к которой, по словам Розанова, он был недостаточно внимателен, а если и был внимателен, то лишь выходя из себя, то есть нарушая привычный круг, очерченный задумчивостью, совершая над собой как бы некоторое насилие. Но избавиться от этого качества или состояния он не мог, потому что это совпадало с его писательской натурой, с его, как он говорил, эгоизмом.

По-видимому, это было не только его личным, субъективным ощущением. Свой очерк воспоминаний о Розанове 1923 г. Зинаида Гиппиус назвала «Задумчивый странник», явно перекликаясь с повестью Лескова «Очарованный странник». И еще лучше слова «задумчивость» это господствующее умонастроение или состояние души Розанова передает понятие «зачарованность». Потому что зачарованность предполагает чару, наваждение, сверхъестественную власть, выключаящую человека из обычного потока жизни и нормального образа мыслей.

«В мышлении моем всегда был какой-то столбняк.

---

\* В. Розанов. Опавшие листья, с. 407.

\* \* \*

Я никогда не догадывался, не искал, не подглядывал, не соображал. Эти обыкновеннейшие способности совершенно исключены из моего существа.

\* \* \*

Но меня вдруг поразило что-нибудь. Мысль или предмет. Или «*вот так бы (оттуда бы) бросить свет*». «Пораженный», я выпучивал глаза: и смотрел на эту мысль, предмет, или «*оттуда-то*» — иногда годы, да и большею частью годы.

В отношении к предметам, мыслям и «оттуда-то» у меня была зачарованность. И не будет ошибкой сказать, что я вообще прожил жизнь в каком-то очаровании.

Она была и очень счастлива и очень грустна» \*.

Из этих строк нам становится яснее, почему такой карикатурный автопортрет нарисовал Розанов, сказав о себе: «с выпученными глазами и беспрестанно облизывающийся». Это — поза мыслителя, пораженного какой-то идеей, упершегося мыслью, глазами в какую-то одну точку. И нужно сказать, что эта карикатурная внешность («выпученные глаза» и проч.) достаточно точно передает состояние глубокой задумчивости. В пояснение характера розановской задумчивости сошлюсь на близкого ему по духу и по типу мыслительного процесса — Льва Шестова. В «Апофеозе беспочвенности» Шестов дает следующий портрет думающего человека, думающего глубоко и нешаблонно.

«Художники и мыслители, — говорит Шестов, явно полемизируя с распространенной, банальной точкой зрения на философию и на образ философа, — представляют себе думающего человека непременно в импонирующей позе: строгое лицо, глубокий взор, вдохновенно направленный вдаль, гордая осанка — орел, готовящийся к полету. Ничего подобного! Думающий человек есть прежде всего человек, потерявший равновесие в будничном, а не в трагическом смысле этого слова. Растопыренные руки, болтающиеся в воздухе ноги, испуганное и наполовину бессмысленное лицо, словом, самая карикатурная и жалкая картина беспомощности и растерянности» \*\*.

Это очень похоже на состояние Розанова, когда он, допустим, говорит, что от какой-то мысли он чуть было не сел на пол или что он находится в каком-то столбняке. Это состояние крайней

---

\* Там же, с. 302–303.

\*\* Лев Шестов. Собр. соч., т. IV, с. 131.

сосредоточенности — при рассеянности ко всему остальному. Это — мысль, уже превратившаяся в жизнь и целиком забравшая себе человека.

Возвращаясь к розановскому признанию по поводу его вечной зачарованности, следует также отметить внезапный и непроизвольный характер описанного состояния мысли. Розанов не ищет и не рассуждает, а как бы натывается нечаянно, наталкивается на что-то и останавливается пораженный. Пораженностью каким-то предметом или возможностью взглянуть на этот предмет с какой-то другой, новой стороны (как говорит Розанов — оттуда-то или оттуда-то) и приводит к тому, что Розанов как бы намертво отключается от окружающей действительности и начинает жить целиком в самом себе. Это и есть то, что Розанов называл своей бесконечной субъективностью. Но мир, исключенный из поля зрения, переносится внутрь сознания — разумеется, уже в каком-то преображенном, трансформированном виде. «Я» писателя, пребывающее в состоянии замкнутости и внутренней полноты, откуда выходить, родиться вновь на свет просто не хочется, превращается в микрокосм, в модель мироздания. Оно подобно макрокосму, и вместе с тем оно вполне самостоятельно, автономно по отношению к миру вообще и до предела субъективно. Так что перед нами возникает еще один образ Розанова, составляющий как бы ядро его книги и личности. Это комок его души, комок его «я», которое, подобно космосу, заключает в себе все и держит внутри себя целый мир или даже миры. *Мироощущение* Розанова здесь совпадает с его *самоощущением*, и жизнь и образ жизни — с жизнью внутри себя. Это и есть чистое состояние зачарованности или задумчивости. Внешне он маленький и даже комичный, а внутри велик и разнообразен, бесконечен.

«Какими-то затуманенными глазами гляжу я на мир. И ничего не вижу.

И параллельно внутри вечная игра. Огни. Блестки. Говоры.

Шум народов. Шум бала.

И как росинки откуда-то падают слезы.

Это душа моя плачет о себе.

(у постели больной мамы)» \*.

Самое важное здесь — отгороженность, обособленность Розанова от всего: «ничего не вижу», и вместе с тем огромность, полнота внутренней жизни, где содержится и вся мировая исто-

\* В. Розанов. Опавшие листья. Короб 2-й, с. 428.

рия («шум народов»), и свое небо, откуда падают слезы-росинки. Писательское «я» обращается в некий независимый параллелизм по отношению к миру. Это состояние внутренней полноты и самодостаточности, так же как и замкнутость и вместительность этого микрокосма, можно передать строчками Тютчева, где тоже «я» поэта расширяется до размеров вселенной, не выходя при всем том за собственные рамки.

Лишь жить в самом себе умей!  
Есть целый мир в душе твоей  
Таинственно-волшебных дум;  
Их заглушит наружный шум,  
Дневные ослепят лучи, —  
Внимай их пенью и молчи!<sup>1</sup>

Спрашивается: почему же при такой отрешенности от внешней жизни, от всего мира, при такой воле к мечте, Розанов все же не производит на нас впечатления романтического мечтателя, витающего в небе? Напротив, при чтении «Опавших листьев» общее ощущение, которое остается у нас, это ощущение совсем не заоблачной, а очень земной книги и земной прозы. Это происходит по многим причинам, среди которых, в первую очередь, надо указать на специфический характер самой мысли, самой мечты, самой зачарованности Розанова. Это уже совсем не беспредметная мечтательность и не просто погруженность в свои думы. Его мечта всегда на что-то направлена и на чем-то сосредоточена, будь то какая-то мысль, его поразившая, или предмет, или особый угол зрения на этот предмет. Здесь особенно важен эпитет «пораженный», который применил к себе Розанов, говоря о вечной своей задумчивости. Нельзя быть пораженным вообще, беспричинно. Поражает всегда — «что-то»: и пораженный «чем-то», Розанов столбенеет, не в силах оторвать взгляда от того, что его поразило. Его мысль не блуждает в данный момент, а как бы вливается в предмет, ее поразивший. Сама мечта, таким образом, приобретает очень конкретный и волевой характер. Не случайно Розанов говорил не просто о своей мечтательности, но о том, что у него необыкновенная, сверхъестественная *воля* к мечте. При безволии и безразличии по отношению к внешней жизни — *такая* воля к мечте, что ее с места не сдвинешь никакими сторонними усилиями. Обычно понятия «воля» и «мечта» — противопоставляются. Волевое напряжение как бы исключает мечту. Воля пряма и целенаправлена, а мечта туманна и недостижима. А у Розанова «мечта» и «воля» совпадают. Мечте сообщается волевое напряжение. Точнее сказать, она уже изначально обладает волевым напряжением, доколе

Розанова что-то поражает, что-то зачаровывает. Зачарованность Розанова в результате — это повышенное внимание к чему-то и заострившееся до крайности восприимчивость чего-то. Отсюда и необыкновенная предметность его мысли, даже если предметом становится какая-то мысль. Но именно *какая-то*, имеющая точный образ и точный адрес. И в итоге сама мысль приобретает явные предметно-чувственные очертания. Поэтому Гиппиус и писала о Розанове в своих мемуарах:

«У Розанова нет “мыслей”, того, что мы привыкли называть “мыслью”. Каждая в нем — непременно пронзительное *физическое* ощущение»\*.

Мысли, попавшие, в поле розановской зачарованности, не проносятся в голове, но переживаются и в ходе переживания обрастают как бы физическим телом, обретают кровь и плоть. И воспринимаются нами уже не просто как мысли, но как образы, вызывая пронзительное физическое ощущение.

У Розанова удивляет, а некоторых иногда и шокирует, материально-предметный характер сравнений, к которым он прибегает. Причем эти сравнения или уподобления применяются к понятиям сугубо духовным и отвлеченным. Скажем, Розанов сравнивает свои мысли с калошами в дырках, и мысли в дырках. Райское блаженство — как арбузы, которыми будут поить на том свете. А мысль о посмертном существовании приходит в теснейшей соседстве с вентилятором. Может быть, потому, что в тихом свисте вентилятора Розанову слышится что-то тоскливое, томительное. А может быть, теплый ветерок, дующий от вентилятора, напомнил ему о духе, и дух обрел свою вещественную форму. Не так важно, почему именно вентилятор натолкнул его на эти мысли. А важно, что он хочет, чтобы и на том свете, оттуда, он или жена его могли слышать вот этот вентилятор. В итоге бессмертие души приобретает крайне материализованный, крайне предметный образ.

Вот ситуация, позволяющая увидеть в более широком контексте, как рождаются подобного рода сравнения. Речь идет опять-таки о бессмертии души и существовании за гробом. Все вначале разворачивается как бытовой эпизод: Розанов едет в церковь и ставит две свечи — одну за упокой души старицы Александры, а вторую — о болящей, очевидно, о выздоровлении своей жены.

«Весь торопясь, я натягивал сапоги, и спросил Надю: “Не поздно ли?” — “Нет еще, половина одиннадцатого”. — “Значит, опоздал! Боже мой. Ведь

---

\* З. Н. Гиппиус. Живые лица. Выпуск второй, с. 66.

начинается в девять”. — “Нет. В *десять*”. В две минуты я надел нарядное платье (в церковь) и написал:

### За упокой души старицы Александры

взял извозчика за гривенник до Александра Свирского и уже был там.

Теснота. Духота. Подаю: — “Не поздно?” — “Нет”. Кладу на бумажку гривенник. “И две свечки по пяти коп.” — и прошел к “кануну”.

Первый раз *за усопшего* ставлю свечку “*на канун*”. Всегда любил его, но издали, не подходя. Теперь я увидел дырочки для свеч в мраморной доске, и вставил свою. Поклонился и иду ставить “к Спасителю” о болящей.

Продираюсь. Потно. Душно. Какая-то курсистка подпевает “Господи, помилуй” певчим. — “Буду ставить Спасителю свечки”, — подумал. — “Поможет”. А задним умом все думаю о “кануне” и что написал

### “О упокоении души”...

Как о “упокоении души?” Значит она *есть... живет... видит* меня, увы, такого дурного и грешного... да кто всему этому научил?

#### — Церковь.

“Она”, пререкаемая, она — позоримая, о которой ругаются газеты, ругается общество, что “долги службы”, что там “пахнет тулупом”, и “ничего не разберешь в дьячке”...

Научила, о чем едва смел гадать Платон, и доказывал философскими извитиями мысли. Она же прямо и дивно сказала:

— Верь! Клади гривенник! “Выну частицу” и душе будет легче. И она взглянет на тебя оттуда и ты почувствуешь взгляд.

“Гривенник” — так осязательно. Как что две булки за гривенник — несомненно в обиходе и лавочке. Значит “бессмертие” души так же несомненно, близко, осязательно, как булка в булочной\*.

Вся эта сцена написана главным образом ради финала, ради сравнения бессмертия души с гривенником и с булкой в булочной. Отсюда, в начале рассказа, все эти бытовые подробности, казалось бы, необязательные — то, что Розанов взял извозчика за гривенник, а потом в церкви положил на бумажку, где написано «за упокой», тоже гривенник и взял две свечки по пять копеек. Все эти детали, так же как густой бытовой антураж — теснота, духота в церкви, служат подкреплением последнего сравнения — с гривенником и с булкой «бессмертия души». И вот что замечательно: в торжественной церковной обстановке розановскую веру в бессмертие укрепляет не что-нибудь другое, а именно гривенник, поданный за упокой, а потом, по ассоциации — что можно купить за гривенник? — булка. Почему именно гривенник и булка? По одной простой причине — по их наглядности, осязаемости, физической предметности. Царствие Небесное столь же реально, как гривенник, как булка.

\* В. Розанов. Опавшие листья. Короб 2-й, с. 254–256.

Нужно сказать, что к подобного рода сближениям самой высокой мистики или метафизики с самыми простыми и осязаемыми вещами повседневного быта — прибегали довольно часто средневековые авторы. Протопоп Аввакум рассказывает в своем *Житии*, как однажды, когда он сидел в тюрьме на цепи и изнемогал от голода, к нему явился Ангел, по-видимому, и дал ему щей похлебать, а в руки сунул ложку и немножко хлеба. И об этих щах Аввакум говорит: «зело прикусны, хороши!». И вот эти щи служат у Аввакума лучшим, самым реальным подтверждением и удостоверением чуда. Чисто стилистически мы это называем средневековым реализмом.

А во времена Розанова на такой «реализм», на такую предметность в изображении мистических явлений никто не отваживался. На эту тему — о потустороннем — больше всего тогда писали символисты. В саму задачу символизма входило перейти от изображения здешнего, видимого мира к уловлению мира иного, нездешнего, перейти от *реального* к *реальнейшему*, как формулировал эту задачу один из вождей русского символизма Вячеслав Иванов. Но поскольку потустороннее мыслилось крайне отвлеченно и рассматривалось как нечто сверхчувственное, — на практике у символистов получалось нечто обратное: не от реального к реальнейшему, а от реального к нереальному, то есть к чему-то туманному, неопределенному, беспредметному. Проблема религиозного искусства вырождалась в сферу мистической мечтательности. И в этом заключалась трагедия символизма и одна из причин кризиса символизма. Это был не только кризис стиля, но кризис веры и мировоззрения. Потусторонняя область, куда стремились символисты, была для них слишком недоуверенной и мыслилась как прекрасная отвлеченность. Но ведь если *тот* мир более реален, чем *этот*, то и в художественном изображении он должен предстать *реально*. Ведь само понятие «сверхъестественное» или «сверхчувственное» обозначает не только потерю чувства и потерю естества, но и приобретение чего-то более острого, более наглядного, чем обычное естество. А поскольку искусство оперирует чувствами и ощущениями, оперирует словами и не может из этого выскочить, покуда оно остается искусством, — значит, здесь, в изображении потустороннего, следует идти на сгущение предметности. Это понимали средневековые мастера, и это понял Розанов, когда осмелился сравнить Царство Небесное с осязаемостью гривенника, с осязаемостью булки. Это не было кощунством, не было стремлением снизить традиционно высокий образ, а служило наилучшим подтверждением сверхреального мира. Потому что розановский гри-



венник в соединении с Царствием Небесным врезается в наше сознание своей крайней предметностью, благодаря чему и Царствие Небесное становится невероятно предметным и достоверным.

В итоге допустимо сказать, что задачу, над которой бились и которую, в общем, не смогли решить русские символисты, Розанов решает. Его «Опавшие листья» в каких-то кусках можно считать образцом подлинно религиозного искусства. Притом искусство вполне современного и актуального, а не стилизованного под старину, под какие-нибудь средневековые образы.

Почему же Розанову удалось сделать то, что не удавалось другим? Прежде всего, конечно, за счет его удивительной стилистической одаренности и стилистической смелости. Но причина его успеха еще глубже коренилась в некоторых специфических особенностях его мировоззрения, его символа веры. Стиль в данном случае был лишь внешним проявлением его символа веры. И дело не в том, что Розанов сильнее верил в Бога и в Царствие Небесное, чем другие авторы, допустим, из круга символистов. Как мы только что видели, придя в церковь и вспомнив слова «за упокой души», слова, за которые он заплатил гривенник, Розанов словно впервые спохватывается: так, значит, Оно существует, Царствие Небесное! Разумеется, это тоже стилистический прием, и разумеется, Розанов все это и раньше знал. Но в данном случае он как-то особенно остро это почувствовал и остро передал.

Итак, разгадка не в силе веры и не в силе убежденности Розанова, а в том, что он хочет верить в Царствие Небесное и в посмертное существование только как в самую осязаемую реальность. Иное ему не нужно, иное его просто не интересует. Ему чужды мысли о бессмертии души как о некой высокой отвлеченности, как о чем-то прекрасном и неопределенном. Если есть бессмертие, если человек продолжает жить за гробом, то он должен жить полностью, во плоти, как он есть, даже не исключая вот этот вентилятор, который он должен *оттуда* слышать. Либо посмертного существования нет, либо оно столь же конкретно, реально и осязаемо, как вот эта булка, вот этот гривенник, — такая логика Розанова, такой розановский максимализм: или — или.

В следующем отрывке речь пойдет о Шперке — о друге Розанова, который давно умер, еще в 90-е годы, умер молодым сравнительно человеком. Шперк был писателем, из числа забытых, из числа, что называется, неудачников, которых Розанов особенно любит и помнит. Шперк выпустил шесть или семь не-

больших брошюрок на философские темы. Кроме того, писал стихи и так же, как Розанов, сотрудничал в газете «Новое время». Вообще о Шперке, как писателе, почти ничего не известно. Но его личность Розанов восстанавливает, воссоздает, и фигура, и имя Шперка постоянно мелькают на страницах «Опавших листьев».

«Сказать, что Шперка *теперь совсем нет на свете* — невозможно. Там м. б. в платоновском смысле “бессмертие души” — и ошибочно: но для моих друзей оно ни в каком случае не ошибочно.

И не то, чтобы “душа Шперка — бессмертна”: а его бороденка рыжая не могла умереть. “Бызов” его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на конке — направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А “душа” его “бессмертна” ли: и — не знаю, и — не интересуюсь.

*Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не “заплатывается” с тех пор, как была. Это лучше “бессмертия души”, которое сухо и отвлеченно.*

Я хочу “на тот свет” придти с носовым платком. Ни чуточки меньше»\*.

Бессмертие Шперка, если оно действительно имеет место, состоит по Розанову в полном сохранении не только души и даже не столько души, сколько его неповторимого физического облика. Важно, чтобы от Шперка остались материально-предметные признаки его личности — рыжая бороденка (которая не могла умереть, хотя Шперк и умер), дырочка на сапоге — в том самом виде, какой она была при его жизни, и то, что Шперк приезжает в гости к Розанову на конке, и всегда в сопровождении приятеля, который к Розанову никогда не заходил, но дожидался Шперка у ворот, приятеля по фамилии «Бызов». Уже одна эта фамилия «Бызов» много чего стоит, фамилия человека, которого мы не видели и не знаем, да и сам Розанов его никогда не видел. И тем не менее он акцентирует эту фамилию «Бызов» как материальную принадлежность Шперка, потому что эта фамилия, ничего не обозначая, чисто стилистически — звучит крайне материально, даже вульгарно, и врезается в наше сознание, как тот же «гривенник», удостоверяющий Царствие Небесное. Фамилия «Бызов» физически осязательна. И не случайно через двести страниц Розанов возвращается к «Бызову» — опять же в связи со Шперком.

Итак, бессмертие Шперка мыслится Розановым как точное и материальное воспроизведение Шперка, как если бы тот был живым и конкретным человеком. И в подтверждение этой идеи

\* В. Розанов. Опавшие листья, с. 26–27.

сам Розанов намеревается явиться на тот свет в полном своем физическом облике.

Конечно, можно оспорить столь материальные представления Розанова о бессмертии и потустороннем мире. Но именно благодаря таким предметно-материальным деталям мы и имеем перед собою художественную прозу. Если бы Розанов рассуждал о бессмертии души вообще как о какой-то метафизической проблеме, это был бы богословский трактат либо философское эссе — не больше. А в данном случае — в «Опавших листьях» — перед нами художественный текст, в котором мысли автора, даже самые отвлеченные, приобретают характер «пронзительных физических ощущений», как сказала о Розанове Зинаида Гиппиус.

Однако это не только стилистика, не только литературный прием, и за предметно-материальными признаками розановской прозы стоит религия Розанова, благодаря которой эти признаки и могли проявиться и получить такое развитие. А именно, Розанов жаждал и требовал полного бессмертия. Вспомним, что религия Розанова — это религия Бога-Отца, который заботится о своих детях — о людях в их земном облике и в земном существовании — и переносит эти земные признаки к Себе, на небо. Материя, сотворенная Богом, священна и божественна, так же как всякая плоть — плоть мира, плоть человека, плоть животного. В самой плоти лежит Божье зерно, Божье семя. Поэтому мы и встречаем у Розанова такую, например, запись:

«Без телесной приятности нет и духовной дружбы. Тело есть начало духа, корень духа. А дух есть запах тела»\*.

Это совсем не материализм, хотя тело ставится в начале духа. А это стремление передать, представить духовность тела, ведущего свое происхождение от Бога. И — соответственно — представить телесность духа, который Розанов именуется «запахом тела», то есть придает духу физический образ, согласно с материально-предметным характером своей мысли и прозы. Конечно, на самом деле для Розанова в начале начал — дух (то есть Бог). Но сам этот дух — и божественный и человеческий — обладает телесностью и проявляется телесно. И поэтому — корень всего пол, заключенный не только в теле, но и в душе и в духе.

Если говорить философским языком, Розанов стремился к монизму — к единству плоти и духа, к единству земли и неба, к единству Бога и человека, притом человека, взятого в самом его реальном, физическом образе. Всякий ущерб, причиненный земле

---

\* Там же, с. 434.

или плоти, он почитал за оскорбление, нанесенное самому Богу. И поэтому Розанов пошел против Христа и против христианства, точнее сказать, против христианского дуализма, против разделения плоти и духа, земли и неба, пола и Бога. Дух, взятый вне плоти и противопоставленный плоти, Розанов рассматривал просто как какую-то фикцию, как мнимость. Поэтому он и говорит, что бессмертие души Шперка, только души, потерявшей образ самого Шперка, его не интересует. Разумеется, это сказано с вызовом, с полемическим заострением. А смысл, стоящий за этим, заключается в том, что Розанова раздражает абстрактное и отвлеченное понимание души, даже не имеющей запаха живого человека.

И отсюда же язычество Розанова. Это не просто реабилитация плоти, а одухотворение плоти. Ведь для Розанова все — дух, и мир духовен в самых материальных своих проявлениях, и себя, свое «я» и свое творчество, как известно, Розанов называл сплошной духовностью. Но это духовность, включающая в себя всякую тварь и всякую плоть, духовность, питающаяся землей. А «здешняя земная жизнь, — по его словам, — уже таит корни не земной». И Розанов спрашивает в «Апокалипсисе нашего времени», полемизируя с христианством: «И что в одних духовных академиях — богословие? Но гораздо больше богословия в подымающемся быке на корову...» \*. Это опять-таки — начало жизни, начало мироздания, земли, в которую уходят корни неба и корни всякой религии.

Розановская полемика с христианством — это совсем не богословие и не метафизика. А это попытка защитить человека, мир и Самого Бога — от небытия. Поэтому Розанов не зол, а добр в своей религии. В письме Голлербаху 1918 года он даже утверждает, что он, Розанов, куда добрее Христа. «Никогда, никогда, никогда я бы не восстал на Христа, не “отложился” от него (а я и “отложился” и “восстал”), если бы при совершенной разнице и противоположности, бес-семенности и крайне-семенности не считал себя богаче, блаже (благой), добрее Его» \*\*.

Соответственно, и своим стилем Розанов как бы защищает дух от бесплотности и бескровности. Поэтому он оплотняет свои образы, вливает в них кровь — причем в образы, заведомо неосязаемые. В этом опредмечивании, в этой материализации отвлеченных понятий, причем в виде очень резкого стилистического сдвига, — в современной Розанову литературе мы можем указать, пожалуй, только одну аналогию — Маяковский. Ведь

\* В. Розанов. Апокалипсис нашего времени, с. 125, 132.

\*\* Э. Голлербах. В. В. Розанов. Жизнь и творчество, с. 91.

именно у Маяковского мы наблюдаем последовательную и даже утрированную материализацию традиционно-бесплотных или традиционно-отвлеченных образов. И это, конечно, при том, что Маяковский и Розанов фигуры совершенно не связанные литературно между собою и во многом противоположные. Вот некоторые параллели: если Розанов уподобляет свою душу расплетающейся бумажной нити, то Маяковский сравнивает душу с клоком шерсти или ваты («Вот и сегодня — выйду сквозь город, душу на копьях домов оставляя за клоком клок»). Или уподобляет душу верхней одежде («О, как великолепен я в самой сияющей из моих бесчисленных душ!»). Если Розанов сравнивает свою литературу со штанами, то Маяковский говорит: «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего». Если Розанов, допустим, сравнивает свои мысли с драными калошами, то у Маяковского один персонаж берет поцелуй и, как дырявую калошу, надевает на ногу\*. В этой переключке проявлялись, по видимому, какие-то общестилистические сдвиги в новейшем искусстве XX века. Но возможны и более глубокие аналогии между Розановым и Маяковским. Такую попытку, правда, не очень удачную, впервые произвел В. Ховин, редактор и издатель журнала «Книжный угол», где печатался Розанов в последние годы жизни. Уже после смерти Розанова, в 1921 году, Виктор Ховин, большой его поклонник и почитатель, опубликовал статью под названием «В. В. Розанов и Владимир Маяковский» (брошюра Ховина «На одну тему», П. 1921). Здесь он связывал того и другого главным образом по линии нигилизма и гуманизма, рассматривая нигилизм Розанова и Маяковского как форму протеста против убивающей человека современной цивилизации.

Но аналогия, мне кажется, может быть проведена глубже — по линии богоборчества Маяковского и христоворчества Розанова. Маяковский был атеистом (но атеистом религиозного толка) и потому почитал себя, человека, добрее Бога. Христа он не касался, а вот с Богом спорил. Розанов же, человек глубоко верующий и религиозный, спорил с Христом, обвиняя Христа в атеизме. И вот — с разных концов — Розанов и Маяковский подошли к некоторым сходным моментам в развитии современного стиля. В частности, к материализации отвлеченных и бесплотных понятий. Это не прославление плоти, а попытка восстановить дух во плоти.

Эта сторона стилистики Розанова — ее материальный, предметно-чувственный образ — настолько обширна и значительна,

---

\* В. В. Маяковский. Полное собр. соч. в двенадцати томах, т. 1, с. 172, 262, 54, 169.

что отсюда протягиваются нити во многих направлениях. И в результате, в этой точке и на этой основе, сходятся определяющие, кардинальные тенденции его прозы, его мысли и личности. Другой поворот той же предметности розановского стиля — стремление Розанова выйти «нагишом» перед публикой и апеллировать к ней с какой-то последней откровенностью. Как если бы Розанов был голым и находил в этой демонстрации какой-то высший смысл и глубокое удовольствие.

Действительно, от «Опавших листьев» появляется ощущение, что Розанов здесь дошел до какой-то последней черты и даже переступил ее в своей способности, философствуя о том и о сем, быть голым или, что называется, выступать «неглиже». Тем более подобное чувство испытывали современники Розанова, протестовавшие против публикации таких книг, как «Уединенное» или «Опавшие листья». Дескать, об этом писать нельзя, до такой степени обнажения писатель доходить не имеет права! — таков был чуть ли не единодушный глас критики, сопровождавший при жизни произведения Розанова. На что Розанов возражал примерно так (если суммировать его стиль и его позицию в изящной словесности и передать это своими словами): а я — не писатель; я просто голый человек; и все мы голые; но все вы стесняетесь и напускаете на себя важность, изображаете из себя мыслителей и писателей; а я не стесняюсь, я изображаю себя, каков я есть на самом деле, — голым!

Даже близкие Розанову по идейным позициям люди и писатели — например, Мережковские — утверждали: то, что сделал Розанов, выйдя «нагишом», — уже переходит границы литературы, такая книга не имеет права на существование. Мы знаем воспоминания о Розанове Зинаиды Гиппиус, жены Мережковского, очень добрые воспоминания, вводящие Розанова в круг первых русских мыслителей и писателей. Но что говорила Гиппиус, когда Розанов только что выпустил «Уединенное»?

«Такой книге нельзя *быть*» (Гип. об «Уед.»). С одной стороны, это — так, и это я чувствовал, отдавая в набор.

...Но с другой стороны, столь же истинно, что этой книге непременно *надо быть*, и у меня даже мелькала мысль, что собственно все книги — и должны быть такие, т. е. «не причисляясь» и «не надевая кальсон». В сущности, «в кальсонах» (аллегорически) все люди не интересны\*.

Удивительно, как колеблются оценки самого Розанова по отношению к собственной книге, к ее жанру и стилю. Розанов признает, что такая книга недопустима, что ей нельзя, не должно

\* В. Розанов. Опавшие листья. Короб 2-й, с. 71.

появляться на свет. И, публикуя ее, он делает над собой некоторое усилие, словно переступая какую-то границу, границу дозволенного литературе, писателю. Но, с другой стороны, переступая границу, он сознает — и потому переступает ее, — что вся литература — все книги — только и могут быть, и должны быть такими, как его «Уединенное». Мы здесь наблюдаем крайний диапазон колебаний между «нельзя» и «должно». И чем сильнее «нельзя» — тем очевиднее, тем беспрекословнее становится «должно».

Розанов как бы открывает, сам того не ведая, какую-то странную закономерность во всемирном развитии литературы. И действительно, мы знаем, история литературы в больших своих проявлениях довольно часто колеблется между знаками «должно» и «нельзя». Между самоощущением писателя и читателей, что *это* (что здесь написано) — совершенно недопустимо, и — как полюс — только так и можно, и нужно писать. В противном случае, литература не стоит затраты сил ни писателя, ни читателя.

Но спрашивается, что же ужасного совершил Розанов? И почему ему понадобилось делать такое усилие над собой, чтобы опубликовать «Опавшие листья» вопреки общему мнению и собственному чувству, что *такое* писать и публиковать нельзя? Чисто формально, декларативно это определяется словами: «нагишом», «голый», или «без кальсон» и т. д. «Без кальсон» — это декларация. Прицепимся к этим кальсонам и попробуем разобраться, что же делает Розанов. Самое ужасно, самое неприличное и самое материально-интимное — здесь слово «кальсоны». Строго говоря, «без кальсон» здесь Розанов в общем-то и не появляется. Он только обещает: вот сейчас я сниму «кальсоны», и вы увидите, как это важно и интересно. Здесь ударное слово «кальсоны», а буквально их незачем снимать. Важен жест раздевания, и совершенно неважно, что мы обнаружим в дальнейшем. В дальнейшем — чисто *понятийно* — Розанов «голый». Но голого Розанова, строго говоря, мы не видим. Мы видим Розанова, снимающего «кальсоны». То есть — с помощью слова, чисто стилистическими средствами — Розанов имитирует что-то недопустимое в своей прозе, что-то превосходящее все границы дозволенного. Розанов имитирует жест последней откровенности. И у нас создается чувство, что Розанов — «нагишом».

На самом деле никаких особых откровенностей, даже по сравнению с ординарным дневником и тем более — по сравнению с жанром «исповеди», — Розанов не допускает. Достаточно сравнить «Опавшие листья» с «Исповедью» Руссо, например, чтобы



убедиться, насколько Розанов сдержаннее и целомудреннее в раскрытии собственного «я». Что мы, спрашивается, читая «Опавшие листья», узнали какие-то невероятные тайны из жизни Розанова? Какие-то крайние признания — в «грехах»? Ничего подобного. Крайний грех — писательство. А крайняя степень человеческой откровенности — что он любит свою жену, а жена больна. Вот и все! Дело, очевидно, не в фактах, а в тоне изложения этих фактов. То есть — дело в стиле.

«Можно рассказать о себе очень позорные вещи — и все-таки рассказанное будет “печатным”; можно о себе выдумать “ужасы” — а будет все-таки “литература” (то есть что-то сочиненное — А. С.). Предстояло устранить это опубликование (то есть опубликование “Уединенного” и “Опавших листьев” — как какую-то литературную версию — А. С.). И я, который наименее опубликовывался уже в печати, сделал шаг внутрь, спустился еще на ступень вниз против своей обычной “печати” (халат, штаны) — и очутился “как в бане нагишом”, что мне не было вовсе трудно»\*.

Опять-таки «нагишом» — по существу — Розанов нигде не выступает. Однако он имитирует эту голизну, это «неглиже» — с помощью словоупотребления — с помощью никогда не входивших до него в большую литературу, тем более в философскую литературу — «штанов» и «кальсон». Так стиль Розанова, построенный на материально-предметных подробностях, становится свидетельством его последней откровенности, демонстрации голого «я». У нас возникает иллюзия, что Розанов только и делает, что раздевается и обнажается перед нами.

И чтобы сгустить это чувство, Розанов прибегает еще к одному литературному приему. Он делает вид, что все, что он пишет, он пишет не для читателей, а для одного себя. С самим собой — чего же стесняться? Любой человек — откровенен перед самим собой. (Но — укажем в скобках — Розанов все же печатается, так что отказ от читателей есть тоже стилистический жест, предпринятый ради иллюзии какой-то последней откровенности.) Отказ от читателей — означает, помимо прочего, — отказ от свидетелей. Уж без свидетелей — с самим собою — я делаю все, что хочу. При свидетелях, при читателях — мне было бы стыдно. Ну а наедине с самим собой я ничего не стыжусь! Я могу рассказать о таком, что вам и не снилось! Но опять-таки далее угрозы раздеться Розанов не идет. Так что его отказ от читателей, от свидетелей — это тоже своего рода стилистическая обстановка, нагнетаемая ради жеста, имитирующего крайнюю и последнюю откровенность. Но поскольку такой — последней — откровенности не происходит, Розанов печатает этот текст — с

\* В. Розанов. Опавшие листья, с. 265.

очевидным расчетом на восприятие читателей. И все обвинения, которые на него сыпались, что, дескать, он вышел «голый» на всеобщее осмотрение, что он развратник и мерзавец, — можно спокойно отнести не к самому Розанову, а к его предметно-материальному стилю. Вопрос — Розанов «без кальсон» или Розанов «в кальсонах»? — это не проблема Розанова, а это проблема словоупотребления: дозволенности или недозволенности вводить некоторые слова в философские книги.

В качестве алиби и в то же время как самую крайнюю точку «раздетости» и «бесстыдности» Розанова — возьмем тему пола, как она поставлена и развита в «Опавших листьях». Она вошла сюда не только как тема, как объект исследования, но и как ряд материально-предметных сравнений.

«Растяжимая материя объемлет нерастяжимый предмет, как бы он ни казался огромнее. Она — всегда “больше”...

Удав толщиной в руку, ну самое большее в ногу у колена, поглощает козленка.

На этом основаны многие странные явления. И аппетит удавов и козы. — Да, немного больно, тесно, но — обошлось...

Невероятно надеть на руку лайковую перчатку, как она лежит такая узенькая и “невинная” в коробке магазина. А одевается и образует крепкий хват.

Есть метафизическое тяготение мира к “крепкому объхвату”.

В “крепком объхвате” держит Бог мир...

И все стремится не только к свободе и “хлябанью”, но есть и совершенно противоположный аппетит — войти в “узкий путь”, сжимающий путь.

(в трамвае) \*.

Разумеется, и «крепкий хват», и «невинная» (здесь важен эпитет — невинная), лежащая в коробке магазина — перчатка, и само слово «крепкий» — все это имеет для Розанова более или менее эротический смысл. И вслед за этим — от идеи совокупления — идет его ход в историю. Французская революция со своим девизом «свобода, равенство и братство» — это что-то нарушающее внутреннюю структуру и физическую организацию, построенную на «крепком объхвате». А дальше — ход в религию.

«Крепкое, именно крепкое ищет узкого пути. А “хлябанье” — у старух, стариков и в старческом возрасте планеты».

\* \* \*

Мир женился на старухе: вот французская революция и все ее три принципа.

\* В. Розанов. Опавшие листья. Короб 2-й, с. 417.

\* \* \*

Церковь поет: «Святой Боже! Святой крепкий...» \*.

Слова молитвы — страшно сказать — ложатся на розановскую физиологию, на тему — крепок ли (и в том его роль), и насколько плотно (не давая свободы) его обхватывает другой соответствующий предмет... И вся эта тирада, чтобы не было разнотолков, через страницу заканчивается восклицанием: «Я ничего так не ценю у духовенства, как хорошие...» \*\*. Почему у духовенства? Потому что сам Дух Божий принимает в сознании Розанова фаллический образ.

Казалось бы, куда дальше, куда больше — по части непристойностей! Но если мы присмотримся к этому пассажи, к этому крайнему выражению розановской эротики — мы обнаружим удивительное отсутствие собственно эротических, сексуальных эмоций. Розанов — непристоен? Да. Розанов переступает все границы в назывании предметов своими именами или достаточно явными намеками на эти впрямую не называемые предметы. Но, странное дело, его эротические образы лишены, я бы сказал, эротической окраски. Розанов нарушает запрет, но чисто стилистически, словесно, а не нравственно. У Розанова — при всем его внимании к вопросам пола — мы нигде не встретим так называемой «клубнички», сладострастного смакования или заигрывания с этой темой и стремления возбудить у читателя какой-то нездоровый интерес к этой сфере. Совершенно отсутствует собственно сексуальный элемент. Остается лишь проблема, выраженная материально-предметным языком.

Более того, эротическая тема (точнее говоря — тема пола) введена в «Опавшие листья» не столько из умозрительных, сколько из стилистических соображений. То есть — не потому, что эта тема так уж волнует Розанова и занимает его мысли в данный момент. А потому, что эта тема — запретная, и, вводя ее, Розанов намеренно совершает нарушение общепринятых правил. Розанов нарочно выводит свою книгу за рамки дозволенного. Ставит книгу в позицию — «нельзя»: «такое писать нельзя». Тем самым он производит как бы обновление жанра и создает иллюзию, что он с читателями предельно откровенен.

Другая тема, опять-таки резко акцентированная в «Опавших листьях» и также выполняющая чрезвычайно важную стилистическую функцию — это тема «кухни». Это — широкий ввод

\* Там же, с. 418.

\*\* Там же, с. 421.

домашнего быта, притом со стороны, которая обычно не описывается — со стороны покупок к обеду, мелких денежных расходов, кухонных изделий и приготовлений. Эта тема звучит даже как своего рода декларация — идеологическая (мировоззренческая) и эстетическая декларация Розанова.

«Моя кухонная (прих.-расх.) книжка стоит “Писем Тургенева к Виардо”. Это — *другое*, но это такая же ось мира и в сущности такая же поэзия.

Сколько усилий! бережливости! страха не переступить «черты»! и — удовлетворения, когда “к 1-му числу” сошлись концы с концами»\*.

Это звучит как вызов, и не случайно кухня противопоставляется Тургеневу. Тургенев — символ «изящной словесности». Письма Тургенева к Полине Виардо — это знак особо-рафинированной, изысканной и благородной литературы. А кухонная, приходно-расходная книга — это то, о чем в серьезной литературе говорить не принято и даже неприлично.

За «кухней» у Розанова (так же, как за темой пола) стоит его религия — вера в землю, в дом, в семью. Кухня — одно из проявлений семьи, и поэтому «кухонная книга» становится осью мира и воплощением поэзии. В то же время «кухня» — как сфера частной жизни, сугубо частной — противопоставляется у Розанова общественности и политике, приносящим только вред человеку.

Но помимо идеологической, социально-философской стороны дела, «кухня» играет очень серьезную роль в его языке и стиле. Во-первых, «кухня» — это переход границы в сторону того, что не положено и о чем «нельзя» писать в серьезном тоне, тем более в философской литературе. С помощью «кухонной» темы Розанов выводит «Опавшие листья» за черту предусмотренных и апробированных в литературе жанров. Во-вторых, материал «кухни», которым пользуется Розанов, сообщает его прозе крайне предметный и физически ощутимый характер.

«Много есть прекрасного в России. 17-ое октября, конституция, как спит Иван Павлыч. Но лучше всего в чистый понедельник забирать сольню у Зайцева (угол Садовой и Невск.). Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника — разложена на тарелках (для пробы). И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери.

И над дверью большой образ Спаса, с горящею лампадой. Полное православие.

---

\* В. Розанов. Опавшие листья, с. 182.

\* \* \*

И лавка небольшая. Все дерево. По-русски. И покупатель — серьезный и озабоченный, — в загородном подъеме к труду и воздержанию...

\* \* \*

В чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского.

*(первый день Великого Поста) \**

Что здесь важно? Прежде всего, конечно, крайне материальные, конкретные-предметные названия: «рыжики», «грузди», «громadne луковицы», «капуста»... «Брусника» — и не просто брусника, а «разложенная на тарелках» (для пробы). «Нити белых грибов на косяке двери». Вот это уточнение — «на косяке двери» — это еще дополнение предметности, физической осязаемости к белым грибам. Розанов совсем не бытописатель и тем более не любитель покушать, не мастер гастрономической темы. И перед нами не описание блюд, а создание материального, чувственно-острого рисунка. Розановым владеет пафос предметности и пафос конкретизации. Отсюда — точность названий. Не какая-то вообще грибная лавка — а Зайцева, угол Садовой и Невского, сказано, как если бы мы немедленно побежали туда покупать рыжики и бруснику.

И то, что это для Розанова вполне осознанный стилистический прием, указывает начало отрывка, написанное в явно издательской интонации: «Много есть прекрасного в России...» Упоминается царский манифест 17 октября 1905 г., даровавший России подобие конституции — гарантию ряда свобод. Но «конституция» для Розанова — это абстракция, это политическая фикция. Такая же, примерно, как бессмертие души, не подкрепленное физическим образом. Тем более «конституция» связана с ненавистной Розанову «общественностью», которую он воспринимает как безличную и никому не нужную комедию. А грибки и брусника — это реальность. Это и быт, и религия народа. Отсюда связь грибных и рыбных лавок с чистым понедельником, с началом Великого Поста, которое отмечается как праздник трезвости, праздник труда и воздержания. И грибки с брусничкой — помимо быта и религии, это стиль — национальный стиль русской жизни и одновременно стиль розановской прозы. Поэтому он приравнивает грибную лавку к лучшей странице Ключевско-

\* Там же, с. 46–47.

го, которого Розанов высоко чтит и любил. Благодаря этому сравнению (со страницей Ключевского) вводится явный, ярко выраженный стилистический принцип и в этот отбор кухонного материала, и в розановскую прозу, посвященную всем этим грибам и соленьям. Аналогичным образом строится текст, также уводящий нас, условно говоря, в «кухонную тему».

Папироска после купанья, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб с боку прилипла ниточка укропа (не надо снимать) — вот мое “17-ое октября”. В этом смысле я “октябрист”»\*.

«Октябристы» — политическая партия, выступавшая в поддержку манифеста 17 октября, партия сторонников конституционной монархии. Но этой опять же абстракции, политической программе, Розанов противопоставляет свое credo, составленное из самых простых, примитивных и вместе с тем лично любимых предметов домашнего потребления. Рассуждая идеологически, можно сказать, что Розанов с явным вызовом, явно эпатируя «общественность» и «общественников», становится в нарочитую позу обывателя, мещанина, частного лица, которое полностью довольствуется своей частной жизнью и знать ничего не хочет дальше своего дома, своей кухни. Если принимать все это всерьез, не учитывая полемической направленности этих строк — а прижизненная критика очень часто так и воспринимала Розанова, — пришлось бы говорить о низменности и ограниченности его вкусов и интересов. Но мы-то знаем, что интересы Розанова очень широки — вплоть до проблематики всемирной истории и культуры. Нарочитое же ограничение своих интересов, своего, так сказать, социально-политического манифеста — папироской и огурцом имеет целью поддразнить и уязвить тех, кто живет одной политикой и сводит все проблемы к политике. Ну, а Розанов — в пику им — сводит все проблемы к малосольному огурцу.

Но, с другой стороны, этот же текст имеет очень яркую стилистическую окраску, несущую образ домашнего антуража и быта. Розанов здесь выступает каким-то гедонистом, хотя его «гедонизм» предельно узок и прост. Все это скромно, просто, обиходно и вместе с тем выбрано по принципу прямой и конкретной чувственной осязаемости. Мы даже этот малосольный огурец видим и слышим его запах — благодаря ниточке укропа, которую не надо снимать.

---

\* Там же, с. 363.

И одновременно благодаря такому предметному окружению сам образ Розанова как героя его книги становится очень реальным, живым и естественным. Создается опять-таки ощущение «нагишом» или «неглиже» — или, как говорит Розанов в письме к Голлербаху — создается — «Самая простая и естественная форма. “Проще чего” нельзя выдумать. “Форма Адама” — и в Раю, и уже — после Рая. “После Рая” прибавился только стул, на который сел писатель и начал писать» \*. Форма Адама в раю — это ведь и есть нагишом, но не обязательно как что-то бесстыдное или неприличное, а только как самое естественное человеческое состояние. Без выдумок, без сочинительства: человек предстает таким, каков он есть на самом деле.

В действительности — это тоже выдумка, сознательный стилистический ход. Потому что писатель — Розанов — должен здесь отобразить очень простые, интимные и вместе с тем яркие в предметном отношении подробности. Кухня и дом — это то, что теснее всего прилегает к человеку. Это как бы его кожа или нижнее белье. Кстати сказать, Розанов очень редко изображает себя в какой-то чужой обстановке, в обстановке редакции или издательства, в обстановке какой-либо литературной дискуссии или литературного салона. Создается ощущение, что Розанов — домосед, редко выходящий за круг своего ближайшего и, так сказать, естественного окружения. Это, конечно, тоже сгущение, стилистическое сгущение — чтобы предстать перед читателем в самом затрапезном виде.

«Не понимаю, почему меня так ненавидят в литературе. Сам себе я кажусь “очень милым человеком”».

\* \* \*

Люблю чай; люблю положить заплаточку на папиросу (где порвано). Люблю жену свою, свой сад (на даче). Никогда не волнуюсь и никуда не спешу.

Такого “мирного жителя” дай Бог всякому государству. Грехи? Так ведь кто же без грехов.

Не понимаю. Гнев, пыль, комья грязи, другой раз булыжник. Просто целый «водоворот» около дремлющей у затонувшего бревна рыбки.

И рыбка — ясная. И вода, и воздух. Чего им нужно?

(пук рецензий) \*\*.

Образ Розанова — «мирного жителя» — в сущности, продолжение той же «кухни». Берутся нарочито простые и вместе с

\* Василий Розанов. Избранное. Мюнхен. 1970, с. 535–536.

\*\* В. Розанов. Опавшие листья, с. 365–366.



тем остро-предметные образы. В данном случае такой наглядной деталью становится «заплаточка на папироске». Вместе с тем этот автопортрет (или перечень предметов, которые Розанов любит) исполнен полемики, эпатажа и скрытого ехидства, издевательства над литературными противниками. Например, в один ряд поставлена любовь к жене и любовь заклеивать порвавшуюся папироску. Мы знаем, как любил Розанов свою жену и что для него значила эта любовь. А здесь он это ставит рядом с папироской сознательно — как признаки частного лица, которому наплевать на все мировые проблемы и который выглядит нарочито «мирным жителем» и больше ничего. Ведь критика, с которой в данном случае сражается Розанов («пук рецензий»), писала о его «демонизме», о его превосходящей все границы непристойности и о его невероятной реакционности. А Розанов отвечает этим автопортретом недалекого и «очень милого» человека, который в этом домашнем виде представляется совсем не страшным, не опасным, а простым и естественным, хотя вместе с тем несколько карикатурным.

Действительно, в «Опавших листьях» Розанову удалось увековечить себя во многих лицах и во многих поворотах, создав вместе с тем очень конкретный, живой образ человека. И это удалось ему в значительной мере благодаря своему стилю, который черпает сравнения из самой близлежащей среды, из вещей своего повседневного обихода.

Чтобы лучше представить этот образ, этот портрет, сошлюсь на книгу Алексея Ремизова «Кукха» (1923 г.). Построена она в виде мысленных разговоров с Розановым и писем к Розанову — но не когда-то раньше, а вот сейчас, уже после смерти Розанова. Ремизов обращается как бы на тот свет и апеллирует не только к своим воспоминаниям о Розанове-человеке, но еще больше к образу Розанова, созданному самим Розановым в «Опавших листьях». В этом смысле ремизовская «Кукха» написана в традициях розановской прозы. У Ремизова, большого и вполне самостоятельного прозаика, были точки соприкосновения с формами и приемами Розанова. Здесь и широкое использование непосредственно-бытового, домашнего окружения, и введение конкретных имен, фактов, дат, и материально-предметный образ мыслей и стиля, и даже легкое юродство Ремизова — его чудачества, его нарочитая приниженность. Ситуация «Кукхи» биографична: Ремизов в 1921 году эмигрировал. В Берлине, где происходит действие, он попал в крайне стесненное положение — тут и отсутствие средств к существованию, и приниженное положение эмигранта, которое Ремизов ощущал тем болезненнее, что был

очень прочно связан с русской средой-почвой. И вот в это тяжелейшее время Ремизов себе в интимные собеседники и как бы в духовные помощники избирает покойного Розанова, такого, каким Розанов изображал себя. Розанов для него воплощение России, и просто добрый человек — воплощение теплоты и человечности, и образец прозы. Так что мы можем через призму ремизовской «Кукхи» яснее увидеть некоторые черты розановского стиля. Вот самое начало, которое звучит как посвящение:

«В. В. Розанову

Это я вам, Василий Васильевич, эту “Кукху” —

Все, что возможно пока, записал лунной крещенской ночью...

Есть у меня две карикатуры на вас: одна из “Сатирикона”, другая из газеты какой-то. Я бы приложил их сюда, да не знаю уж: нехорошо, говорят.

А по мне: ведь лучший портрет тот, где карикатурно, а значит, не безразлично.

В одном японском журнале поместили карикатуру на меня вместо портрета и без всякой оговорки. И ничего получилось: чудно, а все-таки живой, не то что в паспорте фотографическая карточка (Lichtbild).

У меня, Василий Васильевич, желтый паспорт! — за “Табак” мне, должно быть, такое\*.

Судьба-то, как не прячясь, а настигнет.

Ну, прощайте!

Помяните когда там, в надзвездье-то, Алексея и Серафиму (жена Ремизова — А. С.): жить очень трудно нам на любимой-то земле — и придумать не знаю что и не сообразишься; одна надежда — чудесным образом\*\*.

Здесь важно — для уяснения стиля Розанова — что к нему обращаются в надзвездье, на тот свет, но так, как если бы он был сейчас таким же, как при жизни, — и обращаются запросто, по-домашнему, с интонацией крайне интимной. И второе стоит отметить — стремление Ремизова к известной карикатурности рисунка. Карикатура более живо и правильно воспроизводит человеческий образ, нежели фотография. И ведь сам Розанов подчас карикатурен в своих автопортретах — когда он, например, изображает себя «очень милым человеком» и в доказательство ставит заплаты на расклеившуюся папироску. Он себя

\* Имеется в виду книга Ремизова «Табак», подвергшаяся изъятию «за кощунство и порнографию»<sup>2</sup>.

\*\* Алексей Ремизов. Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923, с. 5.

окарикатуривает, даже в самом натуральном своем виде и антураже.

Ремизов жалуется на бедность и на несправедливость и поминает годы революции, когда были развязаны самые жестокие силы и страсти, а с другой стороны — именно в голоде и нищете между людьми появлялись подлинные, сердечные отношения.

«Да, много было тягчайшего — и от дури и от дикости, ведь мудрывать мог, кто угодно! — ведь революция, это не игра, это только в книжках легко читается!..

И в беде — великое человеческое сердце —  
человек к человеку,  
лицом к лицу...

...И семена нового человеко-отношения были брошены как раз в жесточайшую расправу человека над человеком, в эти годы страды — в России...

...Мы, Василий Васильевич, несправедливы тут...

С правами, где хочешь, может быть только богатый —  
только богатый».

«Розанов, когда хотел сказать кому-нибудь самое обидное, он говорил тому человеку:

“Будьте богатым!”

Вы понимаете, Василий Васильевич, тут ужасная несправедливость — кит, которого ничем не сдвинешь...

Я, Василий Васильевич, на улице тут громко слово боюсь сказать по-русски — бывали досадные недоразумения! — ну и не хочешь, чтобы путаница вышла.

У них у самих бедовая!

И такая есть здесь бедность, ну как у нас, забыть невозможно, так в глазах: все вижу...

Дом — Россия.

Эта несчастная политика все перекрутила и перепутала. И ведь было такое время — теперь оно, кажется, проходит! — когда здешние про нас, оставшихся в страде — в России, говорили: “Продались большевикам!” и это я читал собственными глазами, а у нас, бывало, чуть что, и “проданся международному капиталу!”

Какое надо иметь злое воображение и какие пустяки хранить в душе» \*.

Ремизов как будто исполняет предсмертный завет Розанова, завет всем русским писателям — как можно больше и больше

---

\* Там же, с. 64–67.

стараться давать тепла и тем самым предупредить надвигающийся мировой холод. Но это значит, по Розанову, прежде всего повернуться друг к другу лицом, как человек к человеку. И потому такие стилистические особенности розановской прозы, как конкретность, физическая наглядность собственного портрета, осязаемое присутствие в тексте живого и естественного человека — Розанова, — это и есть главное условие тепла. А совсем не отвлеченная проповедь добра, морали и религии. Таким образом, сам стиль Розанова становится носителем его нравственной программы. И этим же путем следует здесь Ремизов. Отсюда отрицание политики у одного и у другого, политики, которая мыслит человечество абстрактно и партийно, в виде каких-то общих категорий (продалась большевикам или продалась мировому капиталу). Этой политике противостоит апелляция к человеку как к частному лицу, и отсюда же пафос демонстрации этого частного лица, сотканной из предметов домашнего обихода.

Ремизовская «Кукха» замечательна тем, что содержит не просто портрет Розанова, каким он был, но — *портрет стилистики Розанова*, которая пародийно и вместе с тем зеркально отражается в стилистике Ремизова. Упоминаемый далее Огневик, которого якобы нашли за печкой — это изделие самого Ремизова, который мастерил и рисовал фигурки мелкой и доброй нечисти и увешивал ими свою квартиру. Огневик — что-то вроде домового — хранитель огня, очага, домашнего тепла. И не случайно Ремизов ссылается на Огневика как на домашнее божество, несущее тепло людям. Это опять-таки некое соответствие завету Розанова.

«Я, Василий Васильевич, каждое теперь доброе слово берегу — хорошие есть люди на свете.

Вон и он то же говорит. Это мой советчик, Огневик — Feuer-männchen — заботится о тепле и свете! — сам к нам пришел, за печкой жил: стали чистить и нашли. Мы с ним и коротаем ночь — лу-унную!

А в колпаке сижу, потому что голову мыл.

У нас такой дом, чуть не всякую неделю уборная портится, с трубами что-то и как поправят, все жильцы ванну сейчас же...

А что, Василий Васильевич, теперь вы поняли, что никакой папироски там и не надо?

Я лежал однажды при смерти — это как раз в канун октябрьской революции — и все забыл: и папиросы, и что тоже “рассказы” пишу, одно я помнил и мучился, что кашлем моим надрываю душу тому, кто неотлучно при мне (имеется в виду жена

Ремизова — А. С.), а если бы этот другой исчез, я мучился бы, что надрывал и изводил, и больше ничего.

А что если вообще ничего больше?

Темная точка беспамятства — и это есть вечность — ?

Или сначала темная точка, а потом —

— Ну как пробуждение — и ничего подобного нашему: и то, да не то, где самое “хочу” по-другому и разное по месту жительства в вечности.

А как там насчет сроков в этой вашей — что слышно в вечности?

Или так спрошу вас —

У Гауфа — помните сказки Гауфа? — у Гауфа Агасфер притащился из Китая сюда и вот недалеко от нас, в Тиргартене, у него любопытная встреча. Само собой, он озабочен сроком — ведь таскаться из страны в страну, это — ! И после рассказа о житейском бытии единственный его вопрос —

— Скажите, Василий Васильевич, который теперь час у вас там в вечности?

— Вечер?

— Нет еще?»\*.

На этом кончается «Кукха».

Нужно сказать, вся эта сцена и все детали розановские, написанные в традициях его стиля. И поэтому Ремизов здесь тоже пребывает в неглиже — в колпаке сидит, потому что голову мыл; а голову мыл, потому что уборная постоянно портится. Колпак — признак домашности (все равно что кальсоны у Розанова), и в то же время здесь чувствуется легкое юродство — дурацкий колпак, шутовской колпак, клоунский колпак, что соответствует соседству с добрым чертиком — Огневином.

Но самое главное — удивительная предметность и конкретика в разговоре с умершим человеком. Это — вопрос насчет папироски. Ведь это же явная переключка с «Уединенным» и с «Опавшими листьями», когда Розанов и в могиле собирается закурить. Ремизовская полемика и ссылка на собственный опыт, что вот когда он болел и находился при смерти, он не думал ни о каких папиросах, не существенны. Ведь Розанов со своей папироской писал не о физиологии больного, а о посмертном существовании, которое он хотел с помощью папироски представить возможно реальнее и живее. Розановская папироска — это проявление стиля, а не разгадка метафизической тайны: можно будет

---

\* Там же, с. 122, 124–125.

курить на том свете или нельзя? И нам здесь тоже важно, что у Ремизова — после смерти Розанов появляется в контексте своей папироски, то есть в контексте своего стиля. Так же как вопрос — который теперь час в вечности? — задан в духе и в стиле прозы Розанова, который во всем искал конкретного — даже в вечности.

Отсюда у Розанова в «Опавших листьях» такой пафос мгновения (и пафос мелочей). Мгновение — конкретный момент переживания и запись этого переживания — и становится первоэчейкой, клеточкой розановской прозы. Потому что мгновение реально, предметно и заключает в себе абсолютную ценность человеческого бытия.

«Благодари каждый миг бытия и каждый миг увековечивай.

(почему пишу “Уедин.”).

Смысл — не в Вечном; смысл в Мгновениях.

Мгновения-то и вечны, а Вечное — только “обстановка” для них. Квартира для жильца. Мгновение — жилец, мгновение — “я”, “Солнце” \*.

Проза Розанова и строится на соединении мгновенного и вечного. Отсюда и такая широта, возвышенность, одухотворенность его текста, и в то же время крайняя его заземленность. А в качестве заземления и работают всевозможные детали, будь то папироска, кальсоны или малосольный огурчик. Сам Розанов обнаруживает и в своей личности и в своем стиле — культ мелочей.

«У меня есть какой-то фетишизм мелочей. Мелочи суть мои «боги».

\* \* \*

Все «величественное» мне было постоянно чуждо.

Я не любил и не уважал его» \*\*.

И в Коробе 2-ом повторяет почти буквально (значит, это действительно важно):

«У меня есть какой-то фетишизм мелочей. Мелочи суть мои «боги».

И я вечно с ними играюсь в день.

А когда их нет: пустыня. И ее боюсь» \*\*\*.

Мелочи и фетишизм мелочей спасают, защищают Розанова от ужаса небытия и от скуки отвлеченности, абстракции, которая для него пуста и фиктивна. Мелочи и есть конкретная мате-

\* В. Розанов. Опавшие листья. Короб 2-й, с. 437–438.

\*\* В. Розанов. Опавшие листья, с. 508.

\*\*\* В. Розанов. Опавшие листья. Короб 2-й, с. 220.

рия розановской прозы. И поэтому здесь, в мелочах, он порою доходит до крайности, до какого-то микромира, микроклимата и, соответственно, до микроскопического анализа вещей. Например, он не просто говорит о папиросах и о своей привычке курить. Но о своем пристрастии ставить заплаточку на прорванную папироску. Или про то, что окурки, когда в них остается табак, он не выбрасывает, а вытряхивает табак, для того чтобы потом соорудить себе новую папиросу. И делает это по старой отросческой привычке, когда находился в большой бедности:

«...окурочки-то все-таки вытряхиваю. Не всегда, но если с 1/2 папиросы не докурено...» \*.

И эти материальные мелочи, которые Розанов тщательно фиксирует, — окурочки, заплатка на папиросе, ниточка укропа, прилипшая к огурцу, калоши в передней и т. д. — самим видом своим удивительно соответствуют афористической структуре, самому жанру «Опавших листьев», тоже разбитых на мелочи, на мелкие записи. Другие авторы подобными мелочами пренебрегают и оставляют без дела, без употребления эти случайные переживания и случайные мысли, приходящие в голову. А вот Розанов их записывает и собирает в отдельные книги. Его «фетишизм мелочей» перерастает, таким образом, уже в особый тип литературной формы и литературной работы. Мелочи, можно сказать, это физически осязаемый образ розановской прозы.

С другой стороны, «мелочи» быта влекут его как вещественные знаки и синонимы человеческой слабости, человеческой бедности, незащитности, человеческой униженности. И потому именно «мелочи» способны у Розанова возбуждать любовь и жалость. В итоге мелочи становятся выражением нравственной позиции Розанова. «Жалость — в маленьком. Вот почему люблю я маленькое» \*\*.

И к маленькому, в представлении Розанова, благоволит и льнет Господь Бог. И себя самого Розанов воспринимает маленьким. И человек на земле для него — маленький. Этой тенденцией своей мысли и своего стиля Розанов в литературе начала века объективно противостоял громкому, знаменитому тогда тезису, афоризму, который принадлежал Максиму Горькому: «Человек — это звучит гордо».

При всей своей доброте к человеку (именно к отдельному человеку, а не к человечеству вообще), Розанов никогда не мог бы

\* Там же, с. 106.

\*\* В. Розанов. Опавшие листья, с. 34.



так сказать: «Человек — это звучит гордо». Он бы скорее сказал: человек — это звучит мелко и ничтожно. Или — гадко. Но именно поэтому нужно его пожалеть и запечатлеть его как бедную и в то же время драгоценную мелочь. Так и строятся многие розановские записи, посвященные отдельным лицам или себе самому. Например, запись о старой кухарке, которая жила у него в доме.

«На “том свете” я спрошу:

— Ну, что же, Вера, доносила старые калоши?

Потому что на этом свете она спросила.

— Барин, у вас калоши-то худые. Отдайте их мне.

И я, засыпая после обеда, сказал:

— Возьми, Вера.

Она была черная, худая и мертвенная, лет 45-ти, но очень служила мне верной службой.

Я не догадался ничем ее отдарить. Не пришло на ум (действительно). А теперь почему-то мучит и вспоминаю. Это было 23 года назад.

Она была безмолвная и безответная. Огурцы засолила. Подает в сентябре. Твердые-претвердые.

— Что это за нелепые огурцы, Вера?

— Это с острогоном. Крепче. Через 2 недели будут совсем хороши.

Котлеты. И — ягоды черные!!!

— Это что за нелепость, Вера????!!!

— Я у купцов так готовила. С черносливом.

И действительно было приятно» \*.

Здесь «мелочи» — это не просто детали быта, а самая суть портрета кухарки Веры. Через эти огурцы с эстрагоном и котлеты с черносливом выражается безмолвная преданность и заботы Веры о своем барине. А прохудившиеся калоши, которые она выпрашивает, говорят нам так много и о степени нищеты и униженности этой женщины, и о грехе Розанова, который сам не догадался ничего подарить своей кухарке, и вот теперь, через двадцать с лишним лет, мучается этими калошами, — и эта мелочь настолько значительна для Розанова, что и переносится уже в вечность, в разговор на том свете. Мелочь, таким образом, становится характеристикой человека — вернее, сразу двух людей, становится, можно сказать, материальным выражением и темы вечности, и темы жалости.

Заметно, что розановский «фетишизм мелочей» связан уже с самим характером развития его мысли, с типом его мысли. Розанов идет не от общего к частному, а наоборот, всегда — от

\* В. Розанов. Опавшие листья. Короб 2-й, с. 364–365.

частного к общему, от маленького к большому, от конкретного к абстрактному. Поэтому какая-то «мелочь», именно поражающая его мелочь (в данном случае прохудившиеся калоши), становится очень часто исходным моментом в его философии и в его записи. Мелочь становится способом наткнуться на что-то или зацепиться мыслью за что-то, а потом уже разматывать эту мысль, развертывать дальше и шире — иногда целиком на основе той же мелочи. Поэтому розановская метафизика так тесно соседствует с бытом, то есть с мелочами, которые валяются вокруг нас и обычно не привлекают внимания.

«Мелочи», т. е. материально-предметная сфера его стиля, становятся у Розанова каким-то универсальным способом осмысления и восприятия мира. Но мелочи — не сами по себе, а куда-то ведущие и что-то означающие. И здесь встает новый большой вопрос — о писательском назначении Розанова, как он это понимает, и о специфическом назначении такого своеобразного жанра, как «Опавшие листья». Вопрос — зачем я это пишу и к чему это приведет в дальнейшем? — довольно часто всплывает на страницах его книги и получает разные ответы. Если в них разобраться и попытаться суммировать, то можно выделить два основных пункта или два главных долга. Первый долг — по отношению к тому, кто и что здесь описывается. Это сфера литературы как сфера отражения и запечатления жизни — то есть литературы по отношению к себе и к своим близким, родным или добрым друзьям и знакомым. Вот это все Розанов и хочет увековечить, притом избирая тех, кто не в славе и не в величии, а кто забыт или совсем неизвестен. Причем не просто помянуть добрым словом или высказать свою оценку человека, но как бы оживить его, воскресить. Оттого материально-предметный образ, возникающий через мелочь, и становится так важен, так принципиален.

Иногда Розанов говорит, что ему совсем не надо, чтобы его самого помнили через его книгу, а вот главное — «что *“со мной”* будут читаемы, останутся в памяти и получают какой-то там *“успех”*» — Страхов, Леонтьев, Флоренский, Рцы и другие невидные или забытые лица\*. Но, конечно, Розанов понимает, что больше всего здесь он запечатлел самого себя, увековечил плуце египетских фараонов — но опять-таки не в величии и самовознесении, а в мелком и интимном, как живую личность, мимолетную в истории и вместе с тем закрепленную на бумаге в этой своей мимолетности. А из других людей — больше всего и ря-

---

\* В. Розанов. Опавшие листья, с. 278.

дом с собой — свою жену, мамочку, как он ее называет... В книге «Мимолетное» есть запись, проливающая свет именно на эту сторону «Опавших листьев»:

«И со мной будут помнить мою “мамочку”... Мою родную, мою близкую.

Как-то она капризничала. Как не умела отпирать замок. Как вечно прятала платок на дно сундука. Что же будет? И я и мамочка — мы будем вечны. Мы были (в сущности) милые люди и мы будем милы людям. Вот и хорошо.

...И пройдет человек и скажет: “Упокой, Господи, раба твоего Василия и старицу” (тогда она будет...)\*.

Нет, просто: “И рабу Божию Варвару”. Хорошо. Этот Гутенберг на что-нибудь пригодился...

“Господь с Вами” — вот земле и людям.

Был ли я хороший человек? “Так себе”, с фантазиями. Ну, Бог с ними. Теперь дело: “что я сделал?”

Нельзя отрицать: родил множество новых мыслей.

Ну и шут с ними... Но главное... Господи...

Что ты спрашиваешь о снежинке одной в вьюге, которая несется, кружится, “забыта”, “вспомнена”, “видна”, “не видна”. И упадет. И растопчут. Или растает.

Господи — я жил. Это хорошо. Спасибо Тебе \*\*.

Розанову важно не то, что он родил множество новых мыслей. А важно — что он жил и сумел эту жизнь-снежинку, которая упадет и растает, запечатлеть. И в этом самое главное дело и призвание его писательства.

Поэтому многие записи в «Опавших листьях» если не полностью, то с какой-то своей стороны, каким-то вздохом окрашены подобием молитвы. Молитвы благодарности Богу за то, что он жил. Молитвы благословения, обращенной к земле и людям: «Господь с Вами». И молитвы самозащиты и защиты бытия от ужаса уничтожения и исчезновения.

Перед лицом безжалостности мирового устройства Розанову важно сохранить маленькое «я» — и свое собственное, и всякой вещи. Этим он и движим в своем «фетишизме мелочей», который порой принимает у него характер своего рода религиозного подвига (если бы слово «подвиг» не звучало столь возвышенно и героично).

Но существует и вторая сторона писательского назначения. Это — читатели и влияние на читателей. В данном случае Роза-

\* Розанов предполагает, очевидно, что к концу жизни или после его смерти жена его станет монахиней, — и тут же отвергает эту мысль.

\*\* *Василий Розанов*. Избранное, с. 435.

нов не раз повторяет, что он не хотел бы никакого идейного влияния, но он хотел бы влияния психологического, или, как он говорит, хотел бы «*унежить душу*». Спрашивается: что же это за психологическое влияние и что это значит — «*унежить душу*»? Сделать ее мягче, добрее или доставить читательской душе какие-то приятные минуты? Вряд ли.

«Что однако *для себя* я хотел бы во влиянии?

*Психологичности.* Вот этой ввинченности мысли в душу человеческую, — и рассыпчатости, разрыхленности их собственной души (т. е. у читателя). На “образ мыслей” я нисколько не хотел бы влиять; “на убеждения” — даже “и не подумаю”. Тут мое глубокое “все равно”. Я сам “убеждения” менял, как перчатки, и гораздо больше интересовался калошами (крепки ли), чем убеждениями (своими и чужими)».

«...Мое влияние было бы в расширении души человеческой, в том, что “дышит *всем*” душа, что она “вбирает *в себя все*”. Что душа была бы нежнее, чтобы у нее было больше ухо, больше ноздри. Я хочу чтобы люди “все цветы нюхали”...

И — больше в сущности ничего не хочу...» \*.

С убеждениями — ясно. Розанову не надо, чтобы люди, читая его книги, меняли бы свои взгляды на жизнь. Но он хочет изменений как бы в самом составе, в структуре души читателей и употребляет как синонимы понятия: «*рассыпчатость*», «*разрыхленность*» души и ее «*расширение*» до способности «*дышать всем*» и «*вбирать в себя все*». Обращает на себя внимание материально-физический характер этих понятий, неожиданно употребленных по отношению к душе — «*разрыхленность*», «*рассыпчатость*». А далее к его желанию, чтобы душа была нежнее, подсоединяется намерение снабдить душу читателей — ноздри, ухом, то есть органами физических чувств, так чтобы душа могла нюхать, слышать, видеть, осязать. Значит, «*унежить душу*» читателей, это — повысить ее чувственную восприимчивость к миру. Вот почему Розанову так важны острые бытовые подробности, всевозможные запахи и наглядно-образные представления. У читательской души вырастет ухо и появятся ноздри в том случае, если на нее воздействовать именно в этом направлении. И поэтому проза Розанова по своему стилю так предметна и осязаема. У Розанова слово, слово писателя, пахнет — пахнет плотью. Недаром он так ценил библейскую «*Песнь Песней*», говоря, что эта книга полна запахов, аромата, и в буквальном, и в переносном значении слова.

Но эта обострившаяся чувственная восприимчивость мира, которую Розанов специально насаждает в душе читателей с по-

\* В. Розанов. Опавшие листья, с. 279, 281.

мощью своего стиля, нужна ему не сама по себе (не так просто, чтобы мы увидели ту или иную картину или услышали музыку его слез), а ради более далеких и ответственных целей. Ведь все это делается, по его словам, «в расширение души человеческой», которая бы вобрала в себя по возможности все. Повышенное чувственное восприятие у читателей нужно для более широкого, глубокого, активного и полного контакта человека с миром на началах взаимного вхождения и родства. Ведь сами органы чувств человека, в трактовке Розанова, помимо познания вещей, включают активно-волевое начало, которым мы укореняемся в мире и мир укореняется в нас. Восприятие похоже на акт поглощения пищи или на брачный союз человека с миром и с душой мира — Богом.

«В каждом органе ощущения, кроме его “я знаю” (вижу, слышу, обоняю, осязаю), есть еще — “я хочу”. Органы суть не только органы чувств, но еще и — хотения, жажды appetитов. В каждом органе есть жадность к миру, алкание мира; органами не связывается только с миром человек, но органами он *входит* (врезается) в мир, *уродняется* ему. Органами он “съедает мир”, как через органы — “мир съедает человека”. Съедает — ибо властно *входит в него*.

Человек входит в мир.

Но и мир входит в человека.

Эти “двери” — зрение, вкус, обоняние, осязание, слух» \*.

Вспомним, что сама мечта у Розанова обладает волевым напряжением, так что авторская мысль впивается, врезается или ввинчивается в предмет, ее поразивший. Также и чувственное восприятие жизни органами зрения, слуха, обоняния, осязания — это есть установление или восстановление какой-то первобытной, патриархальной семейственности. Отсюда розановское словцо: человек *уродняется* миру в самом процессе его чувственного восприятия. А мы знаем, что семья и семейственность — это для Розанова идеальный образ отношений — не только между людьми, но и между человеком и природой, человеком и Богом. Так что выращивание в читательской душе органов восприятия — это уже для Розанова не только чисто стилистическая или чисто психологическая задача, но задача в конечном счете жизненно-религиозная. Это достижение величайшего единства с миром и с Богом — на основах родства и любви, на основах взаимопроникаемости. Говоря иносказательно, читая Розанова, благодаря его стилю, мы съедаем мир и мир съедает нас и мы становимся органической частицей этого всеобщего тела: Бога, человека и кос-

\* В. Розанов. Опавшие листья. Короб 2-й, с. 62.

моса. В этом главный итог «Опавших листьев». И не случайно 2-й Короб заканчивается сценой и тирадой, которая принадлежит к лучшим кускам розановской прозы. Это, можно сказать, конечное кредо Розанова, выраженное не путем декларации, а в виде живой образности.

«Бог охоч к миру. А мир охоч к Богу.

Вот религия и молитвы. Мир “причесывается” перед Богом, а Бог говорит (Бытие, 1) “как это хорошо”. И каждая вещь, и каждый день.

Немножко и мир “ворожит” Бога: и отдал Сына своего Единородного за мир.

Вот тайна.

Ах, не холодеет, не холодеет еще мир. Это — только кажется. Горячность — сущность его, любовь есть сущность его.

И смуглый цвет. И пышущие щеки. И перси мира. И тайны лона его.

И маленький Розанов, где-то закутавшийся в его персях. И вечно сосущий из них молоко. И люблю я этот сосок мира, смуглый и благовонный, с чуть-чуть волосами вокруг. И держат мои ладони упругие груди, и далеким знанием знает Главизна мира обо мне и бережет меня.

И дает мне молоко и в нем мудрость и огонь.

Потому-то я люблю Бога» \*.

Эта картина выдержана несколько в духе древнеегипетских изображений, которые Розанов так любил и воспроизвел и комментировал в своей незаконченной книге 1916 года «Из восточных мотивов». Это — изображение древнеегипетской Богоматери Изида, кормящей младенца. Это для Розанова центр и основа всех великих мировых религий. Идея материнства (или, что то же самое, отцовства, Богоотцовства), идея семьи и семейственности, положенная в основание космоса и взаимосвязи Бога с человеком. Человек усыновлен Богом, уроднен Богу и вместе с тем уроднен миру. Картина космологична и по-розановски субъективна, интимна. Мир — тело Бога, и мир супруга Бога, кормящая человека, Розанова, молоком, которое посылает Сам Бог, жизнеподатель, вместе с молоком дающий и мудрость и любовь. Мир находится в состоянии зачарованности Богом или, как говорит Розанов, в состоянии замороженности Богом, и это состояние близко к собственной розановской зачарованности как его обычному творческому состоянию. Но эта зачарованность активна и предполагает волевое устремление мечта и восприимчивости. Сами органы восприятия, органы чувств у человека предполагают хотение. И поэтому в начале фрагмента говорится, что мир охоч к Богу, а Бог охоч к миру. Можно добавить, что человек, Розанов, а за ним, в идеале, и его читатель, расширивший душу до всемирной восприимчивости, охоч и к миру, и к Богу.

И поэтому Розанов сосет молоко, пребывая в положении вечного младенца. В этой картине замыкаются некоторые определяющие мотивы розановской мысли и прозы.

Сам образ мира-Богини, кормящей младенца Розанова, решен с целомудренной и вместе с тем пронзительной чувственностью. Пронзительной — в смысле предметно-физической остроты предлагаемого рисунка. Особенно удивителен этот сосок мира, воспринимаемый как бы сразу всеми органами чувств — на вид, на ощупь, на запах и на вкус, поглощаемый, дающий еду: смуглый, благовонный, упругий и, как сказано, — «с чуть-чуть волосами вокруг». Эти волоски в принципе то же самое, что ниточка укропа на малосольном огурце. То есть, образ подается в духе розановской предельно наглядной «мелочи», заключающей вместе с тем какую-то абсолютную ценность. Этот сосок, я бы сказал, сгущенная форма розановского стиля, в котором молоко мысли становится физическим ощущением и который вонзается, ввинчивается в сознание своей предметностью.

С помощью такого стиля и возникают у читательской души органы чувств: глаза, ноздри, ухо и так далее. И, поглощая этот стиль, душа читателя расширяется до охвата всего на свете, и читатель уродняется, укореняется в мире и в Боге, как в какой-то единой, космической семье.







## **Ж. -Б. СЕВРАК**

### **Антихристианство г. Розанова**

В современном мистическом движении в России, некоторые черты которого были отмечены нами при анализе религиозно-этических идей г. Мережковского \*, значительное место следует отвести творчеству В. В. Розанова. Мы хотим на этих нескольких страницах познакомить читателей с основными идеями этого писателя.

#### **I**

Это — задача нелегкая. Г. Розанов ни разу не дал систематического изложения своих идей. Его произведения носят характер хроники, ведущейся изо дня в день. Книжки, различные события повседневной жизни, — вот что дает ему повод высказывать свои мысли. Этот род литературы имеет большое преимущество, так как позволяет оставаться в пределах действительной, реальной жизни; как бы высоко ни направил г. Розанов свой мистический полет, он не теряет из виду землю и земную жизнь. Но, с другой стороны, этот же род литературы представляет и большие неудобства. Г. Розанову часто приходится повторяться, потому что повторяются и сами события повседневной жизни. Он редко высказывает свою мысль до конца. Он постоянно начинает и почти никогда не кончает. Когда читаешь его газетные и журнальные статьи, часто кажется в конце страницы, что сейчас автор перейдет к окончательным выводам. После массы словесных тонкостей, рассуждений, цитат вопрос, наконец, постав-

---

\* См. №№ 10–11 «Вестника знания» за 1907 г., статья Ж.-Б. Северака «Религиозно-нравственные идеи в произведениях Д. С. Мережковского».

лен, необходимый для его решения материал найден и освещен; несомненно, что на следующих страницах вы найдете это решение; вы переворачиваете страницу — и видите, что хроника окончена. Это первая трудность.

Другая трудность понимания идей г. Розанова заключается в его стиле. Мне удалось увидеть одну из ненапечатанных еще статей молодого русского критика, г. Философова, в которой автор говорит следующее: «В своем стиле г. Розанов является творцом новых ценностей... Читатель поражен, настолько стиль Розанова блестящ, ярок, самобытен... После Пушкина, Тургенева, Достоевского, когда, казалось, русский язык достиг максимума богатства и блеска, Розанов нашел в нем новые красоты, он преобразовал его, и все это — без малейших усилий»<sup>1</sup>. Ничто не останавливает г. Розанова, ни словарь, ни синтаксис. Чувствуется, что он выковывает свой язык в ту минуту, когда пишет. Результат часто получается прекрасный, хотя очень нередко бывает наоборот. К тому же г. Розанов не отличается достаточно тонким художественным чутьем и нередко бывает тривиальным, желая быть простым, или грубым, желая выказать силу.

В русской литературе почти невозможно найти хоть что-нибудь, что могло бы явиться руководящим материалом для того, кто желает разобраться среди массы разбросанных произведений этого писателя, еще очень мало изученных. Государственная жизнь России поставила русскую литературу в особые условия. Литература почти вся проникнута политикой. Вовлеченная в освободительное движение интеллигенция привыкла требовать от писателей доказательств их либерализма и симпатий к революции. В начале своей литературной карьеры г. Розанов не мог дать этих доказательств. Его сотрудничество в самых реакционных органах, его преданность православию и самодержавию сделали его подозрительным в глазах публики: читать его предоставили попам, бюрократам и группе писателей-декадентов, занятых одним искусством и красотой. Впоследствии, когда он выступил против христианства, реакционеры от него отвернулись, и он остался один, непринятый другими. Критических статей, посвященных г. Розанову, очень мало.

## II

Г. Анатолий Леруа-Болье указал в своей книге «*Empire des Tsars*» («Империя Царей») на глубоко реалистический характер русского мистицизма<sup>2</sup>. Этим свойством в очень высокой степени отличается г. Розанов.

Г. Розанов страстно влюблен в природу. Он любит ее в самых величественных и в самых ничтожных ее проявлениях. Он любит небо, море, лес так же, как и цветы и молодую траву. Для того, кто умеет снимать покровы, которые воспитание положило между человеком и природой, последняя является в одеянии несказанной красоты. Для того, кто не довольствуется поверхностными объяснениями позитивной науки, все в природе представляется тайной. Наука говорит о начале вещей, но не говорит об их цели; после объяснений ученого смена дней и ночей не теряет своей таинственности; полны тайны и расцветание цветка, и ритмичное волнение океана, и ночная феерия звездного неба.

Прекрасная и таинственная природа имеет для г. Розанова еще другое великое свойство: она — божественна. Один из немногих критиков г. Розанова, г. Волжский, говорит о его пантеизме, и сам г. Розанов тоже употребляет это слово. Такое определение верно, если только не придавать ему слишком строгий смысл. Было бы большой ошибкой искать сходства между мирозерцанием г. Розанова и системой Спинозы, который видит во вселенной развитие атрибутов Бога, а в телах — модусы этих атрибутов; взгляды г. Розанова чрезвычайно далеки от робкого и методичного рационализма Спинозы. Но если признать, что для него природа во всех своих проявлениях как бы проникнута божественным дыханием, что только приобщившись к ее тайнам, можно найти путь, ведущий к Богу, и, трепеща перед ее красотами, выказывать свою любовь к Богу, то в таком случае здесь может идти речь о пантеизме.

В самом деле, для г. Розанова нет ничего в природе, что не было бы святым. Чем величественнее ее красота, чем глубже ее тайна, тем ярче это указывает на существование Бога.

Но что в природе прекраснее и таинственнее жизни и, в особенности, той темной силы, благодаря которой беспрестанно воспроизводится жизнь, вечно юная и вечно новая? Все проявления этого постоянного обновления, этой вечной победы жизни над смертью умиляют г. Розанова и наполняют его душу энтузиазмом.

Дитя — самое прекрасное из творений; никакая грязь не осквернила его душу; и как верно то, что взрослые чувствуют себя лучшими в обществе детей! Ребенок полон тайны; можно было бы сказать, что он сохранил память о загадке, из которой он едва вышел и которая придает странное выражение его глазам, еще совершенно неопределенного цвета.

Все, что походит на ребенка, отличается его красотой и обаянием. Молодые народы, подобно детям, ближе к бытию, к нача-

лу, к явлению жизни. Оттого-то г. Розанов так любит их и часто возвращается к прошлому. Греция с ее самыми темными культурами, Иудея с ее прославлением семьи и размножения, Египет и Вавилон с их натуралистическими религиями, почитанием сил природы и обожествлением плодovitой любви, — привлекают г. Розанова; он восхищается их символами и иллюстрирует свои книги их рисунками. Улыбка сфинкса трогает его так же глубоко, как и улыбка ребенка.

Ребенок придает свою красоту и святость семье. Семья — это «Аз есмь» каждого из нас; «святая земля», на которой издревле стоят человеческие ноги... Это есть целый клубок таинственностей; узел, откуда и начинаются нити, связующие нас, ограничивающие наш произвол, но так, что здесь мы только радостно покоряемся подобному ограничению. Семья — начало религии, религиозных связей человека с миром. Это есть настоящее духовное отечество наше, способ такой обязанности людей, где они уже без «нравственного богословия» любят друг друга, проливают друг за друга пот и готовы пролить, да и проливают иногда кровь» \*.

Но ребенок может дать семье святость и красоту потому, что семья есть естественная среда плодovitой любви, и половое соединение, чудесный фактор вечной юности мира, — самое таинственное и величественное явление во Вселенной. Ночь является моментом любви; вот что говорит о ней г. Розанов:

«Почти вся природа выбирает ночь для любви. Это — время, когда каждое существо забывает немного мир и *остается наедине только с самим собой*. Ночь является для каждого завесой, скрывающей его от других, скрывающей от него все пределы, кроме самых близких. Соединение полов — это момент, заключающий в себе большую часть души и жизни. Ночь имеет душу, отличную от души дня; она живет своей жизнью, пульс ее бьет иначе, чем пульс дня. Ночь — *другое существо*, чем день, и пробуждает в каждом из нас иное существо, чем то, которое в течение дня работает, покупает, продает, хитрит. Ночь — благоуханнее дня, торжественнее, безмолвнее. Многие цветы раскрывают свои венчики только ночью, и именно ночью жасмин издает особенное благоухание. Одним словом, вечером, когда начинается ночь, вся земля как бы меняет свои одеяния».

«Тайна пола» становится величайшей тайной. Пол есть наиболее глубокое явление во всяком живом существе. Попробуйте, говорит г. Розанов, судить о душевных качествах человека по его лицу, и вы наделаете массу ошибок. Напротив, вы легко

\* «В мире неясного и нерешенного», с. 50.

прочтете на нем возраст, т. е. стадию развития пола, вы прочтете на нем также целомудренность или развратность, т. е. опять-таки половые наклонности. «Лицо есть отсвет пола, его далеко отброшенное, но точное и собранное, сосредоточенное устремление» \*. Посмотрите также, продолжает г. Розанов, как влияет равновесие и расстройство половых отправлений на наше «душевное состояние», на деятельность нашего ума и воображения. Посмотрите, наконец, как разнится «женская логика» от мужской. И г. Розанов приходит к следующему заключению: «Все вообще соглашается, что есть “женская” и “мужская” душа: странный термин, выражающий, в сущности, что *душа имеет в себе пол*, и что *пол в нас и есть наша душа*» \*\*.

Таким образом, половая любовь есть самое божественное в нас; в воспроизведении лучше всего проявляется в природе божество. Приблизиться к этой тайне — значит приблизиться к Богу. Последним словом натурализма г. Розанова является «обоожествление пола».

### III

Когда г. Розанов ищет в истории проявлений этого воззрения на божественное свойство пола и на святость всего, что связано с ним, — семьи, брака, любви, он вынужден констатировать, что они постепенно ослабевают.

Человечество проходит тот же путь, что и каждое человеческое существо. Ребенок не ведает ни греха, ни зла. Это свойство он теряет по мере того, как растет. «Безгрешность младенца, его сияние, его — дерзнем сказать — положительная святость: откуда это, что за странность? Ведь он должен бы быть простым “куском мяса” и возрастая в красоте по мере того, как от букваря мы переводим его к арифметике. Но нет этого. Вопреки всем нашим умственным расчетам — нет. Младенец *темнеет* по мере того, как он отходит от рождения» \*\*\*. Становясь старше, он как бы теряет с каждым днем частицу тайны, принесенной им из таинственного мрака, откуда он явился.

Человечество подобно ребенку. Вавилон, Египет, Греция и Иудея любили в природе то, что в ней есть наиболее божественного — плодovitость. Цивилизации этих народов, более близ-

\* «В мире неясного и нерешенного», с. 4.

\*\* Там же, с. 7.

\*\*\* Там же, с. 108.

кие к природе, были более истинными и святыми. Они лучше сохранили воспоминание о Рае, о первобытном райском состоянии; они остались чисты и близки к богам. Египет имел сфинксов — символ глубокого единения божества и людей. Далекие от того, чтобы отворачиваться от пола, эти древние народы видели его величие, доказательством чему служат многочисленные культы Востока и Греции, начиная с культа Изиды и кончая культом Афродиты. Но благоговение перед половой жизнью сильнее всего проявлялось у иудеев; они поняли божественную заповедь: плодиться и размножаться; они чтили семью и создали из пола высшую точку соприкосновения человека и божества, что видно из обряда обрезания.

До-христианские народы до того обожествляли пол и плодотворную любовь, что требовали их почитания. Вот чем и объясняется их ожидание Мессии. Они думают, что от полового соединения, от этого божественного акта, некогда явится воплощенное божество. Вот почему волхвы шли за звездой, сиявшей на востоке, и пришли в Вифлеем поклониться только что родившемуся ребенку.

Но все это — в прошлом. Оглядываясь вокруг себя, г. Розанов приходит в ужас от того, что видит. Первобытная чистота человека исчезла; люди как бы стыдятся того, чему они обязаны жизнью и что дает им возможность создавать новые жизни. Детоубийства учащаются; проституция с каждым днем расцветает; вместо того, чтобы смотреть на семью «как на высшую ступень близости к богу», ее не чтут. Потеряв то, что являлось самым надежным его религиозным принципом, человечество перестало быть интересным и прекрасным. Любовь к природе и религия пали одновременно.

Когда же это случилось? — спрашивает г. Розанов — и отвечает: со времени Христа. Христианство отняло у людей их святое благоговение перед жизнью и в то же время убило в них истинное религиозное чувство. В течение двух тысяч лет целомудрие возводится в единственную действительную и спасительную добродетель. Была разбита связь, существовавшая между землей и небом, так как единственным средством попасть на небо сделалось отрицание земли, чувство стыда за половые наклонности, борьба с любовью и сожаление о плодovitости брака.

«Когда же они (волхвы) отошли, — се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. — Он встал, взял младенца и мать его ночью, и пошел в Египет, — и там был до

смерти Ирода... Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже» (Матф. II, 13–16).

В одной из своих статей, посвященной этой легенде об Ироде, г. Розанов замечает, что христианство, по-видимому, прониклось духом этого приказа иудейского царя<sup>3</sup>. Делая из целомудрия высшую добродетель, видя в браке не средство приблизиться к Богу, но убежище от разврата, христианство продолжает дело избития невинных.

В России существует чудовищная секта, основатель которой, некто Селиванов, жил в конце XVIII столетия<sup>4</sup>. Подобно многим другим мистикам, последователи Селиванова видят в самом строгом воздержании условие спасения. Но для того, чтобы не подвергаться искушению, они изувечивают себя, приводя в свое оправдание следующие слова Иисуса: «Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства небесного. Кто может вместить, да вместит» (Матф. XIX, 12).

Г. Розанов думает, что учение Селиванова и скопцов вполне соответствует духу христианства; вот почему православной церкви так трудно уничтожить эту секту. Она не знает, что отвечать скопцам, которые говорят ей: «Мы логичнее вас и с большей верностью относимся к тому учению, которое вы проповедуете». «Кравые тени этого заблуждения (т. е. взгляды Селиванова) обняли, в сущности, весь Запад, — пишет г. Розанов... “Как может касаться чаши со св. Дарами женатый священник?” — писал в одном частном письме (еще тогда не папа) Григорий VII Гильдебрандт<sup>5</sup>. Христианство в бесплотности его учения, как бы в воздушности его небесных истин, казалось этому великому уму и действительно чистому сердцу вовсе не совместимым с реальным и, конечно, плотским существом брака» \*. Эти чувства должны были, весьма естественно, выразиться в догматах. Христианство думало, что воплощение божества, в точном смысле этого слова, было бы его падением, что рождение от настоящей женщины осквернило бы Иисуса. Появилась гипотеза, по которой тело Марии было создано из другого вещества, чем остальной мир. Был создан догмат непорочного зачатия. Таким образом, думает г. Розанов, отняли всю ценность у таинства воплощения, которое не означает больше взаимного проникновения неба и земли.

\* «В мире неясного и нерешенного», с. 22.



Если эта спиритуализация христианства достигла своих крайних форм в католицизме и монашестве, то не знает в ней недостатка и восточное христианство. Русская церковь хотя и разрешает своим священнослужителям жениться, в действительности не освящает брака. Она отдает предпочтение монахам, черному духовенству, которое ставится выше белого духовенства, — попов. В то время как смерть сопровождается торжественной церемонией, музыка и тексты которой полны великой поэзии, брак и крещение празднуются на скорую руку, можно сказать — почти стыдливо. В сущности, Церковь благословляет в браке не принцип его, союз полов, а внешнее его выражение, перемену имени супруги. Брак, как и крестины, является только формальностью гражданского состояния.

Вывод отсюда такой: христианская религия вместо того, чтобы сблизить человека с Богом, увеличивает расстояние, которое их разделяет. Она не обращена к будущему (потому-то у нее нет и пророков), так как будущее по необходимости есть плод греха. Это — религия смерти.

Она обесплодила европейскую цивилизацию. «Цивилизация европейская, не сейчас только, но и всегда, вечно была и есть “не” плодущая цивилизация; она никогда не вознесла “до неба” (гордо и вместе свято) “чрева носящего” и “сосцов питающих”» \*.

Таковы наиболее тяжкие обвинения, направленные г. Розановым против христианства. Они так бурны и так существенны, что их автора можно сравнить с Ницше.

«В. В. Розанов, — писал г. Мережковский, — русский Ницше» \*\*. И в самом деле, много критических доводов против христианства находится одновременно как у Ницше, так и у г. Розанова. «Христианство есть религия смерти», — говорит г. Розанов. Ницше сказал: «Вот христианская концепция Бога: Бог, выродившийся до того, что стал в *противоречие с жизнью* вместо того, чтобы быть ее прославлением и вечным *утверждением!* Объявить во имя Бога войну жизни, природе, воле к жизни! Бог — формула для всякой клеветы “посюсторонней”, для всякой лжи “потусторонней”! Ничтожество, превращенное в Бога, воля освященного ничтожества!» \*\*\*

Г. Розанов выступает заодно с Ницше, упрекая христианство в недостатке реализма и в бесплодном спиритуализме. Но почва, на которой стоит г. Розанов, не та, на которой находится Ниц-

\* «В мире неясного и нерешенного», с. 35.

\*\* «Толстой и Достоевский», т. II. Предисл., с. XXXII.

\*\*\* «Антихрист».

ше. Одно из оснований, по которым Ницше обрушивается на христианство, заключается в том, что эта религия со своими нелепостями наносит оскорбление разуму. Г. Розанов, напротив, упрекает христианство в том, что оно не достаточно является религией, пожалуй, можно сказать, — в том, что оно не достаточно абсурдно. Ницше был атеистом; г. Розанов верует.

Каковы же его выводы? Для него дело не может разрешиться тем, что он перестал бы быть верующим. Религиозность, думает г. Розанов, составляет сущность человеческой природы; молиться так же необходимо, как и дышать. Какую же религию предлагает он людям? Какому божеству пошлет он свои молитвы? Будут ли это боги Востока, повелевающие жить, любя жизнь и непрестанно воспроизводя ее, или же Бог христианства, религии бесплодия и небытия?

Казалось бы, что после всего сказанного достаточно поставить вопрос, чтобы сейчас же ответить на него. Разве не ясно, г. Розанов должен был бы отвернуться от Нового Завета и Христа, чтобы обратиться к Богу Ветхого Завета и, даже далее, к богам Египта и Вавилона?

Но в действительности решение г. Розанова отличается запутанностью. Можно сказать, что у него есть два ответа: один, который он развивает вовсю, безнадежно повторяя одно и то же, которого он придерживается, потому что может, несмотря на все остальное, согласовать его со всем своим прошлым верующего христианина; другой ответ, который он прячет от самого себя, о котором он едва заикается и которого боится.

Первый заключается в том, чтобы остаться в христианстве, реформируя его. Два крупных недостатка христианства, его «номинализм» и пессимизм, не могут быть вменены Христу.

«Европейское человечество приняло “благую весть” на острие рассуждения и отнесло ее в академию, а не на умиление сердца... Мы взяли Евангелие умом и в ум, а не сердцем и в сердце. Об этом говорят истории семи вселенских соборов и множества поместных западных, из которых многие продолжались семь, восемь и даже — как Тридентский собор — целых тридцать лет. Тридцать лет рассуждения! Но мы не ошибемся, если, компактно охватив христианство, заметим, что все почти две тысячи лет европейское человечество рассуждало об Евангелии, над Евангелием, по поводу Евангелия — между тем как его можно еще *почувствовать и исполнить*» \*. Отдавали время на то, чтобы анализировать и комментировать слова Христа, и забывали о

\* «В мире неясного и нерешенного», с. 42–43.

его делах. Были взяты слова, и забыты — дела. Вот это г. Розанов и называем «номинализмом» христианства. Люди действовали «во имя» Христа, но не «по» Христу. По этой причине умножились ереси: слова и рассуждения разделяют людей. Противоречия, которые можно найти между различными Евангелиями, исчезают, как только речь идет о том, чтобы установить черты образа Христа. В этом пункте все вероисповедания сходятся. «Мы построили, — выражается символически г. Розанов, — церковь исключительно в чертах точности и последовательности, почти *юридической*; она стала или мы усиливаемся ее сделать “хранителем”, “консерватором” канонического права почти в том смысле, как есть “консерваторы”, “хранители” музеев, археологических и других. Тьма, так явно “объясняющая” христианский мир, объясняла вовсе не Лик Спасителя» \*. Задача XX века будет заключаться в том, чтобы разогнать эту тьму, разрушить этот храм, оставив слова, взяться за дело, *почувствовать и исполнить* христианство вместо того, чтобы анализировать его. «Вот тема для великого идеального движения XX века: разработка в музыкальных тонах того, что мы разрабатывали до сих пор механизмом памяти» \*\*.

Другим важным недостатком христианства, как мы уже сказали, является то, что это — религия небытия. Происходит это, по мнению г. Розанова, оттого, что помнят только конец, а не начало жизни Христа. Помнят о его смерти, но забыли про его рождение. Помнят Голгофу, — забыли Вифлеем. Атмосфера Голгофы распространилась на все христианство. За слезами учеников последовали слезы верующих. Между тем в особенности следовало бы обратиться к Вифлеему: «Есть религия Голгофы; но может быть и религия Вифлеема; есть религия “пустыни”, “Петрова камня”, но есть и религия “животных стад”, окруживших “ясли”, и многодумных “волхвов с Востока”, пришедших в Вифлеем поклониться исполнению каких-то своих чаяний».

Г. Розанову хотелось бы «согреть» ледяную атмосферу, в которой живет христианство, поставить колыбель на место могилы, освятить брак вместо того, чтобы проповедывать аскетизм, сделать из христианского мира «всемирные ясли».

Но возможно ли это? Можно ли превратить в религию жизни религию небытия и смерти? Вполне ли уверен г. Розанов в том, что он утверждает, когда говорит, что христианство пошло по ложному пути и удалилось от Христа, думая больше о его распя-

\* «В мире неясного и нерешенного», с. 44.

\*\* Там же, с. 57.

тии, чем о его пришествии? Если здесь ставится этот вопрос, то именно потому, что сам г. Розанов поставил его себе и, кажется, иногда отвечает на него отрицательно. Тогда он делает вполголоса этот второй вывод, о котором было сказано выше. Он говорит, что христианство не изменило Христу, что эта религия была единственным выводом, который можно было сделать из его учения и жизни, что только здоровые инстинкты людей помешали им совершенно погибнуть, следуя за Христом до конца. Отсюда следует, что не может быть и вопроса о том, чтобы реформировать христианство, дать ему теплоту и жизнь, которых ему недостает. Надо решительно отказаться от него и вернуться к до-христианским религиям. На Христе лежит ответственность за слабости и несчастья человечества в продолжение двух тысяч лет. Он внушил людям обесценивающее чувство греха. Он отнял у жизни всю ее красоту и всю ее смелость. Да и был ли он даже «Сыном Божиим»?

Историки рассказывают, что распространение Евангелия на Руси происходило медленно и с большим трудом. Крещения подданных Владимира в водах Днепра не было достаточно, чтобы искоренить старые, до-христианские верования. Они продолжали существовать наряду с христианством, в незатронутых им глубинах, и даже в настоящее время еще не один народный праздник сохраняет следы культов древних славянских богов. Идеи г. Розанова наводят на мысль об этом язычестве, которое упорно продолжает таиться у русских под покровом христианской нравственности и догматов. Это глубокое течение, будучи долгое время подземным, пробилось вдруг на поверхность в конце XIX века и как бы забило ключом в произведениях г. Розанова. Не обратился ли г. Розанов всецело к прошлому, к красоте и чистоте мира, не сумевшего понять (так как он и не нуждался в этом) жертвы Голгофы?





**Д. Г. ЛОУРЕНС**

**О Розанове**

**«УЕДИНЕННОЕ» В. В. РОЗАНОВА**

На обложке этой книги нам сообщают мнение князя Мирского<sup>1</sup> о Розанове как об одном из гениальных русских людей нашего времени, как о величайшем проявлении русского духа, с которым предстоит познакомиться Западу.

Столь высокие оценки приводят нас в замешательство. И даже прочитав длинный «Критико-биографический очерк» Э. Голлербаха, занимающий 43 страницы, мы не избавляемся от своих сомнений, несмотря на то, что в нем приводятся глубокие, иногда просто потрясающие высказывания из «Уединенного» и «Опавших листьев». И все же такое впечатление, что перед нами снова болезненно погруженный в самосозерцание русский человек, распинаящийся в своем благоговении перед Иисусом, что не мешает ему тут же восстать и плюнуть Ему в бороду или хотя бы в спину. С такими персонажами нас уже познакомил Достоевский, и они успели нам надоесть. Раздвоенные личности с религиозностью беспризорников, они копаются в своем грязном белье и в своих грязноватых душах: таких героев мы видели более чем достаточно. Их внутренние противоречия не так уж загадочны и совсем не поучительны. Пока они чувствуют свою силу, в них клокочет ненависть к цивилизации, к Европе, христианству, правительствам и ко всему прочему; когда неизбежно силы иссякают, они раскаиваются: стонут, унижаются, ищут самых немислимых унижений, считая, что так они приближаются к Христу; а в это же время левой рукой они делают грязные и подлые делишки, и все это называется мистической противоречивостью человеческой души. На самом деле это только самовозбуждение, и это утомляет. Сколько можно повторять, что «Легенда о Великом Инквизиторе» Достоевского — это «самое

глубокое объяснение человека и жизни из всех существующих». По-моему, чем больше человека занимает собственная персона, тем он менее интересен для других. Чем больше Достоевский возбуждается идеей трагизма человеческой души, тем быстрее я теряю к нему интерес. Три раза прочитав «Легенду», я никогда не могу вспомнить, о чем она. Это не хвастовство, а простое признание факта. Мне всякий раз кажется, что тут, как говорят немцы, много шума из ничего.

В Розанове мы узнаем, кажется, еще одну птицу из стаи Достоевского. «Уединенное» — написано в философском жанре, не чуждом русской литературе, книга из ста страниц состоит из фрагментов мыслей, которые автор записывал там, где они осели его, на извозчике, в вагоне поезда, в ватерклозете, запись могла появиться на подошве домашней туфли во время купания. Кажется, что мысль, пришедшая в дороге, могла точно так же возникнуть в клозете или «за нумизматикой», так что не все ли равно? Если уж Розанову хотелось представить реальные обстоятельства, следовало их более детально разработать. Сами по себе подписи «на извозчике» или «за нумизматикой» ничего не говорят.

И вот перед нами множество фрагментов, собранных за 1910–1911 гг., некоторые из них интересны, другие — не очень. Многие из них можно было бы собрать под общим девизом: «С Христом — или без Христа!», если позволительно пародировать гамлетовское «быть или не быть» (это была бы пародия чисто русского свойства). Есть среди фрагментов штрихи к портрету самого автора. Например: «В вас *мужского* только... брюки...», — сказала Розанову одна юная особа. Наверное, это не совсем точно, так стоило ли приводить это наблюдение? Но что делать — самоанализ существенная черта этого произведения. Вот еще о себе, о своем учительстве: «Форма: а я бесформен. Порядок и система: а я бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался в тайне души комичным и со всяким “долгом” мне в тайне души хотелось устроить “каверзу”, “водевиль” (кроме трагического долга)» (Э. Голлербах, со слов З. Гиппиус, с. 13).

Вот где слышится Достоевский, вернее, его так называемый нигилист, у которого на поверхности совсем не то, что внутри. Такого рода противоречивость довольно скучна, и когда это прирожденное свойство, и когда это поза. Под этими парадоксами кроется банальное желание «быть хорошим»: «Я хороший! Я очень хороший! Я самый лучший. Я преклоняюсь перед чистой!» и тому подобное.

Достоевский приучил нас к таким вещам, и нас уже на это не возьмешь. Бедный Вольтер, он тоже раскаивался, но только раз, когда силы совсем оставили его и он пребывал между жизнью и смертью. А вот русские постоянно находятся между жизнью и смертью, они всегда, неизменно на смертном одре.

Когда Розанов говорит о «милых физиономиях» и «милых душах» детей, или о том, как два года он был «в Пасхе», «в звоне колоколов», «воистину “облаченный в белую одежду”», — меня обдает холодом и я становлюсь непроницаемым. Для меня все это остывшая яичница.

Но есть в «Уединенном» и глубокие мысли: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали»; «Попробуйте распять Солнце. И вы увидите — который Бог» — и многое другое. Озарения самосознания не столь интересны, в них есть оттенок актерства и даже кривляния. На меня это уже не действует.

К концу критико-биографического очерка Голлербаха мне уже претит выставленная напоказ неряшливость. Такое же чувство возникает при чтении последних страниц «Уединенного», хотя нередко Розанов бросает поразительные наблюдения, забивает гвоздь по самую шляпку.

За «Уединенным» в этом издании следует 20 страниц другого сочинения Розанова — «Апокалипсис нашего времени». Тон здесь резко меняется, и вы попадаете в совсем другую атмосферу. «Апокалипсис» несравненно глубже, чем «Уединенное», и было бы гораздо лучше, если бы именно его мы прочли полностью. Только здесь можно понять, что Розанов был действительно мыслитель, что он действительно «величайшее проявление русского духа, которое предстоит открыть Западу».

Розанов раскрывает в себе нечто подлинное, и ему вершить, когда он пишет: «чувства *преступности* (как у Достоевского) у меня не было». Да, в нем нет скрытой склонности к преступлению. Он может проявиться как цельная и глубокая личность, как провидец и как пророк. Таков он в «Апокалипсисе». Здесь он уже не поет с голоса Достоевского. Он сам по себе, и это его собственная русскость говорит в нем.

Книга — выпад против христианства. о чем заявляет сам автор, в ней нет ни лицемерия, ни покаяния. В ней есть страсть, притом страсть неожиданно сильная. Лавирование, самоанализ, разоблачения — все ушло, и звучит подлинная страсть. Розанов своими путями заново открывает исконное языческое мировосприятие, фаллизм; глазами язычника, с ужасом и изумлением он смотрит на дела христианские.

Впервые русский писатель дает нам полнокровную картину мира; ни Толстой, ни Достоевский и никто другой из них не дал



нам этого. Кажется, в Розанове проснулся язычник древней Руси, русский Рип ван Винкль<sup>2</sup>, — и потрясенно смотрит на мир. Жирная и плодородная почва язычества, фаллического язычества вскормила Розанова. Но перед его взором — измученная собственной сложностью цивилизация христианства — конечно, в его глазах это какой-то кошмар.

И вот перед нами первый русский, который сказал нечто совершенно новое, для меня это именно так. Его отношение к миру полно живой и полнокровной страсти. Он первый понял, что бессмертие — в полноте проявления жизни, а не избавлении от нее. Эту тайну открыла ему бабочка, рождающаяся из кокона мертвой гусеницы, а он открыл ее нам.

Когда Розанов бодрствует, это новый, переживший воскресенье человек, язычник, восставший из гроба, и в этом величие Розанова как пророка. Может быть, он и прав, когда говорит, что он — первый русский на земле. Размышляя о Толстом, Леонтьеве, Достоевском, Розанов пишет: «Я говорю прямо то, о чем они не смели и догадываться. Говорю, потому, что я все-таки более их мыслитель» («О понимании»). Вот и все.

Но дело идет (и *шло* у Достоевского и К. Леонтьева) именно об антихристианстве, о победе самой *сути* его, этого ужасного *aviv'*ализма: когда из него-то, из фалла — все и проистекает...

В таком настроении Розанов не раздваивается, не противоречит самому себе. Он — воплощенная цельность. Его представления и страсти едины, между ними нет трагического разлада.

Но вот он возвращается к русским вопросам и снова раздваивается. Как только он задумывается о себе, о личном, он становится немного смешным, или жалким, иногда слишком навязчивым и почти всегда — противоречивым. О, как им нравится их двойственность, их внутренняя противоречивость, как они насквозь пропитаны Достоевским, эти русские! Двойственность, как и парадоксальность, им просто необходимы. «Иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы».

На это можно ответить, что Содом и культ Мадонны — две фазы движения маятника: от возжелания к аскетизму, от благочестия к порнографии. Если вы не жаждете благочестия, вам не понадобится и порнография, и наоборот. Где нет святых, там нет и грешников, там нет надобности в разделении на монахов и мирян. Попробуйте разделить душу человека на две части —

темную и светлую. Само по себе это разделение уже пагубно. Увлечение одной крайностью неизбежно сменится отливом в противоположном направлении. Поклонение Пречистой Деве неизбежно сменится разгулом страстей, после чего произойдет возвращение к Пречистой — и так до бесконечности. И не устройство души тому виной. Источник порока — в трусливом, разлагающемся человеческом рассудке, который постоянно ищетклонения от своего центра.

Розанов, когда он не пытается быть слишком русским, — единственный, кто это понял и решил хоть в какой-то мере вернуть человеку его былую цельность.

Поэтому, безусловно, книга Розанова чрезвычайно интересна и нужна. Хотя мы изрядно устали от русского мироощущения, все же предисловие Голлербаха и приведенные в конце книги письма дают важный человеческий материал для понимания Розанова. Может быть, это и не так уж существенно, что он был за человек. В нем, конечно, есть какое-то извращение, но не такое, как у Достоевского, так что когда он пишет, что он «рожден не ладно», то это, скорее всего, только перепевы из Достоевского.

У Розанова есть свой голос, голос нового человека, ушедшего от Достоевского — и это главное. Это очень много значит. Подождем полного перевода «Апокалипсиса нашего времени» и «Восточных мотивов». Розанов скажет свое слово и сейчас, и в будущем.

#### «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» В. В. РОЗАНОВА

Розанов в наши дни начинает приобретать европейскую известность. Появился французский перевод<sup>1</sup>, обещан немецкий; молодые писатели Парижа и Берлина говорят о нем как об одном из пророков истины. При этом «Уединенное» пользуется несколько большим успехом, чем «Опавшие листья»: наверно, потому, что в нем была сенсация. «Опавшие листья» менее сенсационны: это печальная и умиротворенная, глубоко русская книга.

Книга была написана, видимо, около 1912 г., незадолго до смерти автора<sup>2</sup>. Для западного читателя Розанов — последний русский писатель. Русские новой эпохи совершенно иные.

Действительно, Розанов, писавший после Чехова, — последний русский писатель. У него подлинно русский голос, и сегодня это особенно очевидно. Арцыбашев, Горький, Мережков-

ский — его современники, но все они стоят несколько в стороне от традиции. И только Розанов стоит на самой магистрали.

Первым браком он был женат на бывшей любовнице Достоевского: родство с ним заметно и в литературных устремлениях Розанова. Отсветы Достоевского слились у него в устойчивый, ровный свет, он приобрел самостоятельность и признание. Хотя в отношении к нему сохраняется настороженность. Дело в том, что раньше, до того, как он пережил переворот и стал правоверным, хотя и вечно подозреваемым в измене консерваторм, он бессовестно и изощренно лгал. Может быть, думают, он и теперь лжет — кто знает? Но нет, «Уединенное» и «Опавшие листья» — не ложь или не в такой степени ложь, как многие гораздо более оцененные и признанные книги.

«Опавшие листья» представляют собой фрагменты размышлений, обрывки мыслей, записанных где придется и на чем придется. Насколько это существенно — где и на чем, не ясно, но автору почему-то необходимо постоянно напоминать читателю о своем реальном окружении: «ночью», «за нумизматикой», «на извозчике», «в ват...» — подобными подписями сопровождается каждый фрагмент. Наверное, он таким образом хотел избежать даже видимости какой-либо систематизации или абстрактного философствования. Как бы то ни было, это очень по-русски и сделано сознательно, с намерением удержать читателя — и самого автора — в атмосфере момента, напомнить о реальном времени и месте. Розанов пишет, что новое в «Уединенном» — *тон*, тон манускриптов. Этот тон совершенно новый за все века книгопечатания, потому что люди индивидуальны «в лице и “почерках”», и рукопись попадает к читателю непосредственно от писавшего. Он сам раскрывает секрет своего писания: «Тут, в конце концов, та тайна (граничащая с безумием), что я сам с собой говорю: настолько постоянно, и внимательно, и *страстно*, что вообще, кроме этого, ничего не слышу».

Описание точно: Розанов наверное искренен с самим собой. По большей части ему удается удерживаться от актерства перед самим собой. Конечно, самосознание ему присуще, он от этого не отказывается и даже пытается предельно обнажить его перед собой и перед Богом. «Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало». Для профессионального лжеца это честная и искренняя молитва. «Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение». «Писателю необходимо подавить в себе писателя (“писательство”, литературщину)».

Он все время говорит о своей ненависти к литературе, которая отравила его жизнь, из-за которой, как он чувствовал, он не

живет, а только литературствует. «Как самые счастливые минуты в жизни, припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алекс. Пет. П-ва<sup>3</sup>, рассказ “друга” о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что был рожден созерцателем, а не действователем». Вот где его драма: он чувствовал, что только созерцает жизнь, вместо того, чтобы участвовать в ней. Он переживал это как унижение, и в более ранние годы он бунтовал. Он вел себя, как актер на сцене жизни. И это выходило даже слишком театрално: и его «ложь», и его «зло» были надуманны. Но в конце концов он становился и лжецом, и злодеем, потому что и притворство, и коварство независимо от того — поза это или потребность души — приносят дурные плоды. Эта жизненная позиция не давала ему удовлетворения. Он никогда не чувствовал себя настоящим злодеем. Он только бунтовал, как Ставрогин, как Иваны Карамазовы Достоевского. Вечно бунтовать, вечно *изображать* чувства, которых он не испытывал — главная задача русского писателя, даже если он Чехов. Слишком чувствительные, переполненные безбрежными чувствами, чересчур добрые или несчастные или чудовищно порочные и циничные — и все это для того, чтобы создать хоть какую-то видимость страстей, которых на самом деле нет. Это так по-русски и это так современно. Почти весь мир таков сегодня.

Розанов перестал бунтовать, стал спокойным и приличным, если не считать коротких истерических припадков, во время которых он безобразно обходился с «другом» или впадал в мелкие «грешки». Насколько человек, лишенный реальных страстей, может любить, он любил свою вторую жену, «друга». Он изо всех сил старался ее любить, и у него это в конце концов получилось. Однако в его любви всегда присутствует оттенок жалости, и она, бедная, наверно, очень страдала, как всякая жена чувствительного мужа, который вместо истинно мужских чувств и мужского сопереживания может предложить только «жалость», сострадание. Розанов сам пишет: «Европейская цивилизация погибнет от сострадательности», и дальше глубоко замечает, что это только «лже-сострадательность», с элементом «излома». Как это по-достоевски: именно лже-сострадательность окрашивает любовь Розанова к жене. Когда он говорит о ней, в его словах часто сквозит ирония. Но как бы он хотел, чтобы ее не было, как бы он хотел испытывать простые чувства. Он не мог. «Сегодня» — не было вовсе у Достоевского, — пишет он, — иными словами, как видно, он хотел сказать, — Достоевский был лишен непосредственных чувств, ему были доступны только «про-

екции» чувств, которые неизбежно разрушают свой объект — реальное «сегодня», самую суть того, что составляет «сегодня». На глазах у несчастного Розанова его жена умирала от паралича, она была его «сегодня», но его всегда отделяет от нее эта ирония. Он, конечно, страдал глубоко. Горе, вызванное болезнью жены, было неподдельным. И на этом опыте он сумел постичь реальность страдания, в котором и была его истинная любовь. Для него это было жизненно важно, потому что нет ничего труднее, чем испытывать подлинные чувства, особенно подлинное сопереживание, когда его источник, как в случае Розанова, давно пересох. Сознавая свою неспособность испытывать подлинные чувства, Розанов всеми силами стремился преодолеть себя и пробиться к реальным эмоциям. Насколько мог, он этого достиг. Страхнув с себя порочность, заимствованную у Достоевского, он к концу жизни постиг подлинность и чистоту страдания. В начале «Опавших листьев» он еще сентиментален и лицемерен до отвращения.

Прекрасны были русские люди былых времен. В эпоху Петра Великого это были здоровые варвары. Внезапно весь запас западных идей, идеалов и изобретений обрушился на их восприимчивые, но не отягощенные образованием головы, в которых новая закваска произвела бурное действие. Из этого брожения возникла литература от Пушкина до Розанова. Но позднее инородная закваска начала свое разрушительное действие в самой основе русской души. Русские словно приняли слишком сильное лекарство, словно им впрыснули слишком большую дозу вакцины. Были задеты центры восприятия и ответного действия, контроль нарушен, энергия тратилась бесцельно, и нация на какое-то время пришла в полный упадок. Слишком внезапный бросок в цивилизацию, как правило, убивает. Сейчас от нее гибнут жители островов Южного моря, от нее же погибли и русские, более медленно, но более верно. Если идея или идеал слишком сложны для того, чтобы личность или нация могли воспринимать их своими чувствами, непосредственно, то влияние этих идей перестает оказывать культурное действие, более того, они становятся опасными, как сильное средство, нарушающее равновесие и взаимодействие в организме.

Розанову это было хорошо известно. К тому, что он пишет о революции и демократии, нечего прибавить. Как и к тому, что он сказал о чиновниках и чиновничестве. Я думаю, если бы в Россию наших дней попал Толстой, он был бы ошеломлен. Но Розанов несколько бы не удивился. Он предвидел случившееся. Его понимание евреев отличает сверхъестественная проницатель-

ность. Его «консерватизм», который сегодня определили бы как фашизм, был только безнадежной попыткой задержать или изменить ход вещей.

Но болезнь уже проникла и в его организм, пути назад не было. Поразительна его заметка о собственной «задумчивости»:

«Иногда чувствую что-то чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит.

Я каменный.

А камень — чудовище.

Ибо нужно любить и пламенеть.

От нее мои несчастья в жизни (была служба), ошибка всего пути (был только “выходя из себя” внимателен к “другу” и ее болям) и “грехи”.

В задумчивости я ничего не мог делать.

И с другой стороны, все мог делать (“грех”).

Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня».

Вот ключ к его жизни: «задумчивость», которая превращает его в камень, делает его бесчувственным, и он ничего не может, и в то же время может все. Эта задумчивость не подчиняется его воле, так же, как его окаменение. Однако то, что он называет задумчивостью и окаменением, окружающие считали, оценивая его поступки, порочностью и злонамеренностью. Вот что получилось. Это было его, особое заклятие.

И вот перед нами последнее слово русского писателя перед великим крахом. Каждый, кто способен хоть немного понять состояние души Розанова, состояние, в котором он как будто родился, с его жуткой бесчувственностью и окаменением, тот должен глубоко сопереживать его страданию и стремлению вернуть свое подлинное «я», «я» чувствующее, вырваться из своей задумчивости, разбить камень. Насколько ему это удалось — мы можем судить по его книге, по тому, как он славит красоту плодородия и продолжения жизни, по его неожиданным и саморазоблачающим суждениям о Вейнингере. Розанов современен, страшно современен, и если он не может внушить нам страха Божьего, то он вселяет в нас страх перед судьбой, перед роком, перед цивилизацией, которая не внутри нас зреет, а навязывается извне, средствами «образования» и «просвещения».



---

## ПРИМЕЧАНИЯ

### Д. В. Философов

В. В. Розанов («Около церковных стен». Т. I и II. СПб. 1905—06)

Печатается по кн.: *Философов Д. В.* Слова и жизнь. Литературные споры новейшего времени (1900—1908 гг.). СПб. 1909. С. 148—161.

*Философов Дмитрий Владимирович* (1872—1940) — публицист, общественный деятель, близкий к Мережковскому. После революции — эмигрант. Философов ввел Мережковских и Розанова в журнал «Мир искусства», где он заведовал литературным отделом. Отношения Философова к Розановым, как и у Мережковских, дружеские на рубеже веков, сменились на враждебные после 1909 г. Розанов отмечал, что при наличии таланта и при большой активности в печати Философов так и не оставил в литературе сколько-нибудь заметного следа.

<sup>1</sup> Трисотэн — персонаж комедии Мольера «Ученые женщины» (1672).

<sup>2</sup> Статьи-доклады «Христос — судия мира» (1903) и «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» (1907) вошли в его книгу «Темный Лик».

<sup>3</sup> Философов имеет в виду, что, включая в книгу статьи, которые «вращаются исключительно в белых лучах» и являются «арифметикой» христианства, Розанов лукавит, не указывая, что более сложные статьи «в темных религиозных лучах», представляющие «логарифмы» христианства, «не подтверждают арифметики», — т. е. направлены, в отличие от этой книги, против христианства. Нужно отдать Философову должное — задолго до запрещения книги «В темных религиозных лучах» (1909) и до выхода в свет составленных на ее основе книг «Темный Лик» и «Люди лунного света» (обе — 1911) он указал на антихристианский характер включенных в них статей.

<sup>4</sup> Речь идет о созданном в 1905 г. группой либерального духовенства (А. Д. Введенский, Г. П. Петров, П. В. Раевский и др.) кружке «тридцати двух священников» — приверженцев церковного обновления (см.: О необходимости перемен в русском церковном управлении. СПб. 1905; Свящ. М. Чельцов. Сущность церковного обновления // Запросы современной церкви. СПб. 1906).



**И. Ф. Романов (Рцы)**

Заметки на полях.

Рец.: *Розанов В.* Около церковных стен. Т. I. СПб. 1906

Впервые: Слово. 1906. 6 февраля. Литературное приложение № 1.  
С. 2–3. Подп.: Рцы.

*Романов Иван Федорович* (1861—1913) — публицист, литературный критик, автор книг «Листопад» (1892), «Червоточина истории» (1906), собственных периодических изданий «Летописец», «Рцы», чаще всего писавший под псевдонимом «Рцы» (также «Гатчинский отшельник», «Вл. Заточников» и др.), друг Розанова. Интенсивная переписка между ними началась еще до приезда Розанова в Петербург — см.: Новый журнал (Нью-Йорк). № 159, 160. В Петербурге Розанов по предложению Рцы поселился в том же доме (Петербургская сторона, Павловская ул., д. 2). Хотя с остальными членами петербургского кружка эпигонов славянофильства, созданного Т. И. Филипповым, Розанов порвал в конце 1890-х гг., дружбы с Рцы и его семьей продолжалась (несмотря на идейные расхождения и ссоры) до смерти малоизвестного писателя, которого Розанов считал одним из трех людей «умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя» (другими были Ф. Э. Шперк и о. Павел Флоренский). См. о Рцы в «Уединенном» и «Опавших листьях» Розанова, в статьях: Среди людей «чисто русского направления» // Рус. слово. 1906. 24 нояб.; Еще об «истинно русских людях» // Рус. слово. 1906. 14 дек., а также написанном Розановым некрологе И. Ф. Романова (Новое время. 1913. 22 мая).

<sup>1</sup> Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветер ночной» (1836).

<sup>2</sup> Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Песок сыпучий по колени...» (1830).

<sup>3</sup> Имеется в виду статья: *Розанов В.* Желтый человек в переделке // Новое время. 1900. 28 июля (перепечатано: Около церковных стен. Т. I. С. 77–93).

<sup>4</sup> Сергей Николаевич Саотзы (Сеодзи) — японец, мальчиком привезенный в Россию из Японии в результате деятельности русской православной миссии под руководством еп. Николая (1836—1912), имение которого было расположено по соседству с имением известного педагога С. А. Рачинского Татев в Смоленской губ. Японского мальчика, ставшего крестным сыном Рачинского, отдали в Татевскую школу для крестьянских детей, где он был воспитан в православном духе. С. Сеодзи окончил С.-Петербургскую духовную академию. Однако стать священником не пожелал и работал переводчиком на Дальнем Востоке. Во время Русско-японской войны перешел на сторону японцев. В архиве С. А. Рачинского (ОР РНБ, С.-Петербург, ф. 631) хранятся письма С. Сеодзи к Рачинскому.

<sup>5</sup> Как я стал христианином. Рассказ Сергея Сеодзи. СПб. 1892.

**Н. А. Бердяев**

Христос и мир (Ответ В. В. Розанову)

Впервые: Рус. мысль. 1908. № 6. С. 42–55; Записки СПб Религиозно-философского общества. 1908. Вып. 2. С. 49–60; перепечатано в кн.: *Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции*. СПб. 1910. С. 234–252.

Доклад Н. А. Бердяева, сделанный на заседании Религиозно-философского общества 12 декабря 1907 г., — ответ на доклад В. В. Розанова «Об Иисусе Сладчайшем и горьких плодах мира», прочитанном на предыдущем заседании 21 ноября 1907 г. (см. совр. изд.: *Розанов В. В.* Соч. в 2 тт. Т. 1. М. 1990. С. 560–571).

Печатается по изд.: *Бердяев Н.* Собр. соч. Т. 3. Париж. 1989. С. 329–348.

*Бердяев Николай Александрович* (1874—1948) — известный религиозный философ, много писавший о Розанове. Бердяев признавал огромное значение Розанова для «нового религиозного сознания», отмечал его выдающийся литературный талант. В идейном отношении между Бердяевым и Розановым было мало точек соприкосновения. Став вместе с Булгаковым редактором журнала «Вопросы жизни» (1905), Бердяев потребовал удаления оттуда «нововременца» Розанова. Их позиции сблизились в период выхода сборника «Вехи». Однако в предреволюционный период новое «полевение» Бердяева вызвало неприятие Розанова, выступавшего с консервативных позиций. В 1916 г. Розанов опубликовал множество статей, в которых полемизировал с Бердяевым (см. Библиографию в кн.: *Н. А. Бердяев. Pro et contra*. СПб. 1994. С. 568).

<sup>1</sup> «Новый путь» (1903—1905) — религиозно-философский журнал, редакторами которого были П. П. Перцов, Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус. Розанов принимал в журнале активное участие (об истории журнала см.: *Максимов Д. Е.* «Новый путь» // *Максимов-Евгеньев Е. Е.* Максимов Е. Е. Из прошлого русской журналистики. Статьи и материалы. Л. 1930. С. 183–186 и др.).

<sup>2</sup> «Подражание Христу» (не позднее 1427 г.) — теологическое сочинение, приписываемое Фоме Кемпийскому (1225/26—1274) — церковному деятелю, одному из столпов западной патристики.

<sup>3</sup> Августин Аврелий Блаженный (354—430) — христианский теолог, один из главных авторитетов католической церкви; главные сочинения: «О Граде Божьем» (413—426) и «Исповедь».

<sup>4</sup> Ошибка памяти — собрания проводились в 1901—1903 гг.: первое заседание состоялось 29 ноября 1901 г., а последнее — 20 апреля 1903 г.

<sup>5</sup> Иустин — св. отец и учитель Церкви II в., известный в древности под названием Философа и Мученика, один из первых христианских писателей-апологетов.

<sup>6</sup> Иринея (ИрENEЙ), епископ Лугдунский (Лионский) (ок. 130—202) — св. отец и учитель Церкви, автор сочинения «Против ересей (Обличение и опровержение лжеименного знания)», сохранившегося в отрывках.

## Н. А. Бердяев

О «вечно бабьем» в русской душе

Впервые: Биржевые ведомости. 1916. 14 и 15 янв.; перепечатано в кн.: *Бердяев Н. А. Судьба России*. М. 1918.

Печатается по изд.: *Бердяев Н. Собр. соч.* Т. 3. Париж. 1989. С. 349–362.

<sup>1</sup> Статья является откликом на кн.: *Розанов В.* Война 1914 года и русское возрождение. Пгд. 1915.

<sup>2</sup> О своей «бабьей натуре» не раз писал и сам Розанов, например, в письме Б. А. Грифцову в 1911 г. — см. прим. 30 к очерку З. Н. Гиппиус в наст. изд.

<sup>3</sup> Имеется в виду статья: *Мережковский Д. С.* Соловей над кровью // *Мережковский Д. С.* Невоенный дневник. 1914—1916. СПб. 1917. С. 197–204.

<sup>4</sup> Ср. в переводе Б. Пастернака: «Кровь, надо знать, совсем особый сок» (*Гете И. В.* Фауст. М. 1969. С. 89).

<sup>5</sup> Бердяев отрицает происшедший в 1910-е гг. «переворот» во взглядах Розанова, несмотря на его неоднократные заявления и реальные устремления к христианству — по мнению автора статьи, Розанов остался язычником, а в его идейной позиции преобладают не религиозные, а национальные мотивы.

## М. М. Тареев

В. В. Розанов

Впервые: Богословский вестник. 1907. № 12. С. 627–665, с добавлением общего вступления, под названием «Христианство и религия В. В. Розанова».

*Тареев Михаил Михайлович* (1866—1934) — богослов, профессор кафедры нравственного богословия Московской духовной академии. Автор фундаментального труда в 5 тт. «Основы христианства» (1908). В его взглядах отчетливо прослеживается протестантско-модернистская тенденция: Тареев считал, что христианство должно сосредоточиться на спасении души, оставив бытовую жизнь человека чисто светским институтам. Розанов относился к Тарееву и к его явно отдающим модернизмом трудам с симпатией. Он неоднократно писал о нем: Новый труд проф. Тареева // Рус. слово. 1908. 8 февр. Подп.: В. Варварин; Новая книга проф. Тареева // Новое время. 1909. 3 янв.; он выступал в защиту богослова, учение которого подверглось сокрушительной критике и ему едва не пришлось подать в отставку с должности профессора Духовной академии (Сладкое и горькое на Руси. К истории проф. М. М. Тареева // Рус. слово. 1910. 23 июня, 27 июля, 28 июля). Розанов утверждал, что «Тареев — глубочайший из христиан нашего времени». Розанова, вероятно, особенно привлекало своеобразие, отличное от его собственного отрицание аскетического христианства. Следует иметь в виду, что после Февральской революции либеральный Тареев принимал активное участие в замене «консервативного» руковод-

ства академии и был поставлен редактором «Богословского вестника» вместо «монархиста» Флоренского.

<sup>1</sup> Порфирий Успенский (1804—1885) — епископ, археолог, богослов, исследователь православных древностей Востока. Автор многочисленных трудов, в том числе: «Первое путешествие в афонские монастыри» (1877), «Второе путешествие в афонские монастыри» (1880), «Книга бытия моего» (8 тт., 1894—1902).

<sup>2</sup> Статья «Аскоченский и архим. Феодор Бухарев» впервые появилась в газете «Новое время» (1902. 12 и 17 декабря) под названием «Интересный эпизод нашей умственной жизни», а позже была включена в книгу «Около церковных стен» (т. 2).

Бухарев Александр Матвеевич (1824—1871), в монашестве архимандрит Феодор — богослов, разработавший оригинальное учение о сближении церкви с повседневной жизнью (т. е. противоположное Тарееву) на основе идеи об искупительной жертве Христа. Розанов отмечал, что учение А. М. Бухарева, который был вынужден из-за нападков на его учение сложить с себя сан и выйти из монашества, оказало огромное влияние на тематику Религиозно-философских собраний (О возобновлении Религиозно-философских собраний // Новое время. 1907. 8 сент.). О. Павел Флоренский, работавший над книгой о Бухареве, очень высоко ценил опального богослова, издавал его сочинения и материалы о нем, утверждая, что подлинное понимание архим. Феодора Бухарева еще впереди.

<sup>3</sup> Бухарева (урожд. Родышевская) Анна Сергеевна — поклонница идей о. Феодора и затем, после его расстрижения, жена А. М. Бухарева, посвятившая свою жизнь пропаганде его учения.

<sup>4</sup> Именно прот. А. П. Устынский обратил внимание Розанова на фигуру Бухарева и настойчиво рекомендовал ему написать об этом полузабытом, но важном мыслителе.

<sup>5</sup> Прессансе Эдмон (1824—1891) — протестантский пастор, политический деятель, публицист.

## А. Белый

### Отцы и дети русского символизма

Впервые: Весы. 1906. № 1. С. 67—71.

<sup>1</sup> Имеется в виду сборник статей А. Волынского «Книга великого гнева» (1904), в котором с. 3—127 были посвящены роману Ф. М. Достоевского «Бесы», и его книга «Ф. М. Достоевский». Розанов написал рецензию на 2-е изд. кн. Волынского «Ф. М. Достоевский» (Критическое обозрение. 1909. Вып. 5. Сентябрь. С. 38—42).

<sup>2</sup> Помимо исследований А. Волынского «Книга великого гнева» (1904) и «Ф. М. Достоевский» (1906), имеются в виду «Л. Н. Толстой и Достоевский» Д. С. Мережковского (кн. 1—2, 1901—1902), а также книга Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» (3-е изд. СПб. 1906). А. С. Долинин, например, считал именно Розанова основоположником религиозно-философской критики творчества Достоевского (А. П. Суслова. Годы близости с Достоевским. Вст. ст. и прим. А. С. Долинина. М. 1928. С. 173).

<sup>3</sup> Книга пророка Иезекииля 1, 1–28.

<sup>4</sup> Имеется в виду книга Розанова «Семейный вопрос в России» (1903).

### А. Белый

Рец.: В. В. Розанов. Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. СПб. 1910.

Впервые: Рус. мысль. 1910. № 11. С. 374–376.

<sup>1</sup> «Изумрудная скрижаль» — древнее произведение эзотерического содержания, приписываемое легендарному Гермесу Трисмегисту.

### А. А. Измайлов

Вифлеем или Голгофа?

(В. В. Розанов и «неудавшееся христианство»)

Впервые: Новое слово. 1911. № 10. С. 34–38.

*Измайлов Александр Александрович* (1873—1921) — литературный критик, пародист, друг Розанова, один из наиболее часто выступавших в печати с оценками его сочинений. Измайлов проходил из духовенства, окончил С.-Петербургскую духовную академию, и это способствовало пониманию им религиозной тематики Розанова. Хотя он печатался преимущественно в «левой» печати — «Биржевых ведомостях» (псевдоним Аякс), «Русском слове» и др. аналогичных изданиях — его статьи о Розанове были неизменно содержательны, достаточно объективны и лишены партийных пристрастий. В целом Измайлов положительно оценивал творчество Розанова и был одним из наиболее близких к нему критиков (см.: *Голлербах Э.* Памяти А. А. Измайлова (Из переписки) // Вестник литературы. 1921. № 4–5. С. 13). См. также статью Розанова: Критик русского *décadanc'a* // Рус. слово. 1909. 29 сент. Подп.: В. Варварин.

<sup>1</sup> *Мережковский Д. С.* Л. Толстой и Достоевский. Т. 2. СПб. 1902. С. XXXIII–XXXIV.

<sup>2</sup> См. ст. Струве «Романтика и казенщина» в наст. изд.

<sup>3</sup> *Протопопов М.* Писатель-головотяп // Рус. мысль. 1899. № 8. С. 155–171.

<sup>4</sup> В предисловии к книге «Религия и культура» (1899) Розанов писал: «Итак, сборник этих интимных (по происхождению) статей я посвящаю малому храму бытия своего, тесной своей часовеньке: памяти усопших своих родителей — рабов Божиих Василия и Надежды, две могилки и одна даже безвестная, даже без креста; памяти дочери, 9-месячной Надюши — этой поставлен мраморный крест на Смоленском, праведной труженице, жене своей Варваре, урожденной Рудневой; и детям-младенцам, которые всему-то, всему меня научили именно в “религии”, именно в “культуре”, — Татьяне, Вере, Варваре, Василию...» (*Розанов В.* Соч. в 2-х тт. Т. 1. М. 1990. С. 21).

**А. А. Измайлов**

Закат ересиарха († В. В. Розанов)

Впервые: Творчество (Харьков). 1919. № 5–6. С. 27–30.

<sup>1</sup> *Шаранов С.* От души // Рус. труд. 1898. № 38. С. 15–19.<sup>2</sup> Имеется в виду персонаж произведения Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1835).<sup>3</sup> *Мережковский Д. С. Л.* Толстой и Достоевский. Т. 2. М. 1902. С. XXXII—XXXIV.<sup>4</sup> В 1899 г. Розанов много печатался в «Литературном приложении» к «Торгово-промышленной газете».<sup>5</sup> «Парламентом мнений» назвал «Новое время» М. О. Меньшиков (см.: *Меньшиков М.* Парламент мнений // Новое время. 1903. 12 дек.).<sup>6</sup> См.: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М. 1990. С. 84.<sup>7</sup> См.: Письма В. В. Розанова к А. А. Измайлову (1909—1918) // Новый журнал (Нью-Йорк). № 136. 1979. С. 121–126.<sup>8</sup> После кончины Розанова остались неизданными не только значительная часть книги «Из восточных мотивов», но и несколько томов сочинений в жанре «Опавших листьев» — «Сахарна» (1913), «Мимолетное» (1914, 1915) и др. произведения (РГАЛИ. Ф. 419).<sup>9</sup> См.: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. С. 352–353.<sup>10</sup> Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — историк, профессор (с 1890 г.), академик (с 1920 г.), декан исторического факультета С.-Петербургского университета, автор книг: «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.», «Лекции по русской истории» и др.<sup>11</sup> Имеется в виду очерк Тэффи «Распутин». См.: *Тэффи* [Лохвицкая Н. А.] Житье-бытье. Рассказы. Воспоминания. М. 1991. С. 412–443.<sup>12</sup> В 1909 г. Розанов, как корреспондент «Нового времени», участвовал в московских торжествах, посвященных 100-летию со дня рождения Гоголя, и присутствовал при открытии памятника писателю (см.: *Розанов В.* Гоголевские дни в Москве // Новое время. 1909. 3, 8 мая).<sup>13</sup> Измайлов А. А. Закат ересиарха (В. В. Розанов и его «Апокалипсис нашего времени») // Петроградский голос. 1918. 30 июля.<sup>14</sup> См.: Письма В. В. Розанова к А. А. Измайлову // Новый журнал (Нью-Йорк). № 136. С. 124.<sup>15</sup> Там же. С. 126.**Б. А. Грифцов**

В. В. Розанов

Впервые: *Грифцов Б.* Три мыслителя. М. 1911. С. 7–82. Печатается с сокращениями (с. 7–16, 30–58).*Грифцов Борис Александрович* (1885—1960) — литературный критик, историк и теоретик литературы, искусствовед, переводчик. Автор книг: «Рим. Путеводитель» (1914), «Искусство Греции» (1923), «Теория рома-

на» (1927), исследований о К. Н. Леонтьеве (Судьба К. Н. Леонтьева // Рус. мысль. 1913. № 1–3) и Бальзаке. В советское время много занимался изданием классиков французской литературы, переводил Бальзака, Флобера, Пруста и др. писателей. Очерку Грифцова о Розанове посвященная статья П. П. Перцова «О старом и новом» — см. в наст. изд. Письма Розанова к Грифцову 1909—1912 гг. опубликованы в журнале «Наше наследие» (1989. № 6. С. 57–61).

<sup>1</sup> *Розанов В. В.* Ослабнувший фетиш (Психологические основы русской революции). СПб. 1906.

<sup>2</sup> *Розанов В. В.* Памятник императору Александру III // Рус. слово. 1909. 6 июля. Подп.: В. Варварин.

<sup>3</sup> 1-е изд. кн. «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» вышло в 1894, а не в 1893 г.

<sup>4</sup> Риккерт Генрих (1863—1936) — немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианцев. Речь идет о кн.: *Риккерт Г.* Границы естественно-научного образования понятий. СПб. 1909.

<sup>5</sup> *Розанов В. В.* Место христианства в истории // Рус. вестник. 1890. № 1. С. 94–119 (отд. изд.: М. 1890).

<sup>6</sup> *Розанов В. В.* Красота в природе и ее смысл (М. 1894) — отдельный оттиск статьи: Что выражает собою красота природы // Рус. обозрение. 1895. № 10–12.

<sup>7</sup> *Розанов В. В.* О символистах и декадентах // Рус. вестник. 1894. № 4. С. 271–282 (под заглавием «Русские символисты»; «О символистах» // Рус. обозрение. 1896. № 9. С. 322–324; там же письмо в редакцию, с. 319–321). Отд. изд.: *Розанов В. В.* Декаденты. Критические этюды. СПб. 1904.

<sup>8</sup> В статье высмеиваются стихотворения В. Я. Брюсова «О, закрой свои бледные ноги» (1894), «Творчество» (1895), произведения А. М. Добролюбова и других поэтов и писателей-символистов. В том же году Розанов написал еще одну статью на близкую тему: Нечто о декадентах, о «лампадном масле» и о пронциательности нашей критики // Рус. обозрение. 1896. № 12. С. 1112–1120.

<sup>9</sup> Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский художник, писавший картины на религиозные сюжеты.

<sup>10</sup> Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, один из родоначальников утилитарно-материалистического направления в европейской мысли.

<sup>11</sup> *Михайловский М. М.* Жестокий талант // Отечественные записки. 1882. № 9–10. С. 252.

<sup>12</sup> Стихотворение «An die Freude» — ода «К радости» Ф. Шиллера (1786). Известна как «Песнь радости» в переводе Ф. И. Тютчева (1823).

<sup>13</sup> Осорьина Ульяна Устиновна — провинциальная помещица XVIII в., отличавшаяся состраданием к ближним, описана В. О. Ключевским в книге «Добрые люди Древней Руси» (1892) как пример нравственных идеалов русского быта в XVII в.

<sup>14</sup> Милитта — греческое имя вавилонской богини плодородия Иштар (см.: Геродот I:199).



**К. И. Чуковский**

## Открытое письмо В. В. Розанову

Впервые: Речь. 1910. 24 окт. Печатается по кн.: *Чуковский К.* Книга о современных писателях. СПб. 1914. С. 163–180.

*Чуковский Корней Иванович* (наст. фамилия и имя Корнейчуков Николай Васильевич, 1882—1962) — литературный критик, детский писатель, переводчик. Розанов нарисовал яркий портрет Чуковского в статьях: *Обидчик и обиженные* // Новое время. 1909. 3 окт.; «Единое стадо» и неумолимый воин // Новое время. 1910. 18 июня; *Богатый и убогий* // Новое время. 1911. 22 марта. Розанов также опубликовал рецензию на книгу Чуковского о Уитмэне (Новое время. 1915. 10 и 13 авг.), в которой дал резко отрицательную характеристику американскому поэту, хотя Чуковский отмечал некоторое сходство Уитмэна и Розанова в трактовке темы пола (см.: *Чуковский К.* Поэзия грядущей демократии. Уот Уитмэн. Пгд. 1918. С. 60–63). Это открытое письмо, вместе со статьей П. Б. Струве, вызвало резкий полемический ответ Розанова «Литературные и политические афоризмы» (Новое время. 1910. 25, 28 нояб., 9 дек.).

<sup>1</sup> Речь идет о статье: *Розанов В.* Мечта в шелку // Весы. 1905. № 7. С. 1–8 (см. в кн.: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М. 1990. С. 655–660).

<sup>2</sup> *Розанов В. В.* Анна Павловна Философова // Рус. слово. 1909. 17 февр. Подп.: В. Варварин.

<sup>3</sup> Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — министр внутренних дел, шеф отдельного корпуса жандармов (1902—1904), убит эсером Э. С. Сазоновым. Розанов писал об убийстве в статье «Об амнистии» (см. в кн. «Когда начальство ушло». С. 285).

<sup>4</sup> Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — публицист, историк русского революционного движения, издатель журнала «Былое».

<sup>5</sup> См.: Весы. 1905. № 7. С. 657.

<sup>6</sup> *Розанов В.* О христианском аскетизме // Рус. мысль. 1908. № 5. С. 103–110.

<sup>7</sup> См.: Весы. 1904. № 2. С. 15.

<sup>8</sup> *Розанов В. В.* Танцы невинности (Айседора Дункан) // Рус. слово. 1909. 21 апр. Подп.: В. Варварин.

<sup>9</sup> *Розанов В.* Магическая страница у Гоголя. Ст. II // Весы. 1909. № 9. С. 50–57.

<sup>10</sup> *Розанов В.* Семья как религия // СПб. ведомости. 1898. 8 и 23 нояб.

<sup>11</sup> *Розанов В.* Из загадок человеческой природы // Новое время. 1898. 10 марта.

<sup>12</sup> *Розанов В.* Об Иисусе Сладчайшем и горьких плодах мира. Доклад в С.-Петербургском Религиозно-философском обществе, сделанный 21 ноября 1907 г.

<sup>13</sup> Носарь (революционный псевдоним Хрусталеv) Петр Алексеевич (1879—1919) — политический деятель, председатель Совета народных депутатов (1905), расстрелян за контрреволюционную деятельность.

<sup>14</sup> Розанов В. В. В русском подполье // Рус. слово. 1906. 28 мая. Подп.: В. Варварин (перепечатано в кн. «Когда начальство ушло», с. 364–399).

<sup>15</sup> Имеется в виду статья Розанова: Почему Азеф-провокатор не был узан революционерами // Рус. слово. 1908. 27 янв. Подп.: В. Варварин.

<sup>16</sup> Цитата из статьи А. Белого «Отцы и дети русского символизма» — см. в наст. изд.

<sup>17</sup> Арцыбашев Михаил Петрович (1873—1927) — прозаик, драматург, автор скандально известного романа «Санин» (1908), о котором Розанов написал рецензию (На книжном и литературном рынке // Новое время. 1908. 11 июля).

Каменский Анатолий Павлович (1876—1941) — прозаик.

<sup>18</sup> Гарден Максимилиан (наст. фам. Витковский, 1861—1927) — немецкий журналист, выступивший под псевдонимом Апостата с обвинением графа фон Мольтке и других приближенных к императору особ в гомосексуализме.

### В. П. Свенцицкий

Христианство и половой вопрос  
(По поводу книги В. Розанова «Люди лунного света»)

Впервые: Новая земля. 1912. № 3–4. С. 9–11

*Свенцицкий Валентин Петрович* (1879—1931) — драматург, прозаик, церковный писатель. Один из организаторов и наиболее радикальный представитель «Христианского братства борьбы» (1905—1906), проповедовавшего идеи христианского социализма. Темпераментный, обладавший способностью увлекать аудиторию, Свенцицкий имел большой успех как оратор. Автор множества брошюр, в которых революционные призывы сочетались с религиозными идеями, а также исповедального романа «Антихрист» (1908), вызвавшего недоумение демонической личностью напоминающего автора героя. 17 ноября 1908 г. «за ряд действий явно предосудительных» исключен из Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева (см.: Рус. слово. 1908. 21 ноября. С. 5).. Розанов неоднократно спорил со Свенцицким, упрекая его в максимализме и политиканстве, свойственных скорее протестантству, чем православию (см. о встрече с революционными «апокалиптиками» в очерке З. Н. Гишпиус в наст. изд.). В 1915 г. Свенцицкий выпустил книгу «Гражданин неба», посвященную монахам-отшельникам Кавказа. Религиозная устремленность личности и темперамент общественного борца Свенцицкого реализовались после того, как он в 1917 г. стал священником. Вскоре он был отправлен в ссылку за утверждение связи «обновленчества» с ГПУ. За отказ подчинения митрополиту Сергию в 1928 г. снова арестован и сослан в Сибирь. Получили известность проникнутые глубокой верой предсмертные письма прот. Валентина Свенцицкого (Минувшее. Кн. I. Париж. 1988. С. 294–297), а также его «Диалоги» (изд. М. 1993).

Данная статья показывает, что трактовка вопроса пола у Свенцицкого близка к розановской, когда Розанов не выходит за пределы христианства.

<sup>1</sup> См.: Евангелие от Матфея 19, 12.

**Прот. Н. Дроздов**

Около полового вопроса

Впервые: Странник. 1912. № 2. С. 222–230

*Дроздов Николай Георгиевич* — протоиерей, церковный публицист, знакомый Розанова, часто выступавший с критикой его сочинений.

<sup>1</sup> См.: *Розанов В. Л.* Толстой и Русская Церковь. СПб. 1912.

<sup>2</sup> А. Ст-н — псевдоним Александра Аркадьевича Столыпина (1863—1925) — публициста, сотрудника «Нового времени», брата П. А. Столыпина. Эль-Эс — псевдоним Леонида Захарьевича Соловьева (1868—1915) — публициста, сотрудника «Нового времени».

См.: А. С-н [Столыпин А. А.] Заметки // Новое время. 1911. 25 мая; Эль-Эс [Соловьев Л. З.] Рец.: Розанов В. Люди лунного света // Новое время. 1911. 26 окт.

<sup>3</sup> *Фози О.* Брак и нравственная личность. Философский этюд. Харьков. 1908.

<sup>4</sup> «Житие преподобного Моисея Угрина» — взято Розановым из «Киевского патерика». См.: *Розанов В.* Люди лунного света. С. 128–136.

<sup>5</sup> Хитрово Михаил Иванович (?—1895) — священник, автор назидательных брошюр, переводчик «Луга духовного» И. Мосха (Сергиев Посад. 1896).

<sup>6</sup> *Форель Огюст* (1848—1901) — швейцарский невропатолог, автор известной книги «Половой вопрос» (1905, рус. пер. 1908). См.: *Розанов В.* Гермес и Афродита // Весы. 1905. № 5. С. 44–52.

**А. К. Закржевский**

В. В. Розанов

Печатается по кн.: *Закржевский А. К.* Религия. Психологические параллели. Киев. 1913. С. 266–301

*Закржевский Александр Карлович* (1866—1916) — писатель и литературный критик, живший в Киеве. Закржевский много писал о Розанове и в книге «Карамазовщина. Психологические параллели» (1911), где подчеркивал сходство мыслителя с персонажами романа Достоевского. Розанов состоял с Закржевским в переписке, писал о его сочинениях (Одна из замечательных идей Достоевского // Рус. слово. 1911. 1 марта; Закржевский о Константине Леонтьеве // Новое время. 1912. 11 авг.), опубликовал некролог критика (Памяти Александра Карловича Закржевского // Новое время. 1916. 30 авг.).

<sup>1</sup> Кириллов — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (1871—1872).

<sup>2</sup> Юлиан Отступник (331—363) — римский император (с 361 г.), пытавшийся возродить язычество, за что получил от христианской церкви прозвище «Отступник» (см. о нем роман Д. С. Мережковского «Отверженный» (1899)).

<sup>3</sup> Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ-интуитивист, автор трудов «Материя и память» (1909), «Введение в метафизику» (1903), «Творческая эволюция» (1907).

<sup>4</sup> См. прим. 1 к отрывку из статьи Д. С. Мережковского в разделе «Штрихи воспоминаний».

<sup>5</sup> Евангелие от Матфея 11, 30.

<sup>6</sup> Розанов В. В. Об основаниях церковной юрисдикции или о Христе — Судии мира // Новый путь. 1903. № 4. С. 143–150 (перепечатано в кн. «Темный Лик»).

## Е. Поселянин

Религиозная эволюция г. Розанова  
(по поводу книги «Уединенное»)

Впервые: Новое время. 1912. 7 нояб. № 13168.

*Погожев Евгений Николаевич* (1870—1931) — церковный писатель (псевдоним Е. Поселянин), автор книг «Русская церковь и русские подвижники XVIII века» (1905), «Русские подвижники XIX века» (1910) и др., публицист, сотрудничавший в «Новом времени» одновременно с Розановым. Розанов написал рецензию на книгу Е. Поселянина «Русская церковь и русские подвижники XVIII века» (Новое время. 1905. 18 мая. Илл. прил.).

<sup>1</sup> Поселянин оспаривает мнение Волжского, Бердяева, Философова и других критиков, писавших о крайнем антихристианстве Розанова.

<sup>2</sup> Бурже Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский писатель, автор романа «Развод» (1904).

<sup>3</sup> Имеется в виду очерк: *Розанов В.* По тихим обителям // Новое время. 1904. 10 и 18 авг., 1 и 15 сент.; перепечатано в кн. «Темный Лик».

<sup>4</sup> См.: Оптина пустынь // Новое время. 1903. 19 дек.; перепечатано в кн.: Около церковных стен. Т. 2. С. 97–128.

<sup>5</sup> Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Езерский» (1832).

<sup>6</sup> Розанов неоднократно высказывался о произведениях Л. Н. Андреева. См., например, его статьи: Литературные новинки // Новое время. 1904. 2 июня; Русский «реалист» об евангельских событиях и лицах // Новое время. 1907. 19 июля; Л. Андреев и его «Тьма» // Новое время. 1908. 25 янв.

## П. П. Перцов

Между старым и новым

Впервые: Новое время. 1911. 23 июля. № 12701.

*Перцов Петр Петрович* (1868—1947) — литературный критик, публицист, мыслитель, историк искусства, друг Розанова. Автор книг «Письма о поэзии» (1895), «Первый сборник» (1902), «Венеция» (1906), «Венеция и венецианская живопись» (1912), «О Тургеневе» (1918), «Третьяковская

галерея» (1922), «Художественные музеи Москвы. Путеводитель» (1923), «Усадьбные экскурсии» (1925), «Литературные воспоминания. 1890—1902» (1933). В советское время работал над большим философским сочинением «Диалогия». Составитель и издатель первых поэтических сборников символистов, издатель книг Розанова «Литературные очерки», «Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Природа и история». Перцов способствовал отходу Розанова от консервативных позиций и сближению его в конце 1890-х гг. с кругом Д. С. Мережковского. Розанов и Перцов нередко сотрудничали в одних и тех же изданиях — газетах «Русский труд», «Новое время», «Слово», литературном приложении к «Торгово-промышленной газете», журналах «Мир искусства» и «Новый путь». Розанов выступил в защиту Перцова от нападок М. О. Миньшикова (см.: Мир искусства. 1899. № 16. С. 64). Перцов часто выступал на сходные с Розановым религиозно-философские темы, полемизировал с ним, писал рецензии на его книги.

Розанов так охарактеризовал Перцова в книге «Опавшие листья. Короб 2-й»: «Недостаток Перцова заключается в недостаточно яркой и даже недостаточно определенной индивидуальности. Сотворяя его, Бог как бы впал в какую-то задумчивость, резец остановился, и все лицо стало матовым. Глаза “не торчат” из мрамора, и губы никогда не закричат. Ума и далекого зрения, как и меткого слова (в письмах) у него, “как Бог дай всякому”, и особенно привлекательно его благородство и бескорыстие: но все эти качества заволакиваются туманом неопределенных поступков, тихо сказанных слов; какого-то “шуршания бытия”, а не скакания бытия. Но он “рыцарь честный”, честный и *старый* (по чекану) в нашей низменной журналистике» (Розанов В. В. Сочинения. Т. 2. М. 1990. С. 564).

<sup>1</sup> Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910) — литературный критик и историк литературы либерального направления, популярный в конце XIX века.

<sup>2</sup> Утопическая идея о союзе российской государственности и римской католической церкви во главе с папой была высказана В. С. Соловьевым, в частности, в книге «Россия и вселенская церковь» (1889, рус. пер. 1911).

<sup>3</sup> Идея пришествия Антихриста рассматривалась Соловьевым в публичной лекции, прочитанной 25 февр. 1900 г., и в «Краткой повести об Антихристе» (Соловьев В. Три разговора. СПб. 1899).

<sup>4</sup> См. статью: Соловьев В. Враг с Востока // Северный вестник. 1892. № 6. С. 256—264.

<sup>5</sup> Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — либеральный публицист и литературный критик.

<sup>6</sup> См.: Лопатин Л. Философское миросозерцание В. С. Соловьева // Вопросы философии и психологии. 1901. Кн. 56 (1). С. 54: «...Соловьев был первым русским действительно самобытным философом, подобно тому, как Пушкин был первый русский национальный поэт».

<sup>7</sup> В. С. Соловьев был избран почетным академиком 8 янв. 1900 г. по разряду изящной словесности (Модзалевский Б. Л. Список членов императорской Академии Наук. 1725—1907. СПб. 1908. С. 69).

<sup>8</sup> «Эмбрионами» Розанов называл свои ранние краткие сочинения в форме афоризма.

<sup>9</sup> Л. Шестов посетил Ясную Поляну 3 марта 1910 г. Об отзыве Толстого см.: *Маковицкий Д. П.* Яснополянские записки. Кн. 4. М. 1979. С. 190.

<sup>10</sup> Перцов имеет в виду молодых русских философов-кантианцев (С. И. Гессена, Ф. А. Степуна, Б. В. Яковенко и др., объединившихся вокруг журнала «Логос» (см. статью Розанова: Германская наука и русские ученые кафедры // Колокол. 1916. 10 дек.).

<sup>11</sup> Риккерт Генрих (1863—1936) — немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианства.

Коген Герман (1842—1918) — немецкий философ, глава марбургской школы неокантианства.

Виндельбанд Вильгельм (1848—1915) — немецкий философ, глава баденской школы неокантианства.

<sup>12</sup> Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой» (1832).

<sup>13</sup> Штирнер Макс (наст. фамилия и имя Каспар Шмидт, 1806—1856) — немецкий философ-младогегельянец, теоретик индивидуализма и анархизма, автор книги «Единственный и его собственность» (1844, рус. пер. 1918).

<sup>14</sup> См.: *Розанов В. В.* Около церковных стен. Т. 2. СПб. 1906. С. 304 (примечание).

## П. П. Перцов

Рец.: *Розанов В. В.* Опавшие листья. СПб. 1913

Впервые: Новое время. 1913. 24 апр. Подп.: П. П-в

## П. П. Перцов

«Опавшие листья»

Впервые: Новое время. 1915. 31 окт. № 14240. Иллюстрированное приложение. С. 9–10.

<sup>1</sup> Протагор из Абдеры (ок. 490 — ок. 420 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, виднейший из софистов. Исходя из учения Гераклита о всеобщей текучести вещей, утверждал субъективную обусловленность знания.

<sup>2</sup> Клейнмихель Петр Андреевич, граф (1793—1869) — государственный деятель, главноуправляющий путями сообщения, руководивший постройкой железных дорог в 1842—1855 гг. Уволен за злоупотребления по службе. Защита Розановым Клейнмихеля, ставшего олицетворением казенного чиновничества с его казнокрадством, — не более как полемический прием писателя, так же, как встречающиеся у него похвалы А. А. Аракчееву.

<sup>3</sup> Перцов высказывает здесь необычную, но интересную точку зрения: Розанов, как известно, всю жизнь очень тенденциозно высказывался о Гоголе как о бездушном, но гениальном в формальном отношении писателе.

**«Суд» над Розановым**

Общее собрание Религиозно-Философского общества.  
26 января 1914 г. Стенографический отчет

Печатается по: Записки Петроградского Религиозно-философского общества. Вып. 4. Доклад совета и прения по вопросу об отношении общества к деятельности В. В. Розанова (с сокращениями).

<sup>1</sup> Председатель собрания — Михаил Иванович Туган-Барановский (1865—1919) — социолог, экономист, историк, представитель «легального марксизма», автор работ по развитию капитализма.

<sup>2</sup> Речь идет о В. П. Свенцицком, исключенном из Московского Религиозно-философского общества 17 ноября 1908 г. за аморальное поведение.

<sup>3</sup> Скворцов Василий Михайлович — см. о нем прим. 10 к очерку З. Н. Гиппиус в наст. изд. 19 января 1914 г. В. М. Скворцов выступил в «Колоколе» в защиту В. В. Розанова.

<sup>4</sup> Имеется в виду статья: *Розанов В.* Не нужно давать амнистию эмигрантам // Богословский вестник. 1913. № 3. С. 644—650. Редактором «Богословского вестника», поместившего эту резкую статью против революционеров, был о. Павел Флоренский.

<sup>5</sup> Имеется в виду не выдерживающая серьезной критики книга народовольца Н. А. Морозова (1854—1946) «Откровение в грозе и буре» (1907), написанная им в тюрьме и посвященная «научной» трактовке «Апокалипсиса».

<sup>6</sup> Кассий — псевдоним сотрудника «Нового времени» И. А. Гофштеттера (см. о нем прим. 37 к «Воспоминаниям» Т. В. Розановой в наст. изд.). Он писал: «Исключение Розанова из Религиозно-философского общества. Но разве можно исключить душу из тела?» (Мечь религиозно-философствующих бейлисов // Новое время. 1914. 22 янв. Подп.: Кассий).

<sup>7</sup> Чеберяк Вера Владимировна — вдова почтового чиновника, хозяйка воровского притона, свидетельница по делу Бейлиса, которая, как пишет Розанов, «не взяла 40.000 за покрытие Бейлиса», в то время как писателя берут всего сотни за такое «обеление Бейлиса» (Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. С. 113).

<sup>8</sup> Кондурушкин Степан Семенович (1874—1919) — писатель, публицист либерального направления, после революции — эмигрант.

<sup>9</sup> Евангелие от Матфея 7, 1.

<sup>10</sup> Раевский Павел Васильевич (1878—?) — священник, богослов, публицист, участник церковно-обновленческого кружка «Союз 32 священников», созданного в 1905 г. (см. прим. 4 к статье Д. В. Филоsofova в наст. изд.). С 1915 г. настоятель Спасо-Бочаринской церкви на Выборгской стороне. В 1922 г. примкнул к обновленцам; в 1924 г. назначен ректором обновленческого Богословского института.

<sup>11</sup> Заседание общества по поводу сборника «Вехи» состоялось 25 апреля 1909 г. Доклад Д. С. Мережковского был опубликован в «Речи» (*Мережковский Д. С.* Семь смиренных // Речь. 1909. 26 апр.). См.: *Розанов В.* Мережковский против «Вех» // Новое время. 1909. 27 апр. С этой полемики началось окончательное расхождение Розанова и Мережковского.



<sup>12</sup> Имеется в виду статья В. С. Соловьева «Словесность или истина?» (Русь. 1897. 30 марта).

<sup>13</sup> Сикорский Иван Алексеевич (1846—1918) — психолог, профессор Киевского университета, проводивший экспертизу по делу Бейлиса и признавший, что убийство было совершено с ритуальной целью.

<sup>14</sup> Чеботаревская Александра Николаевна (1869—1945) — сестра жены Ф. Сологуба, переводчица.

<sup>15</sup> Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827).

<sup>16</sup> Гредескул Николай Андреевич (1864—?) — юрист, профессор, декан исторического факультета Харьковского университета, либеральный политический деятель.

<sup>17</sup> Макшеева Наталья Алексеевна (1869—?) — писательница, автор биографических очерков о Кольцове, Лескове, Т. Море и др.

<sup>18</sup> Имеются в виду следующие известные слова Розанова: «Я — бездарен; да тема-то моя талантливая» (Альманах «Северные цветы» на 1901 год. М. 1901. Заметки на полях непрочитанной книги. С. 176.).

<sup>19</sup> Аничков Евгений Васильевич (1866—1937) — литературный критик, историк литературы. С 1918 г. в эмиграции.

<sup>20</sup> Отношения Розанова со Струве окончательно испортились после выхода книги Розанова «Когда начальство ушло» (1910) и последовавшей за этим полемики (см. ст. Струве в наст. изд.).

<sup>21</sup> Речь идет о газете «Русское слово», где Розанова перестали печатать после ультиматума, предъявленного Мережковским и Философовым в 1911 г.

<sup>22</sup> Столыпин Александр Аркадьевич (1863—1925) — публицист, сотрудник «Нового времени», младший брат П. А. Столыпина. Ренников — псевдоним Селитренникова Андрея Митрофановича (1882—1957), сотрудника «Нового времени». После революции в эмиграции. См. о Розанове в его кн.: Ренников А. М. Минувшие дни. Нью-Йорк. 1954.

<sup>23</sup> Антонов Николай Родионович — священник, автор книги «Религиозные философы на Руси (Русские светские богословы и их религиозно-общественное мировоззрение)». СПб. 1912. Т. 1.

<sup>24</sup> Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

<sup>25</sup> Евангелие от Иоанна 9, 39; 5, 22.

<sup>26</sup> Евангелие от Матфея 14, 43.

<sup>27</sup> Степанов Василий Александрович — действительный член РФО, один из предложивших вместо отвергнутой резолюции об «исключении» новую формулировку «о невозможности совместной работы с В. В. Розановым в одном и том же общественном деле», которая и была принята. После «суда» над Розановым избран членом совета РФО, хотя известных философских трудов за ним не числится (в знак протеста против «исключения» Розанова Совет покинули П. Б. Струве, А. Н. Чеботаревская и С. Л. Франк, вместо которых были избраны, вместе со Степановым, К. А. Половцева и А. А. Мейер. Кроме того, РФО покинули В. И. Иванов, А. Д. Скалдин и А. М. Коноплянцев). О подробностях обсуждения и о возможных подспудных мотивах участников см.: *Иванова Евг.* Об исключении В. В. Розанова из Религиозно-философского общества // Наш современник. 1990. № 10. С. 104—122.

<sup>28</sup> Ефименко Александра Яковлевна (1848—1918) — историк, фольклорист, действительный член РФО.

<sup>29</sup> Волочкова Александра Георгиевна — действительный член РФО.

<sup>30</sup> Аггеев Константин Маркович (1868—1919) — священник, богослов, автор книг «Христианство и его отношение к благоустройству земной жизни: Опыт критического изучения и богословской оценки раскрытого К. Леонтьевым понимания христианства» (Киев. 1909), «Христова вера» (2 тт. 1911) и др. Розанов неоднократно спорил с этим либеральным мыслителем и богословом.

<sup>31</sup> Грузенберг Семен Осипович (1876—1938) — психолог, философ, автор книг «Нравственная философия Шопенгауэра» (1901), «Пессимизм как вера и миропонимание» (1908), «Очерки современной русской философии» (1911) и др., брат О. О. Грузенберга.

<sup>32</sup> Грузенберг Оскар Осипович (1886—1940) — юрист, адвокат М. Бейлиса, автор книг «Очерки и речи» (Нью-Йорк. 1944), «Вчера. Воспоминания» (Париж. 1938) и др., брат С. О. Грузенберга.

### А. А. Смирнов

О последней книге Розанова  
(В. Розанов. Обонятельное и осязательное отношение  
евреев к крови. СПб. 1914 г.)

Впервые: Рус. мысль. 1914. № 4. Отд. III. С. 44—47.

*Смирнов Александр Александрович* (1863—1962) — поэт, литературный критик, историк зарубежной литературы, переводчик.

<sup>1</sup> Розанов В. Юдаизм // Новый путь. 1903. № 7—12 (см. совр. изд.: Истоки Израиля. СПб. 1993. С. 105—227).

<sup>2</sup> О «радении» у Минского см. в наст. изд.: *Иванов Е. П.* Письмо к Блоку.

### Н. Я. Абрамович

«Новое время» и «соблазненные младенцы». В. В. Розанов

Печатается по кн.: *Абрамович Н. Я.* «Новое время» и «соблазненные младенцы». Библиотека общественных и литературных памфлетов. № 3. Пгд. 1916. Глава: В. В. Розанов. С. 45—46.

*Абрамович Николай Яковлевич* (1881—1922) — литературный критик, прозаик, публицист (псевдоним М. Кадмин). Автор очерка о Ницше (Человек будущего. 1908), книг «Философия убийства» (1913), «Религия Толстого» (1914), «Христос Достоевского» (1914), «История русской поэзии» (2 тт. 1914), ряда биографий. Розанов в 1916 г. использовал материал из брошюры Н. Я. Абрамовича «Улица современной литературы» в своей статье: Г-н Н. Я. Абрамович об улице современной печати // Колокол. 1916. 12 февр. Подп.: В. Ветлугин.

<sup>1</sup> См.: Розанов В. Наблюдения, извлеченные из чтения «Шахрезады» // Новое время. 1903. 18 сент.

<sup>2</sup> Дарский Дмитрий Сергеевич (1883—1957) — литературный критик. См.: Розанов В. Новое исследование о Фете // Новое время. 1915. 24 сент.; Розанов В. Не в новых ли днях критики? // Новое время. 1916. 3 февр. Речь во второй статье идет о кн.: Дарский. Чудесные вымыслы. О космическом сознании в лирике Тютчева. М. 1915. В связи с этой книгой Розанов возлагал очень большие надежды на молодого критика. Восторженный отзыв Розанова привел в 1916 г. к их переписке (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. № 428; ф. 2113. Оп. 1. № 26). Д. С. Дарский написал книгу о Розанове (1923). Однако в опубликованных ее главах (В. В. Розанов. К 50-летию со дня смерти // Вестник РСХД. № 84. С. 131—153; Розанов-человек // Там же. № 122. С. 139—158) преобладает предельно нейтральный пересказ книг Розанова с их обильным цитированием. Не стал Дарский и крупным критиком, как предполагал Розанов, но виной тому были прежде всего политические обстоятельства.

### А. Селивачев

Психология юдофильства. В. В. Розанов

Впервые: Рус. мысль. 1917. № 2. Отд. III. С. 40—64 (о Розанове: вст. с. 40—41 и с. 49—64)

Доклад, прочитанный 19 февраля 1915 г. в 38 очередном собрании северо-западного отдела Императорского Русского Географического общества в г. Вильне под заглавием «Иудействующие нового времени».

<sup>1</sup> Гиллель — еврейский проповедник времен Иисуса Христа.

<sup>2</sup> Откровение 13, 6.

<sup>3</sup> Исход 12, 32.

<sup>4</sup> Евангелие от Матфея 15, 24.

<sup>5</sup> Евангелие от Луки 12, 49.

<sup>6</sup> Тургенев И. С. Завтрак у предводителя (пьеса, поставленная в 1849 г.).

<sup>7</sup> «Субботники» — или «иудействующие» — исповедовавшая иудаизм секта, празднующая субботу. Она была распространена в России в XVII—XVIII вв. «Субботники» отрицали христианство, считали священной книгой Ветхий Завет, праздновали субботу, а не воскресенье.

### А. Л. Волинский

«Фетишизм мелочей» (В. В. Розанов)

Волинский (наст. фам. Флексер) Аким Львович — литературный критик, историк искусства. Розанов ценил смелые выступления Волинского против радикальных критиков, вызвавшие ожесточенные нападки «левой» печати, однако к его сочинениям относился сдержанно. В 1909 г. по предложению М. О. Гершензона он написал рецензию на книгу Волинского о Достоевском, хотя, по сообщению С. П. Каблукова, не прочел ее (см.: Роза-

нов В. В. Рец.: Волынский А. Достоевский. Изд. 2-е. СПб. 1909 // Книжное обозрение. 1909. № 5. Сент. С. 37–42).

<sup>1</sup> См.: *Иосиф Флавий*. Иудейские древности. 1900. Т. 1. С. 627–632.

<sup>2</sup> Розанов посещал Германию в 1905 и 1910 гг.

<sup>3</sup> Трактат о религиозных очищениях в Талмуде называется «Техарот», или «Чистоты» (отд. 6).

<sup>4</sup> Вирсавия — в Библии одна из жен царя Давида, мать Соломона.

<sup>5</sup> Послание к евреям 4, 12.

<sup>6</sup> Евангелие от Луки 17, 33.

## В. Германов

Религия быта

(Розанов. Уединенное. Опавшие листья. Т. I и II)

Впервые: Христианская мысль (Киев). 1916. № 10. С. 24–38

<sup>1</sup> Имеются в виду святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.

<sup>2</sup> Цитата из стихотворения А. А. Блока «Грешить бесстыдно, беспробудно» (1914).

## Вяч. Полонский

Исповедь одного современника

Впервые: Летопись. 1916. № 2. С. 421–424

*Полонский* (наст. фам. Гусин) Вячеслав Павлович (1886—1932) — литературный критик, историк, публицист. В советское время — редактор журналов «Красная нива», «Печать и революция», «Новый мир» (1925—1931). Репрессирован.

<sup>1</sup> Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (1833).

<sup>2</sup> Цитата из оды Г. Р. Державина «Фелица» (1782).

<sup>3</sup> Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, историк, либеральный публицист. Родичев Федор Измайлович (1853—1932) — юрист, земский деятель, один из лидеров кадетской партии. Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931) — юрист, либеральный политический деятель. Все трое — после революции в эмиграции. Портреты этих либеральных деятелей Розанов дает в очерке «В Таврическом дворце», посвященном Государственной думе (первоначально под названием: «Кадеты» и трудовики в Думе // Рус. слово. 1906. 6 июля, 7 июля; перепечатано в кн. «Когда начальство ушло»).

<sup>4</sup> Аладьин Алексей Федорович (1873—?) — либеральный общественный деятель, член 1-й Государственной Думы.

<sup>5</sup> Ашешов Николай Петрович (1886—1923) — критик, публицист «левого» направления. Он неоднократно писал о неудавшемся намерении Розанова в 1905 г. печататься в социал-демократической прессе.

<sup>6</sup> Бурнакин Анатолий Андреевич (?—1932) — литературный критик, поэт, сотрудник «Нового времени» с 1910 г. Автор брошюр «Трагические антитезы» (1910), «О судьбах славянофильства» (1916) и др. После революции — в эмиграции. По поводу сопоставления с Л. Н. Толстым см.: *Бурнакин А.* Трагические антитезы. М. 1910. С. 16: «Есть и теперь попытки самопознания, есть и теперь строители русского счастья. Лев Толстой и В. Розанов — во главе их».

<sup>7</sup> *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 5. М. 1977. С. 133. Письмо А. С. Суворину от 25 ноября 1892 г.

<sup>8</sup> *Мокиевский К.* Обнаженный нововременец (В. Розанов) // Рус. записки. 1915. № 9. С. 304—316.

<sup>9</sup> *Мережковский Д. С.* Мертвая точка // *Мережковский Д. С.* Было и будет. Пгд. 1915. С. 342.

<sup>10</sup> *Мережковский Д. С.* Малые мысли // Там же. С. 357.

<sup>11</sup> Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

<sup>12</sup> *Розанов В. В.* Исторический перелом // *Розанов В. В.* Когда начальство ушло. С. 98.

<sup>13</sup> Имеется в виду ст.: *Чуковский К.* Открытое письмо В. В. Розанову — см. в наст. изд.

<sup>14</sup> *Карпинский Александр Иванович* (1875—1921) — врач В. Д. Розановой. *Бехтерев Владимир Михайлович* (1857—1927) — психиатр, психолог, невропатолог, профессор Военно-медицинской академии в С.-Петербурге.

## В. Р. Ховин

Не угодно ли-с?

Впервые: Отд. изд. Пгд. 1916

*Ховин Виктор Романович* (1891—после 1940) — писатель-футурист, публицист, издатель, поклонник творчества Розанова. В 1913—1916 гг. издавал альманах интуитивной критики и поэзии «Очарованный странник», а после революции — периодическое издание «Книжный угол» (1918—1922). Первым сообщил в Петрограде о кончине Розанова. Посвятил № 6 «Книжного угла» памяти Розанова. Футуристические увлечения в сочетании с интересом к Розанову выразились в сопоставлении Розанова с Маяковским. После 1922 г. — в эмиграции. В 1928 г. издал в Париже «Уединенное» Розанова со своим предисловием. Погиб в концентрационном лагере.

<sup>1</sup> Цитата из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Слова Великого Инквизитора.

<sup>2</sup> Персонаж романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

## Л. А. Мурахина

Из личных впечатлений

Впервые в кн.: *Голлербах Э. В. В. Розанов. Личность и творчество.* Пгд. 1918. С. 48—50.

*Любовь Алексеевна Мурахина-Аксенова* (урожд. фон Цеплин) (1843(47?)—1919) — писательница, переводчица. Автор исторических произведений (см.: *Мурахина Л.* Из глубины веков. Харьков. 1915). В письме к Голлербаху от 6 окт. 1918 г. Розанов писал: «Как удивительно письмо Мурахиной: до письма она видела меня всего раз или два. Не могу скрыть, что она написала гораздо лучше Вас, хотя явно и не “конгениальна”, а почти на “противоположном полюсе”. Но она угадала все...» (Письма М. В. Розанова к Э. Голлербаху. С. 89). См. о ней также в кн.: *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Нью-Йорк. 1968. С. 83–84.

### Э. Ф. Голлербах

Последние дни Розанова (К 4-ой годовщине смерти)

Впервые: Накануне (Берлин). 1923. 11 февр. Литер. прилож. № 39. С. 5–7.

<sup>1</sup> Газета «Накануне» выходила в Берлине в 1922—1923 гг. Редактором ее литературного приложения был А. Н. Толстой.

<sup>2</sup> Поэт Михаил Алексеевич Кузмин (1875—1936) участвовал в издании литературно-художественного альманаха «Абраккас» (в 1922 г. было выпущено два номера).

<sup>3</sup> «Сполохи» — берлинское издательство Е. А. Гутнова. Книга «Письма В. В. Розанова к Э. Ф. Голлербаху» вышла в издательстве «Сполохи» в 1922 г., но ее ввоз в СССР был запрещен цензурой.

<sup>4</sup> Цитата из стихотворения В. Я. Брюсова «Гесперидовы сады» (1906).

<sup>5</sup> Уайльд Оскар (1854—1900) — английский писатель-эстет, близкий к символизму.

<sup>6</sup> Ср.: «Последние мысли умирающего Розанова» (публ. Евг. Ивановой) // Литературная учеба. 1990. № 1. С. 83–84.

<sup>7</sup> К. Н. Леонтьев 23 августа 1891 г. принял по благословию оптинского старца преп. Амвросия тайный постриг под именем Климент.

<sup>8</sup> Вероятно, имеется в виду предсмертное письмо Д. С. и З. Н. Мережковским к Д. В. Filosoфову, отправленное в декабре 1918 г. См.: Вестник литературы. 1919. № 6; Литературная учеба. 1990. № 1. С. 84.

<sup>9</sup> Эфрос Абрам Маркович (1888—1954) — искусствовед, театровед, литературный критик, переводчик. В 1909 и 1910 гг. вышло два издания «Песни Песней Соломона» в переводе с древнееврейского А. Эфроса и с предисловием В. Розанова.

<sup>10</sup> Цитата из стихотворения А. А. Блока «Друзьям» (1908).

<sup>11</sup> Цитата из кн.: *Чуковский К.* Поэт грядущей демократии. Уот Уитмэн. Пгд. 1918. С. 43.

### Свящ. П. А. Флоренский

О В. В. Розанове (Письмо М. И. Лутохину)  
5–6 сент. 1918 г. Сергиев Посад

Впервые: Литературная учеба. 1990. № 1. С. 83 (публ. Евг. Ивановой).

*Флоренский Павел Александрович* (1882—1937) — священник, богослов, ученый, редактор журнала «Богословский вестник» (1912—1917), автор многочисленных работ по религии, философии, искусству, литературе, математике, техническим наукам, в том числе «Столп и Утверждение Истины» (1914), «Мнимости в геометрии» (1922); совр. изд. — «Сочинения» в 2-х тт. М. 1990. Друг Розанова. Несмотря на глубокие идейные расхождения, после революции Розанов писал Спасовскому из Сергиева Посада: «С отцом Павлом Флоренским мы самые близкие друзья. Он приходит ко мне почти каждый день и мы вместе льем слезы о нашей несчастной России, так ужасно заблудившейся и блуждающей. <...> Это Паскаль нашего времени, Паскаль нашей России, который есть в сущности *негласный вождь всего московского молодого славянофильства*. <...> Знаете, мне порой кажется, что он — *святой*: до того необыкновенен его дух, до того исключителен. <...> Я думаю и *уверен* в тайне души, — он неизмеримо выше Паскаля, в сущности — в уровень греческого Платона *с совершенными необыкновенностями* в умственных комбинациях или, вернее, прозрениях...» (*Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Нью-Йорк. 1968. С. 62—63).

Публикуемое письмо отражает точку зрения о. Павла Флоренского на В. В. Розанова под непосредственным впечатлением от самой антихристианской книги мыслителя «Апокалипсис нашего времени» (1917—1918). Адресат Флоренского — неизвестное лицо, хотя, возможно, этот тот самый врач, Михаил Иванович Лутохин, знакомый Розанова из Курска, который упоминается в «Воспоминаниях» Т. В. Розановой в связи со смертью сына Розанова.

<sup>1</sup> Флоренский имеет здесь в виду связь между прежними, тяготевшими к антихристианству взглядами Розанова 1900-х гг., получившими яркое выражение в книгах «Темный Лик» и «Люди лунного света», и неожиданным возвратом к, казалось бы, преодоленным язычески-иудаистским настроениям в «Апокалипсисе».

### Л. Д. Троцкий

#### Мистицизм и канонизация Розанова

Впервые: Петроградская правда. 1922. 21 сент. Печатается по кн.: *Троцкий Л. Д.* Литература и революция. М. 1991. С. 46—49.

*Троцкий* (наст. фам. Бронштейн) *Лев Давидович* (1879—1940) — один из лидеров партии большевиков, нередко выступал с определяющими политику партии в области литературы оценками произведений с «классовых» позиций.

<sup>1</sup> Фрейд Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа. Розанова не раз сопоставляла с Фрейдом (см.: Poggioli R. On the Works and Thoughts of Vasily Rozanov // Poggioli R. The Phoenix and the Spider. Cambridge. 1957).

<sup>2</sup> Юнг Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог и философ, основатель аналитической психологии.



<sup>3</sup> Адлер Альфред (1870—1937) — австрийский врач-психиатр и психолог, ученик Фрейда.

<sup>4</sup> Щегловитов Иван Григорьевич (1869—1918) — министр юстиции в 1906—1915 гг. Организатор суда над Бейлисом. Никакого «поручения» выступить по вопросу «ритуального убийства» Розанов от Щегловитова, разумеется, не получал.

<sup>5</sup> «Сманиванием» к Суворину молодых писателей Розанов не занимался. Многие близкие к Розанову писатели и публицисты (Ф. Э. Шперк, П. П. Перцов, И. Ф. Романов и даже — в конце 1890-х—начале 1990-х гг. — Д. С. Мережковский) были не прочь сотрудничать в хорошо платившем «Новом времени». Так, Мережковский писал в 1900 г. П. П. Перцову: «Тому, что Вы переселились в “Н<овое> в<ремя>”, я очень сочувствую. И остроумно и даже мудро. Нельзя ли мне туда же? Уготовьте мне путь. Я с радостью» (Рус. литература. 1991. № 3. С. 141).

<sup>6</sup> Имеются в виду статьи: *Розанов В.* Две гаммы человеческих чувств (По поводу Ходынской катастрофы // Рус. обозрение. 1896. № 8, и 1 марта 1881 г.—18 мая 1896 г. // Рус. обозрение. 1897. № 5.

<sup>7</sup> Высочайшим манифестом 3 июля 1907 г. была прекращена деятельность 2-й Государственной Думы и определены условия выбора депутатов в 3-ю Думу, сделавшие ее более консервативной.

<sup>8</sup> См.: *Белый А.* Начало века. М. 1990. С. 494—495.

<sup>9</sup> Гессен Иосиф Владимирович (1865—1943) — юрист, либеральный публицист, редактор газеты «Речь», часто выступавшей против Розанова. С 1919 г. — в эмиграции, где был редактором газеты «Руль» и выпускал «Архив русской революции».

## В. Б. Шкловский

Розанов

Впервые: *Жизнь в искусстве.* 1921. 19–22 марта. № 679–699; 6–12 апр. № 712–717 (неоконч.), под назв. «Тема, образ и сюжет Розанова» (перепечатано отд. изд.: Розанов. Из книги «Сюжет как явление стиля». Пгд. 1922). Печатается по кн.: *Шкловский В. Б.* Гамбургский счет. М. 1990. С. 120–139.

*Шкловский Виктор Борисович* (1893—1984) — писатель-эссеист, близкий к футуризму, литературный критик, один из основателей «формальной школы» в литературоведении. Шкловский высоко оценивал Розанова как новатора и отмечал его влияние на ведущих писателей эпохи (Новый Горький // Россия. 1924. № 2). Очевидно влияние Розанова и на литературную манеру самого Шкловского. Статья является приложением формального метода к творчеству Розанова, стилистическая самобытность которого позволяет ряду критиков (В. Р. Ховин, В. Н. Ильин, А. Кроун и др.) сближать Розанова с футуристами-экспериментаторами. Однако при формальном методе исследования, предлагаемом Шкловским, вне поля зрения критика остается собственно религиозно-философское содержание сочинений мыслителя, что, конечно, недопустимо в отношении Розанова.

- <sup>1</sup> Эта работа О. М. Брика, вероятно, опубликована не была.
- <sup>2</sup> Имеется в виду сотрудничество А. П. Чехова в 1881—1887 гг. в сатирическом журнале «Будильник», благодаря чему он стал известен.
- <sup>3</sup> Цитата из стихотворения Г. Гейне из цикла «Lyrisches Intermezzo» (1822—1823).
- <sup>4</sup> Фильдинг Генри (1707—1754) — классик английской литературы. Речь идет о его романе «История приключений Джозефа Эндрюса и его друга Абраама Адамса» (1742).
- <sup>5</sup> Цитата из стихотворения А. А. Ахматовой «Царскосельская статуя» (1916).
- <sup>6</sup> Цитата из стихотворения В. В. Маяковского «Себе любимому» (опубл. 1918).
- <sup>7</sup> Цитата из стихотворения В. В. Маяковского «Себе любимому посвящает эти строки автор» (1916).
- <sup>8</sup> См.: *Аристотель*. Поэтика. 1453b. 18—22.
- <sup>9</sup> Цитата из поэмы В. В. Маяковского «Война и мир» (1917).
- <sup>10</sup> Редклиф (урожд. Уорд) Анна (1764—1823) — английская писательница, автор «готических» романов.
- <sup>11</sup> Имеется в виду книга И. Ф. Романова-Рцы «Листопад» (1892), которая своим названием и свободным построением напоминает «Опавшие листья» и действительно могла оказать влияние на Розанова.
- <sup>12</sup> Цитата из статьи: *Розанов В. В.* Вечно печальная дуэль // Новое время. 1898. 24 марта.
- <sup>13</sup> Н. Н. Страхов писал: «Пушкин не был нововводителем. Он не создал никакой новой литературной формы и даже не пробовал создавать» (см.: *Страхов Н.* Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб. 1888. С. 37).
- <sup>14</sup> Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель-сентименталист, произведения которого «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1760—1767) и «Сентиментальное путешествие» (1768) отличаются своеобразием и парадоксальностью построения и содержания.
- <sup>15</sup> Неточная цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Умерла моя муза!.. Недолго она...» (1889).

## П. К. Губер

Силуэт Розанова

Впервые: *Летопись Дома литераторов*. 1922. № 8–9. С. 3.

*Петр Константинович Губер* (1886—1941) — писатель, литературный критик, автор книги «Дон-Жуанский список Пушкина» (1923) и др. Репрессирован. Часто писал под псевдонимом П. Арзубьев.

- <sup>1</sup> Цитата из стихотворения В. С. Соловьева «Памяти А. А. Фета» (1897).
- <sup>2</sup> Эта притча под названием «La Divina Commedia» была опубликована Розановым в вып. № 8–9 книги «Апокалипсис нашего времени» в 1918 г.
- <sup>3</sup> Речь идет об очерке «Русские могилы» — см.: *Розанов В. В.* Сочинения. Т. 1. М. 1990. С. 460–541.

<sup>4</sup> Имеется в виду книга Розанова «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (1914).

<sup>5</sup> Речь идет об о. Павле Флоренском.

## Д. П. Святополк-Мирский

В. В. Розанов

Глава из книги: Mirsky D. Contemporary Russian Literature. New York. 1926. Pp. 163–172. На русский язык переводится впервые (с сокращениями биографических данных). Перевод В. А. Фатеева.

*Мирский* (наст. фам. Святополк-Мирский) *Дмитрий Петрович*, князь (1890—1939) — литературный критик, историк литературы, писатель. После революции — в эмиграции. Печатался в различных эмигрантских изданиях, был редактором евразийского журнала «Версты», преподавал русскую литературу в Лондонском университете. Известен главным образом своей 2-томной историей русской литературы на английском языке (1926—1927). В 1930 г. Святополк-Мирский вступил в английскую компартию и в 1932 г. вернулся в Россию, где погиб в сталинских лагерях. Д. П. Святополк-Мирский считал Розанова самым крупным русским писателем XX века.

<sup>1</sup> *Розанов В.* Литературные изгнанники. СПб. 1913. Т. 1. С. 207–208.

<sup>2</sup> *Розанов В. В.* Сочинения в 2 тт. Т. 2. М. 1990. С. 283.

<sup>3</sup> Там же. С. 279–280.

<sup>4</sup> Там же. С. 199.

<sup>5</sup> Суарес Андрэ (1868—1948) — французский писатель и литературный критик.

## А. М. Ремизов

«Воистину»

Впервые: Версты (Париж). 1926. № 1. С. 82–86.

*Алексей Михайлович Ремизов* (1877—1957) — писатель, друг Розанова, автор большого полухудожественного мемуарного произведения о нем «Куха. Розановы письма» (Берлин. 1923), в котором подробно описаны их отношения. О Розанове идет речь также в книгах Ремизова «Взвихренная Русь. Автобиографическое повествование» (1927) и «В розовом блеске» (1952). Розанов, при всей близости к Ремизову, почти не писал о нем.

<sup>1</sup> Савинков Борис Викторович (1879—1925) — политический деятель, один из лидеров партии социалистов-революционеров, террорист, руководитель антисоветских заговоров и мятежей; писатель (под псевд. В. Ропшин) — «Конь блед» (1914), «То, чего не было» (1914) и др. Ремизов познакомился с Савинковым в ссылке.

<sup>2</sup> Цитата из стихотворения С. Есенина «Русь» (1914).

<sup>3</sup> Лурье Семен Владимирович (1867—1927) — литератор, публицист, сотрудник редакции П. Б. Струве «Русская мысль», после революции — в эмиграции.

<sup>4</sup> Вышеславцев Борис Петрович (1877—1964) — религиозный философ, юрист, искусствовед. Выслан из России в 1922 г. Преподавал в Богословском институте в Париже. Основные труды: «Этика преображенного эроса» (1931), «Кризис индустриальной культуры» (1953), «Вечное в русской философии» (1955).

<sup>5</sup> Эфрон Сергей Яковлевич (1891—1941?) — муж М. И. Цветаевой, участник гражданской войны на стороне белой армии, в эмиграции член редколлегии журнала «Версты», близок по взглядам к «евразийцам». Участвовал в деятельности Союза возвращенцев в Париже. Заподозренный в связи с НКВД и организации убийств, реэмигрировал в СССР, где и погиб в сталинских застенках.

<sup>6</sup> Ильин Иван Александрович (1883—1954) — религиозный философ, политический мыслитель и публицист. Выслан из России в 1922 г. Автор более 30 книг, в том числе «О сопротивлении злу силою» (1925), «Путь духовного обновления» (1935), «Аксиомы религиозного опыта» (2 тт. 1953). Сочинения Ильина отличаются твердостью позиции, основанной на монархии и православии, четкостью выражения мысли.

<sup>7</sup> Видимо, имеется в виду Соломон Владимирович Познер (1876—1946) — публицист. Его сын Владимир Соломонович Познер (1905—?) — поэт, историк литературы, переводчик, автор книги «Панорама современной русской литературы» (1929, на французском языке), где есть глава о Розанове, тогда был еще слишком молод.

<sup>8</sup> Лазарев Адольф Маркович (1873—1944) — литературный критик, после революции — в эмиграции.

<sup>9</sup> Сувчинский Петр Петрович (1892—1985) — один из ведущих теоретиков «евразийства», редактор сборников «Версты» вместе с Д. П. Святополк-Мирским и С. Я. Эфроном.

<sup>10</sup> Степун Федор Августович (1884—1965) — философ, историк культуры, прозаик, литературный критик. Выслан из СССР в 1922 г. Автор большого числа книг философского и литературного содержания, романа «Николай Переслегин» (1929) и мемуаров «Бывшее и несбывшееся» (2 тт. 1956), «Встречи» (1962). От неокантианства предреволюционного периода Степун эволюционировал в сторону православия и философского онтологизма.

<sup>11</sup> Муратов Павел Павлович (1881—1950) — историк искусства, публицист, прозаик, эссеист, переводчик, автор книг «Образы Италии» (2 тт. 1911, 3 тт. 1923, Берлин), «Эгерия» (1922), «Герой и героиня» (1928). Муратова отличали большие знания, утонченный вкус и близкие к эстетизму воззрения.

<sup>12</sup> Моммзен Теодор (1817—1903) — немецкий историк, автор «Истории Рима» (1854—1856), профессор.

<sup>13</sup> Осипов Иван («Ванька Каин», 1718—?) — автор книги «Жизнь и похождения российского картуша, именуемого Каина, известного мошенника и того ремесла людей сыщика...» (СПб. 1784 и др. изд.).

<sup>14</sup> Дионисий Ареопагит (I в.) — первый афинский епископ. С его именем связан свод известных сочинений («Ареопагитики»), которые совре-

менные ученые приписывают неизвестному автору V в. («Псевдо-Дионисию»). В «Житии протопопа Аввакума» (1620/21—1682), главы и идеолога русского раскола, не только упоминается имя Дионисия, но и цитируются его сочинения.

<sup>15</sup> Видимо, имеется в виду Формоз (ок. 816—896) — римский папа в 891—896 гг. Протопоп Аввакум упоминает его в связи с «триперстной ересью»: «Егда же бысть в Риме от тех же Галат папа Фармос, благословляше люди тремя персты...» (*Бороздин А. К.* Протопоп Аввакум. СПб. 1900. Приложения. С. 62).

<sup>16</sup> Розанов снимал в Гатчине дачу. См.: *Ремизов А. М.* Кукха. Розановы письма. Париж. 1978. С. 48.

<sup>17</sup> Святополк-Мирский Петр Данилович, князь (1857—1914) — генерал-лейтенант, министр внутренних дел (1904—1905 гг.), отец Д. П. Святополка-Мирского.

<sup>18</sup> Кламар — местечко под Парижем, где жил Н. А. Бердяев.

<sup>19</sup> Сеземан Василий Эмильевич (1884—1940) — философ, представитель трансцендентально-логического идеализма, один из авторов журнала «Логос» (1910—1914 гг.), после революции — в эмиграции, профессор Ковенского университета.

<sup>20</sup> Ремизова-Довгелло Серафима Павловна (1876—1943) — жена А. М. Ремизова.

## Прот. В. В. Зеньковский

В. В. Розанов

Из кн.: *Зеньковский В. В.*, прот. История русской философии. Париж. 1948—1950. Т. 2 (печатается по изд.: Л. 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 266—278).

*Зеньковский Василий Васильевич*, протоиерей (1881—1962) — религиозный мыслитель. После окончания Киевского университета (естественно-математический и историко-филологический факультеты) преподавал в Киевском университете (1915—1919). С 1919 г. — в эмиграции. В 1920—1923 гг. — профессор филологии Белградского университета; в 1923—1926 гг. — директор педагогического института в Праге; с 1926 г. по 1962 г. — профессор Богословского университета в Париже. Принял священство в 1942 г. Основные работы: «Проблема психической причинности» (1914), «Психология детства» (1923), «Русские мыслители и Европа» (1926), «Проблема воспитания в свете христианской антропологии» (1934), «История русской философии» (2 тт. 1948—1950), «Апологетика» (1959), «Н. В. Гоголь» (1961), «Основы христианской философии» (2 тт. 1961—1964).

<sup>1</sup> Вопрос о сходстве Розанова с Ницше решался по-разному. Сходство Розанова с Ницше отмечали Мережковский, Грифцов, Волжский. Голлербах называл Розанова вслед за Мережковским «русским Ницше». В то же время на отличии Розанова от Ницше настаивал, например, П. П. Перцов — см. статью «Между старым и новым» в наст. изд. Сам Розанов так-

же отрицал влияние на него Ницше, отвергая антигуманные идеи немецкого философа и не проявляя интереса к нему даже как к литератору.

<sup>2</sup> Розанов преподавал в гимназиях не только историю, но и географию, а иногда по необходимости и другие предметы.

<sup>3</sup> После выхода в свет «О понимании» было опубликовано две рецензии, давшие в основном отрицательную оценку книге: *Л. С. Слонимский* *Л. З.* // Вестник Европы. 1886. № 10. С. 850–858; б/п // Рус. мысль. 1886. № 11. С. 270–272.

<sup>4</sup> Не меньшее участие в хлопотах о переезде Розанова в Петербург принимал и С. А. Рачинский. В 1892 г. шла интенсивная переписка через Рачинского об устройстве Розанова при Победоносцеве, однако у обер-прокурора св. Синода не нашлось для провинциального мыслителя вакансии (см.: Отдел рукописей РНБ. Ф. 631. Переписка С. А. Рачинского).

<sup>5</sup> В 1904 г. вышло 3-е издание книги «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1-е издание было осуществлено в 1894 г. при материальной поддержке Н. Н. Страхова).

<sup>6</sup> «Исключить» Розанова из литературы предлагал не П. Б. Струве, а Н. К. Михайловский.

### Прот. В. В. Зеньковский

Русские мыслители и Европа. В. В. Розанов

Из кн.: *Зеньковский В.*, прот. Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей. 2-е изд. Париж. 1955. С. 204–219.

<sup>1</sup> Евангелие от Луки 2, 14.

<sup>2</sup> Имеется в виду статья «О «вечно бабьем» в русской душе», включенная в наст. изд.

<sup>3</sup> Федоров Николай Федорович (1828—1903) — религиозный мыслитель-космист, автор «Философии общего дела» (3 т., изданы учениками в 1906—1913 гг.). Глубоко религиозная идея обретения бессмертия через воскрешение предков сочетается у Федорова с социальным утопизмом и элементами позитивизма. Розанов обратил внимание на мало известного тогда философа в статье «Туркестанские произрастания» (Новое время. 1915. 29 нояб.). Сопоставление Федорова и Розанова как философов, сочетающих «родовой» натурализм с религиозным космизмом, представляет весьма перспективным.

<sup>4</sup> Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — историк русской литературы, критик, профессор Московского университета. Считался апологетом т. н. «официальной народности». См.: *Шевырев С.* Взгляд русского на современное образование Европы // Москвитянин. 1841. № 1. С. 219—296.

<sup>5</sup> *Пыпин А. Н.* Белинский, его жизнь и переписка. Изд. 2-е. СПб. 1908. В. П. Боткин писал В. Г. Белинскому: «Не даром кричат Шевырев и «Маяк», что Европа находится в гниении, что связи семейства, общества, государства в ней потрясены — это так действительно...» (письмо от 22 и 23 марта 1842 г.) // Ук. соч. С. 401).

**Л. Шестов**

В. В. Розанов

Впервые: Путь (Париж). 1930. С. 197–203. Перепечатано в кн.: *Шестов Л.* Умозрение и откровение. Париж. 1964. Печатается по: *Шестов Л. И.* Статьи о русской литературе // Рус. литература. 1991. № 3. С. 47–51.

*Шестов* (наст. фам. Шварцман) *Лев Исаакович* (1866—1936) — религиозный философ-экзистенциалист. С 1920 г. — в эмиграции. Основные книги: «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (1900)», «Достоевский и Ницше» (1902), «Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления» (1905), «Власть ключей» (1923), «На весах Иова», «Странствования по душам» (1929), «Скованный Парменид. Об источниках метафизических истин» (1932), «Киркегаард и экзистенциальная философия. Глас вопиющего в пустыне» (1939). В «адогматической» философии Шестова нередко усматривали общее с парадоксальной философией Розанова, как и в манере изложения ими своих идей. Так, Ремизов, отмечая «парность» литераторов (при упоминании одного имени, отмечает он, на ум сразу невольно приходит и другое), поставил Шестова в пару именно с Розановым (см.: *Ремизов А.* Кукха. Розановы письма. Париж. 1978. С. 56). Черты сходства у Шестова и Розанова обнаруживает также и Д. П. Святополк-Мирский — см. в наст. изд.

<sup>1</sup> «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» написана в период, когда Розанов придерживался христианских взглядов, и утверждение Шестова представляется спорным.

<sup>2</sup> См.: Гегель Ф. Философия религии в 2 тт. Т. 1. М. 1976. С. 379–380.

<sup>3</sup> Евангелие от Иоанна 16, 13.

<sup>4</sup> Имеется в виду изречение Паскаля, — начало его знаменитого «Мемориала», который был найден зашитым в его камзоле после кончины и который представляет собой запись во время ночного экстаза 23 ноября 1654 г.

<sup>5</sup> Эпиктет (ок. 50—ок. 140) — римский философ-стоик, автор «Бесед».

<sup>6</sup> Шлецер Борис Федорович (1881—1969) — писатель, критик, переводчик, музыковед, близкий друг Шестова. В эмиграции печатался преимущественно на французском языке. Переводил Розанова на французский язык и писал о нем во французской периодической печати.

<sup>7</sup> Цитата из гл. III повести Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» (1864).

**К. В. Мочульский**

Заметки о Розанове

Впервые: Звено (Париж). 1928. № 4. С. 203–208.

*Мочульский Константин Васильевич* (1882—1948) — литературный критик, историк литературы и философии. Окончил С.-Петербургский уни-



верситет. С 1919 г. в эмиграции. Автор книг: «Духовный путь Гоголя» (1934), «Владимир Соловьев. Жизнь и учение» (1936), «Великие русские писатели XIX века» (1939), «Достоевский. Жизнь и творчество» (1942), «Александр Блок» (1948), «Андрей Белый» (1955), «Валерий Брюсов» (1962).

<sup>1</sup> «Уединенное» Розанова вышло на французском языке в 1928 г. с предисловием В. Р. Ховина.

<sup>2</sup> См. письмо 21 в разделе «Письма читателей» (В мире неясного и нерешенного. 2-е изд. СПб. 1904. С. 354–358. Подп.: Ваш читатель).

<sup>3</sup> «Эрнани» — драма В. Гюго (1830). «Сид» — трагикомедия П. Корнеля (1636).

### Г. П. Федотов

В. В. Розанов: «Опавшие листья»

Впервые: Числа (Париж). Кн. 1. 1930. С. 222–224

*Федотов Георгий Петрович* (1886—1951) — религиозный мыслитель, либеральный публицист, историк-медиевист, член религиозно-философского кружка А. А. Мейера. С 1925 г. в эмиграции. С 1941 г. в США. Автор книг «Святые древней Руси» (1931), «Новый Град» (1952), «Христианин в революции» (1957), «Лицо России» (1967), «Россия, Европа и мы» (1973), «Тяжба о России» (1982), «Защита России» (1988); совр. изд.: *Федотов Г. П.* Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. 2 тт. СПб. 1991.

<sup>1</sup> Настоящая статья — рецензия на книгу Розанова «Опавшие листья», выпущенную в Париже издательством «Руссика» в 1930 г.

<sup>2</sup> Цитата дана Федотовым с пропуском слов: «...обглоданная евреями» (на это обратил внимание Дмитрий Галковский — см.: *Галковский Д.* Бесконечный тупик // Наш современник. 1992. № 1. С. 139).

### Прот. Г. В. Флоровский

В. В. Розанов

Из кн.: *Флоровский Г.*, прот. Пути русского богословия. Париж. 1937. С. 459–462.

*Флоровский Георгий Васильевич* (1893—1979) — протоиерей, богослов, историк русской религиозной мысли. В эмиграции с 1920 г. С 1926 г. преподавал в Православном Богословском институте в Париже. Принял священство в 1932 г. Автор книг: «Достоевский и Европа» (1922), «Жил ли Христос. Исторические свидетельства о Христе» (1929), «Восточные Отцы IV века» (1931), «Восточные Отцы V—VIII веков» (1933), «Пути русского богословия» (1937). С 1948 г. преподавал в США. Флоровский, практически отрицающий положительное значение Розанова, является одним из его наиболее строгих критиков, хотя пользуется его сочинениями при анализе других мыслителей, например, Леонтьева.

<sup>1</sup> Первая статья Розанова о К. Н. Леонтьеве «Европейская культура и наше отношение к ней» (Московские ведомости. 1891. 16 авг.), но здесь речь идет о более поздней статье «Эстетическое понимание истории», с первой частью которой Леонтьев успел ознакомиться в рукописи (Рус. вестник. 1892. № 1–3).

<sup>2</sup> «Об адогматизме христианства» — доклад Розанова, прочитанный им Религиозно-философских собраниях и вошедший в книгу «Около церковных стен» (т. 2. С. 455–472).

<sup>3</sup> Псалтирь 50, 19.

<sup>4</sup> Н. Н. Страхов не был членом «кружка поздних славянофилов», как утверждает Флоровский — он лишь познакомился с некоторыми из них у Розанова после его приезда в Петербург в 1893 г. Видимо, в заблуждение Флоровского ввело известное письмо Страхова к Л. Н. Толстому от 29 июня 1893 г., где он сообщает, что приехавший Розанов познакомил его с целой «колонией» петербургских славянофилов (Толстовский Музей. Т. 2. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. СПб. 1914. С. 443–444).

<sup>5</sup> Сближение Розанова с символистами произошло в конце 1890-х гг. и окончательно оформилось в годы их совместного сотрудничества в журнале «Мир искусства» (1899—1904).

## Ю. Иваск

Розанов и о. Павел Флоренский

Впервые: Вестник русского студенческого христианского движения. 1956. № 42. С. 22–26.

*Иваск Юрий Павлович* (1906—1986) — литературный критик, историк русской литературы и философии, поэт. С 1920 г. — в эмиграции, с 1949 г. — в США. Автор многочисленных публикаций произведений Розанова и материалов о нем, в том числе кн.: *Розанов В. В.* Избранное. Нью-Йорк. 1956, а также большого биографического исследования «Константин Леонтьев» (Берн. 1974). Крупнейший специалист по творчеству Розанова в русской эмиграции.

<sup>1</sup> О. Павел Флоренский, согласно уточненным данным, был расстрелян в Соловецком лагере 12 декабря 1937 г.

<sup>2</sup> См.: *Мережковский Д. С.* Л. Толстой и Достоевский. СПб. 1902. С. XXXIII—XXXIV.

<sup>3</sup> *Бердяев Н.* Стилизованное православие (о. П. Флоренский) // Рус. мысль. 1914. № 1. II-я пагинация. С. 109–125.

<sup>4</sup> *Флоровский Г.*, прот. Пути русского богословия. Париж. 1937. С. 495: «В книге Флоренского просто нет христологических глав».

<sup>5</sup> Ориген (ок. 185—253 или 254) — христианский теолог, представитель ранней патристики, живший в Александрии. Для Оригена характерно соединение христианского учения с платонизмом, что привело впоследствии к осуждению его как еретика (543 г.).

<sup>6</sup> Стилистику Розанова сопоставлял с «вяканьем» Аввакума А. М. Ремизов — см., например, его «Воистину» в наст. изд.

<sup>7</sup> Псалтирь 150, 6.

<sup>8</sup> *Флоровский Г.*, прот. Пути русского богословия. Париж. 1937. С. 459: «Это был писатель с большим религиозным темпераментом, но человек религиозно слепой».

<sup>9</sup> См.: *Лосский Н. О.* История русской философии. М. 1991. С. 230–231.

<sup>10</sup> Речь идет о близком друге о. Павла Флоренского со времен учебы в Московской духовной академии Сергее Семеновиче Троицком (1881—1910). См. о нем: Сборник, посвященный памяти С. С. Троицкого. Тифлис. 1912.

<sup>11</sup> Иоанн Мосх (ум. 619) — византийский духовный писатель, автор сборника монастырских историй и преданий «Луг духовный» (рус. пер.: СПб. 1896).

<sup>12</sup> Розанов предпочитал исповедоваться у менее знакомых, «простых» священников — о. Павла Милославина и о. Александра Гиацинтова.

### В. Н. Ильин

Стилизация и стиль. 2 — Ремизов и Розанов

Впервые: Возрождение (Париж). № 147. Март 1964. С. 178–199.

*Ильин Владимир Николаевич* (1891—197\_) — религиозный мыслитель, литературный критик, публицист, музыковед. Окончил естественный и философский факультеты в Киевском университете. С 1919 г. в эмиграции. Преподавал богословие в Берлине и затем в Париже. Автор книг: «Св. Серафим Саровский» (1925), «Запечатанный гроб — пасха нетленная» (1926), «Всенощное бдение» (1927), «Шесть дней творения» (1930) и др.

<sup>1</sup> Источник не установлен.

<sup>2</sup> Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — прозаик, с 1922 г. в эмиграции. Главные книги: Собр. соч. в 8 тт. (1910—1917), «Солнце мертвых» (1927), «История любовная» (1927), «Лето Господне. Праздники» (1933), «Богомолье» (1935). Для многих произведений Шмелева периода эмиграции характерно сочетание лиризма и ностальгической идеализации старого быта.

<sup>3</sup> Лядов Анатолий Константинович (1865—1914) — композитор, профессор консерватории.

<sup>4</sup> Лукас Кранах Старший (1472—1553) — немецкий живописец и гравер. Имеется в виду его картина «Избиение младенцев в Вифлееме» (ок. 1515. Картинная галерея, Дрезден).

<sup>5</sup> Речь идет о критике Николае Петровиче Ашешове (1866—1923) — одном из наиболее резких и вульгарных обличителей Розанова, часто писавшем под псевдонимом А. Ожигов. См., например, статью, название которой говорит само за себя: В. В. Розанов — Большой Икс русской литературы. — Павианство. — Всеобщее презрение и всероссийский кукиш. — Разложение литературы. — Объективная точка зрения // Киевская мысль. 1915. 6 авг. Подп.: Ал. Ожигов.

<sup>6</sup> Сирано де Бержерак (1619—1655) — французский писатель-эксцентрик, согласно легенде, часто вызывавшийся на дуэль из-за насмешек по

поводу длины его носа. Получил широкую известность благодаря одноименной пьесе (1897) Эдмона Ростана (1868—1918).

<sup>7</sup> Портрет писателя Н. С. Лескова работы В. А. Серова (1894) находится в ГТГ.

<sup>8</sup> В книге В. Шкловского «Ход коня» (Москва—Берлин. 1923) упоминаний о Розанове нет. Возможно, Ильин имел в виду очерк, включенный в наст. изд. Однако термин «оксюморон», используемый Шкловским, трактуется традиционно: как сочетание слов с противоположным значением.

<sup>9</sup> Цитата из стихотворения В. В. Маяковского «Надо!» (1918).

<sup>10</sup> Ульянинский Дмитрий Васильевич (1868—1918) — библиограф, библиофил-коллекционер (см.: Библиотека Ульянинского. Библиографическое описание. Т. 1–3. М. 1912—1915).

<sup>11</sup> Розенберг Оттон Оттонович (1888—1919) — ученый-буддолог (см.: *Розенберг О. О.* Труды по буддизму. М. 1991).

<sup>12</sup> Имеется в виду замок польских князей Сангушко.

<sup>13</sup> Ляпунов Александр Михайлович (1857—1918) — математик и механик, академик С.-Петербургской академии наук (с 1901 г.). Создатель теории устойчивости равновесия и движения механических систем, автор трудов по дифференциальным уравнениям, гидродинамике и теории вероятностей.

<sup>14</sup> О Тернавцеве см. прим. 25 к «Воспоминаниям» Т. В. Розановой.

<sup>15</sup> Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт-символист, придавший стиху тонкую музыкальность. Лозунг «Музыка прежде всего» он ввел в стихотворение «Поэтическое искусство» (1874).

<sup>16</sup> Видимо, имеется в виду Александр Иванович Кошелев (1806—1883) — общественный деятель, представитель славянофильства, участник подготовки крестьянской реформы 1861 г.

<sup>17</sup> Деян. 17, 28.

<sup>18</sup> Имеется в виду Блез Паскаль. См. прим. 4 к статье Л. Шестова.

<sup>19</sup> Роде Эрвин (1845—1898) — немецкий филолог, профессор-эллинист. Фукар Поль Франсуа (1836—1926) — французский археолог. Фрезер Джеймс Джордж (1845—1898) — шотландский ученый-этнограф, автор известной книги «Золотая ветвь» (1890). Менье Марио — возможно, имеется в виду Филипп Монье (1864—1911) — французский историк литературы.

<sup>20</sup> Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «На смерть кн. Мещерского» (1770).

<sup>21</sup> Клагес Людвиг (1872—1956) — немецкий психолог и философ-иррационалист, известен своими работами в области характерологии и графологии.

<sup>22</sup> Ср. известные высказывания Шопенгауэра о музыке: *Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление. Т. 1. Кн. 3. § 52. Т. 2. Доп. кн. 3. Гл. 39.

## М. М. Спасовский

В. В. Розанов в последние годы своей жизни

Впервые: Отд. изд. Берлин. 1939. Печатается по изд.: *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Изд. 2-е, ис-

правленное и значительно дополненное. Нью-Йорк. 1968 (с. 15–31, 164–172).

*Спасовский Михаил Михайлович* (1890—1971) — публицист, редактор студенческого журнала националистической ориентации «Вешние воды» (1914—1918), в котором принимал участие В. В. Розанов. С 1926 г. в эмиграции. Опубликовал ряд ценных материалов, связанных с Розановым.

<sup>1</sup> Пруст Марсель (1871—1922) — французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени» (1871—1922) и других произведений, один из столпов модернизма.

<sup>2</sup> Джойс Джеймс (1882—1941) — ирландский писатель, автор известного модернистского романа «Улисс» (1922), один из законодателей литературной моды XX века.

<sup>3</sup> Имеется в виду ст.: *Розанов В.* Русские исторические портреты в Таврическом дворце // *Розанов В.* Когда начальство ушло. СПб. 1910. С. 82–86.

<sup>4</sup> Флоренский не только не был противником идеи св. Софии, но и считается одним из главных представителей софиологии.

<sup>5</sup> Розанов преподавал не только в Елецкой гимназии (1887—1891), но также сначала в Брянской прогимназии (1882—1887), а после Ельца — в Бельской прогимназии Смоленской губ. (1891—1893).

<sup>6</sup> Обе книги Розанова — «Сумерки просвещения» и «Литературные очерки» — были изданы П. П. Перцовым в 1899 г., как и сборник статей «Религия и культура».

<sup>7</sup> Речь идет об инспекторе С.-Петербургской Духовной академии Феофане (Быстрове) — см. о нем прим. 15 к очерку З. Н. Гиппиус в наст. изд.

<sup>8</sup> Книги «Когда начальство ушло» (1910) и «Люди лунного света» (1911) вышли не в Париже, а в Петербурге.

<sup>9</sup> Солоневич Иван Лукьянович (1891—1953) — консервативный мыслитель, публицист. После революции — участник Белого движения, затем — в эмиграции. Цитируемое упоминание Розанова — см.: *Солоневич И. Л.* Наши достижения. М. 1991. С. 120.

### А. Д. Сиявский

С носовым платком в Царстве Небесное

Печатается по изд.: *Сиявский А. Д.* «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж. 1982. Гл. 8. С. 202–246.

*Сиявский Андрей Донатович* (род. 1925) — литературовед, писатель. С 1959 г. печатался на Западе под псевдонимом Абрам Терц. В 1966 г., после нашумевшего судебного процесса, приговорен к 7 годам лишения свободы. В 1973 г. эмигрировал во Францию. Работает профессором русской литературы в Сорбонне. См.: *Абрам Терц* (А. Д. Сиявский). Собр. соч. в двух томах. М. 1992.

<sup>1</sup> Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» (1833).

<sup>2</sup> «Фаллическое» сочинение А. М. Ремизова «Что есть табак. Гоносива повесть» (1906) было опубликовано в 1908 г. в количестве 25 номеров

ванных экземпляров. Текст и комментарии см. в публикации М. Козьменко в сб.: Эрос. Россия. Серебряный век. М. 1992.

### Ж.-Б. Северак

Антихристианство г. Розанова

Впервые: Вестник знания. 1908. № 6. С. 834–842.

*Ж.-Б. Северак* — французский философ, социолог, теоретик социализма, синдикалист, профессор философии в колледже Шато-Тьерри, знакомый Мережковских по Парижу, составитель, переводчик и автор вступительной статьи в кн. «В. С. Соловьев» (на фр. яз., 1910).

<sup>1</sup> Речь идет о статье Д. В. Философова, включенной в наст. изд.

<sup>2</sup> Леруа-Болье Анатолий (1842—1912) — французский писатель, автор книг «Франция, Россия и Европа» (1888), «Империя царей» (3 тт., 1881—1889) и др. См. кн.: Leroy-Beaulieu A. L'Empire des Tsars et les Russes. Paris. 1882. Vol. 2. Pp. 178–182.

<sup>3</sup> Имеется в виду статья: *Розанов В. Иродова легенда // Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. С. 21–37.*

<sup>4</sup> Селиванов Кондратий Иванович (?—1832) — основатель секты скопцов, крестьянин Орловской губ. См. о нем статьи: *Розанов В. «Страды» Кондратия Селиванова // Розанов В. Апокалиптическая секта (хлысты и скопцы). СПб. 1914. С. 134–152; Розанов В. «Послание» Кондратия Селиванова // Там же. С. 153–166.*

<sup>5</sup> Григорий VII Гильдебрандт (между 1015/1020—1085) — римский папа с 1079 г., ввел целибат — обязательное безбрачие католического духовенства.

### Д. Г. Лоуренс

«Уединенное» В. В. Розанова

Впервые: Calendar of Modern Letters. July 1927. No. 4. Pp. 152–161 (в рус. пер.: Начала. 1992. № 3. С. 82–86. Пер. О. А. Казниной).

*Лоуренс Дэвид Герберт* (1885—1930) — один из самых значительных английских писателей XX века, автор романов «Сыновья и любовники» (1913), «Радуга» (1915), «Влюбленные женщины» (1920) и скандально известного романа «Любовник леди Чаттерлей» (1928). Лоуренса, как и Розанова, интересовала тема пола, столкновение цивилизации и языческого мироощущения, хотя при всем его внимании к стихийным, природным началам религиозность не занимает у него столь важного места, как у Розанова. Отзыв Лоуренса интересен именно как переключка двух крупных представителей английской и русской литературы.

Книга «Уединенное» (*V. V. Rozanov. Solitaria. London. 1927*) вышла в переводе русского эмигранта С. С. Котелянского с включением отрывков из других произведений, автобиографического очерка Голлербаха и писем.

<sup>1</sup> Д. П. Святополк-Мирский называл Розанова «гениальнейшим из людей своего времени» (см.: Версты (Париж). 1927. № 2. С. 247).

<sup>2</sup> Рип Ван Винкль — герой одноименного рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783—1859).

«Опавшие листья» В. В. Розанова

Впервые: Everyman. 23 January 1930 (в рус. пер.: Начала. 1992. № 3. С. 86–90. Пер О. А. Казниной).

<sup>1</sup> Английский перевод книги «Опавшие листья» (*Fallen Leaves*, by V. V. Rozanov. Translated from the Russian by S. S. Koteliansky, with a foreword by James Stephens. London. 1929) вышел в свет в 1929 г. В Париже в 1930 г. был опубликован перевод «Апокалипсиса нашего времени» и «Уединенного» на французский язык, сделанный Б. Ф. Шлецером и В. С. Познером, со вст. ст. Б. Ф. Шлецера (*V. V. Rozanov. L'Apocalypse de notre temps, précédé de Esseulement*. Paris. 1930).

<sup>2</sup> Данные Лоуренса о Розанове здесь приблизительны — в момент написания рецензии у него не было под рукой справочных материалов.

<sup>3</sup> Речь идет об эпизоде из брянской жизни Розанова — любви приехавшего к нему С. Б. Гольдовского и дочери священника А. П. Поповой.



---

**БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ О В. В. РОЗАНОВЕ**  
**1886—1986 гг.**

**I. Литература на русском языке**

А. Б. — см. Богданович А. И.

*Абрамович Н. Я.* «Новое время» и «соблазненные младенцы» (Библиотека общественных и литературных фельетонов. № 3). Пгд. 1916. С. 45–48.

*Аггеев К. М.* Ненужная речь // Церковный вестник. 1904. № 44. С. 1385–1390.

*Аггеев К. М.* Христианство в его отношении к благоденствию земной жизни. Опыт критического изучения и богословской оценки раскрытого К. Леонтьевым понимания христианства. Киев. 1909. С. 6–8, 13–15, 235–236, 249–250 и др.

*Адамович Г. В.* Литературные беседы. Василий Розанов // Звено (Париж). 1927. 16 янв. № 205. С. 1–2 (то же в кн.: Адамович Г. О книгах и авторах. Заметки из литературного дневника. Париж. 1967. С. 21–24).

*Айхенвальд Ю. И.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Сумерки просвещения. Литературные очерки. Религия и культура // Вопросы философии и психологии. 1900. Кн. II (52). Отд. II. С. 176–186.

*Айхенвальд Ю. И.* Неопрятность // Утро России. 1915. 22 авг.

*Аксаков Н. П.* Свобода, любовь и вера (По поводу толков о терпимости и нетерпимости) // Рус. беседа. 1895. № 1. С. 6–18; № 2. С. 22–30; № 3. С. 29–50; № 7. С. 33–77; № 8. С. 36–57.

*Аксаков Н. П.* Христианство «пассивное» и «активное» (По поводу фельетонов В. В. Розанова) // Рус. труд. 1898. № 1. С. 36–42.

*Аксаков Н. П.* О браке и девстве // Рус. труд. 1899. № 43. С. 7–9; № 44. С. 10–14 (то же: О сущности брака. М. 1901. С. 157–173).

*Амфитеатров А. В.* «Богословы» // Амфитеатров Ал. «Ау!». СПб. 1912. С. 54–67.

*Амфитеатров А. В.* «Дворянин» Достоевский // Амфитеатров Ал. Властители дум. Собр. соч. Т. 22. Б/г. С. 95–115.

*Анд-ъ В.* — см. Андерсон В. М.

*Андерсон В. М.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Литературные изгнанники. Т. 1. СПб. 1913 // Русский библиофил. 1913. № 8. С. 86–87. Подп.: В. Анд-ъ.

*Андреевич* — см. Соловьев Е. А.

*Антонов Н. Р., свящ.* Русские светские богословы и их религиозно-общественные мирозерцания. Литературные характеристики. Т. 1. СПб. 1912. С. VII—X и др.

*А. О.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Среди художников // Речь. 1913. 11 нояб. *Арзубьев П.* — см. Губер П. К.

*Арнольд Л. В.* Еще и еще раз о Розанове // Шанхайская заря. 1942. 16 апр.

*Артемов М. М.* Розанов и ритуальное убийство // Речь. 1914. 1 февр.

*Артемов М. М.* Розанов и Соловьев // Журнал содружества (Выборг). 1936. № 11. С. 16—20; № 2. С. 23—25.

*А-тэ* — см. Киреев А. А.

*Афанасьев Н. И.* Современники. Альбом биографий. Т. I. СПб. 1909. С. 242—244.

*Ашешов Н. П.* Из жизни и литературы. В. В. Розанов // Образование. 1904. № 4. С. 61—70.

*Ашешов Н. П.* Северные отражения. В. В. Розанов // Одесские новости. 1910. 10 дек.

*Ашешов Н. П.* Вместо демона — лакей // Современник. 1913. № 6. С. 306—322.

*Ашешов Н. П.* В низах хамства (О В. В. Розанове и его последней книге «Среди художников») // Московская газета. 1913. 22 нояб. Подп.: Ал. Ожигов.

*Ашешов Н. П.* Литературные отражения. В. В. Розанов. — Большой Икс русской литературы. — Павианство. — Всеобщее презрение и всероссийский кукиш. — Разложение литературы. — Объективная точка зрения // Киевская мысль. 1915. 6 авг. Подп.: Ал. Ожигов.

*Ашешов Н. П.* «Позорная глубина» // Речь. 1915. 16 авг. (то же: Современное слово. 1915. 16 авг.).

*Басаргин А.* — см. Введенский А. И.

*Б. Г.* — см. Глинский Б. Б.

*б/п (без подписи).* Рец. на кн.: Розанов В. В. О понимании // Рус. мысль. 1886. № 11. С. 270—272.

*б/п.* Рец. на кн.: Место христианства в истории // Рус. богатство. 1890. № 2. С. 206—207.

*б/п.* Рец. на ст.: Розанов В. В. Сумерки просвещения // Странник. 1893. № 9. С. 175—180.

*б/п.* Рец. на ст.: Розанов В. В. Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век // Рус. мысль. 1895. № 11. С. 390—391.

*б/п.* Поэзия упадка // Книжки «Недели». 1896. № 10. С. 284—286.

*б/п.* Раздвояющийся писатель // Вестник Европы. 1897. № 9. С. 422.

*б/п.* Рец. на ст.: Розанов В. В. Русская церковь // Рус. слово. 1905. 25 дек.

*б/п.* Итальянцы в России и В. В. Розанов о русской церкви // Странник. 1906. № 2. С. 272—273.

*б/п.* Социальное значение русской церкви по мнению Розанова // Странник. 1906. № 4. С. 638—640.

- б/п.* О канонической несвободе // Церковный вестник. 1906. № 7. С. 201.
- б/п.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Итальянские впечатления. СПб. 1909 // Рус. богатство. 1909. № 7. Отд. II. С. 121–125.
- б/п.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Темный Лик. СПб. 1911 // Современное слово. 1910. 31 дек.
- б/п.* Гроза и публицисты // Киевские отклики. 1911. 26 мая.
- б/п.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Л. Н. Толстой и Русская Церковь. СПб. 1912 // Литовская Русь. 1912. 16 янв.
- б/п.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Уединенное // Бюллетени литературы и жизни. 1912. № 9. 29 июня.
- б/п.* Открытое письмо В. В. Розанову // Новое время. 1913. 29 марта.
- б/п.* Новая интимная книга Розанова // Бюллетени литературы и искусства. 1913. № 19. С. 280–282.
- б/п.* Репейник // Сатирикон. 1913. № 20. С. 5.
- б/п.* Обнаженность под звериной шкурой // Бессарабская жизнь. 1913. 16 мая.
- б/п.* Кто такой г. Мережковский // Новое время. 1914. 27 янв.
- б/п.* Дело В. В. Розанова // Новое время. 1914. 28 янв.
- б/п.* Изобличенный г. Мережковский // Новое время. 1914. 29 янв.
- б/п.* Еще о Мережковском // Новое время. 1914. 31 янв.
- Беленсон А.* Подозрительная тема // Жизнь в искусстве. 1921. 11–13 мая.
- Белов А. М.* Рец. на кн.: Около церковных стен. Т. 2 // Исторический вестник. 1906. № 6. С. 1001–1003. Подп.: А. Б.
- Белый А. (Бугаев Б. Н.).* Отцы и дети русского символизма // Весы. 1906. № 1. С. 67–71. Подп.: Б. Бугаев ( то же: Белый А. Арабески. М. 1911. С. 273–277).
- Белый А. В. В. Розанов* // Белый А. Начало века. М. 1933 (переизд.: М. 1990. С. 476–482).
- Басанин М.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Семейный вопрос в России. 2 т. СПб. 1903 // Новое время. 1904. 21 июля.
- Беляев Ю. Д.* О Розанове (В. Розанов. Итальянские впечатления) // Новое время. 1909. 24 июня.
- Бем А. Л.* Идея Достоевского в свете новых биографических данных // Современные записки. 1925. № XXVI. С. 379–392.
- Бенуа А. Н.* Мои воспоминания. Т. 2. М. 1980 (Изд. 2-е. М. 1990. Т. 2. С. 288–296).
- Бердяев Н. А.* О новом религиозном сознании // Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 147–188 ( то же: Бердяев Н. А. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные. СПб. 1907. С. 338–373).
- Бердяев Н. А.* Философия и жизнь // Вопросы жизни. 1905. № 12. С. 327–328.
- Бердяев Н. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Изд. 3-е // Книга. 1906. № 5. 30 нояб. С. 10.
- Бердяев Н. А.* Христос и мир. Ответ В. Розанову // Рус. мысль. 1908. Отд. II. С. 42–55 (то же: Записки С.-Петербургского РФО. Вып. 2. 1908.

С. 49–60; то же: Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции. СПб. 1910. С. 234–252).

*Бердяев Н. А.* О «вечно бабьем» в русской душе // Биржевые ведомости. 1915. 14, 15 янв. (то же: Бердяев Н. А. Судьба России. М. 1918).

*Бердяев Н. А.* Апофеоз русской лени // Биржевые ведомости. 1916. 20 июня.

*Бердяев Н. А.* Русская идея. Париж. 1948.

*Березин П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Война 1914 года и русское возрождение // Современник. 1915. № 5. С. 291–292.

*Берлин П. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. // Новый журнал для всех. 1910. № 19. С. 123–125.

*Берлин П. А.* Опаснее врага // Новая жизнь. 1913. № 2. С. 246–251.

*Берлин П. А.* Русские мыслители и евреи. В. В. Розанов // Новый журнал (Нью-Йорк). 1962. № 70. С. 256–270.

*Богданович А. И.* Суд над Пушкиным и мрачная философия «оправдания добра» г. Влад. Соловьева. — Как параллель ему — г. Розанов // Мир Божий. 1897. № 10. С. 7–10. Подп.: А. Б.

*Богданович А. И.* Юродствующая литература. — «О любви» Меньшикова. «Сумерки просвещения» В. Розанова // Мир Божий. 1899. № 4. С. 1–18. Подп.: А. Б. (то же: Богданович А. Годы перелома. 1895—1898. Сб. критических статей. СПб. 1908. С. 240–261).

*Богданович А. И.* Рец. на кн.: В. В. Розанов. Религия и культура // Мир Божий. 1899. № 8. С. 155–171. Подп.: А. Б.

*Богданович А. И.* Рец. на кн.: В. В. Розанов. В мире неясного и нерешенного // Мир Божий. 1901. № 9. Отд. II. С. 91–92. Подп.: А. Б.

*Бородаевский В. В.* О трагизме в христианстве // Рус. вестник. 1903. № 2. С. 615–624.

*Бохан С.* Неразгаданный мыслитель // Утес (Париж). 1931. № 1.

*Боцяновский В. Ф.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Декаденты. СПб. 1904 // Русь. 1904. 19 февр.

*Боцяновский В. Ф.* Гордый Розанов // Биржевые ведомости (веч. вып.). 1915. 16 авг.

*Браун Джон.* Чудеса // Современное слово. 1912. 5 мая.

*Бронзов А. А., проф.* Письмо в редакцию // Новое время. 1902. 28 февр.

*Бронзов А. А., проф.* Письмо в редакцию // Новое время. 1902. 6 марта.

*Бронзов А. А., проф.* Разъяснение недоразумений (письмо В. В. Розанову) // Новое время. 1902. 11 марта.

*Бронзов А. А., проф.* Знал ли Толстой Евангелие? // Колокол. 1911. 6 нояб.

*Булгаков С. Н.* Пол в человеке (фрагменты из антропологии) // Христианская мысль. 1916. № 11. С. 96–97 (то же: Булгаков С. Н. Свет невечерний. М. 1917).

*Буренин В. П.* Критические очерки // Новое время. 1888. 20 мая.

*Буренин В. П.* Ноги в перчатках, желудки, цепляющиеся за маски и проч. // Новое время. 1894. 29 июля.

*Буренин В. П.* О литературном юродстве и кликушестве // Новое время. 1895. 1 сент.

*Буренин В. П.* Критические очерки // Новое время. 1903. 25 апр.  
*Буренин В. П.* Критические очерки // Новое время. 1905. 6 мая.  
*Буренин В. П.* Критические очерки. Разговор // Новое время. 1908.  
29 февр.

*Вальман Н.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Опавшие листья. Короб 1. СПб. 1913 // Исторический вестник. 1913. № 6. С. 326–327.

*Вальман Н.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Литературные изгнанники. Т. 1. // Исторический вестник. 1913. № 11. С. 725–728. Подп.: Н. В.

*Василевский И. М.* Гнилая душа. Новая книга В. В. Розанова // Журнал журналов. 1915. № 15. С. 17–18. Подп.: Л. Фортунатов.

*Введенский А. И.* Ахиллесова пята // Московские ведомости. 1904. 21 февр. Подп.: А. Басаргин (то же в кн.: Введенский А. И. Религиозное «обновление» наших дней. Вып. 2. М. 1904).

*Введенский А. И.* Поло-пантеизм г. Розанова // Московские ведомости. 1904. 8 марта. Подп.: А. Басаргин (то же в кн.: Введенский А. И. Религиозное «обновление» наших дней. Вып. 2. М. 1904).

*Введенский А. И.* «О двуединстве добра» // Московские ведомости. 1904. 20 марта. Подп.: А. Басаргин (то же в кн.: Введенский А. И. Религиозное «обновление» наших дней. Вып. 2. М. 1904).

*Введенский А. И.* «Где выход?» // Московские ведомости. 1904. 27 марта. Подп.: А. Басаргин (то же в кн.: Введенский А. И. Религиозное «обновление» наших дней. Вып. 2. М. 1904).

*Вентцель Н. Н.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. 2-е изд. СПб. 1903 // Новое время. 1904. 14 янв. Иллюстр. прилож. С. 9. Подп.: Ю-нь.

*Вишняков П. П.* Богоборчество и христорборчество // Новый вечерний час. 1918. 9 мая. Подп.: Ник. Ставрогин.

*Войтоловский Л. Н.* Маневры В. Розанова // Мысль (Киев). 1912. 24 июня.

*Волжский (Глинка А. С.)* Мистический пантеизм В. Розанова // Новый путь. 1904. № 12. С. 28–67; Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 191–216; № 2. С. 172–192; № 3. С. 146–168.

*Волжский (Глинка А. С.)* На пути крестовом // Христианская мысль. 1916. № 12.

*Вольнский А. (Флексер А. Л.)* «Фетишизм мелочей» (В. В. Розанов) // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1916. 26, 27 янв.

*В-ский Б.* — см. Тареев М. М.

*Гаррис* — см. Каллаш М. А.

*Германов В.* Религия быта // Христианская мысль. 1916. № 10. С. 24–38.

*Гиппиус З. Н.* Вечный жид // Новый путь. 1903. № 9. С. 241–244. Подп.: Антон Крайний (то же: Гиппиус З. Н. Литературный дневник: 1899—1907. СПб. 1908. С. 148–152. Подп.: Антон Крайний).

*Гиппиус З. Н.* Влюбленность // Новый путь. 1904. № 3. С. 180–192. Подп.: А. Крайний.

*Гиппиус З. Н.* Литераторы и литература // Рус. мысль. 1912. № 5. С. 29–31.

*Гиппиус З. Н.* Задумчивый странник (О В. В. Розанове) // Окно (Париж). 1924. № 3. С. 271–336. Подп.: А. Крайний (то же: Гиппиус З. Н. Живые лица. Прага. 1925; 2-е изд. Мюнхен. 1971).

*Гиппиус З. Н.* Два завета // Возрождение (Париж). 1928. 1 апр. (то же: Вестник РХД. Париж. № 122. III–1977. С. 82–88. Подп.: А. Крайний).

*Гиппиус З. Н.* Дмитрий Мережковский. Париж. 1951.

*Глаголь Сергей* — см. Голоушев С. С.

*Глебов Н. Н.* Около проблемы пола // Журнал журналов. 1915. № 15. С. 17–18.

*Глинский Б. Б.* Рец. на кн.: Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. 2-е изд. // Исторический вестник. 1904. № 6. С. 1053–1055.

*Глинский Б. Б.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Итальянские впечатления. // Исторический вестник. 1910. № 3. С. 1116–1117. Подп.: Б. Г.

*Глинский Б. Б.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Когда начало ушло // Исторический вестник. 1911. № 1. С. 335–337. Подп.: Б. Г.

*Глинский Б. Б.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Уединенное // Исторический вестник. 1912. № 5. С. 661–662. Подп.: Б. Г.

*Г. Н.* Рец.: Розанов В. В. Опавшие листья // Киевская мысль. 1913. 27 апр.

*Говоруха-Отрок Ю. Н.* Две «великие» партии (По поводу статьи г. Розанова «О борьбе с Западом в литературной деятельности одного из славянофилов (Н. Н. Страхова)») // Московские ведомости. 1890. 15 сент. Подп.: Ю. Николаев.

*Говоруха-Отрок Ю. Н.* Нечто о Гоголе и Достоевском (По поводу статьи г. Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе Достоевского») // Московские ведомости. 1891. 26 янв. Подп.: Ю. Николаев.

*Говоруха-Отрок Ю. Н.* Еще о Гоголе. По поводу статьи г. Розанова о Гоголе // Московские ведомости. 1891. 16 февр. Подп.: Ю. Николаев.

*Говоруха-Отрок Ю. Н.* Блудные сыны. По поводу статьи г. Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе Достоевского» // Московские ведомости. 1891. 2 марта. Подп.: Ю. Николаев.

*Говоруха-Отрок Ю. Н.* Нечто о русской некультурности (По поводу статьи г. Розанова «Сумерки просвещения») // Московские ведомости. 1893. 18 февр. Подп.: Ю. Николаев.

*Говоруха-Отрок Ю. Н.* По поводу статьи г. Розанова «Открытое письмо к г. Алексею Веселовскому» // Московские ведомости. 1894. 4 янв. Подп.: Ю. Николаев.

*Говоруха-Отрок Ю. Н.* Во что верил Достоевский. «Легенда о Великом Инквизиторе Достоевского». Опыт критического комментария В. Розанова // Московские ведомости. 1894. 8 сент.; 15 сент. Подп.: Ю. Николаев.

*Голиков В.* Люди лунного света и солнечный Розанов // Неделя. 1912. 8 июля.

*Голлербах Э. Ф.* В. Розанов. Жизнь и творчество. Пгд. 1918. 50 с. (то же: Вешние воды. Янв.–апр. 1918).

*Голлербах Э. Ф.* Памяти Розанова (1856/1919) // Жизнь искусства. 1919. 27 марта.

Голлербах Э. Ф. Посмертное письмо В. В. Розанова // Вестник литературы. 1919. № 5. С. 8–9.

Голлербах Э. Ф. Завет Розанова // Жизнь искусства. 21 мая. Подп.: Э. Г.

Голлербах Э. Ф. Посмертные письма В. В. Розанова // Вестник литературы. 1919. № 6. С. 15. Подп.: Э. Г.

Голлербах Э. Ф. Из предсмертных писем В. В. Розанова // Вестник литературы. 1919. № 8. С. 13–14. Подп.: Э. Г.

Голлербах Э. Ф. О двуликом // Вестник литературы. 1919. № 8. С. 13.

Голлербах Э. Ф. Памяти А. А. Измайлова (Из переписки) // Вестник литературы. 1921. № 4–5. С. 13.

Голлербах Э. Ф. Из воспоминаний о В. В. Розанове // Новый путь (Рига). 1922. 9 февр.

Голлербах Э. Ф. Воспоминания о В. В. Розанове (к трехлетию со дня смерти) // Летопись дома литераторов. 1922. № 8–9. 25 февр. С. 3–4.

Голлербах Э. Ф. «Апокалипсис» Розанова // Новая русская книга (Берлин). 1922. № 4. С. 5–10.

Голлербах Э. Ф. Из писем В. В. Розанова // Накануне (Берлин). 1922. 14 мая. Литер. прилож. № 3. С. 1–4.

Голлербах Э. Ф. Русская философия и ее судьба // Новая русская книга (Берлин). 1922. № 5. С. 1–4.

Голлербах Э. Ф. Розанов как историк искусства и коллекционер // Среди коллекционеров. 1922. № 2. С. 36–39.

Голлербах Э. Ф. Влад. Соловьев и Розанов // сб. Стрелец. Пгд. № 3. 1922. С. 124–143.

Голлербах Э. Ф. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пгд. 1922. 110 с.

Голлербах Э. Ф. История одной полемики (Вл. Соловьев — Розанов) // Спохохи (Берлин). 1922. № 13. С. 19–28.

Голлербах Э. Ф. Последние дни Розанова (К 4-ой годовщине его кончины) // Накануне (Берлин). 1923. 1 февр. Литер. прилож. № 39. С. 5–7.

Голлербах Э. Ф. Горький и Розанов // Красная газета. 1927. 14 окт.

Голоушев С. С. Вечные споры // Утро России. 1913. 21 июня. Подп.: С. Глаголь.

Горнфельд А. Г. Последние мысли Розанова // Летопись Дома литераторов. 1922. № 8–9. С. 8.

Горус. Рец. на кн.: Розанов В. В. Опавшие листья // Новая жизнь. 1916. № 2. С. 184–186.

Гофштеттер И. А. Месть религиозно-философствующих бейлистов // Новое время. 1914. 22 янв. Подп.: Кассий.

Гофштеттер И. А. В плену философско-теологической путаницы (О Розанове, Гегеле, Шестове) // Путь (Париж). 1931. № 28. С. 87–100.

Грибовский В. М. Литературное духоборчество // Книжки «Недели». 1899. № 5. С. 183–194.

Гринякин Н. М. «Соль обуявшая» // Миссионерское обозрение. 1903. № 4. С. 1032–1040.

Гринякин Н. М. К утешению «теряющегося» новопутейского богослова // Миссионерское обозрение. 1903. № 19. С. 1251–1258.



Грифцов Б. А. Три мыслителя (Мережковский. Шестов. Розанов). М. 1910. С. 7–82.

Гроссман Л. П. Одна из подруг Достоевского // Рус. современник. 1924. № 3. С. 248–252.

Гроссман Л. П. Путь Достоевского. Л. 1924. С. 148–154.

Губер П. К. Беседа с В. В. Розановым // Рус. молва. 1913. 16 апр. Подп.: П. Арзубьев.

Губер П. К. Силуэт Розанова // Летопись Дома литераторов. 1922. № 8–9. С. 3.

Гуль Р. Б. Рец. на кн.: Голлербах Э. Письма В. В. Розанова к Э. Ф. Голлербаху // Новая русская книга (Берлин). 1923. № 1. Подп.: Р. Г.

Гуль Р. Б. Рец. на кн.: Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество // Новая русская книга (Берлин). 1923. № 5/6. С. 26–27.

Гусин В. Н. Рец. на кн.: Розанов В. В. Война 1914 г. и русское возрождение // Летопись. 1916. № 1. С. 422–424.

Гусин В. Н. Исповедь одного современника («Уединенное») // Летопись. 1916. № 2. С. 421–424. Подп.: Вяч. Полонский.

Гусман Борис. Рец. на кн.: Розанов В. В. Опавшие листья. Кор. 2 // Очарованный странник. Альманах 10. 1916. С. 15–16.

Дарский Д. С. К 50-летию со дня смерти. В. В. Розанов // Вестник РХД (Париж). № 84. IV–1969. С. 131–153.

Дарский Д. С. Розанов–человек // Вестник РХД (Париж). № 122. III–1977. С. 139–158.

Дерман А. Б. Рец. на кн.: Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову // Заветы. 1913. № 4. С. 191–194.

Дернов А. А., *прот.* Брак или разврат? По поводу статей г. Розанова о незаконных детях. Открытые призывы к бесформенному сожитию или, вернее, к половой разнузданности и сохранение святости брачного союза. СПб. 1901 (перепеч. в кн.: Розанов В. В. Семейный вопрос в России. Т. 2. С. 152–219).

Диесперов А. Рец. на кн.: Розанов В. В. Среди художников. СПб. 1914 // София. 1914. № 3. С. 101–106.

Дий Одинокий — см. Туркин Н. Е.

Добролюбов В. А. Ложь гг. Энгельгардта и В. Розанова о Н. А. Добролюбове, Н. Г. Чернышевском и духовенстве. СПб. 1902. 170 с.

Доброхотов Ан. Рец. на кн.: Розанов В. В. Опавшие листья // Северное утро (Архангельск). 1915. 1 окт. (то же: Оренбургская жизнь. 1915. 11 окт.).

Долинин (Искоз) А. С. Навозная жижица и золотые рыбки // Возрождение Севера (Архангельск). 1919. 6 июля (то же: Долинин А. С. Достоевский и другие. Л. 1889. С. 451–455).

Долинин (Искоз) А. С. Достоевский и Суслова // Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Т. II. Л. 1925. С. 253–258.

Долинин (Искоз) А. С. Вступ. ст. и прим. в кн.: Суслова А. П. Годы близости с Достоевским: Дневник — повесть — письма. М. 1928. С. 41–44 и др. (репринт: М. 1991).

Дорогин С. Новое средство против неврастении // Вестник литературы. 1911. № 3. С. 64–67.

- Дорошевич В. М.* За день. Дела Тибетские // Россия 1901. 22 июня.
- Дорошевич В. М.* За день. Нечто о пуговицах и о школе (статья известного философа г. Розанова) // Россия. 1901. 24 июня.
- Дорошевич В. М.* Богоискатели // Рус. слово. 1909. 11 нояб.
- Дроздов Н. Г., прот.* Чему верить? // Колокол. 1911. 21 апр.
- Дроздов Н. Г., прот.* Мало яности // Колокол. 1911. 14, 15 мая.
- Дроздов Н. Г., прот.* О Толстом и толстовцах // Колокол. 1911. 11 нояб.
- Дроздов Н. Г., прот.* Около полового вопроса // Странник. 1912. № 2. С. 222–230.
- Дроздов Н. Г., прот.* Всего понемногу (Об «Опавших листьях» В. В. Розанова) // Колокол. 1913. 26 апр., 27 апр. (под назв. «Опавшие листья»).
- Дубнов С. М.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Место христианства в истории // Восход. 1890. № 9. С. 38–41. Подп.: С. М.
- Д. Ш.* — см. Шестаков Д. П.
- Дюрюа.* На Олимпе недавнего прошлого. Ч. III. В. Розанов // Новый вечерний час. 1918. 22 июня.
- Е. К.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Люди лунного света // Жатва. 1912. № 1. С. 232.
- Елецкий Ал-др.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. СПб. 1914 // Новое время. 1914. 30 марта.
- Ерофеев Венедикт.* Великий Розанов глазами эксцентрика // Новая газета (Нью-Йорк). 1980. 14–20 июня (то же: Зеркала. Альманах. М. 1989. С. 32–45).
- Жирмунский В. М.* Рец. на кн.: Шкловский В. Б. Розанов // Начала. 1921. № 1. С. 216–219.
- Закржевский А. К.* Карамазовщина. Психологические параллели. Киев. 1912. С. 69–94, 139–141.
- Закржевский А. К.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Уединенное // Огни (Киев). 1912. № 29. 21 июля. С. 12–14.
- Закржевский А. К.* Религия. Психологические параллели. Киев. 1913. С. 266–301.
- Заозерский Н. А., проф.* Станный ревнитель святых семейного очага // Богословский вестник. 1902. № 11. С. 446–469.
- Заозерский Н. А., проф.* К тревожному вопросу о браке и девстве // Душеполезное чтение. 1904. № 2, 3. С. 363–365.
- Записки Религиозно-философских собраний* в Санкт-Петербурге (1902—1903 гг.). СПб. 1906 (то же: Новый путь. 1903—1904).
- Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества.* Вып. 1. СПб. 1908. С. 29–56. Вып. 2. СПб. 1909. С. 19–75. Вып. 4. СПб. 1914/1916: Доклад Совета и прения по вопросу об отношении Общества к деятельности В. В. Розанова. Стенографический отчет.
- Зельманов М. Г.* Рец. на ст.: Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского // Гражданин. 1891. № 121. Подп.: М. Южный.
- Зельманов М. Г.* По поводу панамских событий // Гражданин. 1893. № 55. Подп.: М. Южный.

*Зельманов М. Г.* К характеристике Гоголя // Гражданин. 1894. № 86. Подп.: М. Южный.

*Зеньковский В. В.* В. В. Розанов и В. Ф. Эрн // Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей. Париж. 1926 (2-е изд. Париж. 1955. С. 204–218).

*Зеньковский В. В., прот.* История русской философии. Т. 1–2. Париж. 1948—1950 (переизд.: Париж. 1989. Т. 1. С. 457–469).

*Зернов Н. М.* Русское религиозное возрождение XX века. Париж. 1974. С. 195–199.

*З-ская Н.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Опавшие листья // Женская жизнь. 1915. № 17. С. 21.

*Иванов Е. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Семейный вопрос в России // Новый путь. 1904. № 7. С. 196–202.

*Иванов Ив.* Заметки читателя. Два мирозерцания // Артист. 1894. № 43. С. 147–150.

*Иванов-Разумник (Иванов) Р. В.* В. В. Розанов // Иванов-Разумник. Творчество и критика. Пгд. 1922. С. 145–170.

*Иванов М. М.* Совсем не «особое мнение» // Новое время. 1913. 21 янв.

*Иваск Ю. П.* Розанов и о. Павел Флоренский // Вестник РХД (Париж). № 42. 1956. С. 22–26.

*Иваск Ю. П.* Вступ. ст. в кн.: Розанов В. В. Избранное. Нью-Йорк. 1956. С. 7–59 (перепеч.: Волга. 1991. № 5. С. 419–442).

*Иваск Ю. П.* Розанов о Леонтьеве // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1963. 24 нояб.

*Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев. Бонн. 1974.

*Иваск Ю. П.* Рец. на кн.: Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма. Париж. 1974 // Новый журнал (Нью-Йорк). № 135. 1975. С. 221–222.

*Иваск Ю. П.* Леонтьев и Розанов. Живы ли они еще? // Русский альманах. 1981. Париж. С. 191–204.

*Игнатов И. Н.* Муки самопрезрения // Рус. ведомости. 1915. 22 авг.

*И. Е.* О смрадном и святом. По поводу заметки г. А. Крайнего о Розанове // Новый путь. 1903. № 10. С. 173–176.

*Измайлов А. А.* Около чужих алтарей (О Розанове и его новой книге) // Рус. слово. 1909. 24 июня.

*Измайлов А. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Когда начальство ушло // Рус. слово. 1910. 5 июня.

*Измайлов А. А.* О Розанове и смертной тени христианства // Рус. слово. 1911. 22 янв.

*Измайлов А. А.* Люди лунного света (В. В. Розанов о тайне полов) // Биржевые ведомости. 1911. 24 мая.

*Измайлов А. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Люди лунного света // Рус. слово. 1911. 31 мая.

*Измайлов А. А.* Вифлеем или Голгофа? (В. В. Розанов и «неудавшееся христианство») // Новое слово. 1911. № 10. С. 34–38.

*Измайлов А. А.* «Уединенное» — новая книга В. В. Розанова // Биржевые ведомости (веч. вып.). 1912. 19 мая, 21 мая, 22 мая.

*Измайлов А. А.* В. В. Розанов (К 30-летию юбилею. 1882—1912 гг.) // Биржевые ведомости (веч. вып.). 1912. 21 нояб. Подп.: Аякс.

*Измайлов А. А.* На распахку (А. С. Суворин в переписке с В. В. Розановым) // Биржевые ведомости (веч. вып.). 1912. 21 дек. Подп.: Аякс.

*Измайлов А. А.* Что делается в литературе // Вестник литературы. 1918. № 1–2. С. 7–8.

*Измайлов А. А.* Закат ересиарха (В. В. Розанов и его «Апокалипсис») // Петроградский голос. 1918. 30 июля.

*Измайлов А. А.* Закат ересиарха († В. В. Розанов) // Творчество (Харьков). 1919. № 5–6. С. 27–30.

*Илецкий А.* Египет в издании В. Розанова // Новое время. 1916. 19 нояб. Иллюстр. прилож. С. 8–9.

*Иловыйский Д. И.* О некоторых явлениях в столичной печати // Московские ведомости. 1893. 3 марта.

*Ильин В. Н.* Стилизация и стиль. 2. Ремизов и Розанов // Возрождение (Париж). Март 1964. № 147. С. 78–99.

*Иоанн Кронштадтский.* Против г. Розанова, сотрудника газеты «Новое время» // Вече. 1908. 17 авг.

*Инфолио.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского // Новое время. 1901. 24 нояб.

*Инфолио.* От Вифлеема до Голгофы // Новое время. 1901. 28 марта.

*К. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Когда начальство ушло // Вестник Европы. 1911. № 1. С. 338–341.

*Каган Ю.* О В. В. Розанове // Ковчег (Иерусалим). 1980. С. 344–359.

*Казанцев Мих.* Не поняли // Приамурская жизнь. 1912. 8 июля.

*Казанцев М.* Болит душа // Приамурская жизнь. 1912. 12 авг.

*Каллаш М. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Уединенное // Утро России. 1912. 15 марта. Подп.: Гаррис.

*Каллаш М. А.* Уединенный (О Розанове) // Вечернее время (Париж). 1924. 13 июля. Подп.: Курдюмов М.

*Каллаш М. А.* О Розанове. Париж. 1928. 89 с. Подп.: Курдюмов М.

*Кантор М. Л.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Избранное. Нью-Йорк. 1956 // Опыты. 1957. № 8. С. 141–144.

*Кауфман А. Е.* Еще два слова о Розанове // Вестник литературы. 1921. № 6–7. С. 11–12.

*Киреев А. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Сумерки просвещения // Новое время. 1899. 24 марта. Подп.: А-тъ.

*Киреев А. А.* Параллельно В. В. Розанову // Новое время. 1900. 24 нояб. Подп.: А-тъ (то же в кн.: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. СПб. 1912).

*Киреев А. А.* Брак или сожительство (По поводу полемики о. прот. Дернова с г-ном Розановым) // Новое время. 1900. 7 дек. (то же в кн.: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. СПб. 1912).

*Киреев А. А.* Последний ответ г. Розанову по вопросу о браке // Новое время. 1900. 22 дек. (то же в кн.: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. СПб. 1912).

*Киреев А. А.* Письмо в редакцию // Новое время. 1902. 12 марта (то же в кн.: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. СПб. 1912).

*Киреев А. А.* Еще о «волнующем» вопросе (о браке, разведенных супругах) // Новое время. 1904. 13 нояб. (то же в кн.: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. СПб. 1912).

*Книжник И. С.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Темный Лик // Рус. мысль. 1912. № 12. С. 431–432.

*Кнорринг Н. Н.* Розанов и «Новое время» // Звено (Париж). 1927. № 6. С. 366–367.

*Коложский.* «Опавшие листья» В. Розанова и польский вопрос // Колокол. 1916. 9 февр.

*Колубовский Я. Н.* Философия у русских // Ибервег–Гейнце. История новой философии в сжатом изложении. СПб. 1890. С. 546–547.

*Колубовский Я. Н.* Философский ежегодник. Обзор книг, статей, заметок. Год 1–й. 1893. М. 1895. С. 134–136.

*Колубовский Я. Н.* Философский ежегодник. Обзор книг, статей, заметок. Год 2–й. 1894. М. 1896. С. 196–204.

*Кольшко И. И.* Колыбель // Гражданин. 1898. № 84, 85. Подп.: Серенький /перепеч. в кн.: Розанов В. В. Семейный вопрос в России. Т. 1. С. 108–120).

*Кольшко И. И.* Брак — как религия и жизнь // Гражданин. 1898. № 94–96, 98. Подп.: Серенький (перепеч. в кн.: Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. СПб. 1904. С. 69–96).

*Кольшко И. И.* Разгром // Петербургская газета. 1914. 30 янв. Подп.: Рославлев.

*Котельникова О. Н.* Рец. на кн.: Шкловский Виктор. В. В. Розанов. Пгд. 1922 // Мысль. 1922. № 2. С. 120–122.

*Крайний А.* — см. Гишпиус З. Н.

*Крымов В. П.* В. В. Розанов // Крымов В. П. Из кладовой писателя. Париж. 1951.

*Крымов В. П.* Хорошо жили в Петербурге. Берлин. б/г.

*Крючков Д. А.* Открытое письмо А. В. Карташеву по поводу исключения В. В. Розанова // Очарованный странник. М. 1914. С. 16–17.

*Кудрявцев П. П.* К вопросу об отношении христианства и язычества // Труды Киевской Духовной Академии. 1903. № 5. С. 30–78.

*Кудряшов М. М.* Рец. на кн.: Люди лунного света // Россия. 1911. 13 июля. Подп.: М. К.

*Курдюмов М.* — см. Каллаш М. А.

*К-ч Н.* Розанов и «Новое время» (о кн. «Из восточных мотивов») // Звено (Париж). 1927. № 6. С. 366–367.

*Лаврский Н.* Во власти пола // Приазовский край. 1911. 6 сент.

*Лазарев.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Около церковных стен // Новое время. 1906. 17 мая.

*Ларский И.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Ослабнувший фетиш // Книга. 1906. № 2. 9 нояб. С. 6. Подп.: И. Л.

*Ларский И.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Когда начальство ушло // Современный мир. 1910. № 10. отд. II. С. 162–163. Подп.: Л. И.

*Латынина А. Н.* «Во мне происходит разложение литературы» (В. В. Розанов и его место в литературной борьбе эпохи) // Вопросы литературы. 1975. № 2. С. 169–205.

*Л-в А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Когда начальство ушло // Новое время. 1910. 10 апр. Иллюстр. прилож. С. 8–9.

*Л. Евг.* — см. Ляцкий Е. А.

*Левин Д. А.* Наброски // Речь. 1912. 19 мая.

*Левин Д. А.* Наброски // Речь. 1914. 26 янв.

*Левин Д. А.* Наброски // Речь. 1914. 29 янв.

*Левин Д. А.* Нос г. Розанова и письмо г. Беренса // Речь. 1914. 5 мая.

*Левнер И., раввин.* Разоблачение «Тайн». 2-е изд. Луганск. 1913. 11 с.

*Ленин (Ульянов В. И.).* Собр. соч. Т. 19. С. 168. Т. 25. С. 172.

*Леонидов Олег. А. С.* Суворин в письмах // Голос Москвы. 1913. 23 янв.

*Лернер Н. О.* Рец. на кн.: Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов. Личность и творчество // Книга и революция. 1921. № 7. С. 61–62. Подп.: Н. Л.

*Лесовой Вад.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Итальянские впечатления // Новый журнал для всех. 1911. № 11. С. 156–157.

*Лившиц Я. Б. В. В. Розанов и Религиозно-философское общество // Речь. 1914. 28 янв. Подп.: Я. Л.*

*Лодыженский М. В.* Свет незримый. Мистическая трилогия (Том 2-й). Пгд. 1915. 2-е изд. С. 160–162.

*Локс Н.* Рец. на кн.: Шкловский Виктор. В. В. Розанов. Пгд. 1922 // Печать и революция. 1922. № 1. С. 286–287.

*Лопатин Н. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Люди лунного света // Рус. ведомости. 1911. 11 авг.

*Лопатин Н. П.* Человек душевного мрака // Утро России. 1911. 21 авг.

*Лосев А. Ф.* Гибель буржуазной культуры и ее философии // Хюбшер А. Мыслители нашего времени. М. 1962. С. 316–317.

*Лосев А. Ф.* Владимир Соловьев (серия «Мыслители прошлого»). М. 1982. С. 41–47.

*Лосев А. Ф.* В поисках смысла (В творческой мастерской) // Вопросы литературы. 1985. № 10. С. 224–225.

*Лосский Н. О.* История русской философии. М. 1991. С. 435–438.

*Лукиан* — см. Любошиц С. Б.

*Лукомский Г. К.* Три книги об искусстве Италии // Аполлон. 1909. № 3. С. 25–26.

*Луначарский А. А.* «В мире неясного, где Хаос шевелится» // Правда. 1905. № 7. С. 241–259.

*Любош С.* — см. Любошиц С. Б.

*Любошиц С. Б.* Розанову // Речь. 1913. 25 окт. Подп.: С. Любош.

*Любошиц С. Б.* «Бобок» // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1915. 16 авг. Подп.: Лукиан.

*Любошиц С. Б.* Очереди // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1915. 12 окт. Подп.: Лукиан.

*Любошиц С. Б.* Розановщина // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1916. 7 мая. Подп.: Лукиан.

*Любошиц С. Б.* Розанов или пакостник // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1916. 26 мая. Подп.: Лукиан.

*Любошиц С. Б.* В. В. Розанов — наизнанку (По поводу посвященной его памяти книги) // Вестник литературы. 1919. № 12. С. 8–9. Подп.: С. Любош.

*Лутохин Д. А.* Воспоминания о Розанове // Вестник литературы. 1921. № 4–5. С. 5–7.

*Лухманова Н. А.* Кто дал им право? // Заря. 1903. 2 апр.

*Лухманова Н. А.* Ответ г. Розанову // Заря. 1903. 11 апр.

*Львов В.* — см. Рогачевский В. Л.

*Львов-Розачевский В. Л.* — см. Рогачевский В. Л.

*Львов Л. И.* Вместо некролога Розанову («Уединенное» и «Опавшие листья») // Рус. мысль (София). 1921. № 8–9. С. 241–254.

*Лятский М.* Пушкин как друг семьи (по поводу статьи В. Розанова) // Вестник литературы. 1912. № 3. С. 67–69.

*Ляцкий Е. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Около церковных стен. Т. 1–2 // Вестник Европы. 1906. № 4. С. 783–792. № 5. С. 348–352. Подп.: Евг. Л.

*Магула Д. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Среди художников // Новое время. 1914. 6 февр.

*Максимов Д. Е.* «Новый путь» // Максимов–Евгеньев Е. Е. Максимов Д. Е. Из прошлого русской журналистики. Статьи и материалы. Л. 1930. С. 183–186 и др.

*Мамонтов О. Н.* Новые материалы к биографии М. М. Пришвина // Рус. литература. 1986. № 2. С. 175–185.

*Мандельштам Ю.* Рец. на кн.: Спасовский М. М. В. В. Розанов в последние годы своей жизни // Возрождение (Париж). 1939. 9 июля.

*Маркадэ В.* Преломление идей от Соловьева к Розанову через Дягилева // Возрождение (Париж). № 219. Март 1970. С. 76–85.

*Маркузе И. К.* По поводу старого романа // Новое время. 1905. 20 июня. Подп.: М–е.

*Маркузе И. К.* Вечный город // Новое время. 1909. 16 июля. Подп.: М–е.

*Маркузе И. К.* Правдивая душа // Новое время. 1915. 21 дек. Подп.: М–е.

*Маяковский В. В.* Письмо в редакцию // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1916. 26 авг. (то же: Маяковский В. В. Собр. соч. в 13 т. М. 1961. Т. 1. С. 369–370).

*Медведский Н.* Редактор и сотрудник // Новое время. 1913. 7 февр. М–е — см. Маркузе И. К.

*Меньшиков М. О.* Поганое в паганизме // Новое время. 1902.

*Меньшиков М. О.* О гробе и колыбели // Новое время. 1902. 20 окт.

*Меньшиков М. О.* Титан и пигмеи // Новое время. 1903. 23 марта.

*Меньшиков М. О.* Стихийное варварство // Новое время. 1913. 22 сент.

*Меньшиков М. О.* Сырые мысли // Новое время. 1914. 9 марта.



*Мережковский Д. С.* По поводу заметки В. В. Розанова «Серия недоразумений» // Новое время. 1901. 20 февр.

*Мережковский Д. С.* Л. Толстой и Достоевский. СПб. 1902. Т. 2. С. XXXIII—XXXIV.

*Мережковский Д. С.* О гигантах и пигмеях // Мир искусства. 1903. № 3. Хроника. С. 21—22.

*Мережковский Д. С.* Новый Вавилон // Новый путь. 1904. № 3. С. 171—180.

*Мережковский Д. С.* О новом религиозном действии (Открытое письмо Н. А. Бердяеву) // Вопросы жизни. 1905. № 10—11. С. 358—376 (то же: Мережковский Д. С. Собр. соч. Вольфа. Т. II. СПб. 1911. С. 149—171 (о Розанове с. 155)).

*Мережковский Д. С.* Революция и религия // Рус. мысль. 1907. № 1, 2 (то же: Мережковский Д. С. Не мир, но меч. СПб. 1908. С. 85—98, 108—110).

*Мережковский Д. С.* Мистические хулиганы // Мережковский Д. С. В тихом омуте. СПб. 1908. С. 241—255.

*Мережковский Д. С.* Национализм в религии (письмо в редакцию) // Речь. 1911. 21 сент.

*Мережковский Д. С.* Розанов // Рус. слово. 1913. 1 июня (то же: Мережковский Д. С. Было и будет. М. 1915. С. 219—236).

*Мережковский Д. С.* Как В. Розанов пил кровь // Речь. 1913. 20 нояб.

*Мережковский Д. С.* Письмо в редакцию // Речь. 1914. 26 янв.

*Мережковский Д. С.* Странное дитя // Мережковский Д. С. Было и будет. М. 1915. С. 237—253.

*Минский (Виленкин) Н. М.* О двух путях добра (Два доклада, прочитанных в Петербургских Религиозно-философских собраниях) // Северные цветы. 3-й альманах. М. 1903. С. 131—147.

*Минский (Виленкин) Н. М.* Забвенная душа (ответ В. В. Розанову) // Минский Н. М. На общественные темы. СПб. 1909. С. 240—245.

*Мирянин. О В. В. Розанове и его «религии» брака* // Рус. труд. 1899. № 25. С. 14—16. № 26. С. 10—12.

*Михаил, иером. (Семенов П. В.).* «Тревожная ночь» В. В. Розанова // Миссионерское обозрение. 1903. № 2. С. 914—925.

*Михаил, иером. (Семенов П. В.).* «Новый путь», его задачи и стремления // Миссионерское обозрение. 1903. № 3. С. 399—408.

*Михаил, иером. (Семенов П. В.).* Открытое письмо одному стороннику В. В. Розанова и его мыслей об «адогматизме христианства» // Миссионерское обозрение. 1903. № 4. С. 54—56.

*Михаил, иером. (Семенов П. В.).* Письмо в редакцию // Новый путь. 1903. № 11. С. 188—189.

*Михаил, еп. (Семенов П. В.).* Тихий кормчий // Утро России. 1912. 6 мая.

*Михайловский Н. К.* Письмо о разных разностях // Рус. ведомости. 1891. 25 июля (то же под назв.: О г. Розанове и о том, почему он отказывается от наследства // Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб. 1905. С. 278—417; Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. Т. 7. СПб. 1909. С. 368—389).

*Михайловский Н. К.* Опять об отцах и детях // Рус. мысль. 1892. № 8. С. 151–153 (то же: Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. Т. 7. СПб. 1909. С. 961–964).

*Михайловский Н. К.* Обращение Розанова к Толстому // Рус. богатство. 1895. № 10. С. 30–52 (то же: Михайловский Н. К. Отклики. Т. 1. СПб. 1901. С. 167–191; Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 179–184).

*Михайловский Н. К.* О г. Розанове // Рус. богатство. 1899. № 12. II отд. С. 150–168 (то же: Михайловский Н. К. Последние соч. СПб. 1905. Т. 1. С. 194–214).

*Михайловский Н. К.* О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философической порнографии // Рус. богатство. 1902. № 8. Отд. II. С. 76–99 (то же: Михайловский Н. К. Последние соч. Т. 2. СПб. 1905. С. 226–252).

*М. Н.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Люди лунного света // Минское слово. 1911. 6 нояб.

*Мокиевский П. В.* Обнаженный нововременец (В. Розанов) // Рус. записки. 1915. № 9. С. 304–316.

*Морковин Вадим.* Приспешники царя Асыки // Československá Rusistiká. XIV. 1969. № 4. С. 178–186.

*Мочульский К. В.* Заметки о Розанове // Звено (Париж). 1928. № 4. С. 203–208 (перепеч.: Рус. речь. 1992. № 5. С. 31–38).

*М. Тр.* Рец. на кн.: Религия и культура // Восход. 1899. № 5. С. 32–36.

*Муратов П. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Итальянские впечатления // Рус. мысль. 1909. № 6. Отд. II. С. 158–159.

*Мурахина Л. А.* Из личных впечатлений // Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов. Личность и творчество. Пгд. 1918. С. 48–50.

*Муханов М.* Интересный вопрос // СПб. ведомости. 1899. 19 янв.

*Мышцын В. Н.* Отечественное освободительное движение и интересы церкви. Об автономии церкви и государства (В. В. Розанову). По поводу Высочайшего указа 17 авг. // Богословский вестник. 1905. № 5. С. 195–206.

*Набоков В. Д.* Неожиданная исповедь // Речь. 1913. 20 нояб.

*Н. В.* — см. Вальман Н.

*Н. В. Т.* Общественность и царская власть (По «Опавшим листьям» В. Розанова) // Московские ведомости. 1916. 12 янв.

*Никитин С. В.* В. Розанов — Д. С. Мережковский // Петербургская газета. 1914. 29 янв.

*Николаев П.* Вопросы жизни в современной литературе. М. 1902. С. 93–95 и др.

*Николаев Ю.* — см. Говоруха-Отрок Ю. Н.

*Никон, еп. Вологодский и Тотемский.* За Божьи дни (открытое письмо В. В. Розанову) // Новое время. 1909. 22 марта.

*Новиков А. М.* Нигилизм и нигилисты. Л. 1972. С. 170–177.

*Н-ский.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Ослабнувший фетиш (Психологические основы русской революции). СПб. 1906 // Мир Божий. 1906. № 7. С. 106–107.

Обольянинов В. В. В. В. Розанов — преподаватель в Бельской прогимназии (письмо в редакцию) // Новый журнал (Нью-Йорк). № 71. 1963. С. 267—269.

*Огонек* — см. Саяпин М. С.

*Ожигов Ал.* — см. Апешов Н. П.

*Орнатский Ф. С., проф.* Письмо в редакцию «Нового пути» // Новый путь. 1903. № 12. С. 217—219.

*Пахмусс Темира.* Зинаида Гиппиус: «Эпоха «Мира искусств» // Возрождение (Париж). № 89. 1959. С. 118—124.

*П-въ П.* — см. Перцов П. П.

*Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым.* 1870—1894 // Толстовский музей. Т. 2. СПб. 1914.

*Перцов П. П.* Эквилибристика В. В. Розанова // Рус. труд. 1899. № 43. С. 5—7.

*Перцов П. П.* Защита Петербурга // Перцов П. П. Первый сборник. 1898—1901. СПб. 1902. С. 3—13.

*Перцов П. П.* Литературные письма. Между старым и новым // Новое время. 1911. 23 июля.

*Перцов П. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. О подразумеваемом смысле нашей монархии // Новое время. 1913. 16 марта. Иллюстр. прилож. С. 10—11.

*Перцов П. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Опавшие листья. Кор. 1 // Новое время. 1913. 24 апр. Подп.: П. П-въ.

*Перцов П. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Среди художников // Новое время. 1913. 13 нояб.

*Перцов П. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Война 1914 года и русское возрождение // Новое время. 1914. 27 нояб.

*Перцов П. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Опавшие листья. Кор. 2 // Новое время. 1915. 31 окт. Иллюстр. прилож. С. 9—10. Подп.: П. П-въ.

*Перцов П. П.* Литературные воспоминания. 1890—1902. М.—Л. 1933.

*Петров Г. С., свящ.* Около стен церковных // Рус. слово. 1905. 30 нояб., 3 дек.

*Петров Г. С., свящ.* Благородное слово // Рус. слово. 1906. 15 янв.

*Петроковский А.* Литературные наброски. Рец. на кн.: Розанов В. В. Опавшие листья. Кор. 2 // Кавказ (Тифлис). 1915. 10 сент.

*Петропавловский С. Н.* Совлеченные покровы // Одесский листок. 1911. 18 июня (то же: Литовская Русь. 1912. 21 июня).

*Пешехонов А. В.* Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник // Рус. ведомости. 1910. 2 дек.

*Пешехонов А. В.* Вместо ответа г. Розанову // Рус. ведомости. 1910. 17 дек.

*Пешехонов А. В.* Теория г. Маклакова и практика г. Мережковского // Рус. богатство. 1914. № 3. С. 285—290.

*Пильский П. М.* В. В. Розанов // Пильский П. М. Затуманившийся мир. Рига. 1929. С. 99—108.

- П. Н. Черный бред* // Современное слово. 1910. 9 сент.
- Погожев Е. Н.* — см. Поселянин Е.
- Погосский В.* Рец. на кн.: Розанов В. В. О подразумеваемом смысле нашей монархии // Утро России. 1912. 4 мая.
- Попов Д., свящ.* «И не нужно» // Вера и разум. 1909. № 7. С. 216—224.
- Поселянин Е. (Погожев Е. Н.)* Религиозная эволюция г. Розанова (По поводу книги «Уединенное») // Новое время. 1912. 7 нояб.
- Поссе В. А. В. В. Розанов* // Журнал для всех. 1916. № 10—11. С. 1243—1252.
- Пришвин М. М.* По градам и весям. В законе Отчем // Заветы. 1913. № 3. Отд. II. С. 57—64.
- Пришвин М. М.* Собр. соч. в 8 тт. М. 1982—1986. Т. 1, 2, 8.
- Пришвина В. Д.* Путь к Слову. М. 1984. С. 176—178 и др.
- Протопопов М. А.* По поводу одной книги // Рус. богатство. 1895. № 3. С. 154—164.
- Протопопов М. А.* Писатель—головотяп // Рус. мысль. 1899. № 8. С. 155—171.
- П. С. Христос и пепельная мгла* (По поводу статьи В. В. Розанова «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира») // Богословский вестник. 1908. № 5. С. 83—91.
- Пяст В. (Пестовский В. А.)*. Встречи. М. 1929. С. 26—27, 58, 108—109 и др.
- Раевский К.* Упадок общественной мысли // Новая земля. 1910. № 2. С. 2—3.
- Разиньков В. Л.* Книга о семье // Новое время. 1903. 28 нояб. Подп.: В. Лаз-евъ.
- Р. Г.* — см. Гуль Р. Б.
- Редько А. М., проф.* Литературно—художественные искания в конце XIX — начале XX вв. М.—Л. 1924. С. 194—196, 198.
- Ремезов А. В.* Несколько слов о новой книге по сектоведению. Рец. на кн.: Розанов В. В. Апокалиптическая секта. Хлысты и скопцы // Богословский вестник. 1914. № 5. С. 181—192.
- Ремезов А. М.* Кукха. Розановы письма // Окно (Париж). 1923. № 2. С. 121—193 (то же: Отд. изд. Берлин. 1923 (репринт: Париж. 1978)).
- Ремезов А. М.* «Воистину» (Памяти В. В. Розанова к 70-й годовщине со дня рождения) // Версты (Париж). 1926. № 1. С. 82—86.
- Ремезов А. М.* В розовом блеске. Нью-Йорк. 1952.
- Ремезов А. М.* Встречи. Петербургский буерак. Париж. 1981. С. 64—67, 105—114 и др.
- Ренников А.* — см. Селитренников А. М.
- Рогачевский В. Л.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Итальянские впечатления // Современный мир. 1909. № 8. С. 155—156. Подп.: В. Львов.
- Рогачевский В. Л.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Уединенное // Современный мир. 1912. № 9. Отд. II. С. 336—337. Подп.: В. Л. Р.
- Рогачевский В. Л.* В своем доме (А. С. Суворин) // Современный мир. 1912. № 9. С. 313—330. Подп.: В. Львов—Рогачевский.

*Рождествен А. свяц.* Розанов о христианстве и декадентстве // Казанский телеграф. 1904. 1 окт. С. 5–10.

*Розанова Т. В.* Воспоминания об отце В. В. Розанове и всей семье // Новый журнал (Нью-Йорк). № 121. 1975. С. 164–177. № 124. 1976. С. 219–235 (другой вариант: Рус. литература. 1989. № 3, 4).

*Романов И. Ф.* Заметки на полях и размышления между строк // Гражданин. 1893. № 171, 186, 187. Подп.: Вл. Заточников.

*Романов И. Ф.* Ad hominem // Рус. труд. 1899. № 29, 30. Подп.: Гатчинский отшельник (то же: О сущности брака. М. 1901. С. 105–114).

*Романов И. Ф.* Записки на полях. Рец. на кн.: Розанов В. В. Около церковных стен. Т. 1. СПб. 1906 // Слово. 1906. 6 февр. Лит. прилож. № 1. С. 2–3. Подп.: Рцы.

*Рославлев* — см. Кольшко И. И.

*Россиянин П. Э.* Каинство (Письмо к В. В. Розанову) // Украинская жизнь. 1914. № 4. С. 31–37.

*Россос С.* Новый вероучитель // Вера и разум. 1909. № 3. С. 323–327.

*Русов Н. Н.* О нищем, безумном и боговдохновенном искусстве. М. 1910.

*Русов Н. Н.* Золотое счастье. Роман. М. 1916. С. 46–54.

*Русов Н. Н.* Об интеллигенции без кавычек // Мир. 1918. 4 окт.

*Русов Н. Н.* Словарь русских мыслителей // Вестник литературы. 1922. № 1. С. 17.

*Русов Н. Н.* Розанов и Достоевский // Накануне (Берлин). 1922. 16 июля. Лит. прилож. № 81. С. 8–10.

*Рцы* — см. Романов И. Ф.

*С.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Среди художников // День. 1913. 2 дек.

*Савинич Б.* Национализм и славянофилы (К новой книге В. В. Розанова) // Утро России. 1915. 1 янв.

*Саддукей.* Циник // Московская газета. 1913. 3 янв.

*Садовской Б. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Ослабнувший фетиш // Золотое руно. 1906. № 10. С. 93.

*Садовской Б. А.* Заметки // Новый журнал (Нью-Йорк). № 133. 1978. С. 142–143.

*Саяпин М. С.* «Черная немощь» // Каспий. 1912. 17 марта. Подп.: Огонек.

*С. В.* Портретная галерея. В. В. Розанов // Синий журнал. 1915. № 37. С. 10–11.

*Свенцицкий В. П.* В защиту максимализма Бранда // Живая жизнь. 1907. № 2. С. 11–19.

*Свенцицкий В. П.* Христианство и половой вопрос (По поводу книги В. Розанова «Люди лунного света») // Новая земля. 1912. № 3–4. С. 9–11.

*Северак Ж. Б.* Антихристианство г. Розанова // Вестник знания. 1908. № 6. С. 835–842.

*Селивачев А.* Психология юдофильства // Рус. мысль. 1917. № 2. Отд. II. С. 46–94.

*Селитренников А. М.* Амстердамская община // Новое время. 1914. 24 янв. Подп.: А. Ренников.

*Селитренников А. М.* «Опавшие листья» // Новое время. 1915. 10 окт. Подп.: А. Ренников (то же: Вешние воды. 1915. Т. XI–XII. Кн. II–III).

*Селитренников А. М.* В. В. Розанов в частной жизни // Селитренников А. М. Минувшие дни. Нью-Йорк. 1954. 351 с. Подп.: А. Ренников.  
*Серенский* — см. Колышко И. И.

*Сер-вз.* Национальное призвание России // Рус. речь. 1915. 8 авг.

*Сильченков К. Н.* Из современных газетных толков о христианском браке (По поводу статьи В. Розанова в «Новом времени») // Вера и разум. 1899. № 22. С. 651–666 (перепеч. в кн.: Розанов В. В. Семейный вопрос в России. Т. 1. С. 149–169).

*Сильченков К. Н.* В темных религиозных лучах. Харьков. 1912. 10 с. Подп.: К. С-овъ.

*Синяевский А. Д.* «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж. 1982. 327 с.

*Скалдин А. Д.* Затемненный лик (По поводу книги В. В. Розанова «Метафизика христианства») // Труды и дни. 1913. № 1–2. С. 89–110.

*Скворцов В. М.* Прогрессивная нетерпимость // Колокол. 1914. 19 янв.

*Скворцов В. М.* Правдолюбивый писатель // Колокол. 1916. 16 дек.

*Слонимский Л. З.* Рец. на кн.: Розанов В. В. О понимании // Вестник Европы. 1886. № 10. С. 850–857. Подп.: Л. С.

*Слонимский Л. З.* О свободе полемики // Вестник Европы. 1910. № 6. С. 285–291.

*Сменцовский М. Н.* Христианский аскетизм и ложные суждения о нем // Церковные ведомости. 1898. 17 янв. № 3 (перепеч. в кн.: Розанов В. В. Семейный вопрос в России. Т. 1. С. 135–150).

*Сменцовский М. Н.* Христианский брак // Прибавление к Церковным ведомостям. 1900. № 49. С. 2014–2022 (перепеч. в кн.: Розанов В. В. Семейный вопрос в России. Т. 1. С. 135–151).

*Смирнов А. А.* О последней книге Розанова (рец. на кн.: Розанов В. В. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови) // Рус. мысль. 1914. № 4. С. 44–47.

*Смирнов К. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Темный Лик // Витебский вестник. 1912. 25 авг., 7 сент.

*Снесарев Н.* Мираж «Нового времени». Почти роман. СПб. 1914.

*Соловьев В. С.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Место христианства в истории // Рус. обозрение. 1890. № 9. С. 475–476 (с авт. дополн.: Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пгд. 1922. С. 28–29).

*Соловьев В. С.* Порфирий Головлев о свободе и вере. Заметка // Вестник Европы. 1894. № 2. С. 906–916 (то же: Соловьев В. С. Соч. в 2 т. М. 1988. Т. II. С. 497–508).

*Соловьев В. С.* Спор о справедливости // Вестник Европы. 1894. № 4. С. 785–797.

*Соловьев В. С.* Конец спора // Вестник Европы. 1894. № 7. С. 286–312.

*Соловьев В. С.* Особое чествование Пушкина. Письмо в редакцию // Вестник Европы. 1899. № 7. С. 432–440.

*Соловьев В. С.* По поводу статьи г. Розанова «Мысли о браке» // Гражданин. 1900. № 2. С. 6–9.

*Соловьев Е. А.* Рец.: Розанов В. В. Литературные очерки. Сумерки просвещения. Заметка о Пушкине // Жизнь. 1899. № 9. С. 295–301. Подп.: Андреевич.

*Соловьев Л. З.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Темный Лик // Новое время. 1912. 14 февр. Подп.: Эль-Эсть.

*Сонин Ев.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Опавшие листья. Кор. 2 // Приазовский край. 1915. 31 авг.

*Спасовский М. М.* О мертвых душах российских времен // Двухглавый орел. 1929. № 7.

*Спасовский М. М.* В. В. Розанов о церкви // Двухглавый орел. 1929. № 8.

*Спасовский М. М.* Розанов в последние годы своей жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. Берлин. 1939. 83 с. (2-е изд.: Нью-Йорк. 1968. 172 с.).

*Спасовский М. М.* В. В. Розанов — личность и творчество // Возрождение (Париж). 1960. № 108. С. 40–53.

*Ставрогин Ник.* — см. Вишняков П. П.

*Стародум Н. Я.* — см. Стечкин Н. Я.

*Стечкин Н. Я.* Журнальное обозрение («Новый путь», июль–октябрь 1903 года) // Рус. вестник. 1903. № 11. С. 337–366. Подп.: Н. Я. Стародум.

*Стечкин Н. Я.* Журнальное обозрение // Рус. вестник. 1904. № 1. С. 363–370.

*Стечкин Н. Я.* Журнальное обозрение («Весы» — январь, февраль 1904 г.) // Рус. вестник. 1904. № 3. С. 351–356. Подп.: Н. Я. Стародум.

*Стечкин Н. Я.* Журнальное обозрение (Новые религиозно–философские ереси, излагаемые в журнале «Новый путь») // Рус. вестник. 1904. № 4. С. 734–754. Подп.: Н. Я. Стародум.

*Стечкин Н. Я.* Журнальное обозрение (Еще о г. Розанове на «Новом пути») // Рус. вестник. 1904. № 9. С. 369–372. Подп.: Н. Я. Стародум.

*Столыпин А. А.* Заметки // Новое время. 1911. 25 мая. Подп.: А. С–нъ.

*Столыпин А. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Уединенное // Новое время. 1912. 16 мая.

*Столыпин А. А.* Апофеоз В. В. Розанова // Новое время. 1914. 29 янв.

*Страхов Н. Н.* Рец. на кн.: Розанов В. В. О понимании // Журнал Министерства народного просвещения. 1889. № 9. Библиогр. отд. С. 124–131 (то же: Страхов Н. Н. Философские очерки. СПб. 1895. С. 468–476).

*Страхов Н. Н.* Рец. на кн.: Розанов В. В. О месте христианства в истории // Новое время. 1890. 14 марта. 14 марта. Подп.: Н.

*Страхов Н. Н.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского // Новое время. 1894. 25 нояб. Подп.: Старый книголюб (то же: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 3. СПб. 1896. С. 285–294).

*Струве Н. А.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Религия и культура. Париж. 1979 // Вестник РХД. № 130. 1979. С. 177–180.

*Струве П. Б.* Романтика против казенщины (В. В. Розанов. Сумерки просвещения) // Начало. 1899. № 3. Отд. II. С. 177–191 (то же: Струве П. Б. На разные темы (1893–1901). Сб. статей. СПб. 1902. С. 203–220).



*Струве П. Б.* Большой писатель с органическим пороком (Несколько слов о В. В. Розанове) // Рус. мысль. 1910. № 11. отд. II. С. 138–146 (то же: Струве П. Б. *Patriotica*. Политика, культура, религия, социализм. Сб. статей (1905—1910). СПб. 1911. С. 492–505).

*Суханов Н. (Гиммер Н. Н.)*. Рабочее движение и В. Розанов // Современник. 1914. № 5. С. 73–78.

*Сущность брака*. Обмен мыслей между Н. П. Аксаковым, Мирянином, В. В. Розановым, Рцы (И. Ф. Романовым), протоиереем Александром У-ским и С. Ф. Шараповым, с приложением статьи свящ. М. И. Спасского. Изд. С. Ф. Шарапова. М. 1901. 199 с.

*Сэр Пич Бренди* — см. Трозинер Ф. В.

*Тардов В. Г.* О «возрождении» России // Утро России. 1914. 14 дек. Подп.: Т. Ардов.

*Тареев М. М., проф.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Около церковных стен // Богословский вестник. 1905. № 11. С. 543–547.

*Тареев М. М., проф.* Христианство и религия В. В. Розанова // Богословский вестник. 1907. № 12. С. 627–665 (то же: Тареев М. М. Основы христианства. Т. 4: Христианская свобода. Сергиев Посад. 1908. С. 395–421).

*Тареев М. М.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Темный лик // Исторический вестник. 191. № 11. С. 782–787. Подп.: Б. В-ский.

*Тестов Ив.* Сказочные люди. Рец. на кн.: Розанов В. В. Л. Толстой и русская церковь // Пермские ведомости. 1911. 27 нояб.

*Тиняков А. И.* «Наименее рожденный». В. В. Розанов. Опавшие листья // Петроградский курьер. 1915. 1 окт.

*Тиун* — см. Бояновский В. Ф.

*Тихомиров Л. А.* Существует ли свобода? // Рус. обозрение. 1894. № 4. С. 29.

*Тихомиров Л. А.* В чем ошибка г. В. Розанова // Рус. обозрение. 1894. № 9. С. 397–411.

*Тихомиров М., прот.* Рец. на ст.: Розанов В. В. По тихим обителям // Новгородские епархиальные ведомости. 1906. № 92. С. 931–935.

*Тихомиров П. В.* К истолкованию Исх. XX, 14 (против В. В. Розанова) // Богословский вестник. 1904. № 12. С. 759–780.

*Тихомиров П. В.* Несколько замечаний по поводу предыдущей статьи // Богословский вестник. 1905. № 3. С. 518–541.

*Торе Гам.* Отблески дня // Русская Ривьера (Ялта). 1913. 10 нояб.

*Трозинер Ф. В.* Из пестрых впечатлений // Петербургская газета. 1913. 13 февр. Подп.: Сэр Пич Бренди.

*Трозинер Ф. В.* Странная литература // Петербургская газета. 1913. 14 мая. Подп.: Whist.

*Троцкий Л. Д. (Бронштейн Л. Д.)*. Мистицизм и канонизация Розанова // Петроградская правда. 1922. 21 сент. (то же: Троцкий Л. Д. Литература и революция. М. 1990. С. 46–48).

*Трубецкой С. Н.* Чувствительный и хладнокровный // Рус. мысль. 1896. № 9. С. 125–133. Подп.: Т. (то же: Трубецкой С. Н. Собр. соч. М. 1907. Т. 1. С. 251–261).

*Туркин Н. Е.* Из записной книжки // Московский листок. 1912. 9 июня, 18 июня. Подп.: Дий Одинокий.

*Тэффи (Лохвицкая Н. А.).* Распутин // Тэффи. Воспоминания. Париж. 1932 (то же: Тэффи. Жилье—былье. М. 1990. С. 417—443).

*Устьинский А. П., прот.* О В. В. Розанове и его религии брака // Рус. труд. 1898. № 24—25. Подп.: А. У—ский.

*Устьинский А. П., прот.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Религия и культура // Новое время. 1899. 12 мая. Иллюстр. прилож. С. 7. Подп.: А. У—ский.

*Устьинский А. П., прот.* Из отзывов о В. В. Розанове // Вешние воды. 1916. Кн. XVI—XVII. С. 47.

*Утопист.* Философ, завязший ногой в своей душе // Петроградская газета. 1913. 19 мая.

*Федотов Г. П.* В. Розанов: Опавшие листья // Числа (Париж). 1930. № 1. С. 222—225 (то же: Федотов Г. П. Полн. собр. статей. Т 1: Лицо России (1918—1930). Париж. 1967. С. 300—304).

*Феодор, еп. (Поздеевский).* Из чтений по пастырскому богословию (Аскетика). Сергиев Посад. 1912. С. 9—15.

*Ферт.* Из обывательских разговоров // Харьковские ведомости. 1914. 15 мая.

*Филевский И. И., свящ.* Скорбь моего сердца // Новый путь. 1903. № 4. С. 121—134.

*Филевский И. И., свящ.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Около церковных стен // Церковная газета. 1906. 5 марта. С. 14—15. № 7. 12 марта. С. 12.

*Филевский И. И., свящ.* О борьбе с порнографией // Церковный вестник. 1912. 26 апр.

*Философов Д. В.* Серьезный разговор с нитчеанцами (ответ Вл. Соловьеву) // Мир искусства. 1900. № 16. С. 25—28.

*Философов Д. В.* Рец. на кн.: Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного // Мир искусства. 1901. № 5. Худ. хроника. С. 285—286.

*Философов Д. В.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Около церковных стен // Философов Д. В. Слова и жизнь. Литературные споры новейшего времени (1901—1908). СПб. 1909. С. 148—161.

*Философов Д. В.* Тайнопись Розанова // Речь. 1911. 13 дек.

*Философов Д. В.* Мимоходом // Речь. 1916. 20 февр.

*Флейшман Л. С.* Рец. на кн.: Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма // Славика Хиеросолимитана. Т. 1. 1977.

*Флоровский Г. В., прот.* Пути русского богословия. Париж. 1937. С. 459—464 и др.

*Фортунатов Л.* Гнилая душа // Журнал журналов. 1915. № 15. С. 1—3.

*Харджиев Н.* К истории одной неизданной книги В. В. Розанова // Recherche slavistique. N. 27—28. Рр. 241—243.

*Хмельницкая Т. Ю.* Творчество М. М. Пришвина. Л. 1959. С. 107—110.

*Хмурый.* Хвостов и Парменych // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1913. 5 февр.

*Ховин В. Р.* Розанов умер // Книжный угол. № 6. 1919. С. 4—6.

*Ховин В. Р.* На одну тему (Не угодно ли—с? Розанов и Маяковский). Пбг. 1921. С. 3—80.

*Ходасевич В. Ф.* Рец. на кн.: Гиппиус З. Н. Живые лица. Прага. 1925 // Современные записки (Париж). 1925. № 26. С. 535—541 (перепеч. в кн.: Ходасевич В. Ф. Коллеблюмый треножник. М. 1991. С. 524—529).

*Христианин.* Неотложная нужда // Церковно-общественная жизнь. 1905. 10 нояб. № 47. С. 1549—1550.

*Цветаева А. И.* Воспоминания. М. 1984. С. 514—516, 543, 546—552, 571—572.

*Чернохлебов И. В. В.* Розанов и война // Голос жизни. 1915. № 16. С. 8—10.

*Чешихин В. Е.* Книга отчаяния // Рус. иллюстрация. 1915. № 32. 13 сент. Подп.: Ч. Ветринский.

*Чешихин В. Е.* Свой бог Розанова // сб. Утренники. Пгд. Кн. 1. 1922. С. 77—79. Подп.: В. Чешихин—Ветринский.

*Чуйко В. В.* Журнальное обозрение // Одесский листок. 1893. 23 июня.

*Чуйко В. В.* Журнальное обозрение // Одесский листок. 1894. 29 марта.

*Чуйко В. В.* Журнальное обозрение // Одесский листок. 1895. 5 сент.

*Чуковский К. И. (Корнейчуков Н. В.).* Прохожий и революция. Рец. на кн.: Розанов В. В. Ослабнувший фетиш // Свобода и жизнь. 1906. 16 окт.

*Чуковский К.* Открытое письмо В. Розанову // Речь. 1910. 24 окт (то же: Чуковский К. Критические рассказы. Кн. 1. СПб. 1911; Чуковский К. Книга о современных писателях. СПб. 1914. С. 168—180).

*Чуковский К.* Розанов и Уот Уитмен // Петроградское эхо. 1918. 29 марта.

*Чуковский К.* Уот Уитмен. 3-е изд. 1918. Пгд. С. 60—63.

*Шарапов С. Ф. В. В.* Розанов и его книга «О понимании» // Рус. труд. 1898. № 38. 19 сент. С. 16.

*Шарапов С. Ф.* Василий Васильевич Розанов // Рус. труд. 1899. № 42. С. 5—8. № 43. С. 3—5.

*Шарапов В. Ф.* По душе. гл. СПб: Несколько слов моим оппонентам по вопросу о браке // Рус. труд. 1899. № 34. С. 13—17.

*Шарапов С. Ф.* Жмеринские львы и буйствующий В. В. Розанов. Поход против него протоиерея Дернова и генерала Киреева // Сугробы. 1901. Вып. 4 (Т. II). С. 14—21.

*Шарапов С. Ф.* Письмо к В. В. Розанову // Свидетель. 1910. № 33. С. 35—39.

*Шевелев А. А.* Открытое письмо В. В. Розанову // Москва. 1900. 25 янв.

*Шестаков Д. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Сумерки просвещения. Религия и культура // Торгово-промышленная газета. Литер. прилож. 1899. 16 мая. № 8. С. 4.

*Шестаков Д. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Литературные очерки // Торгово-промышленная газета. Литер. прилож. 1899. 6 июня. № 12. С. 4.

*Шестаков Д. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Природа и история // Мир искусства. 1899. № 23—24. Худож. хроника. С. 233—234. Подп.: Д. III.

*Шестаков Д. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного // Мир искусства. 1901. № 5. Худож. хроника. С. 284–285.

*Шестаков Д. П.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Литературные очерки // Новое время. 1900. 5 янв. Иллюстр. прилож. С. 13. Подп.: Д. Ш.

*Шестаков Д. П.* Мертвые языки // Мир искусства. 1903. № 9. С. 134–136. Подп.: Д. Ш.

*Шестов Л. (Шварцман Л. И.).* В. В. Розанов // Путь. 1930. № 22. С. 197–203 (перепеч.: Рус. литература. 1991. № 3. С. 47–51).

*Шилейко Вл.* «Иудейская тайнопись» // Речь. 1911. 15 дек.

*Шкловский В. Б.* Розанов // Шкловский В. Б. Сюжет как развитие стиля. Пгд. 1921 (отд. оттиск: Розанов. Пгд. 1922. 56 с. (перепеч. в кн.: Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М. 1990. С. 120–139).

*Шкловский В. Б.* Новый Горький // Россия. 1924. № 2(11). С. 192–206.

*Шперк Ф. Э.* В. В. Розанов. Опыт характеристики // Гражданин. 1893. № 313.

*Шперк Ф. Э.* О характере (к вопросу о творческой психике) гоголевского творчества // Школьное обозрение. 1894. № 14–16. 3–17 апр. С. 1.

*Шперк Ф. Э.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Красота в природе и ее смысл // Новое время. 1897. 8 янв. Иллюстр. прилож. С. 7–8. Подп.: Ф. Ш.

*Штаммлер Андрей В. В.* В. В. Розанов // Русская религиозно-философская мысль XX века. Питтсбург. 1975. С. 306–316.

*Щукин С., священник.* О печали Христа // Московский еженедельник. 1908. № 36. С. 9–23. № 37. С. 24–33 (то же: Щукин С., священник. Около Церкви. М. 1913).

*Энгельгардт А. Н.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского // Исторический вестник. 1902. С. 702–705. Подп.: –дт.

*Южный М.* — см. Зельманов М. Г.

*Ю-нъ* — см. Вентцель Н. Н.

*Юшкевич П. С.* Рец. на кн.: Розанов В. В. Люди лунного света // Одесские новости. 1911. 16 авг.

*Яблоновский А. А.* Родные картинки // Современный мир. 1910. № 1. С. 77.

*Яблоновский А. А.* Голые люди // Речь. 1913. 12 мая (то же: Современное слово. 1913. 12 мая).

*Я. Л.* — см. Лившиц Я. Б.

*Whist* — см. Трозинер Ф. В.

## II. Литература на иностранных языках

*Arseniew N.* Die russische Literatur der Neuzeit und Gegenwart. Mainz. 1929. S. 226–240.

*Balaev, Victor.* L'évolution religieuse de Rozanov et son fondement onthologique // Le Messa et Orthodoxe. 1969. Vol. 45.

*Banerjee, Maria.* Rozanov on Dostoevskij // The Slavic and East European Journal. 1971. Vol. XV. No. 4, pp. 411–424.

*Billington, J. H.* The Icon and the Axe. New York. 1967, pp. 496–497, 508–509.

*Cournos, John.* V. V. Rozanov — A Balaam of Our Times // Reflex. New York. 1928. Vol. 2. No. 3.

*Crone, A. L.* Rozanov and the End of Literature: Polyphony and the Dissolution of Genre in *Solitaria* and *Fallen Leaves*. Würzburg. 1978. 146 pp.

*Crone, A. L.* Nietzschean, All Too Nietzschean? Rozanov's Antichristian Critique // Nietzsche in Russia. Princeton University Press. 1986, pp. 95–112.

*Czapsky, József.* O wyborsze pism Rozanowa // Kultura. 1959. XII. N. 12, pp. 121–128.

*Czapsky, József.* Préface // V. Rozanov. La face sombre du Christ. Paris. 1964, pp. 7–69.

*Dahm, H.* Grundzüge russischen Denkens. Persönlichkeit und Zeugnisse des 19. und 20. Jahrhunderts. München. 1979, S. 161–214.

*Danzas, J.* Un penseur russe: Vassili Rozanov // Russie et Chrétienté. 1935. Vol. 11.

*Eliasberg, Alexander.* Bildergalerie zur russischen Literatur. München. 1925, S. 153–154.

*Emerson G. C.* Rozanov and the End of Literature // Russian Review. Stanford. 1979. Vol. 38. No. 4, pp. 513–514.

*Fischel, Jindřich.* V. V. Rozanov // Československa Rusistiká. 1968. No. 3, s. 167–174.

*Four Faces of Rozanov.* New York. 1978.

*Gerstein, Linda.* Nikolaj Strakhov. Harvard University Press. 1971. pp. 205–209.

*Gollerbach, E.* V. V. Rozanov: A Critico-Biographical Study // V. V. Rozanov. Solitaria. London. 1927.

*Hare, R.* V. V. Rozanov: A Centenary Appreciation // Slavonic and East European Review. London. 1956. Vol. 35. No. 84.

*Hare, Richard.* Portraits of Russian Personalities Between Reform and Revolution. London. 1959.

*Hingley, R.* Russian Writers and Society: 1825–1904. London. 1967.

*Ivask, G.* Рец. на кн.: Crone A. L. Rozanov and the End of Literature. Würzburg. 1978 // The Slavic and East European Journal. 1961. Vol. V (XIV). No. 2, pp. 110–122.

*Ivask, G.* Afterword // V. V. Rozanov. The Apocalypse of Our Time and Other Writings. New York. 1977.

*Jackson, Robert Louis.* Two Views of Gogol' and the Critical Synthesis: Belinskij, Rozanov and Dostoevskij — An Essay in Literary-Historical Criticism // Russian Literature. 1984. Vol. XV. No. 2, pp. 223–242.

*Kaulbach, Zoreslava.* The Life and Work of V. V. Rozanov. Ph. D. Diss. Cornell University. 1973.

*Krug P. W. W.* Rozanov an het christendom // De Vlaamse Gids. Nr. 51.

*Larvin Janko.* Sex and Eros // Larvin, J. Aspects of Modernism. From Wilde to Pirandello. London. 1936, pp. 141–152.

*Lawrence, D. H.* On Dostoevsky and Rozanov // Russian Literature and Modern English Fiction. Chicago & London. 1965, pp. 99–103.

*Lawrence, D. H.* Selected Literary Criticism. London. 1955.

*Lescovec, Paolo.* Basilio Rozanov e la sua concezione religiosa // Orientalia Christiana Analecta. N. 151. Roma. 1958.

*Maceina, A.* Der Gross-Inquisitor. Geschichte philosophische Deutung der Legende Dostojewskijs. Heidelberg. 1962.

*Michaut, Jacques.* Avant-Propos // V. Rozanov. L'Apocalypse de notre temps. 1976, pp. 7–33.

*Mirsky, D.* History of Russian Literature. New York. 1949.

*Pachmuss, Temira.* Zinaida Hippus: An Intellectual Profile. London & Carbondale. 1971.

*Pachmuss, Temira.* Women Writers in Russian Modernism. University of Illinois Press. 1976.

*Pascaluta, O.* Rozanov's *Solitaria*: A Stylistic Investigation. Diss. Toronto. 1980.

*Payne, Robert.* Introduction // Vasily Rozanov. The Apocalypse of Our Time and Other Writings. New York. 1977.

*Poggioli, Renato.* On the Works and Thoughts of Vasily Rozanov // Poggioli R. The Phoenix and the Spider. Cambridge. 1957. pp. 158–207 (то же, отд.. изд.: Poggioli, Renato. Rozanov. New York. 1962. 104 pp.).

*Pozner, Vladimir.* Panorama de la littérature russe contemporaine. Paris. 1929, pp. 47–65.

*Putnam, George E.* Vasily V. Rozanov: Sex, Marriage and Christianity // Canadian Slavic Review. 1971. Vol. 3. pp. 301–326.

*Read, Christopher.* Religion, Revolution and the Russian Intelligentsia. 1900–1912. London. 1979.

*Ripelino, Angelo M.* Rozanov: Ricognizione nel suo sottosuolo // V. Rozanov. Foglie cadute. Mailand. 1976, pp. 411–489.

*Roberts, Spencer R.* (ed.). Essays in Russian Literature. The Conservative View: Leontiev, Rozanov, Shestov. Athens: Ohio University Press. 1968.

*Romanoff, Janet S.* Vasily Rozanov: The *Yurodivyj* of Russian Literature. Ph. D. Diss. Stanford University. 1974.

*Russian Critical Essays: 20th Century.* Oxford. 1971.

*Saher, P. J.* Western and Eastern Thought. London. 1969.

*Saklova, M.* Rozanov // Dialog. 1965. N. 4, s. 75–84.

*Scherer, Jutta.* Die Petersburger Religios-Philosophischen Vereinungen. Berlin–Wiesbaden. 1973.

- Schloezer, Boris de.* Rozanov // Nouvelle revue française. 1929. Vol. 33.
- Schloezer, Boris de.* Introduction // V. V. Rozanov. L'Apocalypse de notre temps, précédé de Esseulement. Paris. 1930.
- Schloezer, Boris de.* Découverte de Rozanov // Mercure de France. 1964.
- Schultze, Brigitte S. J.* Pensatori Russi di fronte a Christo. Firenze. 1949. Vol. II.
- Schultze B.* Russische Denker. Ihre Stellung zu Christus, Kirche und Papsttum. Freiburg. 1950.
- Slonim, Marc.* Modern Russian Literature: From Chekhov to the Present. New York. 1953, pp. 108–111.
- Stammler, Heinrich A.* Рец. на кн.: Poggioli, Renato. The Phoenix and the Spider. Cambridge. 1957 // Die Welt der Slaven. 1958. Heft 3, S. 313–317.
- Stammler, Heinrich A.* Rozanov und die Kirche // The Religious World of Russian Culture. Vol. II. Den Haag/Paris. 1975.
- Stammler, Heinrich A.* Apocalyptic Speculations in the Works of D. H. Lawrence and Vasilij Vasil'evic Rozanov // Die Welt der Slaven. 1959. Heft. 1, S. 66–73.
- Stammler, Heinrich A.* Vassilij Vassil'evitsch Rozanov (1856—1919) // Merkur. 1959. Bd. XIII. Nr. 7.
- Stammler, Heinrich A.* Рец. на кн.: Essays in Russian Literature. The Conservative View: Leontiev, Rozanov, Shestov. Ed. by Spencer Roberts. Athens: Ohio University Press // The Slavic and East European Journal. 1968. Vol. XV. No. 1.
- Stammler, Heinrich A.* Wesenmerkmale und Stil des Proteischen Menschen // V. V. Rozanov. Izbrannoe / Ausgewählte Schriften. München. 1970, S. 1–XXXVII.
- Stammler, Heinrich A.* Conservatism and Dissent: V. V. Rozanov's Political Philosophy // Russian Review. 1973. Vol. 32. No. 3.
- Stammler, Heinrich A.* Apocalypse: V. V. Rozanov and D. H. Lawrence // Canadian Slavonic Papers. 1974. Vol. XVI. No. 2, pp. 221–224.
- Stammler, Heinrich A.* Rozanov und die Kirche // The Religious World of Russian Culture. Vol. II. Den Haag/Paris. 1975.
- Stammler, Heinrich A.* Рец. на кн.: Crone A. L. Rozanov and the End of Literature. Würzburg. 1978. // Russian Language Journal. 1979. Vol. XXXIII. No. 116.
- Stammler, Heinrich A.* Vasilij Vasil'evič Rozanov als Philosoph. Giessen. 1984 (Bibliogr. S. 60–88).
- Stephens, J.* Preface // V. V. Rozanov. The Fallen Leaves. London. 1929.
- Tschizewskij, Dmitrij.* Hegel bei den Slaven. Bad Homburg vor der Hebe. 1961.
- Tyskiewicz, St.* Reflexions du penseur russe V. Rozanov sur le Catholicisme // Nouvelle Revue Theologique. 1951.
- Zernov, N.* The Russian Religious Renaissance of the 20th Century. London. 1963.
- Zytarik, George J.* The Phallic Vision // Zytarik, George J. D. H. Lawrence's Response to Russian Literature. The Hague–Paris. 1971, pp. 144–168.



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абрамович Н. Я. I, 12; II, 220-222, 515\*
- Аввакум Петрович, протопоп I, 129; II, 349, 353-355, 402, 450
- Август II, 420
- Августин Аврелий II, 26, 501
- Аггеев К. М. II, 211, 213, 515
- Адлер А. II, 348, 520
- Азеф Е. Ф. II, 126, 131, 133, 275
- Азов (Аш кинази) В. А. I, 205, 485
- Акимов В. А. I, 53, 462
- Аксаков И. С. I, 296
- Аксаков К. С. I, 384
- Аксаков Н. П. I, 220, 322, 341, 420, 487
- Аксаков С. Т. I, 21
- Аладьин А. Ф. II, 269, 517
- Александр I, имп. I, 201
- Александр II, имп. I, 294, 296
- Александр III, имп. I, 75, 296, 297; II, 102
- Александр Великий (Македонский) I, 334; II, 112, 291
- Александр, свящ. — см. Гнацинтов А. М., свящ.
- Александра Федоровна, имп. I, 72
- Александров А. А. I, 40, 69, 71, 294, 466
- Александрова Е. Т. I, 69, 77, 117, 118
- Алексеев Е. И. I, 210, 485
- Алексеев (Аскольдов) С. А. I, 201, 484; II, 192-194, 202, 211
- Алексей Петрович, царевич I, 248
- Алешинцева Д. В. I, 48, 49, 58, 63
- Альтман Н. И. I, 66, 465
- Аля — см. Бутягина А. М.
- Амвросий Оптинский, преп. I, 18, 69
- Амфитеатров А. В. I, 230, 489
- Анакреон I, 330, 501
- Анаксагор II, 411
- Андерсен Х. К. I, 59
- Андреев В. В. I, 53, 72, 73, 194, 461
- Андреев Л. Н. I, 109, 129, 211; II, 171
- Андреев Ф. К. I, 31, 256, 492
- Аничков Е. В. II, 201, 208, 209, 211, 514
- Анна Дмитриевна I, 122
- Анненский И. Ф. I, 231, 489
- Аннуцио Г. д' I, 370, 507
- Антоний I, 335
- Антоний (Бадковский А. В.) I, 132, 133, 150, 152, 157, 474
- Антоний (Флоренсов М.) I, 176, 479
- Антоний (Храповицкий А. П.) I, 219, 487
- Антонин II, 420
- Антонин (Грановский А. А.) I, 135, 136, 153, 154, 217, 474, 477
- Антонов Н. Р. II, 208
- Апостолопуло Е. И. I, 67, 86, 465
- Апухтин А. И. I, 351
- Аракчеев А. А. I, 390; II, 269
- Аристотель I, 18, 42, 97, 317, 334, 353, 409; II, 227, 363, 391, 400
- Арсеньев В. К. I, 70, 361, 466
- Архимед I, 406
- Арцыбашев М. П. II, 132, 494, 508
- Аскоцкий В. И. I, 303, 304, 493; II, 59, 61
- Атилла II, 167

\* Прямым светлым шрифтом обозначены упоминания в текстах, полужирным — тексты данного автора, курсивом — биографические сведения и характеристики в комментариях.

- Ахматова А. А. II, 331  
 Ашешов Н. П. I, 27; II, 269, 408, 517.  
 530
- Байрон Д. Г. I, 367, 396; II, 178, 228  
 Бакст (Розенберг) Л. С. I, 84, 132, 133,  
 138, 146, 188, 194, 202, 203, 230  
 Бакунии М. А. II, 422  
 Бальзак О. де II, 18, 108  
 Бальмонт К. С. II, 34  
 Барсов Т. В. I, 390, 392, 507  
 Барсуков Н. П. II, 103  
 Барсукова З. И. I, 72, 76  
 Бах И. С. II, 77  
 Башкирцева М. К. I, 223, 488  
 Бедный Д. (Придворов Е. А.) II, 411  
 Безграмотная I, 234  
 Бейлис М. Т. I, 53, 71, 86, 106, 177,  
 178, 235, 461; II, 190, 214, 319,  
 346, 347  
 Бейль П. I, 96  
 Беклин А. I, 59, 463  
 Бекренев I, 103  
 Белинский В. А. I, 323  
 Белинский В. Г. I, 277-279; II, 195, 378,  
 428  
 Белый А. (Бугаев Б. Н.) I, 14, 171,  
 186-192, 194, 279, 480; II, 74-  
 80, 132  
 Беляев А. А., свящ. I, 76  
 Беляев Ю. Д. I, 188, 253-254, 492  
 Бенца А. Н. I, 11, 81, 132-142, 146,  
 233, 474  
 Берг Ф. Н. I, 40, 41  
 Бергсон Л. I, 228; II, 150, 151, 510  
 Бердяев Н. А. I, 13, 15, 30, 32-34, 54,  
 84, 171, 188, 189, 194, 230, 251,  
 254-256, 319, 320, 382; II, 25-  
 51, 134, 152, 164, 165, 202, 205,  
 309, 352, 353, 355, 358, 372,  
 401, 404, 430, 436, 501  
 Бердяева (Трушева) Л. Ю. I, 254, 255,  
 491  
 Бержерак С. де II, 408, 530  
 Бехтерев В. М. II, 283, 334, 518  
 Бисмарк О. фон I, 373  
 Блок А. А. I, 53, 112, 113, 119, 125,  
 126, 129, 131, 137, 163, 164;  
 189-191; II, 265, 314, 322  
 Боборыкин П. Д. II, 236  
 Богданов I, 219  
 Богучарский (Яковлев) В. Я. I, 385, 506  
 Бокль Г. Т. I, 38, 457; II, 95, 109, 113,  
 177, 428  
 Бонапарт — см. Наполеон  
 Бондаренко И. Е. I, 78  
 Бонч-Бруевич В. Д. I, 65  
 Борджиа I, 366, 505  
 Бородаевский В. В. I, 220  
 Борхард Р. I, 217  
 Боскин М. В. I, 78  
 Боткин В. П. II, 378  
 Брамс П. I, 67  
 Брик О. Э. II, 322  
 Броун-Секар Ш. I, 205  
 Брюсов В. Я. I, 25, 163, 166, 191, 215,  
 232; II, 108, 310, 352  
 Бугаев Н. В. I, 187, 480  
 Булгаков С. Н. I, 30, 31, 109, 170, 230,  
 233, 382; II, 15, 45, 160, 401  
 Булгарин Ф. В. II, 322  
 Булыгин А. Г. I, 195  
 Бунин И. А. I, 199  
 Буренин В. П. I, 11, 12, 19, 25, 100,  
 190, 194, 303-321, 498; II, 19  
 Бурже П. II, 169, 510  
 Бурнакин А. А. II, 270, 518  
 Бурцев В. Л. II, 127, 507  
 Буслаев Ф. И. I, 91  
 Бутягина А. М. I, 47, 49, 51, 52, 55,  
 56, 58-60, 62, 68, 70, 72-78, 139,  
 145, 194, 237, 251-253  
 Бутягина В. Д. — см. Розанова В. Д.  
 Бухарев А. М. (о. Феодор) I, 31; II, 59,  
 61, 503  
 Бухарева (Родышевская) А. С. II, 59-  
 61, 66, 503  
 Бызов II, 334, 350, 452  
 Бэкон Ф. II, 112, 196, 506  
 Бюхнер Л. I, 70; II, 49, 50, 177
- Вавилов I, 99  
 Вагнер Р. I, 33, 67, 72; II, 422  
 Вальбе Б. С. I, 128, 473  
 Вальман Н. П. I, 49, 67, 68, 71, 74,  
 76, 461  
 Ванька Каин — см. Осипов И.  
 Васильев А. В. I, 23, 220, 487; II, 400  
 Василевский И. М. I, 154, 477  
 Вейнинггер О. I, 196, 482; II, 224, 498  
 Вельтман А. Ф. II, 336  
 Венгеров С. А. I, 108, 229, 251, 491

- Венгерова З. А. I, 251, 491  
 Вера, кухарка II, 472  
 Верещагина Н. В. — см. Розанова-Верещагина Н. В.  
 Верлен П. II, 413, 531  
 Веселовский А. Н. I, 191, 481  
 Веспасиан II, 236, 420  
 Веспуччи А. I, 296  
 Виардо П. II, 95, 274, 327, 461  
 Вилькина Л. Н. I, 171, 251, 478  
 Виндельбанд В. II, 177, 512  
 Виппер О. Ю. II, 347  
 Витте С. Ю. I, 201, 210  
 Владимир, св. I, 64; II, 489  
 Вогкю Э. М. де I, 191, 481  
 Вознесенский К. В. I, 80, 468  
 Волжский (Глинка А. С.) I, 8, 29, 33, 240, 418-455; II, 134, 359, 363  
 Волочкова А. Г. II, 211, 515  
 Волошин М. А. I, 222  
 Вольтский (Флексер) А. Л. I, 204, 216, 232, 243; II, 75, 76, 240-250, 516  
 Вольтер I, 96, 429; II, 381-383, 491  
 Вороновская О. II, 285  
 Воскресенский А. Д. I, 65  
 Воскресенская Л. А. I, 66  
 Воскресенская Н. А. I, 66  
 Врубель М. А. I, 62, 64  
 Высокский I, 72, 76  
 Вышеславцев Б. П. II, 353, 524  
 Гапон Г. А. II, 127, 133, 270  
 Гарден М. (Витковский И.) II, 133  
 Гартман Э. I, 335  
 Гауф В. II, 469  
 Ге Н. Н. I, 53, 194, 210  
 Ге Н. П. I, 53, 194, 195  
 Гегель Г. В. Ф. II, 178, 225, 361-386, 421  
 Гегесий I, 334, 502  
 Гедройц З. Г. I, 77  
 Гейне Г. II, 323, 326  
 Гелпогабал I, 410  
 Германов В. II, 251-265  
 Геродот I, 447; II, 124  
 Герцен А. И. I, 123, 242-244, 262, 277, 372; II, 95, 177, 183, 241, 366, 378  
 Гершензон М. О. I, 32, 51, 80, 110, 204; II, 313, 314, 336, 352  
 Герье В. Л. I, 70  
 Геснод I, 331, 502  
 Гессен И. В. II, 320, 521  
 Гете И. В. I, 125, 330; II, 48, 321  
 Глацингов А. М., свящ. I, 80, 81, 468  
 Гизо Ф. I, 38  
 Гиллель II, 231, 516  
 Гинцбург И. Я. I, 215, 218, 486  
 Гиппиус Вас. В. I, 64, 464  
 Гиппиус Влад. В. I, 53, 71, 464, 466  
 Гиппиус З. Н. I, 12, 27, 31, 33, 52, 64, 71, 81, 83-85, 87, 102, 103, 105, 111-113, 130, 132, 133, 135, 137-140, 143-185, 186-188, 194, 207, 208, 212, 214-217, 219, 221, 232, 249, 475; II, 205, 314, 402, 426, 444, 448, 453, 456, 491  
 Гиппиус Н. Н. I, 208, 212, 485  
 Гиппиус Т. Н. I, 126, 208, 212, 485  
 Глинка А. С. — см. Волжский  
 Глубоковский Н. Н. I, 8, 29  
 Говоруха-Отрок Ю. Н. I, 25, 260-281, 304, 309, 336, 494  
 Гоголь Н. В. I, 51, 66, 129, 151, 157, 191, 205, 206, 263, 265, 269, 282, 317, 419; II, 85, 99, 116, 117, 178, 183, 195, 198, 242, 243, 267, 322, 332, 359, 365, 378, 398, 409, 436, 443  
 Голлербах Э. Ф. I, 23, 29, 33, 72, 228-236, 256, 438; II, 309-315, 454, 464, 490-492, 494  
 Голованов I, 108, 472  
 Головин В. М. I, 381  
 Гольдовский С. Б. I, 156, 477; II, 496  
 Гольцев В. А. I, 144  
 Гомер I, 330, 332  
 Гончаров И. А. I, 51, 419  
 Гончарова Н. С. I, 62  
 Гораций II, 88, 281  
 Горемыкин И. Л. II, 94  
 Гороховы I, 73  
 Горький М. (Пешков А. М.) I, 29, 81, 108, 109, 112, 125, 128, 129, 180-182; II, 235, 335, 354, 471, 494  
 Готье Т. I, 97  
 Гофман М. I, 62, 464; II, 335  
 Гофман Э. Т. А. I, 227  
 Гофштеттер И. А. I, 55  
 Гофштеттер Л. Э. I, 55, 463; II, 189  
 Гракх II, 420

- Грановский Т. Н. I, 38  
 Гредескул Н. А. II, 199, 211, 514  
 Гржебин З. И. II, 356  
 Грибоедов А. С. II, 102, 132, 322  
 Григорий VII Гильдебрандт II, 485, 533  
 Григорьев А. А. I, 20, 265; II, 174  
 Григорьева I, 114, 473  
 Грингмут В. А. I, 291, 294-296, 302, 365, 497  
 Грпфцов Б. А. I, 33; II, 101-125, 174-179, 505, 506  
 Гроссман Л. П. I, 240  
 Грот Н. Я. I, 100, 470  
 Грубер И. Г. II, 336  
 Грузенберг О. О. II, 214, 515  
 Грузенберг С. О. II, 214, 515  
 Губер П. К. II, 343-347, 522  
 Гутнов Е. В. I, 309  
 Гуттенберг И. I, 353; II, 96, 293  
 Гюго В. I, 265; II, 325  
 Гюйо Ж. М. II, 314  
 Гюксманс Д. К. I, 390, 507  
 Даль В. И. II, 336  
 Данилевский Н. Я. I, 8, 38, 84, 262, 268, 468; II, 372  
 Данте А. I, 332, 392, 393  
 Дарвин Ч. Р. I, 355; II, 95, 243  
 Дарский Д. С. I, 36; II, 220, 516  
 Декарт Р. I, 436  
 Демокрит II, 411  
 Демосфен I, 369  
 Державин Г. Р. I, 443; II, 322  
 Дернов А. А. I, 337  
 Де Роберти Е. В. I, 229, 489  
 Десницкий М. В. I, 95  
 Деций Мус I, 331  
 Джаншнев Г. А. I, 302  
 Джоис Д. II, 431, 532  
 Дидо А. Ф. I, 97, 470  
 Дидро Д. I, 96  
 Дионисий Ареопагит II, 354, 524  
 Диккенс Ч. I, 226, 265  
 Диоген II, 251  
 Добролюбов А. М. I, 25  
 Добролюбов Н. А. II, 177, 356  
 Добролюбова М. М. I, 251  
 Долгинин (Искюз) А. С. I, 240, 241, 243, 244, 490  
 Дольник А. Н. I, 78  
 Доре Г. I, 46  
 Дорошевич В. М. II, 94  
 Достоевский Ф. М. I, 9, 17-19, 27, 41, 51, 52, 57, 100, 121, 129, 151, 156, 166, 194, 197-199, 204, 207, 225, 226, 230, 233, 238-245, 248, 254, 256, 262-281, 338, 358, 364, 367, 368, 372, 390, 407, 410, 421, 422, 426, 427, 430, 431, 441, 445, 447, 454, 455; II, 6, 20, 39, 40, 42, 43, 74-76, 90, 92-94, 98, 115, 116, 132, 134, 178, 195, 198, 264, 268, 287, 289, 293-300, 325, 331, 332, 335, 348, 349, 358, 371-374, 376, 381-385, 398, 436, 442, 480, 486, 490-497  
 Достоевская А. Г. I, 52  
 Достоевская Л. Ф. I, 52  
 Драгоев I, 67  
 Драгоманов М. П. I, 385  
 Дрейфус А. II, 375  
 Дроздов Н. Г., прот. II, 139-146, 509  
 Дрэпер Д. У. I, 38  
 Дуничка — см. Игнатова Д. Н.  
 Дункан А. I, 67, 189, 232, 465; II, 129  
 Дурново П. Н. I, 210, 485  
 Дурылин С. Н. I, 13, 29, 32, 36, 82, 236, 237-245, 490  
 Дюма-отец А. II, 18  
 Дюма-сын А. II, 18  
 Дягилев С. П. I, 11, 84, 132, 140, 141, 146, 153, 249  
 Дягилева (Панаева) Е. В. I, 140  
 Еврипид I, 332  
 Евфросиния (Арсеньева) I, 70  
 Егоров Е. А. I, 153, 154, 164, 166, 194, 477  
 Екатерина II, имп. I, 68, 96  
 Елизавета Петровна, имп. I, 96  
 Елов М. С. I, 54, 87  
 Есенин С. А. II, 353  
 Ефименко А. Я. II, 211, 515  
 Желябов А. И. I, 380, 385  
 Желудков I, 95  
 Жихарев II, 96  
 Зайцев Б. К. I, 217  
 Зайцев II, 461, 462

- Зак Б. А. I, 194, 252, 482  
 Закржевский А. К. I, 17, 33; II, 147-168, 509  
 Закс Н. А. I, 90  
 Замысловский Г. Г. II, 347  
 Занд Ж. I, 278  
 Зарин С. М. I, 77, 467  
 Заусайлов I, 98  
 Зеньковский В., прот. I, 31, 34; II, 357-379, 525  
 Зиммель Г. I, 196, 482; II, 413  
 Зинovieва-Аннибал Л. Д. I, 251, 252, 491  
 Знаменский Д. В. I, 203, 211, 214, 218, 219, 485  
 Золотарев А. А. I, 36  
 Золя Э. II, 105, 108  
 Зорин — см. Зарин С. М.  
 Зороастр I, 331  
  
 Ибсен Г. II, 177  
 Иван IV Грозный I, 384  
 Иванов А. А. I, 210  
 Иванов Вяч. И. I, 29, 71, 84, 105, 163, 164, 170, 189, 194, 201, 215, 218, 232, 243, 250, 252; II, 45, 197-200, 353, 450  
 Иванов Е. П. I, 52, 53, 66, 71, 76, 194, 195, 232, 250-253, 491  
 Иванов-Разумник (Иванов Р. В.) I, 119  
 Иваск Ю. П. I, 34, 35; II, 401-405, 529  
 Игнатов И. Н. I, 108, 472  
 Игнатова Е. Н. («Дуничка») I, 115, 473  
 Игнатьев А. П. I, 381  
 Измайлов А. А. I, 14, 29, 33, 232; II, 81-100, 504  
 Иларнон (Тропцкий), архим. I, 32, 73, 82, 466  
 Иловайский Д. И. I, 294, 295, 298, 477; II, 167  
 Ильин В. Н. I, 34; II, 406-430, 530  
 Ильин И. А. II, 353, 524  
 Иннокентий (Беляев И. В.), еп. I, 153, 477  
 Иннокентий (Борисов И. А.) I, 18  
 Иоанн Злагоуст, св. II, 235, 236, 262  
 Иоанн Кронштадтский (Сергиев П. И.), св. I, 201, 210  
 Иоанн Лествичник, св. I, 295  
 Иоанн Мосх II, 404, 530  
 Ионафан (Руднев И. Н.), архиеп. I, 18, 101, 471  
 Иосиф Флавий II, 244  
 Иринеи Лионский II, 32, 501  
 Исаенков В. Д. I, 90, 91  
 Иустин-философ II, 32, 501  
  
 Кабет (Кабе) Э. I, 278, 495  
 Каблуков С. П. I, 36, 200-221, 483; II, 408  
 Калинин М. И. I, 129  
 Каллаш М. А. (Курдюмов М.) II, 359  
 Кальвин Ж. I, 367  
 Каменский А. П. II, 132, 508  
 Камкова М. С. I, 224  
 Кант И. I, 70, 367; II, 94, 102, 106, 235  
 Карамзин Н. М. I, 51; II, 337  
 Карбасников Н. П. I, 206, 207, 485  
 Карлейль Д. I, 271-273, 495  
 Карно Л. Н. I, 366, 495  
 Карпинский А. И. II, 96, 283, 334, 518  
 Карташев (Каргашов) А. В. I, 27, 126, 151, 152, 163, 175, 204, 221, 476; II, 186, 196, 197, 201-211  
 Кассий — см. Гофштеттер И. А.  
 Катков М. Н. I, 21, 30, 38, 362, 363, 365-368, 374-376, 411; II, 93  
 Катя, кухарка I, 68  
 Кедринский А. А. I, 89, 91, 92, 103  
 Керенский А. Ф. I, 75, 118, 121  
 Киреев А. А. I, 337  
 Кирилл Александрийский I, 205, 484  
 Клагес Л. II, 426, 531  
 Клейнмихель П. А. II, 183, 512  
 Клеиматра I, 335  
 Климент Александрийский I, 431  
 Клодий II, 420  
 Клушин В. В. I, 88-90  
 Ключевский В. О. II, 124, 131, 274, 283, 462, 463  
 Кобылинский Л. В. — см. Эллис  
 Ковалевский М. М. II, 134  
 Коген Г. II, 177, 512  
 Кожевников В. А. I, 31  
 Козлов А. А. I, 196, 482  
 Колубовский Я. Н. I, 322, 499  
 Колумб Х. I, 245, 296, 298, 396  
 Кольшко И. И. I, 340, 351, 354, 503  
 Кольцов А. В. I, 432  
 Кондурушкин С. С. II, 191, 512

- Коноплянцев А. М. I, 200, 234, 489  
 Конфуций I, 317  
 Коровин К. А. II, 412  
 Короленко В. Г. I, 419  
 Кортес Э. I, 298  
 Кочергин I, 98  
 Кошелев А. И. II, 413, 531  
 Крамской И. Н. I, 210  
 Крапах Л. II, 407, 530  
 Крафт-Эббинг Р. I, 248, 490; II, 141  
 Крижанич Ю. I, 409, 508  
 Кронеберг И. Я. I, 253, 492  
 Кропоткин П. А. II, 189  
 Крупкин Р. I, 109  
 Кузмин М. А. I, 232; II, 311, 519  
 Кузо В. И. I, 62, 464  
 Кукарин I, 108, 472  
 Кудрин А. И. I, 109  
 Курдюмов — см. Каллаш М. А.  
 Курок II, 23  
 Кусков П. А. I, 19, 338, 339, 341, 352, 503  
 Кускова М. П. I, 338, 339  
 Кшесинская I, 75  
 Кювье Ж. I, 345, 504  
 Кюхельбекер В. К. II, 322
- Лазарева А. М. II, 353, 524  
 Ланге Ф. А. I, 326, 501  
 Лебедева С. Д. I, 66, 465  
 Левитан И. И. I, 62  
 Левцкая Е. С. I, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 68, 463  
 Ледоховский М. Г. I, 253, 492  
 Ленин (Ульянов) В. И. I, 195, 236  
 Леонардо да Винчи I, 141  
 Леонтьев И. Л. (Щеглов И.) I, 194, 482; II, 313  
 Леонтьев К. Н. I, 8, 9, 18, 20, 30, 51, 82, 84, 118, 127, 186, 205, 258, 263, 267, 268, 378, 411; II, 90, 92, 98, 174, 175, 194, 201, 240, 358, 359, 368, 398, 422, 436, 473, 493  
 Леопарди Д. I, 325, 502  
 Лепсус Р. I, 431, 469, 509  
 Лермонтов М. Ю. I, 51, 56, 57, 151, 196, 217, 315, 390, 396, 419; II, 18, 85, 132, 133, 178, 228, 332, 425  
 Лернер Н. О. I, 230, 232, 489
- Леру П. I, 278  
 Леруа-Болье А. II, 480, 533  
 Лесков Н. С. I, 65, 129, 233, 426; II, 328, 336, 354, 372, 406, 409, 444  
 Ликпардопуло М. Ф. I, 189, 481  
 Лист Ф. I, 21, 62  
 Литвин — см. Эфрон С. К.  
 Лобачевский Н. И. II, 10  
 Ломоносов М. В. I, 51  
 Лорис-Меликов М. Т. I, 381  
 Лосев А. Ф. I, 24  
 Лосский Н. О. I, 34, 69, 70, 228, 256-257, 492; II, 403  
 Лоуренс Д. Г. I, 35; II, 490-498, 533  
 Лугинин В. Ф. I, 243, 490  
 Лукомский В. К. I, 233  
 Лукреций I, 334  
 Луначарский А. В. I, 236; II, 171, 356  
 Лурье С. В. II, 353, 524  
 Лутохин Д. А. I, 193-199, 250, 481  
 Лутохин М. И. I, 79, 468; II, 316, 317  
 Любавский М. К. I, 100, 470  
 Любошин С. Б. I, 27  
 Лютер М. I, 367; II, 387  
 Лядов А. К. II, 407, 530  
 Ляпунов А. М. II, 411, 531
- Магницкий Л. Ф. I, 380  
 Мазарини Д. I, 342, 346, 348, 503  
 Макколей Т. Б. I, 338, 457  
 Максип Н. М. I, 211, 212, 214, 485  
 Макшеева Н. А. II, 200-201  
 Манаскина Н. И. I, 102, 471  
 Мансуров С. П. I, 78, 468  
 Маракуев В. Н. I, 96  
 Маркс К. II, 50, 177  
 Масперо А. I, 230, 489  
 Маяковский В. В. II, 331, 333, 441, 454, 455  
 Мейер А. А. I, 111, 472; II, 211  
 Мейер П. В. I, 111, 472  
 Мейерхольд В. Э. II, 411  
 Мельников-Печерский (Мельников) П. И. II, 107  
 Менделеев Д. И. II, 196  
 Менье М. — см. Монье М.  
 Меньшиков М. О. I, 9, 12, 50, 180, 194, 214, 232, 325-336, 383, 386, 480, 500; II, 208  
 Мережковский Д. С. I, 9, 13, 26-29, 33, 51, 52, 71, 81, 83-85, 102,

- 103, 105-107, 109, 111, 113, 119-123, 129, 130, 132, 133, 135-139, 141, 157, 163, 186, 194, 199-201, 203, 208, 216, 217, 219-221, 229, 232, 243, 248, 249, 316, 318, 328, 333, 338, 358, 359, 400-417, 422, 423, 507; II, 37, 48, 74, 76, 81, 92, 151, 152, 160, 165, 177, 191, 195, 198, 200, 205, 208, 212, 213, 225, 278, 313, 348, 353, 359, 365, 456, 479, 486, 494
- Метерлинк М. I, 228; II, 107
- Мечев Алексей, свящ. I, 32
- Мечников И. И. II, 196
- Мещерский В. П. I, 23, 324, 354; II, 202
- Микельанджело Буонаротти I, 141
- Милославин Павел, свящ. I, 80, 81, 257
- Милльтон Д. I, 332
- Милтюков П. Н. I, 211, 268; II, 191, 269, 282, 517
- Минский (Вленикин) Н. М. I, 27, 132, 133, 157, 170, 195, 216, 250-252, 360, 389-399, 506; II, 76, 191
- Мирабо В. Р. II, 126
- Мирский Д. — см. Святополк-Мирский Д. П.
- Митюрников П. П. I, 203, 213, 216, 219, 484
- Михаил (Семенов П. В.), архим. I, 169, 205, 218, 389, 478
- Михаил Александрович I, 203
- Михайловский П. К. I, 22, 25, 41, 244, 338-360, 361, 502; II, 84, 95, 105, 116, 174, 177, 242
- Моисей Угрин II, 140-142, 145
- Мокнецкий П. В. II, 276
- Молешотт Я. II, 49, 50, 177
- Мольтке Х. И. фон II, 133
- Моимзен Т. II, 353, 524
- Монье М. II, 417, 531
- Морозов Н. А. II, 189
- Мопассан Гю де I, 212, 217, 223, 390; II, 6, 105, 108
- Моррисон Л. Р. I, 93
- Мочульский К. В. I, 34; II, 353, 388-392, 527
- Мурашкина-Аксенова Л. А. I, 16; II, 306-308, 519
- Муратов П. П. II, 353, 524
- Мурильо Б. Э. II, 112, 506
- Мышцын Д. П. I, 89
- Наполеон Бонапарт I, 307, 315, 366; II, 273
- Насонова (Сеземан) II, 355
- Наука А. А. II, 395
- Некрасов Н. А. I, 387; II, 95, 322
- Некрасова К. А. I, 131, 473
- Нерон II, 420
- Несветевич II, 329
- Нестеров М. В. I, 52, 53, 56, 62, 233, 258, 462
- Нестерова О. М. I, 57
- Нечаев С. Г. II, 422
- Никодим, свящ. I, 155
- Николай I, имп. I, 294-296
- Николай II, имп. I, 200, 201
- Николай, свящ. I, 154
- Николай Оподкни, свящ. I, 111
- Николай Михайлович, вел. кн. I, 216
- Николай Николаевич, вел. кн. I, 216
- Никон (Рождественский П.), еп. I, 202, 484
- Нишсе Ф. I, 21, 27, 74, 104, 109, 120, 121, 127, 358, 372, 373, 397, 407, 422, 428, 449-452; II, 13, 25, 49, 81, 86, 92, 96, 98, 99, 134, 147, 148, 177, 178, 240, 289, 383, 384, 406, 417, 429, 486, 487
- Новиков I, 79
- Новоселов М. А. I, 128, 473
- Нордман-Северова Н. Б. I, 74, 204, 208, 209, 211, 484
- Носарь (Хрусталева) П. А. II, 130, 507
- Нувель В. Ф. I, 132, 137, 146, 475
- Нурок А. П. I, 146, 475
- Ньютон И. I, 298, 299, 340; II, 96, 257
- Оболяниннов В. В. I, 246-248
- Овидий I, 330, 501; II, 130
- Огарева-Тучкова Н. А. I, 242-244, 490
- Одоевский В. Ф. I, 65, 233
- Ожигов — см. Ашешов Н. П.
- Олсуфьев Ю. А. I, 32, 78-80, 467
- Олсуфьева (Глебова) С. А. I, 32, 80-82, 468
- Ориген I, 431; II, 402, 529
- Осипов И. («Ванька Каин») II, 354, 524
- Осипов П. Л. I, 72, 466



- Осорыпна У. У. II, 124, 506  
 Островский А. Н. I, 347
- Павел (Милославин), свящ. I, 45  
 Павел I, пмп. I, 68, 216  
 Павлова А. П. I, 62  
 Павлюковский Э. Г. II, 17, 19  
 Парацельс I, 369, 374, 505  
 Паренсов П. Д. I, 216, 486  
 Паскаль Б. II, 353, 382  
 Пастер Л. II, 196  
 Паша, няня I, 45, 48, 209  
 Пенкин И. И. I, 89, 93, 94  
 Пель I, 205  
 Первов П. Д. I, 18, 42, 88-101, 469  
 Пергамент II, 282  
 Перцов П. П. I, 23, 26, 27, 33, 54, 83, 84, 132, 136, 137, 140, 146, 162, 164-166, 169, 249; II, 174-183, 205, 434, 510, 511  
 Петерсен В. К. I, 338, 503  
 Петр I Великий I, 210, 248, 295, 367, 375, 380; II, 337, 497  
 Петражицкий Л. И. II, 269  
 Петрарка Ф. II, 88  
 Петров С. О. I, 188, 194, 205, 230, 315, 316, 480; II, 9, 87  
 Петров-Водкин К. С. I, 62  
 Печерский А. — см. Мельников П. И.  
 Пешехонов А. В. I, 14; II, 191  
 Пизаро — см. Писарро Ф.  
 Пикассо П. II, 411  
 Пипрожков М. В. I, 163, 207, 478  
 Писарев Д. И. I, 360, 380; II, 49, 241, 428  
 Писарро Ф. I, 298  
 Пифагор II, 257  
 Платон I, 172, 317, 340; II, 227, 233, 449  
 Платон (Левшин), мптр. I, 68; II, 123  
 Платонов С. Ф. II, 97, 505  
 Плева В. К. I, 382, 383; II, 127, 507  
 Плеханов Г. В. II, 189  
 Плутарх I, 334  
 Победоносцев К. П. I, 14, 18, 22, 30, 120, 150, 168, 220, 241, 380, 411; II, 10, 280, 319  
 Повалошвейковский I, 392, 507  
 Погодин М. П. II, 103  
 Познер В. С. I, 35; II, 524  
 Познер С. В. II, 353
- Поленов В. Д. I, 210  
 Половцева К. А. I, 472  
 Полонский (Гусин) В. Н. II, 267-284, 517  
 Понтий II, 420  
 Попова А. П. II, 496  
 Поселянин (Погожев) Е. Н. II, 169-173, 510  
 Постников I, 92  
 Порфирий (Успенский К. А.), еп. I, 54, 503  
 Превос д'Экзиль А. Ф. II, 333  
 Прессанс Э. II, 63, 64, 503  
 Пришвин М. М. I, 35, 88, 90, 99, 102-131, 469, 471; II, 352  
 Пришвина (Смогалева) Е. П. I, 113, 116, 117, 473  
 Пришвина (Льюрко) В. Д. I, 126, 128, 130, 131, 473  
 Протагор II, 182, 512  
 Протейкинский В. И. I, 134, 200, 474  
 Протопопов М. А. I, 322, 323; II, 81  
 Прудон П. Ж. I, 278  
 Пруст М. II, 431, 532  
 Птолемей I, 335  
 Пухта Г. Д. I, 370, 505  
 Пушкин А. С. I, 24, 51, 57, 73, 77, 125, 129, 211, 229, 261, 309, 316, 330, 393, 419, 446; II, 6, 18, 64, 85, 88, 102, 105, 106, 176, 267, 322, 335, 337, 480, 497  
 Пфуль Э. фон I, 345, 504  
 Пыпин А. Н. I, 267  
 Пясецкий А. А. II, 143  
 Пяст (Пестовский) В. А. I, 163, 194, 250, 491
- Раевский П. В., свящ. II, 194-196, 212, 512  
 Райвд В. Б. I, 63  
 Рамполла М. II, 420  
 Распутин (Новых) Г. Е. I, 74, 153; II, 99  
 Рафаэль Санти I, 45, 141, 210, 345, 347, 446; II, 88, 112  
 Рачинский С. А. I, 18, 21, 22, 30, 196, 482; II, 20, 22-24, 96  
 Ревекка Ю-на — см. Эфрос Р. Ю.  
 Редкляф А. II, 335, 522  
 Рембрандт Х. I, 141, 447; II, 247, 248

- Ремпзов А. М. I, 33, 34, 108, 111-113, 117, 119, 130, 189, 194, 232, 251; II, 320, 335, 352-356, 406-410, 436, 465-469, 523
- Ремпзова-Довгело С. П. I, 194, 251; II, 355, 468-469, 525
- Ренан Э. I, 96, 277, 320; II, 13, 243
- Ренников — см. Селитренников А. М.
- Репин И. Е. I, 73, 129, 130, 204, 208-211, 215, 233; II, 432
- Репин Ю. И. I, 215, 486
- Рерих Н. К. I, 62
- Ржавский I, 242
- Риккерт Г. II, 106, 177, 506
- Ришелье А. I, 342, 346, 348, 503
- Роде Э. II, 417, 531
- Родичев Ф. М. I, 211; II, 79, 269, 287
- Розанов В. В. (сын) I, 55, 59-61, 73, 75, 77-80, 179, 180, 199, 224, 460, 479; II, 313
- Розанов В. Ф. I, 37, 457
- Розанов М. Н. I, 191, 192
- Розанова Варвара В. I, 46, 55, 56, 58-61, 68, 73-79
- Розанова Вера В. (сестра) I, 37, 457
- Розанова Вера В. (дочь) I, 55, 56, 58-64, 69, 70, 71, 77, 179, 460, 479
- Розанова (Руднева. в 1-м браке Бутыгва) В. Д. I, 17, 18, 47-49, 52, 55, 56, 60-62, 67, 73, 74, 76-79, 82, 85, 101, 104, 122, 138, 139, 149, 155, 156, 166-168, 171, 174, 176, 179, 188, 194-196, 199, 201, 202, 213-215, 225, 234, 235, 237-243, 252, 253; II, 329, 448, 464, 465, 474, 496, 497
- Розанова-Верещагина Н. В. I, 51-53, 55, 58-60, 63, 64, 67, 73-82, 182, 237, 460, 464; II, 310, 312, 448
- Розанова (Шпшкнина) Н. И. I, 37, 457
- Розанова Т. В. I, 32, 45-87, 103, 113-119, 122, 125, 131, 237, 459, 460, 465
- Розенберг О. О. II, 411, 531
- Романов И. Ф. (Рцы) I, 23, 52, 352; II, 16-24, 243, 249, 336, 337, 414, 473, 500
- Романова О. И. I, 52, 54
- Романова С. И. I, 52
- Ростопчин Ф. В. I, 345
- Руднев Т. Д. I, 78, 468
- Руднева (Жданова) А. А. I, 61, 100, 101, 230, 471; II, 414, 448, 449
- Руже де Лиль I, 342, 346, 348, 503
- Рунич Д. П. I, 380
- Русов Н. Н. I, 29, 34; II, 359
- Руссо Ж.-Ж. I, 96, 109, 199, 367, 369, 370; II, 373, 457
- Рцы — см. Романов И. Ф.
- Рязановский И. А. I, 103, 472
- Сабашников М. В. I, 87
- Савин II, 238
- Савников Б. В. II, 191, 353, 523
- Савиньи Ф. К. I, 370, 505
- Салоков К. И. I, 38, 457
- Салиас де Турнемир Е. В. I, 242, 490
- Салтыков-Щедрин М. Е. I, 226, 237, 257, 265, 283, 305, 379, 411, 419; II, 95, 96, 175, 242, 277
- Сальвадор П, 242
- Самохвалов I, 93
- Сангушко II, 411
- Саотзы (Сеодзы) С. П. II, 20-23, 500
- Сапегин А. К. I, 96
- Сарьян М. С. I, 62
- Свенцицкий В. П. I, 208; II, 15, 135-138, 508
- Святополк-Мирский Д. П. I, 35; II, 348-351, 353, 355, 490, 523
- Святополк-Мирский П. Д. II, 355, 525
- Северак Ж.-Б. I, 208, 209; II, 479-489, 532
- Северянин И. (Лотарев И. В.) II, 412
- Сеземан В. В. II, 355
- Сеземан А. В. II, 355, 525
- Сеземан Д. В. II, 355
- Селпванов К. И. II, 303, 485, 533
- Селпвачев А. II, 221-239
- Селитренников А. М. II, 208, 514
- Семашко Н. А. I, 89
- Семенов (Тянь-Шаньский) Л. М. I, 163, 478
- Семипрадский Г. И. I, 232, 489
- Сент-Илер Бо I, 97, 470
- Серафим Саровский, преп. I, 46, 47, 73, 170; II, 313
- Сервантес М. де II, 325, 334, 335
- Сергеев-Ценский (Сергеев) С. Н. I, 129, 473

- Сергий (Тихомиров С.), архим. I, 150, 476
- Сергий (Старгородский И. Н.), еп. Финляндский I, 150, 157, 475
- Сергий Радонежский, преп. I, 61, 185, 256
- Серов В. А. II, 409
- Сидоров А. А. I, 36
- Сикорский И. А. II, 195, 514
- Симсон П. Ф. I, 90
- Спняевский А. Д. I, 35; II, 444-478, 532
- Скабичевский А. М. II, 105, 166, 174, 177, 511
- Скворцов В. М. I, 150, 151, 165, 476; II, 185-187
- Сковорода Г. I, 419
- Слонимский Л. З. I, 16
- Смирнов А. А. II, 216-219, 515
- Смирнов М. А. I, 99, 100
- Соколов В. И. I, 78
- Сократ II, 183, 237, 258, 423
- Соловьев Вл. С. I, 19, 23-26, 30, 34, 51, 163, 164, 205, 207, 215, 216, 220, 228, 231, 255, 268, 282-292, 339, 361, 365, 378, 496; II, 39, 44, 82, 84, 85, 91, 92, 140, 174-176, 195, 196, 201, 224, 335, 343, 349, 359, 368, 392, 402, 413, 419, 422
- Соловьев Вс. С. I, 39
- Соловьев Л. З. II, 139, 509
- Соловьев М. П. I, 341, 503
- Соловьев, свящ. I, 82
- Соловьева П. В. I, 204, 484
- Соловьева П. С. I, 204, 232
- Сологуб (Петерпков) Ф. К. I, 54, 108, 145, 147, 164, 188, 194, 215, 250, 251, 298, 463
- Солоневич П. Л. II, 440, 532
- Сомов К. А. I, 88, 481
- Сонька Золотая Ручка II, 238
- Софокл I, 332
- Спасовский М. М. I, 72; II, 431-443, 532
- Спенсер Г. II, 95, 177, 237, 243, 428
- Сперанский М. М. I, 345, 503
- Спешнев Е. А. I, 206, 207, 485
- Спиноза З. II, 258, 481
- Стародум — см. Стечкин Н. Я.
- Стасов В. В. II, 337
- Стасюлевич М. М. I, 244
- Стахович М. А. I, 105, 472
- Степанов В. А. II, 211, 514
- Степанов И. С. I, 194
- Степун Ф. А. II, 353, 356, 524
- Стерн Л. II, 325, 334, 337, 522
- Стессель А. М. I, 176, 485
- Стечкин Н. Я. I, 27, 421; II, 408
- Стоппнер Б. Г. I, 53, 162, 462; II, 239
- Столыпин А. А. I, 200, 383, 433; II, 139, 208, 509
- Столыпин П. А. I, 98, 200
- Стокынина М. Н. I, 48, 58, 60, 63, 64, 69, 70, 256, 464
- Страхов Н. Н. I, 18-20, 30, 45, 77, 84, 85, 100, 220, 231, 233, 249, 263-269, 459, 494; II, 92, 96, 174, 205, 206, 307, 349, 358, 363, 367, 400, 473
- Струве П. Б. I, 14, 27, 129, 173, 195, 218, 324, 361-367, 504; II, 81, 196, 197, 225, 359, 427
- Суарес А. II, 351, 523
- Суворин А. А. I, 201, 483
- Суворин А. С. I, 11, 12, 41, 62, 72, 74, 83, 84, 86, 148, 176, 194, 195, 199, 201-203, 207, 217, 218, 244, 409, 411, 458; II, 92-94, 97, 202, 272, 319, 332, 434
- Суворин Б. А. I, 72, 74
- Сувчинский П. П. II, 353, 355, 524
- Сумароков А. П. I, 51
- Суслов В. В. I, 54, 234, 462
- Сусллова-Розанова А. П. I, 17, 85, 155, 156, 166, 199, 238-244, 248, 470
- Сусллова Н. П. 59, 470
- Сытин И. Д. I, 195
- Тамерлан I, 307
- Таннеберг Е. Д. I, 67
- Тарановский И. И. I, 92, 93, 95
- Тареев М. М. I, 30, 33, 208; II, 52-73, 501
- Твен М. II, 335
- Тернавцев В. А. I, 11, 53, 66, 85, 103, 132, 133, 135, 140, 153, 155, 156, 160, 165, 241, 242, 462, 476; II, 203, 413
- Тернавцева М. А. I, 66, 204, 484
- Тернавцева И. В. I, 66
- Тернавцева М. В. I, 66
- Тиверий II, 420

- Тигранов Ф. Я. I, 53, 72, 234  
 Тит II, 236  
 Тихомиров Л. А. I, 25, 283, 288, 304, 497  
 Тихон I, 47  
 Тишан I, 210  
 Ткачев П. Н. II, 422  
 Толстой А. Н. I, 154; II, 312  
 Толстой Д. А. I, 38, 374, 380  
 Толстой Л. Н. I, 12, 18, 25-27, 51, 74, 103, 110, 117, 118, 121, 128, 130, 229-231, 281, 304-309, 338, 344, 345, 349, 358, 389, 390, 395, 397, 403, 407, 419, 423, 431; II, 30, 58, 71, 84, 90-92, 94, 95, 132, 134, 139, 140, 144, 177, 178, 226, 235, 243, 270-277, 322-325, 332, 347, 354, 359, 366, 388, 390-392, 426, 486, 492, 493, 497  
 Троицкая (Розанова) А. С. I, 38  
 Троицкий (Бронштейн) Л. Д. I, 33, 236; II, 318-320, 350, 520  
 Трубецкой П. П., кн. I, 233  
 Трубецкой С. Н., кн. I, 14, 293-302, 497  
 Трухачев А. Б. I, 223, 226  
 Трухачева А. И. — см. Цветаева А. И.  
 Трущанская А. Я. I, 227  
 Туган-Барановский М. Л. II, 184, 192, 196, 211-213, 513  
 Тургенев И. С. I, 51, 360, 419; II, 6, 95, 239, 274, 322, 327, 461, 480  
 Тэн И. I, 54, 272  
 Тютчев Ф. И. II, 18, 447  
 Уайльд О. II, 310, 519  
 Уптмен У. II, 315  
 Уманов-Каплуновский В. В. I, 215, 218, 486  
 Ульяновский Д. В. II, 411, 531  
 Усов П. С. I, 243, 490  
 Успенский В. В. I, 163, 478  
 Успенский Г. И. I, 197, 413  
 Устынский А. П., прот. I, 81, 110, 119, 153, 339, 340, 472, 476; II, 62, 64, 66, 414  
 Фаворский В. А. I, 66, 465  
 Фарбман М. С. I, 216, 217, 486  
 Федоров Н. Ф. II, 372-374, 526  
 Федотов Г. П. I, 34; II, 353, 355, 393-396, 528  
 Федюшин С. П. I, 90  
 Фейербах Л. I, 278; II, 13  
 Феокрит I, 330, 501  
 Феофан (Быстров В.), еп. I, 153, 205; II, 437  
 Фигнер В. Н. I, 75, 113  
 Филарет (Дроздов В. М.), митр. II, 262  
 Филипп II I, 376  
 Филиппов Г. И. I, 21-23, 100, 101, 220, 471, 487; II, 20, 85, 92  
 Философов Д. В. I, 27, 28, 33, 132, 133, 136, 140, 145, 146, 201, 208; II, 5-15, 134, 160, 184-192, 195, 196, 205, 212, 480  
 Философова А. П. I, 200, 483; II, 126, 131, 499  
 Фильдинг Г. II, 325, 521  
 Фишер Г. Н. I, 89, 91  
 Фишер К. I, 21  
 Флоренская О. А. I, 176, 479  
 Флоренский П. А., свящ. I, 13, 14, 30-32, 64-69, 71, 73, 76, 78, 80-82, 116, 176-179, 183-185, 230, 233, 256, 257-258, 464; II, 96, 189, 243, 249, 314, 316-317, 359, 401-405, 414, 483, 473, 520  
 Флоровский Г., прот. I, 34; II, 397-400, 401, 402, 528  
 Флобер Г. I, 217; II, 6  
 Фози О. II, 139, 140  
 Форель О. I, 200; II, 141, 509  
 Формоз, папа II, 354, 525  
 Форш О. Д. I, 115, 473  
 Франк С. А. II, 223, 225, 355  
 Франциск Ассизский II, 21  
 Фрезер Д. Д. II, 417, 531  
 Фрейд З. II, 319, 363, 520  
 Фудель С. И. I, 32, 36  
 Фукар П. Ф. II, 417, 531  
 Фукидид I, 369  
 Фурье Ж.-Б. I, 278  
 Херасков В. В. I, 51  
 Хитрово М. И., свящ. II, 140, 509  
 Хлебников В. В. I, 131  
 Ховин В. Р. I, 29, 181, 182; II, 285-305, 318, 320, 455, 518  
 Хомяков А. С. I, 220  
 Хохлова Л. В. I, 75

- Хрисанф (Ретивцев В. Н.), еп. I, 431, 509
- Цветаев И. В. I, 223  
 Цветаева А. И. I, 222-227, 488  
 Цветаева М. И. I, 222, 223, 225, 227  
 Цветков С. А. I, 31, 64, 65, 71, 86, 464; II, 336  
 Цветкова З. М. I, 64, 65  
 Цветкова И. С. I, 64  
 Ценский — см. Сергеев-Ценский  
 Цицерон II, 120
- Чаадаев П. Я. I, 30, 262; II, 225  
 Чайковский П. И. I, 62, 205  
 Чеберяк В. В. II, 190, 513  
 Чеботаревская Ал. Н. II, 196, 197, 514  
 Чеботаревская (Тегерникова) Ан. Н. I, 54, 463  
 Черкасов Д. А. I, 211, 485  
 Чернышевский Н. Г. I, 380; II, 49, 241, 356  
 Чехов А. П. I, 12, 129, 148, 194, 419; II, 93, 235, 272, 322, 323, 345, 354, 494, 496  
 Чуковский К. И. (Корнейчуков Н. В.) I, 14, 108, 154, 230, 232; II, 128-134, 282, 359, 507  
 Чулков Г. И. I, 54, 105, 463  
 Чулкова Н. Г. I, 54, 463
- Шатяпин Ф. И. I, 278  
 Шампольон К. Ф. I, 230, 489  
 Шараров С. Ф. I, 26, 322-324, 337-341, 346, 349-351, 355, 358, 367, 499; II, 91, 92, 400  
 Швидченко I, 56  
 Шевырев С. П. II, 377, 526  
 Шелгунов Н. В. I, 342, 503; II, 75, 177, 511  
 Шервуд Л. В. I, 77, 467  
 Шерваль Л. Р. I, 96  
 Шестов (Шварцман) Л. И. I, 30, 34, 103, 132, 199, 243; II, 177, 348, 353, 380-387, 445, 527  
 Шидловский I, 99  
 Шик М. В. I, 48, 468  
 Шиллер Ф. I, 279; II, 122
- Шкловский В. Б. I, 23, 124, 125; II, 320, 321-342, 356, 410, 415, 521  
 Шлейден М. Я. I, 21  
 Шлепер Б. Ф. I, 35; II, 384, 527  
 Шмелев И. С. II, 407, 530  
 Шопенгауэр А. I, 335, 397, 398, 452; II, 96, 140, 214, 389, 426, 429  
 Шперк Ф. Э. I, 5, 23, 24, 145, 262-263, 493; II, 243, 249, 255, 336, 340, 350, 451, 452, 454  
 Штаммлер Г. I, 13, 35  
 Штемберг В. I, 214  
 Штирнер М. (Шмидт К.) I, 179, 512  
 Штраус Д. Ф. I, 278, 320, 495; II, 13, 243  
 Штюрмер Б. В. I, 217, 486
- Щеглов И. Л. — см. Леонтьев И. Л.  
 Щегловитов И. Г. II, 319, 347, 521  
 Щеголев П. Е. I, 66, 117, 465; II, 353  
 Щербов И. П. I, 53, 462  
 Щербова Н. Р. II, 414, 462
- Эйленбург I, 200  
 Эйхенбаум Б. М. II, 322  
 Элиасберг Ал. I, 217  
 Эллис (Кобылинский Л. Б.) I, 223, 488  
 Эль-Эс — см. Соловьев Л. З.  
 Эмма, бонна I, 45  
 Эмпедокл I, 332, 502; II, 411  
 Энгельс Ф. II, 50  
 Эпиктет II, 382, 383, 562  
 Эрн В. Ф. I, 31, 230; II, 15, 45  
 Эсхил I, 332  
 Эфрон С. Я. II, 353, 524  
 Эфрос А. М. II, 313, 314, 519  
 Эфрос Р. Ю. I, 162; II, 239
- Юлиан Отступник II, 149, 509  
 Юнг К. Г. II, 318, 520  
 Юрьенс И. И. II, 224  
 Ющинский А. I, 177; II, 190, 200, 216, 347
- Яворский С. I, 367, 505  
 Янчин И. В. I, 246, 247, 490  
 Ярошенко Н. А. I, 56, 463
- Spectator — см. Грингмут В. А.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Д. В. Философов.</i> Рец.: В.В. Розанов, «Около церковных стен», тт. I и II .....	5
<i>И. Ф. Романов-Рицы.</i> Заметки на полях .....	16
<i>Н. А. Бердяев.</i> Христос и мир. Ответ В. В. Розанову .....	25
<i>Н. А. Бердяев.</i> О «вечно бабьем» в русской душе .....	41
<i>М. М. Тареев.</i> В. В. Розанов .....	52
<i>А. Белый.</i> Отцы и дети русского символизма .....	74
<i>А. Белый.</i> Рец.: В. Розанов, «Когда начальство ушло...», 1905—1906 гг. ....	78
<i>А. А. Измайлов.</i> Вифлеем или Голгофа? (В. В. Розанов и «неудавшееся христианство») .....	81
<i>А. А. Измайлов.</i> Закат ересиарха († В. В. Розанов) .....	91
<i>Б. А. Грифцов.</i> В. В. Розанов .....	101
<i>К. И. Чуковский.</i> Открытое письмо В. В. Розанову .....	126
<i>В. П. Свенцицкий.</i> Христианство и половой вопрос. По поводу книги В. Розанова «Люди лунного света» .....	135
<i>Прот. Н. Дроздов.</i> Около полового вопроса .....	139
<i>А. К. Закржевский.</i> Религия. Психологические параллели. В. В. Розанов .....	147
<i>Е. Поселянин.</i> Религиозная эволюция г. Розанова (по поводу книги «Уединенное») .....	169
<i>П. П. Перцов.</i> Между старым и новым .....	174
<i>П. П. Перцов.</i> Рец.: В. Розанов, «Опавшие листья» .....	180
<i>П. П. Перцов.</i> «Опавшие листья», короб II .....	182
<i>«Суд над Розановым».</i> Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества .....	184
<i>А. А. Смирнов.</i> О последней книге Розанова .....	216
<i>Н. Я. Абрамович.</i> Новое время и «соблазненные младенцы». В. В. Розанов .....	220
<i>А. Селивачев.</i> Психология юдофильства .....	223
<i>А. Л. Волынский.</i> «Фетишизм мелочей». В. В. Розанов .....	240
<i>В. Германов.</i> Религия быта (Розанов. Уединенное. Опавшие листья, т. I и II) .....	251
<i>В. Полонский.</i> Исповедь одного современника .....	267
<i>В. Р. Ховин.</i> Не угодно ли-с? .....	285
<i>Л. А. Мурахина.</i> О В. В. Розанове. Из личных впечатлений .....	306
<i>Э. Ф. Голлербах.</i> Последние дни Розанова (к 4-й годовщине смерти) .....	309

<i>П. А. Флоренский</i> . О В. В. Розанове (письмо М. И. Лутохину) .....	316
<i>Л. Д. Троцкий</i> . Мистицизм и канонизация Розанова .....	318
<i>В. Б. Шкловский</i> . Розанов .....	321
<i>П. К. Губер</i> . Силуэт Розанова .....	343
<i>Д. С. Святополк-Мирский</i> . Розанов .....	348
<i>А. М. Ремизов</i> . «Воистину». Памяти В. В. Розанова .....	352
<i>Прот. В. В. Зеньковский</i> . В. В. Розанов .....	357
<i>В. В. Зеньковский</i> . Русские мыслители и Европа. В. В. Розанов .....	370
<i>Л. Шестов</i> . В. В. Розанов .....	380
<i>К. В. Мочульский</i> . Заметки о Розанове .....	388
<i>Г. П. Федотов</i> . В. Розанов. «Опавшие листья» .....	393
<i>Прот. Г. В. Флоровский</i> . В. В. Розанов .....	397
<i>Ю. Иваск</i> . Розанов и о. Павел Флоренский .....	401
<i>В. Н. Ильин</i> . Стилизация и стиль. 2 — Ремизов и Розанов .....	406
<i>М. М. Сплавский</i> . В. В. Розанов в последние годы своей жизни .....	431
<i>А. Д. Силявский</i> . С носовым платком в Царствие Небесное .....	444
<i>Ж.-Б. Северак</i> . Антихристианство г. Розанова .....	479
<i>Д. Г. Лоуренс</i> . «Уединенное» В. В. Розанова .....	490
«Опавшие листья» В. В. Розанова .....	494
Примечания .....	499
Библиография работ о В. В. Розанове. 1886—1986 гг. ....	535
Указатель имен .....	563

*Учебное издание*

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ: PRO ET CONTRA

Книга II

Составитель: *Фатеев Валерий Александрович*

Лицензия № 071122

от 04.01.1995 г.

Сдано в набор 01.07.94. Подписано в печать 12.01.95. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. офсетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,00. Тираж 4000 экз. Зак. № 79.

По вопросам оптовых закупок обращаться по адресу: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 346. Издательство Русского христианского гуманитарного института. Тел.: (812) 315-70-86. Факс: (812) 315-39-17.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГИПП «Искусство России». СПб., Промышленная, 40.

